

Ирина Сабурова

# КОРАБЛИ СТАРОГО ГОРОДА

«Девушка пела в церковном хоре  
О всех усталых в чужом краю,  
О всех кораблях, ушедших в море,  
О всех, забывших радость свою.  
...И всем казалось, что радость будет,  
Что в тихой заводи все корабли,  
Что на чужбине усталые люди  
Светлую жизнь себе обрели.»

А. Блок.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Роман «Корабли Старого Города» был написан в 1947-49 гг., и в 1950 году вышел в переводе с рукописи на немецком языке под названием: »*Die Stadt der verlorenen Schiffe*«, 647 S. Впоследствии рукопись оригинала была сильно сокращена, от чего книга только выиграла, так как выкинуто лишнее, но зато оставлен целиком пересказ пьесы «Корабли», сильно сокращенный в немецком переводе. Наверно теперь, через десять с лишним лет, я написала бы иначе, и надеюсь, лучше, но после выхода книги из печати, хотя бы и на другом языке, не считаю этого возможным.

Через несколько лет книга вышла и на испанском языке.

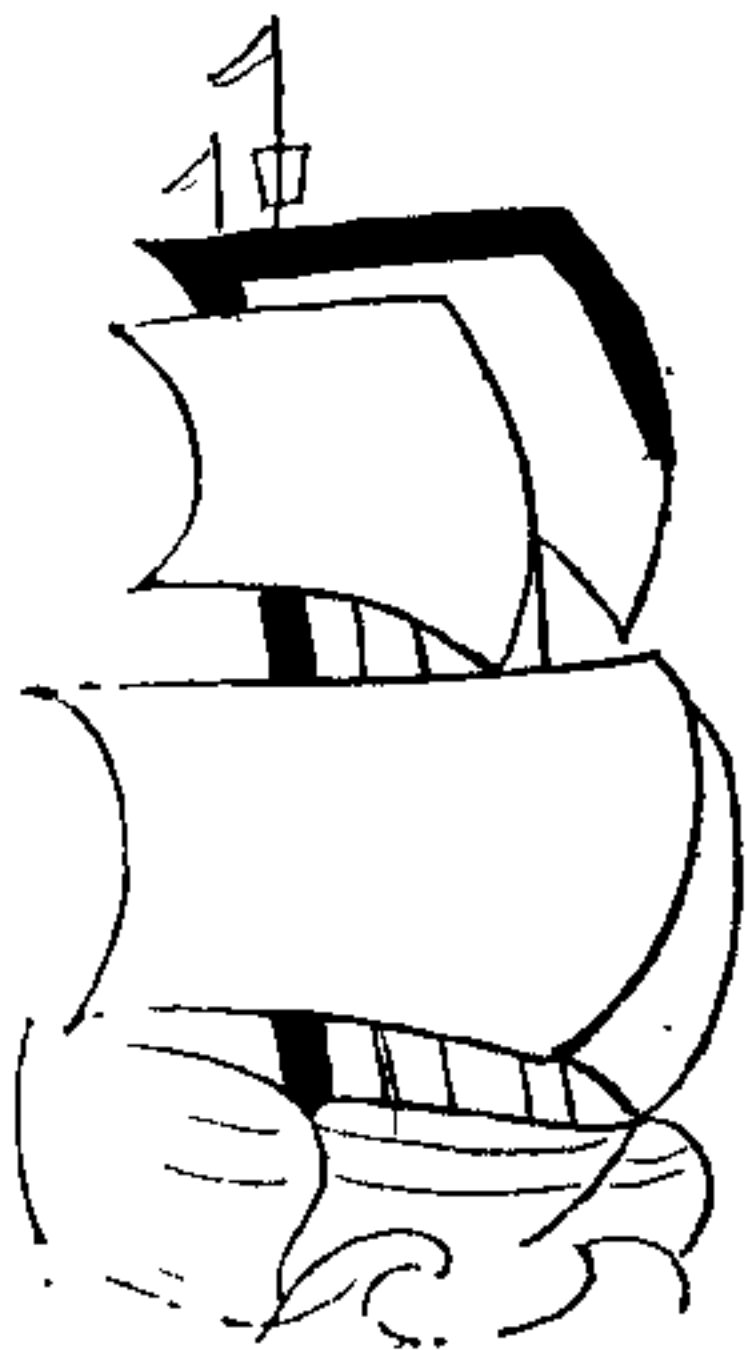
Кроме того, как я могла убедиться за эти годы, о русских эмигрантах, очевидно, некому больше рассказать, а ведь мы представляли собой исторический и политический курьез: русское население, коренное и пришлое, (после революции), жившее в трех балтийских республиках — Латвии, Эстонии и Литве (всего приблизительно около полумиллиона), оказалось на Западе, «в эмиграции», хотя и продолжало жить на своей родине. Будучи не иностранной колонией, как все остальные эмигранты, а национальным меньшинством с полной культурной автономией (свои школы, государственные и частные, церковь, печать, театр, представители в Сейме, организации, и наконец, целые области, населенные русскими хуторянами) в буржуазно-демократическом государстве, мы стали «эмигрантами» фактически только с 1944 года. Следует отметить также, что, принимая живое участие в жизни Балтийских республик, русские полностью сохранили в течение этих лет свой язык, культуру, и всячески развивали ее; может быть можно даже сказать, что наше прошлое, (свободная жизнь в свободной стране) — это, Бог даст — будущее России.

Поэтому, не претендуя, разумеется, на исторический труд историческим является только «фон» и внешние политические события, персонажи романа, кроме Нездолина (Незлобина) и Варвары Вересковой (Кире Верховской) вымышлены), позволю себе надеяться, что эта книга даст некоторое представление о русской Балтике» — или хотя бы напомним о ней.

Ирина Сабурова

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*Ра, сияющий бог*



осподи, благослови!

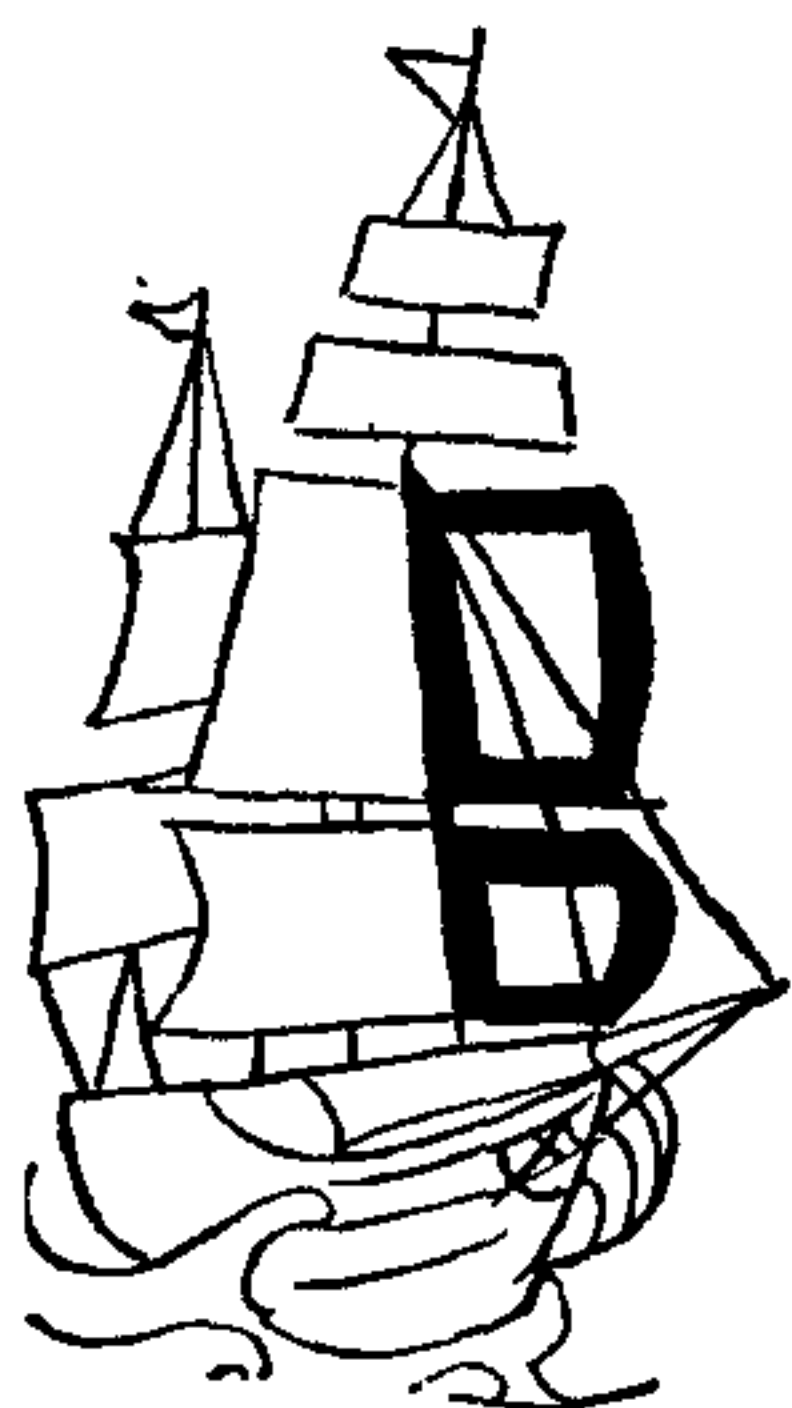
В чужой стране я буду писать о тебе, мой любимый и родной город. Камни останутся те же, когда никого не останется из тех, кого я видела любившими и страдавшими. Но так же будет течь широкая река и доноситься ветер с моря. И так же — другими — будут посылаться в море, за вечно желанным счастьем — уходящие корабли. Может быть, они вернутся — со счастьем.

Но вот что мне рассказали твои камни, башни и люди. Вот кусочек мира, который был мне виден: как в самых бедных, унылых улицах зажглась тоскою мечта и потянулась к солнцу, сияющему богу Ра. Как она рассыпалась на осколочки в человеческих сердцах и жила, наперекор всему, жила дальше. Как покалебалась жизнь и камни твои, казалось, сдвинулись с места, и время ринулось стремглав — и остановилось. Как уходили последние корабли, и маленькими серыми людьми к твоим башням прибывались красные пятиконечные звезды, дававшие людям право убивать всех тех, кто их не носил. Как рушилась самая высокая колокольня, и пришли другие люди, и в подвалах появились шестиконечные желтые звезды, и каждому было дано право убивать тех, кто их носил.

И не знаю, сколько углов у Божьих звезд на небе. Но я знаю: звезды должны быть на небе, а не на земле. Когда же люди мечут их по камням, то это безумие и кровь.

Когданибудь — это будет! — на твои улицы снова ляжет снег. И пасмурное дымчатое небо ляжет на шпили высоких колоколен. И с них дрогнет и поплывет, над всеми улицами, людьми и рекой — низкая, гулкая медь рождественских колоколов.

Аминь.



от так началось и осталось — через все, что может вместить человеческая жизнь. Книга Густава Мейринка «Зеленый лик» кончается фразой: «По ту и по эту сторону — живой человек». Только так и может быть: озарение, внезапный прорыв в четвертое измерение, мгновенный, как выстрел, пронизывающий насквозь, воспринимаемый чем то другим, кроме жалких культипок пяти чувств.

Иногда сходят от этого прорыва с ума, становятся гениями, но даже тот, кто остается попрежнему — никем, отмечен на всю оставшуюся жизнь обостренностью восприятий и пониманием души вещей. Он не лучше и не умнее других, разве только — несчастнее.

И, конечно, без правил — кому и когда. Четвертому измерению нельзя предписать, слава Богу, наших человеческих законов. Озарение им не вымолишь, не выстрадаешь и не купишь никакой ценой. Оно просто дается — Оттуда.



Так, внезапно и просто, в ясное, солнечное сентябрьское утро. Рано. Легкая дымка — не тумана и пыли, а как будто город только вздохнул — и этот вздох, поднявшись выше, к колокольням, чуть затуманил тяжелую медную руку башенных часов: без четверти восемь. Узкие кривые улочки в ребрах неожиданных и беспорядочных домов сходятся на перекрестке с разливным асфальтом широких бульваров в липах. Крепостных стен давно нет. От них осталось названье, мутная глубь канала, и широкое шелестящее кольцо зелени. С розового гранитного мостика через канал, у главного входа в Старый Город — на Известковую, разбегаются твердые дорожки лилового от осенней сырости песка. Слева — огибают белый Колоннадный киоск с пестрой суматохой журнальных обложек, извиваются вокруг фонтана, перед высокой белой Оперой, дальше, вплоть до грохочущего вокзала. Справа — стремительно летят вниз и сразу же весело карабкаются спиралью на Бастионную Горку.

Золотая осень красавицы Риги. Оранжевые клены, золото лип, рыжеющая трава, сумасшедшие далии и томительные флоксы. И надо всем городом, выше даже Петровской колокольни, уходящее в неизмеримую глубь дрожащее небо.

Джан не торопится. До мастерской две минуты ходьбы, и можно удлинить дорогу, подняться вбок, на Бастионную Горку, в пеструю занавеску наклоняющихся к лицу веток. Джан очень любит осень, и Ригу, и вот в такое утро, на свежесвымытых, блестящих солнцем улицах ей кажется даже, что она любит жизнь, а это очень много для серьезной пессимистки в восемнадцать лет.

Джан — одна из маленьких фигурок, если взглянуть на нее сверху, хотя бы с ближайшей колокольни, и ничем не замечательна, если посмотреть вплотную. Невысокая стройная девушка. Туфли чинены много раз, непромокаемое пальто промокнет при первом дожде, и модный берет куплен тоже на Мариинской, где дешевле всего.

Если с ней познакомиться, то сперва кажется, как будто что-то не в порядке. После второго взгляда недоумение проходит, и потом уже не замечается неправильности типа, как у разномастной кошки с неожиданно светлым пятном. Но Джан похожа не на кошку, а скорее на цыганку. У нее смуглое лицо, резкие брови, широко поднятые скулы и гладко остриженная черная головка. На этом азиатском личике еще больше кажутся и без того уже большие, слишком светлые, как вода, глаза. Красиво? Нет. Просто не совсем обычно, и пожалуй, неприятно даже — слишком уж пристальный взгляд.

Надежда фон Грот русская, конечно. От дедушки-шведа глаза и фамилия, от бабушки — татарской княжны — ласка-



тельное имя, колыбельный напев: «Джан, Джанум»... Осталось ли чтонибудь еще, пока не приходилось думать.

\*\*\*

Вот именно так это и началось. Еще один шаг по дорожке — еще один. Слетевший кленовый лист. Шорох под ногами. Город, не видный в сетке золотого дождя, но звенящий, зовущий, и — и сразу, вдруг. Все осталось попрежнему и стало другим — потому что другое — Оттуда — влилось, пронизало насквозь, прошло, как молния. «По ту и по эту сторону — живой человек». Прорыв.

«Осень, Старый Город, осень! Слышишь, как в высоком небе кинули зовы журавли? Видишь, как он улыбнулся в ответ огнями своих листьев? Это праздник осени, праздник тоски. Золотой Дофин рассыпает листья со своего плаща и Тоска, наша девушка, поведет корабли за счастьем. Последние корабли... и Красный проливает кровь, и Черный тушит лампы, и шут умирает под обломками храма, ибо было сказано — корабли вернуться...»

Бред?

Безудержная фантастика образов, звуков, красок стремительным вихрем ворвалась и затопила все. Секунда — или меньше. Секундная стрелка распахнула время.

Но ничто не изменилось. Лист долетел и зашуршал с другими на дорожке, у туфель, в которых дрожат мелкой дрожью ноги. Легкий озноб, лоб влажен от пота, во рту пересохло и кружится голова. Джан глубоко вздыхает и устало приходит в себя. Непонятно, но удивительно хорошо. Она поворачивается и медленно идет назад.

Под ногами звенит песня — еле слышные еще, мерные аккорды, как море. «Старый город, Старый город»...

Первая и единственная встреча. Бедная Джан? Счастливая Джан? Никто не знает.

\*\*\*

Свинцово-черная шляпа на Пороховой башне проткнута крохотными подозрными окошечками, как шпильками. Иногда в них просовываются рожицы гномов. Они смотрят вниз и хихикают в кулачок. Внизу, на двухаршинной трубе притулившегося домика вертится флюгерный кот, скрипит и машет под ветер хвостом.

В мастерской вдоль окон длинный стол. Когда на булыжной мостовой Башенной улицы проезжает грузовик или даже извозчик, полки поют фарфоровым и стеклянным звоном. Вазы, сервизы. Повсюду черепки с красками, воздух густой от скипидара. Это — керамическая мастерская Ивана Хрисанфыча Шмелькова. Хозяин — хромой старик с лысым черепом, сивой бородкой клинышком и маленькими глазками — сидит напротив от входа. Перед ним счета. Он мусолит их долго и недоверчиво. За кисть

берется только, если надо сделать образец, и тогда вдруг оказывается неожиданная плавность и прозрачность мазка. Целый день копаются в соседней комнате, закладывает муфель — бледно-розовые шкафчики печки, в которые ставится в прослойках посуда. Потом шкафчики закрываются плитами, замазываются свежей глиной, в топку подкидываются огромные поленья.

Иногда Хрисанфыч любит поговорить. Рассказывает, как мальчишкой еще, задолго до мировой войны поступил в подмогу отцу на фарфоровый Кузнецовский завод. Тогда на нем пять тысяч рабочих было. Большим художеством Кузнецовка не отличалась, товар шел на Восток, да по чайным — розаны на чайниках. Но теперь на Кузнецовке всего пятьсот рабочих, рынка нет. Иван Хрисанфыч съездил в Германию, к Розенталю, подучился до тонкости, и наладил свою мастерскую: хвалиться нечем, а жаловаться грешно.

Джан сидит у самого входа. Полтора года тому назад она пришла и скромно, но твердо заявила, что может рисовать на чем угодно. Любовь — еще очень мало для искусства, но уже много для ремесла. Таланта у Джан никакого. Она мило рисует картинки: виды своей любимой Риги. Расцветка камней очень красива, но колокольни выходят набекрень, воздух испаряется, и рисунок носит явный отпечаток бессильной и тщетной борьбы с сопротивлением материалов.

В первый же день работы ей пришлось мучительно краснеть за свое нахальство. Она не могла даже растереть как следует краску шпатель — узким тонким ножом, и та беспомощно плавала комками в скипидаре. Вечером Хрисанфыч подковылял к ней и перебрал исковерканные вазы. Джан проглотила комок в горле и честно призналась:

— Я сама вижу, что это никуда не годится. Но если вы оставите все таки работать, я постараюсь выучиться.

Иван Хрисанфыч хмыкнул и уже откровенно улыбнулся.

— Вы, милая барышня, рисовали дома и совсем другими красками. У нас особый навык нужен. Глаз у вас хороший, рука легкая. Выучитесь.

Джан старалась. Она не только любила, но и чувствовала краски. Теперь она уже сама набрасывала образцы рисунков, часто спорила с Хрисанфычем, предлагая новинки: безрезультатно, конечно, он был против новшеств. Вот теперь на густо синей вазе рассыпались кленовые листья, как оборванные звезды, в смелых переходах от густой киновари к хризолитовым подналинам. Осенние листья с плаща Дофина. А позади него — высокая, молчащая черная тень с глубокими провалами знающих глаз...

Что же это было, все таки? Похоже на молниеносно развернутую фильмовую ленту, но на нее снята вторая. Сдвинутый фокус, переплетающиеся контуры, и все удивительно ясно... Джан напряженно думает, пытается пережить снова, но это не



удается. Картины бледнеют, только аккорды песни звучат сильнее, и вытащив из ящика бумажку от завтрака, она быстро записывает сложившиеся стихи и с облегчением вздыхает. Выход захлестнувшей волне необъяснимого найден, а в восемнадцать лет на многое непонятное не обращают внимания дольше нескольких минут, и это тоже иногда хорошо.

\*\*\*

Ранние осенние сумерки чертят тенями улицы. Джан тщательно моет кисти, снимает замазанный халат. Приятно представить, что сейчас Бей поцелует ей руку, как взрослой — он наверно уже ждет.

— Джан, — говорит Бей, когда она выходит на улицу — пойдем пить шоколад, мы с тобой давно не ели ничего вкусного.

— Тратить деньги неблагоразумно, конечно, но... колеблется обрадованная Джан.

— Но лучший способ избежать искушения — это поддаться ему! Я вообще воплощение благоразумия. Сегодня заплатил за комнату. Получил неожиданно деньги и новый заказ. Сделаю и тогда — деньги на бочку, нам надо в конце концов повенчаться, мне уже надоело так.

— Знаешь, Бей, сегодня на меня нашло вдохновение. Написала стихи.

— Я говорю: пиши, у тебя талант, потом издадим книжку...

Бей увлекается и развивает мысль. Если у него несколько латов в кармане, то мир хорош, и куча планов громоздится сверкающим замком, парящим над потрепанным костюмом и прочими мелочами. Но зато мелкая неудача, не во время пошедший дождь выбивает его из колеи. Он ругается, проклиная все на свете, не верит ни во что, меньше всего в собственные силы, считая единственным выходом из положения — револьвер, а так как и его купить не на что, то веревку на шею.

Эти смены настроений мгновенны и неожиданны, и тогда Джан начинает тихо и упорно подбадривать, оглаживать, или просто уверять, что какнибудь удастся справиться. Борис Александрович Бей-Тугановский чистейший неврастеник. Из военного училища он сразу пошел на войну, был много раз ранен, потом вырвался из большевистского застенка и попал в Балтику. Пришлось снять погоны и шпоры, и на первых порах крыть крыши толем. Потом он взялся за карандаш. Бей нигде не учился, но у него несомненное дарование: он остроумный, злой карикатурист. Сам он считает свои шаржи пустяками, или очень нудным средством, чтобы заработать, скопить денег, кончить Академию и стать знаменитым художником. Джан, однако, позволяет себе спорить с ним о красках, несмотря на влюбленность.

Она уверена, что крайности сходятся.

Приступы его меланхолии заставляют ее иногда сжиматься, но жаль талант, изнемогающий в борьбе с жизнью. Кроме того,

восхищение. Бей ее первый настоящий поклонник, хотя она и намекает, что ей пришлось уже много пережить — так гораздо поэтичнее. Поцелуи на лестнице и два раза — даже, но об этом никто не знает! — у Бея в комнате волнуют и пугают. Главное, конечно, не поцелуи, а разговоры: картины, книги, философия, музыка — неисчерпаемые темы. В восемнадцать лет все это вместе считается настоящей любовью.

Бей смотрит еще проще. Жениться, так жениться. Надо же когданибудь и вообще надоело трепаться. Джан верный товарищ, из хорошей семьи, сирота, умна не по летам. Паршиво, что нет денег, а то он закатил бы свадьбу!



Они долго бродят еще, прижимаясь друг к другу, по кривым улочкам старой Риги. Вечером в них пустынно и тихо. Нижние этажи домов — сплошь мастерские и магазины. На одной улице только кожи, на другой — мясные. Многим фирмам по сотням лет. Вывески простые, тусклые, вывески не нужны. Прадеды и деды покупали книги у Кюммеля, а кофе у Менцендорфа, внуки и ощупью найдут дорогу. Богатство не выставляется напоказ, оно только чувствуется в забитых товарами магазинах, в глубине складов с громыхающими замками, ключи к которым подбирались еще в то время, когда Рига была славным Ганзейским городом, перекрестком Востока и Запада.

Магазины прерываются тяжелыми сводами ворот, крытых переходов со сторожевыми фонарями и высокими стенами старинных кирок. Ранняя готика семисотлетнего собора, кружевные завитушки Иоганнес-кирхе, забравшийся под самое небо золоченый петух Петровской колокольни. Она построена в три пролета из крепчайшего дуба, с тремя куполами зеленой меди, и с нее видно море. Это — символ Риги, неотъемлемый знак, страж и покровитель.

Конвент Святого Духа, позади нее, сбежался со всех сторон самыми неожиданными углами высоких складов. В Конвенте на стенах круглые потемневшие щиты с голубем, на кружевной воротник фонаря падает оранжевый свет.

Витрины дорогих магазинов на Известковой залиты светом. Хрусталь, цветы, шелк, груды конфет. Прорезав Старый Город, вобрав в себя все улицы и закоулки, Известковая суживается, тускнеет и выбегает под звезды темного неба на Ратушной площади. Справа — колонны городской библиотеки. Слева, чрез глубину площади тянется фронто́н Дома Черноголовых — каменная поэма. В этом доме затянута гобеленами стена и в парадных залах портреты шведских королей и русских царей. В нишах стынут рыцари в латах, над дверьми гербы, окна в расписных стеклах. На площади перед домом на невысоком пьедестале рыцарь сторожит город.

За несколько шагов до набережной извиваются узенькие переулки. Ставни плотно закрыты, из-за них тянет запахом смолы, пеньки. Переулки вливаются в ларечные ряды с навесами — пестрый, грохочущий днем рынок. Набережная обрывается гранитными плитами над мутной водой. На чугунные тумбы причалов захлестнуты концы, покачиваются рыбацьи шхуны, буксиры, пароходы. На пристани визжат весело несущиеся трамваи с разноцветными огнями номеров. Вдоль набережной качаются, как прирученные звезды, огни фонарей. После запутанной скученности старого города — синий простор.

Но в темноте шуршит и ворочается, плещет спокойная широкая Двина, медленно дышит навстречу свежему морскому ветру. Смелые дуги красавца железнодорожного моста упираются в гранитные быки с белой каемочкой пены внизу, уходят далеко, становятся совсем маленькими. — Там, на темном и невидном Задвинском берегу тоже тянется сверкающая цепочка, но ее видно только с половины мостов — широка Двина.

Море и башни. Ветер и цветы. Это — Рига. Город был построен католическим епископом на слиянии речонки Ризинг и Двины семьсот с лишним лет тому назад. Его строили дальше: орден, епископы, купеческие гильдии, шведские короли, русские цари. Ливы, немцы, шведы, русские и латыши. Рига — символ Балтики.

На мосту совсем свежо, Джан зябко передергивает плечами и идет быстрее.

— Знаешь — говорит она, стараясь согреться мечтой — вечерами, особенно осенью, в дождь, так хорошо промокнуть, чтобы ноги хлюпали в туфлях и за воротник залило, и идти, зная, что придешь в теплую комнату. Уютная лампа, на столе в вазе — хризантемы.

— Замечательно! — подхватывает Бей, думая совсем о другом.

На другом берегу Двины низенькие домики предместий. Асфальта почти нет, деревянные особняки в садах и палисадниках. На пустыре с тощими косматыми соснами двухэтажный дом, наверху маленькая квартирка.

Они долго целуются на площадке, и Джан утыкается носом в рукав его пальто. Пахнет табаком, сыростью, старой шерстью, не хочется расставаться. Еще один поцелуй, и Бей сбегает по ступенькам вниз. Джан машет ему вслед рукой и поднимается выше.

Дверь обита порванной черной клеенкой. На звонок в крохотную, заставленную корзинами переднюю высовываются носы: Катышки и Нади. Дверь отворяет Вероника-Морж, и из соседней комнаты выглядывает полное лицо тети Лизы.

— Точность — вежливость королей. За пять минут до ужина.

Обед, конечно, пустяки — можно питаться любовью и фиалками. Нагулялась?

— Да, захотелось пройтись. Бродили по улицам.

— Трепали подметки и спорили о Гумилеве. Идиотски серьезный вид, мировые вопросы и ни гроша в кармане. Нет, честное слово, Джан, я считала тебя умнее. Ветрогон, рисовальщик, и одна бутылка на уме. Подождала бы со свадьбой года два-три. У меня кончится к тому времени процесс, я тебя обеспечу... Впрочем, что говорить. Разве молодежь слушается когданибудь!

Тетя Лиза безнадежно машет рукой и сердито захлопывает дверь в свою комнату.

— Ха! — говорит Вероника по своему обыкновению, и клюет длинным носом. — Ты уж займись ужином, Джан, у меня голова болит... Мучилась дробями с Катышкой, удивительное все таки дубье моя сестрица, и еще надо тетрадки школьные просмотреть...

Джан кивает и проходит на кухню. В корзинке на окне еще несколько незаштопанных чулок, это после ужина, а потом можно будет взять книгу и улечься. Вечером у них всегда «читательный клуб», как говорит тетя Лиза. Она сама берет за французский роман, Вероника, кончив тетрадки, укладывается на диван с книгой, Джан читает тоже, и Катышка, несмотря на запрещение, отгибает кончик одеяла, под которым спрятана книга и просит Джан не тушить лампу. Только Надя недовольно ворчит и заворачивается с головой.

Джан больше всего любит это время. Катышка и Надя в белых кроватях посапывают носами, и страницы книги шуршат, как крылья. Джан читает много, очень быстро, помимо истории и беллетристики усердно морщит лоб над философами и даже расхрабрилась на теорию относительности.

— Для чего вам все это нужно? — спросила однажды знакомая дама, и Джан оторопела от такого вопроса. А как же учиться? Что же касается оккультизма — то это высшая истина, и вообще она отошла от христианства и стала теософкой.

— Ученье свет, конечно, — стонет тетя Лиза, слушая такие изречения, — это еще ничего, а вы бы послушали, что она о свободе личности толкует! Ничего, выйдет замуж, поумнеет...

Джан упрямо трясет черной головкой. Она идет по жизни, как сорячая лошадь в шорах. Книги — единственное превосходство над остальными, которое может себе позволить бедность. Поэтому Джан держится особняком. Кроме того — стихи. Рифмы посредственные, образы слабоваты, но Джан бережно хранит четыре клесчатых тетради. Соперничество с Вероникой тоже играет роль.

Родители Джан были убиты во время революции, и ее подобрала тетя Лиза — не родная, а двоюродная тетка. Елизавета Михайловна Грушевская — шумная, добрая женщина. Практичность и четкомысленность, эгоизм и сердечность — уживаются в ней лег-



ко и свободно, как пряники, орехи и конфеты в рождественском мешочке: калейдоскоп в красивой бумажке с бантиком. Бантики, пышные кружевные воротнички и духи Елизавета Михайловна не только любит: она единственная женщина в этой женской семье, одетая даже с некоторой элегантностью. Первенство в туалетах установлено раз навсегда с непререкаемой логикой: когда женщине за сорок (ей за пятьдесят, но это умалчивается), то нужно особенно тщательно следить за собой, чтобы не быть уродом. Ситцевая свежесть хороша и к месту в шестнадцать лет. Кроме того, она бедная вдова и должна репрезентировать семью в официальных учреждениях, чтобы вести процесс.

Вероника была очень покорной дочерью, — мать забивала ее своей логикой с детства — и при слове «процесс» сразу умолкала и махала рукой. Не стоит сотрясать воздух.

Процесс был притчей, гнетущим крестом семьи и единственным смыслом жизни самой Елизаветы Михайловны. В Ригу она приехала после революции, потому что у погибших родителей мужа здесь оставалась квартира с обстановкой. Сама происходила из польско-украинского рода и в Волыни ей досталось в наследство порядочное имение от дальних родственников, считавшееся выморочным. Адвокаты уверили, что она должна бесспорно выиграть это дело у казны. Объяснять подробности было ее излюбленной темой и грозой для окружающих. Процесс тянулся десять лет. Поездки в Польшу, переписка, гонорары адвокатов съели то немного, что осталось еще после революции. Процесс съел и молодость Вероники, заперев ее учительницей в городскую школу. Елизавета Михайловна целый день носилась по знакомым в поисках вещей для комиссионной продажи — или сидела на мелкой бирже в кафе Рейнера и подзывала к себе то одного, то другого дельца. Ее высокую, полную фигуру, властные брови и нос пуговкой знал весь город. Она предлагала и покупала вагонами, но только в теории, денег хватало в обрез на кофе. Кроме процесса и дел, у нее была еще одна благодарная тема: неблагодарная задача воспитания детей, и еще дальней родственницы сиротки... «Идеальная мать!» умилялись многие, и даже не согласные с ее биржевыми делами относились с уважением. Елизавета Михайловна была обветренным, потрескавшимся, но все еще внушительным фасадом: семья скрывалась в его тени.

Сходства между сестрами не было никакого. Вероника, по прозвищу «Морж» за сильно выдающиеся зубы и привычку еще больше высовывать их вперед, произнося свое торжествующее «ха», была в двадцать шесть лет типичной учительницей — старой девой. У нее был чистый, умный лоб и красивые, темные, печальные глаза. Может быть, если бы она одевалась и держала себя иначе, то была бы просто некрасивой девушкой, не хуже многих. Но никто не мог представить себе Веронику молодой девушкой. Мать, отчаявшись выдать ее замуж, махнула рукой. Дети в школе уверяли, что на ее носу сосулька, и поэтому он

такой длинный. Волосы были тускло коричневым узелком, проткнутым двумя шпильками. Пять лет подряд она донашивала старое платье матери, тоже какого-то тусклого цвета, слишком длинное и несуразное на ее фигуре. Туфель Вероника не имела вовсе, их заменяли давно вышедшие из моды, смешные теперь ботинки выше щиколотки, на шнурках. Но ей даже в голову не приходило позаботиться о своем туалете. Молодости у Вероники не было. Еле успев кончить гимназию, она поступила на учительские курсы, потом место в основной русской школе. Это было семь лет тому назад — семь долгих, беспросветных лет в скучных серых классах. Она не умела преподавать. Ученики покорно долбили «от сих до сих», и издевались, делая все возможное, чтобы отравить ей школьные часы. Она визгливо кричала, срываясь на высоких нотах, ставила двойки. Учителя подсмеивались, она презрительно чуждалась их. Учительство было для нее осточертевшей, нудной обязанностью, работой ради куска хлеба.

Жалованье Вероники в течение этих семи лет целиком уходило на семью. На это жалованье Елизавета Михайловна пила кофе у Рейнера и поддерживала фасад. На это жалованье оплачивалась квартира, хозяйство. А дрова, платья, тетради... Вероника давала после школы уроки. Ходила в любую погоду, широко размахивая руками, шаркая старомодными калошами, глубоко нахлобучив на глаза широкополую фетровую шляпу. Летом она ездила по имениям, приводить в порядок библиотеки, подготавливать к экзаменам. Она была интеллигентна и развита, более систематично и сухо, чем Джан. Пойти на галерку в театр и лечь на диван с книгой — было ее единственной мечтой. Она не слишком озлобилась даже. Положение рабочей клячи, везущей воз, казалось уже вполне естественным. В процесс она не верила нисколько, но мать не переубедишь. Дети слишком малы, и надо же комунибудь поставить их на ноги!

Джан она привыкла считать родной, она была помощницей, хоть и не очень долго останется теперь, раз выходит замуж... Вероника не одобряла Бея, считала его ужасным пьяницей, но иногда ей казалось, что Джан все таки счастливее ее. Станет самостоятельной, и, может быть, поступит даже в Академию. А главное — свобода. Ни школьного начальства, ни Елизаветы Михайловны, ни скучных обязанностей, долга, долга, долга... Вероника застыла, как консервная банка, и так же равнодушно относилась ко всему: горькая и искренняя старость в двадцать шесть лет.

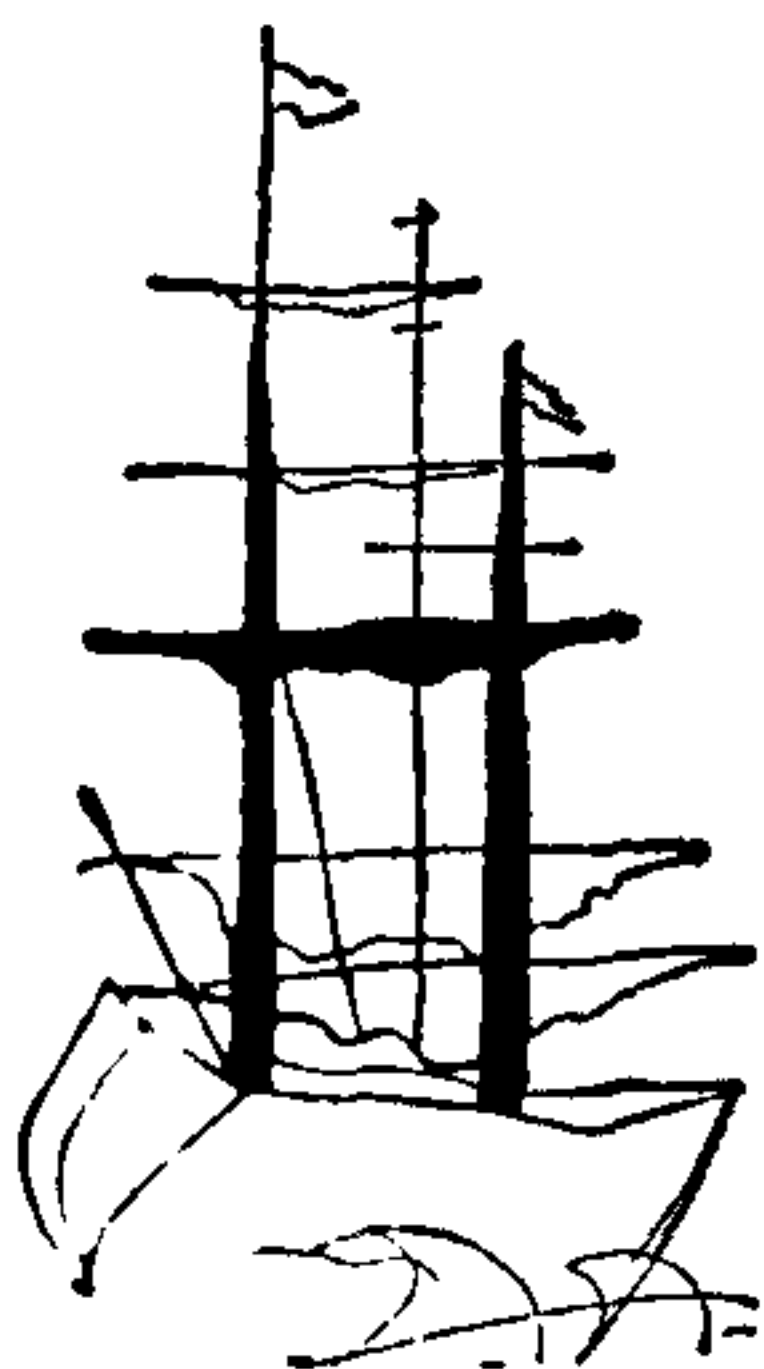
Катерине — «Катышке» было четырнадцать. В детстве она была флегматичной толстушкой. Меланхолия и громадные кукольные глаза в жалобных пушистых ресницах, фарфоровый румянец и толстые русые косы, робость и придавленность перед мешавшими ей жить авторитетами остались и до сих пор. Подруги в школе любили и жалели ее, учителя относились к громадным глазищам и явному старанию явной неспособности сни-



сходительно. Катышке часто приходилось слышать за спиной, что она красавица, но она еще больше краснела от стыда за дешевенькое платье и старое пальто. Матери не любила и боялась. Веронику не понимала. Самой любимой сестрой и подругой была Джан. Катышка стащила однажды потихоньку тетради со стихами Джан и долго читала их. Красиво и непонятно — но куда же ей понять! Она даже выучила кое-что наизусть, и привыкла смотреть на Джан с надеждой и упованием. Но без солнца не растут ни цветы, ни крылья — и Катышке очень не хватало ласковой, умной руки — отца или брата, хотя объяснить этого она, конечно, не могла.

Рожденье Надин — как звала мать, в отличие от Джан — тоже Надежды, или Надьки, как звали сестры, было несчастной случайностью в разгаре революционной сумятицы. Сейчас ей было девять лет, и как все последыши, она быстро становилась взрослой, не отходя от детства, а подмечая в жизни именно то, чего ей не следовало видеть. Тоненькая, рыжая, вертлявая Надя училась плохо, от мытья посуды и штопанья чулок отвиливала, с подругами болтала часами ни о чем, и кроме улицы и фотографий кинозвезд не интересовалась ничем.

Вот таким был фасад, фундамент и общий фон семьи Грушевских — легкая изуродованность всех без исключения. Уродство бывает прирожденным или неблагоприобретенным. В обоих случаях оно — тяжелый крест.



а вокзальной площади стоит маленькая, мозаичная часовенка, похожая на золоченую шапку Мономаха. В те времена, когда поездка по железной дороге считалась еще путешествием, провожающие заходили поставить в ней свечку, и не только православные.

Кругом грохочет вокзальная площадь: извозчики, рижские «фурманы» в синих форменных армяках постегивают лошадей к поезду, звенят трамваи, прокатываясь с большого круга по набережной на разбитую и дешевую Мариинскую, гремят тяжелыми копытами битюгов в наборной сбруе ломовые, шуршат пакси, угрожающе надвигаются грузовики.

Двинский вокзал — низкий, с провинциальным фронтоном, уютен и светлив. За ним, через несколько шагов Рига — Глявния. С одной стороны летом через каждые полчаса уходит веселый взморский поезд с дачниками, с другой — мягко трогается ступеньки широких вагонов с зеркальными окнами, бархатными креслами и запахами кожи, духов и блестящей недалеко заграницы.

Рига — Главная устроила широкие пестрые киоски, завела журналы и автоматы, вообще заграничный стиль, и снисходительно посматривает с высоты своих лестниц на притулившийся внизу Двинский вокзал. Он гремел раньше, когда поезда шли на Оршу, Смоленск, Петербург, Москву. В частые часы затишья вокзал тяжело вздыхает застарелой, въедающейся пылью, скучно смотрит на неинтересные билеты и бумажки на затертом полу и принимается доказывать в сотый раз вкусно пахнущему жареным маслом котлет и пирожков буфету, что время расцвета Риги прошло и не вернется. Нет, одним Западом не обойтись. Рига без Востока, как рыба без хвоста, как... ну и пусть ворчит, надо же комунибудь и поворчать.

На краю площади тяжелые пролеты виадука. В мигающих редкими фонарями сводах всегда темно и гулко. Сверху грохочут поезда, снизу грузовики. От пронзительного ветра виадук кажется очень длинным, но на самом деле совсем не так уж долгод для пути из шведско-немецко-русско-латышской Риги в старую русскую провинцию. Тут улицы, перебегаая через переезды рельсовых укладок, сразу меняют свое лицо, говор, быт.

Сразу за виадуком громадный четырехугольник толкучки. Деревянные ряды с низенькими амбирными колонками охряного цвета, пестрые ларьки за кирпичным забором. В рядах, на ларьках и просто на улице между ними — все, что только можно придумать, и что никому не придет в голову покупать. Пестрые юбки и темные доски брюк болтаются густыми рядами на вешалках, задевают лицо.

На Московском форштадте самый знаменитый трактир «Волга»: низкий серый деревянный дом, где подают настоящую «пару чая» — пузатые кузнецовские чайники с розанами, полоскательницу, баранки и селянку: мясную или рыбную. Селянку в «Волге» приезжают есть из города, свои и все заезжие иностранцы.

На Московском форштадте есть «Красные Амбары» вдоль Двины и рукава реки, уходящие далеко через предместье — до Кузнецовки почти, мимо белой старообрядческой моленной, с высокой, отовсюду видной золотоголовой колокольней. Есть Фирсовская богадельня — унылое, мерзко пахнущее здание в жалком палисаднике — благотворительное наследство почтенного купца. Есть простые, пропаренные горячим мылом, пахнущие вениками бани, свой, довольно убогий рынок — Красная Горка, громадный Ивановский собор с кладбищем, русская гимназия, несколько трогательных часовенок с вечно теплящейся лампадой в нише, свой «пятый», желтый трамвай, несущийся по Московской — самой длинной рижской улице, до Кузнецовки — маленького городка фабричных корпусов, горнов, лабораторий за высокой кирпичной стеной. На Московском форштадте мало шведского тесаного камня, мостовая из крупных, круглых, как орехи, булыжников, тротуары часто узки и неровны, улицы

раскиданы и перевязаны клубками, разорваны неожиданными пустырями. Дальше к Кузнецовке тянутся длиннейшие заборы скверно пахнущих клеем и всякой дрянью фабрик. С реки доносится визг лесопилок, тянет свежими опилками и бултыхающимися в воде плотами. Лепятся друг к дружке лавки с неизбежными баранками и сушками, мясные почему то всегда сомнительной свежести, «киношки» сверкают безудержными в наивной наглости плакатами, и на каждом шагу мелкие мастерские.

Здесь портные сидят еще на столах, откусывая нитку зубами и греют литые тяжеленные утюги на примусах и печках. Сапожники неизменно золотят жуткий сапог над входом или на подслеповатом, редко моющемся окне, за которым такая же куча унылой растоптанной обуви. Здесь много степенных людей с русыми, рыжими, сивыми бородами: русские купцы и лавочники, извозчики и мастера, еврейские раввины, торгоши и ремесленники. Здесь можно услышать много жаргонистых словечек, народный говор, не виртуозный, но сочный мат, хрипловатый, с подмигиваниями, с библейской жестикуляцией, идиш. Здесь есть большая синагога, куда приезжают по субботам на автомобилях наряженные, богатые евреи, а бедные не носят уже пейсов, но в шабес зажигают тоненькие свечки в окнах. В великом посту особенно низко именно здесь стелется медный звон с колоколен, и на большие праздники нередки пьяные драки на улицах, до ножа.

Конечно, среди низких несуразных домов строятся уже не только большие, но и светлые коробки, и в них не вонючие уборные, а ванны с центральным отоплением; многие бородатые тузы в картузах давно уже открыли сверкающие витрины магазинов в центре города. Бывает также, что многие, кое-как перебываясь в городе, махнули наконец рукой и спустились вниз, на форштадт, в дешевые квартирki с пыльными дворами, или в довольно уютных особнячках тоже. В реке жизни есть свои приливы и отливы, выброшенные на берег щепки, и намытые полной островки. Но очень многие, больше половины русской Риги, гнездятся своими корнями здесь, в грязной, но милой старой провинции, хотя о ней и отзываются с пренебрежительной усмешкой, передразнивая: «Как тебе идет? Так само!»



Нет, путь под виадуком совсем не долог для Джан. Светлеющее пятно выхода надвигается все ближе — и панель сразу ныряет на широкую Гоголевскую. Слева белоколонное, с черным фронтоном и широкими ступенями здание бывшего управления Виндаво-Рыбинской железной дороги. Теперь в нем управление всеми железными дорогами вообще и кроме того, почетнейшая в своей недостижимости Академия Художеств.



Ах, гипсовые головы, обрубки ног и рук, валяющиеся в пыльном беспорядке низких подвальных окон, и прохладные высокие окна ателье...

Джан проходит мимо.

Справа вытягивается в сторону набережной большая площадь, на которой собираются строить центральный рынок. Через несколько заборов — толкучка. Мимо охряных рядов тянется уютная, в деревянных ставнях с вырезанными сердечками и даже в садах за заборами — Тургеневская улица. На углу, за решетчатым забором — зеленоватая, в кружевной резьбе, с голубыми, как зимние сумерки, куполами — Никольская. Джан остановилась на углу и замерла в восхищении. Вот бы такую картину нарисовать! Медленно гаснущее предвесеннее небо, легкие, чуть намеченные проталинки в церковном саду, стая взметнувшихся галок, и перед распахнутыми кружевными воротами, осадив напряженные ноги, вороной красавец битюг заносит на повороте полозья широких дровень. Под розовой дугой звякнул оборвавшийся бубенчик. Кучера почти не видно — только кнут ненужно торчит в руке, снимающей шапку, чтобы перекреститься. В санях громадный, как памятник, торжественный колокол в медном отливе чеканки. Новый колокол привезли в церковь.

Джан медленно идет дальше. Галки уже спорят о весне, и снег начинает пахнуть по особенному, ветряным запахом. Если зажмурить — или раскрыть глаза, то совсем недалеко, за церковью, раскинутся поля, запушится верба, запахнет пасхальными гиацинтами, чистыми занавесками, полировкой паркета родной дом и наступит настоящий праздник. Джан проходит дальше, поднимается по лестнице, входит в светлую, но слишком голую комнату, где теперь живет с Беем. Единственное красивое в ней — окно, и то только потому, что оно большая рама для сиреневых куполов, черно-белых сучьев и церковного сада. В небе чирикают рассыпающиеся стайки, дрожит колокольный звон. Джан часто сидит у окна, рисует купола, и ей кажется, что она молится даже, хотя на самом деле просто глотает слезы.

Джан часто сидит теперь дома. Бей торчит в какомнибудь издательстве, носится по всему городу в поисках заказов или лата на обед, на весь день их несложного хозяйства. Или, что тоже бывает часто, сидит в компании друзей.

В мастерской неблагополучно. Иван Хрисанфыч заболел, всем заведует сын, лентяй с блондинистым чубом, дела идут неважно. Джан предложено работать по три дня в неделю. Она пытается достать уроки, вышивки, в свободное время учится писать, но из стихов тоже ничего не выходит. Вероника презрительно хмыкает носом и изрекает:

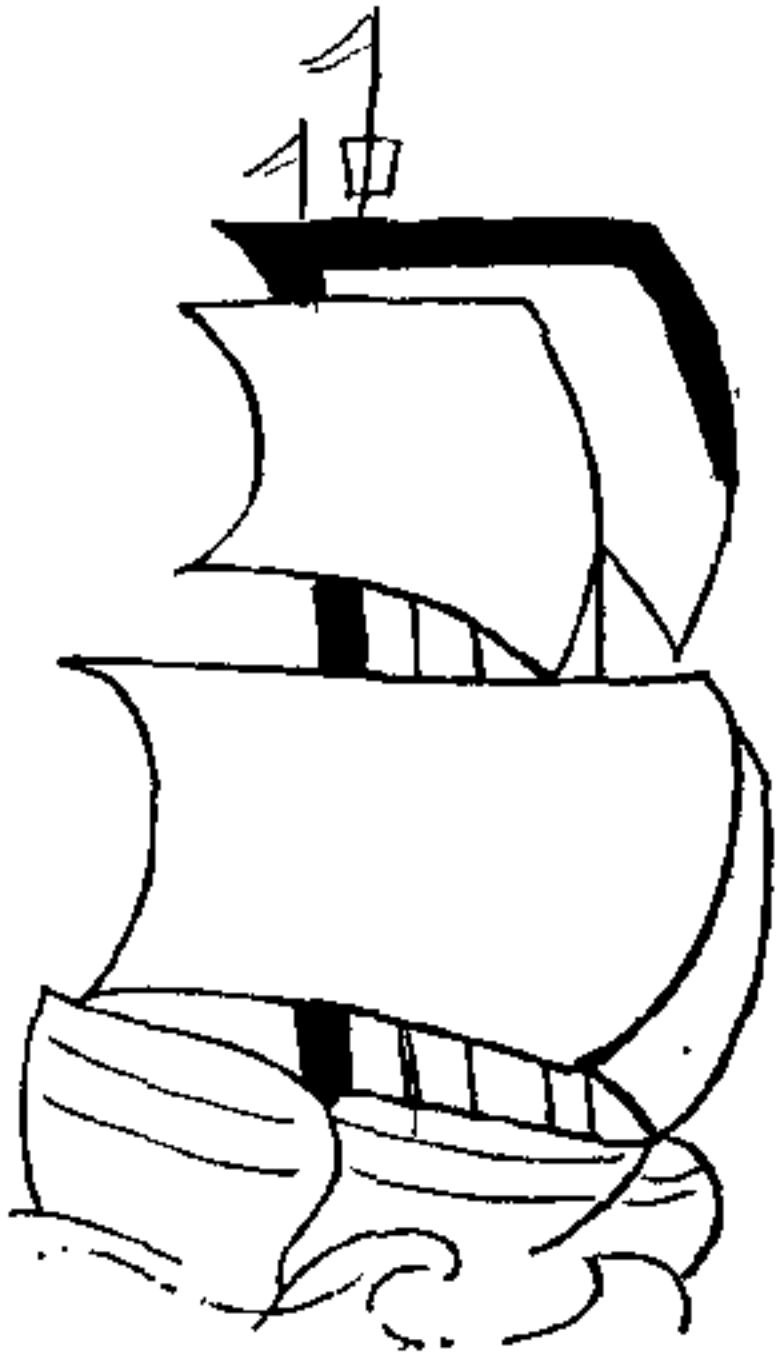
— Ха! Стихоплетство! Ты должна писать сказки. Лучше хорошие сказки, чем плохие стихи!

Иногда Джан ложится на кровать, закрывает глаза и пытается сконцентрировать мысли. Медленно, как будто на глазах катаракта и так тяжело соскабливается с них пленка за пленкой — проясняется что-то и такое яркое, что останавливается дыхание: Старый Город... Она видит теперь его часто, и все яснее, как будто входит в книгу с богатыми иллюстрациями и ходит из одной картинки в другую. В этой красоте уже утонченность, обреченность гибели, и светлейшая грусть.

Звенит песок. Если совсем закрыть глаза, вглубь себя — звенит сильнее, и вдруг: подножие белой колонны, высокая фигура и глубокие, из веков смотрящие глаза. Древнее солнце — Ра. Джан думает так упорно, что у нее болит грудь, но уже все остальное — и бедность, и досадные мелочи, не волнуют, важно только одно, только это.

Так, в девятнадцать лет, Джан — одна из многих невзрачных фигурок на улицах Старой Риги, строит свои Корабли.





де-то, на часах Времени, передвинулись стрелки и отметили срок. Бой упал, как молот, что-то сдвинулось, соединились нити, завязались узлы. Незримо, неслышно для бедных пяти человеческих чувств, неотразимое подошло вплотную, и вместе с ним, как сгусток темноты, рожденный теми, кого должен разрушить, Черный шагнул вперед и сказал равнодушно и устало:

— Я иду.

\*\*\*

Еще один шаг, неслышный и незаметный, из одного мира в другой. Сюда, на площадь Старого Города к высокому фонарю в кружевной золоченой наколке. Фонарь горит и под ним светло, но это только маленький кружок посередине площади. По краям поблескивают в полумраке разноцветные стекла окон, резные фигуры, колонны и арки, ратуша, в окнах которой дрожит опрокинувшееся густое небо в тихих осенних звездах. Шут

вбегает и садится на ступеньки у фонаря. Он не может спокойно сидеть, бубенчики на колпаке вздрагивают и звенят. Оглядывается и ежится; прохлада, одиночество и, может быть, грусть.

— Еще никого нет, — бормочет он про себя, — один только ты, коптилка старая... Ведь вот, светишь, лучики за паутину темную цепляются, разбегаются в ночь. Светишь — другим, а самому, наверно, и темно, и холодно... Пстой ка... а это кто? Чужой? Чужой?!

В Старом Городе нет чужих, здесь все знают друг друга, это невероятно и странно. Шут вытягивается, прощупывает взглядом слившуюся с фонарем, как будто только слегка выходящую из столба фигуру.

— Эй, любезный, ты откуда?

— Из вечности — небрежно падает ответ.

— Не плохо... тянет Шут, и профессиональное восхищение берет верх. — Вот это я называю ответ! Как же тебя называть прикажешь? Весь ты такой... Черный. Разрешите представиться, господин Черный: Кривое Веретено, шут Старого Города.

— Почему обязательно — шут?

— А без него никак нельзя. Вертишься, кружишься целый день. Все говорить позволено. Кто ж обидится на дурацкую правду? А под вечер устанешь и плачешь... Это только говорят, что слезы — жемчужины. А они — дурацкие, никому не нужны!

Спохватывается, что сболтнул лишнее, вскакивает снова и стучится в дверь, углового дома.

— Эй, мастер! Мастер башмачник!

В открывшуюся дверь мягко льется свет на камни мостовой. Мастер доканчивает еще шитые жемчугом туфельки, сам любит ими, но и он не прочь поговорить в такой теплый вечер, посидеть на ступеньках.

— Здравствуй, Кривое Веретено. Не утомился еще? Что нового?

— Осень и совет в ратуше!

— Ну, так тебе первому надо быть!

— Ничего, и без меня какнибудь обойдутся. У меня колпак дурацкий, не красный!

— Кто же у нас ходит в красных колпаках? — хмурится башмачник.

— Если бы я то знал, дядя — таинственно наклоняется к нему шут — так наверно сказал бы тебе!

Из глубины площади появляется Дофин. На нем голубой шелковый плащ, с которого сыпятся осенние листья. Шут кланяется по придворному.

— Мой верный шут, наступает осень — задумчиво говорит Дофин, кивая ему. — Далеко отошло ввысь небо, призывно закричали журавли. Осень, Старый Город, осень! Посмотри, как

он улыбнулся в ответ яркими огнями листьев. Я все свое золото разбросал на деревья.

— Уж очень ты много золота разбрасываешь! Смотри, одна медь останется!

— Разве, отдав все, мы не получаем взамен самое драгоценное?

Но шут не успевает ответить, на площадь выбегает девушка в белом, запыхавшись, прижимая руки к груди. Белый клафт покрывает ее голову и концы его, как крылья, бьются за спиной.

— Скажите — это правда? Правда? — спрашивает она еще на бегу.

— Чего не знает девушка Старого Города? — удивляется башмачник, низко кланяясь ей. Дофин и шут идут ей навстречу и целуют руки.

— Тоска моя, королева — шепчет шут.

— Чего ты не знаешь, Тоска? — снова спрашивает башмачник, когда все они усаживаются на ступеньки мастерской.

— В наш город пришли новые люди — говорит Тоска. — Один из них черный и страшный. Он испугал моих журавлей. Я послала их в чужие страны, чтобы узнать, скоро ли вернутся корабли, а они, увидев его, улетели с таким жалобным криком, как будто прощались со мной навсегда. Его не было до сих пор в Старом Городе...

— Я здесь — глухо отзывается Черный, и все оборачиваются и смотрят на него.

— Какой ты... темный, — приглядывается Дофин.

— Почему ты всюду следуешь за мной? — гневно перебивает его Тоска. — Я знаю, ты видишь все, что мы делаем, думаем — все. И молчишь. И ждешь.

— У вечности много времени! Куда ему торопиться? — ехидничает шут.

— Мы живем за каменной стеной, у моря, — медленно говорит Дофин — и к нам давно уже не приходили чужие люди из другого мира, которого нам не надо знать.

— Разве стена может оградить вас от жизни? — усмехается Черный.

— Но мы никогда не переступали ее. Зачем? — удивленно приподнимает брови Дофин. — Это город красоты, тоски и грусти.

Он припоминает еще что-то и тихо смеется.

— Ведь у нас хрустальные души — их так легко исковеркать!

— А кто еще пришел? — спрашивает башмачник.

— Какой то красный — в голосе Тоски отвращение и испуг.

— Черный и Красный — опасное сочетание — подхватывает шут.

— Красный поднял бунт против красоты — горячится Тоска — но неужели это правда, — что корабли не будут отправлены?

— Кто осмелился это сказать в Старом Городе? — возмущается башмачник, — у нас есть свои законы. Здесь не место пришельцам и бунтовщикам.

— Вы... вместе? — небрежно задает вопрос Дофин Черному.

— Мы... родственны друг другу — так же небрежно отвечает тот. — Но разница велика. Я знаю, что он — мой младший слуга, а он даже не подозревает о моем существовании.

— Новые люди... задумчиво говорит Дофин — новые слова. Они заставят нас оглянуться на самих себя. Может быть, мы живем во сне. Мне так кажется иногда. Но для чего просыпаться?

Двери ратуши раскрываются и на площадь выходят члены совета, почтенные седобородые горожане, в бархатных и меховых плащах. Со всех сторон собираются горожане, встревоженно и молча. Бургомистр с жезлом в руке подходит к фонарю и низко кланяется Дофину, поднимаясь на возвышение.

— Мы, Старый Город! — торжественно начинает бургомистр, и толпа на площади откликается эхом. — Совет собрал вас, горожане, ибо пришло время отправлять корабли. Так поступали мы раньше, с незапамятных времен, и в назначенные сроки корабли уходили в море. Но в наш город пришли новые люди и ведут странные речи. Здесь может говорить не каждый, но только тот, кто вместе с нами прочувствует и повторит наш общий символ: «Мы, Старый Город!» Итак, совет предлагает вам решить: принять ли их в число своих граждан, или удалить с миром?

— Они сперва должны узнать наши законы, — громко заявляет башмачник.

— Правильно, мастер. Мы все познали красоту, но не можем этого требовать от других. Золотой Дофин, ты, правитель города, разъясни чужеземцам.

Дофин наблюдает за происходящим, полулежа на ступенях, выше всех остальных. Он не изменяет позы при словах бургомистра, а только протягивает руку и указывает место.

— Встань сюда, Красный.

Низкая приземистая фигура в распахнутой на груди рубашке, в красном колпаке на голове, выходит из толпы и становится рядом с Черным. Красный презрительно усмехается, не глядя ни на кого, и уверен в своей силе. Он примитивен и груб.

— Мы не спрашиваем ни ваших имен, ни родины, — начинает Дофин, и все слушают давно известные и понятные слова, одобрительно качая головой. — Вы можете уйти, или остаться. Но мы, Старый Город — вечны. У нас нет нищих, воров и прокаженных. Мы не рождаемся и не умираем, не живем даже, быть может — мы творим. Давно когда-то нами правил Золотой король. Он велел обнести весь город каменной стеной и никто не смел переступить ее. С другой стороны — море. Золотой король дал нам законы, дал нам книгу Живых и Мертвых, Неизвестного Бога. Он дал нам величайшее искусство — творить



красоту. Ей мы должны служить творением наших рук и сердца. И чтобы не заглохло в наших душах стремление к истине, он дал нам Тоску. Вот она, девушка Старого Города, зажигающая наши огни.

— Но Золотой король не дал нам счастья — тихо произносит Тоска.

— Да — вмещивается бургомистр. — Он оставил наследником золотого Дофина до своего возвращения, и ушел с кораблями за счастьем. Каждые десять лет мы должны отправлять корабли и ждать, что они вернутся. И древний закон соблюдается свято: мы отдаем им самое ценное, что у нас есть. Цехи — работы мастеров, горожане — золото и камни, девушки отпускают своих возлюбленных, и матери — сыновей. Ибо сказано в книге Живых и Мертвых — корабли вернутся и привезут нам счастье.

— У нас хрустальные души — восклицает Дофин, перебивая и поднимаясь — мы отдаем их призраку счастья! Пусть гаснут наши жизни, пусть мы больны непонятной грустью — корабли вернутся! А с ними все, никогда не бывшее, потерянное и не найденное! И когда все озарится ликующей улыбкой, — мы поймем и воздадим хвалу Божеству — ибо мы все равны в красоте — мы, Старый Город!

— Мы, Старый Город! — воодушевленно подхватывает толпа.

— Что же вы можете ответить нам, чужеземцы? — торжественно спрашивает бургомистр.

— Мое время говорить еще не пришло, — небрежно цедит сквозь зубы Черный.

— Зато я вам скажу! — орет Красный и, расталкивая всех, взбирается на возвышение. — Это не жизнь, а гниение! Кому нужна ваша вечность? Жили ли вы хоть раз по настоящему? Видели-ли хоть раз другое солнце, кроме этого фонаря? Вы хотите счастья? Я дам вам счастье! Для этого не нужно ни красоты, ни Бога. Глупые сказки. Ничего нет. Кто вам сказал, что это красиво? Вы сами! Кто дал вам вашего Бога? Вы сами! Так вы же можете сами и разрушить все и придумать чтонибудь получше. Нет никаких законов — это только цепи, которыми вы сами себя связали. На земле есть только один закон — закон Зверя. Есть только одна воля — моя! И я могу разрушить все, что мешает мне жить. А вы сами себе мешаете. Пусть, если это кощунство, по вашему, пусть Бог явит чудо. — Эй, Бог, слышишь? Это я говорю! Если Ты есть — рази громом, убей, а то совращу народ Твой!

Ужас волной пробегает по толпе. Фонарь мигает, как от ветра, но на площади тяжелая тишина.

— Что, притихли? — издевается Красный. — Чудес не бывает! Некому заниматься такими пустяками. Вы хотите, чтобы вам счастье с неба свалилось! А вы сделайте его сами. Вот так, своими руками. Нужно не мечтать, а бороться...

Он останавливается, ему не хватает слов. Черный быстро наклоняется вперед и внятно подсказывает:

— За свободу...

— Да, борьба за свободу! — подхватывает Красный. — Нам все позволено, потому что мы свободны. Пусть каждый прежде всего знает, что он — зверь, а не призрак какой то погремушки. Пусть силой берет то, что ему нужно!

— А если у нас все есть? У меня, видишь, бубенчики даже? — выворачивается, пробует свести на шутку Кривое Веретено, но его никто не слушает.

— Я хочу взять больше — усмехается Красный. — Вот ее, например? — Он хватает Тоску, но та гневно вырывается и кричит:

— Не смей прикасаться ко мне!

— Не сметь! — негодуяще приказывает Дофин.

— Оставь ее! — возмущаются горожане. — Это наша девушка!

— Девушка... тоже, подумаешь... передразнивает Красный. — А для чего они существуют, если их не трогать? Ничего, привыкнет. Скажи, красавица, целовал ли тебя хоть кто раз по настоящему? Эти то ведь все больше насчет разговоров!

— И вы молчите... молчите? — спрашивает Дофин, презрительно выпрямляясь на ступенях. — И никто из вас не поднимает голоса против этого зверя? Вы молчите... вы соглашаетесь? Вы пойдете за ним бессловесным стадом, пойдете, даже не зная — куда? Чем будем жить мы — обреченные Красоте? Разве можно потушить солнце, разве есть другое солнце, другая правда?

Но внезапно Дофин поникает, плечи устало горбятся, в падающих руках — безнадежность и скорбь.

— Ах, нет... устало произносит он. — Все это не те слова... Скажите почему сейчас, когда смутились наши умы и затрепетали души, как подстреленные птицы, почему мы сейчас бессильны — даже словом?

— Вы должны уйти из нашего города — пытается спасти положение бургомистр. — Нам не нужно чужого бунта.

— Ты оглох, Красный? — набрасывается пут. — Убирайся вон в свой мир, откуда пришел, если ты его не разрушил уже окончательно. А вы что же, в камень обратились, что ли? — обращается он к толпе, — хоть бы словечко промолвили!

— Он даст нам счастье... мы устали... мы хотим жить... Корабли не вернутся... — глухо слышится из толпы.

— Опомнитесь! — кричит Тоска и протягивает к ним руки, — быть может, мы прожили века, не замечая их, — что же значат для нас слова одного человека! Послушайте вы, ткачи! Разве я не вплетала лунные лучи в ваши ткани? Ювелиры! разве я не подбирала вам оправы для драгоценных камней? Строители, художники и поэты, разве я не вдохновляла ваши



творения? У каждого я зажигала лампы, и все приносили мне кленовые листья на праздник осени — ибо так сказано в книге Живых и Мертвых, — и шаги мои освящены улыбкой. А теперь вы не верите мне больше? Не слышите моих слов?

— А камни, по которым ты проходила, не говорили тебе о моей любви? — взволнованно спрашивает шут.

— Ты сам кричишь о ней слишком громко, — отмахивается Дофин.

— И никто не верит этому — убежденно заканчивает башмачник.

— Опомнитесь! — умоляет Тоска. Но Дофин берет ее за руку и отводит в сторону.

— Оставь их, Тоска, — бесстрастно произносит он. — Ты ничем не можешь спасти людей, сходящих с ума.

— Которого то и не было вовсе! — возмущается шут.

— Мы, строители храма, — так же спокойно объясняет Дофин, — создали его слишком воздушным и хрупким. Он рухнет без борьбы, от малейшего прикосновения. Так надо, значит. Мы обречены, Тоска.

— Да, так надо, — нагло усмехается Красный. — Все будет разрушено и от стен ваших камня на камне не останется!

Но он еще не победил. Среди горожан волнение и ропот. Строитель храма, высокий, совсем белый старик смело подходит к нему.

— А что ты создал, Красный? — резко спрашивает он. — Мы строили дворцы и храмы. Их нелегко создать, а разрушить еще труднее. Они принадлежат вечности — и мы вечны с ними и в них.

Красный меряет его взглядом. За спиной мастера — мудрость и сила знания, накопленного веками. Он неподкупен, бесстрашен и чист. Силы не равны. Но Красный нагл и груб, и уверен в победе.

— А вот я покажу тебе сейчас твою вечность, глупый старик! — дико рычит он, и выхватив нож, бросается на старика. Строитель падает, толпа отшатывается в ужасе.

— Кровь... в этом шопоте смятенье, даже камни жмутся друг к другу перед невиданным и страшным. Красный выдергивает нож из груди старика, поднимается и со смехом бросает что-то окровавленное в толпу.

— Вот вам ваша вечность! Что же он не встанет теперь больше проповедывать свою красоту?

— Он умер... в крови... шепчет Тоска, впервые видя мертвого человека.

— Что стоит жизнь одного человека, если можно убить сотни? — глумится Красный, теперь уже вполне сознавая свою безнаказанность.

— Пусть это будет первым ударом по Старому Городу! Вы смертны и не знали этого — ха-ха! Да, в ваших жилах течет не

вода, а кровь, и она прольется на камни. Кровь! Она пробудит в ваших пыльных душонках зверя. Она потечет и расплывется на камне, брызнет из тела горячими каплями, поднимется душным сладким туманом... страшно? А кто накажет за это? Кто? Ха-ха! Разве эти выродки, шуты и дофины, могут защищаться? Нет, они не так сделаны, у них слишком нежные руки! А Бог — если Он есть — видел слишком много крови, слишком много смертей... Да, кровь, — все красно от крови... Поэтому и живите ею, пока еще бьется сердце. Все позволено — все безнаказанно — и все ваши придуманные законы полетят кувырком, стоит только сказать: я не хочу!

Ропох стих. Медленно, крадучись, один за другим, горожане разделяются, шепчутся, примыкают к Красному, покорно и жалко. Только немногие остаются около Дофина.

— Ты наш, Старый город! — кричит в упоении Красный. Дофин презрительно пожимает плечами:

— И вот в этом бессвязном, пьяном крике погибнет все...

Откуда-то заунывно звонит похоронный колокол. Кривое Веретено, волоча за собою черный креп, проходит через площадь, заглядывая каждому в лицо, и повторяет под звон, уныло и зловеще:

— Солнце мы, солнце хороним! Беззакатное солнце Старого Города!

— Мы гибнем, мы смертны... слышится в толпе. — Корабли не вернутся.

— Спасите! Спасите! — кричит какая-то женщина. — Спасите!

Этот вопль готов уж захлестнуть всех, но Черный, молча наблюдавший до сих пор, быстро наклоняется вперед и поднимает руку.

— Корабли будут завтра отправлены, — говорит он в внезапной тишине, отдельно и веско отчеканивая каждое слово.

— Будут? — вскрикивает с надеждой Тоска, хватая его за руки, но он качает головой и отводит ее руку.

— В последний раз.

— В последний раз! — надорванным эхом откликается Тоска, понимая теперь, что это действительно конец.



На пристани Старого Города паряет из радужных камней, как будто небо отразилось в воде и легло на них. На небе палевые переливы зари. Сбоку, над ступенями поднимаются мраморные колонны Храма Кораблей. Последний корабль готов к отплытию. На носу — резная фигура, золотой канат связывает его с колонной храма. Оранжевые паруса, как осенние листья, палуба завалена драгоценностями, золоченые сходни переброшены на берег. Еще никого нет. Только Дофин и Тоска, всю

ночь бродившие по Старому Городу, встречают зарю на пристани.

— Сегодня уйдут корабли, — задумчиво говорит Тоска. — Посидим здесь немного. Иногда бывает так странно, когда ждешь чегонибудь. Так хочется, чтобы было скорее, и только, когда это придет, то видишь, что ожидание и было самым лучшим.

Дофин тоже присаживается на ступени храма и качает головой.

— Нет, я ничего не жду. Все просто и ясно. Посмотри, как прекрасно небо — спокойное, светлое, далекое. Оно видело так много страданий, что перестало их замечать. Это много значит — сохранить для себя только одну улыбку. Знаешь, если бы сейчас, вот здесь рушились эти колонны — я смотрел бы и улыбался. Можно умирать или жить — но улыбка останется. А все муки, до нее пройденные — отбросятся, как бесполезное.

Тоска порывисто встает и подходит к парапету.

— Я никогда не слыхала таких слов. Почему ты раньше не говорил их?

— А разве мы знаем, что иногда говорит в нас? — улыбается Дофин. — Мы кончаем жить. Не можем бороться. Разве вот эти руки прольют кровь? Мы обречены, и хорошо еще, что мы это знаем. По крайней мере, если не умели жить так, как надо, то сумеем с честью умереть. Это тоже много. Если хочешь приблизиться к жизни — и понять ее — отойди от нее.

— Нет, я не могу!

— Жить — это значит улыбаться.

— Нет! Жить — это значит гореть и рваться куда то — далеко, далеко. Мы не знаем, что в этих, неизведанных далях. Бог проклял дьявола знанием, но человеку, как высший дар, дано прикоснуться к кубку неизвестности... Только прикоснуться к нему губами и быть навсегда отравленным, навсегда обреченным искать...

— Потерянное и не найденное.

— Но как же счастье, к которому мы стремимся? Скажи, Дофин, самый страшный и справедливый закон на земле — Возмездие. Скажи, сейчас мы страдаем за наше счастье — или уже счастливы?

Дофин печально покачивает головой.

— Не знаю...

— Ибо Бог проклял дьявола знанием, — подчеркивает насмешливо Черный, появляясь из-за колонны. Дофин и Тоска встревоженно оборачиваются.

— Ты откуда? Что ты делал в храме? — спрашивают оба в один голос.

— Вот видишь, ты меня не любишь, — спокойно отвечает Черный, обращаясь к Тоске и тоже усаживаясь на ступеньки, повыше их, у самых колонн. Он упирается локтями в колени,

кладет подбородок на скрещенные пальцы и смотрит в упор на нее. — А между тем я осматривал лампадки — заканчивает он.

— И что же? — невольно вырывается у Тоски.

— И очень многие потухли, — небрежно роняет Черный.

Молчание.

— Скажи, почему в твоих словах больше, чем... неуверенно начинает Тоска.

— Чем нужно? — усмехается Черный.

— Нет, но больше, чем они говорят, — быстро заканчивает Дофин.

— Что значат слова? — медленно цедит Черный. — Клочки одежды, в которые мы силится одеть нашу мысль. А мысль остается невысказанной. Тем лучше. Пусть понимает ее, кто может, а для других — не стоит и говорить.

— Какое у тебя странное лицо — говорит Тоска, пристально вглядываясь в него. — И пустые глаза... пустые. Зачем ты сюда пришел?

— Все имеет начало и конец — снисходительно поясняет Черный. — Все совершается так, как нужно. Определенный круг событий заканчивает цепь. Обрывается одна — начинается другая. Всякое звено имеет свое назначение и каждое важно, а вся цепь — ничто.

— Только глаза могут быть пустыми, но не мир! — горячо перебивает Дофин.

Но Тоска не собирается спорить. Тоска боится и верит Черному. Он пугает и притягивает ее.

— Ты все знаешь, — убежденно говорит она. — Скажи, зачем пришел Красный? Как мог он один поколебать нашу жизнь?

— Спроси это небо, — улыбается Черный. — Может быть, оно ответит тебе на извечный людской вопрос: зачем?

— Да, вы создали целый мир, но он никому не нужен! — раздается насмешливый голос, и они так увлеклись, что не заметили Красного, давно уже с хамской улыбкой наблюдавшего за ними.

— Мир создается умом, — продолжает он, — живет сердцем и умирает печалью. А мы все разрушим. Нам не нужно ума — он сушит. Не надо сердца — оно отравляет. И не надо печали — мы хотим жить. А кто не понимает этого, кто не с нами — умрет. Пусть мы грубы и дерзки — разве кровь тиха и спокойна? Не нужно утонченности. Пусть это будет простая, грубая радость. От того, что молодо тело, сильны руки и нет страха. Все позволено. Пусть будет разврат и цинизм, кровь и болото. Все равно. Вы отжили. Вы уйдете.

Он резко поворачивается и вмещивается в толпу горожан, спешащих на площадь. Черный сидит неподвижно и молча, Дофин надменно улыбается, только Тоска не может успокоиться.



— Неужели я должна уйти... куда-то уйти... нервно произносит она, спрашивая и не ожидая ответа, зная, что никто не может его дать.

Горожане пестрыми группами расцвели пристань. К ступеням подходит бургомистр и обнажает голову.

— Мы, Старый Город! — громко начинает он, — и пристань стихает. — Мы посылаем корабли. Последние. Может быть, хоть они вернутся. Я спрашиваю всех, кто остался верным красоте: все ли вы отдали кораблям?

— Мы все отдали... самое дорогое, все... слышится в ответ.

— Последние корабли! — раздается откуда-то сверху и шут, как подброшенный мячик, выкатывается на пристань. — Я тоже отдам им свои бубенчики! Ничего больше нет у бедного шута. Чего притихли? Радоваться надо! Последнее ведь теряете, ничего больше не останется, легче жить будет! Каждому бы из вас колпак мой дурацкий впору, а тебе — он подмигивает бургомистру — первому!

— Замолчи, Кривое Веретено, — здесь не место шуткам, — с достоинством прерывает тот.

— Ну, конечно, — кривляется шут — а кто меня шутком сделал? Положим, я сам им от серьезных разговоров стал. Как поживаете, мои милые? Прелестное трио! Дофин благородствует, Тоска тоскует, Черный человек чернит. А ведь ты чорт, приятель!

— И ты только сейчас это заметил? — почти весело спрашивает Черный.

— Нет, милый, я поглупел немножко... а какая разница между умом и глупостью? Ага! А ведь совсем просто: если правду сказать громко, все смеяться начнут, а если глупость крикнуть, ей все поверят...

Он меняет тон и подходит к Тоске.

— Тоска, королева моя, не сердись. Никто еще не любил тебя так, как я. Все мы живем ведь последний день, улыбнись мне хоть раз на прощанье! Ведь одна ты у меня, одна Тоска! Все слова свои я другим разбросил, чем скажу тебе про свою любовь? Пустые мои бубенчики, пустые... эх, звенят тоской! А вы смеетесь? Не верите?

— Старый Город, корабли готовы. Кто поведет корабли? — спрашивает бургомистр, и все разговоры стихают, все смотрят друг на друга и молчат.

— Я, может быть... жалобно произносит шут, но этот лепет не может прервать тишины, и снова, как упрек, как вызов, звучит вопрос бургомистра:

— Кто из вас, сильный и смелый, будет кормчим?

Тоска стоит спиной к толпе и смотрит на море, сжав руки. Она не знает еще, на что решиться, и борется с этим. Только сейчас, вдруг слова бургомистра кажутся ей озарением.

— Я поведу корабли, — поворачивается она внезапно к толпе. Толпа взрывается.

— Тоска, не уходи! — кричат одни. — Не бросай нас! Нет, иди! — волнуются другие. — Как мы будем жить без тебя? Верни корабли! Дай нам счастье! Старый Город умрет без тебя! Мы погибнем! Иди, светлая! Нет, неужели больше никого не найдется? Тоска лучше всех! Это наш кормчий. Тоска уйдет, что будет с нами? Верни нам счастье! И жизнь! Спаси нас, Тоска!

Крики перебивают друг друга, горожане понимают, что это последнее, что впереди гибель и мрак, — и что она должна уйти. Старый бургомистр смотрит на нее сперва с недоумением, потом задумывается и печально кивает головой.

— Я поведу корабли — тем же тоном повторяет Тоска и горожане молча склоняют головы.

— Итак, ты решил, Старый Город, — заканчивает бургомистр. — Тоска, наша девушка, будет кормчим. Теперь по примеру прошлых лет пойдете в храм кораблей. Пусть они уходят от нас и вернуться со счастьем. Молиться надежде, Старый Город!

Он поднимает руки и медленно всходит по ступеням в храм. Один за другим следуют за ним горожане. Только Красный отступает на шаг, презрительно пожимая плечами, и уходит с пристани.

— Сегодня кончится эта комедия хрустальных душ. Завтра — мое!

Пристань опустела. На ступенях Храма остались только Черный, Дофин, Тоска и шут. Из-за колонн доносится тихая музыка и пенье.

— Ты должна была уйти, Тоска — печально поднимает голову Дофин, и Тоска подходит к нему.

— Мне как то сразу стало понятным, что надо идти. Куда-то, зачем-то. Чем же жить, как расстаться со Старым Городом? Но ведь его нет больше. Мы живем последний день. Красный разрушит все. И когда и сам он, и ты, и даже Кривое Веретено сказали мне, что я должна уйти... Зачем — не знаю. Найти счастье и вернуться обратно? Но почему мне кажется сейчас, что мы все умираем? Уходим и не можем расстаться?

— Ты никогда не верила старому шуту — Кривое Веретено пытается улыбнуться, — что ж делать? Если у меня глиняные ноги, я не могу стоять прямо, я должен ломаться. Иди, Тоска. Может быть, ты вернешься, и тогда у меня будет маленький, такой маленький кусочек огромного счастья.

— Кто-то заставил нас жить, и дал нам разум, чтобы понять всю бессельность и пустоту — горько вырывается у Дофина.

— Жить — это значит улыбаться, — насмешливым эхо повторяет его слова Черный.

— Как хорошо, что осталось немного!

Тоска вздрагивает от этой горечи.



— Не говори так, Дофин. Мне жаль оставлять вас. Всех жаль.

— Вы не пойдете молиться в Храм Кораблей? — прерывает Черный.

— Мне — некому — чеканит Дофин.

— Я тебе молюсь, — шепчет шут, и протягивает руки, но Тоска уже оторвалась от них. Она встает и подходит ближе к парапету, к далям.

— Солнце и море, возьмите мою душу! Одно только в небе солнце. Один Бог на земле. Одно у меня стремление — молитва о счастье!

— Какое большое, какое яркое счастье — насмешливо кивает шут. — А все потому, что смяли маленький, ласковый огонечек, кусочек тепла и нежности... старый дурак!

Дофин поднимает голову и грустно улыбается ему:

— Мудрецам, познавшим человеческое сердце, не слишком ли холодно на свете?

— Последний акт — комедии или драмы? — лениво замечает Черный.

Молитва кончена. Бургомистр и горожане выходят из храма, и Тоска поднимается на палубу корабля. Бургомистр подходит к сходням.

— Кого тебе еще надобно, Кормчий?

— Надежда управляет парусами. Мне больше никого не нужно. Пока у меня есть силы, клянусь, что буду искать счастье. А теперь ты, старейший из города, благослови меня, — отвечает Тоска и опускается на колени. Бургомистр простирает над ней руки.

— Тебе, Тоска, нашему последнему кормчему, тебе, девушка Старого Города, тебе, Тоска, наш завет: где бы то ни было, в буре и в радости, помни: мы, Старый Город!

— Мы, Старый Город! — нерешительно подхватывает толпа.

— Помни, что мы остались и ждем твоего возвращения. Помни, что мы отдали все, и нам нечем больше жить. Помни, что мы обречены на гибель. Вернись и дай нам счастье, исполни старый завет!

— Вернись — кричит пристань — вернись!

— Но если и ты погибнешь, Тоска, — наша последняя надежда — помни до самого конца: Мы, Старый Город!

В голосе бургомистра дрожат слезы. Он ласково скользит рукой по склоненной голове Тоски и спускается со сходней.

— Мы, Старый Город! Вернись! Мы погибнем! Вернись! — волнуется толпа. Бургомистр снова оборачивается к кораблю.

— Пока не разорвана эта нить — последнее, что тебя связывает с нами — простись со всеми.

Тоска умоляюще протягивает руки: — Дофин, Золотой Дофин, прощай!

Дофин подходит и целует край ее одежды.

— Прощай, Тоска. Если ты увидишь Золотого короля — скажи ему, что мне не нужна корона — я умру, улыбаясь.

Он бросает на палубу листья со своего плаща и отходит к колонне, на которую захлестнута золотая нить от корабля. Черный медленно поднимается и выпрямляется во весь рост у колонны. Его лицо совсем открыто и он в упор смотрит на Тоску.

— Прощай, Тоска. Иди туда, где ты нужнее, чем здесь, и если... встретишь меня когданибудь — не узнавай!

Тоска вздрагивает и молчит.

— Прости, Тоска, прости! — шут бьется головой о сходни и бубенчики с его колпака рассыпаются по палубе. — Бубенчики мои возьми на память! Может быть, ты вспомнишь когданибудь, что был у тебя Кривое Веретено, старый шут.

— Что скажет Старый Город уходящему кораблю? — напоминает бургомистр.

— Тише! — вскакивает шут — я говорю! Последнее слово — шуту! — Он поднимает голову и начинает медленно, как во сне!

— Старый Город тихо дремлет в ярком пламени улыбок, в золотом опаде листьев, в тонкой нити паутин, и огни бросает всюду, где проходит тонким, гибким, странным призраком улыбки Золотой его Дофин... В темных башенках молчащих, в старом кружеве решеток, в тонком трепете усталом оброненного листа, так напевны звоны сказок, звон осенних грустных четок, так печальна листопада затаенная мечта...

— Однако, шут, — поэт! Или поэт — шут? — церемонно склоняется к Дофину Черный, и тот слегка кивает головой.

— Что вы скажете, ваше высочество?

— Он, может быть, более прав, чем мы все... тихо отвечает Дофин.

— Старый Город, Старый Город тихо слушает с тоскою, как высоко в бледном небе кинут зовы журавли... Потому что знак сегодня будет бледной дан рукою, Золотой Дофин за море отправляет корабли. Чтоб в пути своем далеком, по морям и океанам, не найти следа обратно, даль изменчиво близка. Наши души умирают, мы отравлены обманом, паруса зажглись на море, имя кормчему Тоска... Волны моря плещут сказки, волны быются изумрудом, и оплакивают небо в умирающей дали... Потому что нам не будет ни прощения, ни чуда, потому что не вернутся с ярким счастьем корабли...! — безумным выкриком кончает шут, и бургомистр тщетно старается придать своему голосу твердость.

— Оборвать нить — это твое право, Дофин.

Дофин рвет нить. Корабль трогается. Все, кроме Дофина и Черного, падают на колени.

— Вернись! Вернись!



Та же пристань, но кораблей нет... Цветные камни парапета завалены обломками разрушенного храма. Повсюду развалины, куски торчащих колонн. Из груды камней с трудом выползает Кривое Веретено.

— А-а, — стонет он, пытаюсь придти в себя. — Да... голова цела, кажется. Самое главное — головы не терять. А вот бубенчики мои оторвались! Отдал на память Тоске, а теперь и последние оторвались... — Лежа, шарит по телу руками и считает: — Один, два, три... ничего не осталось. — Пробует встать. — Ай! Больно... нет, мне уж больше не встать... Да и незачем.

— Кто здесь кричал так странно, как зловещая птица? — спрашивает Дофин.

— Это я — петъ пробовал.

— Ты ранен? — Дофин подходит и наклоняется к нему.

— Нет. Я умираю.

— Бедный мой шут! Помочь тебе чемнибудь? Вот подложи под голову камень... скажи...

— Ах, ваше высочество! Чем ты можешь мне помочь, что мы вообще можем сделать кроме того, что уже совершенно и закончено? — слабо машет рукой шут.

— Да, правда, мы ничего не можем сделать. Мы были вечны, пока верили этому. Мы не знали, что такое смерть, пока не упоминали о ней. А кто сомневается в Боге — смертен.

— И тебе жаль этого?

— О нет. Разве может быть жаль прекрасного?

Дофин присаживается на камень рядом.

— Я прошел сегодня последний раз по Старому Городу. Откуда то летели камни, падали дома. На кострах жгли картины и книги. На площадь выкатили бочки вина и пили из них драгоценное вино прямо пригоршнями. Рядом валялись трупы. Красный, пьяный, целовал какую то девушку. Они называют это радостью жизни. А я улыбался.

— Ты слишком много улыбался, Дофин! Пусть будут они прокляты! Ааа... Почему нам дана красота — бессилья?

— Я бы хотел, чтобы мне было чегонибудь жаль — говорит бесстрастно Дофин.

— Может быть, корабли вернутся? — робко спрашивает шут. Дофин качает головой.

— Они никогда не вернутся, шут. Если ты обманывал других, не обманывай самого себя. Разве ты не понимаешь, что они ушли из нашей жизни и мы стали смертны. Тоска ушла. Мы оба любили ее — и ты, Кривое Веретено, и я, последний Дофин. Мы могли жить только с нею. Она ушла. Мы умираем. — Он поднимается... — Я ухожу.

— Подожди, останься еще немного...

— Зачем? Разве осталось еще чтонибудь несказанное? Если погибла красота, если мы сами погубили ее, то чем же жить? Там, дальше, горят мои осенние листья. Осень Старого Города — пламя. Костер. Я взойду на него, улыбаясь. Прощай!

— Ваше высочество... силится приподняться шут, и по лицу его текут слезы.

— Старый Город не вернется, — задумчиво повторяет Дофин, уходя — Старый Город умирает в золотом опаде листьев, в тонкой нити паутин, и костер осенних листьев он с улыбкой зажигает, чтоб сгорел на нем последний Золотой его Дофин...

Он не успел еще скрыться, как среди обломков появляется Черный, и шут, загоревшись гневом, выпрямляется, насколько может, и поднимает руку:

— Аве, цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!

— А? Шут? — оборачивается Черный. — Раздавлен, конечно. Да, слишком тяжелы камни храмов. Так и должно быть...

— А ты — режиссер, остающийся зрителем? — скрежещет тот зубами.

— Возможно.

— Как я тебя ненавижу! Впрочем, это не меняет дела. Ааа! Горит... Как странно, что мне больно говорить...

Шут силится собрать свои мысли.

— Скажи — пересиливает он себя — ты все знаешь?

Черный останавливается.

— Все.

— Нет, я не хотел бы всего знать... задумывается шут.

— И я... тоже.

Эти слова падают так тяжело, что шут поднимает голову.

— Ты уже уходишь?

— Я пришел только для того, чтобы уйти — пожимает плечами Черный. — Но я вернусь.

— Как странно звучат камни под твоей ногой!

— Это осколки хрустальных душ устилают мою дорогу...

— Почему же ты не смеешься? Смейся же, смейся!

Черный быстро наклоняется к нему и поворачивает к себе его лицо.

— Потому что мне теперь их жаль. Слышишь — жаль!

— Уйди — шепчет шут. — Я не могу больше. Без Бога, без дьявола. Я хочу умереть один.

Черный медленно выпускает его и уходит, не оборачиваясь.

— Больно — говорит шут, помолчав. — Устал. Странно: умираешь, и все таки живешь. Вот и все. Был шут и нет его. Все ушли. Может быть все это действительно было ненужно. Почему я никогда один не был, а тут вдруг остался? Пожалуй, будь это на площади, кругом народ, лица, я кувыркался бы последний раз, чтобы умирая, слышать, как другие смеются. Это единственный достойный меня конец. А так... хоть бы

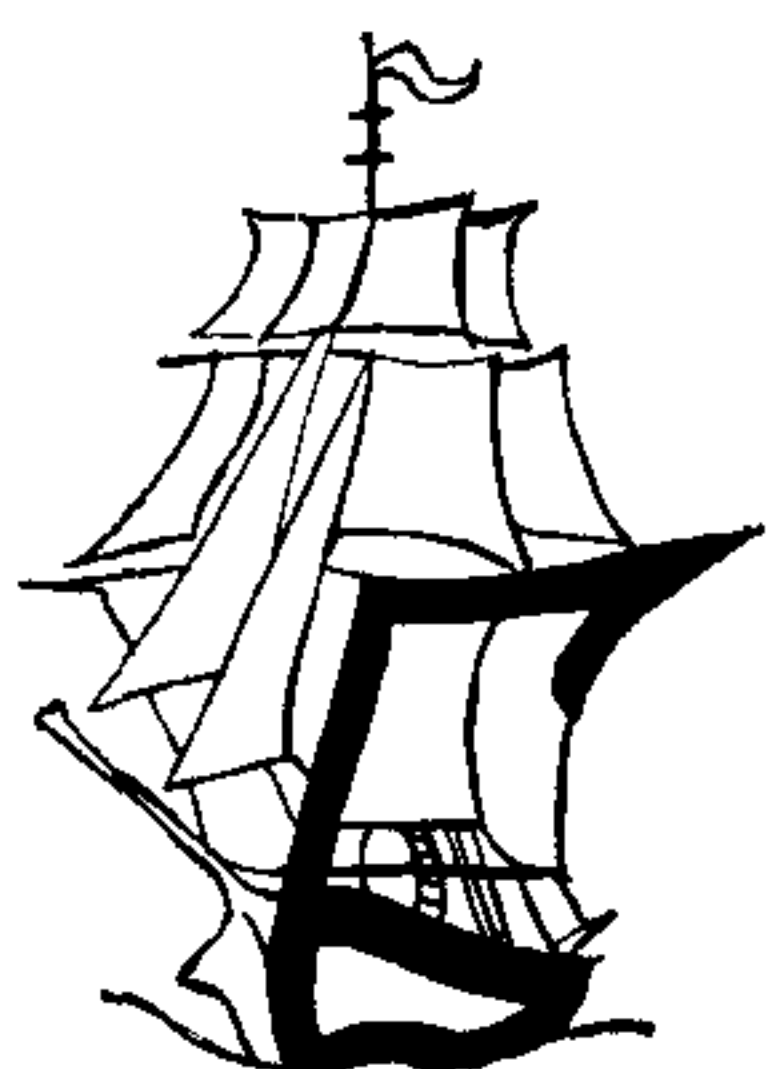


скорее... Так нет, тянется что-то, а мне нечем больше вытягивать, поймите это! Кто-то заставил нас жить... Это мой горький Дофин говорил так. А вы думаете это весело, сознавать себя только воплощенной мыслью, марионеткой? Господи, прости мне мое богохульство. Только ноша Твоя не по силам. Что Ты дашь мне, когда я приду к Тебе со своими бубенчиками, все потеряв, даже Тоску? Новую дорогу, да? А если я ничего не хочу, жить не хочу, никогда, нигде... Человек, увидевший дьявола, может умереть. Больно... А-а-а... А я все таки доползу. Завтра уже и стены этой не будет. Может быть, мы за ней сами от себя прятались? Нет, надо подняться на стену. Там — море... Если бы подняться немного, увидеть... Горит у меня, горит... Только еще немного повыше, и ветер заласкает, зашепчет. А небо уходит так далеко, так ласково улыбается, дробится в переливах... Больно... ну, еще немного подняться, ну... может быть, там на горизонте парус. Ближе, ближе... волны, не шумите, несите скорее. Так осторожно и нежно, как разбитую игрушку больному ребенку. Наше счастье! Золотая корона — Дофину, улыбка Тоски — шуту...

Он поднимается, держась за выступы стены и падает.

— Нет, мне не подняться, не подняться больше... Дофин уже умер — ему не нужна корона. Не лгите, волны, я больше не верю в ваш шелест. Он слишком спокоен, он слишком вечен, чтобы быть справедливым. Мне никто не вернет моей Тоски, мне не подняться больше... Как это глупо!

— Прости меня, Господи — прости меня Господи, — ха-ха — что Ты не научил меня молиться! Может быть... может... быть... корабли... еще вернуться...



ей сговорился со знакомой редакцией и они по вечерам приходили туда переписывать. В твердой россыпи букв — почти печатная книга! — собственные слова кажутся немного чужими, живущими своей, тайной и открытой всей жизнью. Джан переживает первую влюбленность в свое творчество: кажется, что она сама выросла, приобрела значение. Непонятно даже, как это кругом не видят, не замечают ее мыслей, говорят о пустяках. Но пока что — кроме Бея — ее единственная читательница Вероника.

— Ха! Это вещь! — изрекает Морж. — Талантливой я тебя считала всегда, но чтобы такое произведение в твои годы... Одних комментариев хватит на том, если разобрать подробнее! Не фразы, а философские формулы! Но, конечно, влияние Андреева и Метерлинка ясно, любопытно, что ты сделаешь дальше с Черным. Это ведь только первая часть?

— Да, трилогия в форме пьесы. Пока я еще не представляю себе, что будет дальше, но это придет, конечно.

О, впереди еще много времени. Всеобщее признание и громкая слава светлым облаком окутывают будущее.

Есть еще один скромный, тайный и пламенный почитатель таланта — круглолицая Катышка. Но она боится даже заикнуться о том, что стащила у Вероники рукопись и прочла под одеялом. Понять, конечно, невозможно — куда ей! Должно быть, страшно умное. Катышка перерыла учебники в поисках слова «клафт» и, повязав кружевную наволочку, вставала в позу перед зеркалом.

— Прощай, золотой Дофин, прощай! — говорила она, простирая руки и прищуривая глаза совсем щелочками, чтобы румянец на щеках не казался таким неприличным для бледной, воздушной Тоски. Но румянец не унимался, и Катышка, горестно вздыхая, отходила от зеркала.

Бей втайне тоже гордился произведением Джан. Сам собой завязался однажды разговор в редакции со знакомым актером. Волин — по псевдониму — был непозволительно молод и старался подражать лучшим образцам.

— Так мало новых, интересных пьес в современном репертуаре — с вдумчивой серьезностью старого премьера говорил он, покачивая головой, как утенок. Когда Бей упомянул о только что написанной фантастической пьесе молодого автора — конечно, не сказав ни слова о жене — Волин искренно загорелся.

— Достаньте! Когда сможете принести в редакцию? Завтра? Великолепно! Непременно прочтем с Нездолиным. Он, знаете ли, не одному уже драматургу сделал имя.

Бей принес, но Джан сказал только вскользь, что хочет показать кое-кому, чтобы не обольщать надеждами. И через несколько дней совершенно забыл об этом.



Приглашение автору явиться к Нездолину, переданное ему месяца два спустя, было неожиданным и ошеломляющим. Бей не вошел, а ворвался домой, потрясая букетом флоксов, купленным на углу у торговки.

— Джанум! Джан! Не забудь, что я первый принес тебе цветы, когда ты станешь знаменитостью! Твоя пьеса — принята Нездолиным — к постановке! Сегодня в три часа тебе надо быть у него. Ну, поздравляю!

Приглашение к Нездолину, создававшему и актеров, и авторов, к Нездолину, прозванному русским Рейнгардтом за невероятные постановки Метерлинка, Ростана и Андреева, проигравшему в театр не одно состояние — к Нездолину, не ужившемуся сейчас со своим размахом в Русской Дrame и открывающему собственный театр! . .

Да, голова действительно кружится. Розовый туман и необычайная четкость всего окружающего. Джан все еще немного бледна, зрачки расширены. Верманский парк в сладком запахе флоксов и поздних роз. Серые каменные львы нежатся в розарии под теплым сентябрьским солнцем, сыпящим янтарные блики на клумбы, и лениво улыбаются тупыми мордами.

На Театральном бульваре солидные, широко раскинувшиеся дома с просторными подъездами. Здесь лучшие гостиницы города, дорогие рестораны. Известному драматургу, например, вполне приличествует встретиться — с иностранными журналистами для интервью — в бесшумном ковровом холле «Рима» — до сих пор Джан только заглядывала туда, проходя мимо, — или войти в шикарную кондитерскую Шварца, небрежно поправляя меховую накидку и стягивая лайковые перчатки.

Перчатки Джан снимает в передней пансиона, чтобы не было видно замохрившихся кончиков, голос сдавлен, и горничная в плоеной наколке переспрашивает два раза. Но Джан преувеличенно спокойна. Джан ровно перешагивает светлый порог из длинного коридора в солнечную пыль комнаты, не покачнувшись, скользит по паркету и рассчитывает глубину кожаного кресла: нельзя развалиться, и нельзя присесть на кончик, но вот так, со скромным достоинством, твердо сжать колени, чтобы не дрожали, и попросить разрешения закурить.

Нездолин, высокий, полный, с сияющей лысиной и как то тоже лысым лицом старого благородного актера и барина, с певучестью манер и мягкой выхоленностью рук, подвигает тяжелую хрустальную пепельницу, но сам отказывается пренебрежительным жестом.

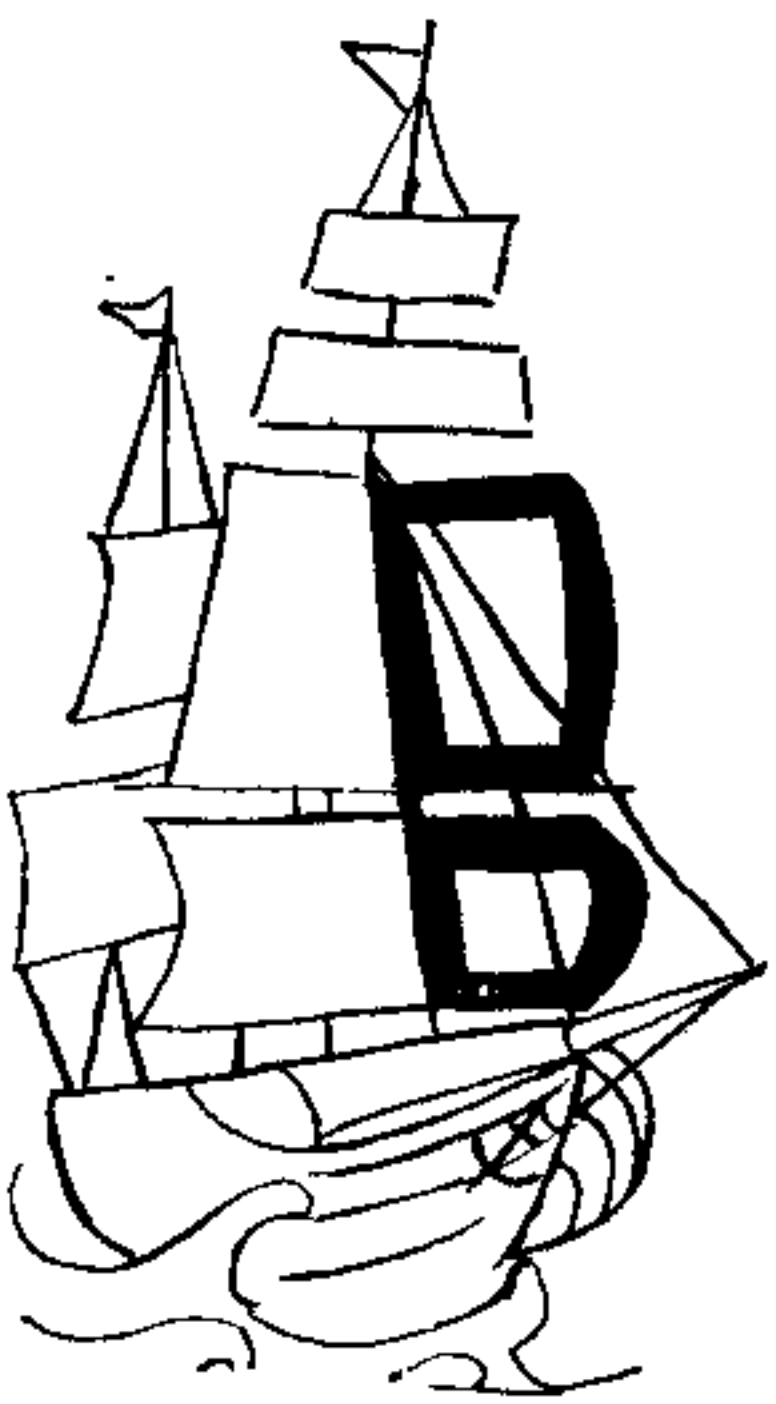
— Не курю и не пью — только на сцене — бархатно рокочет наигранный голос — не голос, а клавиатура. Ему, конечно, не надо долго знакомиться. Девушка одета только в свои двадцать лет — это ее единственная роскошь. Чем то напоминает школьный передник и светлое упорство глаз Эльны Гистед — звезды, явившейся к нему, как гимназистка... Нездолин рокочет плавно и не задумываясь. Пьеса понравилась. Даже больше. Ярko, оригинально. Она заслуживала бы настоящей постановки, как «Синяя птица», например... Но чтонибудь можно сделать и в сукнах. Еще раз, последний, вероятно в своей жизни, он создаст новое поколение актеров. В октябре — открытие сезона в новом театре. Средств нет. Актеры работают без жалованья, репетиции только по вечерам. И вот нет суфлера. Не хочет ли она принять на себя эту должность? Не умеет? Не беда, можно научиться. Конечно, работа тяжелая и неблагодарная, без аплодисментов, но зато жалованье, хоть и очень скромное. Следующий вторник, восемь часов вечера, в театре на Спасо-Церковной улице — да, Московский форштадт, ничего не поделаешь. А «Корабли» пойдут в течение сезона...



Как будто чего-то не хватало в разговоре, настоящего. Или только потому, что нет подписанного контракта и аванса? «Корабли» в Русской Дrame были бы лучше, но они все таки приняты у Нездолина. Пойдут. И она будет работать в настоящем театре, у знаменитого режиссера. Неблагодарная роль суфлера! Ах, Боже мой, да в театре и сцену подметать приятно. Хоть какнибудь, краешком войти в этот чудесный, волшебный, ни с чем несравнимый мир!



Сцена хрупка и бесплотна. Она кажется жизнью и длится мгновение. В этом ее очарование и потрясающая сила. И актер, и зритель упоительно горд игрою в жизнь на минуту, на один вечер. Как будто жизнь длится вечность, как будто в жизни человек не играет ролей, как будто вся жизнь вообще — не только наше представление о ней. «Как будто» — это формула театра. «Как будто» — это значит очень много. Почти все.



доль длиннейшей Московской улицы, отступая на квартал, лениво тянется, огибая островки, рукав Двины, как отдельный локон расплетающейся голубой косы. Берега выложены крупными камнями в венчиках травы. С Двины тянутся скользким ковром рыжие плоты и погромыживают бревнами. От канала к пыльной, звенящей трамваем, Московской выбегают наверх концы и начала поперечных улиц и просто широкие, неряшливо застроенные тупики. Они все некрасивы, с мутными заливами штукатурки на стенах, с неровно спотыкающимися булыжниками мостовой, но во всех — свежая речная сырость и веселый ветер.

Ветер треплет плохо приклеенную, пышно-малиновую афишу на зазывной плакатной тумбе. Она стоит на углу, как сундук с королевскими мантиями, выброшенный с чердака на перепутье. Ветер треплет разноцветные лоскутья миражей и очень доволен.

Театр почти у реки, похож на усадебный особняк, только деревянно коричневого цвета. Широкая лестница, обогнув вестибюль, поднимается к небольшому залу. Со сцены тянет холодом и пылью. За сценой — кавардак составленных кулис, узенький коридорчик с клетушками уборных, некрашенные столы и безжалостно голые лампочки у зеркал. Вот и весь театр.

Затаенность дыхания и сладкая, волнующая жуть — прошли, как первая влюбленность. Джан уже без трепета поднимается по лестнице. В пустой зале, в ожидании репетиции актеры столпились у сцены: хохот, споры, цитаты из ролей.

«Театр-миниатюр, — острили в городе: — миниатюрнее всего — таланты.» Но это неправда. Группа талантлива, только пестра, как мозаика, где все цвета, кроме основного. Джан впервые попадает в такое общество и сразу вливается в общий тон. Так же, как все, она беспрерывно курит, и кажется самой себе вполне современной, усталой, пожившей женщиной. Доверчивость и умение слушать — незаменимые качества Джан, иначе бы ей не простили серьезности и полного иммунитета в любовных делах и интригах... Но она думает подолгу о них, и дома рассказывает Бюю, возмущаясь мировой несправедливостью.

Первая звезда — Елена Прекрасная, Эль, ла Белль. Она добросовестно прошла студию Нездолина и работала один сезон в маленькой антрепризе — значит, уже заслуженная актриса со стажем. И притом с положением: муж — инженер-химик, никогда не появляющийся в театре, но зато имеющий парфюмерную лабораторию. Эль снабжает всех, к кому благоволит, дешевым одеколоном и духами. Своей лаборатории она служит рекламой, не делая разницы между гримом на сцене и так. У нее большие, очень красивые, подчеркнута невинные глаза, зубы напоказ. Прекрасная Елена часто роется в сумочке, вынимает оттуда баночку и скидывает с плеча каракулеву шубу:

— Посмотри, наш новый крем для кожи — правда, шелк?

Голос у нее наигранно ласковый, тоже шелковый, платья она меняет каждый день, и притом признает только бальные туалеты. Трен нередко подколот английской булавкой, чтоб не волочился зря, платья декольтированы до пределов возможного, красивы и дороги, но всегда помяты, в пятнах и дырках. Заметив чейнибудь удивленный взгляд, Эль запахивает шубу и небрежно поясняет:

— Я должна сегодня идти на этот скучный обед у профессора...

Или:

— Была в гостях и оттуда прямо на репетицию...

Но это неправда. В гости и днем не надевают парчи, а после репетиции очередной поклонник провожает ее домой — тут же, на Московской в унылый каменный дом. Даже Джан не верит больше в светских знакомых, но потрепанные бальные туалеты

неотделимы от Эль, и то, что она покупает их из вторых рук, подержанными — это тайна, конечно.

Эль, между прочим, начитана, даже в философии и в оккультизме, что не мешает ей пить водку стаканами, и даже не закусывать папирсой, потому что это «не женственно.» Людей она делит на две категории — своих поклонников и других, которые не восхищаются ею, а следовательно, идиоты. Бей сразу заявил, что Эль — его идеал, и постоянно приходит за кулисы, рисуя ее во всех видах, к огорчению Кюммеля.

Настоящая его фамилия — Тюмелис, но к знаменитому рижскому «кюммелю» он питает особую склонность — если при деньгах. Зовут его совсем неожиданно — Илиодор, и это так же несуразно, как и внешность: ему еще нет тридцати, но лысина у него еще больше, чем у самого Нездолина, голубоватые глаза смотрят с собачьим обожанием на Эль, нос картошкой, и расплзающиеся губы. Эсмеральда и Квазимодо.

— Или пара, достойная кисти Айвазовского — подсмеиваются актеры, и если ктонибудь недоумеваает: почему именно Айвазовского? — отвечают:

— Потому что вдвоем могут выпить море!

Кюммель бесспорно талантлив — комик, трагик, и прекрасно декламирует. Трудно сказать, какая из трех его страстей сильнее: водка, театр или Эль — но гибельны все.

Единственная, в сущности актриса — Звезда Северная, короче, просто «Звезда». К тому же и классическая красавица, фигура и голос богини. Кручинина в «Без вины виноватые» ее любимая роль, но во всех остальных ролях она тоже немного Кручинина, и это уже скучно. Непонятно также, почему все актеры предпочитают не ухаживать за ней, а поддразнивать до истерики.

Звезда скрывала свой возраст, но по своим же рассказам, была барышней уже во время мировой войны — если не раньше. Бедный домишко где-то в предместьи и единственная цель и надежда — найти хорошего жениха. Мать, типичная мещанка, испугалась ее первого увлечения бедным студентом и заставила в течение нескольких дней обручиться с Александром Васильевичем. Профессор был тогда уже одутловатым, не очень молодым человеком, но с деньгами. Ах, какое подвенечное платье разостлала на кровати мать — подарок жениха! У нее сразу высохли слезы... Вот в этом и была вся жизнь: обдумывать туалеты, как художник картину. Даже поклонники интересовали только, как свита: завистливые взгляды женщин льстили больше, чем поклонение мужчин. Она не загоралась от любви, тем более, что профессор, несмотря на свою философию, был не только жирным обжорой, но и таким же неаппетитным павианом. Звезде пришлось сделать десятка три абортвов, пока родился сын Слава и только благодаря железному здоровью она



не стала старухой в молодости. Нет, любовные романы совершенно не интересовали ее: она не могла даже подумать о них.

И все так думала: корнет фон Доорт так же картинно щелкал шпорами, как офицеры когда-то. Конечно, он слишком молод для нее. Звезда строго относилась к своей репутации и держалась с ним на обычном расстоянии.

Сейчас они жили тем, что профессор продавал свою книгу, кочуя по городам с пачками томов. Знакомые покупали, чтобы отвязаться, журналисты помещали благожелательные отзывы в виду почтенного тома: посредственность автора исключала риск.

Джан не могла понять, как можно не работать, не стараться добиться чегонибудь самой. Приглядевшись, она поняла впоследствии, что Звезда была очень маленькой звездочкой, но привыкла защищать ее, уверившись в том, что если такая красивая женщина не покорила жизни, то это трагическая несправедливость судьбы.

Последняя и сама молодая примадонна — Шурочка Звонарская, небольшая блондинка с вздернутым носом и непомерным бюстом — предмет постоянных огорчений.

— Звонарская, зашнуруйте вашу молочную ферму, вам пятнадцать лет по пьесе!

— Ничего не могу больше сделать, Николай Николаевич, не уместается, все рвется!

— Пусть рвется, лишь бы уместилось!!

У Шурочки Звонарской хрипловатый голос, и от нее за версту несет Московским форштадтом. Она способна спутать алгебру с альковом, если ей не объяснить во-время, но природный талант. Она стреляет у всех папиросы и шепчется с Волиным, героем любовником и любимцем Нездолина.

Герой он только потому, что любимец. На простачка-парня еще бы хватило, но в остальных ролях — беспомощен.

Чего нельзя сказать о Кирилле фон Доорте. Он любит подчеркивать «фон» и звенеть воображаемыми шпорами — которых и раньше то не было.

Трагикомедия в сущности: человек искренне живет тем прошлым, которое у него без сомнения могло бы быть, но не было из-за простой поправки: не хватает с десятков лет. Блестящий «корнет фон Доорт» не смог кончить даже кадетского корпуса — ему сейчас только двадцать четыре года.

Из ансамбля торчит еще высокая фигура молчаливого Константина Николаевича, племянника Нездолина. Он не слишком молод, интеллигентен и бесцветен, но на сцене производит хорошее впечатление и по настоящему работает над ролями.

Вообще же ансамбль — великолепная коллекция во главе с Вероникой. Да, Морж сама явилась к Нездолину после первого рассказа о нем Джан. Бей, подвывая от удовольствия, иллюстрировал молниеносными набросками это посещение. Примадонна — Морж!

В действительности Вероника обнаружила неожиданную прыть, и, что было самым удивительным — здравый смысл. Она явилась к Нездолину без всякого трепета, села египетской статуей, общелкнула острые колени порыжевшим платьем и безапелляционно заявила:

— Ха, господин директор! Хочу играть в вашей труппе. Молодых и красивых актрис у вас наверное достаточно, а комических старух им играть невесело. Я по любви, бесплатно. Театр знаю хорошо, десять лет ставлю школьные спектакли. В «Комеди Франсэз» . . .

Последовала длинная лекция о французском театре. Нездолин пытался перебить, вставить слово, но Вероника размахивала локтями, угрожающе клевала носом, и заговорив его вконец, торжествующе хмыкнула:

— Мы еще поспорим с вами на репетиции, господин директор, ха! Какую роль вы мне дадите?

На первой репетиции у Джан упало сердце, когда Морж, оттолкнув подвернувшуюся кулису, вышагнула на сцену. Но Вероника знала уже не только свою, но и чужие роли наизусть, нисколько не смущалась, налету схватывала все указания. Смешная в жизни, она оказалась блестящим уродом на сцене.

Она была чрезвычайно близорука. Это очень помогало в жизни: мешало видеть насмешливые взгляды и самое себя огородным пугалом. Она была твердо уверена, что ее судьба — остаться старой девой и потом, выйдя на пенсию, поливать розы в горшках и читать французские романы. Скванность семьей и школьной программой стала скучной привычкой, но за последнее время скука выросла настолько, что стала трамплином для совершенно неожиданного скачка на сцену.

Конечно, Вероника не мечтала всерьез о театральной карьере. Резкий поступок казался ей очень смелым и гордым, и она выросла в собственном мнении. Ей даже пришло в голову, что достаточно только захотеть, и человек может повернуть жизнь по своему.

Утром школа, надоевшие серые классы, уныло желтая кафедра, глупые детские глаза и косички. Потом улицы, уроки. Вечером — но теперь уже не вечером, а ночью — стопки синих и серых тетрадей, одни и те же кляксы, одни и те же ошибки. Но день приобретает теперь новый интерес — потому что есть вечер. Вечером репетиции или спектакль. Веронику затыкают в любую неинтересную роль, и она с азартом старается справиться. Отношения с труппой у нее самые скандальные. Сперва она была искренно покирована, но рассказы Нездолина о прошлом скрашивали нищету теперешней сцены, сцена увлекала, а кроме того были еще два тайных удовольствия, в которых она признавалась самой себе под большим секретом.

До сих пор она обходилась двумя-тремя платьями, и привыкла к ним, как к собственной коже. Теперь же надо было

часто переодеваться. В шушуны, правда, в длинные сборчатые юбки или лохмотья, но это были новые кожи, и в них нужно было говорить новые слова. И второе. Второе пришло неожиданно.

— Вероника Николаевна, — сказал Нездолин, улыбаясь своей самой очаровательной улыбкой — до вашего выхода еще добрый час. Может быть, вы согласитесь помочь нашему директору разобраться в счетах? Я обещал ему прислать самого толкового человека изо всей труппы.

— Я думала, что вы у нас единственный директор, Константин Николаевич.

— Ах нет. Я был, быть может, недурным актером, неплохим режиссером, но все, что связано с цифрами... Мои постановки стоили мне слишком много, чтобы я мог сосчитать убытки!

— Где же этот несчастный счетчик?

— Внизу, в кабинете. Князь Нагаев. Очень милый молодой человек и талантливый делец. Познакомьтесь.

— Колоссальное самомнение у нищего аристократа! — фыркнула Эль.

— Но если бы он обратил свое благосклонное внимание на наших примадонн, то они передрались бы за честь стать княгиней, хотя бы и с левой стороны.

— Витамин, это чересчур!

— Наглая ложь! Бездарный дурак!

— Господа! — зарокотал мягкий бас Нездолина. — Из уважения к вам не смею спорить, но прошу приступить к первому акту. Звонарская, куда вы помчались? Слева ваш выход, слева, сено-солома! Спокойно, пожалуйста!

И Нездолин, мгновенно разъярясь, заколотил палкой о стулья.

Вероника пожала плечами, но пошла вниз. Где же этот «кабинет»? Каморка под лестницей, что ли?

Кабинет и был каморкой с голым окном на двор. Стул, облезлый письменный стол, портфель. За столом — высокий брюнет в темном костюме.

— Вам угодно...? — приподнялся он.

— Я из этой кунсткамеры наверху, — выпалила Вероника. — С позволения сказать артистка лихой труппы, ха! Сейчас свободна — и Нездолин просил меня помочь вам.

— А! Я очень рад. — Темные глаза мальчишески блеснули при слове «кунсткамера» и при виде Вероники, но теперь он встал и представился:

— Нагаев. Вы курите?

— Конечно, нет.

— Почему конечно? Сейчас все молодые женщины курят.

— Вы слишком любезны, князь. Я старая дева, а не молодая женщина, ха! — фыркнула Вероника.

— Вот как? — князь изумленно приподнял брови. — Что же, это тоже может быть взглядом на жизнь... Но я принципиально считаю всех женщин молодыми.

— Прелестно. А какие еще у вас принципы?

— Никаких.

— То есть как? Чем же вы руководствуетесь в жизни?

— Единственным девизом: «лови момент»!

— И вам не стыдно?

— Нисколько. И современно, и... удобно. Вы, конечно, ставите мне единицу за поведение и возмущены.

— А вы считаете себя психологом?

— Безусловно!

— Мне нравится ваше нахальство!

— Чего как раз я и добивался.

Так началось их знакомство. «Хинтертреппенроман» — с горькой насмешкой озаглавила Вероника свою работу в «директорском кабинете». Она никогда не считала себя способной к бухгалтерии. Опытный бухгалтер пришел бы еще в больший ужас от этого хаоса. Но князь сказал, что всунул в театр несколько тысяч от оставшегося наследства, и этого было достаточно, чтобы Вероника отыскала путеводную нить. Князь сказал, что может прогореть, если так пойдет дальше — и Вероника придумала дешевые спектакли, и наладила распространение билетов. Энергия Моржа стала печальной известностью в рижских кругах.

Чтобы не отказываться от уроков, ей приходилось теперь править ученические тетрадки поздно ночью, чуть ли не под утро, но легкий треск в голове по утрам проходил от мысли, что исчером — теперь только на несколько минут — князь заглянет в каморку, улыбнется и скажет:

— Bravo, bravo. Впрочем, от вас я ничего другого и не ожидал.

После ученического спектакля, глупая Катышка, взволнованная и потрясенная, с умилением таращила глаза на проходивших артистов, дожидаясь в коридоре, пока Вероника разгрямируется. При выходе из театра они столкнулись с Нагаевым.

— Так поздно, князь — удивилась Вероника. — Я не думала, что вы еще будете работать.

— Дела, дела...

— Он — настоящий?! — восхищенным шопотом спросила Катышка, для которой весь мир сверкал сегодня невероятным фейерверком, и не дожидаясь ответа — разве могло быть чтонибудь обманчиво в этом мире? — прибавила со вздохом: — Он бриллиант и князь! Чего же больше?

— Дура! — резко оборвала ее Вероника и сердито потрянула ее руку. — Что за выражения в пятнадцать лет! Из каких романов ты их вычитала?



Но Катышка не сочла нужным оправдываться. В трамвае для нее не нашлось места и она стояла, прижавшись к коленям Вероники, невидящими круглыми глазами смотрела в темное оконное стекло. В нем металась и вздрагивали дождевые капли, а за ними все снова и снова вспыхивали огни, раздвигался занавес и настоящие князья влюблялись, умирали, стрелялись и звенели шпорами, и говорили такие слова, которых никто никогда не слышал.

А Вероника смотрела на болтавшуюся перед ней толстую косу сестры, и не могла оторваться от визга трамвайных рельс. Визг казался перебивающимся синкопами дрожащего, как сердце, модного танго, в котором звенели такие неожиданные и определяющие все слова: «Он брюнет и князь — чего же больше?»

Нет — в двадцать семь лет она не могла бы подобрать другого определения!

Мальчишеские глаза, упрямый затылок, тяжелые брови и капризный, насмешливый рот. Князь носит костюм, как улыбку: небрежная самоуверенность, заменяющая элегантность. Он может с чисто парижским акцентом бросить французскую фразу и поддержать разговор на любую тему, ничем не обнаруживая своего полного незнания предмета. Прекрасно играет в шахматы, бридж и покер, знает историю, совершенно безграмотен в литературе, и больше всего интересуется политикой. Жаден к жизни и расчетлив в мелочах. Любит только самого себя, уверен в своей непобедимости. Не слишком умен, но очень неглуп, и щепетилен во всем, что касается его личной свободы.

Все эти черточки психологического портрета Вероника подобрала из наблюдений, рассказов и собственным чутьем, обостренным любовью. Если бы она услышала о князе Нагаеве раньше, она пожала бы плечами и изрекла: «Дон-Жуан и плоский мерзавец!»

Но она увидела и влюбилась в него прежде, чем успела узнать. Все же остальное проходило сквозь призму дрожащего сердца — а в этой призме только розовые и золотые тона.

Она видела князя во сне каждую ночь. Этого уже было достаточно, чтобы проснуться с затуманенной улыбкой — в ожидании вечера. Иногда так мало надо для счастья.

Никому из домашних не приходило в голову, что объяснение многих следующих поступков Вероники легче всего было бы найти у Фрейда. Она гораздо реже изрекала свое громогласное «ха!» и категорически заявляла, что купит себе новые туфли. Мечта эта загорелась после того, как князь сказал как-то, что у Эль очень хорошие ноги, но слишком велики, и она не умеет носить обувь.

Вероника никогда не покупала себе туфель. Тетка оставила в наследство целый сундук — и она донашивала старомодные лодки с ужасными носами, шнуровкой, и нелепым французским

каблук, как бантик на корове. Истратить деньги из жалованья казалось грехом. Но Вероника собиралась уже совершить и это преступление, когда Нездолин передал ей конверт и сказал:

— Конечно, Вероника Николаевна, все актеры работают у меня бесплатно, хотя их услуги и неоценимы... Но вы теперь, кроме того, еще бухгалтер, так что разрешите этот скромный гонорар...

Сразу после школы Вероника побежала по магазинам. От элегантно замши нога менялась, как у Золушки. Вероника почувствовала, что могла бы примерять часами, но ужасные шнурованные ботинки, стоявшие рядом со скамеечкой, с таким жалким стыдом сами готовы были удрать из магазина, что она заторопилась и взяла безумно дорогие, по ее понятиям, туфли. Но так восхитительно совершать безумства!

Первые шаги на улице, как скаковая лошадь с забинтованными ногами, грациозно и бережно, чтобы не запачкать копытец. Вероника, привыкшая шагать, как дромадер, даже оступилась несколько раз, даже опоздала на урок, чего никогда не бывало. Зато сколько человек могло обратить внимание, что вот у этой девушки красивая маленькая нога в лакированной туфельке!

— А у вас очень маленькие ноги, Вероника Николаевна — небрежно сказал князь, скользнув по ней взглядом в тот же вечер.

Вероника вспыхнула, но сделала над собой судорожное усилие.

— Вы напоминаете мне художника Бенуа. Когда он преподавал в Академии, и никак не мог похвалить ученика за этюд, то говорил: «А какой у вас карандашик хорошенький!»

— Compliments это вещь, которой всегда не хватает каждой женщине, потому что их никогда не может быть достаточно!

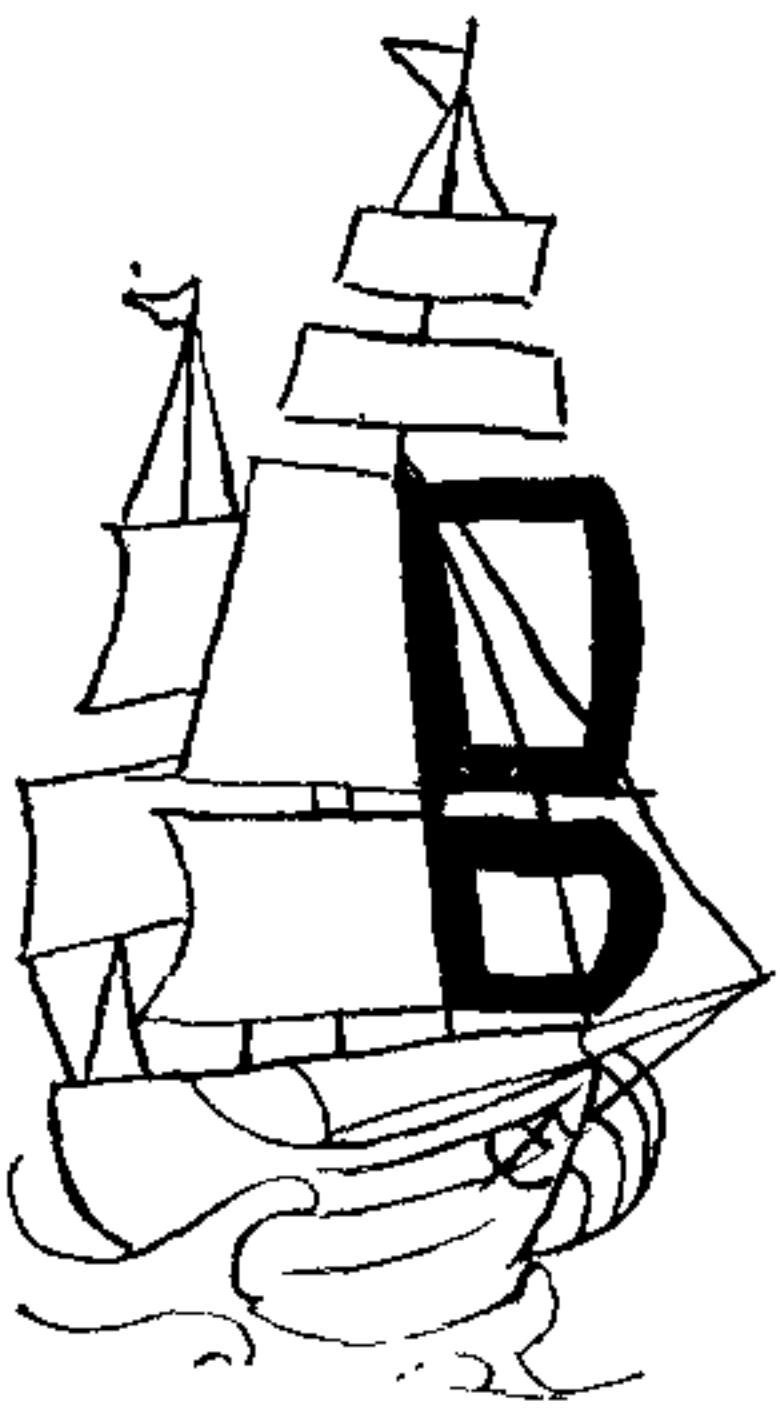
— Но ведь я не женщина, а старая дева!

— Если вы считаете это профессией, то допускаю рекламу. Но если призванием — берегитесь: слишком легко доказать противное.

Князь искренно забавлялся. Эта старая дева из юмористических журналов, совершенно невозможная кикимора, оказалась очень дельным помощником и сняла с него всю ответственность. Она умела ценить его остроумие и была благодарна за него, как за внимание. А кроме того, конечно, льстило нескрываемое восхищение. Князь был Нарциссом и любил любоваться собственным отражением в чужих глазах — кстати, единственное красивое, что у нее есть...

Счастливая вещь лакированные туфельки — для моржей!





стретимся завтра у меня по-гусарски! — предложила Эль и пояснила, потряхнув рыжей головкой: — Раньше дамы приходили в гости выпить чаю или кофе и посплетничать. А мы просто поговорим по душам и выпьем. Киса уйдет, конечно, домой, и не будет мешать. Идет?

Джан считала, что меткое прозвище может быть для человека характернее имени, и любила называть людей по своему не обычно принятыми уменьшительными, но «Киса» это было уж чересчур. В лаборатории ей открыл дверь плотный пожилой человек с темным бобриком на очень круглой голове и такими пронзительными стеклами очков, что глаза за ними казались только темными точками.

— Ты ведь знаешь Джан, Киса? Очень плохой суфлер, потому что увлекается пьесой, вместо того, чтобы подавать, но замечательная художница!

— Да, конечно, мы уже давно знакомы... — монотонно ответил он, здороваясь с полным безразличием и смотря куда-то в бок, поверх головы.

— Ты вернешься домой после спектакля?

— Наверно. Мы с Джан посидим здесь немного и поболтаем, потом я пойду в театр...

«Киса» считал, что все эти подружки и друзья, замечательные художники, артисты и гении — рвань и шваль, и стараются только вскружить голову его бедной Леночке, получить даром флакон духов, и вдобавок спаивают ее, но надеялся, что она в конце концов образумится, и избегал скандалов. Он был химик по образованию, и так как отец разорился перед смертью, то ему пришлось заботиться о матери и старой сестре. Сестра помогала в лаборатории — клеила коробочки. Леночка не была хозяйкой и скромные доходы заставляли их всех жить вместе.

Леночка никак не могла сговориться с его семьей. Но с годами Киса научился лавировать молча и терпеливо, и все свободное время просиживал над новыми рецептами и серьезными книгами. Он был молчаливым сдержанным человеком, привык ко всему относиться скептически, а Леночку любил, как все тяжелые однолюбы: каменной, неповоротливой и неизменной любовью.

Джан молча разглядывала лабораторию.

— Чем ты заинтересовалась так? — спросила Эль.

— Смотрю. Почему ты не устроишь здесь своей квартиры? Сколько места пропадает зря.

— Ах, ты просто изводишь меня своей хозяйственностью. Ужасная материалистка. К чему все это? Вещи только мешают жить. В моей комнате нет ни одной вещи, которая бы мне нравилась, вот мне и наплевать. Я свободный человек. Посмотри лучше, что ты скажешь об этой картине?

На фоне еле обозначенного голубоватыми штрихами и мутной сепией ландшафта шагала тяжелая, закованная в броню фигура. Рыцарский шлем был снят. Темное лицо с непреклонными глазами было сурово и сжато. На плече лежало копье.

— Не знаю, как она называется на самом деле, но мне кажется, что лучше всего подходит изречение Гете: «Über die Gräber — vorwärts!» — сказала Эль. — Как ты находишь?

— Через могилы — вперед! — перевела вслух Джан.

— Картина хороша, но с надписью я не согласна. Не через каждую могилу можно перешагнуть.

— Ах нет, именно — через все.

Когда в притворно ласковом голосе Эль звенели такие нотки, в голубых невинных глазах появлялся колючий холодок. Джан казалось тогда сразу, что перед ней зазубренный кирпич в шелковой обертке. Но для чего игра? Вот сейчас, как будто, чтобы загладить впечатление, Эль роется в ящике шкафа, достает оттуда что-то голубое, расшитое золотом, и берет с полки флакон духов в золоченой коробке.

— Вот, Джанушка, это я приготовила для тебя. Ты такая мастерица, что сумеешь сделать что-нибудь восхитительное. А духами я надушу тебя сейчас же, только улыбнись, пожалуйста.



Джан покорно улыбается и благодарит. Она проходит тяжелую школу бедной жизни, когда нужно принимать каждый подарок с очастливленным видом и находить нужные слова: без особого унижения для себя окупить благодетелю его великодушные. Джан соглашается со всем. Для чего говорить, что золоченые картонные коробки могут служить украшением только на мещанском комодe, что она вообще не употребляет дешевых духов, если не может позволить себе своей любимой лаванды, и что голубой шелк в густых пятнах...

— Ну, а теперь давай выпьем — оживляется Эль, и из недр письменного стола достает бутылку, припрятанную от «Кисы». — Потом мы можем сделать яичницу — единственное блюдо, которое я умею. Знаешь, первый год Киса безропотно ел каждый день яичницу на завтрак здесь в лаборатории! Пока сестра не возмутилась и стала готовить сама, чему я была очень рада.

Она сдвигает с угла письменного стола книги. Черные бухгалтерские переплеты и толстые обложки оккультных книг — да, излюбленное чтение Эль, еще одна загадка голубоглазого сфинкса. Разворачивает сверточки с аппетитной розовой ветчиной и хрустящими маринованными огурцами, и наливает немногим больше половины в два чайных стакана.

— Ну что же, Джан! Прозит! Скол! Твое здоровье! Только не пригубливай, пожалуйста, по обыкновению, а пей сразу, как следует, иначе ты никогда не научишься!

Джан высоко поднимает брови, открывает рот и старается глотать так, чтобы не чувствовать противного водочного вкуса, пока хватает дыхания.

— Ну вот, а теперь закусывай скорее — учит Эль. — Нужно только запивать холодной водой, я всегда так делаю.

— Скажи, пожалуйста, Эль, отчего собственно ты так много пьешь?

— Ах, ты не знаешь моей жизни... Пьянство у меня наверно в крови — от отца. Он был наполовину турок — не похоже, правда? Он торговал в Питере дровами, и стал богачом. Но я всегда гордилась тем, что я дочь простого торговца дровами, черная кость, а не какая нибудь там графиня! Пожалуйста, не возражай. Я знаю, что ты голубой крови. Но я тебя люблю все равно, потому, что ты талантливый человек, а особенно после того, как прочла «Корабли». Поиски счастья — это очень хорошо, но ты не находишь, что Красный тоже прав? Давай выпьем. Я хоть и пьяница, но не алкоголичка, как этот несчастный Кюммель, жалкое создание, карикатура на мужчину. Да и вообще все они... надоели ужасно. Терпеть не могу масляных глаз и мокрых поцелуев.

— И это говорит Белль—Эль, Елена Прекрасная!

— Ну и что же? Пусть ухаживают, если им это нравится.

Я часто рассказываю о них Кисе — он бывает иногда очень остроумным.

— Ты давно замужем?

— Киса влюбился в меня, когда мне было едва шестнадцать. Он старше меня на двадцать четыре года, но знаешь... тогда была война, революция, а он мог уехать сюда в Латвию, как рижанин, и я сама уже не помню, почему уступила просьбам матери и оставила ее одну с братом... До сих пор не люблю вспоминать об этом. Но когданибудь я вернусь, конечно.

Эль пьет мрачным залпом, и запивает глотком воды. Джан чувствует уже, как у нее шумит в голове и расползаются губы, и она собирает их, прижимая к папиросе. В кресле тепло и удобно, а до спектакля хмель пройдет, только нельзя больше пить. На Эль почти не действует — только оживляются глаза и чуть розовеют щеки, откровеннее рассказы. А может быть, этот сфинкс совсем без загадки?

Эль вспоминает что-то и обезоруживающе улыбается Джан.

— Если уж мы откровенны друг с другом... хотя ты молчишь, по обыкновению! Я давно хотела сказать... ты не в претензии на меня... за Бея?

— О нет, — улыбается Джан, — конечно нет.

— Скажи правду! Ты ведь знаешь, что Бей ухаживает за мной? Ну словом, как все, обычная история. Он талантливый человек, но такой же жалкий, как и все другие. Я его не люблю. Конечно, он готов ради меня на все, но мне этого не нужно, понимаешь?

— Мне кажется, что... тоже не люблю его по настоящему, и именно поэтому понимаю — отдельно произносит Джан. Откровенные разговоры необычны, и действуют на нее более возбуждающе, чем водка.

— Ну вот, я очень рада. Ты умный и талантливый человек, Джанум...

— Такой же жалкий, как другие?

— О, это уж совсем не хорошо с твоей стороны. Я к тебе всей душой, а ты подпускаешь шпильки. Нет, совершенно откровенно, я считаю тебя сильной натурой. Только ты затрачиваешь эту силу не на то, что нужно. Например, мечтаешь о каком то сервисе. К чему? После того, как я прочла «Корабли», я вижу, что ты тоже оккультистка... читала Штейнера? Блаватскую? Розенкрейцеров? Хочешь, я тебе дам? Я никому не даю своих книг, но для тебя...

Эль берет несколько книг, перелистывает и протягивает Джан.

— Почему ты хмуришься, Джанум? Разве не интересуешься?

— Книгами — да. Но, видишь ли... Джан подыскивает слова, чтобы не обидеть. — Мне кажется, Эль, что за бутылкой водки не стоит говорить о таких вещах. А то получается, как у того же корнета. После первой рюмки «Журавель», после второй «Боже царя храни», и пьяные слезы.

— Да, ты совершенно права. Но вот видишь, именно потому, что ты умный человек, ты должна понять, что совершенно не можешь удовлетворить Бея. Ему нужно вдохновение, и кроме того, есть требования к женщине. Ты моложе меня, и я сказала бы даже довольно оригинальна: цыганские волосы, водяные глаза... но что ты скорее всего похожа на сову, это тоже факт, не обижайся, я ведь по дружески... Бей говорит, что ты слишком холодна и серьезна. Но ты замечательный товарищ. Будем друзьями, несмотря ни на что, я ведь так одинока!

«Привилегия друзей заключается в том, чтобы говорить неприятные вещи» не может удержаться от корректирующей мысли Джан, но ей кажется, что на глазах Эль блещут предательские слезки, и хочется думать, что несмотря на все загадки и выверты, этот «дровяной сфинкс» хороший и настоящий человек. Джан охотно признает полное превосходство Эль, как женщины. Ничего удивительного, если Бей... Нет, Джан не может ревновать. Какая ужасная вещь! Люди подсматривают, оскорбляют безобразными сценами, надоедают угрозами, и все это называют любовью!

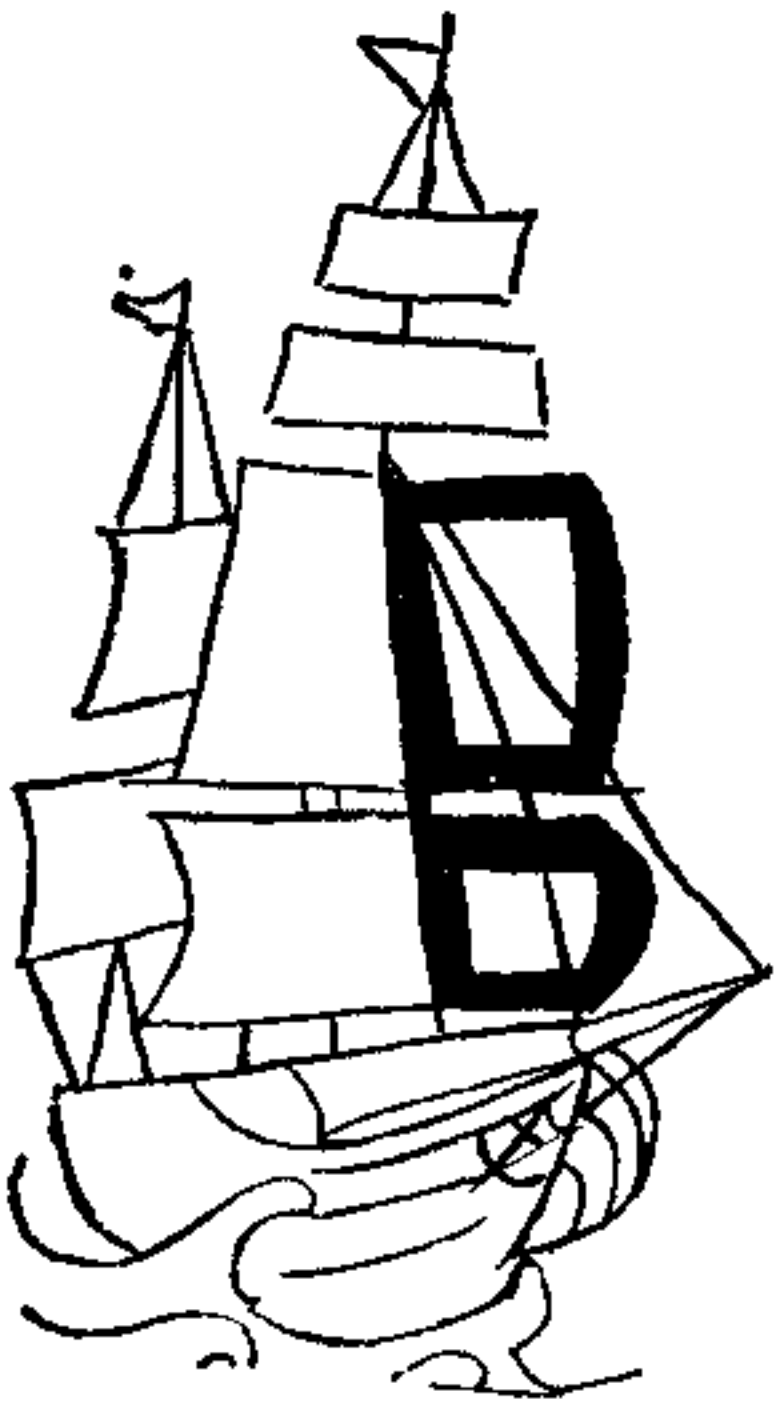
\*\*\*

Джан очень тщательно суфлирует спектакль, и возвращаясь домой, облегченно вздыхает. Теперь у них маленькая квартирка. Дом ужасный, двор тоже, но зато она не стоит дороже мебелированной комнаты. Обоями Джан оклеила ее сама. В «столовой» — только стол со стульями и старенький диван. Но абажур с кленовыми листьями дает теплый свет, на диване картинными пятнами — подушки, и на столе букет вереска. От него пахнет горьковатым дымком, прелью полей, волнующим запахом осени.

Бей еще нет, застрял где нибудь. Джан ставит чай и присаживается к столу. Приятно развернуть новую работу — бабочки английской гладью на полотне воротника. Вероника пристала к ней с просьбой придумать что нибудь особенное и притом именно для нее, Моржа! Сама она не умеет зашить ни одной дырки, такое уж никчемное существо, а тут нате. Но Морж не интересуется Джан, Вероника неизменна, как иммортели, а вот сегодняшний вечер...

— Боже, какой винегрет! — вслух говорит Джан. Хочется думать значительными мыслями тонкого психолога, но во рту неприятный вкус и это мешает сосредоточиться. Джан бросает работу, пьет крепкий, сладкий чай и укладывается в постель. Дверь в столовую открыта, оранжевый абажур горит над вереском, и это тепло кажется живым и настоящим, а все остальное — театр, звезды первой и второй величины — рассыпается, как пестрая колода карт, ведущих сами с собою увлекательную и ничего не дающую игру.

Джан очень жаль всех тех, у кого нет такого красивого абажура.



от есть такие ужасные большие города, где можно часами ехать, и в окнах всегда будет одно и то же: улицы и дома. Высокие серые дома, забитые пылью дворы и сухая измученная земля в палисадниках. Даже в предместьях коробки сдвинуты казарменными рядами, даже на окраинах рабочие поселки способны одним своим видом вызвать ноющую зубную боль.

Ах нет, Рига, слава Богу, не такой большой город. На бойкой Мариинской может шумно звенеть трамвай, втыкаться в глаза плакат кино. Но один ход коня к переезду — и вот совсем маленькая Попова улица. На углу шумит еще мальчишескими голосами школа, а на другом конце — громадный огород с капустой, вдоль полотна железной дороги. Низкий серый особняк в саду, и высокий деревянный забор, ворота с вывеской «Братья Поповы». Братья торгуют железным товаром добрых две сотни лет. Здесь только склад, сюда привозят на грузовиках и дебелых битюгах, с косматыми щетками над копытами величиной с тарелку, ящики с гвоздями, посудой, кровельное железо.



Дядя Кир не только работает, но и живет тут же. За амбарами на огороде вырастает в землю маленький домишко со смешной высокой трубой, и к нему ведут каштаны однобокой аллеей, осенью дорожка шуршит желтыми оборванными звездами и в них зарываются, как крепенькие боровички, гладкие, блестящие орехи.

Дядя Кир невысок, плотен, с лица никогда не сходит обветренный загар, и если бы он носил чуб и усы, то походил бы на Тараса Бульбу: веселые, пристальные глаза под косматыми бровями. Но вместо усов у него только маленькая колючая щеточка над губой, а пересыпанные сединой волосы острижены коротким бобриком. Дядя Кир — полковник гвардейского пехотного полка, во время войны был сильно ранен, после разгрома попал случайно в Ригу, и поступил грузчиком к Поповым. Два раза у него открывались старые раны, но он не сдался. Рабочие уважали его за выдержку и силу, считали своим, совершенно не замечая, что в его присутствии сдерживали языки, директора ценили щепетильную честность. По субботам дядя Кир надевал щегольские сапоги и синие бриджи, и отправлялся в сокольское общество, воспитывать молодежь. Тренировал во многих дисциплинах, будучи сам хорошим гимнастом и фехтовальщиком, читал лекции по истории, устраивал вечера и вылеты. Многим, считавшим, что такие понятия, как честь и рыцарство — старомодный багаж — дядя Кир вежливо предлагал покинуть общество. Сперва к таким требованиям относились пренебрежительно. Но на одном из вечеров полковник подошел к двум молодым людям, чересчур нахально державшим себя в обществе соколов, взял обоих за шиворот, стукнул лбами, и ими же открыл дверь из зала. Это подействовало.

В домике под каштанами тепло и уютно. У Лады можно поучиться хозяйничать. Вышитые занавески на окнах, накрахмаленная скатерть с коньками крестиком, киот со старыми иконами, полки с ковшами вокруг самовара.

— Заразила тебя твоя Ладья сарафанами — жаловался Бей, когда Джан принялась вышивать себе рубашку, — не вздумай только приставать ко мне с косовороткой, пожалуйста!

— Все народы ценят и носят свои национальные костюмы, одни мы нет. А он очень удобен и соответствует стране, климату, гораздо лучше, чем все остальные платья.

— Подумаешь, какую Америку открыла! Да это уже перед войной началось: петухи, коньки, ярмарочные миски! Стиль а ля мюжик рюсс! Странно, почему ты не восторгаешься в таком случае иностранными фильмами из русской жизни: великая княгиня Гришка в кокошнике и смазных сапогах крестится по минутно широким православным крестом, пляшет в бревенчатом дворце русскую, пьет из самовара водку и катается на трой-

ке ведмедей под развесистыми клюквами! Повесь еще лапоть на стену!

Но Джан любила красочность и стала собирать орнаменты.

— Эль считает меня материалисткой за то, что я люблю вещи, — жалуется Джан.

— Твоя Белль-Эль! — фыркает Лада, — вот уже терпеть не могу! Встретила ее однажды утром: из под шубы торчит хвост шелкового платья, притом криво, намалевана, как вывеска, и говорит таким сладким девочкиным голоском, тьфу! Как ты можешь дружить с ней, не понимаю. Джан окончательно испортилась в театре, неправда ли, Кир?

Полковник, священнодействуя, пьет чай за самоваром, начищенным, как сапоги.

— В театрах, дорогая Ладушка, нельзя не испортиться, — наставительно замечает он — это такая уж зараза. Вот попробуй сыграть одну рольку, ну скажем, подать конверт: «Вам письмо». И что получится? Получится то, что ты закуришь папироску, назовешь всех на ты, похлопаешь Нездолина по плечу, и будешь считать себя Сарой Бернар. И не в будущем, а сейчас. Не даром по сербски, по славянски, театр значит: «позорище».

— По вашему, дядя Кир, выходит, что мы все — скоморохи и лицедеи?

— Лицедеи и есть.

— И каждая артистка погибшее создание, и актеров в порядочный дом пускать нельзя...

— «Актерам место в буфете» — говорит ваш же Шмага — парирует полковник.

— А Чехов, Ибсен, Метерлинк, Островский, а...

— Да брось ты, не видишь разве, что он над тобой издевается? — не выдерживает Лада.

— Те-те-те, Надежда Николаевна. Не сотрясайте воздух. О чем мы говорим? О театре я еще не сказал ни слова. Театр это прекрасная, высокая вещь. Шекспира, положим, я бы упомянул до Ибсена, но это уже дело вкуса. Драматурги бывают разные — от великих, как например, некая Надежда фон Грот, написавшая «Корабли», до посредственных. Говорят, что бывают даже посредственные актеры — но только в больших театрах. В маленьких театриках, как правило, только гении. Нет, Надежда Николаевна, не сердитесь. Я видел постановки Нездолина и в Петербурге и в Москве. Но ваша, с позволения сказать, труппа — одно недоразумение. Жаль старика.

— Кирилл Константинович! Я видела «На дне» в Дrame и сейчас у нас. В Дrame Луку играл Михаил Чехов, знаменитость, а у нас — Кюммель. Но там я смотрела просто замечательную пьесу, которую вообще считаю одной из самых человеческих, самых лучших пьес не только в русской литературе, а у нас,

да если бы вы знали, как каждый горел своей ролью! Я не могла подавать, мурашки по спине бегали!

— Ничего удивительного. Я в зале сидел, и то ежился.

— Дядя Кир! Опять?! . . .

— От холода, я хотел сказать, не топите зала, холод у вас собачий. Я не спорю, кой у кого из ваших способности есть. Однажды зашел — забавно посмотреть было. В задних рядах сидит плотник с пилой, между колен держит. Очевидно, дядя возвращался с работы, а «струменты» в гардеробной оставить побоялся — сопрут еще. Это конечно трогательно. Но на сцене — пьеса из «роскошной и развратной жизни князьев и графьев», и Волин — красуется во фраке. Да он даже в лакеи в приличную гостиницу не годится, потому что половой! Конечно, я знаю, что вы слишком умны и интеллигентны, чтобы не видеть этого самой, а просто влюбились до изумления. Еще и пьесу написали. Думаете всерьез поставить?

— Конечно, Нездолин обещал.

— Ну-ну . . . полковник внимательно смотрит чуть усмехающимися глазами на Джан. Жаль бедную девочку. У нее и так мало хорошего в жизни, Бей этот . . .

— Веронике Николаевне роль найдется? Когда Елизавета Михайловна явилась к нам с новостью, что она поступила в труппу, я хохотал до слез. Бедную девушку так изуродовали, что я не удивился бы, если она и не такой фортель выкинет с горя. Но достопочтенная Елизавета Михайловна! Курица, высидевшая безобразного утенка! Славное имя Грушевских, треплющееся по афишам! Я уже предлагал: пусть возьмет какойнибудь псевдоним: Задунаева-Древлянская, позвучней!

— Кир сидит с серьезным лицом и придумывает псевдонимы, а тетя Лиза из себя выходит, — объясняет Лада.

— Откровенно говоря, мне кажется, что если ее дочь станет артисткой, то ей нельзя будет давать донашивать свои старые платья, и придется поменьше сидеть в кафе. Нельзя будет, словом, отбирать у нее все жалованье. Кстати, как с процессом?

— Перенесен в польский сенат. Говорят, что раньше чем через два-три года очередь до него не дойдет, — безнадежно машет рукой Джан.

— Ну, а если там сорвется, то остается только подать апелляцию в небесную канцелярию. Удивительно, до чего это свойственно всем русским: заниматься ожиданием и годами сидеть, сложа руки! Ну а теперь, Надежда Николаевна, хватит нам сплетничать. Поболтали о пустяках, займемся серьезными вопросами. Итак, что же вы сделаете, когда будете царем?

— Начинается . . . вздохнула Лада. — Седина в бороду . . . а глупость в голову. И как тебе не надоело, Джан?

Нет, Джан очень любила эту игру. Они придумали ее с полковником, прочитав «За Чертополохом» Краснова.

— Его превосходительство, — сказал полковник, подняв палец, — подал мне гениальную мысль. В то время как советские граждане, не щадя пола и возраста, зубрят политграмоту, мы, зарубежные, продолжаем относиться к государству чисто по русски, то есть — отрицательно. Славяне анархисты по природе. Взять историю. С чего она начинается? «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет». Может быть, Рюрику это было сказано и иначе, но не все ли равно? Важно то, что характерно. Были у нас республики: Новгород и Псков. Так пришлось придумать ушкуйников, чтоб дать недовольным выход — пограбить, а то оглоблями бы разогнали вече! Дрались между собой удельные князя, — и лапотники стеной шли деревня на деревню. Общинное землевладение — тоже анархическое уродство. — Собрали Русь — и Грозному пришлось переказнить почти всех бояр — оппозиция. Петр повернул Русь на запад — казни стрельцов, убивай сына, режь бороды. Уж на что блестящее царствование Екатерины — и то Пугачев. Александр Второй дал народу волю — убили революционеры. Даже теперь, когда вся власть советам — и то недовольны. Нет, недовольны мы всегда. Это факт. Сейчас в эмиграции недорезанные меньшевики грызутся еще в Парижах и Америках из-за своих мемуаров, но это небольшое светлое пятно на общем фоне политического невежества: «оставьте меня в покое!» А вот и не оставлю. Ну вот, представьте себе, что вы станете вдруг царем. Государства нет, а только хаос. Камня на камне не осталось ни старого, ни нового. Стройте! А я послушаю.

Полковник идет на кухню вместе с Джан и ставит перед плитой маленькую скамеечку. Они усаживаются рядом и «курят в трубу».

— На кухне и на стульях сидя можете курить, — ворчит Лада, начиная шевелить кастрюльками к ужину. — Ты бы, Кирилл, дал Джан лучше отдохнуть, а вот так возьми сразу весь свод законов заново выдумай!

— Зачем сразу? Пусть хоть один, да разумный...

— Я много думала — начинает совсем несмело Джан — о том, что церковь, вернее, духовное сословие, было у нас не на достаточной высоте. Вере нельзя научиться. Но в вере надо воспитываться. И реформа: пусть каждый заявит, верующий он или нет... Если нет — твое дело. Если да — записывайся в любой приход, и плати какой-то небольшой процент с заработка в пользу церкви. Десятую часть не возможно, но сотую может каждый. Но зато все требы священник должен совершать бесплатно. Не было чтобы этих бумажек в руку, недаром их всегда суют незаметно, а то действительно стыдно: только что тебе говорились самые святые, возвышенные слова, а тут думай:



сколько ему дать? И тогда все разговоры о поповской жадности прекратились бы сами собой. Ведь всегда так: сколько было самоотверженных, бедных священников, истинно христианских служителей. А чуть что — и сейчас же: «поповские карманы...» Вот и не плати непосредственно ничего. Кружки около церкви. Никаких сборов во время службы. Свечки тоже на паперти покупай, а не в церкви, там нет места торговле и деньгам. Но положение священников тоже должно быть другим. Прежде всего — никаких молодых. Учиться не раньше, чем в тридцать лет, и учиться не меньше, чем десять лет. Священник — в деревне и в городе должен прежде всего быть всесторонне образованным, интеллигентным, культурным человеком. Должен начать свою службу уже зрелым, повидавшим жизнь, могущим помочь советом, разъяснить и показать. Священство не служба, а служение. Кто не может — лучше не берись. Но материальное положение тоже должно быть хорошим, он не должен ломать себе голову из-за грошей. Зато он обязан познакомиться с каждым человеком в своем приходе, навещать всех, входить в их нужды, говорить, советовать, быть учителем не только в школе, но и в жизни. И без фамильярности, без панибратства. Наоборот — расстояние для большего почтения совершенно необходимо. Пастырь должен быть отцом, и притом безукоризненным. Потому и нужен зрелый возраст. У человека в сорок, пятьдесят лет сил еще довольно, а обычные страсти и слабости, да еще при соответствующей подготовке не так уж сильны, как в молодости. То же и для монахов. Монастыри раньше были рассадниками просвещения. Почему не теперь? При каждом — образцовое имение, школа садоводства, питомник, мастерские для калек, больницы, приюты. Жизнь каждого монаха должна проходить не столько в молитве, сколько в бескорыстной работе на благо ближнему. Сколько действительно добра может сделать сотня людей, если они посвятят другим хоть двадцать лет своей жизни! И я думаю, что при такой реформе очень многие люди, и простые, и интеллигентные, стали бы православными не только по названию.

Лада собрала на стол ужинать и горестно вздохнула.

— Господи Боже мой! Это все большевики наделали. Верили раньше все, и никто ничего не говорил.

— Большевики только загнали церковь в подполье. А когда она оттуда выйдет, ей надо устроить чистую и светлую жизнь.

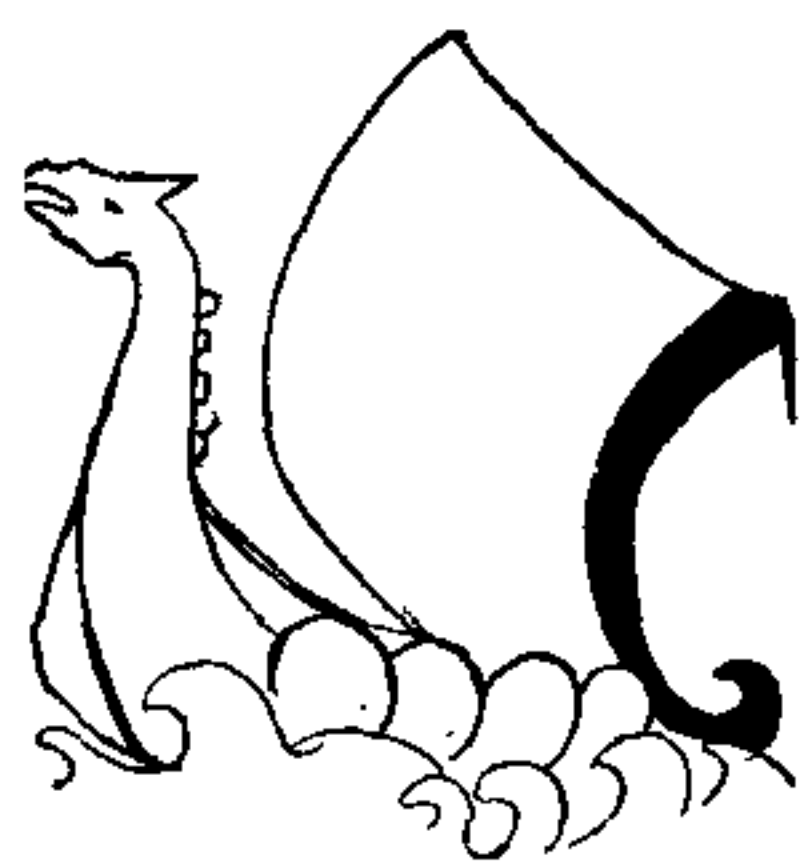
— Аминь, что значит «да будет так» — заканчивает полковник. — Ну, проповедница, садитесь ужинать, а над вашей реформой мы подумаем и напишем в синод. Может быть я тоже проникнусь мыслью и пойду в священники нового образца. Для примера.

— А сокола как? В рясе фехтовать будешь?

— Старосветские помещики на новый лад, — невольно вырывается у Джан. — Бессмертные типы...

— Разница между нами и старосветскими помещиками только та, — произнес полчаса спустя полковник, помогая Джан надеть пальто и отворяя дверь — что у них в доме все двери пели на разные голоса, а у нас одна и та же.

Дверь пела разными голосами, на самом деле. Выходить из теплой и светлой комнаты совсем не хотелось, но сухой, хрустящий снег, сияюще голубой и от темно синего неба, и от дрожащего фонаря — первый глоток морозной свежести. Хочется ходить по улицам, петь, вспоминать стихи, радоваться и мечтать под санные бубенцы. В такой вечер не царем быть, а любить хочется.



амое главное» у Евреинова — очень грустная комедия человеческого счастья. Некто, познакомившись с людьми, живущими в одном доме, и увидев, что все они чувствуют себя, как полагается, несчастными, решил стать режиссером жизни и дал каждому иллюзию счастья — хотя бы на четверть часа.

Вот и все. Пустячок, конечно. Но как жаль, что таких пустячков — мало, и добрые феи не находят себе подражателей. Время от времени появляются, правда, люди, желающие во что бы то ни стало облагодетельствовать человечество по придуманному ими образцу. Иногда они ограничиваются только своими ближними, но чаще замахиваются на весь мир.

Проповеди их различны, но метод один и тот же: сперва надо разрушить как можно больше, потом выкупаться в крови и грязи, а потом, лет через сто, наступит светлое будущее.

Значение этих пророков тоже различно, но результат одинаков всегда: — уничтожаются некоторые уродства — но заодно и неповторимые ценности. Крови и грязи льется бесспорно очень много, а вместо светлого будущего создается тупик — и для современных калек, и для недоумевающих потомков.

«Спроси это небо. Может быть, оно ответит тебе на извечный людской вопрос: зачем?»

Но можно задать и другой. Почему бы — не в планетарном масштабе, будем, пожалуйста, скромнее, — не создать маленькие школы для добрых фей? Не будем судить о том, что такое счастье является иллюзией. Как будто настоящее счастье можно взвесить и обмерить вдоль и поперек, как будто не вся наша жизнь — только представление о ней? Для любителей математики можно прибавить, что пожалуй лучше, если хоть сотня людей доставит по кусочку счастья в своей жизни хоть ста людям, чем если один человек умудрится погубить миллионы.

Но в жизни нет логики. Жизнь иррациональна. Но человек упорно считает, что его главное назначение состоит в том, чтобы мешать жить себе и другим. Но если к нам даже приходит самая настоящая, добрая фея, то ее не пускают дальше передней.

Человек может быть счастлив. Человек очень редко бывает счастлив. А жаль!



Коронная роль Вероники.

Евреинов дал тип старой девы, с кукишем вместо прически, в несуразном платье, в ученом пенсне. Она презирала жизнь, создав себе этим панцырь от насмешек, волочившись за ней, как шлейф. Но режиссер жизни осторожно надломал скорлупу. Старую деву уверили в том, что напелся человек, который ее понял, оценил, и влюбился в нее. Панцырь сломался, и она расцвела, как Виктория Регия.

Когда Вероника, увлекшись подала одну из реплик, закончив ее неволью своим обычным: «Ха!», — Нездолин захлопал в ладоши, что случилось с ним редко.

— Великолепно, Вероника Николаевна! Так и оставьте.

Конечно, как же было Моржу не сыграть огородного пугала? Но и для второй части роли — тернового куста, расцветшего рожками, у нее напелся совершенно неожиданно теплый, молодой тон, мягкая улыбка и трогательное в своей безнадежности кокетство. Просто стоило вообразить себе вместо ее поклонника на сцене — другого. Влюбленность, как всякое цветенье души, делает талантливой даже бездарность. Но пьеска только разбудила в ней то, что до сих пор не приходило в голову — надежду, а это — очень опасная вещь для огородного чучела.

— Князь, — заявила Вероника перед генеральной репетицией, — у нас завтра премьера остроумной пьесы. Вы директор, а я скромный бухгалтер. Для равновесия станьте и вы на один вечер скромным зрителем, а мне разрешите блеснуть перед вами в огнях рампы.

— А вы твердо уверены, что блеснете?

— В излишней любезности вас действительно упрекнуть нельзя. — И все-таки надеялась, что за мою верную службу...



— Стоп... Обезоружили. Вы правы, и я сдаюсь. Только спешу оговориться: розы сейчас слишком дороги. Так что не обесудьте: мелкие вышли, а крупных нет!

— Неужели вы могли подумать, что я рассчитываю на подношение с вашей стороны?

— Вероника Николаевна! Ну как можно краснеть до слез в наш век? Вы уникам...

Следующий вечер был у князя пустым, но он помнил о просьбе кикиморы и репил посмеяться вдоволь. Вообще он придерживался мнения, что роза, посланная любой женщине во-время, всегда окупит расход. Женщины любят мелочи и склонны преувеличивать свою благодарность. Перед уходом в театр он вдруг вскочил: замечательная мысль! Эрика — «очередную» звали Эрикой, — притащила ему вчера громадную плитку шоколада с ромовой начинкой, которую он терпеть не может. Сейчас он вынул ее, и залюбовался: шоколад дорогой, фунта полтора, одна обертка чего стоит... немного жаль, откровенно признаться, но куда ни шло! Надо сделать красивый жест. Порывшись в столе, он достал ленту. Кусочек ватманской бумаги, несколько штрихов цветными карандашами, вот так, шипов побольше. Насвистывая, принялся вырезать розу маникюрными ножницами. Если кикимора сыграет наполовину так хорошо, как ведет бухгалтерию, то будет вознаграждена. А если окажется жутким провалом... чорт с ней, не тащить же назад, пусть утепается! Зато он потом реваншируется за испорченный вечер: доведет ее до слез, и не раз!



Первое выступление на сцене взволнует кого угодно, но перед своим дебютом Вероника волновалась не больше, чем во время школьных спектаклей. Зато сегодня у нее дрожали руки, и крючки застежек не попадали в петли.

— Театральная лихорадка, — безошибочно определил Нездолин, заглянув к ней в уборную, как он обычно делал для подбодрения особо важных персонажей. — Вероника Николаевна, не забывайте только одного: вы сегодня королева и ведете весь спектакль. Театральная лихорадка в порядке вещей, без нее успех потерял бы половину своего очарования. Савина, например, непревзойденная артистка, до последней секунды перед выходом на сцену стоит за кулисами и крестится, и дрожит вся мелкой дрожью. А выйдет... Да знаете ли вы, что когда эта, старая уже, некрасивая, почти горбатая женщина выходила на сцену в одной из самых знаменитых своих ролей и говорила так подбоченившись, с горделивой усмешкой: «Весь свет обойдешь, а крапе меня не найдешь!» — что делалось... Ведь верили же, верили! У публики дыханье прерывается от восхищения, и партнер стоит в обалдении, и режиссер за сценой скла-

дывает руки и шепчет: «Боже мой, какая красота!» Вот что значит — талант от Бога!

— Я же, Николай Николаевич, не Савина, — пытается улыбнуться Вероника, и сама не понимает, почему ей хочется разрыдаться и обнять старика.

— Зато и красавицу играть не надо — возражает он добродушно.

— Талант не такой, но урод побольше! — шепчет на ухо Эль Витамин в соседней уборной, отделенной невысокой перегородкой, и Эль фыркает в пуховку.

\*\*\*

Зал — привычный уже темный провал со светлыми бусинками лиц, нанизанных рядами... Зрительный зал, о котором нельзя думать, когда играешь — собирается в фокус, в живой комок, в одну фигуру в темном костюме.

Первые слова Вероники проходят еще заученным тоном, но это гармонирует с ролью, а потом смущение и страх отодвигаются за кулисы во все заполняющей мысли: вот сейчас она может сказать ему все, о чем никогда не заикнется в директорском кабинете. И Вероника уверенно ведет роль, переодевается в антракте, как в трансе, и не слушая никого, помолодевшая, порозовевшая, выбегает на сцену, как на свидание. Да это и есть свидание, она живет им и говорит — ему, протягивает руки — к нему, и видит — только его.

Занавес падает слишком быстро. Аплодисменты вызовов стучат в ухах как молотками. Вероника робко раскланивается, прячась за спины других. Сбоку выносят небольшой, изящно завернутый пакетик, суют ей в руки; шепчут: «Да берите же, кланяйтесь»... И она неловко прижимает его к груди, кланяется, ей аплодируют снова, все это выглядит немного смешно и жалко.

Спускаясь по лестнице за кулисы, Вероника чуть не полетела, пакет мешает ей видеть, но она кладет его рядом с зеркалом и вообще не знает, что делать дальше. К ней поминутно заходят, поздравляют — еще бы! — аплодисменты во время действия! Это не каждый день случается, а уж с ней то впервые! Нездолин трисет ей руку: спасибо, разодолжила старика! Каждый старается сказать что-нибудь приятное, даже Шурочка Звонарская чувствует что-то особенное в этой роли — на ходу просовывает голову в уборную и кричит:

— А вы, Вероника Николаевна, не мелко сегодня наворачивали! Прямо на отлично!

Вероника терпеть не может Звонарской, хамских форштадтских манер и словечек из советских пьес, но сегодня она улыбается даже ей блаженной и недоумевающей улыбкой.

Шурочка бежит дальше, потряхивая бюстом, расстегивая на ходу юбку и бурча под нос:

— Сыграла раз в жизни и раскисла, тоже, дворянская девушка, подумаешь!

— «Дворянское» — бывает гнездо, а девушки «тургеневские» — поучительно произносит ей навстречу Корнет.

— Воронье гнездо и пугало воронье! — Шурочка высовывает ему язык, и подхватывая юбку, скрывается за дверь. — Дай лучше папироску! — Она высовывает руки из кофточки тоже, и щелкает пальцами: — вместо того, чтобы читать нравоучения, поухаживал бы лучше за дамами!

— Шурочка, да разве ты дама? — искренне изумляется фон Доорт.

Дверь мгновенно распахивается.

— Бац по морде! — кричит идущий сзади Витамин, предугадывая ее движение, и почти одновременно звучит пощечина.

— Звонарская, ты с ума сошла!

— Женщина с огоньком! — многозначительно подмигивает Витамин.

— Смотри, чтобы и ты не обжегся! — кричит Шурочка и на этот раз уже всерьез захлопывает дверь.

— Хамка! — цедит сквозь зубы Корнет и удаляется с оскорбленным видом.

Веронике приходит внезапно в голову, что князь, быть может, зайдет к ней за кулисы, и она молниеносно переодевается и разгримировывается. Но в коридоре прощальные восклицания и знакомые шаги. Вот медленно и тяжело пропаркал Нездолин, простучали каблучки актрис, просвистал, как всегда, уходя фон Доорт. Только Витамин еще мечется, собирая парики и костюмы. Никого. Вероника прислушивается, бесцельно перекладывая толстые карандаши в гримировальном ящике. Нет, конечно, он не придет. Зачем? Поздравить ее с успехом?

Проводить домой — князь!? Роль сбила ее с толку. Надо взять себя в руки.

Джан поздравила первой, горячо и искренне. Она в восторге от пьесы и ужасно волновалась в будке. Эль прочла ей длинную нотацию за сентиментальность.

— А «она все таки вертится», — упрямо повторяет Джан, — чем заботиться о благе миллионов людей, лучше сделать добро нескольким. И слов меньше, и толку побольше. Труднее только.

Эль отскакивает, как ужаленная.

— Просто удивительно, для чего я трачу на тебя время, — ее голос свистит, как хлыст: — Ты отсталая дурочка и слюнявая интеллигентка, чеховский персонаж! Прощайте, мадам Бей-Тугановская!

Джан пожимает плечами и проходит к Веронике. Сухая жесткость Эль царапает, как щетка, по шелковому облаку ласковой мечтательности, навеянной спектаклем, и тем более хочется сказать чтонибудь приятное Моржу. Она так замечательно играла сегодня, что минутами Джан казалось даже, что у нее дей-

ствительно роман с Корнетом. А почему бы... почему это так уж не возможно, если на сцене вот только сейчас было просто и понятно? Да, но Корнету и в голову не придет ухаживать за ней на самом деле... Но кто же мог бы... учитель из школы? Или... Морж постоянно торчит теперь перед репетициями внизу, помогает князю Нагаеву приводить в порядок бухгалтерию... Джан видела его только мельком, он, кажется, красив, и «адски шикарен», репутация не очень блестящего дон жуана. Дядя Кир на ее вопрос помолчал и серьезно заметил:

— Плохого особенно сказать не могу, разные истории с женщинами, но и хорошего ничего не скажу. Увлечаться не советую. Не все то золото, что блестит. Да. И некоторые вещи для меня не совсем ясны.

Это значило, что полковник относится к человеку не одобрительно, знает, но не хочет говорить. Но может ли быть, чтобы... засохшая смоковница расцвела? Веронике всего двадцать семь лет, женщины и в сорок влюбляются. Боже мой, какой это должен быть ужас для несчастного Моржа. И вот почему она играла так сегодня!

— Скажи, пожалуйста, — слышится вдруг непривычно мягкий голос Вероники, — что с тобой такое? Стоишь у стенки и молчишь. О чем ты задумалась?

— Вероника! — Джан раскрывает глаза и смотрит на нее в упор. — Кто прислал тебе конфеты на сцену?

Вероника оборачивается. Коробка в шелковой бумаге, перекрещенная сиреневой лентой с нежным, бабочкой, бантом, нарядная, как кукла, лежит у зеркала. Вероника не забыла о ней, но сознание затуманено игрой, успехом и ожиданием еще чего-то, что должно произойти.

— Я думала сперва, что ты вдруг решила... это не ты, Джан? — неловко бормочет она.

— «Таланты и поклонники» — слышит Джан собственный насмешливый голос и ей уже жаль, что она сказала: Вероника неумело развязывает ленту, снимает обертку.

— От... это из школы... Мария Петровна была сегодня на спектакле, такая милая, ха!

Джан молчит. Вероника не умеет врать, даже имени не подобрала подходящего. Мария Петровна терпеть ее не может, она сама рассказывала об этом раньше.

— Нет, спасибо, — качает она головой. — Мне на самом деле не хочется сейчас шоколаду. И мне очень жаль — слышишь? — что ты получила его не от меня, а от... другого человека.

Джан делает ударение на каждом слове, ей даже хочется, чтобы Вероника покраснела еще больше, потому что... потому что уж чорт знает, что такое! Джан холодно кивает головой и уходит, не оборачиваясь. Может быть, его сиятельство дежурит у подъезда, чтобы отвезти Веронику домой — на автомобиле или санках с бубенцами, еще поэтичнее. А она торчит здесь, как бельмо на глазу.



Джан спускается по лестнице с твердым намерением заявить прямо этому мерзавцу, что хотя Морж и урод преестественный, и старая дева, но прекрасный человек, и она, Джан, слишком обязана ей, чтобы позволить издеваться хотя бы герцогу, и вообще пусть он для своих прогулок подальше выберет закоулок! Неплохо было бы Бею вызвать его на дуэль за такие вещи!

Но у подъезда нет никого, на улице и за углом также. Джан сразу потухает и медленно идет домой, размышляя, что Бей, если ему рассказать, будет не то, что хохотать, а ржать просто, и тут же схватит карандаш и изобразит все в лицах. Вот Морж со своими клыками и финтифлюшем на затылке простирает со сцены руки к князю, а тот, сраженный пулей Бея, падает к ее ногам, протягивая ей фунт конфет — или чтонибудь в этом роде.

Если Вероника получит опять хорошую роль, то она, Джан, хоть без обеда останется, но пришлет ей розы, да, на зло! Джан представляет себе это великолепие и как всегда, успокаивает себя мечтой.



Вероника последней уходит из театра. Она больше не ждет. Да ей и не нужно сейчас никого. Еще раз — в который? — перечитывает визитную карточку, с размашисто брошенным на обороте «J'у pense», заворачивает ее вместе с «розой» в бумагу. Плитка шоколада тяжело оттягивает сумку, Вероника несет ее, как расплавленное золото.

Когда она входит дома в спальню, Катюшка просыпается, у бедной девочки была свинка, она так горько плакала сегодня, что не могла пойти в театр.

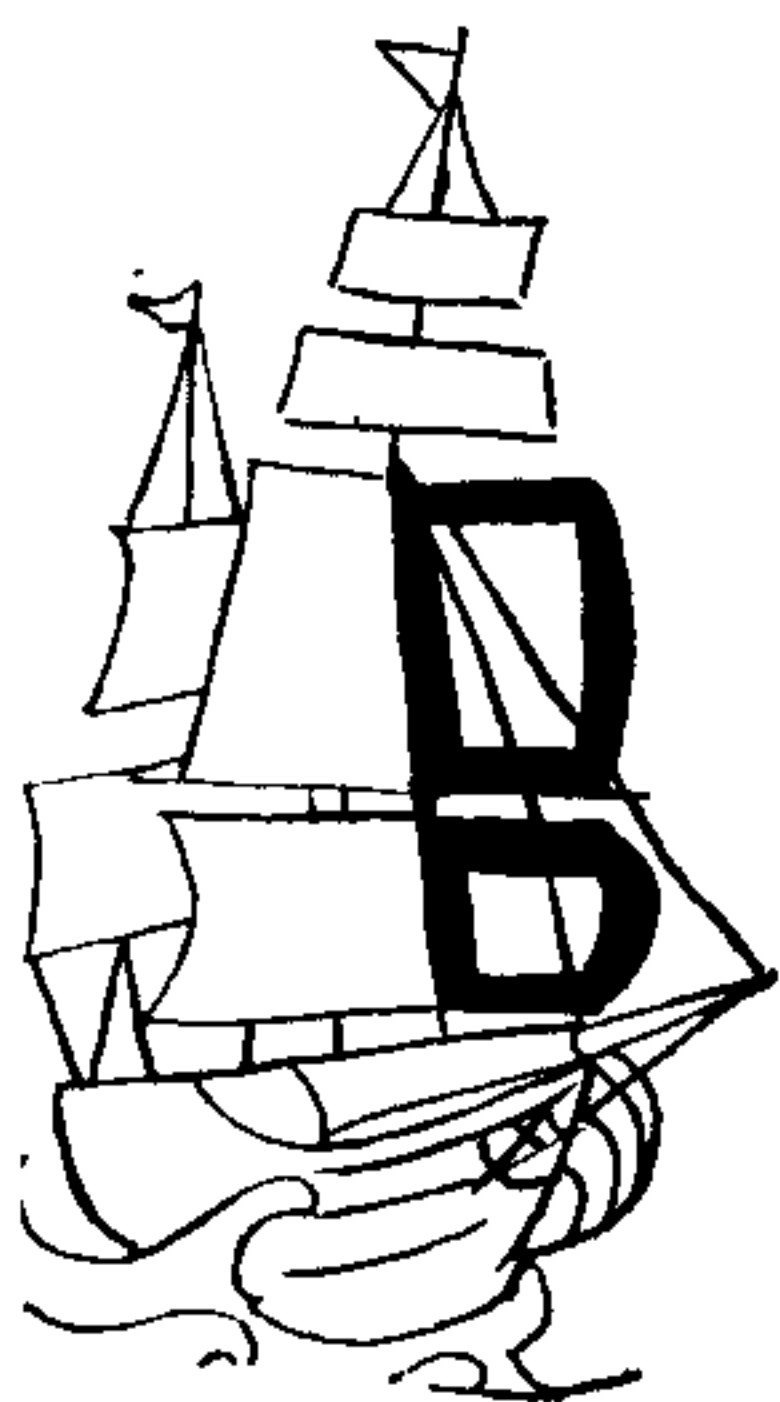
— Ну как? — бормочет она спросонья.

— Очень хорошо, — отвечает Вероника. — Вот я даже шоколад получила в награду. Это тебе, а тут я положу для Нади. Ешь и спи, завтра расскажу, сейчас поздно.

Катюшка раскрывает глаза пошире, чтобы убедиться, что кусок шоколада, действительно такой большой, но пока она занята им, глаза слипаются, и она не задает вопросов. Вероника ложится в постель с особым удовольствием, ест шоколад — ромовая начинка ее любимая, прихлебывает чай. Вкус можно определить каким-нибудь выражением, но остального — нельзя. Остальное — огромное, горячее и сияющее — лежит в груди. Он подумал о ней... Сам — конечно, сам! вырезал розу... Шутка, но...

Но Вероника слишком устала, чтобы доказывать себе что-нибудь, трезво и ненужно. Она тушит лампу и долго лежит, улыбаясь в темноту.

Некоторые пьесы могут быть очень опасными. Очевидно, это была одной из них. Но все таки — и это самое главное: бывают и волшебные вещи тоже.



жизни суфлера могут быть и трагические моменты, в особенности если он отличается литературной напичканностью и восторженным легковерием Джан.

Распределялись бенефисы. Волин и Звонарская выбрали «Привидения» Ибсена. Волину не давали покоя лавры Орленева и он лохматил русую прядь волос на лбу, страдальчески кривил губы и бормотал:

— Солнце... мама, дай мне солнце...

— Живот болит, Митенька? — участливо осведомлялся кто-нибудь, и Волин мгновенно зверел, но для сохранения тона только обдавал завистника уничтожающим взглядом.

— Я тебе такой же Митенька, как... как... Ибсена надо понимать!

— Вот именно. Это я как раз и хотел сказать! — не унижался насмешник, но Волин пожимал плечами и отходил в сторону.

Кюммель и Эль сказали в голос:

— Мы берем «Тота».

Нездолин пожевал губами.

— Что ж, это в наших силах. И роли разойдутся хорошо. Да и вообще вся пьеса — находка! Она шла у меня одновременно в обоих театрах весь сезон с аншлагом.

— Джан — говорит многозначительно Звезда, — вы себе представляете костюм Зениды? Совершенно обнаженные руки, масса браслетов, золотая сетка на волосы...

— Замечательно, — нетвердо отвечает Джан.

Все заняты «Тотом», все говорят о «Тоте», а черт возьми, что же это такое? Джан боится спросить, стыдно за свое невежество. Только дома она робко обращается к Бею.

— «Тот, кто получает пощечины» Леонида Андреева? — переспрашивает Бей, и Джан облегченно вздыхает — ведь она давно уже читала это! Но получив суфлерский экземпляр, она проглатывает его в антрактах и у нее кружится голова, как будто она поднялась на колокольню.

Многие не любят читать пьес. Им мешают инициалы персонажей, досадное тыканье пальцами в действующих лиц. Быть театралом — значит не только видеть, а и любить и верить. Если на сцене воткнута швабра, и на ней надпись «лес», то театрал, как влюбленный, видит дремучую чащу.

Когда начинаются репетиции «Тота» и Кюммель, побледневший и взволнованный, идущий уже с первой репетиции под суфлера, без тетрадки, в конце акта хватает стул, ставит его наотмапь посреди сцены, садится верхом, спиной к зрителю, кладет подбородок на скрещенные на спинке стула пальцы и смотрит в упор на барона — крохотная сценка, как переводная картинка, с которой стянули белую пленку, блестит неожиданной яркостью.

Нет, Джан никогда не могла бы стать режиссером, она и суфлер то отвратительный. Но зато она видит дремучий лес — даже без швабры.



«Тот» влюблен в Консуэллу. Кюммель в Эль. Но Тот — человек, имевший большое место в жизни, судя по благоговейному почтению директора к его визитной карточке. У Кюммеля нет ничего, кроме картофельного носа и собачьих глаз. Кюммель не отходит от Эль, устраивает сцены, ревнует, получает пинки. Тот отравляет Консуэллу. Значит, логически рассуждая...

— При чем тут логика? — возмущается Бей, когда с трепетным ужасом Джан рассказывает ему о своих догадках. — Ты просто впечатлительна сверх меры, чтобы не сказать больше... Да что он, сумасшедший что ли?

— Но ты пойми, — чуть не плачет Джан, — ведь он говорит с нею, как Тот, смотрит на нее, как Тот... И это так легко, на сцене: он всыпает порошок и она должна выпить... какой ужас!

— У тебя, Джан, не все дома. Придумала мелодраму и ужасаешься. Если они и отравятся, то не аспирином на сцене, а

алкоголем за ужином. Дербалызнут по настоящему, и если тебе так хочется полюбоваться на трупы, то к утру их будет богатый выбор!

Перед бенефисом Джан трясет лихорадка. Настоящая. В голове нудный звон, и хочется залезть под сцену, свернуться калачиком и закрыть глаза. А тут еще Эль аффективно схватывает ее за руки и умоляет:

— Джан, милая, подавай. Я совершенно не знаю роли, и Кюммель, подлец, тоже плавает в третьем действии, и...

Кюммель не «плавает», а просто волнуется, на генеральной сорвался два раза, и Джан лезет в будку с твердой уверенностью, что провал, смертоубийство и полный мрак обеспечены.

«Тот» путает реплику в первом же действии, и подойдя к будке, пипит, не разжимая губ, как это умеют делать актеры:

— Убью, сволочь!

Джан знает, что театральные ругательства — не в счет, но выходит в антракте в коридор с угрюмым видом.

— Что это вы такая мрачная, Джан? — сияет, гарцуя в распитом доломане циркача, Щеглик: — Попало от бенефициантов, а? Вот уж обо мне вам не надо заботиться! Я свою роль на зубок знаю!

Джан, неожиданно для себя, взрывается.

— Я думаю! — почти кричит она, угрожающе наступая на Щеглика, — я думаю, что знаете, когда вам всего два слова сказать надо! Вообще бы вас поганым помелом со сцены, потому что дубина и полено дров!

— Позвольте, — робко возмущается огорошенный Щеглик, — это что, намек?

Джан смотрит на его круглое мальчишеское лицо с наивными бровями, мапет рукой и забирается обратно в свою будку. Зачем она оборвала Щеглика и почему вообще такая несчастная?

Пьеса идет дальше. Джан не думает уже, что Кюммель всыпет Эль цианистого калия. Барон скрывается в левой кулисе, и как только хлопнет пробка, Щеглик должен выскочить и крикнуть: «Барон застрелился!»

Барон упел уже, а за сценой типина. Джан слышит подавленное ругательство, выстрела нет, на сцене растягивается жуткая пауза. Щеглик, не соображая — толкнули его что ли? — вывертывается из-за кулис, и Джан, предвидя скандал, ложится прямо на подмости, чуть совсем не вылезает из будки, гипнотизируя Щеглика взглядом, как удав, и умоляюще шепчет:

— Барон повесился, повесился, барон повесился!

— Барон повесился! — радостно выпаливает Щеглик и Джан, задыхаясь, дает занавес.

— Джан! — захлебывается Кюммель и трясет ее за плечи в коридоре.

— Спасла, голубушка! Спасибо! Молодец! Ты прости уж, что я давеча. Сама понимаешь!



Джан совсем не на ты с Кюммелем, но спектакль сошел гладко, публика не заметила, а закулисные бури в стакане воды продолжаются не дольше одного вечера — особенно, если предстоит ужин.

Ужины в театре устраиваются часто: либо в буфете — тогда по ресторанному, либо ради депевизны — по богемному, у когонибудь.

Эль с Кюммелем решили использовать пустую комнату в лаборатории и накануне уже таскали туда всякую всячину. Утром Джан, несмотря на головную боль, готовила винегрет и мучилась сервировкой.

— Эль — говорит она после спектакля, — там все готово, а ты меня извини, я пойду домой. Голова трещит и простудилась я окончательно.

— Джанум, это невозможно. Чтобы ты, мой лучший друг... Илиодорушка, Джан собирается уходить домой!

— Держать и не пущать — расплывается в блаженной улыбке Кюммель.

— Джан, ты не имеешь права обижать бенефициантов. Я тебя вылечу. Спирт во внутрь и бутылкой растирать. Мы с тобой поругались сегодня немножко, и должны вышить на брудершафт.

Возражения бесполезны. В лаборатории Джан варит сосиски, обносит всех, улыбается, чокается, пьет, и когда Кюммель усаживает ее между собой и Корнетом, в голове немного шумит и температура тоже наверно пропла.

— Ты степей и во-оли доочь, — напевает ей на ухо Корнет. — Джан, почему вы не поете цыганских романсов? С вапим лицом, да еще гит-тару в руки, платок на голову, кольца в уши... Эх! Ямщик, гони-ка к Яру!

— Где ты видел, Корнет, цыганку с такими светлыми глазами? — фыркает Эль.

— У Шурочки Масальской глаза были синие, как васильки!

— А ты тогда слепым щенком был, когда Масальская пела! — кричит через стол Звонарская.

— Шурочка, — примирительно тянет Кюммель, — не задирайся. Может быть Корнет с цыганами и не кутил, да ему его папапа говорил, ну вот он и знает. А у напей Джанум глаза такие — графинные, когда в графинчике чистая налита, как слеза!

— Попел Луку тянуть! «А по моему ни одна блоха ни плоха: все черненькие, все прыгают!» — передразнивает Шурочка.

— Нет, ты признайся, Джан. Правда, похоже? И по сему случаю вышьем на брудершафт.

— Кто лезет в мою сумочку, мерзота поганая?

— Элечка, это я Джан хочу показать, какие у нее графинные глаза в зеркале...

— Налакался уже!

— Ла Белль, не обращайтесь внимания на гнусного индивидуума! Дайте ка мне лучше вашу записную книжечку, я вам изображу в лицах... наклоняется к Эль с другой стороны Бей и подзадоривающе постукивает карандашом, Бей сегодня в ударе, глаза блестят, и закрывшись листком, он что-то шепчет Эль, от чего та безудержно хохочет.

— Ха-ха — благодушно подхохотывает Кюммель. — Веселый у тебя муженек, Джан. Выпьем по сему случаю на брудершпафт.

Джан пьет, дает себя целовать расплзающимися губами. На минуту ей хочется сказать ему действительно чтонибудь обидное, но в конце концов этой размякшей физиономии просто жаль, и она ограничивается только вздохом:

— Идиот ты, Илиодорупка!

— Ха-ха — расцветает тот. — Ты добрая, Джан... Ты очень добрая! Поэтому я тебя и люблю. Думаешь нет? Да, Кюммель сперва присмотрится к человеку, изучит его, но если уж полюбит, то навсегда. Навсегда! — Он ударяет кулаком по столу, и маринованный гриб легко подскакивает с тарелки на скатерть.

— Водку разольешь, сукин сын! — обрушивается на него Корнет. — Ты бы лучше к рюмке присмотрелся! Дайте ему по морде. Джан, чтобы он не лез больше, и давайте поговорим. Вы здесь единственный человек, к которому я отношусь с действительным уважением, потому что вы меня понимаете, Джан! Вап дед был знаменитым адмиралом, вап отец — генерал, вы настоящая военная косточка. И вам ведь тоже тяжело теперь жить! Мы с вами одного возраста почти, так вот скажите, что же нам делать? Нам, молодым? Неужели только всю жизнь и расплачиваться за грехи отцов? Ну хорошо, русская интеллигенция тоже подготавливала революцию. И как еще! Читали роман Краснова «Опавшие листья»? Так ведь это наши отцы, Джан! Пусть и мучаются, кто в концлагере, кто за границей улицы подметает, заслужили! Ну, а мы то? Мы за что? Вот я был бы настоящим корнетом сейчас и честное слово, не хуже других. Любил бы свой полк и лошадей и женщин, чтит традиции, верой и правдой служил бы царю. Конечно, и потанцовал бы на балах, погарцовал на коне, покутил с шампанским и цыганами, перекинулся бы в картишки — так ведь на свои же деньги, не краденые. На то и молодость... А вы думаете, что на войне я не пошел бы первым в атаку? Шапки вон — марп-марп! Попел бы, и если пришлось погибнуть — умер бы с честью, со славой для имени и полка. Но ведь это прошло, Джан, и нас ограбили до тла, даже это прошлое украли, нам и умереть не за что! Вот я служу сейчас в транспортной конторе, получаю сто пятьдесят латов в месяц, через десять лет буду иметь триста, если меня не уволят раньше за пьянство, а если женюсь, то жена моя будет несчастным человеком. Какой же я семьянин, если пропадаю по кабакам? А я пропадаю, и буду пропадать, потому что умереть не за что, и жить поэтому не стоит!

— Послушайте, Корнет, — серьезно говорит Джан, — но неужели вы не подумали, что эмиграция когданибудь кончится?

— Под забором! Русский народ сам убил и замучил всех, кто мог бы помочь ему выбраться из ямы. Вот и сидит в ней теперь. Монгольское иго было триста лет, а история повторяется.

— Да, но темп жизни был тогда другим. Может быть война, интервенция...

— Бросьте, Джан. Союзнички предавали нас не раз, не в первый и не в последний, наверно.

— Ну а все таки? Да разве любая жизнь, вот ваша, например, не стоит того, чтобы ее действительно построить? Если бы я была царем, то когда вернемся, поставила бы на границе кордон, и спрашивала бы, как в Запорожской Сечи, только другое: «А ты умеешь работать? А ну ка покажи!»

— Дорогая Джан, это скучно. Воскресная сокольская мораль. Вы соколка? Я был в обществе. Вопел и вышел. Попал на блины и напился до изумления. Так гибнут благие начинания. А вы разве сами — строите чтонибудь?

Джан немного смущена вопросом.

— Пока нет. Но я хочу строить, и найду уж, что... И вот... «Корабли» построены тоже. Это еще очень мало, но все таки хоть чтонибудь.

— Генька Волин, он же Митенька, говорил мне, что вы написали замечательную пьесу, но поверьте, Джан, вы чересчур большая идеалистка. Я не хочу вас разочаровывать, но корабли ваши тоже никуда не поплывут. «К бухтам радости, к скалам печали ли, к островам ли сиреневых птиц — все равно; где бы мы ни причалили — не поднять нам усталых ресниц»... Бедные мы, и ничего у нас нет. Выпьем, Джан!

Длинный стол уже в беспорядке. Свои и чужие тарелки, рюмки и вилки перемешались, все меняют места. В одном углу живая картина: Эль на ящике, у ее ног, на коленях — Кюммель и Бей. Звонарская шепчется с Волиным и поминутно исчезает на кухню, откуда появляется слегка «растрепе», как определяет заплетающимся языком Витамин, выходящий оттуда же, но по другой причине. Бегал к крану, на напудренном лице бороздки капель, и губы зеленые, как у утопленника. Кто-то пытается танцевать, но это никого не интересует, кто-то пьет на брудершпафт, и все без перерыва курят. Дым густой, как тесто, не может вытолкнуться в полурастворенное окно, всем очень жарко и весело, даже тем, кто расчувствовался до слез.

Часа в два ночи Кюммель, пошатываясь и глотая слюну, подходит к столу и стучит кулаком так, что рюмки сразу валятся в лужицы с каймой окурков.

— Типе! — рычит Кюммель.

— Типе, господа! — звонко кричит Эль. — Иля читает «Черного человека»!

Кюммель, удостоенный быть названным по имени, да еще уменьшительному, не может сиять от счастья, потому что на его глазах слезы, но видно, как его грудь под измятым галстуком распирается упоением. Он становится в позу, устремляет выцветшие, оловянные теперь глаза в окно, и когда говор стихает, выдерживает еще легкую паузу, настраивается. Это одна из самых гордых минут его жизни, и он знает это.

«Друг мой, друг мой! Я очень и очень болен...»

Хрипящий, бесконечно усталый попот из впалой, пропитой груди.

«Ночь морозная. Тих покой перекрестка.

Я один у окошка. Ни гостя, ни друга не жду.

Вся дорога покрыта сыпучей и мягкой известкой.

И деревья, как всадники, съехались в нашем саду...»

Почему то эта картина больше всего откликается в Джан. Она видит синее, почти черное небо, засыпанный снегом сад и одинокое окно. Скупые слова замечательных образов врезаются, как ножом. Может быть именно так и будет — с нею?

Голос Кюммеля звучит как труба, гулким раскатом, извиивается угодливостью, звенит задупевной мечтой, сухо режет обнаженной правдой, хрипит от страха, безумеет бредом.

Ни до, ни после этого вечера Джан никогда не слыхала такого исполнения. Может быть, Кюммель превзошел самого себя в любимой вещи, но она только теперь раскрылась перед Джан. Еще не совсем понятно — но нужно дойти до смерти, чтобы понять до конца «Черного человека».

Потрясена не одна она. Актеры притихли и протрезвели. Сразу обмякший Кюммель опускается в изнеможении на стул, и ему аплодируют горячо, дружно и искренно, наливают водки, качают и целуют. Джан тоже трясет ему руку, молча уходит на кухню и снимает с вешалки пальто. Больше ей ничего не хочется. Бей будет сидеть до конца. Пусть...

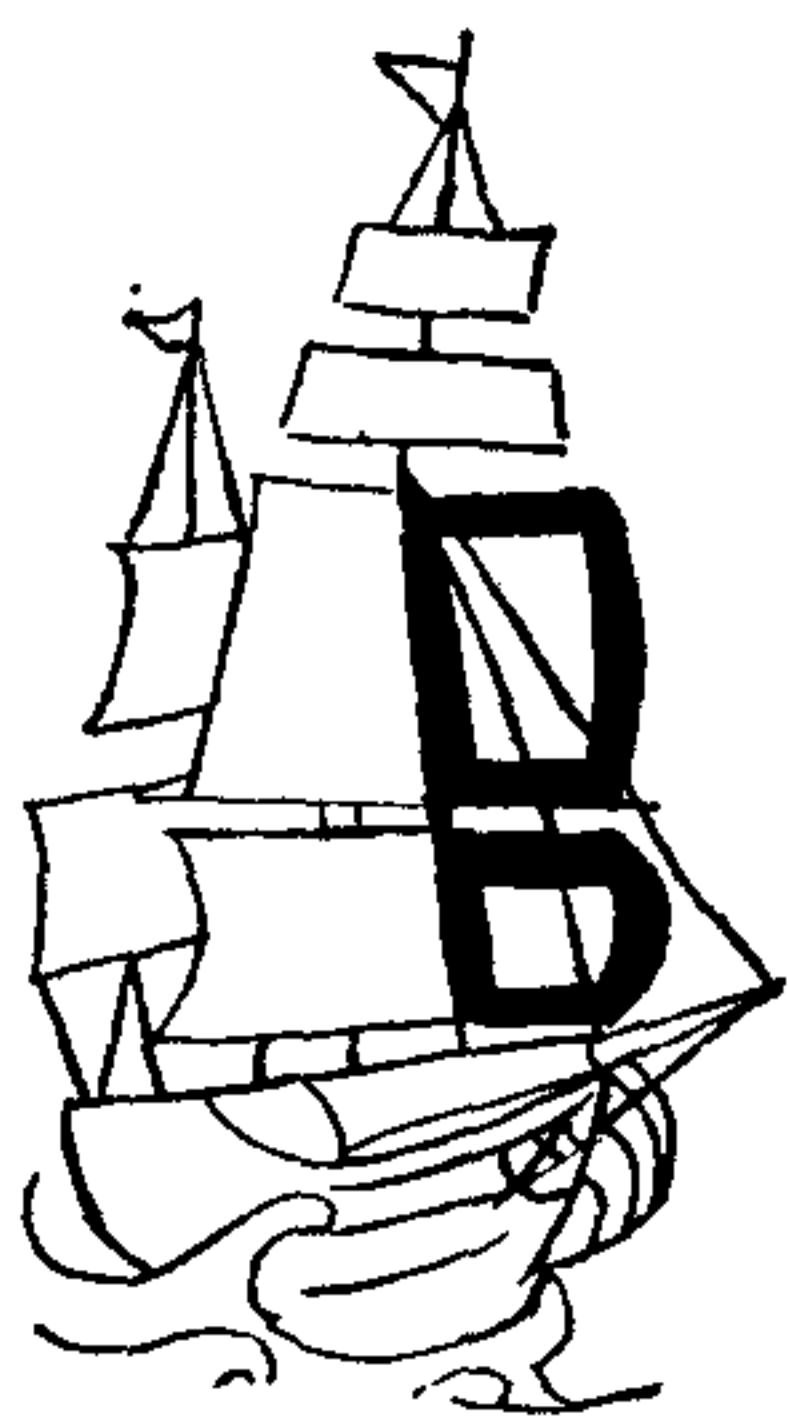
«Ночь морозная»... шепчет она, выходя на улицу. Из окна лаборатории падает желтое пятно света на белый снег панели, и что то кружит в воздухе, как осыпающиеся лепестки звезд.

«Месяц умер. Синее в окошке рассвет.

Ах ты, ночь! Что ты, ночь, наковеркала!»

... А все таки — протяжно резюмирует Джан, укладываясь дома спать и зябко поджимая холодные ноги — а все таки очень жаль, что Тот не отравил Консуэллы!





Вероника Николаевна, — хмурясь, говорит Нагаев, — мне все еще не было письма?

— Нет, князь.

— Чорт знает, что такое. Вот уже неделю, как жду каждый вечер. Очень важно. Пожалуйста, если его принесут сюда без меня, то постарайтесь какнибудь переслать на дом. Не забудете?

— Конечно, нет.

Князь закуривает папиросу и хватается за пальто.

— У меня свиданье, а здесь делать все равно нечего. Вы пробудете до девяти?

— Наверное.

Вероника, строго говоря, могла бы уйти тоже, но раз ему надо, то просидит и до полночи.

— Ну вот и хорошо. Пока!

Князь хлопает дверью и в комнате сразу становится пусто и неуютно. Синий дым крепких, особенных, «его» папирос медленно расслаивается и гаснет, вздыхая и нашептывая что-то, как одинокая, никому ненужная, брошенная мысль. Вероника вздыхает тоже и выравнивает стопку квитанций.

Стук в дверь. Входит какой то невзрачный тип и протягивает конверт.

— Князю Нагаеву — здесь?

— Здесь, здесь — обрадованно говорит Вероника и хватает письмо.

Что же теперь делать? Попросить когонибудь из труппы передать? Но почти все живут здесь на Московском форштадте — а князь в городе, на элегантной Николаевской. Придется самой пробежать до Суворовской — может быть, там сидят еще «красные папки» — рассыльные.

Вероника быстро надевает пальто, стараясь не помять воротника — рукоделья Джан. Нарядные бабочки закрывают половину груди. Вероника не без трепета надела их сегодня к новому — впервые за столько лет! — не перешитому, а купленному в магазине синему платью. Дома она долго стояла перед зеркалом и наслаждалась своим преображенным видом. А князь даже не обратил внимания на это великолепие.

На улице ужасная погода. Северо-западный ветер валит с ног, бросается из-за каждого угла мокрым снегом, сечет лицо, залезает за пиворот. Туфельки без калош — наказанное кокетство! — промокли в хлюпающей капле на мостовой насквозь. В довершение всего, на улицах где обычно дежурят «красные папки» — пустые скамейки. Поздно.

Ну и что же — репает Вероника. — Если уж дошла сюда, то можно помокнуть еще десять минут и дойти до Николаевской.

Подъезд дома в толстых стеклянных квадратиках двери, как поколадная плитка. Плитка поколада! У Моржа сразу замирает и ухаает вниз сердце, и хотя лестница выстлана ковром, но шаги стучат в ушах. Может быть, просто бросить в ящик? Но почту разносят по утрам, а ему так слепно надо знать что-то... и звонок запел сразу, она только едва прикоснулась.

Дверь раскрывается. В просторной передней стоит высокая пожилая дама и вопросительно поднимает брови.

— Я должна передать письмо князю Нагаеву — невнятно бормочет Вероника и вытягивает из сумки конверт, но дама, очевидно хозяйка квартиры, уже повернулась и кричит:

— Князь!

В глубине передней открывается дверь. Хозяйка уже ушла по коридору вбок, со слегка насмешливой, как кажется Веронике, улыбкой, а Вероника так и стоит с протянутой рукой и мучительно краснеет. Князь с удивленным лицом в два шага подбегает к ней.

— Вы! Вероника Николаевна? Что случилось? Боже мой, в каком вы виде!

— Письмо, князь, — лепечет она, совершенно растерявшись, — его принесли... и я думала, по дороге... рассыльных не было... вот.

— Ах, письмо все таки пришло? Великолепно! Но как же вы решились в такую погоду... Это уж действительно верх любезности... Проходите скорее сюда, ко мне, не стоит поливать хозяйские ковры, и снимайте живенько пальто, а то с него льет, как из водосточной трубы.

Он отступает на шаг, чтобы пропустить ее, и тушит в передней свет. Вероника, как загипнотизированный кролик, собирается уже шагнуть за ним, но внезапно приходит в себя.

— Я просто занесла вам письмо, а не явилась в гости, князь, — твердо говорит она. — Так что разрешите проститься и...

— И дудки! Я прекрасно понимаю, что вы покированы, но ничего не поделаешь. Форс мажор! Выпустить вас сейчас на улицу мокнуть снова, а вы живете далеко, это значит взять на себя ответственность за вашу простуду, а я, как вы уже знаете, панически боюсь всякой ответственности. Никаких возражений! Пальто на вешалку, — шляпу на стул, ноги — о Боже, без калош! — Никогда не предполагал в вас такого легкомыслия. Женщина всегда остается ребенком. Моментально снимайте, и чулки тоже, да, я отвернусь, конечно, не краснейте, ради Бога, вы меня смущаете. Вот вам носки. За дырки извините, я человек холостой, но по крайней мере чистые и сухие. Туфли и чулки — есть уже? давайте сюда, на центральное отопление, а сами — на диван. Забирайтесь с ногами, облокотитесь на подушки, и отдохните от пережитого потрясения. А я пока займусь письмом, если разрешите.

Князь окончательно овладел Вероникой, вертит и командует не терпящим возражений тоном. У него выходит все это так гладко, легко и свободно, что она теряет способность удивляться самой себе. Если бы ей вчера сказали, что сегодня, в начале десятого, будет сидеть в комнате молодого холостого человека, — Боже мой, здесь даже стоит кровать, совершенно неприлично! — сидеть на диване, поджав под себя ноги в его носках — какой скандал, если об этом узнает ктонибудь! Она — учительница! Но самое ужасное, что она совсем не возмущена. Неловко и как то щекотно от любопытства — впервые в жизни такое положение. И очень приятно отдохнуть. После школы она бегала по урокам, потом театр, кроме завтрака ничего не ела... Туфли на радиаторе просохнут быстро — только бы не потрескался лак — и тогда она уйдет, через какихнибудь полчаса... не ночь же, в конце концов! А пока можно осмотреться... И Вероника, прижавшись к подушкам, как продрогшая пичуга, широко раскрывает изумленные глаза.

Комната действительно необычна. Смесь «меблирапки» и не то антикварного магазина, не то помещичьего замка. Стены сплошь, от потолка до полу, завешаны фамильными портретами в тяжелых рамах.

Они смотрят повсюду — сверху, снизу — одними и теми же властными, темными, надменными глазами. Веронике становится даже неловко, как будто она на сцене перед ними.

Князь прочел письмо, протянул руку к телефону, накрутил номер.

— Алло? Да, это я. Я покупаю. Так, как сговорились... хорошо. В последний момент? Ну что ж, значит во время. Досвиданья, всего хорошего. — Он положил трубку с довольной улыбкой.

— Вот, Вероника Николаевна, если бы я получил письмо хоть часом позднее, то упустил бы выгодное дело. В награду вы получите свои туфли только тогда, когда они окончательно высохнут, а в ожидании этого мы поужинаем. Да! Великолепная идея! Я зверски голоден. Конечно, повара я не держу, и сервировка тоже не из блестящих, но если вы согласитесь разделить мою скромную трапезу...

— Благодарю, но я не голодна.

— Неправда. Кроме того, чтобы не смущать хозяина, можно отведать егостряпни хотя бы из приличия?

— Из приличия! Ха! — поперхнулась Вероника. — Вы бесподобны, князь!

— Правда? Вы мне льстите. Ах да... теперь я понял. Ужин тет а тет! Может быть, прикажете пригласить хозяйку в роли дуэньи? Или удовлетворитесь заявлением, что я не собираюсь покушаться на вашу невинность?

— Позвольте — выпрямилась Вероника.

— А вы уж и всерьез приняли?

— Я считаю вас джентльменом, — заявила она.

— Напрасно! — почти пропел князь. Он стоял против нее, засунув руки в карманы бархатной куртки и чуть покачиваясь в мягких туфлях.

— Напрасно, глубокоуважаемый господин профессор! — он чуть было не сказал «кикимора» и ему стало совсем смешно. — Однако, нечего болтать. Вот вам занятие — и через десять минут — купать подано!

Книга оказалась редким французским изданием, и Вероника действительно не успела просмотреть ее до половины, как князь подвинул стол поближе к дивану. Яичница, котлеты и пирожки — в этом еще не было ничего предосудительного, но какая то темная бутылка смутила Веронику.

— Ром для чая, по старой морской привычке — предупредительно сказал князь.

— А я уж испугалась, что водка, — откровенно призналась Вероника, — потому что никогда ничего не пила, кроме рюмки портвейна, когда была больна.

— О, это тоже самое. Только для запаха и как лекарство против простуды — улыбнулся князь, наливая полстакана рома и разбавляя его чаем. Чай показался Веронике немного стран-



ным и жег горло, но она храбро выпила стакан, и ей стало сразу тепло.

— Надо слушаться старших, — заметил князь, быстро наливая второй по тому же рецепту и внимательно смотря на нее. Кикимора покраснелась, глаза заблестели и сейчас, пожалуй, она стала даже милостивой, как тогда на сцене.

«Аплодисменты, брат... это... это, как водка», — вспомнил князь и усмехнулся.

— Вы, Вероника Николаевна, сегодня очень нарядны и... интересны. Не воротник, а целый иконостас! Но красиво. Только не краснейте пожалуйста от всякого комплимента, как девочка, а то я мало ли чего могу наговорить, и вдруг у вас румянца не хватит. Оставьте про запас. Как вы себя чувствуете? Не холодно?

— Очень хорошо. Мне кажется вообще, что я попала в какую-то сказку. Вапа комната так необычна, что можно часами смотреть и смотреть.

— Жалкие остатки бывшего величия — польщенно улыбнулся он.

— Как вам удалось сохранить все это?

— Моя мать — урожденная баронесса Гольдингер, а отец служил в Иркутском гусарском полку, который стоял в Митаве. После земельной реформы латыши оставили нам центр имения, но мы его продали, и некоторые вещи я взял себе. Вот этот гусар — герой двенадцатого года, этот — екатерининский придворный.

— Как странно разговаривать с живым человеком, сидящим среди своей фамильной галлерей! Глаза передаются у вас из поколения в поколение.

— Да, татарская кровь. Есть и еще родовые особенности: почти все мы, Нагаевы, несчастны в любви. Но зато везет в остальном. Преданье гласит, что изумрудный перстень, переходивший к старшему сыну, подарок какого-то легендарного хана, приносил удачу. На нем вырезан камень с воткнутой в него стрелой — наш герб. К сожалению, отец не успел передать его мне, его убили матросы, проходившие через имение в восемнадцатом году. Так кольцо и пропало, у него, живого или мертвого, его сорвали с руки. Если бы я его носил, то наверное жил бы и сейчас в своем замке. Невеста бы наплалась.

— Почему же вы не женились?

— Я говорю: не везет. У всех женщин, которых я встречал до сих пор, чего-нибудь не хватало: либо желания выйти за меня замуж, либо приданого. А кроме того, я не умею ухаживать долго за одной и той же. Если через полчаса, самое большое, она не скажет мне «да», то уже надоедает, а если скажет, то надоедает тоже очень быстро, и я перехожу к другой, чего женщины обычно не понимают.

Князь кокетничает и улыбается с притворной грустью. Он показывает миниатюры, старинные пергаменты и блесит перед замороженным Моржем, как алмаз.

— Вот это вы тоже сможете оценить и полюбоваться — говорит он, доставая из глубины секретера старинное ожерелье. Круглые, в лесной орех, аквамарины проткнуты глубоко врезанными гранеными звездами и играют, как бриллианты. Посредине — громадный камень и над ним, как рамка, золотая корона.

— Какая прелесть! — ахает Вероника.

— Да, художественная работа. Правда, чтобы носить его, надо иметь и соответствующий экстерьер: величественной блондинки с голубыми глазами. Если у нее найдется еще парочка миллионов, то она может получить в обмен на них эту безделушку и мою визитную карточку в придачу, только пусть поторопится, а то в минуту жизни трудную аквамарины пойдут вслед за бриллиантами.

— Неужели вы никого не любите, князь?

— А я сам на что?

— Я не шучу.

— Я тоже. Я уже отлюбил свое, Вероника Николаевна. Стрелялся даже. Представьте себе, что у нее не было миллионов — хотя жениться, откровенно признаться, мне тоже не приходило в голову... Пожалуй, и хорошо, что разошлись, как в море корабли. А теперь — «чего не имею, того не имею», — сказал один нуворип, когда у него попросили автограф. Я к женщинам отношусь, как к папиресе — это и приятно, и удобно, а главное — без обязательств с обеих сторон.

Веронике кажется, что ее окунают то в кипяток, то в холодную воду. Она даже прижала обе руки к груди, чтобы удержать слова, которые нельзя, никак нельзя произнести!

Князь спрятал ожерелье, прошелся по комнате, налил себе рома, — ей и так уж достаточно, и подойдя к ней сбоку, вдруг поцеловал в склоненную шею, у самого затылка — требовательно и нетерпеливо. Вероника вздрогнула, не поняла сразу, не поверила, но он целовал теперь, запрокидывая ей голову и сжимая плечи, и никогда не испытанное чувство закружило и понесло.

Что я делаю? Боже, что я делаю? — мелькала в голове обычная мысль каждой женщины в подобном положении, и она судорожно хваталась за сознание, чтобы очнуться, заглушить другое, тянущееся к его губам, шепчущее, что все равно, хоть раз испытать счастье, а потом... счастье! Бутылка рому, мгновенный каприз — счастье? Да, для нее, жалкого уroda, старой девы...

Но так же внезапно все стало вдруг совершенно ясно и еще не совсем понятно было, в чем заключается это «все», но от резкого физического ощущения ясности тяжелая холодная усталость потушила кровь. Она почти уже лежала на подушках

дивана, но сейчас легко выскользнула из объятий, и не вскочила, а просто села на край дивана и печально качнула головой.

— Я не хочу быть — выкуренной папиросой, князь. Я слишком люблю вас для этого.

Вот теперь все кончено, Сказано. Его самолюбие может быть удовлетворено, несмотря на отказ. Странно, она больше не чувствует никакого опьянения. Ни от рома, ни от поцелуев. Только тяжесть и смертельную усталость. Хочется лечь, зарыться вот в эти подушки, ни о чем ни думать, ни говорить, остаться совсем одной и умереть.

Вероника подходит к окну, под которым на трубах центрального отопления супатся ее чулки и туфли. Они совсем горячие, лак потрескается наверно. Ее туфельки. Она неловко натягивает, стоя, чулок за спинкой резного кресла и застегнув, поворачивается.

Князь сидит на диване и курит, прихлебывая ром. Легкая досада еще играет в бровях, но на губах бродит обычная издевающаяся усмешка.

— Я не обижаюсь, Вероника Николаевна. Во первых, никогда не принуждаю. Во вторых, даже понимаю вас. Согласитесь, что это очень любезно с моей стороны. Во всяком случае, у вас есть характер, а силу я уважаю всегда. Хотите еще рома? Чай остыл, к сожалению.

Вероника подходит к вешалке, но он вскакивает и подает ей пальто.

— Собственно, не вижу причины, почему бы нам не посидеть и поболтать еще по дружески, но вы наверно устали... Сейчас я возьму ключ и выпущу вас, дверь внизу уже закрыта, третий час. Провожать не пойду, не провожаю никого, принципиально, чтобы не портить репутации. Впрочем, я всегда предупреждал, что джентльменством не отличаюсь.

Вероника в таком же застывшем отчаянии проходит через переднюю, машинально отмечая, что бы подумала хозяйка квартиры, увидев ее сейчас, и как это безразлично, — спускается по лестнице, и только у входной двери оборачивается:

— Простите, князь. Я позволила себе сегодня слишком много. Но...

— *Je suis charmé*, — перебивает он, опасаясь, что признания могут затянуться и, церемонно поцеловав ее руку, выпроваживает на улицу. Чего ради ему пришло сегодня в голову окончательно осчастливить кикимору? А она оказывается с норовом! Ну что ж — была бы честь предложена!

Князь ложится в кровать и заканчивает неудачный вечер криминальным романом.

Вероника доходит до ближайшего угла, на котором дремлет такси. В сумочке у нее полученное жалованье. Вероника никогда не ездила в такси и даже не знает, как это делается, но сегодня

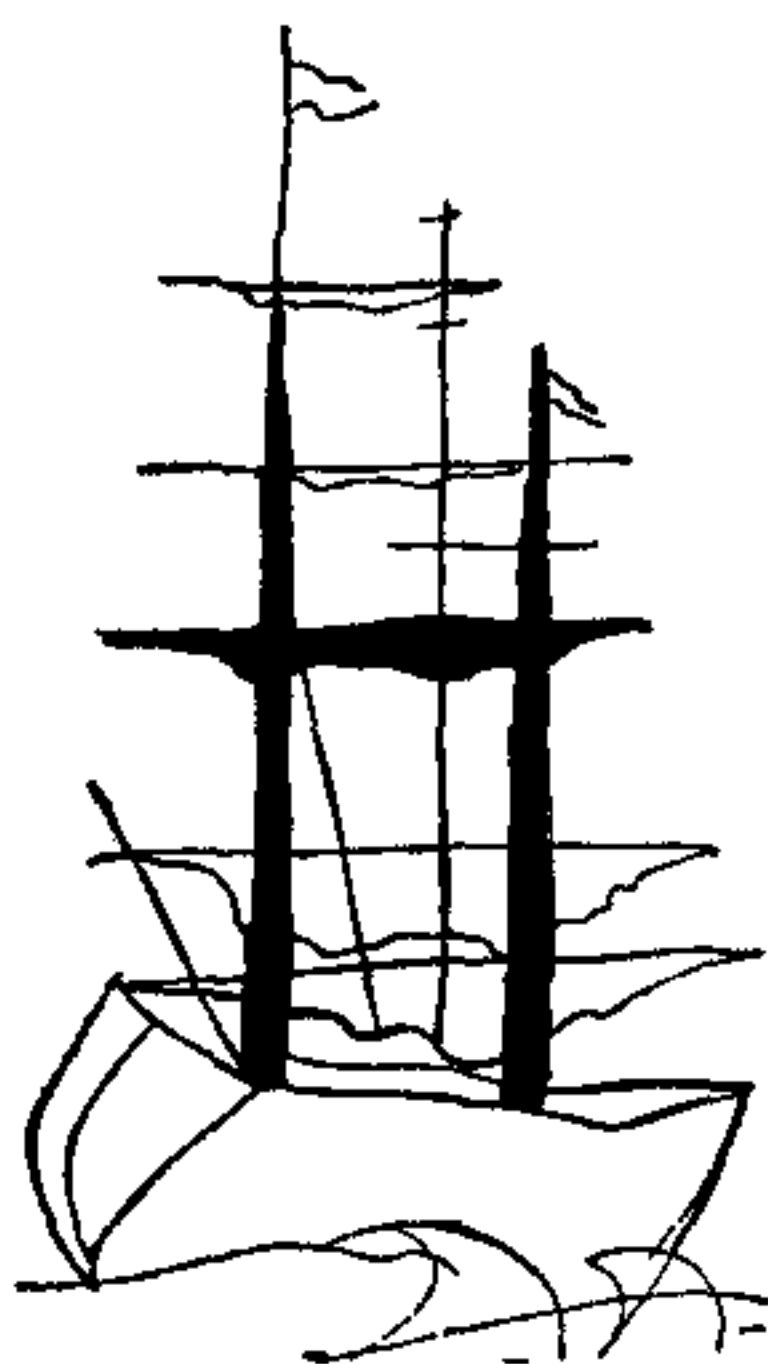
все равно, сама она не дойдет. Тупая, холодная боль рвет и давит грудь, голову, ноги прилипают к земле. Она дергает дверцу автомобиля, проваливается в низкие подушки, медленно говорит адрес в разбуженный шум мотора, — и ее уносит куда то в ночь.

\*\*\*

— Вероника, что с тобой? — ахает Джан, встречаясь с ней на следующий день в театре.

—Ничего, — качает головой Морж. — Но вот именно потому, что ничего не случилось, Джан, я поняла наконец очень простую вещь, которую и ты, и все уже давным давно знают. Я увидела, что я очень несчастный человек, Джан, а ведь раньше я никогда не думала этого, понимаешь?





— у вот, теперь с бенефисами покончено, — говорит Нездолин. — Остались еще одна-две новых постановки, а там Пасха и конец сезона.

— Николай Николаевич, а как же мои «Корабли»? — внезапно выпаливает Джан и краснеет. Почему он ничего до сих пор не сказал ей?

Нездолин недовольно жует губами.

— Да, «Корабли», так сказать, еще в портфеле дирекции. Но в начале сезона надо было дать классиков и ходовые пьесы, чтобы привлечь публику, потом начались бенефисы... Может быть, отложите постановку до следующего сезона?

Джан проглатывает обиду. Отказаться от мечты, ради которой она вообще пошла в театр?

— Конечно, если вы отказываетесь...

— Этого я не сказал. Я только предложил вам подумать, и советую отложить. Но если вы настаиваете — пожалуйста. Итак, господа, — обращается он к актерам, — на следующей неделе мы приступаем к премьере в полном смысле этого слова. К постановке новой, не издавшей еще огней рампы пьесы «Корабли Старого Города». Автор и бенефициант — наш многострадальный суфлер.

В понедельник назначена читка.

В пустом буфете, Нездолин садится к столику, на котором ставят лампу, надевает очки, и вынимает из портфеля рукопись. Вся труппа налицо и настроение приподнятое.

— Итак — торжественно начинает Нездолин — попросим автора прочесть распределение ролей и затем...

— Тоска — Елена Владимировна, Дофин — Волин, Шут — Кюммель, Черный — Константин Николаевич, Красный — фон Доорт, а остальные — по усмотрению режиссера.

— А бургомистра сыграю я сам, но только на премьере в подарок бенефицианту, — заканчивает Нездолин, и Джан благодарно вспыхивает, сама она не репалась попросить.

Восторженного гула по окончании читки нет. Только Кюммель сияет. Кривое Веретено — бомба, совсем в его вкусе. Эль льстит сознание быть единственной. Константин Николаевич подходит к Джан.

— Вы меня приятно удивили, — говорит он и пожимает ей руку. — Черный очень интересная фигура, и я постараюсь передать вам замысел. Костюм я сделаю сам, можете не беспокоиться.

Константин Николаевич держится обычно в стороне, а если принимает участие в обязательных попойках, то слегка бледнеет от водки и декламирует дрожащим высоким голосом:

«Ту вазу, где цветок ты сберегала нежный,  
Рукою ласковой разбила ты небрежно...»

«Тувазу» так и передразнивали его втихомолку.

— Надежда Николаевна, теперь прошу для технических разговоров. Compliments вы можете выслушивать потом, — вмешивается Нездолин. — Итак, в первую очередь декорации. Я думаю...

Да, быть автором пьесы — нелегко. Считается, что она должна позаботиться обо всем. Джан представляла себе авторство немного иначе. Нужно заказать задник — корабли. Нужно нарезать из цветной бумаги осенних листьев, купить бубенчики для Шута, достать ковры, или хоть цветные скатерти... Эль великодушно заявила, что позаботится о костюме тоже сама, Джан пусть лучше займется продажей билетов, хороший сбор — самое главное.

Билеты! Вечерами Джан сидит, морща лоб, и записывает на листочке маршрут следующего дня — в поисках новых жертв. Аншлаг — вопрос самолюбия, и нужно собрать на премьеру всех. С утра до вечера Джан носится по городу, мокнет и мерз-

нет, и говорит, говорит . . . Дядю Кира и Ладу надо убедить, что в конце концов это русское культурное дело, и для поддержки именно театра, а не старой знакомой, он должен привести всех соколов и соколок. Бей категорически отказывается протезировать жену. Надо умолять, доказывать, и, почти плача, мечтать вслух, что если Караваев согласится приехать — то, может быть, у нее будет сделано имя, и все, все!

Караваев — самая крупная фигура русской литературной Риги, один из больших критиков русского зарубежья.

Вероника, конечно, взялась обработать свою школу и министерство, но трогательно удивила Катышка, переборовская застенчивость до того, что не только убедила весь класс, но отважилась придти в учительскую. Да, Катыпкина помощь была светлым лучом на фоне темного вечера, когда на третьей репетиции Нездолин, корректно улыбаясь, заявил:

— Многоуважаемый автор, большинство труппы просит вас объяснить пьесу, потому что, кроме избранных, никто не понимает ее, да и те, по моему, только делают вид!

— Позвольте — обиделся фон Доорт. — Правда, мне с моими взглядами играть стопроцентного большевика не очень весело, но выходит, кажется, достаточно убедительно!

— Я не понимаю, что нужно объяснять, — устало говорит Джан. Она начинает уже сбиваться с ног и в голове ералап. — Старый Город — воплощение красоты, созданной людьми. Они ждут счастья и посылают за ним корабли. Черный — сомнение и отрицание, и Красный — грубо разрушающая сила, — губят город. Мне кажется, что мы все тоже отправляем в своей жизни корабли за счастьем — и ждем, что они когда нибудь вернуться. Тоска по мечте есть в жизни каждого человека — только счастье дается не всем.

Джан стоит на полуосвещенной сцене. Актеры отдыхают в первом ряду.

Слова гулко падают в пустой темный зал и застывают на пыльных подоконниках. Объяснение никого не удовлетворяет и никому, конечно не приходит в голову, что вот сейчас здесь прозвучал заговор. Произнесена колдовская формула, определяющая их жизни. Различны и пути, и счастье, но все они — уже во власти кораблей и Старого Города. Но Джан не похожа на волшебницу, и все это становится понятным только гораздо позднее, да и то не всем.

\*\*\*

Премьера «Кораблей» назначена в последних числах марта. В марте и октябре тоскуют рижские башни. Но октябрь — золотая улыбчивая осень красавицы Балтики, а синий месяц — сумасшедший март, и его колдует ветер.

Снег почти уже стаял. В лесах и парках, источенный оттепелью, он прячется в тень и пахнет особой весенней терпкостью.

Ветер вырывается изо всех углов, приникает к нему, и пьет. Ветер несется с моря с порохом льдин, с треском мачт, с разорванными клочьями тумана в брызгах пены, с воем, свистом, грохотом. Это веселый ветер, озорной, безудержный, дерзкий, он продувает насквозь старые колокольни, выметает и сует улицы, мокрой щеткой снимает вековую пыль со старых камней, стучит во все окна, грохочет вывесками, хлопает ставнями, треплет ржавые флюгера, хохочет в трубах. Этот ветер пьян и пьянит предвесеньем, он колдует, смеется и зовет. Это балтийский ветер, такого нигде нет больше, с таким нельзя запылиться душам и залежаться мечтам — он их продует, встряхнет, завертит волчком и вытянет бьющимся, как сердце, флагом.

«Корабли Старого Города» — пузырится на столбе оранжевая афиша. Старый Город отправляет корабли! — радостно взмывает ветер. Огненные клочки несутся как паруса, как листья — а в этом то уж он знает толк! Знаете ли вы, что Старый Город отправляет корабли за счастьем? Золотая корона — Дофину, улыбка Тоски — Шуту! Отдайте кораблям самое дорогое, потому что они должны вернуться! А кому какое счастье, про то каждый знает, надо только пожелать и отправить корабли!

\*\*\*

На генеральную репетицию Джан пришла, свалилась мешком на стул и вынув из портфеля кусок картона, молча протянула его Нездолину. На картоне было написано жирной тупью: «Аншлаг! Все билеты проданы»!

— Ай да Джан! — ахнула труппа. — Вот это класс! Всех перецеголяла!

Нездолин покачал головой.

— Поздравляю, но на вас лица нет. Вы на ногах стоять не можете, а завтра премьера. Вот что, Надежда Николаевна, в виде исключения и воздаяния за заслуги — вы освобождаетесь от генеральной репетиции. Справимся и без вас.

Джан пытается возражать, но слабо. Последние билеты проданы сегодня утром, надо было приготовить еще все для ужина. Она медленно бредет домой, с трудом переставляя ноги. Совершенно ясно чувствуется, как усталость кусочками застряла повсюду в теле, и от этих сгустков так тяжело. Спать, только спать...

Следующий день — воскресенье. Катышка и Надя с корзинками посуды являются уже спозаранку. У соседей занимают столы и стулья, три простыни идут на скатерть и обпиваются веточками зелени. Пельменей негде было заморозить, и на кухне громоздится невероятное сооружение из полок и досок, на которых уложены тысячи штук. Джан готовит сладкое, девчонки вылизывают кастрюльки, и все это похоже на канун большого праздника, если бы не внезапный холод в груди, от которого кружится голова и перехватывает сердце.



— Ну, Джан, держись — влетает Бей. — Караваев согласился приехать, изъявил свое согласие! Разумеется, ужинать он будет тоже — так что смотри, не подкачай. Он большой гастроном.

У Джан опускаются руки, и она садится на первый попавшийся стул.

— Ну вот, выла и ныла две недели, чтобы я притащил его, а теперь делаешь ужасную физиономию!

— Страшно, Беинька...

— Теперь отказываться поздно. Умела писать, умей и ответ держать. Ничего, Джан, не горюй.

Джан старается думать только о селедочном паптетте, и еще... но только не о вечере.

Но вечер уже ложится заходящим солнцем и первой синевой на окна.

— Джан! — ахает появившаяся Вероника. — Тебе уже в будке пора сидеть, а ты еще не одета! Скорей надевай новое платье и беги!

Надевать платье первый раз — торжественная церемония. Материя только что вошла в моду — персть с шелком, переливается серым и сиреневым: узкие полоски коричневого меха дают строгую рамку. Джан выглядит элегантно и хоропенькой. Она похудела за последние недели, светлые глаза в черных ресницах кажутся такими громадными и странными, что сразу оправдывают все прозвища, но Джан уверенно — научилась в театре — подкрашивает лицо, и яркие губы дают нужный эффект.

До спектакля еще полчаса. До театра четверть часа ходьбы. Идти надо медленно, шаг за шагом, потому что с каждым шагом уходит драгоценная секунда. Через полчаса поднимается занавес, и тогда все кончено. Пока можно еще ждать, можно мечтать: о Старом Городе, о кораблях, аплодисментах, и о том, что скажет Караваев, что напишут завтра газеты, и что получится вообще. Через полчаса начнется спектакль, и к концу его, а может быть и раньше, все узнается и будет ясно. «В жизни каждого человека бывает четверть часа счастья, надо только знать, когда именно» — вспоминает Джан. Нет, эти четверть часа ходьбы до театра — не счастье. Но что-то очень большое, и Джан находит наконец определение: она идет, как на причастие.

Лада, конечно, сочла бы такую мысль кощунством. Но это так. Вот она идет осторожно и медленно, как будто боится разлить что-то сияющее в похолодевшей груди. Чисто вымытое весеннее небо гаснет в медленных, по ступеням спускающихся сумерках. Тонкие акварельные тени на радужных камнях мостовой. Ласковый уставший ветер чернит синеву в закоулках, и сам тоже синий. В темной нише под зеленым куполом часовенки мигает по вечернему лампада.

— Господи, — молится Джан, — сотвори мне маленькое чудо. Это только пьеса, Господи, но это корабли за счастьем. Я знаю,

что в ней много недостатков, но это самое главное и большое в моей жизни, Господи! Дай мне построить жизнь. Я знаю, у нас бедный театр и слабые актеры, но бывают же чудеса, Господи!

Джан идет светло и трепетно, и ей действительно кажется, что ничто не может помешать чуду, блестящей постановке и успеху.

Высоко в стороне, в старом городе, петух на шпилье самой высокой, сквозной колокольни ловит на крылья розовый отблеск солнца. Ветер уселся на петуха и покачивается, отдыхая, сыплет вниз радужные блески, но они на половине дороги уже бледнеют и гаснут, сиреневой сумеречной пылью ложатся на складки башен.

Не торопись, Джан. Эти четверть часа — не счастье, конечно, но так идти на причастие можно только раз в жизни. Эта просветленность уже не повторима, Джан, потому что каждое преддверие дальше будет уже связано с воспоминанием, а воспоминания лучше бы иногда забыть! Не торопись, Джан. Вот теперь осталось еще пересечь шумную мещанскую Московскую. Никто из проходящих мимо людей не знает, куда и зачем медленно, как будто с зажженной свечей идет молодая, светлоглазая девушка, — но ведь и сама Джан не знает тоже.

«Так, есть слова, но их никто не слышит».

Поворот вбок. Еще несколько шагов.

«Каким человеком я буду, когда снова пройду по этим камням?» думает Джан. Еще секунду останавливается перед дверью, быстро крестится и толкает ее.

Узкая лестница ведет прямо за кулисы. В коридоре между уборными обычная суетня и смутный гул из зала.

— Как вы находите, Джан? — слышится рядом глухой, незнакомый голос. Она оборачивается и отступает на шаг. Черный, длинный и узкий, в черном трико под колеблющимся плащом, как нож в облаке. Только руки отчетливо видны — лицо наполовину скрыто резкими тенями капюпона. Что за грим — глаз действительно испугаться можно!

— Ни за что не узнала бы.

— Правда? Польщен.

Как странно видеть собственные образы живыми людьми! Не гордость, а скорее легкий страх маленького неопытного божка, создавшего и не знающего, что же делать теперь с собственным творением, которое живет уже во вне его, и он бессилён изменить его пути.

Из глубины зала трещит звонок.

— Джан, в будку! — кричит Хохлов, помощник режиссера. Он злится, что его обошли. Черного играет племянник режиссера, а он такого же роста, и брюнет, и уж по этому одному должен был бы играть чорта.

Несмотря на все теории, театр так же не поддается учету, как и жизнь, и так же склонен опрокидывать собственные законы. Красавица Сибилла Вэн, влюбившись в Дориана Грея, увидела мишуру сцены и погибла. Урод Морж, влюбившись в князя, великолепно сыграла и напла себе этим новую роль в жизни. Когда Нездолин поставил «На дне», Джан была уверена, что даже в Художественном театре нельзя было бы сыграть лучше. А когда отзвенел третий звонок и занавес раздвинулся, отплывая волочащимися юбками бахромы, — и Джан подняла голову, — у нее на секунду действительно остановилось сердце, и просветленная девупка, белая причастница Джан, — умерла.

Не надо было торопиться, Джан. Эти четверть часа — не счастье, но они никогда не повторятся больше.

Похороны по четвертому разряду! Лучше всего сразу же дать занавес, махнуть рукой актерам, чтобы не трепались зря, и попросить публику взять деньги обратно. Но в кассе денег нет: заплачено за зал, за афиши, декорации, устроен ужин, куплено платье и подарки всей семье. Нужно продержаться до конца.

На сцене розовые и голубые фонари качаются над пиррами, изображающими дома. Бубенчики, привязанные к черным на пнурках туфлям пута звучат еще трогательно, но Дофин в голубом камзоле маркиза и каком то кокопнике на голове — это уже замечательно. Эль выглядит очень эффектной в белом платье с кружевами, сильно укороченном как снизу, так и сверху, но причем тут Тоска? Корнет фон Доорт, загримированный а ля революционный матрос, но со средневековым кинжалом за поясом, — рычит и взбрыкивает ногами, для вящего темперамента. Но особенно колоритна толпа граждан Старого Города, по принципу: чем пестрей, тем веселей.

Спокойно и уверенно, против всякого обыкновения, Джан ведет спектакль. «Корабли» оказались единственной пьесой за весь сезон, которую она суфлировала хорошо. В антракте она пропла в реквизиторскую — там меньше всего можно было встретить когонибудь — и, усевшись на стол, сосредоточенно курила, выпуская дым кольцами.

Второе действие удачнее: есть декорация, толпа кажется в утреннем освещении естественнее, только «тихая музыка» за сценой иногда довольно подозрительно «там-тамит» фокстротом, но для чего придирааться. Аплодисменты сильнее, и актеры раскланиваются два раза. Джан кладет голову на рукопись и проводит весь антракт в таком положении. Да, Нездолин не мог, конечно, поставить «Корабли» как когда-то «Синюю Птицу» — тысячи метров газа для дворца Времени и так далее. Но если бы он проработал роли с актерами так, как в «На дне», то постановка не была бы такой скандальной. Или пьеса настолько плоха, что над ней не стоило работать? Почему же тогда доводить ее до позора, а не отказаться сразу?

Третий звонок. Последняя попытка, слава Богу. Почему тишина за сценой? Она опускает глаза на рукопись — да, совершенно ясно сказано: «Перед поднятием занавеса слышен грохот рушащегося здания и крик». Занавес раздвигается при полной тишине. На сцене — сморщенное небо, несколько валяющихся кусков чего то на полу и пустота. Пауза.

Минута, другая.

«Еще минута — лениво думает Джан — и я даю занавес. Посмотрели и хватит». Она протягивает уже руку к звонку, но за сценой слышен топот, и Кюммель с диким воплем врывается на сцену, падает и начинает монолог. «Напелся, мерзавец, как спасти положение!» — одобрительно думает Джан. Но взволновать ее сегодня больше ничего не может. Джан застыла насквозь и стала стеклянной. Поэтому она только досадливо поднимает брови, когда Хохлов, спохватившись за кулисами, что должен быть грохот, хватает стул и начинает дубасить им об пол как раз во время диалога шута с Черным — диалога, в котором каждая пауза говорит!

Ну вот, Черный уходит, и ее роль суфлера в сущности окончена. Кюммелю остался последний монолог, и он знает его прекрасно, роль ему очень нравилась, он и Константин Николаевич — единственные, кто играет по настоящему, и притом хорошо. Кривое Веретено она сама видит сейчас живым — Кюммель создал роль, это очень много для актера. Джан откидывается совсем на спинку стула и слушает, как терпеливый рецензент, отмечая детали. Только при последних словах она вздрагивает и подается вперед.

— Прости меня, Господи... ха-ха... прости меня, Господи, что Ты не научил меня молиться!

Этот смех, как огнем охватывает Джан. Совершенно новый штрих — такого оборота она не могла себе даже представить! В стекле наплась все таки трещинка. Она дает занавес, но остается в будке, и аплодирует Кюммелю. Так хорошо: он один на сцене, она здесь.

Но на сцену выходят другие, и Джан ныряет вниз. Вызовы ее, как суфлера, не интересуют.

— Куда вы, Надежда Николаевна? — перехватывает ее Нездолин. — Разве вы не слышите, что вызывают автора? На сцену, на сцену!

Еще и это, Господи...

Кто-то берет рукопись из рук, кто-то снимает с нее пальто, кто-то вытягивает ее из кулис, занавес пошел уже, аплодисменты сильнее, в зале жутко много народу, и театр действительно «позорище», как говорил дядя Кир.

Джан стискивает зубы и руки, боится разрыдаться от стыда. Ее поклон выходит поэтому надменнее, чем может позволить себе знаменитость, и она — о ужас! не обращая внимания на то, что занавес еще не дан, поворачивается к публике спиной и уходит.



Нездолин всплескивает руками, маленькую корзиночку с незабудками, поданную на сцену, передают ей вслед. Джан уже кубарем скатилась со сцены, и переводит дух в коридоре.

— Ну, что вы скажете, Джан?

— Где Хохлов, этот сукин сын? Убью! Убил диалог!

— Надежда Николаевна — публика, правда, часто бывает дура, но этого нельзя ей показывать! К публике не поворачиваются спиной! Если бы вы были артисткой, я бы вас оптрафовал!

— Николай Николаевич, по моему следовало бы оптрафовать помощника режиссера, который не позаботившись посмотреть, есть ли я на сцене, дал занавес! У меня сердце замерло, бегу, а сам не знаю, что делать. Только за кулисами вдруг осенило.

— Да, ты ловко спас положение. Воображаю, что переживала Джан в будке.

— Ничего. Кюммель вбежал во время. Через секунду я дала бы занавес и спектакль ко всеобщему удовольствию, кончился бы раньше. Штрафовать меня, Николай Николаевич, не за что, потому что я и так наказана — может быть, сильнее, чем следовало. Если публика не свистела и автор не умер от разрыва сердца — то это исключительно заслуга Константина Николаевича и Кюммеля. Играли они так, что я вспомнила вапи слова, Николай Николаевич: актер может дать такие интонации, которые самому автору раскрывают глаза! Это все, что я могу сказать, а затем прощу вас всех ко мне на пельмени!

Речь Джан выслушивается с некоторым изумлением. У нее совершенно непривычный, чересчур корректный, чтобы быть вежливым, тон. Но она предоставляет заботиться о гостях Бею и Веронике, кому угодно, только скорее на улицу, в темь, в типь, на другую сторону сразу, чтобы не слышать обрывков разговоров выходящей из театра публики, — дальше, дальше, почти бегом. Грудь сдавлена судорогой, глаза горят от сухих слез, губы кривит ироническая усмешка, хочется толкнуть когонибудь, ударить, или самой хватиться лбом об стену, и только на половине дороги Джан видит, что идет в одном платье, и пальто осталось в театре.

Над улицами густое синее небо со свежими звездами, синий ветер колышет оранжевые фонари, незаметные лужицы хрустят под ногами ореховой скорлупой, улицы пахнут морем и ветром.



Из всего того, что происходит, мы видим только небольшую часть, да и ту объясняем неправильно. Прошлое и будущее — иксы в уравнении, результат которого записан в книге нашей судьбы. Высшая математика человеческой жизни дается только святым. Для людей хорошо уже, если они справляются с простой арифметикой, и если дважды два у них получается четыре, а не что угодно другое, в особенности в наш век относительности, навязанной нам за грехи.

«Корабли» на сцене Народного театра не были, конечно, событием. Но тем не менее: в синий, сумаспешный месяц март Старый Город отправил корабли. Кроме автора и актеров, в зале оказалась и публика. Некоторые слышали колдовскую формулу, сказанную Джан и звучащую в зале, потому что такие формулы живут дольше, чем мы сами.

«Мы все отправляем в нашей жизни корабли за счастьем, и ждем, что они вернутся».

«Эта мысль не нова, но автору удалось облечь ее в довольно яркую и образную форму» — было написано в рецензии сотрудницы большой русской газеты. Газета не давала рецензий о Народном театре, но нашлись благожелатели, попросившие отметить. Редактор командировал сотрудника помельче — Верескову. Она сидела в третьем ряду — высокая, полная, довольно вульгарная блондинка с белесым широким лицом и вздернутым носом. Но ей было только двадцать лет — а в эти годы у каждого человека мягкое сердце. Потом оно черствеет, озлобляется или разбивается. В зависимости от любви — или от того, что ее не было.

Внешне Верескову нельзя было упрекнуть в нежности. Вадим Охотьев, сидевший позади нее, видел очень розовую кожу, просвечивавшую на всем затылке. Полная белая шея напоминала ему Кустодиевских купчих, лица он не мог разглядеть сразу, но решил обратить внимание — шея раздражала его.

Охотьев, плотный серьезный брюнет с круглыми усами, любил ходить по старинке — в поддевке, высоких сапогах и картузе, и был колоритной фигурой. Он кончил университет, знал языки, и продолжал с большим успехом дело отца — крупный оружейный и охотничий магазин на Известковой. В свободное время он изучал китайский язык. На любопытные вопросы морщил усы, тяжело упирался в собеседника черным цыганским взглядом и не охотно пояснял:

— В торговле мне китайский, действительно, ни к чему. Но не единым хлебом сыт человек.

Для души ему нужны были Конфуций и легкие, острые, как штрихи на шелке, стихи китайских поэтов. Новая пьеса ему понравилась. В ней была недоделанность, большое тире, заставлявшее подумывать. В антракте Охотьев переложил несколько запомнившихся изречений по китайски и смысл раскрылся еще яснее.

В антракте он раскланялся со знакомым профессором, сидевшим в том же ряду. Профессор, маленький, сухой старичок, был страстным историком и номинальным главой старой фирмы. Дела не вел, давно предоставил его своим племянникам, а сам жил в маленьком особнячке на Поповой улице, рылся в архивах, ухаживал за розами в саду и писал книги. Он работал уже лет двадцать над историей Риги, собирая все предания и легенды. Билет продала ему Лада. «В виде реванша за розы, — сказала

она с кокетливой улыбкой — профессор часто, завидя через забор хорошенькую соседку, преподносил ей со старомодной галантностью букет. Что он пойдет в театр, ей и в голову не пришло. Но профессор был заинтригован заглавием, Рига не мыслима без кораблей. Интересно, что и в наши дни находятся люди, творящие легенды. К проплыву Риги она не имеет отношения — но, может быть, сама станет этим проплым. Надо узнать, кто эта барышня — наверно, студентка — и поговорить с ней.

В восьмом ряду сидит пожилая, очень полная дама с седой косичкой под черепаховым гребешком. Екатерина Андреевна Девиер, жена сенатора, давно знает и Елизавету Михайловну, и всю семью. Она сочувственно выслушивает надежды на процесс, помогла в свое время Веронике устроиться учительницей, кормила Джан ее любимым вареньем — так же, как кормит теперь Катышку и Надю. У нее один, но очень большой талант — редкий сердечный такт и любовь к людям. Это настоящая русская женщина с большой душой и сердцем.

Конечно, Екатерина Андреевна не только заплатила за билет, но и сама распродала штук пятьдесят и, слегка отдуваясь, лично привезла деньги Джан. Сейчас, в театре, она только тихо вздыхала, и заранее придумывала утешительные слова, вполне представляя себе, как обливается кровью сердце автора от каждой мелочи, а мелочей было достаточно для самоубийства.

В самом первом ряду, предназначенном для почетных гостей и своих, сидели Катышка и Надя. Катышка, чинная, как ее косички, застыла в благоговейном ужасе. Теперь она твердо была уверена, что Джан — особое существо. Человек, по воле которого на сцене появляются принцы и дьяволы, может совершить любые великие вещи.

Надю пьеса не интересовала нисколько. Похоже на сказку, но все плачут и скука. Жаль, что мать не пустит их на ужин к Джан.

Караваев грузно сидит, опираясь на палку с малахитовым набалдашником. У него полные, очень белые, слишком маленькие для мужчины руки, седая грива, орлиный профиль, монокль на черном шнурке. Один глаз всегда полузакрывает тяжелым веком, как у задумавшейся птицы, на губах улыбка. На сцене происходит что-то невообразимое — впрочем он не совсем уверен, что именно. Посмотрев несколько минут, Караваев повернулся боком к сидевшему за ним полковнику Кузнецову и вполголоса начал разговор о всесокольском слете в Праге. Разговоры с Караваевым заключались в том, что он произносил монолог, а собеседникам оставалось восхищаться и во время подавать реплики. Говорить Караваев мог обо всем и обо всех, скольконибудь знаменитых людях, от Маманта-Дальского до Александра Македонского, так как любые воспоминания сводились к тому, что именно, когда, где и как он, Караваев, видел, сказал и ответил.

Он принадлежал к древнему русскому роду — Караваевы были новгородскими посадниками. По его словам, молодым офицером сделал исключительную карьеру, кончил университет и военную академию, получил все возможные ордена за лихие подвиги, написал несколько трудов по истории русской литературы, жил во дворцах, знал запросто многих выдающихся людей, устраивал легендарные кутежи, был полубогом для женщин, баловнем судьбы, и литературным критиком, которого боялись все. Все это — почти так и было — в прошлом, а прошлое часто является для людей капиталом, процентами с которого они пытаются жить и дальше.

Да, только по молодости Джан можно было простить дерзость: пригласить Караваева. Но самые начинающие, как и самые заслуженные авторы не боятся критиков по одной и той же причине: верят в собственные силы. Между началом и концом — жизнь, и литературные авгуры делают все возможное, чтобы разубедить их в этом. Бедная Джан!



Так, в один из последних дней сумасшедшего синего марта, в маленьком доме на берегу реки, в зале, звучащем еще эхо колдовской формулы, те, о ком ветер знал, что они должны были это сделать — отправили свои корабли...

Человеческое счастье — и гибель — часто кажутся незаслуженными, неожиданными и понятными только после конца. Мир прекрасен, чудесен и велик, и продолжает оставаться таким же прекрасным, чудесным и великим, даже если в нем не каждому есть место.



Был еще ужин. Отчаяние, как и холод, замораживает человека до такого состояния, что его можно ампутировать почти безболезненно. Джан сидит во главе стола; справа Караваев, слева Нездолин. Они и разговаривают друг с другом через нее, тем более, что ей, хозяйке дома без прислуги, постоянно приходится вставать.

— Как твое настроение, Джан? — громко спрашивает Эль. Ее интересует не ответ, а соседи Джан.

— Как в оперетке — отвечает Джан, и вот с голосом ей трудно совладать, у нее деревянный, надменный тон: — улыбка направо, улыбка налево, улыбка в публику и куплет!

Караваев на секунду упирает в нее монокль. Это существо рядом не без юмора. Хозяйка дома, и, кажется, жена молодого карикатуриста и автор спектакля. Надо будет потом сказать ей чтонибудь — что? Неважно.



Нездолин, убедившись, что ему самому поговорить сегодня не удастся, а слушать он уже устал, прощается с критиком и встает:

— Итак, господа, предлагаю теперь поднять бокал в честь нашей очаровательной хозяйки, нашего верного товарища и помощника всего сезона, автора последней премьеры и пожелать ей дальнейшего успеха на трудном и тернистом поприще...

Нездолин, чуть улыбаясь Караваеву краешком губ, говорит, в отместку ему, еще минут пять. Джан прикидывает в уме, от нечего делать, надо ли будет еще кормить гостей завтраком, и чем именно. Отдых от общего гула — приятен. Надоедливая, колющая игла пронизывает висок и всю челюсть, зубы скрипят и как будто чешутся. Вчера промочила ноги, а сегодня ушла из театра без пальто, простуда обеспечена. Вот теперь надо усилить улыбку и любезно чокаться. Проводить Нездолина... дальше что? Ах да, Караваев. Вчера еще, сегодня еще она надеялась, что если он только согласится приехать... А теперь вот он тут, рядом, и совершенно ясно, что ничего не сделает. Внезапно ее охватывает злость. А почему, собственно такой критик не может позволить себе роскоши написать не несколько слов, не похвалы, а серьезного разбора нового автора? Неужели «Корабли» настолько неудачная, бездарная вещь, что она ниже всякой критики?

— Вы, конечно, ожидаете, что я буду говорить с вами относительно вашей пьесы — произносит как раз наигранный, как у актера, обидно снисходительный голос.

— Разве для вас существуют обязательные темы... ваша светлость? — неожиданно для себя заканчивает Джан.

— Почему — светлость?

— Гумилева называли дофином русской поэзии. Есть князь церкви. Почему вы не можете быть герцогом литературы?

— Гм... Вы начитаны и дерзки. Вы мне нравитесь... ви-контесса. Но возвращаясь к пьесе... Вы понимаете, конечно, что я ничего не могу написать о ней?

— Вполне — ваша светлость!

— Требования, предъявляемые к драматургу, настолько велики, что...

Следует лекция. Слушают все. Главное — сидеть спокойно, давить кусочек лимона вилкой и слушать фейерверк афоризмов, парадоксов, анекдотов и горьких истин. Да, это герцог, магнат. А она — что-то вроде бродячего сапожника... Ужасно все таки болит голова...

— Скучно мне — лениво цедит Джан, обращаясь на кухне к примусу. — На собственных похоронах веселятся редко... А до утра еще далеко, и деваться некуда. Господи, и покричать то человеку негде!

Утро наступает, наконец. Караваев и еще кто-то куда-то едут. Остальные уходят, шумно прощаясь. Джан, в мучительном ожидании постели, уже понемногу прибрала стол, вымыла посуду. Сейчас она распахивает окно настежь и еле раздевшись, валится на кровать. На столике нежно голубеют незабудки. «Но забыться не значит забыть, а проститься — не значит простить» . . .

Джан лежала неделю. Она не умерла после ужасного удара от поэтической — в романах — чахотки, или еще более поэтической, но совершенно неизвестной медицине болезни, сводящей в своевременную могилу всех несчастных героинь. У нее был обыкновенный грипп и жестокий флюс, свернувший набок всю физиономию. Самое удивительное, что у нее не было даже желания умереть, и установив, что жизнь кончена, она решила, хотя бы на зло, начать ее сначала.



... то мог бы подумать, что Катышка сыграет роль доброй феи? Меньше всего она сама. Катышка припла и заявила категорически:

— Джанум, если ты сейчас не оденешься и не пойдешь со мной на «Индийскую гробницу», то я лягу на пол и начну выть в голос.

В детстве она попробовала однажды такой способ воздействия, и осипла на неделю.

— Господи! — взмолилась Джан. — Тратить деньги, идти куда-то, сидеть три часа, голова трещит, глаза болят, и все это называется удовольствием.

Катышка плотно уселась перед нею, как боровичок, умильно заглядывая в глаза.

— Ладно — вздохнула Джан. — Нечего делать. Ради тебя только.

Фильма шла месяцами на первых экранах, а теперь в третьеразрядном кинематографе. Джан фыркала при входе и с ироническими замечаниями смотрела всемирную хронику.

— Ну вот — сказала Катышка, терпеливо сносившая ее воркотню: — А теперь... но Джан умолкла уже. Катышке, взглянувшей на нее сбоку — лицо сестры показалось совсем белым в темноте — но Катышка и сама впилась уже глазами в экран.

А с экрана на Джан смотрел Черный. Настоящий Черный, такой, каким она видела его, когда писала «Корабли». Его лицо — резкое, странное, запавшие глаза, видящие и знающие все, скупые говорящие жесты рук; медленные, рассчитанные движения. Живой и настоящий — ее Черный.

Когда выходили, над по летнему уже пыльным парком плыло обволакивающее тепло медвяных лип и первые сумерки.

— Катышка — сдавленно сказала Джан, — если гденибудь будет фильма с Конрадом Фейдтом — скажи мне. Пойдем сейчас же.

Несколько дней она ходила в тумане. Много раз уже Джан думала о переделке «Кораблей», но теперь из глины просвечивало живое лицо, и все остальное выросло вокруг него, отливалось в звенящую медь.

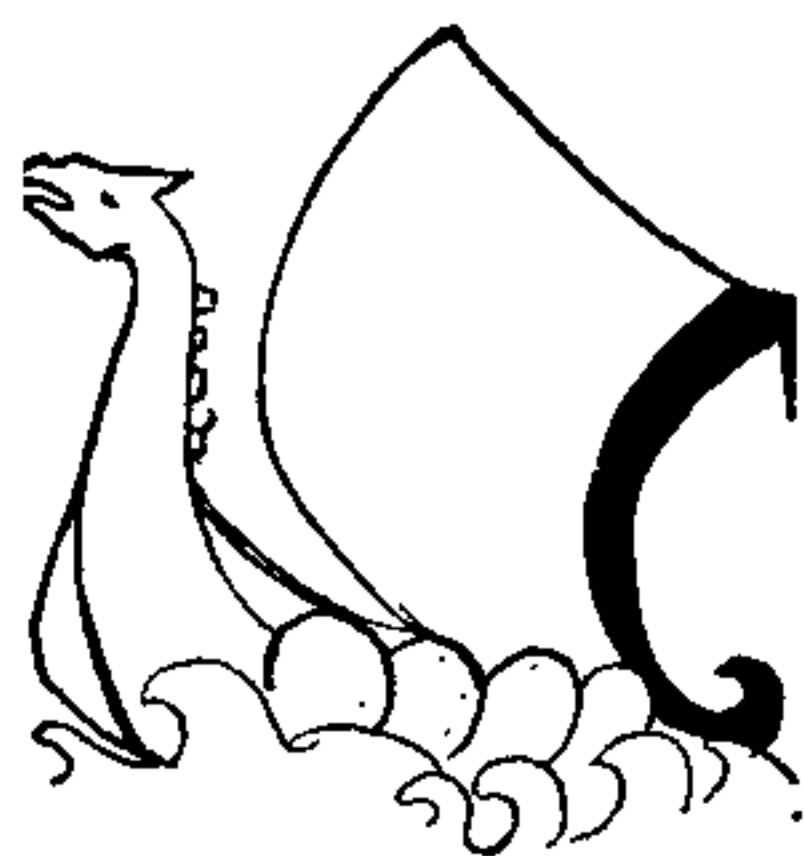
В течение следующего года Джан изучила это лицо так, что могла, как ей казалось, думать его мыслями. Да разве это так трудно, когда он сам — ее мысль?

Она узнала, конечно, что Фейдт — ученик Рейнгардта, сперва выступал на сцене, потом перешел в фильм и считается одним из первых трагиков наших дней. Может быть, было нетрудно узнать и другие подробности — но они не интересовали Джан, это казалось таким же предосудительным и физически неприятным, как читать чужие письма.

Главной задачей жизни были корабли.



Часы идут. Всегда и равномерно,  
Бесстрастно отмечая путь.  
Весь мир — мираж. Но время —  
не химерно.  
Часы идут. И их нельзя вернуть.



нова на мгновение проблеск в вечность. Часы, отмечающие человеческие жизни. Живые куклы, идущие вслед за боем, не ведают, что творят. Но Черный, держащий нити, идет вслед за ними.

— Я пришел — произносит Черный, и это слово падает, как удар.



На пристани паруса, корабли и мачты. Пристань большого торгового города. Ящики и мешки навалены грудой у лавки. Здесь покупают и продают, толпится народ, но сейчас пристань пуста. Солнце только позолотило небо, розовый луч упал сбоку на темную нишу, где за решеткой стоит статуя Мадонны в голубом уборе. Простые и яркие краски облупились и поблекли, но у ног Мадонны покачивается маленький кораблик — благодарность за чудесное спасение, а это лучшее убранство.

На пристань выходит Безумная, ведя за руку мальчика. Где-то ухватила его за руку и повела, потом бросит, так же раздумывая о чем-то. У Безумной тусклые серые глаза, серые волосы, серые лохмотья и четки в руках.

— Никого нет — оглядывается она — помолимся вместе.

Оба опускаются на колени.

— Пресвятая Дева — робко говорит мальчик. — Ты все можешь. Подари мне какуюнибудь... хоть самую маленькую игрушку.

— Где мой рыцарь, Дева, где мой рыцарь? — спрашивает Безумная и качает головой. — Я знаю, не Тебя я должна просить об этом. Но и Ты не даруешь мне избавления от него. Где мой рыцарь, Дева, где мой рыцарь?

Она вытирает слезы, встает и идет дальше по пристани. Бесшумно и медленно подходит к парапету невиданный корабль с яркими парусами. Безумная смотрит, остолбенев.

— Смотрите! Смотрите! — кричит она. — Это корабль из сказки!

— Он привез мне игрушки! — подхватывает мальчик.

— На пристань все, все! Чудесный корабль Тоски!

Из окон высовываются удивленные лица. На пристань из домов и улиц выходят женщины, матросы. Один матрос подходит к лавке и кричит, постукивая в окопко:

— Эй, кто там! Скажите хозяину — чудо на пристани!

Из дома выходит купец, смотрит, протирает глаза, изумленно оглядывается.

— Постой, постой-ка, малый, — хватает он за рукав первого попавшегося — позови-ка бургомистра.

— Видите? — торжествует Безумная. — Видите? Хвала Господу! Исполнилось пророчество!

На палубе корабля появляется Тоска, и в ту же минуту на пристань выходит отец Франциск, окруженный монахами. Один из них, высокий, держится немного поодаль, с полузакрытым капюпоном лицом. Расталкивая толпу, идет стража, давая дорогу бургомистру. Вслед за ним спешит ученый, с толстой книгой подмышкой. Купец подходит к бургомистру, и они шепчутся, указывая на корабль.

— Старый Город, корабли вернулись! — звонко кричит Тоска, и ответный гул толпы покрывает ее слова.

— Типе! — ударяет жезлом бургомистр. — О каких кораблях говоришь ты, девушка? Кто ты? Откуда? Мы не знаем тебя.

— Разве Старый Город забыл Тоску? — удивляется та и изумленно оглядывается. — Да, наверно это было давно... Я не знаю, сколько раз приходила осень. Мы плыли в тумане. Но где же Дофин мой, где шут, Кривое Веретено? Где...?

Она останавливается и вздрагивает, увидя монахов.

— Разве никто из вас ничего не знает? Разве вы не знаете, как меня зовут? Не узнаете меня, не видите кораблей, которые сами послали?

— О чем она говорит? — обращается бургомистр к толпе.

— Позвольте, почтенный господин бургомистр, — вмешивается ученый. — Недоразумение или безумие, но наука знает случаи, когда... В истории, в старинных архивах сохранилась легенда о кораблях Старого Города.

В толпе слышен смех. Смотрящие из окон высовывают головы, чтобы лучше видеть.

— Это не легенда! — возмущенно перебивает Тоска. — Мы ушли за счастьем. Я повела последний корабль, и первая вернулась, чтобы дать вам счастье.

— Судя по виду, корабль богатый!.. — медленно произносит купец.

Стоящий рядом матрос быстро взглядывает на него, наклоняется к соседу... шепчет, тот передает дальше, слово сразу облетает всю площадь.

— Золото... слышится в толпе. — Она привезла нам золото!

Бургомистр тоже склоняется к предположению. Только бы эти черноризцы не испортили дела!

— Что ж, святые отцы — примирительно говорит он — можно и выслушать странную чужеземку.

— Как тебя зовут, девушка? — обращается отец Франциск к Тоске.

— Тоска.

— В святцах нет такого имени — поворачивается тот к монахам. — Ты христианка? Ты веришь в Бога?

— Я верю в Бога, — недоумевающе отвечает Тоска. — Как же иначе? Но я не знаю, о чем ты говоришь, почтенный старик.

— Еретичка, — тоном, недопускающим возражения, репает отец Франциск. Но толпа недовольна. Прежде всего ему ересь! Пусть она расскажет сперва!

— Говори! — возвышает голос бургомистр. — Мы тебя слушаем!

— Как все это странно, — начинает Тоска, сжимая руки. — Старый Город! Мы плыли по морю долго, долго. Не знаю почему, но каждый раз, когда мы подходили к берегу, густой туман окружал нас и корабль гнало дальше. Только издали мы видели чужие города, пока не нашли Короля Золотой Страны. Там было солнце, яркое, золотое солнце!

Чем чаще она употребляет слово «золото», тем ближе придвигаются к кораблю. Безумная цепляется уже за сходни, хотя ее интересует совсем другое. Мальчик поднялся на палубу и садится у ног Тоски.

— А у пристани стояли все корабли Старого Города, которые он посылал раньше, ожидая счастья. Но и там не было его. Счастье! Я не могу дать тебе счастья, Старый Город, потому что оно

в тебе самом. В том, что мы верили в красоту, в том, что стремились к ней, к неизведанным далям, в том, что шаги наши были освящены улыбкой и тоской наши души. Счастье в том, что мир прекрасен, чудесен и велик, и что мы стремимся видеть это прекрасное, чудесное и великое в самом малом! Вот в чем наше счастье!

Все разочарованно переглядываются. Купец машет рукой и идет в свою лавку.

— Нестоющий товар, — бормочет он пренебрежительно.

— Ну, а дальше? — спрашивает бургомистр.

— В этом все — отвечает Тоска.

В толпе смех. И только то? Немного!

— А рыцарь вернулся? — спрашивает Безумная с надеждой.

— Мы плыли обратно, — задумчиво продолжает Тоска, не слушая ее. — Все в тумане, в тумане... Но где же Старый Город? Какие вы странные, чужие, не те люди. Неужели прошло столько лет, что вы разучились меня понимать? Неужели Красный мог уничтожить все, и даже вапи души? — Она вглядывается в людей, в дома, она спрашивает их, и не находит в ответ даже взгляда.

— Безумная! — недовольно ворчит толпа. — А где же золото? Только солнце? Этого мало. Не нужно нам ее басен!

— Братие! — решительно начинает отец Франциск. — Предание гласит, что когда наш город обретался еще во мраке язычества, были куда-то посланы корабли. Но если это и соответствует истине, то каким же образом несколько сотен лет не коснулись тлением этой девушки? Она или безумна, или колдунья. Как могла она найти дорогу обратно и управлять парусами? Из какой страны явилась она, если у нее нет даже христианского имени? Кто принял на себя эту личину, чтобы обращаться к нашим душам?

Он обращается к монаху, стоящему поодаль, с закрытым лицом.

— Брат Самуэль, поручаю вам наблюдение. Оберегайте от ереси и заразы свою паству. Я пойду доложу монсиньору о происшествии.

Отец Франциск поворачивается и уходит с пристани. Монахи следуют за ним, только брат Самуэль продолжает стоять.

— Несколько сотен лет! — вырывается стоном у Тоски. — Значит все они умерли... И Дофин, улыбаясь... а я? Нет, это вы безумцы, все! Слепые, не видящие чуда, продавшие красоту за золото! Неужели ни у кого не певельнется сердце? Неужели никто не принесет мне осенних листьев? Ведь я вернулась, чтобы снова зажигать у вас огни, чтобы снова служить красоте!

Только старый ученый прислушивается к ее словам, качая в такт головой.



— Да, ты говоришь так, как написано в старых книгах: мудрость в улыбке, счастье в тоске; только устремление в даль дает красоте жизнь. И в книгах было написано, что корабли вернутся.

— С золотом! — насмешливо кричит, высовываясь из окна, купец.

— Со счастьем... робко замечает какая то бедная женщина, из толпы.

— Со свободой... еще тише произносит старый рабочий.

— Больше там ничего не было написано — смущенно разводит руками ученый.

— Поставить стражу у сходней — репает бургомистр, которому надоело стоять. — Брат Самуэль, вечером на совете мы будем ждать вашего отчета.

Брат Самуэль молча кланяется. Стража встает у сходней. Толпа постепенно расходится. Тоска присаживается на край палубы. Около нее ребенок, у сходней Безумная.

— А я думал, что Пресвятая Дева прислала мне игрушки, — разочарованно тянет мальчик.

Тоска обнимает его.

— Бедный больной ребенок... пойдй ко мне. Вот там — видишь — внизу? Там есть раковины с жемчужных отмелей... видишь?

— Да, да! — восклицает он. Как только он убегает вглубь корабля, Безумная придвигается ближе.

— Яви и мне чудо — отдай мне рыцаря! — шепчет она.

— Как зовут тебя? — ласково спрашивает Тоска.

— Безумная. Это они говорят так. А я раньше была веселой, пока не пришел черный рыцарь...

— И ты полюбила его? — догадывается Тоска. — значит, не совсем еще оскудели люди, если у них осталась любовь. Но она, наверно, стала совсем другой, или у нас не было настоящей... у нас были хрустальные души, понимаешь? Они были так тонки, что мы видели наши сердца и мысли. А когда пришел Красный, то они помутнели и разбились. Хрусталь не смеет быть мутным.

— Мимо церкви проехал рыцарь — говорит Безумная, не слушая ее, — весь в черном, и перья на племе. С тех пор, наяву и во сне, не отходит он от меня. Думала — еще б только раз увидеть! Под ноги коню бросилась бы и ничего мне больше не надо. Телом своим остановить, только бы взглянул раз на меня. Мучилась, ждала... все горело в груди. И увидела. Послал Бог мор на людей. По улицам валялись трупы, а у меня дома муж и сын при смерти. Вспомнила я одну ведунью-знахарку, пошла к ней в горы, достала зелье, кровью своей заплатила за него. Если дать его выпить — спасен человек. Иду обратно, падаю на дороге, сил больше нет... И вдруг подъезжает рыцарь, поднял забрало, смотрит и смеется. «Вылей на землю», — говорит.

— Этот рыцарь был... черный? — В голосе Тоски ужас догадки.

— Вылила — монотонно продолжает Безумная. — И муж умер. Любил меня очень. И сын. Мальчик мой. Отдай мне мальчика, рыцарь! А его нет. Нигде. Хожу вот, ищу. Видишь эти четки? Много зерен, золотые и черные. Каждый день счастья — золотая бусинка. Не знаю, сколько, не могу сосчитать. А черные зерна так давят руки, так больно ломают пальцы. Каждый день теряю одно зерно, один день жизни... сколько это, много или мало: один день жизни?

Она встает и уходит, бормоча что-то. Тоска задумчиво смотрит ей вслед.

— Она еще видит золотые зерна в четках, только сосчитать не может! — А их нет совсем! — тихо говорит она.

Брат Самуэль откидывает с лица капюпон и подходит, делая знак страже, чтобы та удалилась.

— Сойди на берег, Тоска, — медленно говорит он. — Ведь это те камни, по которым ты проходила когда то. Камни — те же.

— Это ты, Черный? — колеблясь, спрашивает Тоска.

— Брат Самуэль — насмешливо кланяется он. — Монах и... черный рыцарь.

— Опять! Зачем ты пришел?

— Я — зритель — пожимает он плечами.

— А Дофин? А шут? Ведь они любили меня. Ждали, чтобы я вернулась. Умерли без меня. И вот я вернулась, и встречаешь меня ты! Я хотела придти к ним...

— К которому из двух? — резко спрашивает ее Черный. Тоска смотрит на него и медленно качает головой.

— Нет, так я их не любила... никого. Но я хочу их увидеть!

— Ты их увидишь... сегодня.

— Увижу?! Да? И ты... ты тоже будешь?

Лицо Тоски светлеет и вопрос вырывается невольно.

— Ты бы этого хотела? — быстро спрашивает он.

— Не знаю... Ведь из-за тебя погиб Старый Город... колеблется Тоска.

— Старого Города больше нет — чеканит Черный.

— Нет... повторяет Тоска. — Я одна... ты наш враг. Ты темный, страшный. Но я больше не боюсь тебя... нет, боюсь, но не могу ненавидеть. Только ты остался из Старого Города. — Она опускается перед ним на колени, рыдает и бьется у его ног.

— Ты все можешь, Черный! Отдай мне Старый Город! Ведь я вернулась, я принесла ему счастье! Кому же я отдам его? Верни мне... верни мне мою тоску! Ты все можешь, а у меня ничего нет больше!

Черный опускает голову и его голос звучит сдавленно и глухо: — Если бы я мог... все!

\*\*\*

Улица освещена луной. С одной стороны — глухо запертые дома. С другой — мрачное здание ратуши. В нижнем зале тяжелые своды, маленькие окна. Посередине стол, скамейки и стулья. Горит несколько свеч. Маленькая дверь из зала ведет прямо на улицу.

Внутренние двери зала раскрываются и входит отец Франциск с монахами. Брат Самуэль, бургомистр, ученый, купцы и горожане садятся у стола. Заседание открывается.

— Мы собрались здесь — начинает бургомистр, — святые отцы и почтенные горожане, на совет. Сегодня утром, как вам известно, в напу гавань вопел неизвестный корабль, ведомый странной девушкой. Это появление, а особенно речи незнакомки, настолько взволновали город, что необходимо принять срочные меры. Отец Франциск, что соблаговолил высказать по этому поводу монсиньор?

Отец Франциск поднимается.

— Пагубная ересь грозит отторгнуть овец от Христова стада. Всякий, кто будет слушать, а тем более повторять безумные речи этой одержимой, будет предан проклятию и отлучен от церкви! — заявляет он репительным тоном.

— Но, святой отец, — поражается бургомистр, — я, ревностный сын церкви, не мог усмотреть в ее словах ничего пагубного для спасения души.

— Дьявол умеет надевать личину! — не сдается отец Франциск.

— Когда нап город — да смилуется над ним Господь! — пребывал еще во мраке язычества... елейно начинает один из монахов, но ученый перебивает его:

— Простите, брат. В городе был Храм Кораблей, где молились только одному Неизвестному Богу. В этом храме хранилась Книга Живых и Мертвых, великая мудрость которой по существу равнозначуца Святому писанию...

— Не богохульствуй, нечестивый! — яростно кричит отец Франциск.

— Позвольте, позвольте, — настаивает ученый. — В Писании сказано: «Не вредите друг другу. В этом все законы и пророки». Так ведь? А девизом Старого Города было: «Жить — это значит улыбаться», и в священной книге его было написано: «Да будут паги твои освящены улыбкой». К счастью, при великом разрушении города, произошедшем по не совсем понятным причинам, уцелели некоторые обрывки, по которым можно было восстановить как эту, так и многие другие книги. Мы, ученые, до сих пор занимаемся их изучением. Жители Старого Города отдавали все свои силы служению красоте. Они возводили дворцы и храмы, украшали их драгоценными статуями и коврами, знали секреты удивительных эмалей, тончайшего фарфора. Они создавали педевры картин, поэм и книг. У них не было нищих, воров и прокаженных. Их законы покоятся на философии истины, на

глубочайшем познании Бога. Трудно поверить даже, что они были живыми людьми — что они действительно существовали — настолько нам, рабам страстей, чужды и непонятны их воистину хрустальные души!

Он воодушевился и мог бы говорить так несколько часов, но бургомистр нетерпеливо постукивает пальцем по столу.

— Мы глубоко ценим вашу ученость, — вмешивается он с легким полупоклоном, — но схоластические рассуждения сейчас не совсем своевременны — уже ночь, и мы должны прийти к определенному решению.

— В старину мы слышали от дедов, — вставляет и свое слово купец, — что город был окружен стеной, через которую не допускался никто. Да и выходом к морю не пользовались для торговли...

— И рабочих почти не было... только мастера, которым платили высокие цены, — язвительно замечает ученый.

— Но ведь мы не будем устанавливать старых порядков? — возмущается купец.

— Вы в этом уверены? — насмешливо спрашивает Самуэль.

— Говорят, что мы грабим народ, — выступает второй купец.

— Что, если он наслушается рассказов про старое, восстанет и разобьет наши лавки? В старину все ведь было общее, каждый получал, что ему было нужно.

— Для безумных у нас есть тюрьмы, — репительно заявляет первый.

— Возврат к старому невозможен. Смешно даже и говорить об этом, — категорически репает бургомистр. — Царство королей и дофинов давно кончилось, и теперь никто уже не помнит о времени, когда...

Он останавливается, подыскивая подходящее слово, и брат Самуэль ехидно подсказывает ему:

— Когда бапмачник мог быть на ты с бургомистром!

— Аристократия духа... начинает снова ученый, но бургомистр быстро перебивает его:

— Но что же сделать с этой безумной?

— Сам дьявол говорит ее устами! Надо немедленно предать сожжению корабль вместе с еретичкой, очистить огнем и покаянием ее душу.

— Почтенные члены совета! — не выдерживает ученый. — Ведь это единственный, беспримерный случай в истории! Это живое чудо! Эта девушка жила несколько сотен лет тому назад, видела и слышала...

— И смерть не коснулась ее? Она колдунья! — гневно перебивает отец Франциск.

— Или святая — медленно, скорее про себя произносит брат Самуэль. Купец смущается немного.

— Мы — что же... бормочет он. — Нам то уж это не так то нужно...



Члены совета совещаются вполголоса друг с другом, и не могут прийти к решению. На улице, освещенной луной, показывается Безумная. Она медленно идет, пытаясь заглянуть в окна.

— Вот и ночь... как болит мое бедное сердце! Почему люди прячут свои души, почему закрывают глаза, чтобы их не видели? Может быть, за этими окнами кому-нибудь хочется, чтобы ночь прошла поскорее, или тянулась долго, долго... Мне все равно. Для меня нет времени. Все ушло. *Agnus Dei, dona eis pacem!*

Она уходит, но слова молитвы еще звучат на улице. Навстречу ей выходит Тоска. Она идет, всматриваясь в камни, не узнавая их. Из глубины темной ниши отделяется призрак Дофина, за ним — Кривое Веретено. В зале ратуши бургомистр поднимается с места.

— Я предлагаю членам совета разойтись по своим залам и еще раз всесторонне обсудить дело, — заявляет он. — Через несколько минут мы соберемся здесь снова.

Он первым выходит из зала, за ним следуют другие. Только брат Самуэль остается сидеть на своем месте, обратясь лицом к двери, ведущей на улицу.

Дофин и Шут вместе подходят к Тоске, и опустившись перед ней на колени, целуют край ее одежды.

— Ты вернулась, Тоска, ты вернулась...

— Дофин мой... Шут мой... Тоска пытается их обнять и отпатывается невольно.

— Черный сказал мне, что я сегодня увижу вас. Но ведь вы — это не вы! Вы — призраки!

— Мы умерли, Тоска, — горько улыбается Дофин. — и Старый Город умер.

— Жить — это значит улыбаться, — повторяет Тоска. — А что значит умереть, Дофин?

— Смерти нет — произносит Шут. — Есть только новая жизнь.

— Но я не хочу больше жить — машет рукой Тоска. — Я устала. В тумане я искала счастье для Старого Города. И не нашла его. Я изжила самое себя — пойми это. Я раньше стремилась куда-то далеко, все выше и выше — к солнцу...

Жалоба падает до попота.

— Я видела солнце, Дофин, я пришла из Золотой страны. Что же дать мне теперь людям, когда я знаю, что счастье только в том, что у нас было, а этого больше нет?

— Мы должны были прийти в этот мир, и мы пришли, — качает головой Дофин.

— А теперь мы — призраки, как голодные собаки, просим дать нам хоть кусочек тепла? Какой это чужой, незнакомый город. Жестокое, ослепленные люди. Они торгуют Богом, они убивают душу. Возьмите меня к себе, я не могу больше жить здесь, не могу, не могу!

— Мы тени, Тоска, — слегка отстраняется Шут. — Мы приплыли только потому, что оба тебя любили и должны были еще раз увидеть... Не плачь, Тоска. Помнишь, что твои слезы раньше превращались в жемчужины?

— И ты уйдешь тоже, — поддерживает его Дофин, — а они останутся, эти жемчужины, и будут напоминать людям, что была раньше в мире светлая, звенящая Тоска...

— Неужели только это останется? — вырывается у нее.

— Но ведь мир не один! — возражает Шут.

— И гденибудь я буду еще королем, — мечтательно произносит Дофин.

Тоска оглядывает улицу.

— Вот здесь была раньше ратуша, — говорит она. — А тут стоял фонарь. Помнишь, Шут?

— Где я целовал следы твоих ног на камне? Ха-ха! А ты помнишь, зимою? Старый Город весь белый, белый, каждый камень в пушистой арабеске и неба не видно — снежинки... А по улицам ходит маленький гномик и звенит в колокольчик: динь-динь... Боже мой, ведь это никогда не вернется, и я не вернусь больше... Потух огонечек ласковый, убили гномика...

— Дофин, — загорается Тоска, — а ты помнишь — осенние листья? Боже, за что Ты осудил меня на жизнь!

Она отступает на шаг и кричит:

— Мы, Старый Город!

Молчание.

— Нет, молчат стены... Никто не откликается, не повторит наш призыв. Я, кажется, становлюсь безумной. Это ты, Дофин?

Тень Дофина колеблется и бледнеет.

— Я призрак, — шелестит ответ.

— Боюсь! — вздрагивает Тоска. — Боюсь! Там Черный!

Она показывает на дверь, чувствуя его присутствие.

— Я вижу сквозь камень его глаза! Возьмите меня с собой, я боюсь остаться одна! Возьмите меня с собой!

Призраки качают головами и медленно отходят в нишу.

— Мы увидим тебя еще один раз, Тоска... Последний раз в Старом Городе... Мы должны уйти... мы уходим.

Тоска хочет броситься за ними, но шатается и падает у порога ратуши.

Бургомистр и остальные входят в зал и снова рассаживаются по местам. Бургомистр обводит взглядом собрание.

— Итак, совет должен решить: или сжечь эту девушку, признав ее одержимой дьяволом, или отпустить на свободу — предлагает он.

— Или принять с почетом! — вносит и свое предложение ученый.

— Ваше мнение, святой отец? — не слушая его, обращается бургомистр к отцу Франциску.

— У меня не может быть мнений! — надменно отвечает тот. — Церковь строго предписывает, как поступать в подобных случаях. Плевелы не должны засорять пшеницу. Их нужно вырывать с корнем. Муками на земле ей будет уготовано вечное спасение.

— Аминь! — хором заканчивают монахи.

— Но, — прибавляет отец Франциск, предугадывая компромисс, — если она покается...

— Что скажут почтенные горожане? — бесстрастно задает вопрос бургомистр.

Купец пожимает плечами.

— Конечно, за вздорные бредни ее следовало бы хорошо поучить тюрьмой. Но, чудо ли это или нет, — девушка была в разных странах. Ей знакомы морские пути и чужие гавани. Что, если мы пошлем ее на другом корабле с нашими товарами? Нам нужны новые рынки.

— Мы можем, благодаря ей, прославиться на весь мир! — горячо перебивает его ученый, не дожидаясь, пока его спросят. — Я, например, охотно возьмусь описать ее плавание — ее двухсотлетнее скитанье по морям! Ибо, судя по ее разговору, одежде, строению корабля — не подлежит сомнению, что все это сохранилось с тех времен каким то еще непостижимым науке образом. А история Старого Города со слов очевидца! Какие раскопки могут сравниться с этим! Все мои коллеги позеленеют от зависти!

— Что еще может сказать совет? — тем же тоном спрашивает бургомистр. Среди горожан поднимается один высокий седой старик.

— Святые отцы, и вы почтенные горожане! Забудем на время и догматы и историю, и законы. Даже если эта девушка и бредит, то чиста и светла ее сказка. Я слышал, как она утепала больного ребенка — мыслимо ли это в колдунье? Все мы были молоды. Вспомните свою молодость, братья! Разве никто из вас не любил, не стремился к счастью? Разве не звенело у вас в душе уходящее небо? Напи дети слушают сказку о Старом Городе — услышим же и мы ее! Умер он и никогда не вернется, но улыбка осталась. Если мы сами не можем создать былой, совершенной красоты, то пусть память о ней будет жива в сердцах наших... Тоской зовут ее, эту девушку, Тоской по счастью создалась красота. Легок шаг ее, озаренный улыбкой. Да простятся ей все ее заблуждения, и да поклонимся мы — Тоске!

Он садится, смахивая слезы. Все растроганы. Одобрительно кивает головой бургомистр, печально улыбаются монахи. Даже купцы взволнованы, хотя стараются не показать этого.

Брат Самуэль, закрыв лицо, встает и поднимает руки. Из его широких рукавов на стол сыплются со звоном монеты.

— Кто обрекает Тоску на сожжение? — медленно спрашивает он.

Все остоленели сперва, потом быстро хватают монеты и прячут их, боязливо и жадно, оглядываясь друг на друга — все, за исключением только что говорившего старика.

— Совет репил: костер! — заявляет Черный, и в его голосе издевающееся презрение.

— Костер! — дружно подхватывают все: — Костер!

Старик встает, резко откидывая стул, и подходит к Самуэлю. Он дрожит от возмущения.

— Брат Самуэль, — строго требует он, — открой свое лицо!

Брат Самуэль откидывает капюпон и вызывающе улыбается. Старик заносит руку для крестного знамения, но не выдерживает его взгляда, и падает замертво. Самуэль отворяет дверь на улицу и быстро захлопывает ее за собой. Наклонившись к бесчувственной Тоске, он долго смотрит на нее, потом поднимает на руки, целует и уносит с собой.



Корабль Тоски поставлен у края пристани, там, откуда ведет широкая большая лестница, спускающаяся вниз. Около корабля, выше всех, неподвижно стоит брат Самуэль. По бокам лестницы и на ступенях толпятся матросы, женщины, народ. Под заунывное пение выходит процессия монахов с отцом Франциском во главе.

— Идут... проносится по толпе. — Идут! Смерть колдунье! Смерть!

За монахами выходят палачи со связками хвороста и факелами. «Костер...» гудит толпа, предвкушая зрелище.

Бургомистр и члены совета занимают места на ступенях.

— А где же безумная? — слышится голос из толпы: — Она убежала! Смерть! Где же колдунья?!

На палубу выходит Тоска и с изумлением оглядывается. Замечает палачей и ее охватывает ужас.

— Что вам нужно от меня?

— Смерть! — отвечает толпа. — Смерть!

— По повелению совета — громко произносит бургомистр, — девушка, зовущая себя Тоской, приговаривается к смерти через сожжение вместе с кораблем.

— За что? — ахает Тоска.

— За то, что речи твои опасны, — отвечает ей Самуэль. — Они могут разбудить душу у людей, продающих Бога.

Отец Франциск важно подходит к кораблю.

— Пока еще не поздно, покайся, девушка, перед смертью.

— Мои грехи знает Бог! — возмущается Тоска. — Кто ты, могущий снять с меня бремя многих жизней? Вы можете убить только тело, но не душу! В чем мне каяться? Если в том, что я всю жизнь стремилась к истине, к вечной красоте, если я звала



и увлекала за собой других — если это грех — то не вам судить его!

— Покайся, пока не поздно, — настаивают хором монахи.

— И это говорите мне вы, — вы, обманывающие Того, Кому поклоняетесь? Разве не Он Сам заповедал вам служить красоте и правде, — разве не дал вам улыбки для того, чтобы прощать? И вы, зажигая костры, призываете к покаянию?

От возмущения у нее не хватает больше слов.

— Последний раз говорю тебе: отрекись от ереси! — угрожает отец Франциск.

— Нет, — гордо выпрямляется Тоска. — Мы умираем, не отрекаясь. Мы, Старый Город!

Отец Франциск отходит. Бургомистр дает знак палачам. Они поднимаются на палубу, привязывают Тоску к мачте и складывают у ее ног костер. Веревки впиваются в руки Тоски.

— Больно! — невольно вырывается у нее. — Боль...

Самуэль делает движение к ней, но она уже улыбается и кивает ему.

— Нет, мне не больно больше. Неужели я должна была вернуться в Старый Город только для того, чтобы взойти на костер? Почему такие острые веревки... Ведь я не убегу. Я не уйду. Мне некуда уйти. Я видела дали, неизвестные дали, слишком близко. Мне не к чему стремиться больше. Ты понимаешь, Черный? Здесь на земле, я все уже знаю. Мир прекрасен, чудесен и велик. Но у меня больше нет неба. Я не хочу жить. Я устала.

— Нет, ты еще не все знаешь — качает головой Самуэль. — Ты придешь еще раз. Все придут.

— Не хочу: устала. Боже, дай мне умереть в последний раз! Как говорил Дофин: «Умереть, улыбаясь»...

— Не примиряющей ли улыбкой? — снова прорывается издевка в Черном: — Ха-ха!

— Рыцарь! Рыцарь смеется! — кричит Безумная, вбегая по ступеням.

— Сжечь ее вместе с колдуньей! — повелительно протягивает руку отец Франциск, и эти слова сразу находят живейший отклик в толпе.

— Пусть горят обе! На костер! На костер ее!

Палачи втаскивают Безумную на палубу и бросают ее у ног Тоски. Но она почти не замечает этого.

— Ха-ха — смеется Безумная, указывая на Самуэля. — Дьявола я любила, дьявола! Не спрячешь своих глаз, Черный!

— Она безумна, — насмешливо произносит брат Самуэль, обращаясь к толпе.

— Она богохульствует! — негодует отец Франциск. — Брат Самуэль всем нам служит примером. Связать ее веревками, чтобы они врезались в ее тело, чтобы кровь капала на огонь, чтобы в дыму задохнулись уста нечестивиц! Чтобы самый пепел их развеялся по ветру!

— Пытайте колдуний! Крови! — заражается толпа его иступлением.

— Жесток отец Франциск, но справедлив, — строго замечает бургомистр.

— С такими нельзя иначе! — поддакивает ему купец. — Того и гляди, взбаламутят народ, и он начнет сам расправляться с теми, кто ему не нравится. Ученые что? Одному дашь кошелек, а другого — в колодку. Нет, вот такие опасны!

— Но ты ответишь за мою кровь, дьявол! — пронзительно кричит Безумная. — Будь проклят — любовью! Я вижу... вижу... такой высокий серый камень... пустой, как сердце твое! И ты полюбишь — да, ты, ха-ха! Сам сбросишь свою звезду на землю — и рухнет камень. Будь проклят, Черный. Будь проклят той любовью, которую ты губишь. Я знаю, кого ты любишь, ха-ха! Ты полюб...

Брат Самуэль наклоняется вперед и поднимает руку. Безумная умирает.

— Молчи! — почти шепчет он.

— За что ты убил ее, Черный? — устало спрашивает Тоска. — Неужели тебе все еще мало?

Самуэль порывисто поворачивается к ней.

— Неужели ты думаешь, что мне так же нужна кровь, как этим? Нет. Но она могла бы сказать только то, что я уже знаю... и боюсь... да, боюсь.

— Не знаю... силится припомнить Тоска, — кто-то принес меня ночью сюда. Я, сквозь сон помню это. Какие у него были странные глаза, как горят мои губы... Неужели..? — Она пытливо смотрит на него и качает головой. — Нет, это сон, конечно... а теперь смерть. Как странно.

— Зажигайте костер! — несется с пристани. — Костер!

— За что? — вздрагивает Тоска. — Вам, наверно, заплатили за то, что вы продали свою тоску, чтобы сожгли свои корабли — последние корабли! Ведь я припла к вам, вернулась, чтобы напомнить, чтобы еще раз загорелись ваши души. А вы зажигаете костры! Да, я уйду, умру, улыбаясь, — а что останется у вас? Золото? Пепел? Кровь? Но на это вы не купите улыбки, кровью не создадите красоты!

Палачи зажигают костер.

— Огонь... роняет Тоска.

— Прощай, Тоска, — обращается к ней Самуэль и пристально смотрит на нее.

— Я приду еще раз... за тобою!

— Боже, дай им жить моей смертью! Дай глазам моим закрыться в последний раз! Дай словам моим прозвенеть в их душах, чтобы никогда не угасала тоска и вера, чтобы всегда звучал победный отклик: Мы, Старый Город!

Брат Самуэль становится перед нею, и простерши руки, загораживает ее от всех плащом. Лицо его обращено к толпе.

— Тоска улыбается навстречу смерти — медленно произносит он.

За его спиной вспыхивает яркое пламя и гаснет. Только клубы дыма ползут от костра, заволакивая всю пристань. Становится темно. Палачи первыми падают на ступени лестницы.

— Навождение — отступает отец Франциск.

— Чудо! — кричат монахи. — Она — святая!

Бургомистр уже задыхается и рвет на себе одежды.

— Дым! — раздаются вопли ужаса в толпе. — Дым! Ее кровь на нас! Мы умираем! Боже! Проклятие! Это сам дьявол! Спасите нас! Мы гибнем! Мы гибнем!

Все падают, корчась на ступеньках, дым настигает их, они задыхаются и царапают землю.

Самуэль идет впереди дыма, спускаясь вместе с ним вниз. За его спиной сплошная темнота и гибель, он ведет ее.

— Я припел из тьмы, чтобы убить свет, — звучит голос Самуэля, — ха-ха! Как мало для этого нужно! Стоило сделать одну гримасу! Остальное они dokonчили сами, сами обрекли себя на гибель. Без Тоски, без кораблей. Ха-ха! Будь проклят, обезумевший город, создавший такую красоту, перед которой преклонился даже дьявол! Ха-ха! Кому вы продали свою тоску? Мне? Ха-ха!

Он стоит уже на последней ступени. На пристани темно, и слышится только его смех.

\*\*\*

Часы отмечают сроки. Не время. Его измерить нельзя. Но в назначенный срок стрелки снова идут по кругу, и бьют часы, и проходят куклы, и появляется Черный.

— Я ухожу, — говорит он, и знает это.

\*\*\*

В убогой мансарде валяются палитры, гипс, тряпки. На стенах картины. Посредине, на мольберте, стоит большое полотно, изображающее отплытие кораблей из Старого Города. Картина почти готова, Севир, стоя перед мольбертом, кладет на полотно последние мазки.

Дверь открывается без стука, и скромно одетая Сольвейг, с охапкой осенних листьев в руках, входит в комнату.

— Здравствуй, Севир.

Он оборачивается.

— Здравствуй, детка. Ну вот, наконец, и ты пришла. Я все утро ждал тебя, и сегодня как-то особенно хорошо работалось. — Он подходит к ней и целует руки. — Что это у тебя такое? Ах, твои любимые кленовые листья. Ты, конечно, не могла удержаться, и как девочка собирала их по дороге. Давай сюда, поставим в вазу... А теперь посмотри... Я чувствую сам, что это хорошая картина. Ведь ты так любишь это предание: корабли Старого Города, уходящие за счастьем.

— Да, я люблю легенду о Старом Городе — задумчиво говорит Сольвейг, останавливаясь перед мольбертом. — Мне кажется всегда, что и я сама посылала корабли. Но теперь они только... на картине.

— Не знаю, удалось ли мне передать так, как я хотел, но я вижу все так ясно и остро, как будто сам стою на пристани. И это бесконечно далекое небо, и колонны белого храма, и даже — вот видишь, мокрый след воды на позеленевшем мраморе.

— И паруса, зажженные Тоской... Это твоя лучшая картина, Севир, мне так хочется взять скрипку и играть, смотря на нее... реквием.

Севир заботливо усаживает ее на колченогое кресло, стоящее у стола.

— Почему ты такая грустная сегодня? Чтонибудь случилось в консерватории?

— Нет, ничего. Я потеряла сегодня мой самый лучший урок. Избалованному мальчишке надоели гаммы, и он решил бросить занятия.

— Ну и Бог с ним, найдешь другой — маплет рукой Севир.

— Пока я его найду, может пройти еще много времени... А как я буду жить? Урок был мне большим подспорьем. Как трудно искать всегда работу, как тяжело даются эти деньги!

Сольвейг откидывается в кресле и устало закрывает глаза.

— Знаешь, — неуверенно начинает Севир, — мне, может быть, удастся получить кое что. Обещали дать иллюстрировать одно издание...

— Обложки гроповых романов? Ты только размениваешь на них свой талант. А твои картины никому не нужны.

— Ну ты, виртуозка, тоже даешь гроповые уроки — слегка раздосадованно возражает Севир. — Подожди немного, Сольвейг. Потерпи. Увидишь, что ты станешь когда-нибудь знаменитостью, а я буду продавать свои картины на вес золота.

— Золото очень тяжелое — качает головой Сольвейг, — золото дается не всем. На этой мансарде умер, наверно, с голоду не один художник, и поверь мне, что то золото, которое платили, потом, быть может, за его картины, было самым тяжелым могильным камнем.

— Что с тобой, Сольвейг? Ты сегодня прямо в отчаянии. Неужели так можно падать духом из-за какого-то потерянного урока?

Она безнадежно маплет рукой.

— Конечно, нет. При чем тут урок? Это только внешний толчок. Иногда достаточно какого-нибудь пустяка, и тогда больше не можешь уже сдерживаться, терпеть, молчать... Кажется, вот стоит только раскрыть руки, и все, что накопилось в душе, хлынет каким-то безумным криком... Не знаю просто, что со мною сегодня делается! Я не могла выдержать в консерватории до конца, бросила все и ушла в парк. Сегодня такой чудесный,



теплый осенний день . . . Везде золотые, багряные листья . . . как праздник! Ржавое золото . . . единственное настоящее, может быть . . . Я так устала, Севир. И нуждаться, и жить так . . . скучно. Мир прекрасен, чудесен и велик. И, конечно, он таким же прекрасным, чудесным и великим и останется, даже если в нем не каждому есть место. Но именно нам — нет. У нас беспредельная фантазия и такие узкие рамки. Все время одни и те же лица кругом. Знаешь, что каждый из них может сказать, подумать, знаешь даже, что каждый из них читает в газете. А откуда же черпать новые творческие силы? Ведь невозможно же брать все это из самого себя, — не получая ничего взамен? Я согласна отказывать себе во всем, жить в нищете, но так хочется, чтобы случилось чтонибудь сильное, яркое, пусть даже ужасное, но не это болото. Я хочу видеть — других людей. Может быть потом они тоже станут такими, как все, но это будет потом . . . Почему именно с нами, так остро чувствующими жизнь, не случается ничего необычайного? И как создать красоту, если она никому не нужна, если то, что нам дороже всего — для других только пустой звук?

— Хочешь, пойдём сегодня куданибудь . . .

— Какой ты ещё ребенок . . . Мы родились в этом городе, и знаем каждый изгиб его улиц, каждый фасад дома. Куда мы пойдём? Просто так, по улицам — искать невиданного?

— Оно ещё будет.

— А когда это придет — ты уверен, что мы останемся такими же? Ты уверен, что мы не устанем тогда настолько, что удовлетворимся простой виллой вместо сказочного дворца?

Он нервно ходит по комнате, останавливаясь изредка перед ней.

— Ты говоришь сегодня как . . . Это чорт знает, что такое!

— Вот заметка о приезде Аримана . . . Этот может везде искать и брать себе то, что ему нужно!

— Приехал Ариман?

— Да, вот видишь, — в газете. Ещё не читал? С какой помпой его встречал весь город. А ведь он, в сущности, ничего хорошего не сделал.

Севир пожимает плечами.

— Сумаспешший миллиардер. Финансовый гений, очевидно, и меценат. Неужели тебе этого недостаточно?

— Хотела бы я знать, что он берет от жизни . . . раздумывает вслух Сольвейг. — У него такое странное лицо. Если бы я была художницей, то попробовала бы написать его. Неужели он на самом деле такой, как этот портрет? По моему, в одном изгибе его губ — целая поэма!

— Ну вот, — подхватывает Севир, — напиши танго под названием: «Губы Икара Аримана», или устрой ему серенаду под окнами его дворца. Да улыбнись же, Сольвейг. Придут и напи

корабли со счастьем. Разве уже не счастье то, что мы любим друг друга? Или тебе уже и это... скучно?

Он обнимает ее, и она ласково гладит его по голове.

— Нет, Севир. Я очень, очень люблю тебя. Мы, знаешь, как два дерева, которые срослись так, что если срубить одно, то другое зачахнет. Только одни мы и можем быть такими сумасшедшими. Но, видишь, ли... даже вот ты, понимающий меня с полуслова, считаешь, что все, что я говорю — химера. А пойми, что я только этой химерой и живу!

Он целует ее вместо ответа, и в эту минуту раздается стук в дверь.

— Пожалуйста — удивленно выпрямляется Севир.

Входит высокий, весь в черном, безукоризненно одетый Ариман. Он кланяется, не протягивая руки.

— Здесь живет художник... я не ошибся?

— Да, это я — с поклоном отвечает Севир. — Пожалуйста, садитесь.

— Мое имя — Ариман.

— Вы... Ариман? — застывает в изумлении Севир.

— Мы, кажется, уже встречались... с легкой улыбкой наклоняется он к Сольвейг, но она широко раскрыв глаза, смотрит на него, побледнев и судорожно хватается за спинку кресла.

— Нет... я не знаю... не помню...

— А я помню, — улыбается он.

— Простите, — находит наконец первое слово Севир, — я право, совершенно не был подготовлен к такому посещению... но...

Ариман садится, продолжая улыбаться, и оглядывается.

— Я ищу — начинает он уверенным тоном. — Это немного трудно объяснить... скажем, художника. Настоящего художника очень трудно найти, но я уверен, что именно здесь... Это ваша картина?

— Корабли? — вырывается у Сольвейг, и она подается вперед.

— Она еще не кончена — торопится почему то Севир, но Ариман маплет рукой.

— Ее и не надо кончать. Это уже педевр. Вы продаете?

Этот вопрос в мансарде звучит настолько забавно, что Севир невольно улыбается и указывает жестом на обстановку.

— У меня здесь больше картин, чем покупателей, — откровенно признается он.

— В таком случае, я беру ее. Ее и... вот этот портрет.

— Это портрет моей невесты, — торопится сказать Севир, и хочет прибавить, что именно его он не собирается продавать, но Ариман пипет уже чек и протягивает ему.

— Вы разрешите?

Севир с удивлением взглядывает на сумму.

— Но мне кажется, что вы ошиблись... Не может быть... ведь это целое состояние.

— Разве деньги могут чтонибудь значить? — пожимает плечами Ариман.

— Не деньги, а то, что они дают! — вмешивается Сольвейг.

— Мне они ничего не могут дать, — качает тот головой.

Сефир, все еще опеломленный, садится и хватается за голову.

— Я не понимаю, как же так. Это что-то невероятное. Так вдруг...

— Это не случайность, — возражает Ариман. — Только счастье бывает неожиданным. А ведь я не дал вам счастья. Остальное нетрудно угадать. Я знаю вас давно... по вашим картинам. Вы талантливый романтик, один из последних могикан умирающей — или уже умершей? — поэзии, культуры духа. Теперь красота больше не зажигает душ.

— Как странно, что это говорите именно вы, — роняет Сольвейг.

— Именно я. Быть может, хорошо умеет ценить тот, кто ценит — последним! — многозначительно подчеркивает Ариман.

Сефир начинает понемногу приходить в себя.

— К сожалению, вы правы. Может быть, у меня небольшой талант, но самое лучшее, что я могу дать, — вот эти картины, каждая — кусочек сердца, висят здесь. И они никому не нужны. А на жизнь мне приходится зарабатывать...

— Обложками, — подсказывает Сольвейг.

— И улыбками осенних листьев нельзя иллюстрировать дешевых романов! — заканчивает Ариман. Он протягивает руку к вазе, вынимает из нее кленовый лист и небрежно вертит его в пальцах, все время смотря на Сольвейг.

— Видите, как мы понимаем друг друга?

— Вы только что приехали в наш город? — спрашивает Сольвейг, только чтобы что-нибудь сказать, ее смущает его взгляд.

— Да, я вернулся недавно. Меня связывает с этим местом много воспоминаний, и я должен время от времени возвращаться сюда. Без этого было бы слишком скучно. Везде одно и то же, и везде это — великое ничто. Вот эти люди, — он оборачивается, показывая на картину, — в Старом Городе верили, что где-то есть пристани золотого солнца, — а мы знаем, что их нет.

— Да, но ведь мир все таки прекрасен и чудесен... настаивает Сольвейг.

— Вы можете видеть больше, чем другие, — убежденно поддерживает ее Сефир. — Вы можете чувствовать красоту.

— Да, я видел ее... и хочу еще раз увидеть. Что вы скажете, например, если воскресить все это? Не в красках, а в мраморе, в камне заставить снова жить Старый Город? Что, если надеть на вас светлые одежды Тоски, девушки Старого Города?

Поднять паруса корабля? Дать вам плащ из осенних листьев, плащ Золотого Дофина? Воскресить праздник Старого Города? Расцветить его огнями, зажечь драгоценные камни, разостлать шелка, заставить говорить людей?

Сольвейг с Севиром, как замороженные смотрят на него.

— Стать Дофином! Быть Тоской! — вырывается у обоих.

— «Человек в мечтах, быть может, тот, кем он должен быть на самом деле», — улыбается Ариман. — Кто это сказал — вы не помните? Я могу дать вашей мечте жизнь, могу уничтожить время, пространство, жизнь — все, кроме того, что было — на один вечер.

— Вы хотите устроить... колеблется Севир.

— Маскарад, — отчеканивает Ариман. — Костюмированный бал и мистерию. Они всегда были связаны вместе.

— Ах так... разочарованно вздыхает Сольвейг, ожидавшая чего то большего.

— Но это должен быть праздник, воскрешающий старинное предание — снова старается увлечь ее Ариман. — Кажется именно здесь, на этом берегу моря был когда то Старый Город. У вас найдется наверно не мало эскизов. Мы сделаем по ним костюмы, декорации, все из настоящего мрамора и шелка. Только не под открытым небом... не надо неба.

— Нет, это сказка... восхищается Сольвейг. — Это слишком хорошо!

Она тоже смотрит теперь на него, не отрываясь.

— Я даю вам полномочия, — обращается Ариман небрежно к Севиру. — Не жалейте денег. Распоряжайтесь, как хотите. Весь мой дворец — к вашим услугам. А в заключение мы устроим грандиозный фейерверк — сожжение кораблей.

— Зачем? — удивляется Сольвейг.

— До сих пор с ними не могли придумать ничего лучшего, как только сжигать. Впрочем, я не знаю. Разве можно заранее сказать, чем кончится праздник?

— Вы сделали меня самым счастливым человеком на свете, — растроганно говорит Севир. — У меня нет даже слов для благодарности.

— У меня тоже, — подхватывает Сольвейг.

— Но от вас я жду награды, — подчеркивает Ариман, — я хочу услышать вашу скрипку.

— Вы и это знаете? — вспыхивает Сольвейг.

— Я знаю слишком много — неопределенно улыбается он.

Севир вскакивает.

— Я все еще не могу понять, — заявляет он, нервно шагая по комнате. — Неужели мне удастся осуществить мою заветную мечту?

— Это меня развлечет немного. Я так устал...

— Но ведь для маскарада понадобится и шут Старого Города? — вспоминает Сольвейг. — У нас есть друг, которого мы



назвали в шутку Кривым Веретеном. Он так и подписывает свои фельетоны.

— Да, он будет великолепен в этой роли, — останавливается Севир.

— Как странно, — задумчиво говорит она. — Каждый действительно настоящий человек — символ чего то, образ. Но вы... вы...

— Я — Черный, — слегка кланяется Ариман. — В сущности, он всегда был хозяином. Итак, главные роли распределены? О подробностях мы посоветуемся потом. Вы можете придти ко мне в любое время, без доклада.

— Поверьте, что все, что в моих силах... Я надеюсь, что сумею создать вам такой праздник, какой вы хотите.

Ариман, не глядя на Севира, подходит к картине, смотрит на нее и оборачивается к Сольвейг:

— А вам не кажется, что этому Черному... было жаль Тоски?

— Но ведь злой дух разрушил город! — вставляет Севир.

— А разве люди были против того? — быстро возражает Ариман. — Разве Черный — не создание тех же людей, не символ их собственного неверия, отрицания и пустоты?

— Нет, Севир, ты ошибаешься, — репительно произносит Сольвейг: — Нужно вдуматься в предание, чтобы понять трагический и прекрасный образ: дух тьмы, познавший человеческую красоту тоски.

Ариман подходит к ней и целует руку.

— Благодарю вас — за Черного. — И, оборачиваясь к Севиру, прибавляет:

— Я пришлю за картиной. До завтра. Надеюсь увидеть вас у себя.

Дверь захлопывается и в мансарде тишина. Севир и Сольвейг неподвижно смотрят друг на друга.

— Севир, — это правда? — робко спрашивает она, — не сон? Нет, — он — действительно был здесь?

Севир, не отвечая, садится к столу, и снова берет в руки чек.

В дверь отрывисто стучат, она быстро распахивается и в комнату врывается невысокий вертлявый человек.

— Господа — неслыханная вещь! Подхожу к вашему дому и вижу — у подъезда пикарный Рольс-Ройс. Поднимаюсь по лестнице — и вдруг мимо меня, как буря, высокий, черный — я просто не поверил своим глазам. Сам Ариман — здесь, у вас? Человеке! Да говори же! Был он здесь? Купил чтонибудь? Ведь он миллиардер! Говори же!

Он подбегает к Севиру и заглядывает ему через плечо.

— Чорт возьми! Да нет, дай посмотреть... глазам не верю! Вот здорово! Что ты ему продал? Прямо царский подарок! Подарок с неба! С ума можно сойти от радости! Да говори же, наконец!..

— Не нравятся мне эти деньги, — неожиданно говорит Севир, не поднимая головы.

Тот опешил.

— А ты действительно, с радости, того... Знаешь, у меня есть одна знакомая лечебница... Нас туда давно приглашают.

— Кого?

— Обоих, красавица моя — налетает на нее Кривое Веретено и целует руки. — Поздравляю, поздравляю от души — тьфу, давно уже нет, но от сердца моего, к вашим ножкам положенного тоже уже давно, поздравляю. Ведь это целое состояние, понимаете? Вы сразу встанете на ноги.

Он подбегает к Севиру и трясет его за плечи.

— У тебя будут деньги, имя, положение! Для чего же существуют газеты, как не для того, чтобы раздувать подобные истории? Можешь считать свою карьеру сделанной. Все знают, что он большой знаток, и это заткнет рот самым строгим критикам. Я знаю, что ты настоящий, большой талант, но до сих пор в этом были уверены только твои близкие друзья, а теперь будут знать все. Но что же он купил, скажи наконец!

— Он купил мой «Старый Город» и портрет Сольвейг, — тихо говорит Севир.

— Великолепно! Лучшие вещи. Ты войдешь в моду. Подумать только: сам Ариман!

— Какое странное имя: Ариман... задумчиво говорит Сольвейг.

— Ариман — злой дух.

Севир и Сольвейг оборачиваются вместе:

— Правда?

— Ха-ха! Какие вы все таки дети. По правде сказать, он немного смахивает на дьявола, это верно.

— Я ничего не могу понять, — произносит Севир. — Я должен быть благодарным ему. Он дал мне состояние, сделает имя, даст славу. А у меня такое чувство, будто он отнял у меня самое дорогое, как будто он старый, непримиримый враг. И в то же время мне жаль его. Удивительные глаза, нечеловеческие глаза!

— Усталый и несчастный человек. Деньги не могут дать всего. Как он смеется? Ты заметил? Он все время улыбается -- мне плакать хочется от этой улыбки!

— А разве неправда, что он говорил? А праздник Старого Города?

— Какой праздник?

— Он хочет устроить грандиозный костюмированный бал-маскарад Старого Города, — поясняет Севир. — Я приглашен писать декорации, эскизы для костюмов. Понимаешь, будет поставлена мистерия. Я буду Дофином, а Сольвейг — Тоской. А ты...

— Кривое Веретено — шут!

— Я сразу сказала, что это — вы!

— Спасибо! Да, роли разойдутся хорошо. Он, конечно, будет... играть Черного. Вот так сенсация! Об этом будет говорить весь город. Да что город — мир! Блестящий мыльный пузырь!

— Почему — пузырь? — недоумевающе спрашивает Сольвейг.

— Пустой внутри, блестящий снаружи. Ха-ха! Гениальная идея! Только смотрите, не увлекайтесь ролями. Эта игра притягивает и отравляет. Можно мечтать. Но когда мечта становится жизнью, до безумия остается один только маленький, незаметный, и такой приятный шаг.

— Конечно, нельзя принимать всерьез попытки воскресить Старый Город — замечает Севир. — Но, Боже, какую красоту я создам с его деньгами!

— Ариман очень странный человек, — рассуждает вслух Кривое Веретено.

— Положим, за свои миллионы он может позволить себе быть немного сумасшедшим. Его повсюду сопровождает один ученый — астроном, и, как говорят, каббалист. Между прочим, довольно известный ученый. Во дворце наверху великолепная обсерватория. Говорят, Ариман проводит там целые ночи.

— А он... любит когонибудь? — несмело спрашивает Сольвейг.

— Тебя это интересует? — слегка насмешливо спрашивает Севир.

— Нет, никто не может назвать имя его любовницы, и трудно представить его себе в роли женатого человека, — продолжает Кривое Веретено. — Человеческие страсти его как будто совершенно не интересуют. Одни говорят, что он предается тайным порокам, другие, что он просто умеет скрывать свои наклонности — кто знает? Конечно, у него нет отбоя от поклонниц — но он, как полубог, недоступен для взоров простых смертных. Я просто не могу даже поверить, что он сам был здесь — он так редко появляется гденибудь...

— Он был и улыбался, — потерянно произносит Сольвейг.

— Оставь ее — маплет Севир рукой, обращаясь к Кривому Веретену. — Она уже во сне...

— Да ты сам проснись!.. возражает тот. — Ведь у тебя в руках деньги! Пойдем!

— Куда? Зачем?

— Бери другое ателье, с окном, как море, во всю стену, смокинг, фрак, двадцать пять костюмов, три пуда красок, особняк, автомобиль, бриллианты, свадьба... да, свадьба...

Он останавливается, смотрит на Сольвейг, и сразу выдает себя. Севир внимательно смотрит на обоих. Кривое Веретено смущенно подходит к столу, и взяв из вазы кленовый лист, мнет его в пальцах.

— Да, да... осенние листья... бормочет он.

Сольвейг сидит в кресле, обхватив колени руками, с неподвижным взглядом.

— Осенние листья... Разве мы не говорили так когда-то? Где то... там.

— Ты... Принц-Счастливчик! — кидает Севиру Кривое Веретено.

— Бедный мой... шут!

— Что ж поделаешь... вапе высочество! — пожимает тот плечами. — Ну, вы собирайтесь поскорее, а я подожду вас у подъезда.

Он резко поворачивается и выходит. Севир подходит к Сольвейг и обнимает ее.

— Кого ты любишь... Тоска?

Но Сольвейг не слышит и не видит ничего. Она захвачена вся только одной мыслью.

— Где я его видела? Где я видела его?

\*\*\*

Громадный зал во дворце Аримана превращен в Старый Город. Стеклянная стена сбоку выходит в парк. Видны силуэты деревьев и синее небо со звездами. Против стены, тоже сбоку, из верхних покоев спускается белая лестница с колоннами. В зале, в глубине, музыка, танцы, пестрая толпа. На ступенях лестницы стоят астролог в средневековом костюме и Черный.

— Сегодня должно что-то случиться — так предсказывают звезды — говорит астролог.

— Хорошее или плохое? — равнодушно спрашивает Черный.

— Ты лучше меня знаешь, господин.

— Нет, я не знаю, — улыбается Черный. — Не знаю! Какое смешное слово! Но сегодня я только человек. Я чувствую, как бьется мое сердце — теплое, странное человеческое сердце... И я не знаю, что будет... Не хочу знать!

— Берегись, господин. Нельзя так безнаказанно спорить с небом!

— Ты — раб своего неба — презрительно возражает Черный, — а я не хочу им быть!

— Твоя звезда горит сегодня слишком ярко — берегись, господин! — повторяет предостерегающе астролог и поднимается по лестнице наверх. Ариман продолжает стоять, облокотившись на перила, полускрытый колоннами, и наблюдает за происходящим. Из зала выходит Дофин. Он проходит мимо лестницы, садится в кресло с высокой спинкой, опускает голову на руки.

Из толпы отделяется шут, и танцуя, подводит Тоску к одному из кресел посередине. Они садятся таким образом, что не могут заметить ни Дофина, ни Черного.

— Ты довольна праздником? — спрашивает шут.

— Я счастлива.

— Уже?

— Ты смеешься или иронизируешь?

— Ха-ха! Божественная ирония!



— Почему ты смеешься?

— Потому, что я не могу плакать — пожимает плечами шут. — Разве я не вижу, что с тобой делается! Это только ты ничего не замечаешь... Никого, кроме этого... дьявола!

— Зачем ты так жестоко говоришь! Мне самой больно смотреть на...

— На Дофина! Ха-ха!

— Конечно, он видит, он понимает, что я отошла от него, что я не могу быть с ним, как раньше. Я и до сих пор люблю его, но...

— Но он только бедный сумасшедший художник!

— И тебе не стыдно?! — возмущается Тоска.

— Мне?

— Неужели ты, надев этот дурацкий колпак, стал настоящим шутом? Мне не нужно его денег!

— Но то, что они дают...

— Ах нет, все это не так. Я никогда и не мечтала о таком огромном богатстве. Я люблю Севира как друга, товарища... Так спокойно, серьезно, глубоко. Он всегда останется для меня самым родным человеком, в этом отношении ничего не изменится. И все это не то... ну, как это объяснить... ненастоящее. Я искренне считаю это глубоким чувством, а вместе с тем понимаю, что в моей душе есть еще какая то глубина, которой он совершенно не затрагивает, проходит мимо.

— А когда все пройдет, то останется одна улыбка — невольно вырывается у шута.

— И вот за эту улыбку...

— Дьявола! — кричит Шут. — Пойми, что он — не человек!

— Я не спрашиваю, кто он. Я только могу все отдать, забыть, сжечь до тла — душу, жизнь — все — только за одну улыбку!

— Говорят, что он погубил уже многих...

— И я понимаю, почему они сами не говорят об этом. Даже — если могут говорить!

— Нет, тебя не спасти, — качает головой шут и поднимается. — А жаль! Мне кажется, что я люблю тебя уже сотни лет, и ты всегда уходила от меня к кому-то другому, или куда-то...

— Ты любишь меня?

— Неужели ты никогда не замечала этого? А ведь я всегда приносил тебе... осенние листья! Ну, что ж, ничего не поделаешь... К сожалению, я философ. Можешь любить, кого хочешь — и гибнуть, как хочешь. Если я не могу помочь тебе — я ухожу.

Он отходит. В зале его подхватывают танцующие и с криками: «Шут! Шут!» — тянут за собой.

Дофин не двинулся с места в течение этого разговора. Теперь он поднимает голову — и видит у колонны Черного. Тот тоже слышал, значит... Он долго смотрит на него. Потом улыбается,

поднимается и идет в зал. Тоска, заметив его, вздрагивает, хочет что-то сказать, но он останавливает ее жестом.

— Нет, не надо... тихо говорит он. — Если бы он только дал тебе счастье... Как это было сказано: аве, цезарь...

Он обрывает, поднимает приветственным жестом руку по направлению к Черному и уходит. Тоска вскакивает и хочет броситься за ним, но услышав шаги Черного, сходящего с лестницы, останавливается и застывает на месте.

— Я все слышал — медленно произносит он. — Только за одну улыбку, да?

Он наклоняется и целует ее. Тоска близка к обмороку. Он подхватывает ее на руки и уносит по лестнице на верх.

Маскарад продолжается дальше. Гости танцуют, рассыпаются по залу, располагаются группами. На середину зала выступает балет. Лакеи разносят бокалы. По окончании балета появляется Черный и проходит между отдельными группами гостей.

— Вы довольны праздником? — обращается он к даме в зеленом платье.

— О да... Он мог бы быть довольно милым...

— Мог бы...?

— Я нахожу, что слишком ничтожным особам уделяется слишком много внимания, — язвительно замечает дама. — Неужели в вашем дворце хозяин не вы, а все эти шуты, дофины и... девушки.

— А вы находите, что хозяином должен быть я? Ха-ха! Блестящая идея!

— Я не вижу в этом ничего смешного, — обиженно замечает дама, и поворачивается, чтобы отойти. На ступенях лестницы появляется в это время Тоска. Черный видит ее, его лицо искажается гримасой, и он удерживает даму.

— Остановитесь, — громко говорит он. — Эти люди, — марионетки, которых я заставил играть на сегодняшний вечер.

Шут приближается к нему сбоку и внимательно слушает тоже. Тоска останавливается на лестнице, и, перегнувшись через перила, смотрит широко открытыми глазами.

— Мне нравится иногда играть людьми, — продолжает тем же тоном Черный: — Я беру сумасшедших и нищих! Я даю им золото, славу, любовь, сказку жизни. Раз! Один взмах руки — и все горит, манит, сверкает. О, как они тогда красивы, идеальны и благородны! Два! Еще взмах руки — и представление окончено. Ха-ха! Они снова становятся тем же, кем были — но не думайте, что они останутся такими же. Что значат все муки ада в сравнении с миражем человеческой души! Ха-ха! Только жаль — они сдаются без боя. Они уступают — вместо того, чтобы бороться. Эти партнеры с хрустальными душами слишком скучны для игры. Вы думаете, я способен любить когонибудь! Ха-ха! Мое сердце — камень. Мое имя — проклятие. Но я люблю игру... Я первый начал ее в мире и сам кончу ее! Ха-ха!

Тоска хватается за перила лестницы. Она не хочет верить, и верит сразу...

— Нет... хрипло вырывается у нее. — Только игра... нет! Я уйду сама... нет, ничего больше нет... Места нет в Твоем мире, Боже!

Она бросается стремглав по лестнице наверх. Дама в ужасе пятится назад.

— Вы — ужасны... лепечет она, ничего не понимая.

Черный медленно идет вслед за ней, усмехаясь, но шут останавливает его.

— Где она? — хрипло спрашивает шут.

— Что тебе нужно... шут? — пренебрежительно отстраняет его Черный.

— Я спрашиваю: где девушка?

Черный наклоняется к нему:

— В моей спальне.

— Дьявол! — кричит шут и бросается на него. Черный видит, что он зашел слишком далеко и внезапно приходит в себя.

— Остановись, человек! — грозно говорит он, и сразу смягчая голос, прибавляет совсем просто: — Первый раз я говорю правду: я люблю ее.

С лестницы спускается астролог и увлекает Черного к стеклянной стене, показывая ему на небо:

— Звезда твоя упала, господин...

— Звезда моя упала, — задумчиво говорит Черный, и сразу меняется.

— Звезда! Как трудно стать человеком... Не знать, а верить... Как трудно создать себе святое и верить, верить.

— Ибо Бог проклял дьявола знанием! — невольно вырывается у шута.

— Да, я так говорил когда то, — кивает головой Черный, — а теперь уже не знаю — и не могу еще верить. Это была моя последняя гримаса. Тоска простит мне ее — простит улыбкой! — Он улыбается светло и радостно и протягивает руку шуту. — Подумай, брат, ведь я никогда не любил. Как странно чувствовать любовь. Мне! Помнишь, ты говорил: «Если у меня глиняные ноги, я не могу стоять прямо, я должен ломаться». Я не могу сразу стать светлым — но почему мне больно?

Шут хватается за голову, это слишком много для него.

— Когда же кончится этот безумный маскарад? — кричит он. — Кто я? Я или не я? Ведь мы, то есть не мы — умерли? Нет, живем, будем жить. Я ничего не понимаю больше...

Из зала выходит Дофин и в ту же минуту видно, как мимо стеклянной стены падает сверху какая-то фигура.

— Ааа! — кричат шут и Дофин, в один голос, подбегая к окну. Они разбивают стекло и спускаются в парк. Из зала выходят гости.

— Скандал... тянет дама. — Ах, как интересно!

Черный делает им шаг навстречу. Его вид ужасен.

— Уходите вон — все! — произносит он шопотом, но при этом шопоте музыка обрывается, гости спешно покидают зал, огни понемногу тухнут.

Черный подходит к окну и принимает из рук шута безжизненное тело Тоски. Кладет его на ковер, слушает сердце, потом указывает на струйку крови, сбегавшей с виска, и качает головой.

— Дворец высок, — произносит он. — Головой об камень...

— Умерла Тоска, — тихо произносит шут.

— Камень! — восклицает Дофин. — А-а-а! Серый камень! Тоска умерла — слышите? А мы не могли уберечь ее! Отдали дьяволу! Аве цезарь... Ха-ха! Видите? Вот плывут корабли! За нею? Я вижу их! Вижу! Мертвое счастье! Разве я не улыбаюсь! Ха-ха!

Он выбегает из зала. Шут хочет броситься за ним, но астролог удерживает его.

— Оставь его, он безумен, — тихо говорит он. — Только безумец может сказать, что Тоска умерла...

Шут останавливается и вопросительно смотрит то на него, то на Тоску.

— Тоска жива? Которая Тоска?

— Та, которая жива всегда, — торжественно отвечает астролог.

Черный тоже смотрит на него и утвердительно качает головой.

— Тоска не может умереть. Она ушла сейчас. Она уходила уже не раз. Но вот эти люди, которые только что были в зале... Они видели ее, и будут помнить о ней, они не могут остаться без нее. Что же будут делать люди, если бы они действительно потеряли Тоску? Все может рухнуть, все может исчезнуть — но Тоска останется... Тоска — жива и вечна.

— Я люблю ее — опускается Черный на колени. — Я стал для нее человеком. Ни перед кем еще я не склонял своих колен. Боже, я никогда не призывал Твоего имени. Я не умею молиться... за себя. Но за нее — за Тоску, Господи... прости ей... прости мне... мою улыбку.

Шут молитвенно складывает руки и становится рядом с ним.

— Мир все таки прекрасен, чудесен и велик, — и он продолжает оставаться таким же прекрасным, чудесным и великим, даже если в нем не каждому есть место. Но Тоска в нем жива всегда! Мы, Старый Город! Аминь!





Как всегда, осень — любимое время Джан. Она только что получила заказ на громадную скатерть, и возвращалась домой вдоль железной дороги, по Казачьей улице. Джан любила эту дорогу, напоминавшую деревню, и проходя по ней, всегда мечтала, как было бы хорошо иметь свой кусок земли и посадить на нем горох. Светло зеленый, веселый горох, запутавшийся на солнце — что может быть лучше этого?

Дома Джан прежде всего занялась декорацией: смеющиеся солнца подсолнечников в высокую синюю вазу на полу, посреди стола на расписной тарелке — густо фиолетовые сливы и гроздь яркой, веселой рябины. Еще несколько листьев дикого винограда в другую вазу — и комната сразу становится нарядной.

Джан садится за рукодельный столик и начинает разматывать нитки. Начинать новую вышивку всегда приятно.

Звонок. Эль и за ней незнакомая фигура. Эль, очень нарядная в светло сером пальто и изумительном лиловом платье, против обыкновения — не в бальном, оживленная, вся какая то шелковая, целует ее.

— Джан, ты, конечно, извинишь нас за непрошенный визит. Разреши представить: Гунар Земель, секретарь латвийского посольства в Вене, Гунар, княгиня Бей-Тугановская, моя любимица Джан, о которой я так много рассказывала...

«О, Боже, теперь я стала княгиней!» — мысленно давится Джан, бросая угрожающий взгляд на Эль, но та только прикладывает палец к губам и яростно трясет головой, пока Гунар, красивый и элегантный брюнет, любезно целует руку.

— *Vraiment, princesse,* — говорит он, окидывая взглядом комнату, — нетрудно угадать, что вы художница. Эта комната замечательное доказательство, что вкус у человека — это все. Несколько веток цветов, подобранная гамма красок — и самой дорогой мебелировкой нельзя достичь лучшего эффекта.

— Я прекрасно понимаю японцев, — улыбается польщенная Джан, — которые вешают на стену картину, ставят перед ней вазу с цветами и часами сидят и смотрят. К сожалению мы, европейцы, считаем почему то, что у нас нет времени для красоты. Если бы мы не загоняли ее на задворки, а старались сделать действительно частью нашей жизни, — мир был бы другим.

Земель подхватывает ее мысль. Джан сервирует чай с особой тщательностью, и с наслаждением болтает с интересным собеседником, общество Кюммеля и Щеглика ей давно надоело. Земель рассказывает о Париже и Вене, угощает заграничными сигаретами, и ясно, как замечает про себя с легким вздохом Джан — что он влюблен в Эль. Вот значит, в чем дело, и почему чай, а не водка с огурцами, и «княгиня». Эль любит вертеть хвостом, как павлин, и втыкает в него, не задумываясь, любые перья.



— Ну-с Белль-Эль, — начинает Джан на следующий день, когда та приходит снова, но уже одна, — а теперь объясни пожалуйста.

— Джанум, дорогая, не сердись. Понимаешь, зашел разговор о русской аристократии, и у меня как-то сорвалось с языка. Бей, в конце концов, тоже титул. А Гунар красавец, не находишь? И умница, ему пророчат прекрасную карьеру...

— Новый роман?

— Нет, не так, как ты думаешь... Я сама еще не знаю, что из этого получится, боюсь, что серьезно, и что тогда?!

— Сердце красавицы склонно к измене...

— Разве у меня было уж так много романов? А если и было, то только потому, что я не находила — настоящего.

— А сейчас нашла?

— Кажется. Но с ним очень трудно. Он сразу хочет, чтобы я развелась. А Киса умрет с горя, и нельзя же так — сразу. Ну

да посмотрим, что из этого выйдет. Как тебе нравится мое новое платье?

— Изумительно, Эль. По крайней мере из двадцати твоих последних самое элегантное. Я пристрастна, потому что люблю лиловый цвет, и это не оттенок, а поэма.

— Правда? — расцветает Эль. — Гунару оно тоже очень понравилось. Ты не можешь себе представить, как он обращает внимание на каждую мелочь! Его идеал — английские лэди, я ему сказала, что их терпеть не могу!

Эль и лэди!..

— Между прочим — щебечет Эль, — Нездолин собирается в этот сезон открыть театр в Двинске. Идея неплоха, но как он составит труппу? Я, во всяком случае, не могу ехать. И Киса меня не отпустит, и вообще... лэди не выступают на сцене. Ты тоже, наверно — разве ты можешь прожить там на такое крошечное жалование? И кроме того, раз у тебя только что родилась Инночка...

Инночка лежала довольно безобидным червячком в большой бельевой корзине, за неимением лучшего. Джан очень спокойно и деловито относилась к ребенку, она терпеть не могла «обезьяньих мамаш». Сделав все, что нужно для ребенка, она шла в мастерскую, или садилась зашивать печальные размышления в стежки нарядной скатерти. Кроме нищеты, у нее не было ничего в жизни — и теперь еще маленькой Инночки, за которую тоже надо было бороться.



В домике под каштанами пекутся пряники. Медовые, с гвоздикой, сладким перцем «пффефферкухены», без которых неммыслима елка ни в одном доме на всем побережье Балтики.

Тесто, туго сбитый маслянистый ком морозилось две недели. Теперь эта глыба лежит на столе и подсмеивается над тщетными попытками хозяек уменьшить ее объем. Полковник, засучив рукава, катает скалкой так, что потрескивает стол. Приход Вероники встречается общим одобрением. Еще одна помощница!

— Уф, — вздыхает Джан, покормив Инночку, засунутую в кровать, — теперь можно и покурить. Повозиться придется еще порядочно, но зато будем есть пряники все. Рождество. Обожаю праздники. В доме нарядно и чисто, пахнет вкусным и елкой. Можно читать, ожидать гостей, или мечтать. Иногда грустно. Вспоминаешь детство, жизнь, от которой даже краешка не осталось, и знаешь, что годы уходят, а впереди то же самое.

— Скажите, Надежда Николаевна, — серьезно спрашивает полковник — а вы подумали о том, что вам давно бы следовало бросить богемную жизнь и взять свою судьбу в руки? Или вы предполагаете до седых волос вышивать подушки?

— А что же делать, дядя, Кир? Мастерскую бросать не хочется. Я так люблю это дело. И Хрисанфыч позволяет мне ухо-

дять среди дня, пока мне нужно смотреть за Инночкой и кормить ее. И всего три дня в неделю работаю. Ехать в Двинск не имеет смысла. Жить на два дома дороже, а жалованье слишком маленькое. Меня что злит: после своей болезни Хрисанфыч совсем запустил дело. Сколько раз я доказывала ему, что стоило бы начать новые вещи, а он ни в какую.

— А вот вы сами попробуйте.

— Как же так — помимо хозяина?

— Очень просто. Как свой заказ. Истратйте немного на глину, заплатите за формы, а краски и обжиг вам Хрисанфыч в кредит даст. Сделайте и предложите в магазины. Станьте сами предпринимателем, и через пять лет конкурентом Кузнецовке!

— Начал за здравие, а кончил совсем фантастическими планами, — упрекает Лада.

— Так и надо. Начинать надо с грошей, рисковать осторожно, а то если все на одну карту, да она бита, то хоть в петлю. А цель может быть и фантастической. До нее можно не дойти, на половине дороги остановиться, и то хватит. Главное — лень и не предприимчивость — чисто русское отсутствие инициативы.

— Дядя Кир, от кого слышу! Вы такой патриот, славянофил, и вдруг...

— Именно поэтому. Мне очень жаль, что при всем нашем духовном и материальном богатстве мы так мало, сравнительно, и плохо умели делать. Не знали и не хотели. Вот муженька у Надежды Николаевны одолевают товарищи и темперамент. Таланту, смотришь, и развернуться негде. Приходится ей строить дом самой. И повторяю: пока у нее собственной мастерской нет, то я ее и за человека не считаю, как хотите. А что вы призадумались, Вероника Николаевна? С вами вообще что-то странное за последнее время происходит. По театру скучаете? Где вы, под Режицей жили это лето?

— Да, у Сысоевых, дочку их репетировала. Именьице небольшое, и я тоже подумала, дядя Кир: не хватает у нас инициативы.

— Старое поколение слишком привыкло к прежней жизни, а из нового, вот увидите, выйдут не расточители и не непригодные к жизни люди, а собиратели земли Русской. Не все, конечно. Кое кто и умрет под забором. Но остальные возьмутся за ум. В это я твердо верю.

— Что же, всем пахать землю? Ха!

— Будь я царем, я бы три четверти народа посадил на землю. Какой толк от этой индустриализации, цивилизации и громадных городов? Болезни, нервность, нищета, никаких корней, никакого дома, вечное перекати-поле. Не одна квартира, так другая, не один завод, так другая фабрика. Вот и получается: пролетарии всех стран, объединяйтесь, или бессмысленная погоня за долларом. А где же место человека под солнцем? Только в своем саду. Пахать могут и должны не все, но дом, кусочек земли, свою



крышу над головой, гнездо, должен иметь каждый, если он сохранил еще здоровый человеческий инстинкт. Надо благоустроить провинцию. Надо ввести хуторскую систему, и притом — майорат. Дом и земля остается в семье и действительно приносит пользу и семье и государству. Хочешь иметь больше — работай лучше. А пропить, заложить, проиграть — не имеешь права, и никто у тебя не может отобрать и с молотка пустить, как разоряли русские имения. И опять же скажу: возьмите в пример латышей. Служат в городе: кто чиновником, кто на фабрике, или хоть профессором в университете, а дома, в своей усадьбе, косит сено и нисколько не стесняется и навоз на вилы подцепить! А кто того не имеет — так в предместье свой домик с садом заводит, и тут уж и огород, и куры, и свинья... Смотришь — такой «кунгс» заводит себе радио с семью лампами, чернобурую лисицу жене. Случилось что — кризис, безработица — за квартиру платить не надо, своей картошки с салом поест, перебьется до следующей работы. Почему то у нас принято считать, что если человек интеллигентен, так ему уж полагается не то, что рожь от пшеницы, но и фиалку от тыквы не отличать. А я считаю, что развитой и образованный человек может свои знания на земле и развить, и обогатить.

— Кирилл Константинович! Ну что я могла в Латгалии со своим знанием французских классиков сделать? — возмутилась Вероника.

— А вот что я вам скажу: если бы вы года три подряд разводили бы в своем саду ну хоть бы розы, или капусту, то первоначально, охотно верю, комлем бы вверх посадили, но на второй год у вас какие либо кукиши уже выросли — а на третий — либо капуста, либо розы, но только вы своих французских классиков лучше поняли бы притом, и ребят в школе учили бы лучше. Очень уж многому учит человека земля, а главное тому, что самое главное в жизни — солнце, любовь и труд, и Бог надо всем. Так то.

Полковник артистическим жестом проводит последний раз скалкой и вытирает со лба пот.

— Уф, одолели тесто. Легко ли — пряники печь и лекции читать. Но иногда семя падает не только на каменистую почву, но и дает росток. А земля учит прежде всего — терпению.

Пряники готовы. Вероника великодушно соглашается отнести Джан корзину, та понесет Инночку.

Обе идут молча. В домике под каштанами часто дается толчок разным мыслям. На улице тихая морозная ночь, голубой снег. Джан незаметно для себя втягивается в сказку о большом белом доме с колоннами, занесенными снегом, о доме, где тепло от каждой вещи, и в какойнибудь каморе хихикает домовой.

А вот уже и дом — мерзкий, серый, даже снег не в силах разукрасить его. На лестнице пахнет кислой капустой и кошка-

ми, за одной дверью визжит патефон, за другой плачет ребенок... Отвратительная коробка человеческих клетушек.

It's a long, long way to Tipperary... — отстукивает Джан, поднимаясь по лестнице. Да, это далекая дорога, и по ней надо долго идти!

Но Белый Дом остается в каком то уголке, и время от времени Джан возвращается к нему. Джан трезвый романтик по натуре, самый счастливый и отчаянный характер. Она способна строить мечту по кусочкам.



Вероника, донеся корзинку, посидеть отказалась, и пошла пешком. Мороз небольшой, а улицы, если выбирать окраины, пусты и прозрачны. Скрип шагов по снегу отдается, как звон крови в ушах, и кажется, что кто-то идет сзади. Но это только кажется, никто не нагонит и не окликнет ее, никто.

Вероника привыкла много ходить одна, но полюбила дальние прогулки особенно этим летом в Латгалии, когда ходила на почту за несколько километров, и собирала грибы. Писать ей было не о чем — но она так умоляла Джан и Катышку завести с ней переписку, что те писали честно каждую неделю, рассказывая о всех событиях маленькой жизни. Веронике было просто необходимо ходить на почту, подниматься по лестнице на стеклянный балкон дома, переходившего в громыхавшую мельницу. Спрашивать, с замирающим сердцем ждать — что кроме знакомых двух конвертов будет вдруг — невозможное, ослепительное «вдруг» — третий, непременно длинный и узкий, из плотной бумаги, с княжеской короной. Смешно, неправда ли? Вряд ли у князя есть такая бумага. А если и есть — то для письма к ней он возьмет другую, попроще. Только бы ответил — несколько строк — такой пустяк и такое счастье!

Вероника написала ему письмо после долгих раздумий и колебаний, много раз исправляла и переписывала черновик. Она заставила себя приучиться к мысли, что вечера в картинной галлерее не было вовсе. Они попрежнему болтали. Когда сезон кончился и Вероника подвела итог, — князь очень мило улыбнулся и пожал ей руку.

— До свиданья, Вероника Николаевна, всего хорошего, — теперь сможете отдохнуть.

Надел шляпу и вышел, посвистывая, по обыкновению. Наверно он никогда не откроет больше двери в эту комнату. Боже мой, в жизни человека за его спиной остается столько комнат с никогда больше не открывающимися дверями... Но сентиментальность разлуки была совершенно чужда князю. Да и какая разлука, в самом деле?

Вероника выругала себя за то, что ожидала от него прочувствованных слов, или приглашения провести вечер вместе — после того-то! И еще потому, что — приняла бы его. Да, несмотря

ни на что. И — чтобы быть совсем уж честной с собой — напросилась бы сама, если не стыд и страх перед насмешливым, удивленным отказом. Нет, этого она не могла бы перенести.

Прекратившиеся встречи первое время не были для нее даже лишением и провалом в пустоту. Она так привыкла думать о нем весь день и видеть каждую ночь во сне, что физически чувствовала его постоянное присутствие. Она рассказывала ему мысленно все свои обиды и огорчения, тем же легким насмешливым тоном, которым привыкла разговаривать — и они казались от этого легче.

Мечты менялись от любого внешнего толчка. Вдруг, например, ей удалось бы оказать ему важную услугу, спасти жизнь, или, если он будет страшно болен, она выходит его; или даже — вдруг мама выиграет процесс, и она сама получит огромное наследство! Тогда — о, тогда...

Валя, босоногая девчонка с соседнего хутора, принесла Веронике маленькую серебряную монетку.

— Вероника Николаевна, глянь, какая благая. Дяденька Степан, коли тын новый становил, копнул и цельную крынку вытянул. Крынку, ону-то, тетка Аксынья разбила, а монетки дяденька Степан в город свез и часы купил, за онех-то. Идут часы. А тетенька Аксынья столько-то монеток заховала себе на цепку, ан цепка то и не вышла, а еще онную мне подарила. Вероника Николаевна, а ты возьми, и мне потом из города гостинцу привези, ланно? Лентоцку с цветам, в церкву пойду, в голову надену.

«Лентоцку с цветам» в космы Валюшке Вероника купила, когда ездила за двадцать километров в ближайший городок, и даже колечко серебряное — с камушком, красненькое счастье. Монетка была псковской денежкой — их часто находили здесь — неправильной угловатой формы, сильно потертая. Что на одной стороне — разобрать совершенно невозможно, а на другой ужасная харя с волосами дыбом и раскорюченными пальцами, как детский рисунок. Может быть, даже Перун. В нумизматике она разбиралась плохо. Но монетка старинная. Князь показывал ей разные монеты...

Отсюда и письмо. Легкая французская записка. Нашла в Латгалии, вспомнила, что он знает в них толк и собирает. Пусть будет ему маленькой памяткой — из одиночества и деревенской глуши, куда даже письма доходят редко — в особенности, если их не пишут...

— Больше нет? — каждый раз спрашивала Вероника на почте полную как булка, румяную мельничиху, и та улыбаясь, качала головой.

— Еще пишут!

Но письма, которых не пишут, не доходят. Вероника шагала по латгальским большакам и тропкам, в мягкой пыли деревенских улиц, под ласковым солнцем, под смолистой зеленью сосен,

среди звенящей колосьями ржи, незатейливых деревенских садов с кислыми яблоками, и рядом с нею шагал князь — он мог бы приехать к соседним знакомым погостить, например, — весь в белом, как полагается моряку, и Вероника говорила ему про все, про все...

Крестьяне, часто замечавшие издалека, что она бормочет что-то, кивает сосне и улыбается перед клеверами, давно решили промеж себя, что учительница у Сысоевых «рахманная», заучилась, должно быть, и харч ей впрок не идет.

— Ист, поди много, а кости торчат!

А может быть, князь уехал куданибудь за границу, он ведь собирался в Париж, и она его никогда больше не увидит. Заболел там, умер. «Князь Нагаев умер в Париже, и похоронен на кладбище Пер-Ла Шез» выводит пальцем Вероника на мокром песке, лежа на берегу речки в полосатом желтом костюме, похожая на осу. Какая глупость! Во первых, на кладбище Пер-Лашез хоронили только в старинных романах, и почему непременно умер и вообще?

Вероника яростно смывает каракули. Но слезы смыть труднее — горькие, безнадежные слезы.

Вот так кончилось лето, и осенью, в городе, осторожно наводя справки, она узнала, что князь уезжал куда-то, вернулся и живет там же.

Нездолин открыл театр в Двинске, карьера Вероники кончилась, а в Драмму она не решилась пойти. Долго раздумывала — не спросить ли — относительно монетки. Пробовала звонить по телефону, каждый раз подготавливаясь к этому событию, как будто бросаясь в воду. Если в трубке раздавался голос хозяйки, тягучий и жирный, сразу же бросала ее. Когда же такой знакомый, темный мягкий голос откликался мурлыкающим «алло», Вероника медлила еще секунду — слишком больно оторваться — но все таки отрывалась, и, кусая губы, прижимала трубку на место. Нет, не хватает духу.

Лакированных туфельек она не покупала больше, и старые носила редко. Зато записалась в новую библиотеку, где ее не знали, и перешла на любовные романы, к которым относилась прежде иронически и свысока. Теперь она понимала, почему их читают — и даже — казалось ей, — почему их пишут.

Жизнь ломает без сцен. И уродует исподволь. Вероника была права: красавицей не нужно быть — но и кикиморой нельзя быть тоже!

\*\*\*

Бея всю ночь не было дома. Это происходило часто и безо всяких предупреждений. Просто уходил и возвращался под утро или на следующий день со сбивчивыми объяснениями, в которых повторялось:



— Исключительно порядочный, милый человек, я по деликатности не мог его обидеть и отказаться, ты ведь понимаешь?

Джан давно перестала спрашивать, почему быть деликатным и считаться можно только с другими, а свои не в счет. Она вообще привыкла не задавать вопросов, а понимающе кивать головой, говорить «конечно», и позаботившись, чтобы Бей мог выспаться, продолжать делать свое.

Конечно, она и на этот раз не дожидалась его возвращения, а просто легла спать очень поздно, увлекшись романом Фекете со странным заглавием: «За любовь — неудовлетворительно». Против графы «любовь» всем персонажам романа жизнь ставит отметку: «неудовлетворительно». Двойка. Экзамен не выдержан, а переэкзаменовок жизнь не допускает никогда.

Роман дала ей Вероника. Удивительно, что Морж перешла на современные романы. Таинственная плитка шоколада — тогда, в театре. Ну, а у нее самой — разве лучше? Почему их любовь или увлечение с Беем так слиняло? Кто виноват? Она старалась устроить дома как можно лучше и уютнее, несмотря на бедность, не жаловаться на неудачи, а бодриться. До сих пор у нее не бывает больше двух платьев сразу, но растрепой она не ходит. Зарабатывает, чем может, не меньше чем Бей. Не упрекает его даже за пьянство и не делает сцен ревности. Может быть, чересчур большая уступчивость тоже вина? Бей безусловно любит ее, как родного и близкого человека, товарища, мать его дочери, которую он обожает. Как женщину он любит Эль, а до нее была другая, а потом будет следующая. Романы он объясняет художественностью натуры, и тем, что это вообще полагается мужчине, а отсутствие ревности у Джан — нравственным уродством. Так ли это? Говорят же, что женщина всегда должна оставаться загадкой, слабым и беззащитным существом, чтобы мужчину увлекала эта загадочность и роль покровителя.

Но мужчина должен быть для женщины героем и полубогом, на которого она должна смотреть снизу вверх. Может быть, это и так, только где они, эти герои? Наверно ей не повезло в жизни, — но просто сильных и цельных людей, как дядя Кир, например, она видела меньше, чем пальцев на одной руке. А где же полубоги?

Джан так и засыпает, не разрешив ни одного из вопросов. Джан стала взрослой — поэтому они мучают ее, но не настолько еще умудренной опытом, чтобы понять, что они неразрешимы.

\*\*\*

Утром Джан собирается завтракать, когда раздается резкий звонок — Бей, конечно. Но за Беем входят еще двое: незнакомый молодой человек и — Боже мой! — Караваев в боярской бобровой шапке. Джан быстро сбрасывает передник, путаясь в завязках.

— Надеюсь, что вы простите наше неурочное вторжение... эээ — рокочет Караваев, — но ваш супруг, с которым мы так прекрасно беседовали, уверял, что вы на редкость снисходительны. Кроме желания провести еще некоторое время за приятной беседой, мы решили проверить его самонадеянность.

— Друзья моего мужа, — мои друзья, и в любое время — отвечает Джан.

— Ты бы, Джан, заварила крепкого чаю — лимон есть? — суется Бей, и сам идет, на кухню. — Я, понимаешь ли, думал, что ты не рассердишься, для тебя это тоже полезное знакомство, — он меня встретил в редакции и пригласил вместе с Чайским — сотрудник из Драмы. Коньяк у нас есть...

— Не пытайтесь смягчить сердце, вернее гнев вашей супруги, а пойдите лучше сюда и скажите, где в этом доме имеются ковши, братины или другие сосуды? — командует Караваев.

Джан быстро собирает на стол — парадную скатерть, конечно, — и Караваев усаживает ее рядом с собой.

— Протесты бесполезны и неприличны — великолепным жестом отмахивается он ее возражения. — Вы не можете заставлять своих гостей чувствовать неловкость от того, что они уже выжили немного, а вы нет.

— И не пытайтесь спорить — весело подхватывает Чайский, с аппетитом набрасываясь на закуску, — я тоже пробовал — и в результате придется идти прямо на репетицию!

— Если вы, молодой, сможете еще идти прямо! Но во времена моей молодости...

Караваев, повидимому, сегодня в ударе. Один рассказ следует за другим. Чайский с явным сожалением уходит на репетицию, а Бей исчезает за новым подкреплением.

— Талант прежде всего сказывается в мелочах — продолжает говорить Караваев. Теперь только одна Джан слушает его. — В «Ревности» Амфитеатрова Мамант-Дальский остается на сцене один. Он находит письмо или шпильку, — не помню подробностей, — словом, должен показать зрителям, что узнал об измене жены. Что же он делает? Берет портсигар, медленно вынимает из него папиросу и зажигает спичку. Пауза. Спичка догорает у него в пальцах. Чиркает вторую и подносит ее к папиресе, но не закуривает. Третья, наконец, и уже ею зажигается папироса. Точка. Зрители переводят дыхание. Все понятно и ясно без слов. Вот что может сделать талантливый актер. Мелочь, но громадная мелочь. Это парадокс. Учитесь! В ваших «Кораблях» тоже есть такие мелочи. Кстати, вы сделали с ними чтонибудь?

Джан обрадованно и смущенно вспыхивает. Неужели он помнит все таки это позорище?

— Я совершенно переработала пьесу и дописала ее до конца.

— Ах так, тогда она была еще не кончена, — что ж, надо напечатать, если вещь готова. Дайте мне рукопись, я прочту и посмотрю, что можно сделать...

Джан боится показаться смешной и назойливой, ловя на слове, но радость слишком велика. Она снимает с полки заветную папку и передает ее Караваеву. Тот снисходительно прячет в портфель, наливает остатки коньяку и чокается:

— Выпьем за ваши «Корабли», виконтесса!

Джан пьет с сияющими глазами. Караваев молча смотрит несколько минут, облокотившись на стол, в эти слишком светлые, странные глаза, и неожиданно спрашивает:

— А вы не думаете, виконтесса, что у нас с вами — мог бы быть роман?

Сравнение с громом из ясного неба очень избито. Но как иначе передать впечатление, если ударившая посреди стола молния удивила бы Джан гораздо меньше? Однако, она достаточно уже познакомилась с мужской психологией, чтобы не показать удивления. Караваеву она годится в дочери, и отказ он примет прежде всего как указание на возраст. Но отказ... Караваеву, который может буквально одним росчерком пера сделать для нее все... седому, но импозантному, блестящему, избалованному Караваеву, который предлагает ей — ей, маленькой, некрасивой Джан — что? Стать его любовницей? И как вообще держать себя в подобных случаях? Указать на дверь, дать по физиономии, или вежливо поставить на место? Но в его портфеле ее рукопись...

— Я думаю, что мы оба достаточно... остроумны для этого, — слышит Джан свой собственный, ставший чужим и стеклянным, голос, и в упор, с отчаянием, выдерживает взгляд Караваева.

Бей входит как раз во время. У Джан кружится голова, она с трудом закуривает папиросу и выпивает залпом остывший стакан чая.

— Должен вам заметить — поворачивается Караваев к Бейю, — что вы совершенно не стоите своей жены. Мало того, что она талантлива и умна, но она еще оригинальна и остроумна, а это уже драгоценная редкость! Ваше здоровье, виконтесса!

Караваев сидит еще часа два, и теперь с подчеркнутой любезностью обращается к ней, с видом настоящего герцога, обмахивающего перьями своего шлема подножье трона молодой королевы. Этой изысканной любезности достаточно, чтобы вскружить голову не только скромной Джан, привыкшей быть всегда в тени.

— Ну, знаешь, он меня совсем замучил — признается Бей, после того, как сбегал за такси и усадил в него, наконец, уставшего критика. — Со вчерашнего дня без перерыва!

Джан тоже устала. Убрав со стола и позаботившись об Инночке, она ложится с книгой на диван отдохнуть, но книга не читается как-то.

— Знаешь, Бей — приходит она в спальню, где Бей с видом мученика, вытянулся на кровати. — Караваев взял рукопись моих «Кораблей». С его аттестацией любое издательство...

— Караваев, конечно, может, — зевает Бей. — Ты за него держись. Он избалован и любит, чтобы перед ним танцовали. А ты ему понравилась, смотри-ка, я даже не ожидал, что он способен на такие комплименты... Ужасно спать хочу, ты уж извини.

Бей засыпает, едва успев договорить и Джан, поборов усталость, садится за пяльцы. Ей не хочется признаться, что ради «Кораблей» она готова на все, отчаянно и заранее. Она слишком уверена, что создала большую настоящую вещь, слишком честолюбива и во что бы то ни стало хочет добиться своей цели. А средства — что ж, она пробует и самые прямые, честные пути — но если из их ничего не выходит...



Недели через две, после работы в мастерской, Джан, усталая и поникшая, возвращается домой. Вчера жгли муфель с ее вазами и ковшами — первая большая партия — и из десяти два лопнули. Хрисанфыч ворчал. Плохое настроение совсем не улучшается от того, что вслед за открывающим дверь Беем она слышит серебряный смех Эль и ржанье Кюммеля.

— А у нас, Джан, — как всегда, чересчур ласковым тоном говорит Бей, но Джан машет рукой: знаю уж, слышу...

Дверь в столовую прикрыта, но картина слишком знакома: Господи, до чего это надоело!

С плохо натянутой на лицо улыбкой она входит в столовую и останавливается. На почетном месте сидит Караваев в распахнутой шубе.

— Я жду вас целую вечность, состоящую, по крайней мере, из пяти минут, — глубоким голосом говорит он, тяжело поднимаясь с кресла. — Я приехал сюда исключительно ради вас, и мой шофер гниет у подъезда. Вы в недоумении? Понятно. Но объяснения будут потом. Сперва я должен вас похитить. Да, с риском быть вызванным на дуэль оскорбленным мужем, я явился, чтобы похитить вас. Чтобы отпраздновать исключительным образом исключительный день в вашей жизни. Ибо не каждый день издатели принимают рукописи молодых авторов. Не каждый день на литературном небосклоне восходит новая звезда. И в такой день никого больше не должно существовать — кроме меня и вас.

Джан стоит, даже не успев протянуть ему руку. Бей и Кюммель расплываются в улыбке. Эль тоже, хотя Эль немного злится на Караваева за невнимание к ней.

— Вы ошеломлены — продолжает тот тем же колокольным тоном, — мне нравится ошеломленность. Но я не собираюсь дать вам время опомниться. Через три минуты, ровно по часам, мы садимся в такси. Через три минуты вы бросите дом, детей, мужа и



будете увезены в неизвестном направлении. В таинственности — смысл восторга. Я непоколебим. Пути к отступлению отрезаны. Я кончил.

— Идем, я помогу тебе переодеться, Джан, — вскакивает Эль, и Бей тоже машет ей рукой, чтобы она поторопилась.

— С Инночкой мы справимся общими усилиями, только скажи, где ее молоко и каша — быстро говорит он, разливая коньяк.

Джан, в розовом облаке счастья, — проходит в спальню, вынимает из шкафа единственное парадное платье. Эль пудрит ее, подкрашивает и шепчет:

— Поздравляю, поздравляю Джан. Это действительно твой первый большой успех и ты заслужила его, бедняжка, поздравляю и радуюсь за тебя ото всей души. Завтра я приду к тебе и ты все мне расскажешь — да?

Никто не протестует, что она бросает гостей. Ее закутывают в пальто, как в соболью накидку, все встают с рюмками и пьют «посошок», на дорогу, и через две минуты Джан плывет на мягких подушках автомобиля в уличную сеть мелькающих домов.

— Вы довольны, виконтесса?

— Я счастлива, как Золушка, отправляющаяся на свой первый бал.

— Похищение из сераля — на новый лад. Считаю свою вариацию остроумной. Ваш ага или бей, как вы его называете, оказался сговорчивее, чем я думал.

Что-то серенькое и колющее касается Джан, но мысль не вполне доходит до сознания, и она сама не дает ей проникнуть глубже тоже.

— Но даже похищенную жертву нельзя так долго мучить неизвестностью, ваша светлость. Расскажите, Вы и представить себе не можете, как много значит для меня ваш отзыв. А кто издатель? Он действительно принял — так скоро?

— Издатель — Гулбис, и я выучил его читать в рекордный срок. На аванс за мою книгу, которая пойдет у него, мы создадим великолепие и этого и многих других вечеров. И вашу пьесу он тоже согласился напечатать. Он молод, но сукинсыноват, а его надо учить, что делать.

— И... когда же мне придти к нему? — робко уже пытается перебить Джан.

— Не предвосхищайте событий, виконтесса. Нетерпение молодого автора понятно, но неуместно. Командовать парадом буду я. Сейчас меня больше всего увлекает роль похитителя. Скажите сами, что это великолепное приключение, и взгляните на меня благосклонно вашими бездонными глазами. Откуда вы, при вашем южном типе взяли такую пронзительную светлость глаз? Видите, идет человек по улице? Он бездарен. Шофер! Раздавить в честь слишком светлых глаз!

Шоферу сказано, очевидно, куда ехать, он сворачивает еще раз и останавливается. Джан ни разу не была еще в хорошем ресторане, но знает их с виду. Этот — совсем не в центре города. Но, может быть, для настоящего еще слишком рано..?

Войдя, она поражается еще больше. Да это третьеразрядный какой то трактир. Дешевый табачный дым, пиво, песни желтыми голосами...

— Не смущайтесь, виконтесса, — покровительственно бросает Караваев. — Вижу по вашему лицу, что сказочный дворец вы представляли себе иначе. Но злчные заведения для золотой молодежи слишком скучны для меня, и стоит только показаться в них, как появляются со всех сторон знакомые. Нет, сегодняшний вечер принадлежит нам, а здесь есть помещения и для чистой публики.

Он ведет ее вбок, за портьеру, наверх по довольно узкой лестнице, вынимает ключ из кармана и открывает дверь, мягко проталкивая вперед Джан.

У Джан стучат зубы, ей сразу становится холодно. Кабацкий номер! Постель, несвежая скатерть на столе, мерзкий затхлый запах...

Караваев звонит, заказывает лакею коньяк и закуску, сбрасывает шубу, садится в кресло и протягивает Джан портсигар.

— Курите, виконтесса? Не ожидал, что моего общества окажется для вас недостаточно.

Что делать? Уйти, возмутиться?

Лакей входит с подносом и бутылками, взмахивает салфеткой, и с какой то игривой угодливостью осведомляется:

— Больше ничего не прикажете?

— Больше ничего — отрывисто буркает Караваев, встает, запирает за ним дверь, опускает ключ в карман и притягивает к себе Джан.

— Теперь нам никто не может помешать больше, светлоглазая монашенка... Ловко устроено, а? Ну садись сюда поближе, и давай выпьем.

«Может быть... корабли... будут...» наивно и жалко пытается еще уверить себя Джан, мысль цепляется за осколки чего то разбитого и ненужного, и потухает. Раздвоение и стеклянная неподвижность, впервые испытанные на премьере, охватывают снова, и не Джан, а кто-то другой, довольно умело, кстати сказать, разыгрывает роль ослепленной Золушки, не замечающей ничего, кроме своего принца. Сама Джан видит и замечает все: напыщенное самомнение, падкость на лесть, бесцеремонность, жирную дряблую грудь — все.

\*\*\*

Часа в два ночи Джан высаживается у своего подъезда на другом уже такси, таком же безразличном, как и его пассажиры, прощается вскользь, не замечая руки, и старательно пересчитывает

ваает ступени лестницы, замедляя шаги. «За ступенькою ступенька — будет лесенка...» напевает она про себя привязавшийся почему то мотив детской песенки. «Слово к слову ставь складненько — выйдет песенка»... Да, ступеньки складываются в лестницы — не ведущие никуда.

Бей спал уже, так и не убрав со стола. Напились, наверно, вдребезги. «Идеальный брак!» Джан тоже ложится, проваливается в сон, хотя думала, что никогда больше не сможет заснуть.

— Ну, как веселилась, Джан? — спрашивает утром Бей, наскоро глотая чай и торопясь в редакцию. — Где же вы были?

— О, ездили из ресторана в ресторан, калейдоскоп какой то, — шофер замучился совсем, — легко отвечает Джан заранее приготовленную фразу. Лучше не называть определенно, — а вдруг Караваев сам ляпнет другое, или какой нибудь знакомый расскажет потом Бей, что сидел весь вечер именно там и не видел их? О, Джан подумала обо всем. За ступенькою ступенька — следующей лжи.

— Да, когда на него нападает такое настроение, то он делает инспекционный смотр всем кабакам. А я думал, что вы были у издателя. Кто взял пьесу? Берзинь? Сколько он дает?

— Нет, Гулбис, — равнодушно произносит Джан — и по правде сказать, Бей, мне кажется, что Гулбис и не думал брать пьесы. Очень уже все это туманно, и вероятно — блеф.

— Да что ты! Не сболтнул же он просто так, а специально приехал и заявил мне при входе: «Поздравляйте вашу жену, завидуйте и трепещите». Знаешь его манеру. Нельзя же выдумывать таких вещей...

— Почему нет? А может быть он спьяна совершенно искренне уверил себя, что стоит ему только пожелать, как дело уже в шляпе... Ты ведь, понимаешь, что это для меня значит. Только я никак не могу поверить, что это — правда, и тебе не советую обольщать себя напрасными мечтами.

Слава Богу, Бей торопится и уходит. Можно все убрать, накормить Инночку, сходить в лавки, приготовить обед и снять с пялец закрывающее работу полотенце. Ничего не изменилось, ничего. В зеркало смотрит совершенно спокойное лицо и кривится в улыбке. «И на лбу роковая печать — продается с публичного торга»... И на лбу нет никакого пятна!

— Господи!..

Стеклянная стенка разбивается вдруг, и Джан сразмаху падает на пол и корчится и ломает пальцы о ножку кровати, и хочет изрыгнуть, вытолкнуть из себя ночную грязь и мерзость. Господи, Господи!..



винск — по латышски Даугавпилс — один из самых русских городов Балтики, и хотя старается всячески доказать, что ни в чем не отстает от столицы, но несмотря на широкие окна новых домов, новенькие асфальтированные улицы и прочую цивилизацию, русская толстопятая провинция выпирает везде. То луковками пышного собора, то пухлым кренделем над булочной, то изящно перегнутым станом красавца в витрине парикмахерской, а главное — базаром с обилием грибов, клюквы и земляники, смотря по сезону, и укладом жизни.

В Двинске — коренное русское купечество, много домов с мезонином и садом, где под развесистыми грушами пьют чай из большого самовара на врытом в землю столе, и запах варенья и сирени подслащивает пыль сонных улочек. Все двинчане — большие патриоты и не променяют своей провинциальной тишины ни на какие столицы, а приезжие жалуются на нее, называя скукой. Но среди достопримечательностей есть одна, которую хвалят без исключения все: митрофановские сушки.



О, Гоголь! «В Миргороде хотя бублики пекутся из черного теста, но довольно вкусны...» Митрофановские сушки из лучшей крупчатки, сладкие, рассыпающиеся во рту, с маком, лимонным соком — все, кто приезжает в Двинск, увозят их с собой, как трофей, выписывают и по почте: весь свет обойти, а лучше не найти! Хороши были сушки — спасибо Митрофанову...

Было в Двинске много начетчиков по старой вере, знатоков старинного письма. Было много по домашним киотам древних икон, и пергаментных книг, первопечатных и рукописных. Зимой, под снежные бубенцы, Двинск напоминал картины Кустодиева, и кажется, что если бы на углу очутился вместо «картибнека» (полицейский) городской — то никто не удивился бы, а улице и подавно не пришлось бы меняться. Было — да всего не перечесть!

Театр Русской Драмы приезжал каждый месяц на гастроли, но и Нездолину нашлось почетное место. Как же, собственный театр на весь сезон, с именитым режиссером! Актеры у него правда, того... послабее Драмы, это двинчане разобрали сразу, и хотя валом не валили, но театр поддерживали. Дела шли неплохо.

Старые премьеры поглядывали свысока на «молодежь» — статистов из старших гимназических классов. Волин мог выбирать себе любые роли. За косоворотку, вышитую Шурочкой, скромный нрав и почтительный голос Волина одобряли.

Шурочка Звонарская была любимицей молодежи за бойкость, вздернутый нос, бесцеремонные словечки и простоту. Близость с Волиным обеспечила ей и благосклонность Нездолина, тем более, что Шурочка упорно работала и шлифовалась.

Звезда привлекала обдуманностью туалетов, служивших темой подробного разбора. Мужья восхищались точеным профилем, но больше про себя. Поклонников на расстоянии у нее было много, но расстояние не сокращалось. В маленьком городе сплетни — ужасная вещь.

Кюммель играл все, важничал и капризничал, тосковал по Эль, декламировал, и пил в круговую. Корнет фон Доорт блистал на сцене и в городе. К великому сожалению, мундир можно было надевать только в театре, но он завел себе высокие сапоги, фантастическую куртку под доломан, галифе, синюю бекешу с барашковой оторочкой, и папаху. — Корнет фон Доорт, — представлялся он, щелкая каблуками. Незримые шпоры звенели, огненные глаза блестели, усики разглаживались с победоносным видом: он покорял сердца дюжинами.



Звезда, приехав в Двинск с сыном, устроилась лучше всех остальных. Хозяйка дома, где она сняла мезонин, принадлежала к сливкам общества и Звезда произвела на нее большое впечатление своими манерами. Слава ходил в школу, профессор при-

езжал раза два за весь сезон, — и Звезда за последние годы смогла наконец вздохнуть. Мирное беспорочье жизни было нарушено в одно прекрасное снежное воскресенье, когда Слава, вспоминая иногда, что кроме книг, существуют и другие вещи, отправился кататься с горы на салазках. Корнет, слонявшийся с утра по городу в надежде встретить когонибудь, кто пригласит обедать, не встретил никого, кроме вывалившегося в снегу Славы, тащившего санки, ворча под нос.

— Куда спешишь, молодое, но многообещающее поколение? — спросил от нечего делать Корнет.

— Домой на пирог, — буркнул Слава.

— А с чем пирог?

— С ливером и яблоками.

— Вместе?

— Можно и вместе, если рот большой — ответил Слава, не любивший дурацких вопросов взрослых.

— А знаешь, — оживился Корнет, — это стоило бы попробовать. Как ты думаешь, мама меня не выгонит?

— Если не выгонит, то тыгонит, — довольно загадочно пробормотал Слава, но новая острота ему самому не очень понравилась, и он сердито дернул санки.

«Мы смело в бой пойдём» — свистнул Корнет и отправился в гости. При его появлении, Звезда решила сначала, что он пьян, потом, что замышляет какуюто интригу. Но Корнет расшаркивался самым любезным образом, целовал ручки, восхищался комнатой, видом из окна, хозяйкой, ее поварским искусством, и был абсолютно трезв. Сердце Звезды растаяло и она угостила его даже рябиновой настойкой. Корнет пришел в окончательный восторг и в несколько минут добил графинчик.

Слава, наевшись, улегся у себя читать. Ранние зимние сумерки затягивали туманом окна, у печки можно было греться и уютно разговаривать.

Когда театральные дела и городские сплетни были исчерпаны, перешли на личные темы. Корнет в покаянном настроении горько жаловался на свою беспутную жизнь, и на то, что, не имея никакой опоры и цели, погибает ни за понюшку табаку. Конечно, если бы нашлась сердечная, умная, чуткая женщина, которая поняла и поддержала его, но кто, кто?

Корнет жаловался совершенно искренне. В этот момент он был вполне убежден, что стоит только такой женщине обратить на него внимание, протянуть ему руку и вместо того, чтобы торчать в кабаке, он сидел бы вот в такой теплой комнате и говорил о любимых вещах: всегда.

Звезда тоже была тронута: красивый, талантливый человек погибает от одиночества и тоски по дружбе. В таких случаях легко и охотно забывается печальный опыт и, все благие намерения держаться в стороне. Слишком уж льстит роль путеводной

звезды. Что ж, он здесь действительно один в городе. Она — тоже.

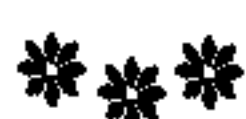
Так и началось. Корнет сидел без денег и стал постоянным гостем. Звезда невольно подтянулась. Приходя с репетиции, делала заново лицо, убирала комнату тщательнее, сшила оригинальный домашний туалет. Корнет тоже подтягивался и уверенно изображал блестящего, утомленного жизнью гусара. Это было и легко, и сильно облагораживало его, как ему казалось.

Отношения стали интимными, потому что он решил, что иначе становится неловко: обязывает мужское самолюбие. Темперamentом Корнет не отличался, несмотря на южный тип и гусарство. Его выпила бутылка.

У Звезды это было первой изменой. Павиан-муж и непрерывные аборты упрочили ее добродетель, вернее — измучили до тошноты. Несколько месяцев покоя было слишком мало для игры мыслей. Но Звезда так привыкла смотреть на физическую близость, как на нудную обязанность, что перестала придавать ей всякое значение.

Таков был роман — без любви. Без страсти и даже без увлечения. Старое знакомство с новой игрой в тщеславие, немного скуки и запоздалой нежности — у героини. Впоследствии Корнет с неудовольствием морщился, когда напоминали: связался со старой бабой, чорт знает почему.

Звезде напоминать не решались, но зато она помнила сама: прирожденная актриса, она расцветила незначительный, но единственный эпизод в ее жизни всем тем, чего у нее никогда не было: головокружительным успехом, роковой страстью, безумной любовью и трагическим концом. В конце концов красивая женщина имела право на игрушку. Кюммелю и Звонарской не стоило бы возмущаться.



Утром, на репетиции, Нездолин почувствовал себя плохо. Волин со Звонарской пробыли у него весь день, вызвали доктора и на спектакль пришли с растроеными лицами.

Пьеса шла второй раз и все старались показать, что могут справиться и сами, чтобы не огорчать старика. К концу второго действия Волин послал освободившегося статиста справиться о больном. Спектакль был доведен до конца, но занавес не пошел, только дрогнул, и Волин, закончив последние слова по пьесе, поднял руку. Публика, начавшая уже аплодировать, остановилась. На сцену вышла вся труппа, выстраиваясь полукругом. Волин шагнул к рампе.

— Господа! — начал он в недоуменной тишине зала, — нам было очень трудно довести сегодняшний спектакль до конца, но мы постарались исполнить свой актерский долг, помня заветы нашего учителя: публика не должна замечать, что творится на душе актера. Наш незабвенный учитель, гордость русской сцены,

Николай Николаевич Нездолин скончался полчаса тому назад от удара. Мы осиротели. Мир его праху и вечная память!

В труппе плакали все. Публика при первых же словах поднялась, «Вечная память» была подхвачена и на сцене и в зале с искренней печалью.

Занавес был опущен растерявшимся механиком уже после того, как рабочие убрали сцену. Так и пошел при пустой сцене и пустом зале последний занавес последнего нездолинского театра — не в Москве и Петербурге — а в Двинске. Занавес над одной из славных страниц русского театра, над человеком, любившим и работавшим для сцены всю жизнь.

Сцена хрупка и бесплотна; ее единственное наследие — воспоминание.



Гроб с телом Нездолина прибыл в Ригу в теплый, пасмурный мартовский день. Все оставшиеся здесь «нездолинцы» явились, конечно, в полном составе на вокзал, громадный венок, купленный вскладчину, несли Эль и Джан.

Уже подходя, Джан удивилась необычайному скоплению народа. Весь вокзал, часть площади и перрон были заняты публикой. Вся театральная Рига, представители театров, газет, журналов, обществ, купечества и просто театралы — явились почтить покойного.

— Кто это? — услышала Джан вопрос.

— Его последняя труппа — ответил другой голос.

Последняя труппа! В этих словах была горькая честь. Они шли во главе громадного шествия.

Тело Нездолина переносилось в Ивановский собор на форштадте. Идти было долго. Многие, пройдя несколько минут, ехали или совсем выходили из рядов. Но еще на Московской шествие останавливало трамваи, теснило встречных, и широкой волной, под пение хора в ладанной дымке и в ярких пятнах цветов, катилось дальше.

Джан шла, поддерживая обеими руками большой венок из лиловых тюльпанов.

Она сильно похудела за последнее время. «Роман» с Караваевым обошелся не дешево. Он заехал однажды к ним днем, когда Бея не было дома. Джан призвала на помощь всю свою выдержку, чтобы любезно предложить сесть, и сразу же, таким же тоном, спросить — что с рукописью. Караваев недовольно поморщился.

— Вы слишком нетерпеливы, виконтесса. Слава не дается сразу. Гулбис обещал мне, конечно, но у него масса других рукописей, и вы понимаете... Я и так уж компрометирую себя. В моем положении...

Компрометирует себя! Этот, чересчур уж наивный эгоизм даже рассмешил Джан.



— Мне свойственно не нетерпение, а просто любовь к определенности — почти весело сказала она, и как только пришел Бей, передала ему гостя, а сама ушла с Инночкой к Ладе. В следующий визит Караваева у Джан так, «разболелась голова», что она даже не вышла из спальни. Джан много раз передумывала и вспоминала каждую подробность, как будто зубами рвала в клочки каждую минуту, мучительно и стыдно. Рассказать и облегчить себя было некому. Все неприятности, в которых недостатка не было, она принимала теперь покорно, как заслуженное наказание, и старалась только набирать побольше работы, чтобы замучиться до бесчувствия. Оставаясь одна, она часто вскрикивала, внезапно вспомнив, как будто уколотившись о чтонибудь.

— Кюммель хотел продолжать спектакли и устроить коллектив, Звезда сама решила стать директрисой, и в общем вышла ерунда, — говорит Эль, идущая по другую сторону венка. — Но ты знаешь, какой замечательный жест сделала Драма? Волин только что говорил мне. Директор подошел к нему на вокзале, выразил сочувствие, и просил передать, что приглашает всех нездолинских актеров в труппу на следующий сезон. Конечно, не премьерами... Не все пойдут.

— А ты?

— Я? — Эль удивленно распахивает ресницы. — Мне идти в Драматическую статисткой? Нет, меньше чем на вторые я не пойду. И кроме того вообще... может быть... уеду...

— Уедешь? — Джан спотыкается от удивления на краю мостовой. — Куда?

— Расскажу потом... но только тебе, это большой секрет.

Эль замолкает и обе снова, медленно, теперь уже устало, идут вслед за покачивающимися перьями, венками, покрывалами. Шествие заворачивает на Горную улицу, в конце которой, на пригорке, стоит золотоголовый белый собор.

— О чем задумалась, Джан?

— Знаешь Эль, в это время почти, год тому назад, были поставлены «Корабли». Первая редакция пьесы была конечно неудачной, но все таки она была последней новой пьесой Нездолина. И вот он первый из «корабельщиков», который уходит — совсем. Интересно знать, какова будет судьба у всех остальных, принимавших участие... Пустяк, конечно, мне просто так пришло в голову.

— Слушай Джан, я давно хочу тебя спросить, почему ты не пошлешь теперь своей новой, окончательной рукописи Конраду Фейдту? Я видела его на прошлой неделе в одном фильме... Вот это действительно твой Черный! Переведи на немецкий язык и пошли ему...

Гроб вносится в собор и священник служит панихиду. Самая проникновенная и торжественная из всех православных служб захватывает все мысли Джан, и она сжимается в грешный и ничтожный маленький комочек, пытающийся вымолить и себе

прощение в синем тающем дыме. Солнечный закат, заливший внезапным розовым отблеском прояснившееся небо, расцветает под соборными сводами, дрожит бликами на подсвечниках и иконах. «О всех кораблях, ушедших в море»... вспоминает Джан, как молитву, и молится за ушедшего, за себя, и за корабли тоже.



Гунар Земель пустил в ход всю свою изворотливость, чтобы остаться в Риге подольше, но к новому году он должен был явиться в Вену — от этого зависела вся остальная карьера.

— Эллен, — говорил он — неужели ты не можешь понять, что я не в состоянии жить без тебя и делить тебя с мужем? Почему ты колеблешься, отмалчиваешься, чего ты ждешь? Я понимаю, что развод — тяжелая процедура, но впереди свобода и счастье — это должно придать тебе силы. Тяжело, конечно, наносить человеку удар, но разве такое положение лучше? Если он пригрозил тебе самоубийством, то в это, прости меня, я не верю. В пятьдесят с лишком лет не сходят с ума от несчастной любви — во всяком случае не такие уравновешенные люди, как твой муж. Сейчас я еду в Вену, а ты подашь прошение и приедешь ко мне. Туалеты сделаешь там. Один чемодан и...

Но Эль ворковала, целовала, и давала обещания только для того, чтобы взять их обратно. Перед отъездом Гунар взял с нее клятву, что она приедет в Вену — это, в страсти и боли разлуки, она обещала. Он уехал. Два-три раза в неделю приходили письма. Эль перечитывала их, носила самые безумные с собой в сумочке — и читала некоторые выдержки Джан. С «Кисой» она жила на положении явной и скрытой войны, ежедневной и ежечасной. Прощение о разводе не подавалось, но поездка в Вену была темой, взрывающейся каждый раз, как бомба, когда они оставались одни.

Цветущий вид Александра Робертовича сильно поблек, в темном бобрике волос стали появляться белые нити. Александр Робертович прекрасно изучил за двенадцать лет их брака свою Леночку, и очень быстро по множеству характерных мелочей, подмеченных пронизательностью ревнивой, тяжелой любви, — понял, что это увлечение — не шутка. Все погрешности, корящие его, возмущение — все теряло значение перед каменной непоколебимой любовью и страхом потерять единственную женщину в его жизни, — и женщину моложе его на двадцать с лишним лет!

Все остальное... Леночка никуда не годилась, как хозяйка. Она с трудом выучилась делать яичницу, не признавала никаких традиций, была до последней степени неряшлива, не бережлива, отличалась сомнительным вкусом и была способна одеваться, как

второразрядная кокетка. Ее манеры, привычки, выражения часто поражали его своей вульгарностью, и при ее образовании...! Все это было так. И тем не менее...

Сейчас это стало иначе. Леночка пропадала по вечерам, но не пила. Леночка накупила много платьев, но почти все они были приличными. Леночка стала задумчивой, раздражительной, то притягивала его вдруг к себе, то отталкивала. Когда Александр Робертович увидел ее случайно с Гунаром Земелем — то у него упало сердце. Земель — молодой, красивый, с положением и блестящим будущим. По всем признакам, без ума от Леночки — так же, как она от него. Не актеришка или случайный поклонник, которым она позабавится или снизойдет, а потом посадит на булавку в шлейф воспоминаний.

Александр Робертович не удивился, когда в лабораторию посыпались светло серые конверты из Вены. Леночка с утра выбегала на звонки, перехватывая почтальона, но если ему самому приходилось принимать почту, то он сразу же, слегка дрожащими пальцами откладывал адресованные ей письма в сторону — их содержание было не трудно угадать и не читая.

Совместная работа в лаборатории в присутствии его сестры проходила в ледяном молчании или преувеличенной вежливости, а когда они оставались одни, Эль молча раздевалась и ложилась спать, или демонстративно усаживалась с книгой.

— Чего ты хочешь? — вырвалось однажды у Александра Робертовича, и Эль, подняв невинно голубые глаза, ответила сразу, с расстановкой, очень отчетливым и ясным голосом:

— Хорошо, что ты об этом спрашиваешь, Киса. Ты наверно уже знаешь, что я люблю Гунара. Так вот, я уезжаю к нему в Вену и подаю прошение о разводе.

— Ты уже подала его? — скрипнул зубами Александр Робертович.

— Нет, сперва я хочу договориться с тобой и поставить в известность...

— Благодарю!

— И надеюсь, — неуклонно закончила Эль, — что ты не будешь устраивать мне препятствий. Причина развода — несходство характеров, разумеется.

— Вот как? Ты значит, действительно любишь его?

— Да. Мне очень тяжело и больно говорить тебе это, Киса, я знаю, что разбиваю твою жизнь. Может быть у меня раньше и были... другие увлечения. Но теперь не то. Я долго думала и проверяла себя. Но Гунар безумно любит меня, и я его тоже. Мы безусловно созданы друг для друга. Если можешь — пойми — и прости меня.

Да, Эль долго думала, приготавливая эти и подобные фразы, но все же ей неловко было произносить их, как будто затверженный и скучный урок. А ведь это только начало...

Александр Робертович овладел собой, прошелся по комнате и остановился перед ней.

— Развода я тебе не дам, — глухо сказал он. — Это мое единственное условие, но от него я не откажусь. Поезжай в Вену, если хочешь. Но развода я не дам.

— Ты забываешь, что я могу и не считаться с тобой! — зашипела, как кошка, Эль.

— Можешь, но тогда есть только два выхода. Или ты возьмешь вину на себя, или раздельное житье в течение трех лет. В первом случае — скандальное пятно на репутации жены, а следовательно, и карьере молодого дипломата, а три года — большой срок, Леночка. Ты ведь не девочка, и не станешь уверять меня, что безумная любовь оправдает и примирится со всем...

— Ты просто подлец, — процедила сквозь зубы Эль.

— Я просто люблю тебя, Леночка. Да, такой, какой ты есть. И я лучше тебя знаю жизнь.

— И ты называешь это любовью!

— Да. Я не могу выдержать сравнения с Земелем — ни в чем, кроме одного. Но этого уже достаточно. Он моложе меня, красивее, может быть, богаче. Повторяю — он — прекрасный любовник. Но не муж. Во всяком случае — не для тебя. И ты, при всех своих недостатках, совсем не глупа и поймешь это сама. Чем раньше, тем лучше. Вы совершенно не подходите друг к другу.

— Мы с тобой тоже!

— Да. Но мне пятьдесят два года, а возраст, Леночка, возраст не всегда бывает минусом. Иногда он и плюс, и притом большой. Я, в свои годы, и при своем образе жизни могу позволить себе многое, что никак невозможно для молодого дипломата, с блестящим будущим. У меня нет ни карьеры, ни будущего. У меня только ты, Леночка. Не будем подчеркивать. Ты поймешь сама, я знаю. И мне очень жаль тебя...

Александр Робертович подошел к окну и долго рассматривал улицу. Эль подумала со злостью, что может быть он даже плачет, но продолжала сидеть и рвать кружева на платочке, кусая губы.

Такие разговоры срывались, как внезапные шквалы не раз, иногда растягивались в безобразные сцены. Эль швыряла флаконы с духами и билась в истерике, большей частью театральной, а Александр Робертович терял выдержку и либо колот ее справедливыми, и тем более возмутительными, с ее точки зрения, упреками, либо, зная, что его положение совсем не так уж твердо, как он стремится это доказать, мучительно боялся, что она все таки уйдет. Вставал перед ней на колени, рыдал сухими слезами, целовал ей ноги и унижительно пытался разжалобить ее.

\*\*\*



— Не понимаю все таки, — сказала Джан, когда Эль посвятила ее во все. — Конечно, очень жаль и разводиться тяжело, но если ты так любишь Гунара...

— Ах, ты не можешь понять. Все это слишком сложно и есть много неразрешимых вопросов...

— «Она любила его, он любил ее и поэтому они разошлись» — попыталась рассеять ее шуткой Джан.

— Я страдаю, а ты шутишь. Ты совершенно не стоишь, чтобы я тебе рассказывала.

— Эль, мне искренне хочется, чтобы ты была счастливой. И Гунара твоего я видела, и скажу, что среди всех наших знакомых действительно — идеал мужчины. А как он тебя любит! Просто завидно иногда. Конечно, я не могу сравниться с тобой, но если бы меня полюбил такой человек, и так полюбил — я пошла бы за ним на край света...

— Ты дурочка, Джан. Хорошо, что Бей не слышит.

— Бей? Было увлечение, осталась привязанность. А любви настоящей не осталось по той причине, что ее никогда не было.



Всего, конечно, рассказать Эль не могла, потому что во многом неохотно признавалась и самой себе. Настоящих увлечений у нее до сих пор, в сущности не было. Но теперь она любила Гунара не только как любовника. Гунар импонировал, затрагивал сокровенные струнки, желание блистать, играть роль. Наконец, интересная жизнь — большей частью за границей, а не в надоевшей провинциальной Риге. Разве может Рига сравниться с Веной? Да, Эль любила Гунара. Но где то, в уголке мозга, здравые, рассудочные мысли вели неуклонную параллель и не давали ни мечтам, ни желаниям замутить сознание. Эти мысли заставляли ее спотыкаться на каждом шагу по дороге в Вену. Александр Робертович был прав, и именно за это Эль ненавидела его иногда. Она могла быть идеальной любовницей для Гунара, но он хотел иметь ее своей женой — а брак их стал бы неминуемой катастрофой.

Но любовь путает все расчеты и придает смелость. Эль не подала прошения о разводе. Получив сумасшедшее письмо Гунара, она устроила отчаянную сцену Кисе, взяла заграничный паспорт и уехала в Вену.

Провожать Джан не пошла: работала в мастерской. Утром Хрисанфыч огорошил новостью: их домишка, прилегавший к Пороховой башне, был назначен к сносу, хотя его рисовали все художники на картинах Старого Города. Хрисанфычу хотелось воспользоваться этим случаем и закрыть мастерскую. Стар стал, работать трудно, сын не хотел продолжать дела.

— Вот бы вам барышня и перенять мастерскую — сказал мастер Терентьич, — по старому называя Джан. — Дело не очень прибыльное, но жить можно, и для всех ваших выдумок — вольная воля.

— Шутите — отмахнулась Джан — а деньги у меня откуда? Ах Боже, мой, как опостылела эта бедность! Счастливая Эль. Теперь как раз отходит поезд...

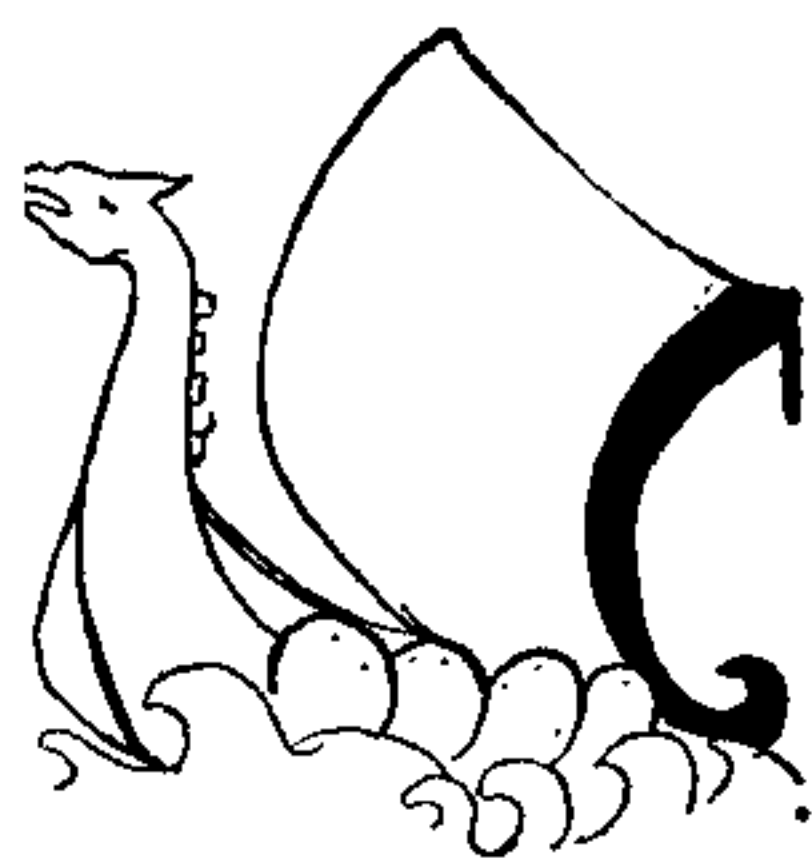
Вернувшись домой Джан застала всхлипывающего еще после проводов Кюммеля и Бея.

— Закатилось наше солнышко, даже не верится как-то — печально вздохнул Бей. — Не явится больше Эль, «как фея — у ей в портфеле полштофея!»

— Теперь можно решать психологическое уравнение со многими неизвестными, или держать пари, — предложила Джан. — Вернется или нет? Я считаю — нет.

— Эль вернется — убежденно заметил Кюммель.

Джан еще раз посмотрела на платье, подаренное ей Эль перед отъездом — то, аметистовое. Платье было прелестно. Жаль только, что некуда надеть такое. Джан любовно разгладила материю, но настроение от этого не улучшилось.



медленностью, но и с упорством черепахи, ползущей, как танк, на полусогнутых ногах, вопреки и несмотря на все заботы, угрызения и неудачи, Джан работала над «Кораблями».

Немецкий язык она знала свободно, но в литературной грамотности не была слишком уверена, и подумав немного — к кому обратиться, пошла знакомой дорогой в лабораторию.

Александр Робертович, похудевший и побледневший, молча выслушал ее и взял старательно переписанную рукопись.

— Хорошо, я исправлю, что найду нужным — сказал он. — А вы все таки работаете над этим?

— Александр Робертович, можете хоть на кусочки разрезать меня, но и тогда я буду твердо знать две вещи: во первых, «Корабли» — это самое большое, что мне удалось создать в моей жизни. Хорошо ли, плохо — вопрос другой, но в них весь смысл и оправдание моего существования. А во вторых считаю, что настоящий человек не смеет оправдывать своих неудач только тем, что его «среда заела», как это к сожалению очень принято.

Мне очень трудно, но я буду добиваться своего, головой сквозь стенку. Одно из двух — голова или стенка, но чтонибудь да пробьется.

Александр Робертович просил зайти через неделю и преподнес одеколону и мыла, как она ни отказывалась. Бедный, милый человек. Об Эль она спросить его не решалась, как о близком покойнике.

Через неделю Джан получила рукопись с незначительными поправками. Александр Робертович, скупно подбирая слова, высказал свое мнение. Пьеса очень понравилась ему.

Следующей задачей была переписка. Джан обещала за нее вышивку одной знакомой — и через две недели смогла, наконец сложить четко перепечатанные страницы в большой конверт. Оставалось только письмо и адрес. Точного адреса Джан не знала — но Конрад Фейдт жил, кажется или работал в Ней Бабельсберге под Берлином — и там уж найдут его, тем более заказным.

Письмо она написала от руки, не только старательно вышивая каждую букву, но и заговаривая каждое слово. Пусть это письмо прочтет сперва конечно, секретарь. Но оно должно произвести впечатление, побудить прочесть пьесу. Все зависит от этого. Если он прочтет, то не может не увидеть, что эта роль — его, что это — он сам.

Джан поставила перед собой карточку Фейдта и долго рассматривала до тонкостей изученное лицо, пока оно не стало живым и близким. Сухие, сжатые слова, написанные на бумаге, поднимались с нее и кричали.

В высоком, светлом зале почты у окошечка для заграничных заказных писем пожилой чиновник прикинул на весах объемистый конверт.

— Вам обойдется очень дорого, если вы посылаете письмом. Пошлите рукопись отдельно — посоветовал он.

— Нет — твердо сказала Джан. — Рукопись и письмо должны идти вместе.

— Шесть лат ровно.

Шесть лат! На эти деньги можно прожить три дня! Все равно.

Джан следила еще, как на конверт наклеивались широкие дорогие марки, потом он был отброшен в сторону, к другим... Письмо пошло.

\*\*\*

Стояло жаркое, сухое лето. На пыльном дворе пахло нагретыми кирпичами и небо над Московским форштадтом казалось совсем выцветшим и безнадежным. Где-то, у кого-то были белые дачи в зелени сосен, даже Лада уехала в деревню, и весь город перекочевал на взморье, на пляж с ленивым прибоем и белыми чайками яхт. Но это — для других, не для Джан. Джан уходила недалеко, от дома, в закоулок Казачьей улицы, на огороды. Там был между заборами кусочек луга с лопухами. Инночка могла



ползать по траве, Джан пыталась работать, разложив на коленях вышивку, или приносила с собой книгу. Джан особенно много думала в это лето. Почему приходится так мучиться? Почему именно ей не дается самого крохотного удовлетворения, самой маленькой радости? Терпеть, и надеяться, и ждать. Всегда. А где же справедливость, и как же тогда — Бог?

А если без смысла — так и без Бога, значит? И до этого додумывается она, Джан, верящая и в переселение душ, и в карму? Чего же стоит эта вера?

Ну хорошо, «Корабли». Если счастье, громадная удача, то жизнь сразу переменится и она сможет не биться, а работать дальше, создавать еще что то, помогать другим. Маленькая корректура: она считает это счастьем. Ну да, но жизнь — то ее собственная, и позвольте человеку иметь свой идеал счастливой жизни! А что она сделала, чтобы заслужить его? Работала над «Кораблями». А кроме этого? На каждом шагу противоречия. Вот, например, вегетарианство. Нужно оно? Почему же она не вегетарианка? Потому, что очень любит мясо и вообще поест. Отговорки. Значит, все на словах, а на деле — ни малейшей жертвы?

Такие разговоры Джан вела с собой теперь целыми днями. Больше ей не с кем было говорить. Ожидание ответа стало поглощающим. Необходимость жертвы, искупления грехов, напряжения воли выросли в потребность.

Вот почему Джан стала вегетарианкой и твердо сносила все насмешки Бея, Кюммеля и остальных. Готовить себе отдельно было нельзя, и Джан просто ограничила свою еду, вернее — подголаживала. Было даже как-то приятно подавлять в себе желания. Она начала худеть, скулы обтянулись, глаза посветлели совсем, как блестящая вода. Напряжение скапливалось, росло, иногда Джан казалось, что она задохнется от ожидания.



Но ответа не было.

Удушливая, горячая пыль проталкивалась сквозь занавески открытых окон. Инночка спала. Джан сидела у окна за вышивкой. Кто-то дотронулся до звонка.

Дверь выходила в закуток лестницы, в полутемноте ярким пятном взметнулся, как парус, шелковый платок на голове женщины, сразу шагнувшей в переднюю. За ней — вторая фигура, ниже ростом, тоже в ярких тряпках. Цыганки.

— Дай, красавица, погадаю, всю правду скажу.

Из складок длинной сборчатой юбки выдернулась колода замусоленных коричневых карт.

— Нет, — покачала головой Джан. — Деньги возьми, а гадать не надо. Не хочу знать.

— Тряпочку какую дай... тянула та.

Тряпочки Джан сама собирала, но дать надо. Молодая и на редкость красивая цыганка. Она только улыбалась и блестела, будто прищелкивала глазами. Тянула другая, постарше.

— Вот что, — сказала внезапно Джан, собираясь уже выпроваживать их, но вдруг осенившись мыслью — скажите: есть у вас таборе старая, знающая цыганка, которая по настоящему умеет сделать чтонибудь?

Заговорили между собой. Молодая бросила что-то, как клетот.

— Ты дай нам еще немножко, а мы завтра приведем. Есть одна.

Джан дала им монету. Интересно, кого приведут. Есть ли у них настоящая колдунья? Джан немного стыдно, что она хочет прибегнуть к колдовству, но ведь совсем немножко и не для зла...

Колдунья пришла на другой день, с молодой цыганкой. Пожилая, с темным лицом и твердыми глазами. Она не шныряла глазами по комнате, не заныла сразу о подачке, а уселась на стул, как гостя, и словно нехотя спросила:

— Зачем звала?

Джан была немного разочарована. Скрюченный урод был бы интереснее. Слегка волнуясь, она положила на стол приготовленные три лата — прощай, чулки, которые так надо было купить! — и карточку Конрада Фейдта.

— Вот видишь, это фотография с живого человека. Он живет не в нашем городе, а далеко, в ту сторону, где садится солнце. Я послала ему письмо. Но он получает много писем, а мое очень большое, и я боюсь, что он не прочтет его. Мне нужно, чтобы он прочел! Можешь это сделать?

— Очень хочешь? Очень надо? Как дышишь, так хочешь?

— Так хочу — заклинанием повторила Джан.

Колдунья подумала.

— Могу сделать. Только ты сама должна помогать. Возьми, что тебе дорого, что ты любишь, и принеси мне.

Джан бездумно поддавалась уговору. Если и шарлатанка, то Бог с ней; но колдует она правильно: отдай самое дорогое... не ей, а жертва богам. Но что? Перебрала мысленно вещи. Нет у нее ни одной хорошей, дорогой, радостной, чтобы отказ стал жертвой. И вдруг вспомнила: платье. Аметистовое платье Эль, которому так обрадовалась. Как ей хотелось надеть его!

Джан не колеблясь прошла в спальню и вынула из шкафа платье. Шелк мягко переливался, лаская руки. Бережно, как цветок, внесла его в столовую. Колдунья неподвижно сидела на месте. На платье не взглянула даже, только на Джан.

— Самое дорогое? И тебе не жаль?

— Нет, — выпрямилась Джан.

— Тогда смотри. Я отвернусь, а ты брось его на пол и топчи ногами. Не жалеи! Я буду говорить, а ты думай. То думай, что хочешь!

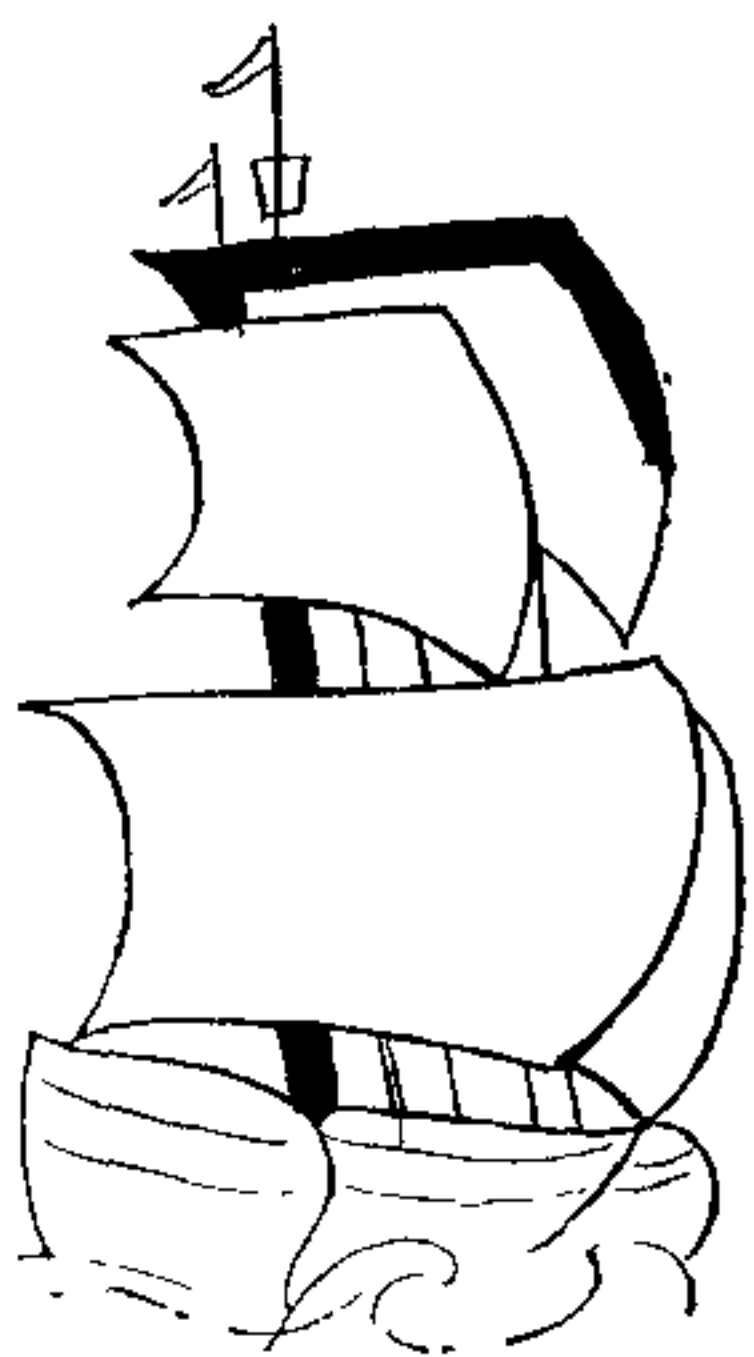
Она взяла обеими руками карточку и повернулась лицом к стене, скандируя медленные и непонятные слова. Джан опустила руки — платье само соскользнуло на пол, и Джан твердо протоптала каблуками по шелковым аметистам. Пусть, пусть, пусть.

Когда колдунья кончила и повернулась снова, на лбу ее выступил пот. Молодая цыганка с сожалением и легким любопытством смотрела на Джан. Колдунья бросила ей что-то, та наклонилась, подняла платье, взяла со стола деньги, и, с достоинством поклонившись, обе затопали босыми пятками к двери.

Джан постояла, разбитая порывом, не зная, за что приняться теперь. Кажется, наделала достаточно глупостей. Платье стоит не меньше сорока латов. Но жалеть нельзя. Если делаешь добро, не нужно ждать, чтобы именно тот же человек отплатил за него. Это просто свеча, зажигаемая Богу. Если цыганка не была колдуньей, не смогла передать мысли на расстояние — может быть, передался скрип этого шелка, растоптанного мечтой. Маленькое тщеславие принесено в жертву, брошено под ноги, сожжено во имя ослепительного бога солнца, сияющего бога Ра. «Ра» есть в его имени тоже...

И Джан ждет. Давно высчитаны и прошли все сроки. Солнце поднимается и заходит, день за днем. Лето кончилось, наступает осень. Осень, Старый Город, осень!

Но ответа нет.



Газета, принесенная Джан к обеду, брошена на стол не развернутой. Джан кормит Бея и Инночку котлетами. Ей приходится есть одни макароны.

— Ты совсем извелась со своим идиотством — ворчит Бей. — Посмотри, на кого похожа. И кто тебе вбил эти глупости в голову? Я понимаю еще настоящий, хороший вегетарианский стол, много жирного и сладкого, и гденибудь на юге. Вот увидишь, зимою не вылезешь из простуды.

Макароны невкусны. Джан давится ими некоторое время, потом со вздохом отодвигает тарелку, и в ожидании, пока вскипит чай, берется за газету.

Широкой лентой через всю страницу:

«Конрад Фейдт в Риге».

«Неожиданный приезд величайшего трагика современности» . . .

Стол быстро срывается со своего места и бешено крутится, в присядку, вместе со стенами, потолком, изумленными глазами Бея.

— Джан, что с тобой? Тебе дурно?



Бей несется за водой на кухню, поддерживает Джан одной рукой, другой подносит стакан. Зубы мелко пляшут по стеклу, в горле корчится судорогой воздух.

— Ну вот, маленькая, ну как так можно... ты еще до смерти доведешь себя этой голодовкой. Джан, пойдй ляг, отдохни, а я сейчас сделаю тебе... яичницу, хорошо?

Джан кивает покорно головой, не разжимая зубов, не выпуская из рук газеты. Дает отвести себя в спальню, положить на кровать. Бей исчезает на кухне, и теперь надо взять себя в руки, чтобы различить буквы.

«Вчера вечером, через час после прихода берлинского поезда по Риге распространилось ошеломляющее известие. Звонки в «Петербургскую гостиницу», где остановился знаменитый артист, не прекращались до поздней ночи... Режиссер латышского Художественного театра прервал свой отпуск и вернулся со взморья в город. Наш сотрудник...»  
Дальше. Вот.

«Прежде всего бросается в глаза его усталая, безразличная небрежность. Это приветливость сфинкса, элегантной, каменной статуи»...

На газетном языке это называется «литературой». Дальше: «Маэстро, — говорю я — сегодня в нашем городе нет ни одного человека, который не задавал бы себе вопрос: чему мы обязаны вашим посещением? Директорам театров ничего не известно о ваших гастролях, сезон на взморье кончается...»  
«Я знаю, почему он приехал», шепчет побелевшими губами Джан.

— «Ваше любопытство понятно — говорит Конрад Фейдт, слегка улыбаясь. — Для чего я приехал? Маленькое личное дело. Собираюсь навестить здесь одного человека... Больше я ничего не могу сказать...»

Все остальное ненужно. Главное: он приехал. К ней. Прочел пьесу, заинтересовался автором. Автора всегда приглашают...

В висках стучит мелко-мелко, и что-то остро режет в груди. Разумные рассуждения — это одно, а вот понять огромное счастье, подошедшее совсем вплотную... Он знает ее адрес и появится здесь.

Она увидит: глубоко запавшие, печальные глаза. И улыбку. Конрад Фейдт знаменитость. Но она, маленькая Джан, создала ему роль, в которой он может, как ни в какой другой, сыграть самого себя, и как сыграть!

И, Боже мой, что это значит: контракт, сказочная сумма... завтра ее имя появится во всех газетах. «Молодой рижский драматург становится знаменитостью»... Надежда фон Грот, автор «Кораблей»... Кончилась бедность. Она купит белый дом. Тетя Лиза переедет туда и дети, сразу одеть их, Катышку и Надю, бедных ребят... Вероника может бросить школу, наработалась,

бедняжка... Потом в Берлин, работать над сценарием. Прежде всего купить дорожный костюм, и серьги, старинные серьги, как были у мамы. Потом, когда фильма пойдет в Риге, она будет на премьере и пригласит на нее всех, кто был тогда у Нездолина. И какой же будет Старый Город, настоящие корабли, уходящие в море... Ей закажут еще пьесы, сценарии. Вышивать она будет теперь только для себя... А устраивать белый дом? И Инночка вырастет не на пыльном форштадте, а в большом саду, в голубой детской... Сказать сейчас Бею? Нет, лучше сразу огорошить его, ослепить. Вот тебе деньги, закажи, купи, все о чем мечтаешь, и на ужин в дорогом ресторане. Но без Караваева. Теперь он будет писать о «Кораблях», когда знакомство с ней и рецензия о пьесе не смогут больше «скомпрометировать» блистательного критика!

И еще. Это не наверное. Но ласковая — да, для нее — ласковая улыбка. Только увидеть и стать на колени, и без слов даже, одной душой сказать: Ра, сияющий бог! Ра, жрецом которого ты был когда-то — в той прошлой жизни, в которой мы были связаны с тобой. Помнишь? Через века — вспомнишь? Видишь, я не забыла. Я нашла тебя. Создала тебе — тебя самого, потому что мы — одно.

Он должен понять, что «Корабли» не только пьеса. Он увидит... И он будет здесь сегодня... сейчас... Боже мой! Звонок может быть каждую минуту, а что делается в квартире! — Посуда даже со стола не убрана!

Джан вскакивает. Дрожат еще руки, но она уверяет Бею, что непременно съест яичницу. Не мог бы только он поехать с Инночкой к тете Лизе. Пусть Катышка повозится с ней сегодня — у нее так болит голова...

Бей соглашается. Джан лихорадочно одевает ребенка и вы провоаживает их. Каждую минуту может быть звонок. Посуду вон, на кухню, лучшую скатерть на стол... Цветов так мало... убрать надо все, навести блеск. А как вымыть пол? Вдруг он появится, а она с ведром и тряпкой? И стекла какие то мутные...

Джан любит надевать розовые очки по убеждению. Но сейчас она не может идеализировать. Он, привыкший к роскошным особнякам, проедет на автомобиле по неровным булыжникам, на лестнице темно и грязно, пахнет нищетой. А квартира? В передней повернуться негде, в столовой твердый, жесткий диван не лучше от нарядных подушек, обои тоже запылились, стулья разные. Желтые марлевые занавески убоги, плетеные кресла, купленные на толкучке, в хороший сад поставить нельзя... и все эти самодельные картины, абажуры — жалко, убого... Отчаянное усилие нищеты скрасить жизнь.

А как она одета? Надо причесаться, подкраситься, надеть другое платье... не аметистовое... но помогла колдунья!

Очень трудно не плакать. Слезы взволнованной радости и сумасшедшего, отчаянного ожидания душат горло.

— Господи, — говорит Джан, молитвенно складывая руки перед иконой в углу, — Господи, Ты видишь и знаешь. Прости мне мои прегрешения, помилуй, Господи. Но если Ты завтра позовешь меня к Себе и спросишь: «Что ты сделала в своей жизни?» Я отвечу: «Я послала корабли и больше всего любила человека, который и не знал об этом. Помилуй Господи, прости и помилуй!»

Но в молитву врывается страх: а что, если он не найдет ее? На рукописи было написано: «Н. Грот». Девичья фамилия. Если он спросит на улице у когонибудь...?

Джан выбегает из дома. Долго и горячо объясняет играющим на мостовой мальчишкам и лавочнику на углу, что если приедет на автомобиле высокий господин и будет спрашивать, где живет Грот, то чтобы показали ее квартиру, вот тут, она заплатит за это... Но на улице редко проезжают такси, грузовики разве только...



Солнце садится за крыши домов, и все больше и суше мечется Джан. Когда же? Почему так долго? Должно быть столько набилось народу, что не смог вырваться, быть знаменитостью тоже не легко... устроили прием, от которого нельзя было отказаться...

Эта мысль приходит уже вечером, когда уже слишком поздно приезжать в незнакомый дом, хотя бы и к неизвестному автору.

Джан укладывает вернувшуюся Инночку, делает для Бея вид, что хочет почитать в кровати, и развернув книгу смотрит прямо перед собой, смахивая с ресниц редкие, тяжелые слезы. Джан разворачивает перед собой серый, нудный, и такой уже длинный свиток жизни сиротки Джан Грот, кое-как кончающей гимназию, выходящей замуж... Вот она дает уроки, работает в мастерской... и пишет «Корабли»... Видишь, как они создавались, сияющий бог? Видишь, как мало было солнца? Сколько пройдено, передумано, выстрадано, — и ничего не вымолено, ничего.

Под утро она все таки засыпает, крепко и тяжело, и поднимается почти с рассветом. Он приедет после завтрака, наверно. Бей уходит, как обычно — если бы он знал... Хорошо, что не сказала вчера... И снова, как одержимая, но теперь уже, несмотря на всю уверенность, в параллельном страхе, мечется Джан. Смотрит в окно на двор, подбегает к двери. Хочется распахнуть ее, выбежать на улицу, крикнуть на весь город: я здесь, я здесь!

Если он не приедет до обеда — она пойдет сама. Все равно, так или иначе, силой, хитростью, со скандалом — она должна его увидеть. К обеду приходит Катьшка. Вот и хорошо, пусть останется с Инночкой. Джан переодевается.

— Если к нам придет незнакомый господин и спросит Грот — то хоть на колени вставай, — слышишь, Катышка? — но не выпускай его, пока я не вернусь... Да, скоро... через час!

Джан не идет, а бежит, срезая углы. Господи, Господи, только бы застать! Ей холодно, хотя осеннее солнце согрело улицы, в парках яркие клумбы вырядились по праздничному, умиротворенным прощанием шуршат осенние листья — осень, Старый Город, осень!

Петербургская гостиница — старомодный особняк с колонным подъездом в самой тихой и чинной части Старой Риги. В ней всегда останавливаются высокопоставленные гости. Перед подъездом развернулся полукругом Яковлевский сквер, над отступившими крышами домов тяжелая башня Яковлевской кирки грифельным шпиком застыла в высоком золотистом небе.

В прохладных коврах вестибюля лоснится красное дерево. По лестнице спускается директор, — полный, с актерским лицом. Телефон звонит, прежде чем Джан успевает сказать чтонибудь, и он снимает трубку.

— Алло, Петербургская... Да, Конрад Фейдт только что уехал... минут пять тому назад, на вокзал. К берлинскому поезду в пять тридцать. Да помилуйте, я сам заказывал для него купэ... нет, ничего неизвестно...

— Чем могу служить? — обращается он к Джан, вешая трубку, но телефон трещит опять, и он досадливо берет ее снова. Не дай Бог иметь дело с королями экрана, с простыми королями куда меньше хлопот!

Но Джан уже повернулась и вышла. Она идет машинально, чуть наклонившись, как будто падает, и если остановится, то упадет наверно. Скорее, скорее, напрямик через Старый Город, на вокзал. Зачем? Пять тридцать, пять минут тому назад... Который теперь час? Все равно. Дальше, дальше.

Мыслей нет, Джан идет быстро, но ей кажется, что она не идет, а всасывается в пустоту улиц, скверов, парка, пустых, совершенно пустых улиц, вытягивающихся в длинную серую дорогу... Несколько прохожих качают в недоумении головой, смотря ей вслед. Извозчики ругаются и размахивают кнутами с козел, полицейский дает свисток. Джан проходит под мордой у лошадей, тормозит автомобили, через улицы, против всяких правил движения, через звенящие трамваи — в пустоту.

Сердце оборвалось и упало, мысль остановилась, это смерть, простая, ясная и равнодушная ко всему.

— Куда ты идешь, Джан? Хорошо, что я тебя встретил — останавливает ее Бей. — Только что заскочил на минуту домой, и представь себе, почтальон принес письмо, заказное, обратно, без тебя не хотел отдавать, пришлось объясниться с ним. Ты мне ничего не говорила, что отправила письмо Конраду Фейдту — и по такому неполному адресу — конечно, его вернули.



А ведь знаешь, он сам был здесь. Вот бы пошла к нему, но теперь поздно, он уехал сегодня. Ну, пока, иди домой, я вернусь поздно... Караваев написал о нем громадную статью и пропивает аванс.

Дальше. Вот как. Да, так. Письмо вернулось обратно. Недошедшим, непрочитанным. Все равно... Дальше.

На вокзале чужая, снующая толпа. Рельсы. Гладкие, ровные. Вытягиваются в стройную параллель, как мысли, уходят в даль. Уходят вместе с поездом, уносят колеса, дрожь от них звенит и передается сюда, к самым ногам. Последние вагоны завиваются, как перо, красная точка заднего фонаря поблескивает на солнце. Тот или этот поезд? Все равно. Дальше по рельсам.

Ноги путаются в железных болтах стрелок, в коричневых шпалах, в мелких острых камнях. Но идти нужно, нужно, чтобы не упасть. Рельсы уходят в сторону, ложатся на мост. Задвинье. Предместье. Рельсы бегут рядом, ведут. Скот насыпи порос побуревшей, порыжевшей уже травой, одинокими кустиками и осыпавшимися метелочками. Внизу, на совсем уже тихих улочках, в осенних садах желтеют листья. За низкими заборами горят георгины и далии, брызги рябины, мягко светят стыдливые солнца подсолнечников, с какой то веранды доносится смех и звон посуды.

«Вот оно, глупое счастье с белыми окнами в сад»...

Белый дом — у других.

Вдали лес и воздух прозрачен и четок. Наигрываемый в чьем то доме романс отдается далеко и провожает горячей тоской. Аккорды стучатся в сознание, пробивают стенку, обжигают простой и забытой мыслью:

Дороги дальше нет, Джан.

Джан останавливается внезапным рывком и силится понять, уяснить эту мысль. Как же так — ничего больше нет у человека?

Она садится, сползает с рельс немного ниже, под откос, и долго лежит, обняв поникший, никому ненужный куст одинокой травы.

Солнце садится, зажигая полнеба, песок под рельсами звенит почему-то. Как тогда... как раньше: мелкий, поющий звон пустыни, ветра, белых колонн храма солнца — Ра. Ра, сияющий бог.

Мысли вздрагивают с железной равномерностью, как колеса на стыках рельс. Та-та, та-та... Где же самоанализ, или хотя бы простой здравый смысл, Джан? Что случилось? На письме был неполный адрес, оно вернулось обратно, вполне естественно. Адресату неожиданно взбрело в голову приехать на два дня в незнакомый ему город — случайность. И кто знает, для чего он приезжал, могли быть какие угодно причины. Если это — драма, то что же, в таком случае, называется истерикой?

Но здравого смысла не хватает больше. Ах, Боже мой, если бы все можно было уладить и объяснить в жизни, все исправить простым здравым смыслом!

Жизнь ломает без сцен. Потрясающие трагедии на глазах у всех происходят редко. Просто какие то люди остаются одни, совсем одни, и уходят совсем. Положить голову на рельсы под следующий паровоз очень заманчиво, просто и совсем не страшно. Но Джан недолго играет с этой мыслью, как с красивой вещицей. Никто не виноват, что она не справилась с жизнью. Инночка тоже есть. Может быть, она сама виновата. Жила фантазией, довела до экзальтированности, и вот теперь — срыв вниз. Потому, что больше она не сможет подняться — больше нет.

Маленькая одинокая фигурка лежит не на рельсах, а около них, и это действительно незаметная смерть казненной души. Что-то оборвалось и ушло. В такие минуты люди стареют, калечат души — и очень жаль часто, что они — не умирают сразу.

Звенит песок, солнце, сухая трава, рельсы. Надо что-то вспомнить... Что?

И вдруг — как тогда, давно, на Бастионной горке... прорыв. Сухая жесткость от песка во рту и вот именно этот привкус, горький, как сухие слезы, чувствует Джан, и видит внезапно себя — как в раздернутом занавесе, на сцене...

Солнце, ослепительное солнце в окне — какие большие стекла! Джан стоит у окна, спиной к кому-то, высокому, сидящему у стола.

— Последние корабли, — говорит он, и Джан — другая, усталая Джан кивает головой, и тяжелые старинные серьги кивают тоже, наклоняясь, ныряя в пушистый, дорогой мех на плече.

— Да, последние корабли — повторяет Джан — та и эта, лежащая на откосе. Одни и те же слова, одна и та же безнадежность и сознание ненужности, нереальности всего — не счастья ли, пришедшего слишком поздно?

Это длится дробную часть мгновения, шевельнувшаяся ресница не успела еще дрогнуть до конца, а все уже произошло и увиделось.

— Вот так, — однотонно произносит Джан, и поднимается, стряхивая соринки с юбки. Она очень спокойна, но не стеклянным, пронзительным спокойствием, а настоящей, безразличной усталостью. Надолго. Джан стоит на склоне насыпи и смотрит прямо в закат, в холодеющее уже солнце.

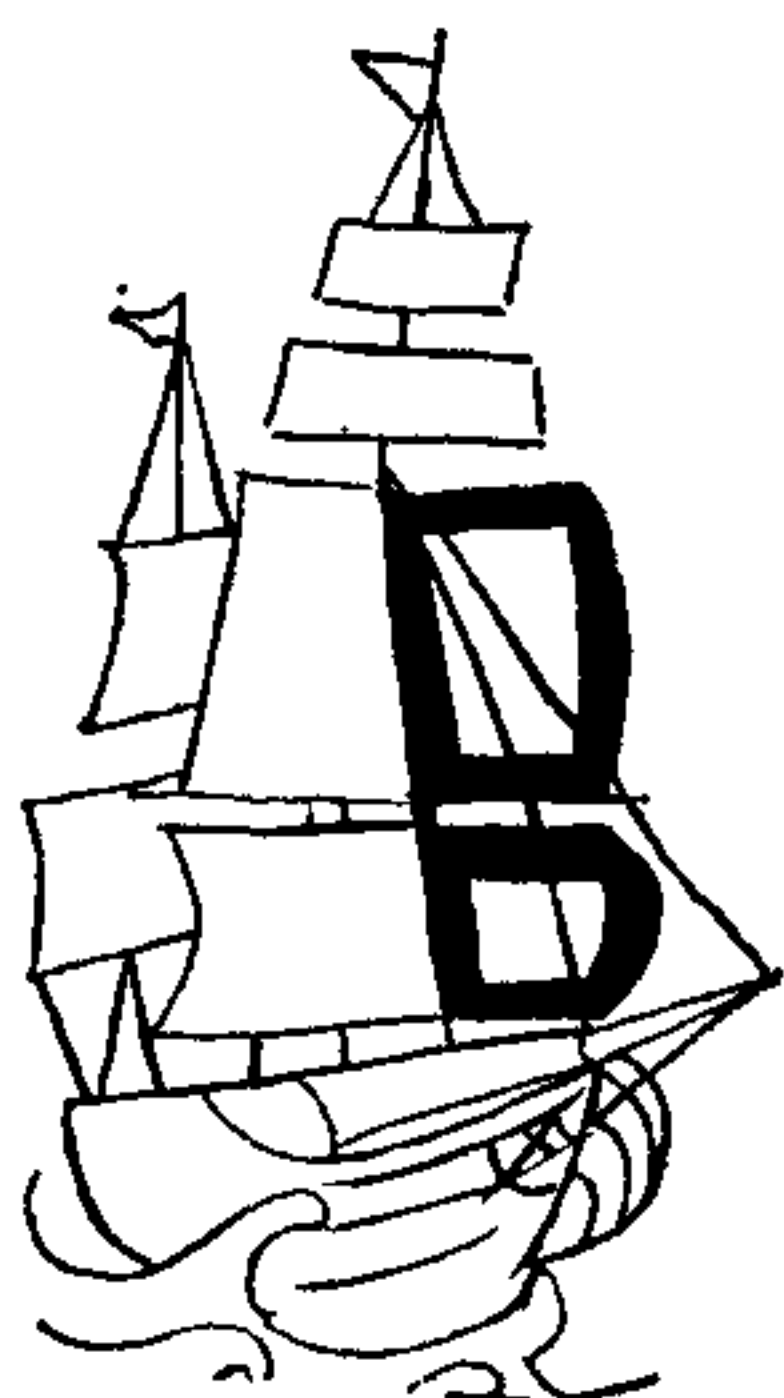
— Ра, сияющий бог! — медленно говорит она и улыбается новой, как и новая морщинка над бровью, — понимающей улыбкой. — Прощай, Ра!

Было, значит, что сжечь, — если горело так!

Она отходит с насыпи и поворачивает назад, в город, домой. В прежнюю или другую жизнь? Но жизнь неизменна, как вода. Если смотреть на нее другими глазами, она кажется другой. Но это только кажется так...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

*Последние корабли*



это воскресенье увидеть Ивана Хрисанфыча, да еще у себя дома, Джан менее всего могла ожидать. Пришел он, очевидно, после обедни, тщательно «снарядившись», как говорили на форштадте. Джан сразу даже не узнала его, когда открыла дверь, и не удивилась только потому, что теперь ей и люди, и все происходящее казались пыльными, серыми комками не то ваты, не то еще чего то, такого же усталого и безразличного. Но она сделала очень любезное лицо, усадила его, и выжидательно закурила папиросу.

Мастерская закрылась две недели тому назад. Хрисанфыч вел обстоятельный разговор о погоде, об Инночке, и медленно оглядывал комнату маленькими глазами из под серых бровей, неодобрительно поджимая губы. Главное в доме — это шкаф и комод, и то, что в них. Тут же и шкафа порядочного нет. Окончив осмотр, он слегка вздохнул, и приступил к сути дела.

— Что же вы, Надежда Николаевна, думаете теперь предпринять? Насчет работы, то есть, как располагаете?



— Пока еще никак. Вот кончу вышивать эту скатерть, тогда опять начну бегать. Работать надо. Заработка мужа никак не хватает.

— Так-с. Чтобы времени зря не терять, задам вам такой вопрос: насчет своей мастерской вы всерьез не думали? Чтобы у меня перенять?

— Думать мало, когда денег нет.

— Залежными не располагаете, значит. Что ж, бедность не порок, если человек старательный. А вы заботитесь, сложа руки не сидите. Я в своей жизни примечал так, что пока на хозяина работаешь, то бьешься, а как до собственной мастерской, до своего дела дошел, так смотришь и добьешься того-сего. Начало трудно взять.

Джан безнадежно махнула рукой.

— А вы постоите, не машите. Для того, я к вам и пришел. Я так подумал: если у вас охота к делу есть, то на наем помещения какнибудь наскребете, постарайтесь уж, а все остальное я вам предоставляю в кредит и рассрочку. Ну понятно, контракт и условие. Предприятие ваше, а весь инвентарь мой. Вы человек аккуратный, и в моем интересе денежки с вас получать, а не петлю вам на шею надевать, так что вроде как бы наши интересы сходятся.

Хрисанфыч вынул воскресный платок с клетчатыми уголышками, и вытер лоб. Все это он обдумал, конечно, обстоятельно и заранее. Надежда Николаевна, хоть и барышня, но работает толково, и дело у нее в руках лежит, это главное. Если по старой памяти он присматривать будет, заходить, то при ее старании она не прогорит, а если даже и так — то инвентарь то пока его, по контракту, и в свои козыри он всегда сыграет.



«Торговый дом Джан и Ко!» громогласно заявил Бей, кончив карикатуру. Из окон шестиэтажного дома высывались чайники, тарелки, вазы, мчавшиеся на конвейерной ленте, перед которой вся семья Грушевых с Инночкой во главе сидела с кисточками. Главный вход штурмовала толпа покупателей.

Бей очень постарался над рисунком, и Джан, посмеявшись и покачав головой, вставила его под стекло и повесила на стенку в мастерской — в собственной мастерской, да. Дело было начато, и действительность казалась еще карикатурнее.

Если человек бросается в предприимчивость без денег, то их могут иногда заменить здравые рассуждения, энтузиазм или отчаяние. У Джан было все.

Хрисанфыч поставил в счет даже сломанные табуретки, но оборудовал на новом месте два муфеля, купил дров, и подписал вексель на заводе на первую партию стекла. Через четыре дня бешеной гонки по городу было найдено помещение: на Мель-

ничной около Антониевской. Дядя Кир, подумав немного, взял на службе аванс, и дал Джан на первую арендную плату. Владелец магазинов она знала наперечет, и все охотно согласилась иметь дело с ней. Терентьич пришел сам. Он всегда был очень расположен к «барышне». Если она на первых порах задержит расчет, ничего, он подождет, у него жена на шоколадной фабрике служит. В удачу Джан он верил твердо.

На семейном совете тетя Лиза удивила всех полным одобрением. «Собственная мастерская» сразу поднимает престиж, а репутация — это все. Вероника, в виду полной бездарности в живописи и исключительного умения бить посуду, от работы в мастерской отстранялась, но зато обещала приходить по вечерам и вести бухгалтерию. Говоря о бухгалтерии, Вероника улыбнулась, нежно и ласково.

Катышка смущенно хлопала ресницами. Катышка стала совсем девушкой с синими кукольными глазами и тугим переплетом русых кос. В этом году она кончала гимназию, зато по воскресеньям она будет учиться работать, а потом начнет по настоящему.

Надя, присутствовавшая на семейном совете только потому, что пили чай с булочками, вертелась на стуле, сновала головой, как птица, и с недетской дерзостью посматривала вокруг. Наде исполнялось скоро пятнадцать лет, но она уселась в последнем классе основной школы на второй год, и училась еще хуже.

— Работать я не буду, Джан, но если ты будешь кормить обедом, могу приходить и развозить твою посуду. Купи только хорошие туфли и санки, а летом трехколесный велосипед с ящиком, да? Денег мне от тебя не нужно, но на кино давай.

Бей самым сердечным тоном обещал, разумеется, помогать во всякой работе. В конце концов он рисует гораздо лучше Джан. Лада предложила оставлять у нее на целый день Инночку, пусть играет вместо детского сада, с ее Андрейкой. Кюммель, сочувственно похмыкивая носом, вызвался топить муфель. Он устроился на крохотные выходные роли в Дrame и страдал вдвойне: переход от премьерства на «выхода» бил по самолюбию, жалованье было еще меньше ролей, и Эль еще не вернулась из Вены. Даже Щеглик, работавший теперь в Дrame, хоть статистом, но второй сезон и сравнившийся почти с Кюммелем — времена меняются! — снисходительным баском обещал заходить «на фабрику» и присмотреть за всем, что понадобится.

Итак, работники нашлись. Первый заказ был получен еще во время переезда. Джан пригласила священника отслужить молебен, и солнечный еще, октябрьский день расцвел надеждами, приподнятым настроением и даже букетом хризантем, преподнесенным с пирогом на новоселье приплывшей на молебен Екатериной Андреевной.

Потом Джан угощала, развивала планы, очень трезво мешала фантазию с делом, и только иногда, с коротким вздохом утопа-

ющего, взглядывала на стенной календарь. В календаре красным карандашом были проставлены сроки платежей — с ахающими восклицательными знаками. Но будни могли помолчать, когда празднуется открытие собственного предприятия. Будней и без того достаточно.



Следующие несколько лет определялись для Джан одним словом: мастерская. Расписание времени выходило само собой. В шесть звонил ненавистный будильник. Вскочить, убрать, приготовить завтрак. Десять минут ходьбы до Лады. Одну руку держит за палец Инночка, в другой — сумка с кастрюльками обеда.

Мастерская делится на две части: первая комната с окном и дверью на улицу, одновременно и рабочая, и контора, и магазин, если зайдут случайные покупатели с улицы. Во второй комнате, выходящей на двор, работает Терентьич и с утра топит муфель. Потом уже приходит после репетиции Кюммель и подбрасывает «дровишки», кипятит чайник.

Днем толчется разный народ: приходит Хрисанфыч, присмотреть за делом, тетя Лиза, по дороге куда-нибудь, выпить чаю. Знакомые актеры, товарищи Бея, Екатерина Андреевна с сыном, веселым Лавриком, который то поддразнивает Джан, то сразу хватает карандаш или кисть и делает на ходу рисунок, сообщая какой-нибудь секрет, подхваченный им в Академии. Приходят заказчики, владельцы посудных магазинов.

В пять Терентьич уходит, и Джан тоже, оставляя в мастерской Бея. Нужно бежать к Ладе за Инночкой, по дороге засунуться в лавки, приготовить дома ужин и обед на завтра, накормить, вымыть ребенка, уложить спать, постирать мелкое белье и к восьми обратно в мастерскую. Инночка спит уже.

Вечерами деловых визитов нет. Джан берется за глину, наполняет гипсовые формы. Джан работает, как автомат, хотя к ночи начинают болеть руки, да и голова тоже. Когда Бей уходит, то даже лучше: никто не мешает думать, и она остается иногда часов до двух. Потом — усталая дорога домой, и день кончен. Завтра следующий — такой же. Те же люди, разговоры, расчеты. Работа есть. И заказы и новинки идут. Горизонт расширяется, хотя и очень медленно.

Был еще заработок Бея. Но его и раньше не хватало, а теперь он был искренне убежден, что гонорар за карикатуры и плакаты может идти на его карманные расходы.

По воскресеньям Джан работала сперва тоже. Но дядя Кир, застав ее в нетопленной, ради экономии, мастерской, так разозлился, против своего обыкновения, что ей пришлось дать клятвенное обещание, под страхом потерять навеки его дружбу, чтить праздники.

Летом Лада уезжала в деревню и брала с собой Инночку. Катышка кончила, наконец, свою гимназию и торжественно усе-

лась за третий стол. Копировала она исправно. Джан всячески подбадривала ее. Сама она ко всем лишениям и искушениям относилась стоически, вроде как в свое время к вегетарианству — которое бросила, наконец. Для чего приносить жертвы отказавшимся богам? Теперь Джан строила планы по кусочкам. Сперва — выплата долга. Потом — Белый дом.

«А корабли за счастьем посылать  
Не надо мне ни за какое море...»

шептала она иногда на улице, или за работой, и судорожно закусывала губы, умоляя логику о помощи. Что ж, если не дано? Вот любит же она краски, а не художница. Но выходят чашки, вазы, кому-то радуют глаза тоже. Картина, конечно — творение. Но вот и ей удалось создать медный цвет, подглазурную краску, и на нее появился спрос — и красиво, и оригинально. Не всем же кораблям — большое плавание, и если жизнь состоит из мелочей, то хорошо создавать и мелочишки, в них тоже много радости.

Первый «медный» горшок — большой, с фигурными ручками, переливался розовой радугой. Три раза обжигала его Джан чуть ли не со слезами, — но опыт удался. Теперь он то ставился на почетное место с цветами и листьями, то на загнетке муфельной топки в нем пеклись яблоки. Джан садилась на табурете перед муфельем и рассказывала осеннюю сказку, придуманную по дороге: сырой туман, шелестящие листья, горьковатый дым.

«Уж не мечтать о подвигах, о славе», цитировал Кюммель, и Джан усмежалась.

— «В мире две есть важных вещи: это сказка и улыбка. Остальное можно сделать и придумать как-нибудь!» Сказки у меня есть. Что я стала бы без них делать?

\*\*\*

Эль вернулась из Вены.

В Риге моросил ноябрь, покрывая мостовые скользкой глазурью, и норд-ост уже пронзительно замораживал улицы.

Эль вернулась в невообразимой шляпке, с заграничными рассказами и еще чем-то, что было трудно определить. Подрисованные глаза голубели попрежнему кокетливо и наивно, но казались старыми, а наигранная обворожительность улыбки — картонной.

— Джан, Бей, потрясающая новость! — ворвался в мастерскую Кюммель. — Эль вернулась! Вечером придет сюда, и теперь все выпивоны переносятся из косметической лаборатории в керамическую мастерскую. Ты бы, Джан, завела такие краски, которые чистым спиртом разводятся, тогда и я рисовать начну! Я забегу в Драму, возьму авансик. А главное, что я говорил: «Эль вернется!» Помнишь, Джан? Вот и твое уравнение с неизвестными. Ну, что ты скажешь?



— Отойди, идиот, от окна, — невозмутимо буркнула Джан. — Свет заслоняешь, и на выставку в окне твоя физиономия тоже не годится. Приехала, так приехала. Очень жаль, а видеть ее я, конечно, рада.

— Вот ты всегда так... а я к тебе всей душой. И Бея нет... Он-то, по крайней мере, обрадуется. Не то, что ты, сыч...

Кюммель невнятно пробормотал что-то, и поплелся во вторую половину кочегарить муфель и отвести душу с Терентьичем, к которому сразу привязался за внимательную молчаливость, сочувственное подмигивание и умение терпеливо слушать.

— Джан, ты уже знаешь? Замечательно! Почему у тебя похоронное лицо? Вот выпьем сегодня на радостях! Что ни говори, а Эль — замечательная женщина. Не то, что твоя Лада — ни выпить, ни поговорить, костромская помещица, «фи донк», дура набитая!

— Во-первых, Лада хоть звезд с неба не хватает, но хороший человек. А в самых главных: не люблю похорон по третьему разряду, — бубнит Джан, свирепо поглядывая на синюю вазу с золотым драконом, разевающим пасть совсем не туда, куда задумано.

Бей не сразу понимает.

— То-есть кого ж хоронить?

— Мечту о Вене. Дошло, наконец?

— Ну, вот, ты опять за свою философию. Хотя, объективно рассуждая, ты права... Я тоже сперва подумывал было о карикатуре на тему возвращения блудного сына, но блудная жена — ... Эль не всегда понимает юмор...

Эль приходит нарядная, ласковая. Бей с Кюммелем отбивают торжественный марш по полкам с посудой. Эль целует Джан, передает ей подарок, пару чулок: самый модный цвет в Вене! — восторгается всем. Разумеется, теперь Джан станет на ноги. Завтра она поговорит с Кисой, чтобы заказать расписные горшочки для нового крема, она привезла замечательный рецепт... Но Кюммель и Бей тащут за руки заговорившихся дам, и после приветственных чоканий Эль рассказывает о своих впечатлениях: блеск настоящей светской жизни перед погрязшими в своем болотце провинциалами.

Все остальное просто: отдохнула, обновила гардероб, привезла новинки для лаборатории. Но ей и не нужно удивленно поднимать брови, хотя ей это и идет. Бей радостно целует руки, Кюммель хрюкает от блаженства, Джан не задает никаких вопросов. Тактичность друзей уже раздражает Эль. Бог знает, чего они не придумают про себя!

— Вам, конечно, я могу сказать, почему вернулась, — внезапно говорит она. — Вы все знаете, что я любила Гунара — это остается между нами, конечно. Я и сейчас люблю его, и он... Но у него своя дорога, а я не могу бросить Александра Робертовича, не могу переступить через труп. Я покажу тебе его письма,

Джан, которые он присылал мне в Вену — вопль, ужас! Я должна была принести эту жертву.

— Мы вознаградим тебя за нее! — пьяно раскисает Кюммель и лезет целоваться мокрыми губами.

— «Она любила его, он любил ее, и они разошлись», — Джан улыбается одними глазами, печально и ласково. Жаль мечты, затерявшейся в жизни. Хотелось верить, что роман окажется настоящим, сияющим счастьем, и любовь переделает Эль, вызовет в ней лучшее, сгладит углы, и вообще приятно знать, что кто-то счастлив... а это только казалось так.

Эль легко угадывает ее мысли, и ей тем более приятно сознавать себя жертвой супружеского долга, гуманности и других высоких вещей. Вернувшись, Эль нашла готовую схему, построенную Кисой, и без труда подогнала ее под свои рассказы.

Все остальное, не уложившееся в схему, собрано в комок, душа завязана узлом. В этом узле — действительная жизнь в Вене, сцены с Гунаром, письма мужа, слезы, борьба, отъезд — все. Рубить его нечего, а развязывать — не стоит.

Так же просто Эль встречается со знакомыми актерами и желает им успеха. О нет, она не будет начинать с выходных ролей в таком провинциальном театре, как Драма, когда могла играть в Бурге. У нее работа в лаборатории, а кроме того, она думает углубить мысль покойного Нездолина о Народном театре, и привлечь к сцене широкие рабочие круги...

Эль надевает халат в лаборатории. Александр Робертович заметно ухаживает за женой: он-то понимает ее лучше всех. Он с готовностью соглашается на предложение Джан: крем в вазочках, пудреницы, это пойдет...

Но Киса раздражает Эль, может быть, именно своей уступчивостью, — а пониманием — больше всего. В припадке откровенности с Джан, Эль говорит почти правду о своей душевной драме... «Почти правду» говорить, вообще, всегда очень заманчиво и приятно. Крохотное «почти» незаметно стирается, особенно при повторении. Убежденность вживается в действительность.

Но это «почти» бесследно проваливается в понимающие глаза Александра Робертовича, розовые лепестки жертвенности осыпаются, и остаются кактусовые шипы колючего узла. Если у людей отнять иллюзию, половина из них, наверно, станет преступниками. Сознание правды — самые горькие моменты в жизни. Печально, конечно, но что поделаешь с этой жизнью, если убить человека ложью очень трудно, а правдой — почти всегда!

Эль никогда не любила Александра Робертовича, но теперь часто ненавидела его, и смотрела холодными, злыми глазами. Ты хотел, чтобы я вернулась? Вот и получай!

Раньше она не боялась, но чувствовала некоторую неловкость. Она и теперь не пила на его глазах, но, если он случайно заме-

чал спрятанную бутылку, то спокойно наливала себе стакан и хлопала залпом. Эль нужен был выход. Но и питье не было выходом, и она продолжала метаться. Козлом отпущения был Кюммель: он плакал, хлопал дверью, уходил, через пять минут возвращался снова. Но ему можно было сказать все, не выбирая выражений, и самое главное: он был глубоко уверен в превосходстве Эль.

Он же привел сперва в мастерскую Джан, а потом в лабораторию Эль «Вольта». Типичный форштадтский полуинтеллигент, работал случайным монтером и болтался в рабочих кругах, преимущественно левых.

— Убеждения мои, — заявил он Джан, — пробочные. Но поскольку я даже пробочника не имею — сколько раз ни заводил, столько раз и терял в пьяном виде, — то выходит, что я — прирожденный пролетарий.

У Джан Вольт, в трезвом виде мастер на все руки, дополнительно проводил электричество. Но у Эль Вольт принимал серьезный вид и говорил: «мы думаем», «наша партия», «организация» и другие таинственные слова.

Коммунистическая партия в Латвии, после первых лет республики и диких скандалов в Сейме, была запрещена и изгнана в подполье. Эль считала себя социал-демократкой, понимая это довольно своеобразно.

— Я считаю своей задачей работать на поприще внедрения культуры в рабочие массы, — говорила она, и Вольт серьезно кивал и деятельно начинал «организовывать», а Кюммель восторженно подхватывал идею. На рабочие спектакли Эль тратилось много времени, разговоров, но во всем этом она играла главную роль, а это было главное.

\*\*\*

— Если ты не приедешь к нам, — она теперь тоже уже говорила «мы» — завтра вечером на спектакль, то я с тобой больше не знакома, — заявила однажды Эль, и Джан, вздохнув, отправилась в самый конец Московской.

В небольшом домике, сдававшемся в наем для устройства вечеров, была сооружена сцена с сильно красным гарнизом. Члены рабочего театрального кружка — детища Эль — никак не справлялись с ролями. Кюммель играл видного французского коммуниста, Эль — вдохновительницу заговора. За сценой играли марсельезу, на сцене шуршали бумажные красные розы, в изобилии сыпавшиеся на трупы героев. Трупов было много, и вместе с розами сыпались трескучие слова о свободе, врагах народа и так далее.

Первый акт Джан потешалась, второй — зевала, а третий не выдержала и провела «за кулисами»: все-таки что-то приятное, и не так плохо пахнет, как от этой публики в зале.

После спектакля состоялся конечно, ужин «по-актерски», то есть без буржуазных скатертей и прочих предрассудков. Эль сидела на председательском месте в ярко красном бальном платье и с таким сногшибательным декольте, что даже выдавшая виды Джан ахнула, а Кюммель зажмурился от удовольствия. Джан сидела справа от Эль, а слева твердо поместился на стуле невысокий, но квадратный тип.

— Что это за личность? — шепнула Джан Эль.

— Петел? Петр Елисеевич? О, Джан, советую тебе приглядеться. Это моя находка. Он из Латгалии, работает здесь на заводе, но настоящий самородок, первобытный талант. Попробуй, поговори с ним, сам увидишь. А как он сыграл Жорреса!

— Сыграл ничего, — улыбнулась Джан. — Жаль только, что он все время упорно называл себя Жоррес — с ударением на первом слого.

— Ах, это мелочь. Ты не можешь без шпилек. Откуда ему знать французские ударения? Его сила — в другом!

— Согласна. Если этот двинет — почувствуешь!

— А вы это обо мне? — улыбнулся «Петел», поворачиваясь от Вольта к ним.

— О вас.

— Силой интересуетесь?

— Смотря какой, — приняла вызов Джан.

— А у меня разная. — еще шире осклабился Петел.

Это было правдой. Несмотря на молодость, к нему обращались многие по отчеству. Квадратные плечи натягивали пиджак, косою ворот русской рубашки едва обхватывал шею. Челюсти тоже были квадратными, но на высокий лоб смело размахивались широкие темные брови. Темно-голубые глаза с поволокой, румянец во всю щеку — красивый парень, ничего не скажешь, если бы не кулаки с арбуз величиной, с которыми только «железо покупать». Глаза темные, цепко приглядывающиеся. Теперь он учится, видимо, как держать вилку, завязывать галстук, даже танцует. Разумеется, влюблен в Эль, но пока еще издали, — слишком недосягаемое божество.

Эль доставляет удовольствие приручать медведя, открывать «самородок из масс». Какой, собственно, талант у Петела — никто так и не может добиться. Он не актер, не рисует, не пишет даже стихов. Но умен, бесспорно — может быть, в этом и заключается главный талант в жизни? Эль права.

\*\*\*

В мастерскую к Джан Эль приходит довольно часто. Она критикует каждую вещь, но ее советы часто полезны, только Джан не любит жаловаться и слишком самостоятельна, а если покровительственный тон не к месту, то Эль начинает злиться и колоть.



— Я отдаю должное твоей энергии, — говорит она с ледяной ласковостью, — но мне тебя просто жаль, потому, что это все впустую. Днями и ночами сидишь в мастерской, портишь себе глаза и руки. И по уши в долгах! Но современем ты выкарабкаешься, быть может. И тогда начинаются совершенно беспочвенные дворянские мечтания: не просто приличная квартира, как у всех людей, тоже ненужная вещь, но понятная хоть мещанам. Нет, белый дом с колоннами и гербами. Помещица без штанов! Воображаю Бея, поливающего грядку с капустой. Ты ведь, как мне кажется хочешь соединить камин с коровником? Иногда слушаешь ваши мечтания, и смешно становится: сидят нищие, более пролетарии, чем последний рабочий, потому что тот, по крайней мере, знает свое ремесло, и строят карточные домики.

— Послушай, мы — пролетарии, согласна. Но ведь твои социалистические партии добиваются улучшения жилищных условий именно для рабочих? Вот мы и хотим улучшить своими руками и для себя. Чем же мы хуже?

Но Эль в таких случаях не признает юмора.

— Пожалуйста, без передергиваний. Коллектив и отдельные личности — огромная разница. Но ты, все равно, ничего не понимаешь в социализме. Ты погрязла в любви к вещам, которые мешают тебе жить, к прошлому, которое никогда не вернется, — и слава Богу, — и к людям, которые виснут у тебя камнем на шее. Тете Лизе на чашечку кофе, Наденьке на платице, Катюшке на туфельки, и так далее. Почему ты должна о них заботиться? Не понимаю. И жить ты тоже не умеешь. Вечно праздники!

Джан не обижалась: очевидно, в жизни Эль так мало иллюзий, что ей доставляет удовольствие разбивать их у других. А жизнь без мечты и праздников казалась Джан такой скучной, что ей было искренне жаль «ожесточенную Мадонну».



Но и самая злостная критика не давала выхода ожесточению против собственной правды, и Эль продолжала метаться дальше. При всех своих недостатках, она знала, почему вернулась из Вены. Голая и горькая правда заключалась в том, что она не смогла и не захотела справиться. Одной любви и страсти оказалось недостаточно. При каждой ссоре она укоряла Гунара своим унижительным положением любовницы, а в глубине души была довольна свободой от обязательств и возможностью дергать его за веревочку.

Но Гунар был плохой собачкой. Он хотел видеть ее своей женой. А его жена должна была прежде всего уметь себя держать. Одного красивого лица оказалось мало, чтобы занять первое место в обществе. Первого места надо добиваться, учиться у других. Это не трудно для умной и любящей женщины, но Эль

оказалось не по силам. Она хотела быть первой без всякого усилия с своей стороны. Необходимость держаться и слегка переделывать себя возмущала ее.

Гунара это возмущало тоже. Неужели Эль с ее образованием, умом... и такие пустяки — жертва?

Но любовь спотыкается часто и на меньшем. Киса был гораздо удобнее, как муж. Ничего не требовал и мирился со всем. Вернувшись, она почти возненавидела его: естественный парадокс. Но, вернувшись, она могла продолжать жить попрежнему. Ни о чем не заботясь, делая, что вздумается, и вертя павлиньим хвостом поклонников — в рабочих кружках никто не мог затмить ее блеска.

Тщеславие или инертность? Но любовь споткнулась о них, а споткнувшись, Эль сломалась всерьез. Люди часто сдают экзамен в жизни на двойку — в особенности, на любовь, самый трудный предмет программы. Переэкзаменовки даются не всегда, а выдерживаются еще реже.

Джан была права, пожалуй: жаль мечты!



— Да вам же радоваться надо, а не плакать! Слава Богу, наконец-то! Теперь вы богатая женщина!

— Восемнадцать лет! — всхлипывала Елизавета Михайловна. — Восемнадцать лееет... — и успокаивалась с трудом.

— Если уж кому над этими восемнадцатью годами плакать, матушка Елизавета Михайловна, — сказал полковник, — так это Веронике. Половину из них вытягивала на своих плечах, пока Джан не впряглась парой. Но Надежда Николаевна хоть удовлетворение в работе находит, а Вероника школу свою ненавидит просто, и ее молодость никакими деньгами не вернуть. Вот кого жалко! Вы-то строчили письма адвокатам, да по знакомым ходили и рассказывали, а если бы не они две — так босиком не очень-то погуляли бы!

— Так что ж... разве я говорю? Джан, конечно, получит наравне со всеми, хоть она и не родная дочь, а племянница...

— Этого еще недоставало, чтобы Джан обидели! — сразу взъерепенилась Лада, но ринуться в бой не пришлось. Елизавета Михайловна растерянно хваталась то за булочки, то за сахар, и так же вразброд выдергивала из будущего все мечты и желания за последние годы. Белый дом Джан, пальто с беличьим воротничком Наде, новая квартира и сумка из крокодиловой кожи; десятки, сотни, тысячи лат кувыркались и щелкали нулями.

— Не хочется мне вас огорчать, — покачал головой полковник, — но ведь имение сперва продать надо. А потом адвокаты накинутся. Хорошо, если половина останется. Делить будете на пять частей, всем сестрам по серьгам? Вот и посчитайте. На сережки, именно, хватит.

— Я совсем не думала о дележе, — гордо заявила Елизавета Михайловна. — При чем же тогда я, главная наследница? Конечно, я дам детям все, но капиталом буду распоряжаться я, и...

— И пуститесь в спекуляции на бирже, конечно? Ну, вот признайтесь, сколько вы за эти годы вашими махинациями у Рейнера заработали? Заработал, матушка, один Рейнер своими кофе и булочками, которые вы у него заказывали. А детей вам опекать нечего — Веронике уже тридцать с хвостиком.

— Вы всегда так говорите, Кирилл Константинович, как будто я враг своим детям!

— Не враг, матушка, а гораздо хуже: любвеобильная мамаша вы, вот кто. Да вы сами замуж выскочите, а? — смягчил он комплиментом горькую истину, и тетя Лиза, в возмущении открывшая было рот, округлила его сразу сердечком и покраснела так, что у нее закачалось перо на шляпе.

— Что вы, дядя Кир, в моих-то годах!

— Годы непричем. Не с мальчишкой же вам связываться. А солидный человек, как я, например... почему бы и нет?

Полковник победоносно закрутил седые усики.

— Разве настоящий мужчина позарится на современных вертихвосток?



Елизавета Михайловна ушла порозовевшая и успокоенная, а полковник, проводив ее до ворот и поцеловав дважды ручку на прощанье, вернулся и покачал головой:

— Вот старая дура! Ей шестьдесят скоро, а заговори о женихе — краснеет, как институтка. Но не в этом зло, а в том, что если ей волю дать, то протрет глаза денежкам, и все дочери получат кукиш с маслом. Нет, с Джан и Вероникой я поговорю. Все таки был официально назначен их опекуном во время оно, и хоть они из возраста вышли, а совет мой выслушать обязаны. Потом, конечно, умываю руки.

Полковник подошел к столу, налил себе для подкрепления еще стакан чаю и серьезно посмотрел на жену.

— Совета моего они, конечно, не послушают, — сказал он. — Именье наследственное. Вымершей линии. Если бы я был царем, то на все имения и хутора, на всю землю учредил бы майорат. Это значит, что ты ни дома, ни земли ни продать, ни заложить не имеешь права. Землю получает сын или дочь, или по выбору, в крайнем случае. В Скандинавии это самое право старшинства существует уже чуть ли не тысячу лет — зато и хозяйства какие!

— Ну, хорошо, а если детей много?

— Вот это как раз и не должно быть. Будь я царем, я бы сейчас же контроль рождаемости устроил. Без детей семьи нет, но я против бессмысленного размножения, как кролики. Имеешь одного, двух, — ну, и довольно. Ты их получше воспитай, образование дай, вот что важно. Кроме того, в наше время женщина и на службе работает, а в хозяйстве она работала всегда. Что же ей остается, если еще полдюжины ребят? А если сама она дура дурой, так чему же детей научить может? А если семья не учит, так общественное воспитание немного стоит. Вот с тех пор, как у нас в Латвии земельная реформа, крестьяне сидят на хуторах, и много ли у них детей? Двое-трое. Сами понимают: хутор пойдет одному, а другим надо образование дать, или приданое выделить. А если ребят с десятков наберется, так из чего же их выделять?



Джан замучили телефонами все знакомые.

— Конечно, это самая скромная месть с их стороны, после того, как тетя Лиза восемнадцать лет подряд надоедала им разговорами о своем процессе. Но сейчас разгар сезона, а тут...

Выплатив весь долг Хрисанфычу, Джан рискнула поставить третий муфель для легкого обжига изразцов, которые шли и в провинцию и даже в Эстонию и Литву. «Керам» официально называлась теперь мастерская. Джан сняла еще одно помещение рядом, пробила в него дверь, и теперь у нее было три комнаты. Но рук не хватало. Она пожаловалась однажды Екатерине Андреевне.

— Не хочется совсем чужого . . .

— Послушайте, Джан. А что бы вам моего Лаврушу взять? Академию он кончил, но картины, сами знаете, идут туго . . .

— Что вы, Екатерина Андреевна! Настоящего художника!

— Зато за деньги, а они как-то на полу не валяются. У вас весело, и работать приятно. Я поговорю с ним.

На следующий день после этого разговора, Лаврик, в пестром шерстяном кашне, повязанном как-то особенно по-ухарски, явился в мастерскую и, остановившись у двери, завертел кепку в руках.

— Так что, хозяйка, мы до вашей милости, — заявил он совершенно серьезным тоном. — Наниматься пришли. Работать можем по малости, а что положите, то и ладно. От одного художества насквозь животы подвело, отощали совсем.

— Лаврик, — взмолилась Джан, — не конфузьте, ради Бога! Екатерина Андреевна говорила мне, но я стесняюсь. Тут малевать надо, а вы картины пишете . . .

— Краски в том и другом случае. Нет, Джанум, шутки в сторону. Берите меня подручным. Технику я не совсем знаю, но вы мне покажете, что и как. Только уговор: если мне уж очень покоя давать не будет какой-нибудь этюд — знаете, свет и прочее, — тогда я пропадаю, но вечером отработаю свое, не беспокойтесь.

Так Лаврик с шутками и веселым присвистыванием стал работать, и притом не за страх, а за совесть. Сероглазый шатен с острым взглядом художника, немного чересчур большой и неуклюжий как будто, он двигался легко и ловко, жонглируя предметами. От матери он унаследовал ее обаяние — Лаврика любили все. Он покориł Надю невероятными криминальными рассказами, распивал с Кюммелем сороковочку «под муфель», рассуждал с Вероникой о литературе, давал дельные советы Джан, изводил подчеркнутой галантностью маркиза восемнадцатого столетия Эль, которую терпеть не мог, в противовес Ладе, а Инночке, сразу вскарабкавшейся к нему на колени, рисовал сказки целыми сериями. Джан пришлось завести для них отдельные тетради, после того, как грессбух украсила однажды избушка на курьих ножках, а Катышка . . .

— Вы — торжественно заявил он в первый же день работы, — мой идеал, Екатерина Николаевна! Тургеневская девушка с косами. Когда я стану прекрасным принцем, или, по меньшей мере, знаменитостью, то предложу вам руку и сердце! Если хотите, можно и пополам: сердце сейчас, а руку потом. Гнусное предложение в рассрочку! медам, прошу извинить за богемный тон. Екатерина Николаевна — подарите рублем, взгляните милостиво. Но если улыбаетесь, то это уже сотня рублей!

По тому ли, как Лаврик шутил с Катышкой, или по некоторым подмеченным взглядам, но Джан однажды понимающе

переглянулась с Беем и весело кивнула. Ну, и пусть. Новое поколение.

Новое поколение тоже давало о себе знать: Инночка — кудрявая хохотушка со скуластым личиком Джан, только красивее будет, и глаза не светлые, а серые с синевой. Утром вместе с мамой Инночка отправляется в детский сад. В пять часов кто-нибудь забегает туда, и приводит ее в «Керам», где она сидит до вечера, на глазах у Джан. Это не помешало Инночке однажды плеснуть себе в глаза скипидаром и орать так, что хрупкий чехословацкий фарфор треснул от звона. Так по крайней мере уверял Кюммель, но Джан презрительно заявила, чтобы ей не вкручивали очков, и, если он, несчастный пропойца, сам махнул по сервизу в пьяном виде, то весь он со всеми потрохами не стоит и одной такой чашки!

В результате, в этот вечер слезы лились рекой. Инночка горько всхлипывала под компрессами и уверяла, она ничего не видит — что было бы даже трудно сквозь вату. Джан боролась со слезами, при мысли, что ребенок может ослепнуть, и что этот идиот причинил громадный убыток: куда годится сервиз без одной чашки? Кюммель, расчувствовавшийся от одного и от другого, вытирал глаза и жаловался на судьбу: но он купит такие же чашки, и даже еще лучше. Он напишет на фабрику к Розенталю, в Лейпциг, и они окажут ему уважение, как актеру, и пришлют дюжину чашек, завернутых в пух, чтобы не разбились!

— Дюжину... в пух! — повторял он, трагически вращая глазами.

Бей, явившись через час после происшествия и не разобрав, в чем дело, пришел мгновенно в ярость, что его ребенка уморили-таки в этой поганой мастерской, от которой он не оставит камня на камне!

Когда детский сад сменился школой, Инночка важно садилась лепить за маленький столик, или отправлялась на диван в муфельной потолковать с друзьями, если Кюммель не называл ее «купырзой», за что она пыталась колоть его кочергой.

Диван в муфельной был, по настоянию Бея, «обязанностью перед обществом». Все знакомые приходили в мастерскую «на огонек». Расширив помещение, Джан перетасила из квартиры старый диван, покрыла его цветной материей. Даже дешевый ковер висел на стенке, и этот угол гордо именовался «салонем». Кого только не перебывало тут! Чаю уходило множество — заваривали крепкий, «как деготь». — Джан получала его от фирмы, которой делала китайских болванчиков.



Великий семейный совет был созван дома, в воскресенье, чтобы никто не мешал и не врывался поминутно, как в мастерской.

— Перемена декораций, но не действующих лиц, — возгласил Бей, обводя взглядом собрание. — Просто деваться некуда от собственных рабочих!

Надя фыркнула. Конечно, вся мастерская, кроме Терентьича, была налицо. Кюммель считался своим, притом непременно членом всяких пиршеств. Лаврик уже объяснился с Катышкой, хотя это и было «строгой тайной». Дяде Киру и Ладе было отправлено торжественное приглашение, а Бей настоял на приглашении Эль, чтобы ему было тоже с кем отводить душу, пока остальные будут ругаться из-за этого дурацкого наследства.

«Пляска вокруг золотого тельца» была уже изображена на листе, приготовленном «для протокола заседания», который он намеревался вести в лицах. Под тельцом красовалась тетя Лиза с сотней чемоданов на таможенном барьере.

Джан испекла слоеный пирог к обеду, Лада принесла коробку пирожных, и в окончательный восторг привела всех Вероника, поразившая бутылкой кюрассо. Морж — и ликеры! Чудеса!

После обеда ребята отправились в спальню, и Джан закурила и открыла совет.

— «Я вас собрал, старейшины Непала, как мудрый властелин и любящий отец!» — заявила она. — Стоит стол, покрытый не сукном, а скатертью, и за столом ряд не только ученых, но и недоучек! Тема о наследстве. Внимание! Тетя Лиза прислала мне вчера из Варшавы письмо. Есть два покупателя на имение. Один дает мало, другой — и того меньше. Имение было золотым дном, и поэтому после арендаторов от него не осталось ни дна, ни покрывки. Получить за него можно, в переводе на наши деньги, пустяк — тысяч пятьдесят латов. Стоп! Прошу не ахать заранее. Пятьдесят пишется, а выговаривается иначе. Хорошая половина идет адвокатам. Тысяч тридцать все-таки останется; если поровну — по пяти на нос. Это — раз. Тетя Лиза думает закончить сделку и вернуться недели через полторы. Это — два. Теперь третье. В истории известно немало примеров, когда деньги бросаются людям в голову. В прошлом году сапожник в Гагенсберге выиграл в лотерее Красного Креста миллион латов и спился через три месяца. Не так давно мне тоже пришлось слышать всякие идиотства; купить соболью шубу, автомобиль для развозки товара, пони для Инночки, тысячу пирожных для всех желающих. Предлагаю поэтому внести порядок в хаос мироздания, и разделить желания на осуществимые и ерунду. За прошлую неделю вы имели время подумать и составить планы. Я тоже. Завязать деньги в мешок и сесть на него мы неспособны, слава Богу. Я кончила — пока.

Джан оглянулась в поисках поддержки.

— Мне кажется, что вы только начали, Надежда Николаевна, — мягко произнес полковник. — Раз вы — общепринятая глава всей семьи, не по годам, а по существу, то должны обна-



родовать свой план, а остальные присоединяются или предлагают свое.

— Говори, Джанум. Я уверена, что ты придумала замечательно, — попросила Лада, и Эль передернула плечиками:

— Я-то уж наверное знаю, что это будет!

— Пожертвование на МОПР, — шепнул Лаврик Катышке, и та фыркнула.

— Хорошо. Я предлагаю сделать сразу две вещи, и вот они, коротко: во-первых, снять дом, во-вторых, построить дом.

— Рехнулась, батюшки! Джан, выпей не кюрассо, а воды!

— Надежда Николаевна, вы того . . . не телеграммным стилем. Тех же щей, но пожиже влей, а то трудновато для непосвященных, — заявил полковник.

— Очень просто. Прежде всего, опыт показал, что мы все, как ни деремся, но прекрасно уживаемся друг с другом. Семья одна, а живем, однако, в разнотычку. Одни шлепают на Задвинье, другие на форштадт. И по правде сказать: жить в одной мастерской, а квартирой пользоваться по праздникам только, надоело. Предлагаю сложиться всем вместе, подыскать поблизости от мастерской, в одной из этих тихих, уютных улочек, особняк с садом. Тогда у каждой из нас будет по своей комнате, столовая общая. И возьмем, наконец, прислугу. Обойдется это немного дороже, но, в конце концов . . .

— Джан, гениальная идея! — восхитилась Катышка.

— Завтра побегу искать особняк! — кричала Надя, отбивая марш. — У меня будет голубая комната, и все, все голубое!

Проект нашел полное одобрение.

— Ну, а второе? — прервал мечты вслух полковник.

— Второе — постройка собственного дома на тех же началах. Я предполагаю так: истратим для себя, что кому надо, а остальные деньги положим в банк. Для дома. Гденибудь под Ригой — можно и не строить новый, есть заброшенные мызы, такую усадьбу купить можно недорого. Земли нам много не надо: большой сад, огород . . . Постепенно отремонтируем дом, заведем хозяйство: клубничную плантацию, огород и сад, потом корову, пару свиней, птицу. Неудобство поездок в город окупится собственным домом. А уж его-то я сделаю с белыми колоннами, можете положиться! И вы представляете себе праздники в таком доме?

Голос Джан срывается, но она берет себя в руки.

— Я предлагаю не мечту, а совершенно реальную вещь. Я одна, со своей мастерской, могу осуществить ее. Но на это понадобится много времени. Если же вы мне поможете . . . Конечно, у нас будут ошибки, но на них поучимся. И зато свой сад, свое место под солнцем. Я люблю землю. Я на ней родилась и меня тянет к ней. Но теперь вы. Отвечайте по существу.

Она выжидательно повернулась к Веронике. Но та смотрела не на нее, а прямо перед собой, и в красивых, но всегда немного

унылых глазах Моржа стеклянела странная, мечтательная улыбка. Вероника сделала над собой видимое усилие и дернулась.

— Милая Джан, — сказала она немного театрально, — твою мечту о белом доме я слышала не раз, и согласна вполне. Это наше, дворянское дело. Конечно ты его построишь. Каждый порядочный буржуа мечтает на склоне своих дней сажать капусту. Я попробую развести розы, они мне особенно к лицу, ха! К тому времени я выйду на пенсию и, хочешь, буду мазать твои горшки, хочешь — трамбовать навоз, или как там это делается. Часть денег из наследства я тебе на это дам. Комнату в особняке ты устрой мне сама, вполне полагаюсь на твой вкус, но ассигную тоже небольшую сумму...

Джан изумленно уставилась на нее. Такого пассажа со стороны Вероники она не ожидала.

— Моржик, — почти простонала она, — что же ты хочешь сделать с остальными деньгами?

Вероника с диким неистовством вдруг ударила по столу так, что ее рюмка подпрыгнула.

— Истратить! — почти крикнула она. — Да, истратить, промотать, выбросить на ветер, истратить только для себя, для собственного удовольствия, раз в жизни, и ни на что больше! Всю жизнь я работала, отказывала себе во всем, ходила пугалом, все пальцем тыкали и смеялись в глаза и за глаза. Урод, Морж, старая дева, школьная учительница! Мама... ну, да Бог с ней! Все-таки она настояла на этом процессе и возилась с ним, бегала, клянчила. Мы бы давно плюнули и не вспоминали даже. Но молодости у меня не было. А вот теперь я ее куплю все-таки, хоть на деньги куплю! Вам всем пришлось легче. Мама изворачивалась, но, ради представительства, не отказывала себе. Ты замуж выскочила сразу и нашла себе работу по сердцу. Да, ты тоже билась, и свою семью везла, и нас вытаскивала, но тебе тридцать три и ты владелица предприятия, ты покупаешь серебряный самовар, потому что тебе вздумалось, и у тебя есть муж и ребенок, и белый дом ты тоже построишь! А мне тридцать девять и ничего, ничего, никогда! У детей есть и кино, и театры, и, благодаря тебе, они не работают у чужих людей, и не должны теперь вечерами стирать единственную пару чулок. И у них все впереди, и это «впереди» лучше, чем прожитое, а у меня что? Чего мне ждать, скажи, пожалуйста? Прекрасного принца, ха! Да, я буду сажать розы в белом доме, и нянчить ваших детей, только учить их не буду, потому что ничего хорошего не знаю! Но сперва я хочу пожить хоть один день, хоть за деньги купить то, что пришлось уступить даром!

Такого взрыва никто не ожидал. Сестры сидели, потупившись. Полковник покачивал головой. Эль с неожиданным интересом рассматривала Веронику. Лада волновалась, растрогавшись, и не зная, что ей делать: принести воды Веронике, или дать ей выговориться.

Наступившее молчание звенело. Джан тщетно пыталась закурить почему-то не тянущуюся папиросу. Лаврик молча наклонился, взял ее из пальцев Джан, швырнул в пепельницу, и дал ей другую.

Вероника сама налила себе ликеру, медленно выпила, слегка пристукивая зубами о край, и овладела собой.

— Я, конечно, увлеклась и наговорила лишнего, — примиряюще сказала она. — Но вы не должны обижаться. Я никого не упрекаю. Такая, значит, судьба. Наследство нам всем бросилось в голову, но у каждого барона своя фантазия. Я тоже хочу взять что-нибудь от жизни, имею на это полное право, и от сказанного не отступлю, хоть бы тут...

Джан вспомнилась почему-то плитка шоколада, полученная Вероникой давно, еще у Нездолина, за ее лучшую роль.

— Да, — сказала она твердо и громко: — раньше я бы не сказала этого, а теперь скажу: да. Может быть, ты наделаешь глупостей, и заплатишь за них дороже, чем они стоят. Но будет хоть что-нибудь вспомнить.

— Вероника Николаевна, — предостерегающе поднял палец полковник. — Я знаю вас с детства и уважаю. Всегда сожалел. Но опасайтесь и другой крайности.

— Не беспокойтесь, дядя Кир, — почти весело уже трянула головой Вероника: — до будущего лета я не могу бросить школы. Пенсия на старость лет тоже что-нибудь да значит, я то знаю, как зарабатывается кусок хлеба! Но лето я проведу на курорте!

— Итак, заседание продолжается, — слегка улыбнулся в сивую щетку усов полковник. — Слово предоставляется Катериночке. Тоже «грозой» обрадуете?

Катышка вытерла глаза — что поделаешь, всегда на мокром месте, — и просияла:

— Я, как Джан. И, вообще, я понимаю в хозяйстве гораздо больше, чем вы думаете, и люблю деревню зимой и летом, и с большим удовольствием стану помещицей!

— Ты молодчина вообще, Катышок! — подбодрилась Джан. — Мы с тобой все устроим. И Надя поможет. Правда, Надя?

— Нинне совсем... — поперхнулась та, но, наконец, отставила тарелку с пирожными. — Дядя Кир, раз я совершеннолетняя через два года, то могу делать все, что хочу?

— Нинне совсем, — передразнил полковник. — Глупостей делать, все равно, не позволю. И совершеннолетних дерут тоже.

— Но я, дядя Кир, не маленькая, слава Богу, и принципиально не собираюсь делать глупостей.

Тонкий носик Нади нахально топорщился кверху, и она невозмутимо встретила взрыв хохота.

— Принципы хорошая вещь, — сказал, наконец, полковник. — Но что же ты все-таки собираешься делать, кроме абонементов в кондитерской?

— Я поеду в Берлин. Там есть фильмoвый город. Я куплю себе бальное платье, и буду сидеть в кафе. Есть такие, где сидят и ждут. Режиссеры приходят и выбирают статистов.

— Послушайте, дорогая Надя! — не выдержала Эль: — в пятнадцать лет такие глупости говорить еще можно, но в вашем возрасте уже непpостительно. Да с вашим немецким произношением вам только ателье подметать дадут!

— И буду.

— Чего там говорить, Елена Владимировна, — перебил полковник: — ясное дело, насмотрелась фильмов, вот и сбрендила. Да-с, Надежда Николаевна, пряткая у нас молодежь. Не качайте головой, образуеться. Только будь я царем, я бы устроил школьную реформу. Вот хотя бы сейчас, — за столом несколько жертв школьного режима. По-моему, так: чтобы учить других, надо иметь призвание и талант, а не только знание предмета. Каждый учитель должен быть, прежде всего, с высшим образованием. Но и школы надо устроить не нашими унылыми казармами, а колледжами, с садом и ремесленными курсами. Есть у нас ручной труд, но это ерунда. Надо, чтобы получающий аттестат зрелости сдавал бы одновременно и экзамен на подмастерья. Читать надо, приучать, и побольше закрытых учебных заведений в имениях, чтобы сразу и к земле приучались в собственном хозяйстве. В Америке делают сейчас разные опыты.

— «Собрать бы книги все да сжечь?» — спрашивает Эль со снисходительной усмешкой.

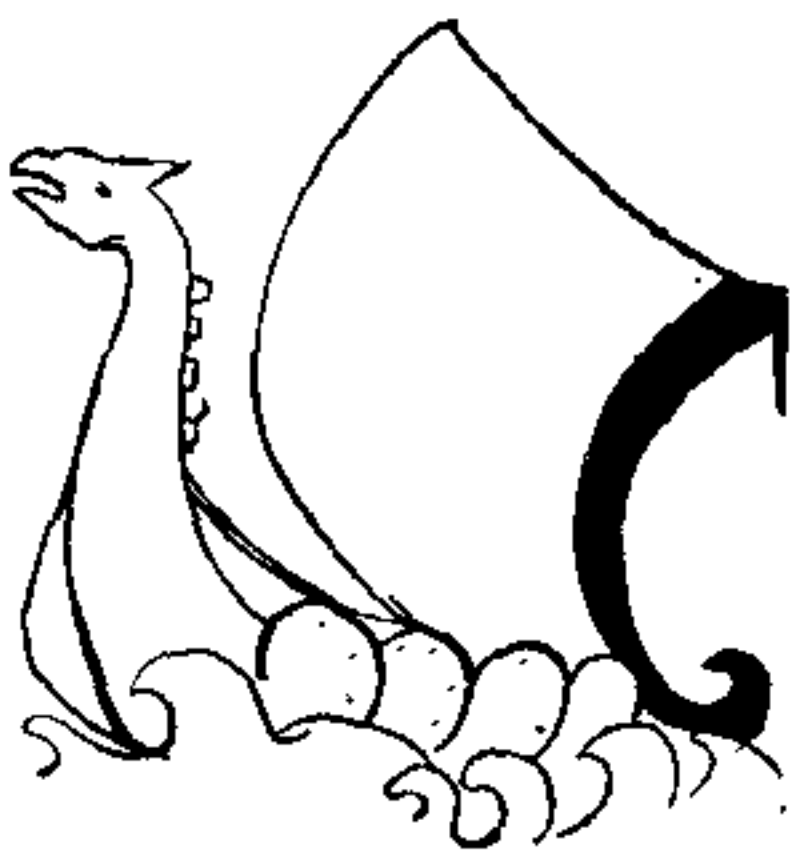
— Многие новейшие изобретения неплохо было бы сжечь, пока они нас с вами не сожгли, — серьезно отвечает полковник. — Будь я царем, я бы учредил комиссию для проверки господ ученых. Как новое изобретение — пожалуйста на проверку. К чему оно служит? Для облегчения человеческой жизни или для уничтожения ее? Если ты выдумал новый бурав, чтобы камни долбить, скажем — пожалуйста. А если новый динамит в тысячу раз сильнее старого — сжечь все формулы без остатка, и самого изобретателя под страхом смертной казни заставить их забыть. А не может забыть — повесить. Лучше парочка повешенных во-время ученых, чем гибель миллионов людей!

— Совет окончен! — возгласила Джан, опасаясь, что лекция затянется.

— Две вещи, во всяком случае, непоколебимы, как скала: Белый дом будет, и уж это Рождество мы отпразднуем с таким треском, как еще никогда! За это я ручаюсь!

Ручаться за будущее не надо. Елизавета Михайловна вернулась через две недели из Варшавы с чемоданами, картонками, банковским счетом и сильнейшим кашлем. На второй день после приезда она лежала уже в компрессах, а на пятый — умерла от воспаления легких. Восемнадцать лет надежды и мучений дали ей недели три счастливых хлопот. Не больше.





реди многих вещей, которые Варвара Димитриевна Верескова ненавидела почти до бешенства, было почему-то и ее собственное имя. «Данное при крещении» — ядовито тянула она. — «Вар-вара». В честь какой-то знаменитой прабабушки. Но ее я не знала, а его не выношу. Так и кажется: домик в Коломне, какая-нибудь отставная салопница, чаек с ситничком, чижик в клетке, а на окнах занавесочки и герань. Невыносимое мещанство! Даже пахнет от него чем-то кислым и затхлым!

Прабабушка тоже была вымышлением. Раннее детство «Варька» провела на кухне громадной казенной квартиры в Петербурге. Мать ее, молодая еще женщина, латышка, служила кухаркой за повара у инженера Верескова, известного на всю Россию архитектора. Инженер был вдов и бездетен. Однажды он вернулся домой навеселе, — обнял Эмму и был приятно удивлен нежным телом и могучей страстью крестьянки. Их встречи стали периодическими, но Эмма оказалась умнее многих, и постепенно прибирала к рукам и его и многие ценные вещи.

Варька — любознательная и умненькая девочка, лицом и характером вышла в мать, а от отца унаследовала способности и понимание красоты. При полном отсутствии собственной, такая любовь — несчастье. К началу войны мать скопила порядочную уже сумму денег и, быть может, добилась бы и своей затаенной мечты: узаконить ребенка. Но Вересков был убит во время Октябрьской революции, деньги и вещи погибли.

Через несколько лет Варвара Верескова приехала семнадцатилетней девушкой в Ригу с матерью, оптировавшей латвийское подданство. О своем прошлом она говорила неохотно и мало. Да, дочь известного архитектора, отец убит.

Мать, сломленная катастрофой, сразу постаревшая, совершенно ступсевалась. Она вела дочери хозяйство и больше ни во что не вмешивалась, настолько уходя в тень, что впоследствии, когда Варвара стала прилично зарабатывать, приходившие знакомые считали некрасивую женщину в длинных юбках просто прислугой. Эмма не обижалась, а Варвара не считала нужным объяснять. Впрочем, гостей к ней приходило мало. Знали ее все, но никто особенно не любил.

Мечтой ее было: попасть в большую русскую газету и стать журналисткой. Когда Караваев открыл широковежательные курсы для журналистов, пришла первой. Плата за ученье стоила голодовки в течение нескольких месяцев, но она платила аккуратнее всех, старалась больше всех, и играла на тщеславии известного критика тоже лучше всех. Некоторое время спустя, Караваев подхватил мысль редактора давать переводы из английских газет и рекомендовал свою лучшую ученицу.

В газете ее не любили тоже. Кто-нибудь постоянно скандалил с ней, но она была полезным сотрудником и завоевала себе место. Первый год постоянное жалованье было шестьдесят латов в месяц. На это можно было только кое-как существовать. Потом прибавились построчные и когда ей поручили, наконец, половину отдела русской местной жизни, «Вара Вер» или «Барб» выгоняла в месяц до четырехсот латов — а это уже значило: обеспеченная жизнь.



Верескова начала свою карьеру раньше, чем Джан. Премьера «Кораблей» была ее первой рецензией. Когда «Вара Вер» стало знакомой всем подписью в газете, «Керам» тоже уже было известной маркой. Возраст, энергия и любовь к красивым вещам у них было общим.

Бело-розовая шея, когда-то раздражавшая своей молочностью Охотьева, осталась, но сама Вара к тридцати годам огрубела еще больше. Сейчас она была высокой и полной, без талии, с высоким животом, монументальными ногами, крупными руками. Волосы, подкрашенные в рыжеватый цвет, были так редки, что кожа просвечивала сквозь них розовыми плещинами. Нарисован-

ные брови и ресницы не увеличивали маленьких оловянных глазок. Только здоровые щеки, твердый подбородок и сжатый рот выделяли лицо. Вара знала, что она не красива и громоздка — большое несчастье для честолюбивой, жадной к жизни женщины.

С Джан она познакомилась в поисках материала. О мастерской слышала от Бея, и, явившись, застала «богемный салон» в полном блеске. Фельетон вышел очень удачным, она стала заходить поболтать.

Свойством Джан было всегда собирать вокруг себя чемнибудь ущемленных жизнью людей и прежде всего задавать вопрос: в чем их драма? Когда же удавалось разгадать, она ломала за них копья, защищая от нападок. Так было и с Вересковой.

— В этой кариатидной Варваре нежная душа, — убежденно говорила о ней Джан: — а если она груба, то потому, что озлоблена жизнью.

— Сволочь она порядочная, — неизменно замечал Кюммель, как будто поддакивал.



С князем Нагаевым Вара познакомилась на балу общества бывших русских моряков. Рижская кают-компания устраивала его ежегодно, пока общество не было закрыто по настоянию советского посольства. Морской бал был самым дорогим и изысканным в сезоне, билеты давались с большим разбором. Он открывался полонезом, к нему делались туалеты, и жена издателя крупнейшей латышской газеты оправдывала на нем прозвище — «королевы бриллиантов». Вара, давно мечтавшая попасть на этот бал, добилась, наконец, приглашения, как журналистка, а через знакомую артистку, побывавшую в Париже — сногшибательного туалета.

Бледно-зеленый шелк пересекался широкой полосой из старой бронзы, вспыхивавшей густо-зелеными и багряными искрами. Бриллиантов у Вары не было, но она купила по случаю восьмиугольную брошку из нефрита, в голубоватую муть которого был вставлен турмалин со звездными лучами из бриллиантовых брызг. Брошка даже по случаю стоила четыреста латов — месячный заработок! Варвара подвесила ее на цепочку, и получился громадный кулон, великолепно подходивший к платью и оттенявший ее молочно-розовую кожу — тяжелая, изысканная драгоценность.

— Изумительный нефрит, — сказал ей Охотьев, видимо обрадованный встречей. Он мало танцевал и немного скучал на балу, спасаясь в баре. — Вы мне напоминаете сегодня индусскую богиню.

— А как поживает китайский? — осведомилась Вара.

— О, я теперь свободно читаю Конфуция и...

— Рига всегда была городом оригиналов. Трезвые романтики, как любит говорить Джан Тугановская, знаете «Керам»? Он так

и называется богемным салоном. Там пьют чай пополам со скипидаром и говорят о французских классиках. Есть старый ювелир, чуть побольше гнома, который живет в своде ворот Конвента Святого Духа — гофманская декорация и мистика камней. Старичок профессор на Поповой улице — владелец известной фирмы — пишет историю Риги со всеми легендами... Русский купец-оружейник изучает Конфуция. А еще говорят, что Рига — скучный город! Или на самом деле права та же Джан со своей сказочкой о казненной душе каждого человека, подлинной его душе? Но, в таком случае, и наша Рига — ее легендарный Старый Город, о котором бедняжка так мечтала в своих «Кораблях». На заре моей юности и карьеры, первая рецензия, первая подпись в газете была именно под заметкой об этом невозможном спектакле.

— А вы знаете, я его видел тоже и даже помню кое-что. Сыграно было ужасно, но написано не плохо. Фразы, как формулы, со многими скобками. Вот эта символическая математика меня заинтересовала. А откуда вы достали такой нефрит? У вашего ювелирного гнома?

Они поболтали еще, но Варвара бросила вдруг недопитый коктейль и, извинившись, вскочила. В дверях бара показался князь Нагаев с распорядительским бантом на смокинге, а ей надо получить от него кой-какие данные. Да, газета — прежде всего.

— Я подожду вас здесь, если вы не соскучились со мной — бросил ей вдогонку Охотьев, и его темные, привычно оценивающие глаза продолжали внимательно следить за Варой, с бесцеремонностью журналистки взявшей Нагаева на abordаж. Сногшибательное платье, может быть, чересчур броско. Только очень красивое лицо могло бы оправдать его, но Вара вульгарила туалет. Кожа у нее замечательная, это верно. И умная женщина. Бой-баба, и с норовом. Сама пробила себе дорогу.

Что-то в глазах Вары, записывавшей в неизбежном блокноте и изредка вскидывавшей глаза на любезно скучавшего князя, не понравилось Охотьеву, и он крепче сжал в полных губах соломинку. Вара кончила интервью и вернулась, но довольно рассеянной. Скандальная репутация Нагаева была ей, конечно, известна, но она как-то не интересовалась колоритной фигурой. Сейчас впервые увидела его вблизи — и погибла. «Удар молнии», мысленно определила она. Сколько времени они разговаривали? Минут пятнадцать? Интервью заняло не больше пяти. Князь любезно сказал ей несколько рискованных комплиментов. Она просила его дать некоторые подробности о Бизерте — не на балу, конечно, где его можно застать?

— Вечерами я часто дома. Позвоните только заранее по телефону.

— Для первого раза предложение чересчур наглое, — отрезала Вара.

— А для второго?



— Об этом можно поговорить после следующей встречи.

— Что с вами поделаешь? Придется войти в расход. У «Маркиз» или в «Луне»?

Остановились на «Луне», и час записан в блокноте. Как будто она забудет! Он попросил ее все-таки позвонить еще раз по телефону, и быстро взглянув на нее, обернул ее руку и поцеловал ладонь. Вара вздрогнула и резко повернулась, чувствуя за спиной его улыбку, как горячее прикосновение к обнаженной коже спины.

— Вы мало танцуете, Варвара Димитриевна, — заметил Охотьев. — Разрешите пригласить на следующий вальс? Или предпочитаете танго?

— Сперва коктейль, потом шампанское... смогу ли я танцевать потом, Вадим Павлович?

— Не сомневаюсь. Мне кажется, вы при всех обстоятельствах сохраните трезвую голову — такая уж у вас натура.

Охотьев чокнулся и, ставя бокал одновременно с Варой, слегка задержал ее руку.

— На этой руке не хватает браслета, — задумчиво произнес он, — что-нибудь тяжелое, оригинальное и вместе с тем тонкое. И как раз такой браслет у меня есть. Нельзя изучать китайский язык и обойтись без китайских вещей. Браслет не простой, со значением. Семь богов счастья, застежка из семицветной яшмы.

— Интересно, — протянула Вара.

— На словах интереса мало, Варвара Димитриевна. Вы на деле поинтересуйтесь. Выберите как-нибудь время между вашими интервью, позвоните. Или загляните в магазин — я всегда в деле. Кстати, шелка для вязанья мы тоже держим, а вы, кажется, рукодельница.

— Да, знаю, покупала и смеялась. На одном прилавке браунинги и двухстволки, а с другой стороны хоть глаза зажмуривай — такие шелка разложены.

— Одно другому не мешает. Сталь для мужчин, а шелк для женщин.

— Устаревшие понятия, Вадим Павлович, — теперь женщины мужчинам не уступают.

— Ой ли? А я считал их уступчивей — иногда, хотя бы.

— Шампанское, Вадим Павлович! Соскальзываете с темы!

— Тему я, как купец свою выгоду, держу крепко, Варвара Димитриевна. Но спорить не буду. Случается и мужчине гладить шелк, бывает, что и в женскую ручку браунинг великолепно укладывается. Вы, думаю, не промахнетесь, в случае чего. Но браслета вам все-таки не хватает, а второго такого нет, и не ищите. Посмотрите — если понравится, уступлю. По сходной цене.

— Что значит купец! Совсем соблазнил. И по сходной цене?

— Лишнего не возьму, — вспыхнули глаза Охотьева.

— Что ж, поторгнемся.

— Торговаться не придется. Цены без запроса. Я браслет отложу для вас. Дождаться будет!

Они перешли в белый зал с гремящим оркестром. Парчевая змея Вариного туалета вплелась во вспыхивающие шелка дамских платьев. Вара была в необычайном ударе и казалась самой себе царицей бала. Маленькие глазки светились торжеством. Неожиданная встреча с Охотьевым, разговор, полный намеков, явно одержанная победа над ним,— а Охотьев не кто-нибудь! — и жгущая, как хлыст, встреча с Нагаевым волновали, льстили, звенели и в вздрагивающих синкопах танго, и в нежащем вальсе лучшего бала в ее жизни, не слишком избалованной ими. Внимание Охотьева льстило самолюбию и раздражало чувственность. Но улыбка Нагаева была сильнее. До сих пор она добилась многого. Неужели не добьется — его? Не эпизода, не случайной интриги, а настоящего романа. Нефрит принес ей счастье, недаром гном-ювелир говорил:

— Колдовской камень... нефрит исцеляет болезни и дает видеть странные сны...

Этот сон, вместе с платьем, обошелся ей латов в семьсот — раньше она зарабатывала столько за целый год... но стоит того.

Нефрит был действительно колдовской камень, и многие слова, брошенные случайно на этом балу, прозвучали потом еще раз, но совсем иначе. «Так, есть слова, но их никто не слышит»...



В жизни почти каждого человека бывает большая любовь. Нельзя требовать, чтобы один любил так же, как другой — каждый любит, как может. Природа заботится о васильке во ржи, но предоставляет душе самой справляться со своим цветением, что очень трудно. Поэтому любовь часто — слишком часто! — бывает изуродованной жизнью или людьми. Бывают и нецветущие души: калеки или просто двуногие. Их можно пожалеть, но помочь им ничем нельзя. Редкая вещь — человеческое счастье! А жаль.

Роман Вары с князем Нагаевым начался, как и большинство его романов, молниеносно, но быстро принял неожиданный и не совсем приятный для него оборот.

После встречи в «Луне», где они просидели, разговаривая больше для декорума, он привел ее к себе, и она ушла только под утро. Следующая встреча произошла у нее, но они расставались не больше, чем на сутки, и так — несколько месяцев. В течение многих последних лет Вара жила чересчур сдержанной жизнью. Теперь тело требовало своего, и с такой силой, что она и сама была удивлена, и князя, выдавшего виды, заставила прекратить встречи с другими. Обычно у него было несколько интриг одновременно. Но с Варой оказалось иначе: «очередные» отпадали одна за другой, и Вара осталась единственной. В про-

межутках между объятиями можно было поболтать с умной и развитой женщиной. Вара уступала ему в образовании, а поучать — всегда лестно. Большим облегчением были ее трезвые, практические взгляды и порядочный цинизм. Князь терпеть не мог разводить высоких материй и сантиментальности. Кроме того, Вара не обременяла его бюджета — тоже неперемное условие.

Нет, бесспорно: Вара была прекрасной любовницей, — а с лица не воду пить, но мешало другое, и этих «но» появилось так много, что он начал задумываться.

Действительно, в их романе был значительный недостаток: он видел в ней просто «очередную», а она любила его. Удар молнии был сильнее, чем предполагал князь.

На полке, обрамлявшей тахту в ее комнате, стояла его увеличенная фотография. Даже по утрам, когда Вара вскакивала по будильнику, — чуть наклоненное лицо на портрете ласково и мягко, казалось ей, как заячьей лапкой сглаживало своей легкой улыбкой шероховатость будней. Кусочек улыбки Вара уносила с собой, в промозглость улиц, трескотню машинок. Теперь скандалы в редакции стали реже, непривычная уступчивость Вары поражала всех.

Вечерами же — в ожидании его прихода, или переодеваясь, чтобы идти к нему, или даже, сидя за своей маленькой машинкой, на которой делала дома несрочный материал, — Вара отрывалась от работы, чтобы взглянуть и улыбнуться самой. Твердые губы, привыкшие быть сжатыми, раздвигались неумело и застенчиво, и маленькие глазки стыдливо щурились.

Улыбка — это нежность, не страсть. Но сантиментальность уживается наряду с цинизмом, и вывод был прост: Вара любила князя таким, каков он есть. Вара решила выйти за него замуж.

— Ось це и заковыка, — мысленно сказала она себе, без труда установив его подозрительное отношение к малейшему посягательству на его свободу. — Це треба розжуваты. — Она очень любила украинские словечки.

И она «разжевывала». Доказать князю пользу брака было так же легко, как сделать из ежа подушку. Но когда Вара примерила перед трюмо аквамаринное ожерелье — почти все женщины, бывшие у князя, примеряли его и почти все с одинаковым чувством — она не выдержала, и ее прорвало.

— Изумительная работа, — сказала она, и у нее пересохло слегка в горле. — Волшебная грань... Рыночная стоимость не так велика, поэтому ты вероятно, и не продал его до сих пор, но оно имеет еще и другую ценность: его может носить только княгиня Нагаева.

— Напрокат не сдаю, — отозвался князь.

— И притом с соответствующей фигурой. На маленькой женщине оно будет чересчур громоздким.

— Да, для него нужны твои плечи и кожа. На смуглой они тускнеют. А вот сейчас у них настоящий блеск. У тебя кожа цвета розы в молоке, что ли...

— И ты ничего не имел бы против, если я... надену его?

— Оно на тебе.

— Не надеть, а носить?

— Дорогая, мне очень трудно отказывать тебе в маленькой просьбе, но что поделаешь! Последняя женщина, носившая его, была моей матерью. Представляешь себе фурор, если ты появишься с короной на груди, под руку со мной или с кем-нибудь еще? Вещь слишком бросается в глаза, и, кроме того, известна многим.

— Могу себе представить, что после твоей матери ожерелье держала в руках не одна женщина — и ювелир. Фурор, конечно. Но ты не находишь, что его можно произвести и с основанием — стоит только сказать несколько слов...

— Какие же это рыбы слова?

— Ну... что мы женаты, например...

— Сказать можно, для развлечения. Воображаю физиономии! Звонки по телефону на следующий день. Визиты...

— Кого — ты благоразумно умалчиваешь.

— Разумеется.

— А если бы... мы на самом деле поженились?

Князь, лениво валявшийся на диване, закурил папиросу и улыбнулся.

Как все женщины одинаковы! И эта туда же... с курносым рылом в княжеский ряд!

— Я знаю, что ты думаешь, — вспыхнула вдруг Вара.

— Да? Тем лучше.

— О нет. Будем рассуждать здраво. Всеми твоими комбинациями ты еле-еле зарабатываешь, чтобы только держаться на поверхности. Комната эта, если убрать фамильную галерею и дедовские кресла — мерзкая мебелирашка. И если ты, вообще, хотел позолотить герб, то мог давно это сделать. Значит, что-то «не стимулирует», как говорят на форштадте. Теперь — с другой стороны. Красавицей меня не назовешь, но я умею одеваться и держать себя в обществе. У меня хорошая профессия, много полезных знакомств и связей. Умею вести дом и, не хвастаясь, скажу: хорошая хозяйка. Я тебя серьезно прошу... подумай об этом.

— Придется, повидимому. Но шутки в сторону, Варвара. До сих пор холостая жизнь удовлетворяла меня вполне. Для роли мужа я совершенно не гожусь, и свою свободу ценю выше всего. Прямо, так прямо. Не стоит ни думать, ни говорить об этом.

Разговор, конечно, впустую. Но любовь, как и вера, горами двигает. Нет, Вара не сдавалась. Маленькое словечко «если» —



страшное слово. На нем разбилось немало жизней. А если бы горы могли надеяться, они сами давно бы уже сдвинулись с места!



Весною несколько беспокойных дней разрешились для Вары уверенностью: беременна. Ничего особенного, конечно. Несколько дней в клинике или дома. Неприятно, денег и без того не хватает ни на что, а тут непроизводительный расход. Но зато есть повод возобновить разговор. Может быть — рискнуть даже на ребенка? Подождать два, три года... Пусть привыкнет к ребенку, убедится, что похож на него, и тогда... ну, нет! Дудки! Три года мучиться, жить под перекрестным огнем сплетен, косых взглядов, со службы тоже попросят уйти. Остаться на мели? Этого еще не хватало!

Вторая неприятность была еще более неожиданной. Вара, как приехала из Советской России, так и осталась жить по советскому паспорту. Раз в год она являлась в посольство, где ей ставили визу. Конечно, она могла получить и латвийское подданство, по матери, или получить нансеновский паспорт, наконец — но требовались бумаги, хлопоты и деньги. Метрики же она совсем не хотела показывать. Незаконные дочери фамилии отцов не носят, — скандал и сплетни. Когда-нибудь она выйдет замуж, переменит фамилию, и все уладится. Посещения посольства она соединяла обычно с кратким интервью, и никаких заминок не было.

Но на этот раз интервью затянулось. Только через два часа Вара вышла из здания посольства. Губы были твердо сжаты, как захлопнувшаяся за ней дверь, и, придя домой, она долго ходила по комнате, бесцельно переставляя вазы с цветами и снова принимаясь ходить, взволнованными тяжелыми шагами.

Из машинки перегибалась недописанная страница, кружочки клавиш чинно не двигались с места. Когда сумерки совсем надвинулись в комнату, Вара сняла телефонную трубку и позвонила:

— Ты дома? Я сейчас буду. Да, есть о чем поговорить...



По пятнам на щеках князь сразу догадался, что разговор будет серьезным, — и приготовился к отпору. Роман с Варой начал ему надоедать. Вбила себе в голову, чтобы он женился на ней — держи карман пире! Пора ее сократить.

Вара сняла пальто и бросила его на стул — тревожный признак для аккуратной женщины.

— Юрий, — сказала она, стараясь смягчить хриплость голоса: — я знаю, что ты не любишь сцен, но сегодня я еле владею

собой. Поверь, что причины достаточно основательны. Я не истеричка.

— Что случилось?

Князь сидел в резном дубовом кресле за письменным столом, под фамильными портретами в пудренных париках — такой же безразличный, как они. Вара почувствовала его равнодушие и, уже шагнув ближе, остановилась.

— Во-первых, я беременна.

— Вот как? — князь приподнял брови и сморщился. — Действительно неприятно, и как раз сейчас... У меня такой затор в делах... прямо не знаю, как выкрутиться. Как же так получилось? Давно уже? Может быть... ты вполне уверена?

— Я не прощу у тебя денег на аборт. Столько у меня самой найдется.

Он заметно оживился.

— Но в таком случае... Ты меня просто выручишь... чертовское положение сейчас! Потом, конечно, я смог бы. Когда ты думаешь? Тебе придется взять отпуск в редакции.

— Не беспокойся, — отрезала Вара, все еще сдерживаясь. — Но другая возможность тебе, повидимому, не приходит в голову?

— То-есть? Ты хочешь сказать, что я тут... непричем?

— Стыдно, Юрий!

— Ну, хорошо, хорошо. Я прекрасно знаю, конечно. Только — какой же еще может быть выход из положения?

Вара глубоко вздохнула.

— Ты никогда не хотел иметь ребенка? Сына? Наследника имени? Такого же черноглазого, как ты?

«Или такое же поросычье рыльце с подслеповатыми глазками, как у тебя», пронеслось в голове князя, но он молча закурил папиросу.

— Ты молчишь, Юрий?

— Вот что, дорогая, — решительно сказал он. — Не пытайся, пожалуйста, играть на моих чувствах и уверять меня в своей внезапной сентиментальности. Нежные чувства к тебе так же идут, как к корове седло. Ты далеко не первая женщина, пытающаяся поймать меня на эту удочку, и тебе это так же не удастся, как и другим. Вопрос, конечно, не в ребенке, а в браке... Но, во-первых, я еще настолько дорожу своим именем, что дам его ребенку только в том случае, когда буду уверен, абсолютно уверен, что ребенок действительно мой, а во-вторых, если он будет от женщины, на которой я действительно захотел, и притом сам, жениться. К сожалению, женщины слишком далеко заходят в своем равноправии и забывают, что и современный мужчина женится не по принуждению, а по собственному желанию. Я не делал тебе никаких иллюзий и не давал обещаний.

И, вообще, всякие разговоры по этому поводу бесполезны. Пойми, пожалуйста, и прекрати дуться. Ты сейчас расстроена, но это пройдет, и все может быть по-старому, если ты будешь благоразумна. Пойди ко мне...

Но Вара сама была уже около кресла, и вдруг, тяжело упав на колени, вцепилась обеими руками в резного льва подлокотника, прижимаясь к нему головой.

— Юрий, Юрий, не отталкивай меня! Ты не можешь, ты не должен смотреть на меня так... Я не играю сейчас, я просто цепляюсь за тебя, как за соломинку... Я не все сказала — сегодня... вот сейчас, здесь, должна решиться моя судьба — понимаешь, это не газетная фраза, о Господи! Если ты не оттолкнешь меня, если ты женишься на мне, я стану другим человеком. Я все сделаю для тебя, все. Не отталкивай меня, ведь ты же видишь, что со мной делается, и это я, со своей выдержкой! Ты сам не знаешь, на что ты толкаешь меня. Ведь я люблю тебя, по-настоящему люблю! Юрий, помоги мне, ты не раскаешься в этом, хоть как человеку, помоги!

Хриплые, бессвязные слова, как рыданье, заглушались его коленями, на которые скользнула голова Вары, и князь положил ей руку на вздрагивавшие полные плечи, с гримасой покуривая папиросу. Ни слез, ни утешений он терпеть не мог. И чем ее проняло так, ошалевшего бегемота? И почему она не умерла маленькой?

— Успокойся, Вара, успокойся, — механически произнес он. — У тебя, действительно разошлись нервы. Тебе нужно взять отпуск в редакции, и поехать на взморье. И я бы приехал туда — когда все это кончится... Мы могли бы прекрасно провести время, а, как ты думаешь?

Вара вскочила, как будто на дыбы поднялась.

— Ты бы еще шоколаду предложил! — прошипела она и синеватая муть свиных глазок потемнела совсем, съежилась, как гвоздь. — Да, знаю тебя, знаю насквозь! Нежности, жалости, — да простого человеческого чувства разве выпросишь у тебя? Хоть в лепешку расшибись, хоть сердце наизнанку выверни, под ноги подстели! Даже топтать не будешь, а с папиросы пепел стряхнешь только! Ваше сиятельство! И все вы такие, все! И отец мой был такой же и... Очень уж я тебя любила, если даже в порядочность поверила! Семейная галерея у тебя настоящая, а дальше уже галерка идет! А если так — так и мне не по пути! Не все ли равно — ты, другой, другие... не со мной, так с другими — одинаковая сволочь!

Последнего взрыва князь давно уже дожидался с нетерпением. Он молча встал и подал ей с любезным поклоном пальто. Вара рывком схватила его, взглянула на князя и явно колебалась мгновение. Он уже слегка отшатнулся, угадывая ее намерение, но Вара опустила судорожно дернувшуюся руку, схватила

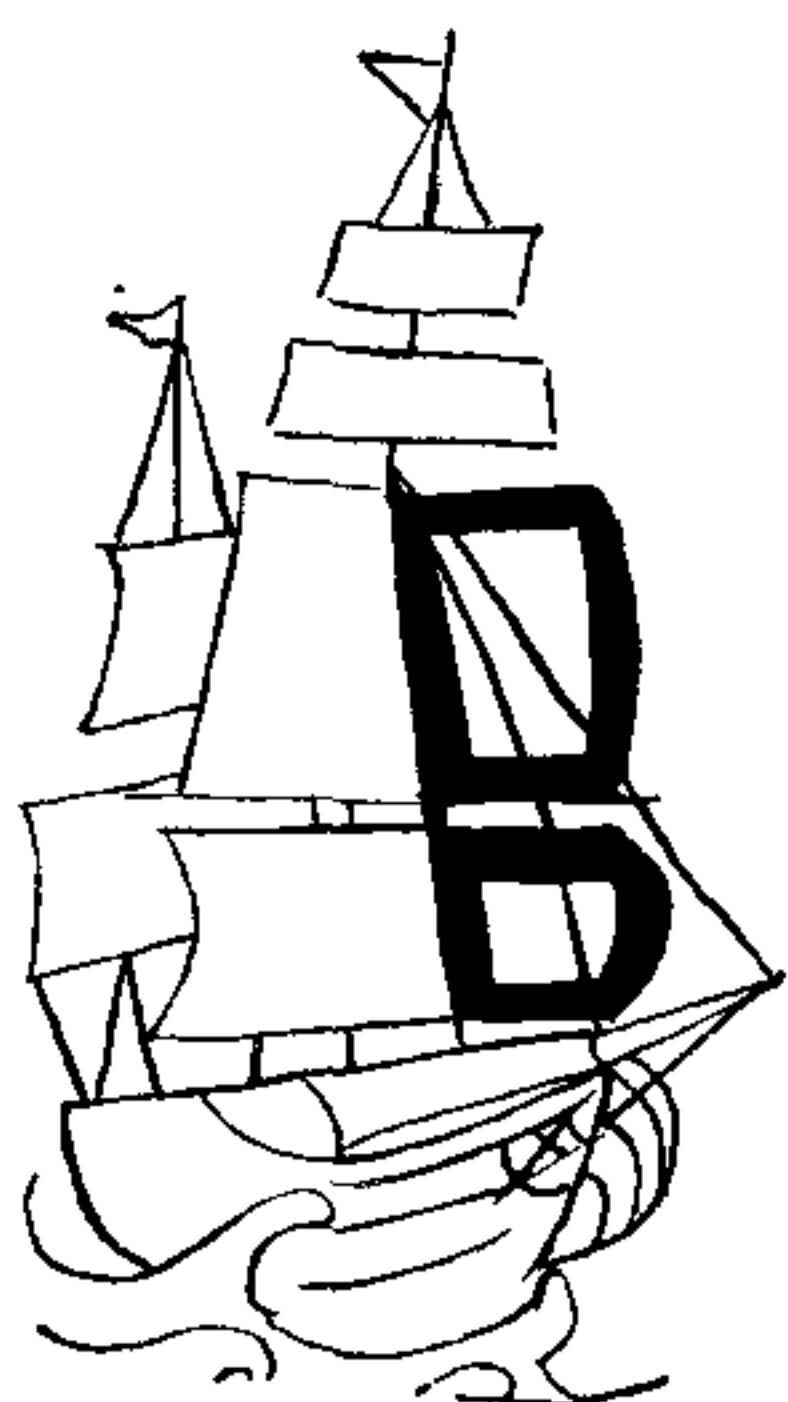
со стола перчатки и сумку и вышла не оглядываясь, с такой жестокой, странной и торжествующей улыбкой, что князю стало на минуту не по себе.

— Уф! — произнес он, наконец, и подойдя к двери, два раза повернул ключ. — Отделался, наконец! Но чего это стоило...

Да, этого он не знал. Только Вара, пока еще смутно, предугадывала, чего будет стоить сегодняшней вечер. Сама она не могла решиться. Предоставила ему вытянуть жребий. Он решил, и будь он проклят, и все вместе с ним!

Вара быстро шла домой, и под твердым стуком ее каблуков жалобно позванивали широкие каменные плиты. Может быть, камни знали тоже — но камни молчат. «Так есть слова, но их никто не слышит»...





от медленно, поскрипывая валенками, позванивая бубенцами санок, шурша золотыми и серебряными звездами, подходит Рождество. Рождество в Балтике самый большой праздник, улыбчивый. Рождество в старой Риге — стоит пережить!

Начинается с «адвентов». За месяц уже в витринах цветочных магазинов, на базаре, на углах у торговых появляются венки из темной зимней зелени. Подснежная брусника, шишки и дымчатая голубизна калифорнийской ели. Венки перевиты лентами, и в них воткнуты четыре нарядных свечи. Их вешают под лампой или кладут на середину стола. В первое из четырех воскресений, оставшихся до Рождества, зажигается одна свеча, потом прибавляются остальные. Это — предвозвестники елки.

К середине декабря на Эспланаде, на Марсовом поле, позади коричневого византийского собора в голубоватых куполах, уже утоптаны дорожки, и по ночам горят костры в елочном лесу. Вокруг всего поля тянется лес елок, на крестах или просто в сугробах, и по ночам сторожа греются у костров, над оранжевыми искрами топорщатся ушастые шапки.

Поперек поля выстроились веселые ларьки благотворительного базара. Все эти елочные украшения, яблоки и свечи можно купить в любом магазине. Но на базаре надо непременно побывать.

Под народные песенки, марши и вальсы — все на один разъезженный, вроде рубленой капусты, темп — крутится и звенит карусель с гривастыми крутобокими лошадьми, пышными лебедями и крохотными автомобильчиками. В двух-трех ларьках идет лотерея. Мальчики толпятся у тира. Елочные игрушки сверкают, как ювелирная витрина, и свечи, свечи! Витые, гладкие, белые, цветные...

В конце ряда ларек, слышный уже издалека особенно вкусным на морозе запахом сладкого, чуть подгоревшего масла: пекутся вафли, и тут же набиваются взбитыми сливками, по десять сантимов штука.

Нет ничего вкуснее поджаристых, хрустящих, тающих во рту вафель на Рождественском базаре! В Риге строго соблюдаются приличия, и не принято есть на улице — разве только мальчишкам, но для вафель снимаются и варешки, и лайковые, замшевые перчатки, горячие вафли греют озябшие на морозе руки. На всех лицах немного смущенная веселая улыбка: ничего не поделаешь — рождественский базар!

В первой неделе декабря готовы уже все витрины. Нет ни одной, хоть с кастрюльками или чулками, где бы не было вокруг подмерзающего стекла снежной рамки из ваты и шишек. В колониальных — на мешках с мукой, среди изюма и компота, усаживаются седобородые гномики и подмигивают прохожим. В каждом магазине горит нарядная елка и картонные деды-Морозы в шелковых и бархатных шубах предлагают товар. В кондитерских марципанные мухоморы, боровички и пряники: толстые, с прослойкой, орешками, с миндалиной — знаменитые рижские пфефферкухен: из медового жирного теста с корицей, гвоздикой и сладким перцем. И огромные пряничные сердца, нарядные, как куклы, в сахарных фестонах и со сказочными картинками.

Солидные фирмы устраивают специальные витрины, щеголяют выдумкой. На стеклянном льду скользят парочками куклы в народных костюмах, в заснеженном лесу стоит домик со светящимися алыми окнами, и мимо них катается на санках с бубенцами старый гном. У Фиреке и Лейдке — старинный магазин игрушек — громадная витрина железной дороги. У Герке — какая рукодельница не знает Герке? — стильные ампирные куклы, в кринолинах и буклях, жеманно пьют кофе за нарядным столом. И еще, и еще... А уж в конфетных магазинах — так просто рябит в глазах! Шоколадные фигурки в станиоловой бумаге — и хвостатые бахромчатые конфеты бесчисленных сортов.

В крупных фирмах взяты дополнительные служащие. Все, от директора до рабочего, получают награды. В третий адвент — «золотое воскресенье» — магазины открыты с утра до вечера, и во многих не протолкаться. Все улицы полны народом с пакетами в цветной бумаге, с елочками и нарядными ленточками. Рига в эти веселые предпраздничные дни — картинка из роскошно изданной сказки. Неровные булыжники старинных улочек, плесень и летняя пыль застланы снегом. Башни, тяжелые арки ворот, карнизы домов разрисованы белым, на широком асфальте новых улиц уютно звенят санки, и огни повсюду, огни.

И один только шаг с нарядной, брызжущей огнями Известковой в хитроумный клубок Резничной, Королевской, Грешной улиц, в нетронутое средневековое Конвента Святого Духа у Иоганнес — кирки, со сводами ворот, шириною с дом, с каменными голубями на вытертых столетиями стенах — в замороженную тишину, зовущую и шепчущую... Вот скрипнул о чем-то позолоченный крендель булочной у ворот, и замигал старый фонарь.

Везде — сказки, потому что это — Рига под Рождество, и в ней не может быть иначе.



Траур в семье Грушевских продолжался недолго. Смерть сразу по получении так давножданного наследства, казалась трагической насмешкой. Но настоящего горя она не могла вызвать. Дочери Елизаветы Михайловны пугали ее своим ростом. Они жили рядом, совершенно не задевая друг друга. Пустоты после ее смерти не оказалось: все только больше сплотились вокруг Джан, считая ее, без всяких рассуждений, главой семьи.

Сразу же после похорон начались поиски дома. Решение было принято еще до того, как Джан вошла на крыльцо; достаточно было уже тихой улицы, выходящей от Мельничной к Выгонной дамбе, калитки в каменной стене в большой запущенный двор, поросший бурьяном, и дорожки с тремя облетающими кустами. Дом стоял в глубине, бледно-зеленый, с облупившейся краской, выступом подъезда в цветных стеклах. Громадная липа почти закрывала сучьями прогнившую баллюстраду маленького балкона, выходящего на крышу подъезда широким полукругом.

Пятна от картин и мебели на обоях, потрескавшиеся печки, довольно крутая деревянная лестница, загибавшаяся из передней наверх в мезонин, большая несуразная кухня, выходящая на другой двор, поменьше, с зеленой живой изгородью — производили довольно убогое впечатление. Но дом был уютен. Модная, комфортабельная вилла была бы меньше по душе Джан. Все готово, предусмотрено, и нет ни одной щелочки для собственного творчества, от чего любые стены оживают и говорят. А здесь...

Внизу было шесть комнат и одна маленькая. Наверху мезонин. Достаточно.

Стояла уже середина октября, и с ремонтом надо было торопиться. Следующие три недели все валялись с ног и проклинали выдумку Джан. Получив наследство, можно было бы взять маляров! Но Джан была неумолима. Платить другим за то, что можно сделать самим — значит, выбрасывать деньги на улицу. На эти деньги лучше купить у Вагнера кустов: ягодных, сирени, жасмина и посадить перед домом, чтобы двор не был пустырем. Да и деревьям прихватить. Но Вольта, слонявшегося без дела, пришлось все-таки взять для лишней пары рук: уж очень хотелось переехать!

К ноябрю, ко дню «Всех душ», когда на рижских кладбищах зажигают на могилах свечи перед цветами и венками, и туманы пелестят совсем уж облетевшей листвой, — в серенький, грустный и мягкий день все утряслось, высохло, установилось, и полковник с Ладой, Эль и Екатерина Андреевна были приглашены на пельмени. Пельмени на такую семейку приготовить нелегко, но деятельно помогала Маруся, приведенная во время ремонта Вольтом.

Вопрос о прислуге был сложным. Неизвестно, как приживется в доме чужой человек, и хочется, чтобы он был своим. Вольт обещал привести замечательную женщину.

— Чудная хозяйка, играет на гитаре и очень нуждается, — перечислил он все необходимые качества.

— Меня зовут Мария Ивановна, но это так ужасно, что пожалуйста, зовите меня, как и все, Марусей, — заявила маленькая худенькая блондинка с локонами, в шляпке с вуалью и стареньком, но изящном пальто. Ей было сильно за тридцать, и она походила на потрепанную куколку или взъерошенную пичужку с чуть выцветшими глазами институтки и усталым ртом. Трогательно и, казалось бы, не так уж безнадежно. Джан решила попробовать.

Маруся сразу освоилась и понравилась всем. Катышка одобряла ее институтское, хоть и приторное немного, «обожание» Джан. Бей и Кюммель очень быстро выяснили, что Маруся совсем не прочь приложиться к рюмочке, и очень компанейская. Вероника и Эль первый раз в жизни сошлись во мнениях: именно такой дуры еще не хватало для полной коллекции уродов! Но все согласились в одном: работала она, не дожидаясь указки, распевая романсы и поспевая повсюду.

\*\*\*

— Место очень удобное, — одобрил полковник. — Центр в двух шагах, мастерская рядом, а вместе с тем отсюда ничего не видно: забор, деревья. Сирень еще вырастет. И для конспиративной квартиры хорошо! Калитка с одной улицы, а выход из кухни на другую, да так запрятан, что я не сразу нашел бы.



— Вечно ты, Кир, несуразное городишь. Для чего Джан или Бею конспиративная квартира нужна?

— Никогда, мать моя, нельзя знать, что пригодится, а на что наплевать, — внушительно отвечал полковник. — Я, как старый контр-разведчик, сразу вижу, что и к чему.

Действительно, в мезонине было второе окно, выходившее на крышу над кухней, и Инночка уже лазила вверх и вниз.

— Устроились вы хорошо, — продолжал полковник. — Но, насколько я знаю Надежду Николаевну, разве она успокоится? Рождество еще...

— Сразу видно, Кирилл Константинович, с каким почтением Джан относится к вам, — вмешалась Эль. — Даже ее Рождество затронули, и она не фырчит, как кошка. В семье Тугановских это культ и священнодействие. У всех людей просто: поставили елку, повесили побрякушки, зажгли свечки. Подарили ребятам, чтобы ломали и рвали. А у нее...

— А у меня сказка входит в дом и ворожит во всех углах. И так и должно быть. Если бы люди побольше думали о таких вещах, то жить было бы действительно радостней и веселей.



После школы Инночка отправлялась с этой осени в балетную школу. Да, у Инночки были и способности и неудержимое стремление не только танцовать и кувыркаться, но и с очень серьезным видом терпеливо проделывать упражнения. Небольшая светлая комната была теперь в ее полном распоряжении. Детская вышла игрушкой.

— Великий человек на малые дела! — поддразнивал Джан Бей, и это было так.

У Бея было теперь ателье с тахтой, на которой он и спал — кровати Джан изгнала из употребления. Пресловутый серебряный самовар чувствовал себя очень уютно в столовой с камином и огромным семейным диваном из двух матрасов углом. У каждой сестры было по комнате, где они могли применять свои способности. Маруся устроила себе «будуар» на кухне и не могла налюбоваться на пуфы с оборками, хотя Джан качала только головой. Сама Джан поместилась в мезонине, «чтобы мне никто не мешал». Мешали, конечно, все. Столовая и мезонин были сборными пунктами.

Но, Боже, какое счастье! Впервые за столько лет не таскаться с кастрюльками! Можно было обедать каждый день за настоящим круглым столом, по-человечески! Чаю в мастерской пили меньше, но «салон» существовал попрежнему.

Перед Рождеством самый главный вопрос — подарки. Начались шушуканья. Уменье дарить — талант, определяемый сердечностью и способностью понимать других.

Семейный совет происходил в вечер второго адвента перед камином. На решетке стоял горшок, и в нем пеклись яблоки. На-

дя тыкала в них вилкой, чтобы поскорей, а сестры сидели на диване, держа наготове блюдечки с сахаром. Свет не зажигался.

— В сущности, что тут особенного? — сказала расчувствовавшаяся Вероника. — И домов таких в Риге много, и людей богаче нас сколько угодно, и вечер мерзкий, не то туман, не то дождь. Так что же? Или потому, что мы столько нуждались и теперь радуемся каждому пустяку, или Джан, действительно, умеет ворожить. Поет кругом!

— Душа поет, вот что, — отозвалась из полутьмы Джан.

Подарки распределялись дружно — отсутствующим. Но, когда яблоки были съедены, Катышка хитро прищурила глаз и таинственно зашептала за спиной отошедшей Джан:

— После ужина приходите ко мне.

Катышка придумала общий подарок, и никто не ожидал от нее такой прыти, хотя о долголетней мечте Джан знали все. В рижских антикварных магазинах было несколько красивых вещей, которые выставлялись годами, но их почему-то никто не покупал. Так было и с этой жемчужиной. Громадная, сантиметра в три, неправильной формы груша в овале из мелких бриллиантов. Футляр переходил из рук в руки и все с гордостью любовались: вот какой подарок получит Джан — за все эти годы!

Поющим было это Рождество. Сугробы наконец выпавшего снега улеглись на дворе, бубенчики зазвенели на улицах, и зеленый деревянный дом звенел и пел всеми окнами.

За день до Сочельника Джан закрыла мастерскую. В доме и без того царили чистота и блеск, но без праздничной уборки нет настроения: чистили.

Пфэфферкухены Джан решила печь сама — сколько хватит рук. Ореховое печенье, маковая вертута, неизбежные пироги с мясом, с капустой, с рыбой. Мятные пряники. Кутья. Окорок телятины, вареная ветчина, гусь, поросенок, закуски, традиционные щи из кислой капусты с лососиной, свиной холодец, рыбное заливное, королевский пирог. На кухне месится, толчется, шипит и булькает. И пахнет. Бей просовывает в кухню голову и руку, чтобы ухватить что-нибудь и стащить вкусное. Не забыли ли винегрет приготовить? Но навстречу сразу град вопросов:

— Бей, цветы заказаны? Бей, как с елкой? Бей...

Бей зажимает уши и скрывается, но не надолго. На этот раз он является с подкреплением в виде Кюммеля.

— Джанум, Эль обещала непременно придти в Сочельник, как всегда, и Петел тоже придет! Ты, конечно, ничего не имеешь против?

Это Кюммель, сияющий полнолунием.

Джан смотрит на него, потом медленно снимает со лба прилипшие рогульки волос и мажется при этом мукой.

— Пе-тел? Это номер... И в Сочельник? О Боже ж мой...

— Джанум, пожалуйста, не волнуйся. Петел уже великолепно умеет себя держать и вообще он молодец.

Но Джан все еще качает головой.

— Эль и Петел... ну и ну!

Утром Джан просыпается, и сквозь закрытые еще веки видит: Сочельник сегодня... День, как на заказ: мягкое небо, снег. Завтрак постный. Обед не полагается вовсе — до звезды не едят. Бей с Лавриком втаскивают раскидистую елку в свободный угол столовой. Сразу пахнет снегом, смолой. Елка в доме!

Джан любит их пестрыми. Картонажи, цветные шары, мандарины, золоченые орехи, стеклянные и ватные мухоморы, шишки. Все забрасывается золотым и серебряным дождем, ватой-снегом. Крест заложен мхом, с одной стороны пряничный домик с бабой-Ягой, с другой — гном среди пряничных мухоморов и боровиков, посередине ясли и пастухи с волхвами. Это новость, католический обычай, и строгая в этом отношении Вероника посматривает сбоку, но Джан — язычница, ей все равно, лишь бы сказка.

Есть еще елки. Две втыкаются в сугробы у крыльца, на них тоже звезда на верхушке, и дождь. Маленькая совсем наряжается для середины стола, который раздвинут и покрыт рождественской скатертью — вышила Джан, наконец, свои шишки и свечи цветными шелками на бледно-зеленом фоне.

От цветов уже запах по всему дому. Сирень и ландыши, мятные пряники и пфефферкухены, хвоя и лаванда — это запах Рождества.

Уже темнеет. Джан насыпает щедрой рукой в блюда пряники всех сортов, орехи, конфеты. Блюда разносятся по комнатам — строгий наказ ничего не есть! Но строгий голос Джан никого не пугает... Громадное пряничное сердце, величиной с колесо, вешается на елку. Вот уж от него ни кусочка никому до самого Крещенья! Рождественский пирог убран цукатами не так красиво, как в кондитерской, но выглядит аппетитно, и вокруг него Джан обводит зубцы золотой короны, зашлифовывая булавкой.

— В этот Сочельник в королевский пирог запечен настоящий золотой, — заявляет она. — Да, пятирублевая монетка!

— Я хочу золотой, я хочу! — прыгает Надя, как маленькая.

— А я поковыряю и вытащу, — хитро подмигивает Бей, и хотя никто не решится на такую наглость, но интерес сильно повышен.

— Свечи еще в подсвечники, — устало вздыхает Катышка. — Джан, а елка для птиц?

— Да, Юль-то! Скандинавский Юль! Снопа у нас, как всегда нет, просто воткнем ветку в крышу, или на балконе можно — и насыпем крупы.

— Я подумал и купил овса на форштадте! — кричит Бей из соседней комнаты.

На балконе сыплют, расчистив снег, угощение птицам. Катышка обходит весь дом с коробкой толстых цветных свеч с нарядными золотыми арабесками и распределяет их по подсвечникам. Темно уже, давно горят лампы, но сегодня, по обычаю, ни ставень, ни штор нельзя закрывать — может быть, какойнибудь случайный гость придет на огонек.

— Господа, если мы не оденемся сейчас, то опоздаем в церковь!

Вот тоже один из волнующих моментов. Джан одевает Инночку и сажает ее, как куклу, на диван.

— Подумай о самом хорошем, и посмотри на небо...

Наверху Джан прикладывается на тахту, но сразу вскакивает. Забыла! Надо разложить повсюду приготовленные журналы и сказки, развернуть на самых красивых картинках. И на почетном месте алая с золотом книжечка — «Рождественская песнь» Диккенса. Вот теперь комната приобретает нужный тон. Джан ложится снова на пять минут, чтобы выкурить папиросу, и улыбается в полусвет. Сине-белое окно на балконе, переплет сучьев, как аллея к Белому дому, и в нем будет такой же Сочельник, еще лучше.

Джан одевается, тщательно «делает» лицо. Платье уже разложено Марусей — давно мечтала о таком. Серебристо дымчатый пан стелется по полу. Жаль, что к нему нечего надеть. Жемчужина пропала — купил кто-то... а серьги — будут еще. Но, может быть, тогда они не доставят столько радости, сколько дали бы теперь? — холодком заползает мысль. Наследство запоздало... но она добилась всего сама, и гордится, счастлива, да. Джан отходит от зеркала.

На полке у тахты, в хвойных ветках, запутался тонкий стеклянный кораблик и звенит, поблескивая перламутром. Корабли, Джан! Джан поворачивается к углу, где перед иконой мягко и ровно горит лампадка, и крестится широко:

«Господи, благодарю Тебя за все! Сохрани, Господи, счастье дому!»



Торжественная служба в соборе. При выходе на паперть, широкие аллеи бульвара, черно-белые на синем, прояснившемся небе, с легким пухом изредка падающих, неизвестно откуда, снежинок, кажутся особенными и новыми. Во всех домах вспыхивают мягкими искрами окна: зажигают елки.

Перед закрытыми кинематографами и ресторанами — елки. У ног полицейского, регулирующего движение — елочка и груда пакетов, подарки автомобилистов: новый, сразу подхваченный Ригой обычай. И над всем городом — торжественный, гулкий перезвон церковных колоколен.

Бимм... бамм... бомм!



В передней на вешалке висят уже чужие пальто. Румяный Петел, широко улыбаясь, целует руки сестрам, «совсем как большой» — улыбается про себя Джан. Двери в столовую закрыты. Джан с Беем зажигают первую свечу от лампы, и елка вспыхивает таким великолепием, что все, войдя, дружно ахают и, спохватившись, поют тропарь. Под елкой навалены большие и маленькие пакеты, с записочками, кому. Инночка еле разворачивает самый большой — двухэтажный кукольный дом, и дальше уже не в силах. И чего только нет! Не просто купленная вещь, а облюбованно, хитро выпрошено, чтобы мечта, желанное — на вот, получай под елкой! На полу уже обрывки бумаги, но остался еще большой пакет. Это для Джан. До сих пор она стоит в стороне, любуясь другими. Теперь придется разворачивать самой. Каравелла. С Мадонной и крестом на поставленных парусах: старинный кораблик вырезан из дерева и раскрашен. Какая прелесть!

— Корабли должны быть с грузом, — многозначительно замечает Бей, когда Джан собирается уже, налюбовавшись, поставить корабль на буфет пока.

Еще? Да, в каравелле маленький пакетик, она не заметила сразу. Джан разворачивает папиросную бумагу, и футляр чуть не падает у нее из рук. Ее жемчужина!

... Хорошо, когда в Сочельник кто-нибудь не может сразу сказать слова, от радости, а остальные смотрят на него с сияющими улыбками. Вот тогда деды-Морозы и заглядывают в окно и кивают головой, а какой-нибудь гном непременно раскачивает колокольчик на еловой ветке, и он звенит: а мы знали, а мы знали, динь-динь!

На столе горит одна свеча перед прибором Джан. Петел спрашивает Эль, но та отвечает громко:

— Это вы, Петр Елисеевич, у хозяйки спросите, она колдует. Я не помню, чтобы раньше свеча горела...

— Раньше мы все были в сборе, — поясняет Джан. — Свечу у елки зажигают каждому, кто должен был быть, но не приходит — и не придет. Чтобы в огоньке этом — быть вместе.

— Только покойникам, или живым тоже можно?

— И тем и другим. Всем близким. Вот Лаврику я не могу зажечь, потому что он должен сейчас явиться. С елкой я не могла его ждать, но королевского пирога без него резать не будем.

Лаврик является сияющим, с гитарой, шутками и поцелуями, ест все сразу, и не дает Джан покоя, пока она не берет за золоченый нож. Надя включает радио, и комната наполняется хоралами и перезвонами колоколов. Внимание! Кто будет королем?

Джан, стоя, пересчитывает всех за столом. Пирог надо резать на столько кусков, сколько человек в доме, и еще один

лишний — для случайного гостя или для нищего. Каждый получает свой — и смотрит.

— У меня! У меня золотой! Я король! — неистово вопит Лаврик, и Джан надевает ему на голову золотую корону и приседает в придворном реверансе до полу, картинно раскинув складки платья.

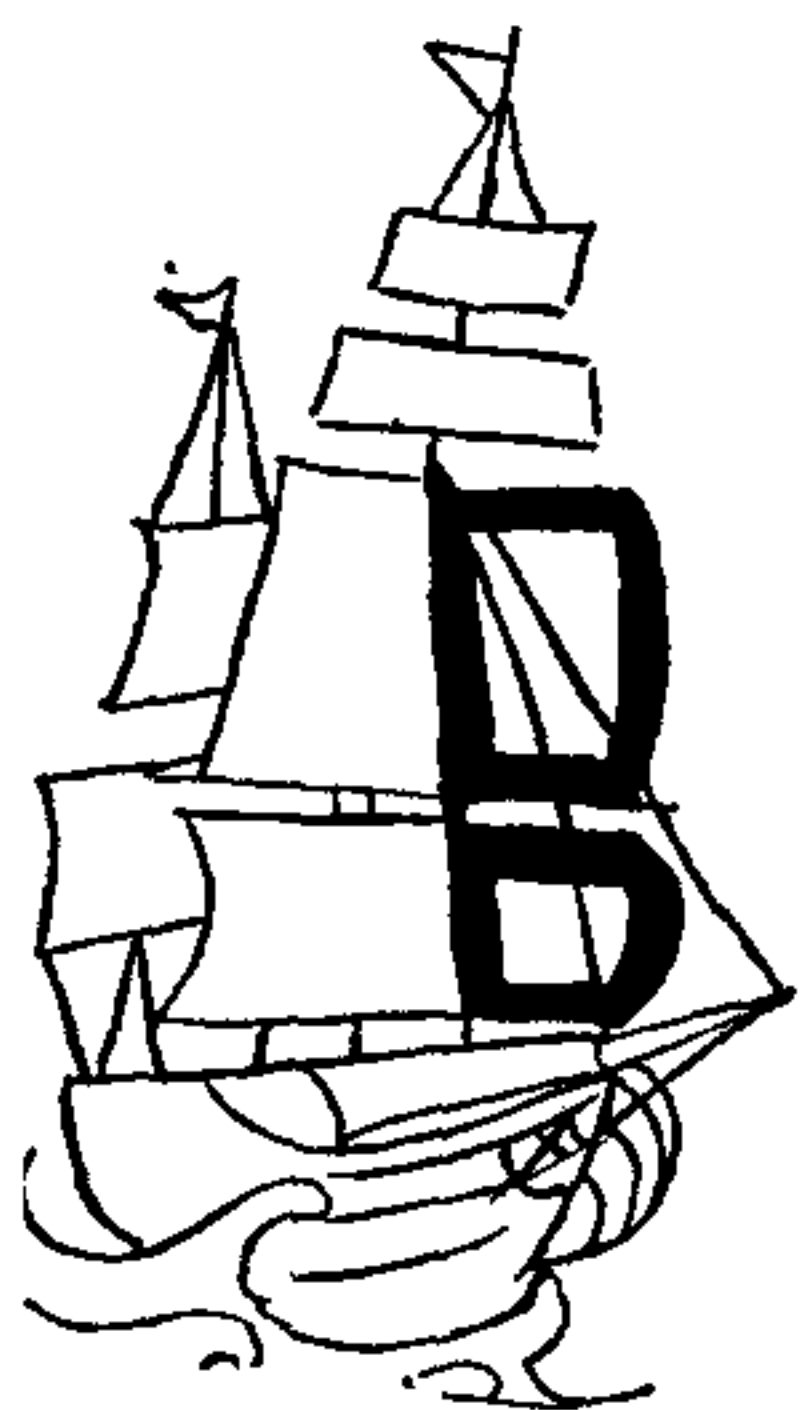
— Да здравствует его величество святочный король!

— И теперь все должны исполнять мои желания — правда? А первое из них — пьем на брудершафт, Джанум!

Потом был глинтвейн и рождественские «заедки» — удачно напомнил хорошее русское слово Петел, на самом деле не испортивший вечера. Слушали радио, играли на гитаре, читали стихи и сказки. В 2 часа ночи уже, решив что больше случайного гостя не может быть, положили на поднос оставшийся кусок пирога, закуску, вино — и пошли торжественной процессией искать нищего. Но не было ни нищих, ни замерзающих мальчиков на ночных, совсем тихих улицах. Долго смеялись и бродили, пока отыскали, наконец, ночного сторожа и угостили его.

Потом была еще целая неделя святок, с поздним вставанием, долгим сидением по вечерам. Приходили гости, устроили ряженых. Были и совсем тихие часы тоже, когда можно было слушать, как идет снег, и смотреть в окно на его круженье. Да, это было замечательное Рождество, и все так радовались, что наконец, провели чудесно праздник — начало многих других

И никто не знал, что это было последним праздником в Старой Риге.



женщине перемена прежде всего скажется в ее платьях. Простой дождевик этой осенью был очень показательным. Бальные туалеты постепенно переходили на пыльные тряпки. Эль ударилась в другую крайность — дешевку с Мариинской улицы, а это не улучшило ее вкуса. Красилась она попрежнему, но уже не так ослепительно.

— Чего ты это так опростилась? — заметила Джан, когда и на Рождество Эль появилась в юбке и блузке.

— Не всем же, дорогая, мечтать о белых усадьбах! — отрезала Эль.

Джан привыкла, что несмотря на долголетнюю дружбу, о многих вопросах с Эль лучше не говорить, но все-таки каждый раз вскипала от такого тона.

— Совершенно верно. Мы строим свою жизнь и дом, как нам хочется, своими руками, никому не мешаем, никому своих взглядов не навязываем, и считаем, что имеем такое же право на уважение со стороны других!

— Только не с моей!

— Можешь ты мне сказать раз в жизни, почему именно?

— Таким, как ты, бесполезно. Ты погрязла в материализме, а я опростилась. Дороги у нас разные.

— Жаль, Эль. Я думала, что с годами мы больше поймем друг друга. Казалось бы, в главном мы должны сойтись, а получается наоборот. Я нахожу в евангельских притчах новый для меня, глубочайший смысл — ты вообще отрицаешь все религии. Первый закон для всякого, проникшегося хоть сколько-нибудь оккультизмом — терпимость. А у тебя на каждом шагу — «белогвардейская сволочь».

— О настоящем оккультизме тебе смешно и говорить!

— Ах, Эль! Иногда человек всю жизнь бьется, чтобы придти к настоящему. Одно я знаю твердо: в холоде не может быть правды. Помнишь, как розенкрейцер, натренировавший волю, знающий формулы, не мог, со всем своим знанием, сделать для умирающего того, что сделала молитва — от живого человеческого сердца — бедного сельского священника? И ты можешь честно сказать, что твое восприятие тебя удовлетворяет?

— Конечно.

— Тогда, конечно... вздохнула Джан.



В лабораторию к Эль Джан не заглядывала теперь по месяцам, и поэтому для нее было большой новостью, когда на звонок открыл Петел.

— Елена Владимировна вышла на минуту, Александр Робертович в городе. Заходите ко мне погреться.

Сияя широкими щеками, он распахнул дверь в пустовавшую раньше комнату около кухни. Тахта, стол со скатертью, новенькое радио, чисто, тепло.

— Я и не знала, что вы тут. И так хорошо устроились!

— Чего же комнате пропадать? Конечно, одному без хозяйки не то. Вот собираюсь купить еще у вас сервиз, а то неудобно. Предложу вам чаю сейчас, а чашки разные, да и грубые очень.

«Ого!» подумала Джан. «Петел образовывается!»

— Не хлопчите, я ненадолго. Образцы принесла. Работы много.

— Зато и дело поставили. А вот Александр Робертович как двадцать лет тому назад начал, так и теперь — помаленьку. Не утруждается. Вы — человек заботный... Дом строить собираетесь?

— Во всяком случае, свою усадьбу завести... но это еще не скоро.

— Можно? — раздался театрально ласковый возглас Эль, и, не дожидаясь ответа, она вошла с неизменным портфелем.

— Просто не поверила, когда услышала на кухне твой голос, Джан. Вот мило, что зашла! С новыми образцами, да? Киса в городе, ты оставь. Я очень рада. Прошлый раз мы с тобой поцапались немножко, но ничего не могу поделать с собой, должна



говорить правду. Ты не сердишься? Петр Елисеевич, ты бы угостил нас чем-нибудь! Я так замерзла. Я как раз купила, как будто предчувствовала редкую гостью...

Петел поморщился, когда из портфеля появилась бутылка и закуска, но ничего не сказал и только, когда Эль вынула из шкафа рюмки, отодвинул свою:

— Я не буду, Елена Владимировна. Вы уж мой нрав знаете.

— Вот, не поверишь, — улыбнулась Эль, обращаясь к Джан, — никак не могу отучить его от привычки мастерового выпивать только после получки! По субботам он сам приносит, а в будни — не уговоришь!

— Голова у меня слабая. В воскресенье выспаться можно, а так чего же.

Петел покрутил головой, как будто показывая, какая она у него слабая, и при взгляде на нее, такой же чугунный шар, как и его кулаки, Джан широко раскрыла глаза. Ну и ну!

У Петела нашелся лимон, и они с Джан вышили грогу. Эль только запивала грогом водку, и эта сценка была очень показательна. Через полчаса зашел Кюммель, очень холодно встреченный Петелом и подчеркнуто ласково — Эль. Кюммель отправился провожать Джан домой. Ей хотелось пройти пешком, и он семенил рядом.

— Однако! — сказала Джан еще на лестнице. — Я сплетен не люблю, но этого я все-таки не ожидала. Не она уже его, а он ее в ежовых рукавицах держит... Белль Эль! Кто бы мог подумать?

— Ты ничем не интересуешься, — уныло подтвердил Кюммель. — Пока тебя носом не ткнут, да и то не всегда поверишь. Бей и Маруся, например... Да что говорить! Вы с Александром Робертовичем — два сапога пара. «Кисанька» тоже радуется, что его Леночка пить перестала, гораздо меньше, во всяком случае, и считает, что мое отсутствие влияет на нее так благотворно. А меня Петел взял и спустил с лестницы, когда мы последний раз с Элюшкой назююкались. Она мне тогда еще о своей несчастной венской истории рассказывала, и чуть не плакала, что этот мужик ее скоро бить будет. Открыла самородок, воспитала талант себе на голову! Я из-за этого самородка все ступени на лестнице своими боками пересчитал. Два дня дома отлеживался, даже репетицию пропустил.

Джан остановилась посреди улицы и хохотала до слез.

— «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!» — так же уныло махнул рукой Кюммель. — Подожди, еще не то увидишь. Только помани мое слово — ничего хорошего не будет!



Что сказал бы Гунар, если бы знал? Одно время Эль часто задавала себе этот вопрос, и ей казалось, что она стала жертвой собственного отчаяния. Но жертвы не было, и вопрос умолк.

Вначале история казалась одной из многих. Воспитывать самородок на одних собраниях стало скучно. При долгих разговорах вдвоем, вечерами в лаборатории, Петел не отказывался в то время пить, и не ссылался ни на субботы, ни на слабую голову. Осмелел он не сразу, а приглядевшись основательно, но когда сгрел, то Эль почувствовала, что из этих медвежьих объятий вырваться будет трудно. Выпускать же ее он не собирался.

Петелу было тридцать лет. Он знал свое ремесло, был неглуп, честолюбив, и просто мастеровым оставаться всю жизнь не думал. В рабочие подпольные круги он попал случайно и увидел, что стать заметной фигурой в профессиональных союзах — не плохо. С другой же стороны, если из общественной работы ничего не выйдет, то можно и свое дело завести. Эль была ему помощницей и в том и в другом. Учился он у нее всему, а практической сметки и энергии у него было гораздо больше. Кроме того, он любил Эль, а с мужем считаться не приходилось. Смотрел бы получше, размазня!

Кюммель давно уже покачивал головой. «Каприз королевы» затянулся, но кулачищи Петела внушали ему почтение. От этого поклонника из народа будет, пожалуй, потруднее избавиться, чем от других. Он уж к нему, Кюммелю, относится свысока!

Взрыв произошел неожиданно. Эль сказала Петелу, что у нее болит голова, а сама осталась в лаборатории с Кюммелем. Петел тогда еще не жил там, но, пройдя мимо, увидел свет и позвонил. Кюммель, несмотря на протесты Эль, пошел открывать — и был сразу же схвачен за шиворот, как тряпка. Петел одним взглядом оценил положение.

— Вот что, — сказал он довольно спокойно, слегка потряхивая в воздухе беспомощно болтавшим ногами Кюммелем: — слов я с тобой тратить не стану, но, если еще раз застаю тебя здесь с бутылкой водки — то превращу в мякиш. Понятно?

Вслед за этим Кюммель был вышвырнут за дверь. Эль молча сидела со злыми глазами и смущенной улыбкой. Петел подошел к столу и налил себе рюмку.

— Ну-с, а теперь, если не устала, — сказал он, принимаясь, как ни в чем не бывало, за закуску, — мы с тобой можем поговорить. Давно пора.

— По какому праву ты обошелся так с бедным Илиодорупкой? — вспыхнула Эль.

— Бедный, действительно. Назюсюкался и трепыхался, как козявка, — усмехнулся Петел.

— Я тебя спрашиваю, по какому праву? — в голосе Эль слышались уже визгливые нотки.

— Спрашивать нечего. Полюбовник я тебе, аль нет? Вот по этому самому праву. Он, конечно, барахло. Подстилка под ноги. но пьянствовать ни с ним, ни с другими тебе нечего.

— Ты с ума сошел! Убирайся сию же минуту! Вон, чтобы я никогда не видала тебя больше!

— Не кипятись, Леля. Расходиться я с тобой пока не собираюсь. Выкинуть меня не пытайся, не таковский. Полицию позвешь, что ли?

— Нахал! Я сейчас же позвоню домой, Александру Робертовичу.

— Ай да жена! Ну, что ж, зови его на помощь. Он хоть и тряпка тоже, но человек толковый. Я ему объясню, в чем дело: не желаю, мол, чтобы ваша супруга со всякой рванью коричневой пьянствовала...

— Ты со мной этот простецкий тон брось!

— Каков есть, Леля. Не с князем сошлась, сама видела. А ты водку брось. Ну, чего на самом деле напиваться зря? Не по случаю, не для праздника, не с горя, и не с запоя даже. Просто так. Дурная привычка. Я с тобой по-хорошему говорю.

— Я сказала вам уже, Петр Елисеевич, что не желаю ни слушать вас, ни видеть!

Петел встал и подошел к ней.

— Вот что, Леля. Похорохориться тебе, конечно, надо, но слова мои запомни. Я себя выкинуть не позволю. Может быть, ты с другими могла так играть, но со мной этот номер не пройдет. Во-первых, я тебя люблю, а во-вторых, у меня тоже своя гордость есть.

— «Играть!»! Мужик сиволапый!

— Мужик. И ты, Леля, не княжна тоже. Про твою черную кость наслышаны. Видишь, палка-то о двух концах.

— Ни один уважающий себя мужчина не позволит навязываться женщине!

Петел потемнел слегка.

— Дура ты, Лелюшка, — сказал он наконец. — Как есть дура. И приходилось тебе, видать, до сих пор все с такими козьянками якпаться, что как ты ножкой топнула, так они и под стол. Ножки у тебя хороши, красавица. Но и я не такой дурак, чтобы от них прятаться. Мужиком назвала и думаешь, обидела. А ты знаешь, что если мужик что сгребет, так и не выпустит? Вот так!

Колотить наманикюренными кулачками по его колоссальной груди можно было сколько угодно. Но, так или иначе, после нескольких сцен, Эль пришлось смириться. Петел не выставлялся напоказ, но познакомился со всеми ее ближайшими друзьями и сделал им отбор. Он на самом деле забрал ее в руки, и Эль, презрительно отзывавшаяся о всяких «мещанских приличиях», вполне уверилась и испугалась мысли, что он, не задумываясь, спустит с лестницы кого угодно, с Александром Робертовичем включительно, устроит скандал на весь город, и добьется своего. Сложные душевные переживания, литературные надрывы и «больная любовь» для него не существовали, так же, как и многие джентльменские понятия. Он рассуждал несложно, здраво и прямо, и это импонировало ей. Она не то, что полюбила его,

но привязалась, немного побаивалась, и рассталась бы с ним без малейшего сожаления. Но, если бы пришлось выбирать между мужем и им... То, чего она не могла сделать ради самой большой в ее жизни любви, она сделала бы — без особой любви и страсти даже к Петелу. Логика жизни.

\*\*\*

— Светлое пятно на фоне моей темной жизни! — возглашала Джан, и Катышка сперва недоуменно, а потом смущенно вскидывала картинные ресницы.

— Это опять я?

— Ты и твой неприлично нормальный роман! Хоть единственный человек в нашей семье без трагедий, надломов и всякого уродства. Тихонечко подросла, влюбилась и стала счастливой невестой. И жених хорош, и брак счастлив, и просто завидно даже. Следующую сказочку я начну так: жило-было старое дерево и решило дать четыре побега. Вот первый вырос колючим чертополохом — это Морж. Второй — рябиной. Скромное украшение, но и варенье варить тоже можно. Это я. Третий — герань. Как будто и цветок, но мещанский до неприличности, и хвастаться нечем. А четвертый, Катышка, распустился чудесной розой. Посмотри в зеркало и попробуй сказать, что я не права.

Красавицей Катышка не стала, но красивой и подкупающе милой она была. Катышку стали приглашать повсюду, с Катышки в костюме боярышни писали этюды. Прошлой зимой она сшила себе, по настоянию Джан, поддевку из синего бархата с оторочкой из серого каракуля, и когда появлялась на катке, с уложенными венком русыми косами, мальчишки кричали ей вслед: «Соня Хени»!

На этом же катке, под вальс «На сопках Манчжурии» Лаврик первый раз поцеловал ей руку — отодвинув губами край вязаной рукавички и долго смотря в глаза. Лаврик катался лучше ее — в белом вязаном свитере, пестром норвежском кашне и с трубкой в зубах походил на голландца — но с этим поцелуем они сбились с такта, и вместо элегантного пируэта сели в сугроб, вытянувшийся стеной у ограды.

— Так тонут маленькие дети купаясь летнею порой — скороговоркой забормотал Лаврик, помогая ей подняться. — А бархат даже чистят снегом говорила моя бабушка вы не сердитесь Котеночек, конечно нет!

— Лаврик, вы осрамитесь. Не смейте называть меня Котеночек. Я не кошка, и это неприлично, и все знаки препинания марш на свое место! — передразнила Катышка. Но поцелуй остался — и уже ложась спать, Катышка погладила на руке это место.

Став работать, Лаврик с самого начала взял тон почтительного пажа по отношению к Джан, уверяя, что с нее можно пи-



сать Анну Болейн или княжну Тараканову, а Катышку изводил бесконечно, поддразнивая и ухаживая. Ухаживали за Катышкой многие. Щеглик уже с порога мастерской умильно ворковал:

— Катенька, подарите рублем!

— Попробуйте только взглянуть на этого нахала, — теат-  
рально шипел Лаврик со своего места рядом с ней, — и ваш стол  
обагрится моей киноварью!

Лето Катышка проводила на взморье, приезжая вечерами и  
на конец недели к школьной подруге. В доме собиралось много  
молодежи. Лаврик катал всех на своей яхте, и принимал задум-  
чивые позы на фоне сверкающих парусов.

Объяснение произошло на пляже. Катышка только что вы-  
купалась и сушилась, сидя на белом, как парча, песке и пере-  
плетая косы. Голубенькое, в алых маках и ромашках пляжное  
платье веером стлалось вокруг, и подошедший Лаврик подумал,  
что она нарочно уложила так красиво складки и скоро станет  
отчаянной кокеткой.

— Так дальше продолжаться не может! — мрачно выпалил  
он, ложась на песок рядом и закуривая папиросу.

— Что, Лаврик?

— Да вот с вами, Котеночек. Думал я, думал, и ничего дру-  
гого не выходит. Придется сделать вам предложение.

— Какое? — недоуменно спросила Катышка.

— Обыкновенное. Вы кокетничаете со всеми в круговую, за  
вами ухаживают нарасхват, а я злюсь. У Алени, самого рьяного  
вашего поклонника, два громадных дома. Но я способен покрыть  
его глазурью и обжечь в муфеле. А в общем, вы меня прекрасно  
знаете. Так как же, Котеночек?

Он яростно отбросил изжеванную папиросу и поднял голову.  
Катышка сияющими глазами смотрела на него.

— Что ж, Лаврик, — стараясь казаться серьезной, сказала  
она. — Если иначе никак не выходит... значит надо, ничего не  
поделаешь!

Вопли и протесты Катышки, что целоваться на пляже непри-  
лично, были бесполезны.

На святках Джан пригласила жениха с невестой к себе в ме-  
зонин и заявила:

— Теперь, дорогие мои, пора о деле подумать. Надо готовить-  
ся к свадьбе. А как после нее вы жить будете?

— Хорошо... мечтательно произнес Лаврик.

— Я в тебя, милый братец названный, сейчас подсвечником  
запущу.

— Дорогая сестрица, у меня же зажигалка есть.

— Джанум, сейчас святки. Стоит ли говорить серьезно? —  
взмолилась Катышка. — Какнибудь устроится все...

— Какнибудь? О, Господи! Лаврик, на тебе, по случаю серъ-  
езного разговора, сигару, и посиди спокойно хоть три минуты!  
Через два дня Новый год, итог подведен, а с нового года мастер-

ская «Керам», до сих пор мое личное предприятие, принадлежит мне и моей компаньонке, Екатерине Николаевне Грушевой, мадам Девиер in spe. Таким образом, я работаю с Беём, ты, Катюшка, с Лавриком, значит работа и доходы пополам. Теперь второе. Предлагаю Лаврику после свадьбы переехать к нам. Квартира большая, и все налажено.

— Законы глупы, — вздохнул Лаврик. — Если бы я был царем, как говорит полковник, я бы решил жениться на двух сестрах сразу...

— На редкость дружная семья, — говорила Екатерина Андреевна. — Другие скандалят, а они только посмеиваются друг над другом.

— Скандальить нам некогда, — серьезно возражала Джан — а семья наша — коллекция уродов и неудачников. Морж — неудачная актриса, я — непризнанный драматург, Бей считает себя глубоко несчастным мужем, Надя — будущая неудачная кино-звезда. Словом, остается или плакать, или смеяться. Я предпочитаю смеяться.



Синее мартовское небо уронило в корзины цветочных торговцев крохотные фиалки и такие же лиловато-синие пролески. От круглых темных листьев, обрамлявших букетики, пахло прошлогодней листвой и только что оттаявшим лесом. На набережной серые, изрытые льдины громоздились вокруг розовых гранитных быков. Под мостами шуршала и булькала серо-желтая, мутная вода.

На гладких, вымытых мостовых по-весеннему звонко цокали копыта лошадей, веселым звоном ржали трамваи, мокрые сучья деревьев задумывались уже в аллеях мечтательной, чуть зеленоватой дымкой, и совсем свежо вымытое бурями небо то примеряло днем накрахмаленные переднички, то вечерами вливалось в улицы прозрачной акварельной синевой синих мартовских сумерек, звенящих медленным и гулким звоном Великого поста.

Вот ухнула византийская медь собора на Эспланаде. Выше тоном вторит зеленоватый амбир Александровской. Совсем издали откликнулись, заглушаемые вокзалом, голубоватые купола Никольской.

Слышен еще низкий гул белого Ивановского собора на форштадте, но в самый город он не долетает, как и грустный кладбищенский звон Покровской, совсем в другом конце, и еще дальше — позеленевшие колокола замшелой деревянной звонницы, спрятанной в сиреневых кустах Троице-Сергиевского монастыря. Кирпичная ограда растянулась широким поясом вдоль громадного сада, высоких белых стен собора, вдоль двухэтажных деревянных домов с кельями, приютом, школой и узорчатым резным крыльцом «зимней» домашней церкви. Перед воротами в огра-

де — ниша, около горящей свечи монахиня продает букетики вербы с ангельскими розовыми головками. Может быть, кажется так, но нигде нет красивее и пушистее вербы, чем в монастыре, и Вербная всенощная в темной, то ли от потемневшей резьбы, то ли от черных фигур монахинь, церкви, молитвенна по особому.

Монахиня у входа кланяется знакомым, провожает всю семью на почетное место, около игуменьи. Джан посматривает сбоку на красивое строгое лицо старой княжны. Какая драма заставила ее отказаться от жизни? Она была в ее покоях. Блестящие зеленые листья цветов в кадках, натертые полы в цветных дорожках половиков, запах воска, кипариса и еще чего-то неуловимо монастырского. Маленький, обособленный от всего мирок, тихий остров на окраине города. Монастырь очень беден и прост, и всего-то в нем несколько старушек, которые возятся с детьми в монастырском приюте. И мягкий покой... Смогу ли я дойти до такой внутренней тишины? — думает Джан, вспоминая, как в детстве мечтала пойти в монастырь. Сейчас, пока занимаешься муравьиным делом, лепишь что-то по кусочкам — тишины нет. Ну, а потом, когда будет построен дом, вся семья устроена, и река в своих берегах?

Громадная, как куст, охапка вербы в свежей липовой кадке золотится перед иконостасом, как свеча. Огоньки растекаются из церкви по синим садовым дорожкам, и Катыпка смущенно, застенчиво и счастливо улыбается над своей свечой заботливо поддерживающему ее под локоть Лаврику.



Все приготовления к свадьбе взяла на себя Екатерина Андреевна. Лаврик с Беем послушно раскапывали двор. Джан завела себе огородный календарь и надеется, что из ее «кукишей» выйдет что-нибудь.

«Природа и люди!» — заявил по этому случаю Кюммель, напившись на этот раз на мусорной куче и, размахивая бутылкой, срезал все луковые перья, добросовестно выставившиеся из грядок. Джан гонялась за ним с граблями, чуть не плача. Ее лук? Ее первый собственный лук!..

Бей, подбивший Кюммеля на пробу лука, обещал ей завтра же купить на базаре совсем большой и всунуть в грядки — о, о, негодяи! Лаврик хохотал так, что уселся в тачку с навозом, вымазав себе брюки, и только появление Екатерины Андреевны утихомирило бурю.

Мазурки пекли в четверг. Джан работала до удара колокола к первому Евангелию. Все двенадцать простоят трудно, шли к половине, с заготовленными цветными фонариками. Соборный хор и так был хорошим, а «Разбойника», одну из самых любимых молитв Джан, пели оперные солисты.

Замечательная картина, когда с высокой паперти в синюю мглу улиц рассыпаются цепочки мигающих фонарчиков и свеч, и ветер чуть колыхнет их, как подвески ожерелья. Дома зажигаются заправленные лампадки, и Светлый Праздник встает у порога. К вечеру стол заваливается яйцами, и все красят.

Пасхальные витрины в Риге не менее нарядны, чем на Рождество. Везде зелень, цыплята, зайцы и яйца, яйца... от крохотных в гнездышках, в наперсток величиной, до полуметровых — из шоколада. Яйца с игрушками, с конфетами, литые из марципана, с начинкой, в блестящих бумажках, с громадными бантами, с букетами искусно сделанной крохотной вербочки.

Джан ездила на шоколадную фабрику, и при ней в большое яйцо из шоколадных фигурных цепочек положили комочек в голубой папиросной бумаге перед тем, как заклеить половинки. Яйцо обвязано голубой лентой, и сверху веточка вербы. Это Катышке — свадебный и пасхальный подарок. В голубой бумаге чернобурка — реванш за жемчужину!

В субботу утром приносят бабу из кондитерской.

— Большая, прямо до потолка! — врывается Инночка к Джан; та еще курит, проснувшись, в постели. Потом тащат цветы — ах, эти пасхальные торжественные гиацинты, со своими сладкими колокольчиками, тюльпаны и еще цветы, названия которых почему-то никак нельзя запомнить, так и называют «пасхальные» — малиновые, розовые, синие, ромашки.

Пора убирать стол. На голубом шелковом полотне вышиты вербы и нежные веточки березы в сережках. Посредине Джан ставит огромное яйцо, сплетенное из вербы — все утро трудилась над ним и колола пальцы о проволоку. Зато барашки один к одному, серебряными лентами, а внутри яйца алеют тюльпаны — красота!

В больших расписных ковпах яйца горкой, ветчинный окорок надо утыкать гвоздикой, — и как хорош этот обычай в цветочных магазинах: все цветы не в горшках, а в белых и зеленых гипсовых яйцах. Пасхи из форм вынуть к вечеру, их недолго убирать цветными сахарными яичками. Маруся постаралась облить куличи глазурью, чтобы свисала каплями, покартинней, и в два кулича втыкаются розовые бумажные розы — обычай.

Начинается одеванье. Джан настаивает к Пасхе на сарафанах.

— Сразу весна вошла в комнату, — улыбается Екатерина Андреевна. Она уже сидит в столовой на диване с мужем.

— И всем дамам, начиная с моей, сарафаны к лицу, — мягко замечает Петр Федорович, поглаживая бородку и любуясь Инночкой, выделяющейся вокруг стола па в алом, как мак, сарафанчике.

— Если бы я была царем, — говорит Джан, с наслаждением укладываясь в кресле и закуривая папиросу, — то я бы издала закон: при дворе, на всех официальных праздниках, дамы благоволят носить сарафаны. То же и с верхним платьем. Как красива



и удобна поддевка с шапочкой! Пусть приучаются к вышивкам, а то современные женщины иголки в руках держать не умеют. Мужчинам боярских костюмов не наденешь, но вроде — можно, и формы в виде кафтанов, и поддевки и косоворотки куда нарядней и удобней, чем пиджаки с галстуками. А то все нивелируется в общую серенькую массу.

— По-моему, уже пора собираться в церковь, — ворчит Бей, — а то договоримся еще до того, чтобы лаптем щи хлебать. А в чем зло? В стиле!

Хороша заутреня в соборе. На площади, окаймленной липами, на широком бульваре — сплошь громадная, темная, как небо, и такая же тихая толпа. Вспыхивающие свечи. Сияющая фигура митрополита в крестном ходе. Ряды скаутов и соколов держатся за руки по обеим сторонам прохода. В торжественной бесшумности пение хора пропадает в соборной тени. На молчащей колокольне черная фигура монашенки со свечой перегибается вниз, чтобы не пропустить, чтобы с первым шагом митрополита на паперть, с крестом, поднятым для растворения чугунного кружева дверей, ударил первый, самый большой колокол низким басистым гулом. Вот он сорвался и поплыл в темную синь, и только слышно, как дрожат еще медные волны, и старческий, истомленный долгими службами, но внятный голос произносит заповедные, ликующие слова:

— Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, яко тает воск от лица огня!

В темном до сих пор соборе вспыхивают разом люстры, высоко над куполом загораются кресты, огнем обвиваются купола. Митрополит оборачивается с крестом к площади:

— Христос Воскресе!

И дружно, троекратной, раскатистой волной, в уличную синь, раскалывая тишину, ахает толпа:

— Воистину!

— Христос Воскресе! Христос Воскресе! — наперебой, весело и шумно трезвонит колоколя, и через бульвары и парки, старый и новый город, с предместий и кладбищ несетя ответный перезвон: Христос Воскресе!

Так было.



В домике под каштанами тепло от весеннего играющего солнца, окна раскрыты, и Лада разрешает курить. Полковник в парадной сокольской форме очень внушителен и помолодел, Лада постукивает каблучками красных сапожек, сличает свои рукава с рубашками сестер — чьи наряднее?

— Куличи твои, во всяком случае, вкуснее, — репает спор Джан. — И как ты их только делаешь?

— Вот в этом доме сразу видно, откуда пошла есть русская земля, — замечает Лаврик. — У нас, дядя Кир, Бей перед заутреней поднимал пальбу и крики насчет сарафанов. А вы сами, когда будете царем, всю армию в стрелецкие кафтаны оденете.

— Стрелецкие кафтаны для гвардии хороши, но в одном вы ошибаетесь, — благодушно заявляет полковник — армии я бы в них не одел, по той простой причине, что армии я бы не завел вообще.

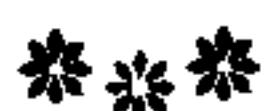
— Как так? — Лаврик с Беем даже поперхнулись одновременно. — И это вы, офицер до мозга костей!

— Именно поэтому, и притом генерального штаба. Война была еще приемлема, когда рыцари и витязи кулачным боем дрались. А вы себе представляете будущую войну? Вот в газете печатался роман: «Бомбы над Прагой». Автор в четыре дня разбомбил и заморозил сжатым или жидким там воздухом целый город. Фантазия. Но наука — не фантазия. Я уже говорил, что многие формулы следовало бы сжечь, а если их будут изобретать и дальше — повесить авторов, в назидание потомству. В четыре дня — маловато, но в сорок налетов сотрут с лица земли любой город. При этом, заметьте, каждый вопит изо всех сил, что он хочет только мира — и готовит бомбы. А вот будь я царем, я бы не сказал, а сделал, и не стал бы дожидаться и уговаривать соседа; просто заявил бы на весь мир: вот я, Кирилл Первый, не хочу войны. Ни с кем. И в знак того — оставляю для личной охраны и представительства гвардейский корпус, для порядка — полицейский, да для контрабандистов — пограничный. И все. Все пушки и вообще оружие идет на переплавку мечей на орала. Военская повинность отменяется. Броненосцы и подводные лодки переделываются на что-нибудь полезное. Авиацию тоже — только для транспорта и почты. Но зато: ввожу контроль рождаемости и прошу соседей сделать то же самое. Половину же тех средств — половину только! — которые шли раньше на армию, употребляю на исполинские работы, чтобы при помощи их превратить ненаселенные области в плодотворные и вместе с тем занять людей.

— Кирилл Константинович, ты бы хоть ради праздника свою политику бросил! Гости разбегутся!

— Какая же тут политика, матушка? Политика — вещь грязная и ненадежная. А тут чистая царская воля. Царя, прежде всего, купить нечем. Власть у него есть, и заботится он на многие годы вперед, для детей и внуков, а не хапает поскорей, пока мандат есть. Вот в чем разница.

— Дядя Кир — подспудный мудрец, — покачивает головой Бей. — Только большевики Беломорский канал уже построили, и рабоче-крестьянскую армию они тоже выдумали, так что торопитесь, полковник, чтобы царю тоже еще что-нибудь осталось.



На Красную Горку расцвела первая черемуха, и волнующий весенним призывом, сладкий этот запах, нежный и нарядный, как боярышня, запомнила Катышка, как день своей свадьбы. Венчались, по ее настоянию, очень скромно.

В теплый, зеленеющий уже чуть, апрельский вечер отправили молодых на вокзал к взморскому поезду. Накануне в снятой даче Маруся приготовила все, и там Катышку ожидали всякие сюрпризы. В весенней дымке уже казалось, лиловела сирень, и сладким медом разливалась липа. Лето шло неслышно.

Последнее.



... амень с воткнутой в него стрелой — наш герб ... талисман. «Изумрудный перстень» ... слова, небрежно брошенные в мокрый ноябрьский вечер, не забылись. И это, и другие — все записаны на листочке памяти, заперты в шкатулку воспоминаний, и ее можно раскрыть, когда хочешь.

Прошлое — единственная вещь, которую нельзя отнять у человека. А прошлое — вещь, осязаемая и звучащая. Прошлое так же суще в своей реальности, как и кажущееся настоящее. Легкий отблеск четвертого измерения, рядом — внутри и вовне. Обычно люди не умеют владеть им, — но чем, спрашивается, умеют владеть ничему не обучающиеся люди?

В почти такой же холодный промозглый вечер, в огнях и лакированной черни асфальта, слова выплыли и зазвучали над самым ухом у витрины «Арса». Витрина казалась теплой от мягкости персидских ковров, вышитого платка, брошенного на спинку выгнутого кресла, и замечательных тонов настоящего цацума в синем бархатном футляре. А сбоку выдвигалась стеклянная полочка, и на ней лежали пустяки: перламутровые фигурки Будды в горошину величиной, запонки, печатки, старинные перстни.



Вероника шла куда-то и остановилась, как всегда. Джан просила присмотреть запонки для подарка. Перстень не бросался в глаза. Тяжелый золотой обод, большой изумруд, испещренный какими-то черточками.

С того вечера Вероника никогда не пропускала зеленых камней, чтобы не приглядеться: не тот ли? Бывает же... сейчас она тоже пригнулась к самому стеклу. Камень отблескивал, это мешало... но вот: крохотный зигзаг и косая воткнутая стрела. Его перстень. Как он мог попасть в «Арс»? Ах, Боже мой, сюда попадали и не такие вещи... Мебель из кабинета Юсупова, туалетный прибор с царской монограммой... Антиквары продают, а не судят. Пьяный матрос, сорвавший перстень с руки живого — или мертвого — князя, мог его подарить, потерять, пропить.

Вероника часто мечтала о том, что найдет кольцо. Придумывала всевозможные невероятные авантюры с замирающим сердцем. Сейчас она только кивнула, как будто клюнула стекло носом, и обычной размашистой походкой вошла в магазин.

— Я бы хотела посмотреть поближе это кольцо.

Вблизи рисунок отчетлив и ясен. Не может же быть другого такого.

— Настоящий? — спросила Вероника, чтобы сказать что-нибудь.

— Да, уральский изумруд. К сожалению, на камне вырезан герб. Если бы не это — была бы совсем другая цена.

Перстень валялся в магазине уже лет десять. Антиквар пошел на все уступки — купил за гроши. Антиквары продают и покупают. Иногда — мечты, сказки, счастье. Кто знает?



Вечером Вероника сидела в своей комнате, жевала шоколад, и просовывала в кольцо то один, то другой палец, приятно чувствуя его тяжесть. Теперь она ела каждый вечер шоколад, и раз в неделю ходила в хорошую кондитерскую, слушала музыку и потихоньку рассматривала нарядно одетых дам.

И то и другое шло впрок. Из всей семьи наследство больше всего сказалось на Веронике. Кто бы узнал теперь Моржа? Она с удовольствием смотрела, и часто, в зеркало.

План, задуманный с самого начала, проводился по мелочам и был проведен почти вполне. Кроме плана должно было случиться что-то необыкновенное. И вот оно — случилось. Кольцо!

План был прост. Имея деньги, она должна стать другою, превратиться из засохшей учительницы в интересную современную женщину — и тогда придти к Нагаеву. Сыграть новую роль. И тогда конец не будет таким жалким, как после спектакля в театре. В чем именно будет конец — Вероника не задумывалась. Тридцать девять скучных лет! Да было ли в них тридцать минут, о которых хотелось бы вспомнить? Маленькая роль в жалком

театрике, плитка шоколаду с вырезанной из бумаги розой — и слегка коснувшаяся возможность интрижки на один вечер. Все.

У кактусов вырастают иногда цветы. Нагаев был единственным. И спектакль, и вечер легли в шкатулку. Их можно было вынимать оттуда и золотить мечтой, начинавшейся с предательского словечка: «если бы»... Робкая улыбка была заношена вместе с лакированными туфельками на школьных уроках. Все скользили мимо, не задевая ее, как привычной мебели. Дни становились годами, а о счастье читалось в книгах. Хватит!

— Морж сорвался с нарезов, — определил Бей, на что Вероника гордо закинула голову и заявила, что скорее чувствует себя кометой. Комета или кактус...

Навязчивая идея может сделать из человека многое, так же, как деньги, — и счастье.

Школы Вероника не замечала теперь. Последний попугайный год. Отметки она ставила принципиально на один балл выше, щедрой рукой, и внезапно обдавала учеников улыбкой. Улыбаться училась перед зеркалом, не показывая длинных клыков. Зеркало стало другом.

Раньше Вероника не обращала никакого внимания на еду. Теперь ела, как нанятая, стараясь выбирать повкуснее и пожирнее. Спала больше, в свободное время лежала. Через полгода она располнела, грудь перестала быть доской, ключицы не выпирали больше из шеи, и усталые складки на лице разгладились. Кукиш на затылке исчез давно. В парикмахерской ей подправили и брови. На подзеркальнике у нее появились пудреницы, румяна, духи. По совету Джан она купила себе недорогие, но очень оживившие лицо серьги, ворох белья, туфель и платья, и овладела своей новой ролью дамы настолько, что действительно стала ею.

Приподнятость настроения и новая самоуверенность нарядным кружевом скрасили прежнюю пришибленность. Вероника была сейчас любопытным образчиком нравственного вывиха: следствие оказалось лучше причины, достижение — лучше цели, и этот искусственный расцвет, подгоняемый расстроенным воображением был, разумеется, и безо всякого Фрейда заранее обречен на гибель.



Сделать решительный шаг она, несмотря на самые дикие мысли, все таки боялась. Встреча произошла случайно, позади Бастионной Горки. Шедший навстречу Нагаев невольно остановился, приглядываясь и не узнавая сразу. Стройная дама в модной малиновой вуали, с цветами на шляпе и на отвороте безукоризненного английского костюма, с лисой на плечах и в лайковых перчатках — кикимора?!

— Вероника... Николаевна? Неужели вы?! Не верится даже. Вот встреча.

Пожалуй, он постарел слегка. Все таки уже сорок. Но та же мальчишеская улыбка, веселые темные глаза, блестящие волосы. Тот же.

— Разве меня трудно узнать? Конечно, я постарела...

— Вероника Николаевна, не напрашивайтесь на комплимент. Я никогда не видал вас такой молодой и интересной. В какой стране, у какой счастливой феи вы пробыли это время? Откройте вашу тайну.

Он стоял, не выпуская ее рук, смеющийся, искренно пораженный, и прежний легкий тон сразу напелся снова.

— Даром тайн не открывают. Но вы правы: я побывала у счастливой феи и даже получила от нее подарок — для вас.

— Для меня? И вы вспомнили? Трогательно. Надеюсь только, что это не нравоученье, выпитое красными буквами, как у старых немков на полотенце. Мой образ жизни может быть и ужасен, но проповеди, по моему, еще хуже.

— Неисправим, хоть брось. Нет, проповеди — не мой конек. А подарок заключается в том, что добрая фея помогла мне исполнить одно ваше заветное, почти невозможное желание — и вот это сделано, и остается только поднести вам.

— Вы меня интригуете. Это вам очень идет, но я умираю от любопытства. За последнее время мне жутко не везет, и я упал духом. Смилюйтесь и не томите.

— Доставьте же и мне удовольствие немного подразнить вас. Даю вам слово, что когда вы увидите, что это такое, то броситесь мне на шею от радости.

— Однако... такая уверенность? Но шила в мешке я не куплю, предупреждаю.

— Могарыч мой. Так, кажется, принято говорить при сделках? Теперь вопрос: где проводите лето?

— Через две недели уезжаю в Эстонию, в Аренсбург. Надо отдохнуть и переменить обстановку.

— Прекрасное совпадение. Я тоже собираюсь туда. Услуга за услугу: можете подыскать для меня комнату в хорошем пансионе и написать об этом? Я смогу уехать только после экзаменов в школе — к концу июня. На Иванов день ваш день рождения, если не ошибаюсь. Давайте отпразднуем его вместе, и вы получите ваш подарок.

— И это все — совершенно серьезно?

— Вы даже не даете себе труда скрыть ваше глубочайшее недоверие. Неужели вы так осторожны?

— Во всем, что касается женских обещаний и предложений. Коварная ловушка, и чем очаровательнее улыбка, тем более наверняка попадешься впросак.

— О, о, и это говорите вы! Что князенька, напла коса на камень?

Нагаев вспомнил злое олово Варинных глаз и поморщился.  
— Всякое бывает... А почему вы собрались в Аренсбург?  
— Очень романтично. А главное — тоже подальше от Риги.  
— Хорошо, значит сговорились. Дайте адрес, я вам черкну.

\*\*\*

Кончается все, даже экзамены. Никто в школе не ждал их так, как Вероника. Последний год, о Боже! В следующем — она получает пенсию. Свободна. От уроков, сочинений, надоевших коллег... Вероника занималась только своим гардеробом, в десятый раз проверяя себя в купальном костюме, в пляжном платье, в летней шляпе с большими полями, красиво обрамлявшей глаза, в белом костюме, в... Князь сдержал обещание и прислал открытку. Все таки она заинтриговала его!

— Мне бы хотелось провести с тобой последний вечер, Джан, — сказала Вероника. — Завтра я уезжаю.

— Ты не останешься на Иванов день? Поехали бы все на взморье к Катышке. Лаврик устраивает грандиозное катанье на яхтах с иллюминацией... Подожди еще неделю.

— Неделю? Да что ты! Нет, я не хочу терять ни одного дня. Ты приходи сегодня домой пораньше, хорошо?

\*\*\*

... — Боже, как торжественно, — с удовольствием оглядела Джан столик, парадно накрытый в мезонине около ее тахты — что это с тобой, Моржинька, загадочная женщина?

— Мне бы хотелось рассказать тебе историю моей поездки — пока она не началась. Конец известен. А началась она очень давно, Джан, и может быть ты помнишь: я, во всяком случае, помню твои глаза, когда ты увидела в моей уборной плитку шоколада — на этом спектакле...

Вероника говорила ровно, невольно сбиваясь на школьный тон объяснений. Только тема была необычной. Джан слушала молча и усиленно курила. Завитая, напудренная, нарядная Вероника, сидевшая против нее в кресле, не могла заслонить хлюпающего по лужам Моржа в стоптаных ботинках, в дурацкой шляпе, с клюющим носом и тетрадами подмышкой. Нагаева она видела только мельком, и знала его репутацию. Но тоскующие глаза Вероники стали вдруг такими горячими, темными и грешными.

— Ну вот, ха! — совсем уже сбивчиво закончила та. — Это пока все. Может быть, ты все таки не понимаешь. Но не смейся и не осуждай бедного Моржа!

— Я понимаю все, — качнула головой Джан. — И мне очень жаль тебя, Моржинька. Не хочется и трудно говорить, но — конец легко предугадать.



— Джан, я старая дева, но не ребенок же. Пойми, что мне этот конец безразличен. Может быть, я утоплюсь с горя, или скромно вернусь и сяду вязать чулок. «Тайна старой девы». Помнишь этот душераздирающий роман — Марлитт, кажется?

Как часто уже, коснувшись чужого счастья, Джан становилось грустно. Так или иначе, но вот — мечта, и сияющие глаза. А у нее — не о чем мечтать. «Корабли» похоронены на полке, и остается только Белый дом. В нем будет много радостных глаз, но не те... не те...

Она нежно простилась с Вероникой и проводила ее на вокзал, ко всеобщему изумлению, с букетом роз — пусть началом поездки в счастье будут розы!

На Иванов день, на взморье, у пылающей смоляной бочки, разрумянная счастливая Катышка, в венке из васильков на ржаных косах, торжественно заявила ей, что ждет ребенка, и очень удивилась, заметив сопедшиеся брови Джан.

— Ты недовольна? Думаешь, что рано? Но ведь раньше — лучше, и Лаврик совсем одурел от радости, как мальчик, и я так против аборт...

— Оба вы еще дети. Ну, да ладно. Няньчиться будут Екатерина Андреевна с Марусей, так что тебе не так уж тяжело будет. Только уговор: не больше двух, сразу или постепенно, а то я рассержусь и лишу наследства!



На острове Эзеле, в старинном Аренсбурге, шумно и весело, как везде в Балтике, праздновали Иванов день. С вечером трав, горящими бочками, огненными колесами, кострами, фейерверком, пивом, цветами, катаньем на лодках и яхтах и песнями, несмолкавшими три дня подряд. Белые ночи, с непотухающей зарей и прозрачным сумраком, зеленый прибой, зелень и цветы, и зеленый изумруд, вспыхнувший глубоким огнем на пальце князя.

Он был действительно поражен, тронут и необычайно доволен. Представить только — кикимора нашла их родовой талисман! Невероятные вещи случаются на свете. Он был искренне благодарен и отнесся к ней с неподдельным теплом и вниманием, совершенно выйдя из обычных рамок. Кикимора, впрочем, хорошо сохранилась и довольно недурна. Порядочную зарядку дал он ей — хватило на годы! Он был польщен, и конечно, несмотря на всю осторожность — после романа с Варой он даже стал бояться новых женщин — рождение и подарок были отпразднованы. Вероника, в белом кружевном платье с розами на груди и зовущими глазами, была почти красива в эту пьяную, колдующую, вспыхивающую ночь.

Потом он схватился за голову, но Вероника, еще более помолодевшая и преобразившаяся, совсем, как новобрачная, встретила его за завтраком в столовой пансиона так весело и просто,

что почти враждебная холодность его тона сразу обмякла, став ненужной.

— Cher prince, — сказала она — ей казалось неудобным называть его по имени и тем более переходить на «ты» — разве это обязательно?

— Cher prince, я вижу, у вас жуткое похмелье. Что вам полезно в таких случаях?

— Полное одиночество, — процедил князь.

— Не лестно. Но я не хочу вам мешать. Отправляюсь на пляж одна, а вы наслаждайтесь покоем. Только сперва мне хотелось бы... как это сказать? Отбросим все условности и скажем прямо: вы до смерти боитесь всяких обязательств. Но их нет. Я давно уже, к сожалению совершеннолетняя и отвечаю за себя. Конечно, я люблю вас. Это я вам сказала еще тогда — в театре, и могу повторить и сейчас. Вы у меня первый и последний. Я не хотела быть выкуренной папирсой, жалким окурком, только потому, что вам взбрело это в голову. Тогда это было вашим капризом. Теперь — моим. Здесь меня никто не знает, и я могу позволить себе роскошь провести лето, как мне вздумается. Деньги у меня тоже есть. Не хватает только влюбленного пажа, или что мне более подходит — приличного спутника, партнера для легкого летнего романа. Обычно, он кончается вместе с осенними листьями. Осенью дома, может быть, мы будем встречаться, может быть, нет. Я не думаю ограничивать вашей свободы и не покушаюсь на нее. В мои годы смешно выходить замуж — ха! — а кроме того, я очень люблю вас, но выйти за вас замуж было бы для меня просто неприлично. Но любовная сделка...

— Сколько любовных сделок мне уже предлагали! — безнадежно махнул рукой Нагаев: — а кончалось это всегда одинаково.

Вероника, ничуть не обескураженная, только слегка приподняла брови.

— И положила руку на сердце — с дамами, князь?

— Нет, — улыбнулся он, — вы правы. По вашему, значит, есть разница между дамами и просто женщинами?

— Не меньше, чем между мужчинами и джентльменами. По-видимому, мне никогда не избавиться от роли учительницы.

— Интересно, — протянул уже развеселившийся князь.

Ну, что поделаешь. То Вара, — брр! — то эта. Отбою нет. Но в Аренсбурге скучно, свеженькие туземки могут стать опасными, а кикимора, в сущности, не так уж плоха. При всем ее опытном тоне, в ней есть что-то манящее девическое. Можно посмотреть, а при первом намеке на что-нибудь такое — по-английски, не прощаясь! Никаких сцен, это решено и подписано!

Но сцен не было. Экзамен на даму Вероника выдержала превосходно. Недаром она перечитала столько романов. Недаром столько раз представляла себе, как это будет, если... Теперь

«если» стало явью. Надо только выдержать роль и не сорваться с тона. Только.

Играть в любовь, не испытывая ее, не труднее, чем безнадежно любить в мелкой интрижке. И то и другое мучительно. Одно — отвращением, другое — тоской. И тем не менее — Вероника была счастлива. Сладко, щемяще запоминала каждый день, час, встречу. На дюнах росла голубая, острая, как бритва, трава, растрепанные сосны качались под ветром, запахи сливались в аккорд чего-то свежего, подмывающе веселого. Ветром, чудесным балтийским ветром пахло и звенело все.

Боже мой, ведь это был совершенно неизведанный мир, открывшийся вдруг, бездумный, нарядный днем и волнующий ночью! Она не пыталась даже определить, что волновало и радовало ее больше: поцелуи и страстные вспышки, или посещение кургауза, хотя бы: войти вместе с ним, оба в белом, смеясь и поддразнивая друг друга — и навстречу музыка, смех, цветы...

Прибой впечатлений покрывал с головой, нужно было судорожно глотать воздух, чтобы передохнуть, и дальше, дальше, еще, ненасытно обтачивать, заострять каждую минуту, слово, наклон головы, звяк ложечки о блюде, запах желтой розы, брошенной навстречу.

Да, роль. Она не забывала. Она делала перерывы между встречами, никогда не навязывалась, если ему хотелось прогуляться одному, у нее всегда была наготове «кстати» парикмахерская, или интересная книга, или еще что-нибудь. Она никогда больше — днем — не говорила ему о своей любви. Знание литературы и богемные встречи у Джан сделали ее остроумной собеседницей. Слушать и молчать она умела тоже. Умела сдерживать ревнивые уколы от брошенного им взгляда на другую женщину, или случайного — а может быть, и нет — знакомства. Укол вынимался, как заноза, очень просто: она представляла себе свой собственный бывший образ Моржа и с улыбкой спрашивала, может ли быть что-нибудь смешнее? Она была прекрасной любовницей: внимательной, тактичной, беспечной и что больше всего удовлетворяло князя — заранее поставившей точку именно там, где нужно.

Иногда, конечно, когда закат уплывал в море, и вечерняя голубизна косо цеплялась между оранжевыми соснами в саду дачи... Когда еще не скрипела калитка, и знакомый силуэт не показывался между деревьями; когда чьи-то голоса и смех, и шаги проходили в зелени мимо — вот тогда Вероника вдруг опускалась в кресло и медленно надрывно стонала сквозь зубы, очеривая длинные клыки и отводя руками что-то, давящее, сжимающее грудь. Или, прижавшись к косяку двери, колонке террасы, перпавой коре сосны — осторожно, чтобы не испортить ресниц, снимала с них скупые слезы. И всегда вспоминала одну сцену, почему-то ранившую больше всего, может быть именно своим сентиментальным трафаретом. Увядающую желтую розу,

оставшуюся на мокром песке со следами их шагов. Позади за-  
тихали ровные вечерние волны, широким накатом в потемнев-  
шее уже небо и бледную зарю. Они сидели на берегу, большой  
компанией, шутили и смеялись, и она перебрасывала розу от  
одного к другому. Князь повертел ее в пальцах.

— Удивительная роза, без шипов — или они достались кому-  
то другому?

И потом бросил, конечно.

Вот эта желтая роза, гаснущая в заре... Без шипов. Они  
достались ей, но плакать нельзя, плакать можно будет потом,  
потом — слишком много времени.

А установив беременность, Вероника не сказала ни слова,  
конечно. Даже не думала об этом больше, чем полчаса. Лето  
портить не стоит — и так уже август, и скоро конец. Это все  
отыгрыш, это потом, потом.

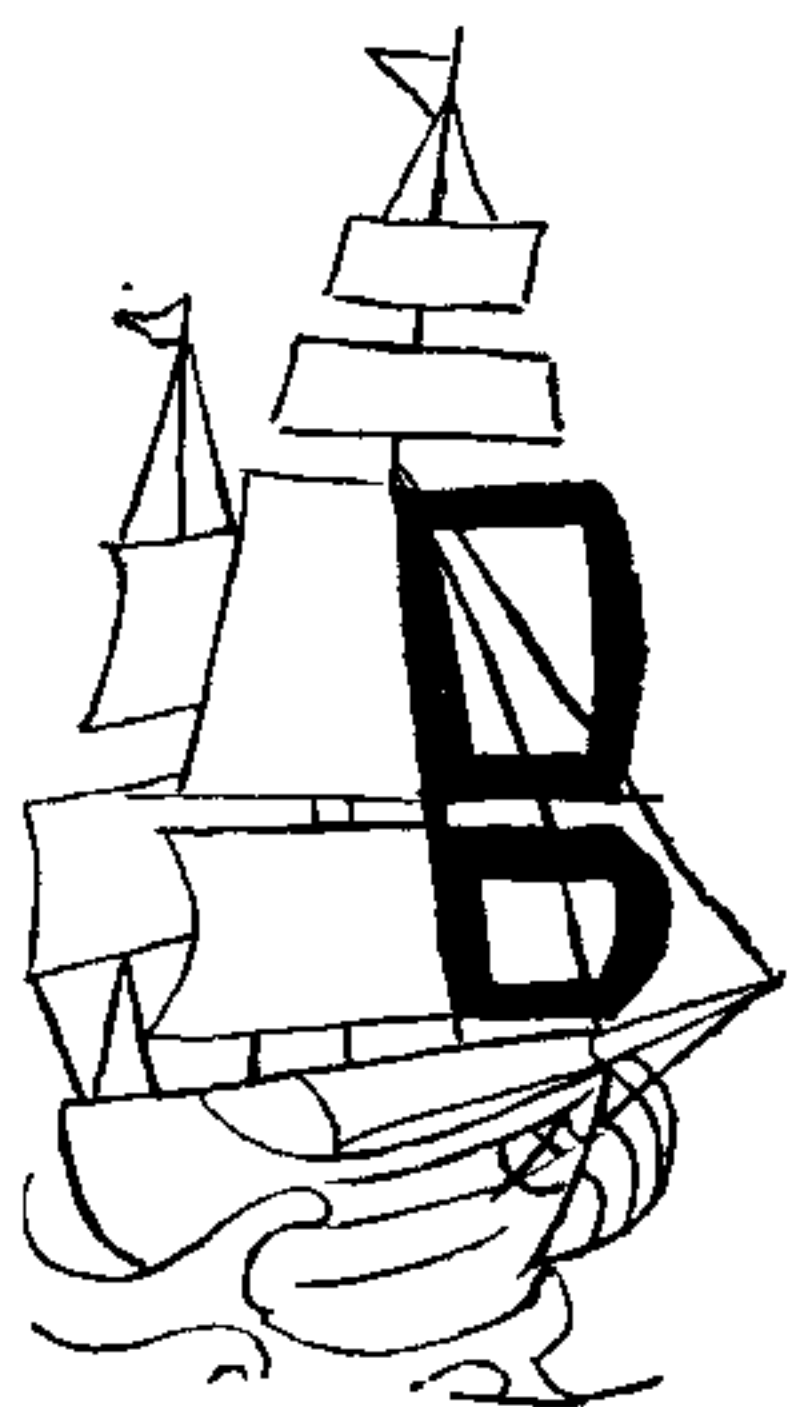
«Каждому хочется счастье найти —  
Любить и быть любимым.  
Счастье стоит у вас на пути —  
Не проходите мимо!»

Этот новый романс был очень моден в то время в Риге, и  
Вероника напевала его — не зная, что невероятно фальшивит,  
и притом без голоса — только про себя. Как и все остальное в ее  
жизни.

Сезон затянулся. Лето стояло очень жарким в 1939 году, за-  
суха вызолотила поля и травы, и даже мох в лесу. Горячие  
деревья роняли сухие листья уже в июле, но на пляже было еще  
веселее. А может быть, солнце ошибется, и они не уедут отсюда  
до самого ноября!

Солнце ошиблось. Солнце палило еще в сентябре. Золотая  
осень красавицы Балтики колдовала и завораживала паутинка-  
ми бабьего лета, Богородичной пряжей, ласково касаясь загоре-  
лой щеки. Вероника с князем обедались яблоками. Отъезд было  
решено отложить до первых дождей.





жаркий еще сентябрь тридцать девятого года грохнули пушки, и грохот их хоть на польско-германской границе, да уже и не на границе вовсе, а дальше — широкой, все захлестывающей волной прокатился по Балтике, по всему побережью. Разрывы взметнули серую, потрескавшуюся от зноя землю и такую же серую, понижающую, бестолково мятущуюся панику.

Радио захлебывалось. Известия перегоняли друг друга, противоречили, вопили. У полированных бездушных ящиков испуганно раскрывались рты, и беспомощно хмурились брови. Рядом с ними выдергивались ящики комодов и шкафов, укладывались чемоданы на всех дачах и курортах. Поезда и пароходы брались с боя. Пестрота и возбужденность публики казались с птичьего полета веселой экскурсией. Но птицы, испуганные чем-то, запоздавшие вместе с солнцем, летели на юг, подальше от дому, и пугали людей аэропланым силуэтом в поднебесье.

Аэропланов еще не было. Еще!

«Кончилось», ухали пушки.

«Жизнь кончена, кончена, тра-та-та», отбивали пулеметы смертельную тревогу трещеток.

Разом все: растерянность, недоумение, возмущение, страх, спешка — скорее, скорее домой, к своим, Боже мой, мало ли что может случиться!..

Как будто дома был надежный кров, защита и безопасность. Как будто дом стоял еще на прочном фундаменте, а не был воздушным замком, выстроенным на струе дыма, и теперь медленно расслаивался, вылетая в собственную трубу, и клочки его, опрокинутые вверх ногами, трепал жалобно воющий над потемневшим морем осенний ветер.

Жизнь кончилась. Началась история. У счастливых народов ее не бывает. У счастливых людей тоже.

Ах, счастье...

...кончилось! — рывкнули пушки в Варшаве.



Конечно, кто не говорил о войне и раньше? Балтика — буфер между Западом и Востоком, более европейская, чем Россия, и более русская, чем Европа, — всегда была мостом, или, что еще хуже, предмостным укреплением. Ее брали все: шведы, русские, латыши, немцы, поляки. Чудесная, поющая, звенящая ветром, морем и соснами, красавица Балтика, бедная Балтика, которую всегда кто-нибудь берет! В 1916 году Ригу взяли немцы. В 1918 была провозглашена независимость Латвийской республики. Через два месяца, в январе 1919 года, ее взяли большевики. Через полгода, в мае 1919 года, освободил ландсвер: латышские стрелки, балтийские немцы, русские добровольцы отряда князя Ливена и Железная дивизия фон дер Гольца с корпусом Манфреда и князя Бермондт-Авалова. В 1919 году же, осенью ее чуть было не взял сам князь Бермондт-Авалов, блестящий, но неудачный метеор того времени, и это было последней вспышкой.

Но мирное житье так быстро затемняет память, что прошлое становится ненужным и мешающим жить воспоминанием, а не угрозой, то-есть тем, что оно есть на самом деле. Балтика строилась, процветала и чувствовала себя очень хорошо. Балтике помогала Англия: английские фунты фундаментом серебряного латвийского лата лежали в банке, английская сталь и шерсть в обмен на масло и лес. Англия гарантировала независимость и самостоятельность на вечные времена. Помилуйте — Лондон — солидный гарант! Векселя Великобритании — не клочок бумаги!

Войны, в сущности, велись все время, только где-то там далеко, главным образом, повидимому, для газет. О, Рига горячо интересовалась всем! Вот, например, стычки на озере Хасан — и дядя Кир говорит, читает доклады на кинутую из Парижа тему: что делать эмиграции в случае войны Японии с Советским Союзом? Сразу два лагеря, из которых каждый приводит доказательства своей неопровержимой правоты. Зарубежные русские

должны помнить, что ни одна пядь русской земли не смеет быть уступлена врагам! Поэтому большевики, или нет, все равно: эмигрантский корпус в распоряжение советского правительства!

Это мнение защищается с пеной у рта. Другие тоже потрясают кулаками; для России первейший и сильнейший враг — коммунизм. С японцами, с марсианами, с самим чортом — все равно, только против большевицких палачей. Эмигрантский корпус в распоряжение японцев!

Стычки кончились, война не началась, поговорили, пошумели и успокоились. Потом похожий вопрос пришлось разрешать — иначе...

В Китае война после свержения последнего императора вообще не прекращалась с 1911 года, к ней уже привыкли. Италия завоевала Абиссинию. Вот тебе и Лига Наций!.. Гражданская война в Испании! Это захватило. Подробное изучение географии взрослыми — один из немногих положительных результатов войн.

Альказар вспыхнул яркой легендой. Старинная мавританская крепость, построенная во времена стрел и луков, гранитная скала осталась скалой. В ней искали защиты женщины, дети, старики. Коменданту крепости, генералу Москардо, позвонили по телефону и заставили говорить его единственного сына, четырнадцатилетнего мальчика, не успевшего бежать и оставшегося в Толедо.

— Они говорят, что если ты не сдашь крепости, то меня расстреляют, — сказал мальчик. — Не сдавайся, папа!

Генерал услышал еще в трубке выстрел и падение сына. Он не сдался, испанский генерал.

Легенды воскресают иногда. Сын генерала Москардо был по матери последним потомком готских королей. И когда-то перед стенами осажденного Альказара был убит его предок — готский королевич, потому что его отец тоже отказался сдать крепость. Вот капельки крови — ниточкой — через века, двойным узлом в жизни и смерти.

Альказар бомбили самолетами, взрывали минами, громили пушками. Его защитники ушли в глубокие погреба и не видели больше дня. Но не сдавались красным. Альказар — Аль Казар, в переводе с арабского, значит: сияющий.

Первое, что искала Джан, разворачивая утром газету — держится ли Альказар. Когда появился жуткий заголовок — «Взорван»... она заплакала, и потом, зайдя в собор, поставила свечку: помяни, Господи, замученных и убиенных, имена же Ты их, Господи, веши... Но и взорванная скала отстреливалась на другой день снова. Пока, наконец, не появились франкисты и осторожно вывели шатающихся людей — несколько сот из нескольких тысяч. «Сияющий» называли его мавры несколько столетий тому назад. Хорошо, если и в двадцатом не утрачивается прежний блеск!



Мобилизация. Советские войска перешли польскую границу. Польское правительство, накануне падения Варшавы, объявило об аграрной реформе — жуткий исторический анекдот! Реформа опоздала лет на двадцать — пример для многих. Но через два дня столица Польши взята и разгромлена, страну делят пополам два «дружественных» соседа.

В прошлом году еще, на международных скачках рижского ипподрома блистала польская экипа. Кровные, легкие, нервные кони. Сухие тренированные всадники в высоких кепи и картинных плащах, сводившие с ума рижанок. Да, польская кавалерия — это класс, и кто умеет так ухаживать, так поцеловать руку, так пройти по улице, как польский офицер?

Этой осенью не было скачек. Этой осенью, на равнинах Галиции польская конница последний раз пошла в атаку — на танки. Генерал предложил своей дивизии сдаться — на пытки, издевательства и расстрел — или гибель с честью. Предпочли гибель. По сжатым и не сжатым еще полям, по золотящимся горячей пылью дорогам, из-за перелесков и холмов выползали скрежещущие танки. На них в полном боевом порядке, с пиками и саблями наголо, шла последняя конная дивизия. Полк за полком. Их скашивали пулеметами — рядами, били гранатами, пушками, минометами. Летели люди и кони. Падали под гусеничные лапы. Танки шли по телам, и оставшиеся, упорным и безнадежным карьером, неслись последней скачкой в смерть. Дивизия легла, конечно. Это был последний конкур...

Летом этого года Балтийские государства заключили военный союз: Латвия, Эстония и Литва. Повод для многих речей, суть которых сводилась к вполне исчерпывающему анекдоту. Латвийский главнокомандующий дает телеграмму эстонскому:

«Пришли мне твою тяжелую артиллерию!»

«Обе две пушки?» — отвечает тот.

У балтийцев нет линии Мажино, но очень длинная линия границ: латыши — прекрасные солдаты, но все население Латвии, латыши, русские, немцы, с женщинами и детьми — неполных два миллиона, а эстонцев и того меньше. Есть еще — три маленькие подводные лодки, и, кажется, два аэроплана.

Это не смешно нисколько. Балтийцы не собирались воевать ни с кем. Независимость Балтики охраняется гарантией Великобритании, Лондоном, до последней минуты славшим в осажденную Варшаву радиотелеграммы с уверениями в поддержке.

Латвийского министра иностранных дел вызывают в Москву. Полеты, экстренные и тайные совещания правительства. Город взволнован, воздух накален не только зноем не прекращающегося лета. Введена цензура, и в газетах тщательно вымарываются все намеки, а тем более комментарии, которые могут не понравиться великому восточному соседу, только что, две недели тому назад, разделившему Польшу. В газетах снимки советского и германского генералов, пожимающих друг другу руки. «Табло»,



как говорят французы, и подпись выхолощена до засухи, хотя следовало бы напечатать еще короче: «Мemento мори!»

Но правительству не надо напоминаний, слишком очевидно и без того. Еще один полет в Москву и...

...удар. Коротко, сухо и без всяких комментариев. «Советский Союз занимает в Балтике опорные пункты и морские базы.» «Гитлер репатрирует всех балтийских немцев!» — отвечает Берлин. Не Балтике, конечно — Москве. Балтика на пути, между двумя соседями, буфер, мост — предмостное укрепление. Москва ощеривается на Берлин. Берлин отвечает Москве. Балтика... ах, Балтике гарантирована независимость Лондоном!



Паника взмыла в Риге в первых днях октября 1939 года. Хрустальная золотая осень. Но хрусталь разбивался мелкими брызгами в дрожащих руках, а золото сразу вскочило в цене. Банки и ювелиры, по распоряжению правительства спустили на окнах решетки и закрылись. Магазины штурмовались публикой, как при распродажах. Покупали все: селедки бочками, перец фунтами, туфли десятками пар. Появились ограничения, сахар стали отпускать только по фунту на человека...

На рейде и рижской пристани бросили якоря германские пароходы. На улицах появились очень молодые люди в коротких штанишках — невиданный в Риге наряд! Они ходили по домам, каждый по своему району, и записывали, передавали распоряжения желающим уезжать в новое отечество.

Старинные фирмы, существовавшие по несколько сотен лет, закрывали ставни и двери. Немецкие школы превратились в бюро по репатриации. Шла запись. Выдавали номерки, сообщали название парохода и срок отправки, снабжали упаковочным материалом, записывали имущество. Толково, аккуратно-немецкая организация. Правительство отдало распоряжение, что в виду массового переселения немецкого меньшинства в Германию, существовавшая до сих пор его культурная автономия впредь отпадает.

Латыши никогда не любили немцев. Те отвечали им тем же. И это понятно. История Балтики чрезвычайно многогранна и пестра. Ригу основал германский епископ Альбрехт в 1201 году, и Балтика была постепенно завоевана орденовыми рыцарями. Впоследствии пришли шведы. Маленькие туземные племена — ливы, куры и латы — платившие до тех пор дань полоцким князьям, не могли противостоять мечам и панцырям. Они работали на полях, а рыцари строили замки, монастыри и сражались. С поселянами, с епископом, городами, и просто друг с другом, — *façon de vivre* в те времена.

В результате — племя ливов исчезло совсем, латыши и куры продолжали возделывать землю, рыбачить, а некоторые, онеме-

чившись, занимались торговлей и ремеслами в городах. В городах были гильдии и цехи, торговые суда сменялись у пристаней. Рига вошла в крупнейший тогда Ганзейский союз, стала мостом между Азией и Европой.

Но независимость ордена пришла к концу. Уже Иван Третий брал подступы к Нарве, считая для Руси необходимым выход к морю, и тем более он понадобился для России великого Петра. Балтика была занята русскими, самостоятельность ордена уничтожена, но замки и города, но Рига и Балтика остались. Потомки ливонских рыцарей принесли присягу на верность герцогине Курляндской — русской императрице Анне Иоанновне, и в течение двух сотен лет Лифляндия, Эстляндия и Курляндия были русскими провинциями. Русские немцы, остзейцы, как называли балтийцев, сохранили очень много своих привилегий. Русские цари призывали их ко двору, давали должности в государственном управлении, в армии и флоте. Русская военная история пестрит балтийскими именами. Некоторые женились на русских и даже разучились говорить по-немецки. Другие сохранили свой, очень чистый, немецкий язык, лютеранство и все обычаи.

Все они были очень заносчивы и держались независимо и гордо. Но, к чести их, надо сказать: предателей среди них не было. В Первую мировую войну, несмотря на бессмысленность подозрения в шпионаже и измене, и многие репрессии даже со стороны русского правительства, балтийцы честно сражались в русской армии. И среди русских офицеров, дворян и интеллигентов, перешедших на сторону красных в дни революции — нет ни одного балтийского имени.

Крепостная зависимость крестьян была уничтожена в Балтике гораздо раньше, чем в самой России. Потомки рыцарей, немецкие помещики были гораздо хозяйственнее. Помогал и майорат. Латыши, как все приморские народы, были энергичнее и развитее. Начальное образование в Балтике было введено раньше и распространено больше, чем в России. Но нелюбовь к надменным рыцарям была перенесена и на помещиков, не менее презрительно относившихся к «серым баронам» — хотя многие из латышей-арендадоров были уже очень зажиточными. Иногда это было довольно мирным сожительство — иногда вспыхивало острой ненавистью. В первую революцию, в 1905 году, латыши жгли и громили имения. Во вторую — многие руководили в Чека, а попытка Манфреда создать в 1919 году вторично орденскую землю, не удалась: отряды латышских стрелков были поддержаны Англией, и балтийские немцы, освободив Балтику от красного террора, оказались побежденными — своими же союзниками. В современной истории это случается часто.

Впрочем, мы совершенно не знаем истории. В хороших школах бедных детей доводят до зла горя изречениями Цезаря, Пуническими войнами и Пипином Коротким. Но подавляющее

большинство — не единицы, а миллионы людей, кое-как помнят кое-что, приличия ради, но совершенно не знают истории — это блистательно доказывают их поступки. А жаль!

Центры имений помещикам были оставлены, но с небольшим куском земли. Остальное было разделено по реформе на хутора. Латыши не платили ничего за отчуждения, не в пример эстонцам. Помещики были разорены, тем более, что после войн, мировой и гражданской, большинство имений дымилось в развалинах. Часть балтийцев, потеряв близких, замученных или павших, — и землю, освобожденные от присяги русскому царю после его отречения, решили бросить и родину, отправившись кто куда — главным образом, в Германию, хотя настоящие немцы всегда считали их за иностранцев. Но добровольных изгнанников было немного. Родина бывает неблагодарна и жестока. Но это — родина. Хотя бы камень. Хотя бы небо. Хотя бы — балтийский ветер.

В 1905 году барон Фелькерзам выступил с проектом, показавшимся всем неожиданным и диким: организовать нечто вроде ордена снова, и всем балтийцам переселиться в полном составе на остров какой-нибудь дальней страны и основать там колонию. Из проекта ничего не вышло. Многие вспомнили потом — с большим сожалением.

Теперь переселение целого племени стало неожиданной реальностью. Не переселение. Бегство. «Советский Союз берет опорные базы»... Набат.

В латвийской армии наберется, может быть, тысяч триста — со всеми резервами. Триста тысяч против миллионов! А от границы до Риги, при теперешней моторизации — несколько часов... Значит, в любой момент, может быть, уже завтра, — пограничные посты будут смяты, как трава, и большевики могут занять город. До Англии далеко... Может быть, Германия не допустит занятия Балтики? Значит, война. Очевидно, Гитлер, заранее щадя ту часть населения, которая германской крови, спасает ее, пока еще есть время...

Пока есть еще возможность! Пока еще... Все рассуждения туманятся, все мысли путаются от мелких мурашек, разбегающихся от ухающего вниз, замирающего сердца, до кончиков дрожащих пальцев: еще несколько дней, может быть, часов! Потом будет поздно, потом будут большевики и то же, что было уже в девятнадцатом году: пытки, издевательства, смерть.

Элегантная красавица Рига, в праздничном осеннем убранстве сжата судорогой смертельной паники, невероятным, немислимым и случившимся переворотом, обрушившейся, полетевшей куда-то — куда? — жизнью.

В первые панические дни октября 1939-го года, вслед за страхом, хлынула волна обесцененных вещей. Пианино, стоившее восемьсот, продавалось за пятьдесят латов. Солидное, всегда уверенное в себе золото, важно переговариваясь с чванливыми

приятелями — фунтом и долларом, — крупными шагами поднималось в гору, и его обгоняли, сверкая и завораживая блеском и крохотностью, возможностью всегда, повсюду сопровождать человека — маленькие, манящие бриллиантовые каратики.

Записываться на репатриацию бросились все, кто мог — а из тех, кто не мог, большинство искало возможности записаться. Конечно, в первую очередь сами немцы, независимо от их обруселости. Многие онемеченные раньше латыши, считавшие себя до революции немцами, что было интеллигентнее, и ставшие после независимости латышами, теперь снова заявили о своей принадлежности к немцам. Во многих семьях нашлись родственники с немецкими и шведскими фамилиями. Бабушки, тетки, кузины — неважно. Главное — фамилия, на которую можно указать.

Немецкие комиссии не вникали в суть. Количество репатриантов не ограничивалось — наоборот. Чем больше, тем лучше. Уезжали Ивановы, Семеновы, Берзини и Озолини.

Первая волна паники, продержавшись несколько дней, стихла. Большевики еще не входили. Пароходы отходят, прибывают за новыми переселенцами, «УТАГ» гарантирует отправку всем и возмещение стоимости недвижимого имущества. Старые немки зарылись в бесконечную укладку плюшевых портьер, меченых молью, и даже колченогих кухонных табуретов. Так, от великого до смешного... От смертного набата, от удара, потрясшего Балтику до основания — до запыленной, никому не нужной этажерки.

Одни больше всего беспокоились о вареньи. Братъ ли его — в Германии сахар по карточкам, но как запаковать столько банок? Другие разводились, потому что жена или муж не хотели уезжать, взрослые дети не ехали вместе с родителями, семьи расстраивались — по-хорошему или со скандалом. Многие передумали. Многие решили остаться.

Черты города сразу изменились — опустошенностью, оторванностью, как голый силуэт парка, проступающий все резче и явственней в отлетающих, ускользающих листьях.

В палисадниках элегантных домов, на холеных клумбах выросли желтые, как пачки искусственного меда, «лифты», громадные ящики из свежесколоченных досок. Нагруженные уже, они катились за грузовиками по улицам и громадным складом загромождали пристань. У пристани грузили пароходы, махали платками уходящим, и остающиеся плакали навзрыд. Уходящие тоже. На пароходных сходнях жизнь ломалась, как перегнутая дуга — по ту и по эту сторону оставались щепки.

Запертые магазины, в которых покупали еще прадеды, казались странными заплатами на торговых улицах. Бойкая суетня в извилистых улочках Старого города стала тише, совсем тише,



и в этой совсем неспражничной, непривычной тишине медленно шептали покидаемые башни:

«А мы? А мы?»

На кладбищах, в день поминовения усопших, плакали горячими восковыми слезами свечи. Даже у тех заброшенных фамильных склепов, где они не зажигались годами.

«А мы? А мы?»

То тут, то там, в рядах этажей, голо, без занавесок, без цветных абажуров, затемнели провалами окна. На них появились косые узкие наклейки — обычное в Балтике объявление о сдающихся в наем квартирах. Но дома пустели, квартир освобождалось слишком много, наклейки чертили косые белые штрихи на всех улицах.

Закрывались мастерские. В домах, где жили десятками лет, а то и поколениями, испуганные стуком заколачиваемых гвоздей, недоумевающие мыши шевелили по ночам обрывками бумаги.

«А мы? А мы?»

На Задвинье: в Гагенсберге, Торенсберге, Засенгофе — пустели сады и тихие провинциальные особнячки. Со взморья, со всех сторон в Ригу тянулись вагоны, подводы, грузовики. Везли варенье и амбирную мебель. Оставшиеся еще центры имений, усадебки, замки — родовые, семейные гнезда — заколачивались, разорялись, покидались. Не надолго — навсегда.

И деревья укоризненно топтались на месте и махали ветками, роняя скупые, жалкие, туманные ноябрьские слезы.

«А мы? А мы?»

Приходили и жадно прочитывались письма от переселенцев: «Wir sitzen in Baracken und warten auf andere Duracken».\*) «Мы плачем и плачем. Вещи отсырели и пришли испорченными. Нам дали все и относятся так хорошо, что мы просто не можем прийти в себя от удивления».

Разными были письма. Как и люди. Но по жемчужине Балтики ударили советским молотом. По жемчужине пробежала трещина. Она еще не раскололась — пока.

— Горе! — свистел в старых башнях норд-вест. Западный, знающий ветер.

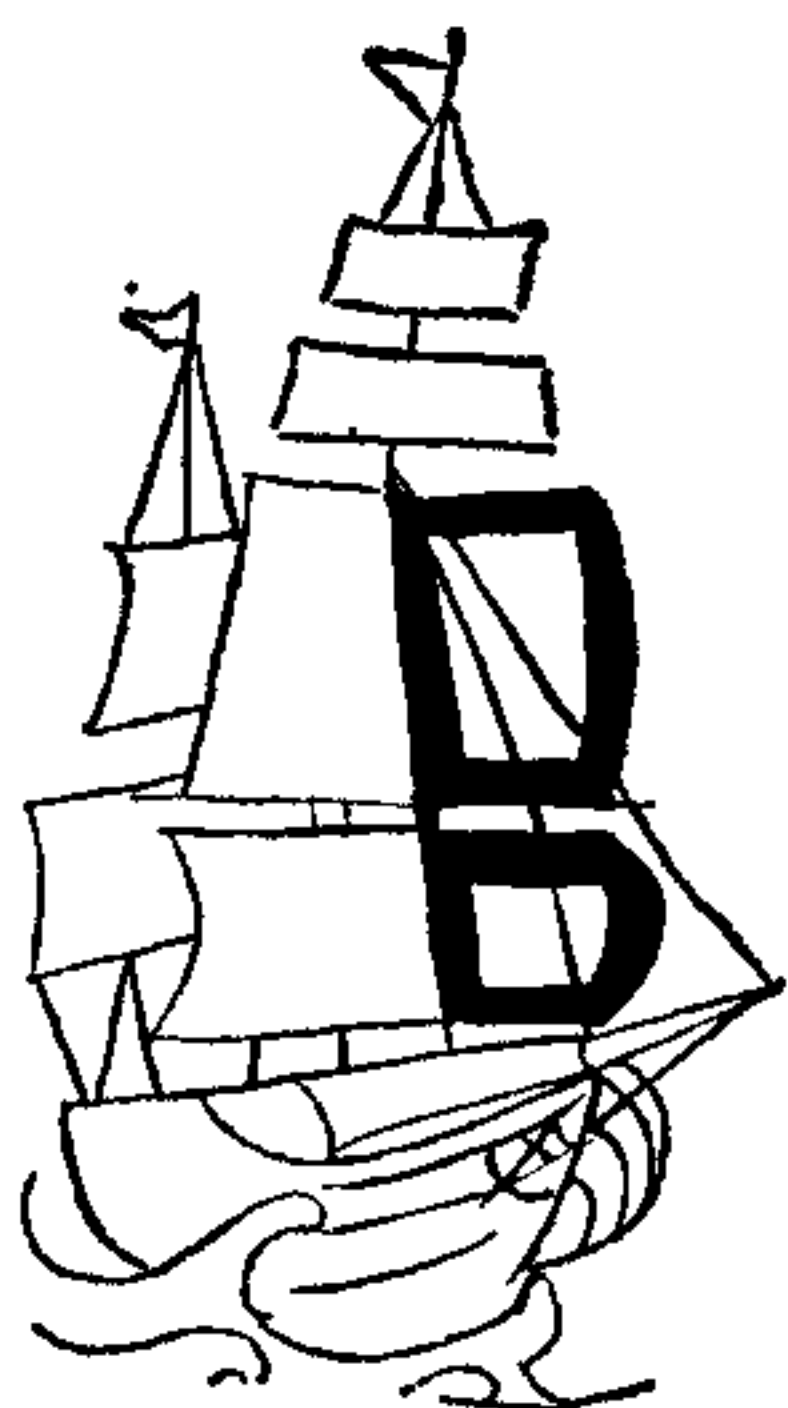
— Горе! — выл диким надвигающимся холодом норд-ост — восточный, знающий ветер: горе!

— Горе! — сумрачно шептал рыцарь на площади перед ажурным Домом Черноголовых.

Рига раздиралась. Рига расставалась сама с собой. Рига плакала, плакала, плакала... горе!

---

\*) Сидим в бараках и ждем других дураков.



бежала в мастерскую и обняла Джан расстроенная, запыхавшаяся Лада.

— Джан, Джанумушка! Что делать? Большевики входят. Кирилл Константинович пошел записываться к немцам. В комиссии, знаешь, сидит Елисеев, наш сокол. Он прибежал к нам и надоумил: у меня какая-то троюродная бабушка была замужем за фон-Зальцбахом — так на нее сослаться. И вообще всех берут... Ты что? Записалась уже? А что будет, если не успеем? Может быть, к тебе перебраться, отсюда ближе к пристани, в случае чего... если они войдут по Петербургскому шоссе, через Александровские ворота, то как раз нас отрежут... Подумай, Джан — в Германию!? Да мы ни в зуб ногой по-немецки — нет, мы должны непременно с тобой на одном пароходе, ты же языкатая...

Слова сыпались в перемешку со слезами, не задерживаясь в мокром платке.

В мастерской сегодня работал только один Терентьич по привычке, но с недоуменно поднятыми бровями и часто останавливаясь для перекура. Джан, на вопрос, что ставить в муфель, только махнула рукой. До муфеля ли тут, когда все рушится... Вероника угрожающе размахивала руками под носом Кюммеля. Бей, забившись в угол дивана вместе с Лавриком, горячо обсуждал что-то. Маруся, не в силах утерпеть дома, переходила от одного к другому. Джан, впервые, кажется, за все существование мастерской, даже не застегнула накинутого поверх платья рабочего халата, курила одну за другою папиросы, чертила карандашом на деловом письме какие-то завитушки, вскакивала, садилась снова, и говорила, говорила...

Дверь хлопала, люди входили и уходили, не здороваясь и не прощаясь, только спрашивая последнюю новость и сообщая свою. Трещал телефон. Купцы отменяли заказы, спрашивали, волновались. Только Берзинь — пожилой, солидный латыш, владелец громадного магазина, прислал сына с успокоительным заявлением. Если мадам не собирается уехать — заказ в силе, может быть, даже с надбавкой.

Высокий, здоровый как дуб, молодой Берзинь, в форме, сидел верхом на стуле рядом с ней и угощал папиросами.

— Вот Керам-кундзе, — посмеиваясь, говорил он, — что значит расчет. Хотел в Земледельческую академию в Митаве, и нарочно пошел заранее отбывать воинскую повинность, чтобы потом времени не терять. Вот и рассчитал. Теперь еще полтора года служить приклеили, может быть, и вообще формы снимать не придется...

— Ак, jus, smuks karavirs,\*) — качала головой Джан, улыбаясь веселым голубым глазам: — об орденах мечтаете уже? А мы что будем делать?

— Да все это не так страшно, Керам-кундзе. Что вы, на самом деле собираетесь? Из нашей старой Риги?

Война — вообще мужское дело, и военный мундир сам по себе уже кажется какой-то защитой.

— Ладушка, успокойся. Дядя Кир зайдет сюда? Я, пока что, никуда не думаю ехать. С какой стати? Но вам, конечно, нельзя оставаться... дядя Кир и большевики... Главное — не волнуйся. Успеете. Вот дядя Кир придет из комиссии, сядем и обсудим, что и как.

— Боже мой! Боже мой, я так боюсь! — рыдала Лада, и Джан гладила ее по плечу.

— Поздравьте, господа! — расшаркался вошедший полковник и молодецкато разгладил усы. — Герр капитан. Ихбина, дубина, полено, бревно, что немец скотина, все знают давно! Не «рунаю» больше ни по-латвийски, ни по-криевски. Только дейч! Пароход «Санта-Роза» отходит 29-го ноября. Пункт двенадцать часов

---

\*) Ах, вы, боец-молодец (лат.). Кундзе — госпожа.

Рига — пристань. Немецкая организация! Колоссаль! Могу затребовать себе лифт и упрятать в него весь мой домишко, с трубой вместе, если нашей обстановки не хватит. Бочку с огурцами, что Лада посолила, возьмем тоже с собой. Перестань реветь, фрау Кузнецофф! Между прочим, мне сказали, в случае чего — с чемоданом, женой и сыном, первым драпом в немецкую школу. Там забарикадируемся, и нас вывезут дипломатической почтой. Не беспокойтесь, Джан. Даже если у вас еще бумаг не будет к тому времени, прихватим вас тоже. Какие там к чорту бумаги! Вы же урожденная фон-Грот. Вот только насчет волос сомневаюсь. Фюрер предпочитает блондинок. Но в мастерской краски на всю семью хватит. Итак, едем. Теперь надо с толком укладываться. Кроме воздуха, в милом фатерлянде все по карточкам. Ди Вахт ам Рейн! Дранг нах Берлин! Хейль Гитлер! Я кончил.

— Господи, спял... — прошептала дрожащими губами Лада, и разревелась окончательно.

— Вообще, немцев развелось в Риге видимо-невидимо, — не унимался полковник. — Но самая любопытная встреча у меня на Известковой штрассе. Идет навстречу в дым пьяный корнет фон-Доорт в обнимку с кем-то из Драмы, и во все горло — это середь бела дня! — орет: «Боже, царя храни!» Я ему говорю деликатно: заткнитесь, мол, корнет, а он сразу в позу: кто это мол, мне, германскому подданному, может осмелиться запрещать петь Боже царя? Двадцать лет ждал этого момента. Пусть какой-нибудь «картибнек» сунется, — руки короткие, у меня билет на пароход. Так и пошел, плачет и поет. Нет, будь я царем... Надежда Николаевна, как это на немецком диалекте? Их бин ейн цар гевезен вордет зейн! Я все-таки еще помню кое-что из грамматики... Теперь серьезно: записались?

— Нет, дядя Кир. И не знаю, пойдём ли. Конечно, если товарищи перейдут границу... Но бежать заранее, неизвестно, на что...

— В императорскую Германию я еще согласен был бы — вмещивается Бей. — Но к этому ефрейтору... По-немецки я ни бум-бум, как и вы. Водки там настоящей тоже не делают... А в рейнвейне их много Рейна и мало вейна!

— Кроме того: ведь это значит бежать, дядя Кир, и все бросить. Здесь я дома, у меня мастерская, налаженное дело. А может быть, нас займет та же Германия, по ходу войны, тогда и вы вернетесь. Или создадут из Балтики, для собственной же выгоды, вторую Швейцарию, международный буфер. Вот тогда мы расцветем! Торговля во всю, центр шпионажа... ужасно интересно! Ходят еще усиленные слухи, что Балтийские государства присоединяются к Скандинавии, под шведский протекторат. Тогда и я ура закричу.

— Я, Надежда Николаевна, как офицер генерального штаба, ваших иллюзий разделять не могу, но и не возражаю. Только



мне оставаться слишком опасно. Подставлять голову под первую большевистскую пулю, когда я еще, может быть, смогу принять участие в освобождении родины — глупо. И это мой совет всем братьям — соколам. А уж там — кто как знает. Екатерина Андреевна! Здравия желаю! Едете?

— Пока что только провожаю, одного за другим. Просто слез не осталось. Нет, куда уж нам с Петром Федоровичем бежать, старикам. Вера Петровна с мужем разводится, слышали? До сих пор был русским латышом, а теперь немец. Подумайте, она тут родилась и выросла, домик есть... а он сына требует. Скандал у них с утра до вечера.

— В крайнем случае, Кирилл Константинович, — вмешивается Лаврик, выходя из муфельной, — ну, предположим, придут большевики. Хорошо, я понимаю: вы офицер, участник Белой Армии, для них неприемлемы, как старый враг. Но позвольте — а я? Да я во время революции пригодишкой был! Мы даже не бежали фактически из России — а просто после войны вернулись на свою родину в Ригу. Мы — коренные балтийцы. Предку моему, Франсуа де-Виеру, служившему в войсках Карла Двенадцатого, была самим Петром возвращена шпага после Полтавского боя, и даровано право вернуться в поместье на устье Двины. Родители мои никому ничего не сделали. Я художник, человек свободной профессии, вот теперь даже ремесло знаю. Не все же там — социальные заказы. Видит Бог, я не большевик. Но в конце концов, партия, приходящая к власти, никакую революцию в белых перчатках не делает. А партия, правящая двадцать пять лет, это уже государство. Не одни же чекистские подвалы только. И все-таки свои, русские, что там ни говори. А вы думаете, что Гитлер вам все даром даст? Что же мне, за фюрера голову складывать? За Ульманиса я могу, это значит, за Ригу, но голова и родина у меня одна. Нет, я своих стариков не брошу, как Боря Катков. Сам едет, а мать остается.

— Вот в парижской «Иллюстрированной России», — грустно вставляет Джан, — в одном рождественском номере была статья. Сидит старик и вспоминает, и рассказывает своим сыновьям, которые уже в Париже родились, о сказочной стране — России, где даже извозчики говорили по-русски! Очень мне уж эта фраза врезалась. Мы вот тут сидим, бывает, что и латышей поругиваем, — а ведь не понимаем в сущности, какое счастье: ведь мы у себя дома! И в России, и не в советской. Пусть теперь Рига другая, пусть масштабы не те. Но ведь живем неплохо, и дома. Извозчики так по-русски предпочтительно изъясняются. А во Франции- в Германии, везде, кроме Харбина, русский — только эмигрант. Бесправное существование в чужой стране, оторванность, беспочвенность, туман. Многие устроились, но ведь не хлебом единым сыт человек. Да, может быть, хлеб вдвойне слаще, если его можно спросить в любой лавке по-русски, как у нас. Нет, я не упрекаю никого, но сама бежать не хочу! Поли-

тикой я до сих пор не интересовалась, но эти арийские теории — бред сумасшедшего ницшеанства, и нюрнбергские законы — просто позор. Да чем же они тогда лучше большевиков? Те расстреливали за белые руки, а эти за горбатые носы. Нет, такие вещи добром не кончаются. Сперва он евреев вне закона объявил, а потом ему еще какой-нибудь народ не понравится... Какая разница? Чорт знает, что такое, а не двадцатый век!

— Ух, расхорохорилась! Вот что значит — заразиться политикой! — поддерживает Кюммель, мирно жуя булку. — Но, между прочим, к выше сказанному оратором слегка присоединяюсь. Я, конечно, по мамаше удрать мог бы, но предатель рабочего класса у нас в Дrame напелся только один: твой любимчик, Джан, корнет знаменитый. Я его тоже видел: десять часов утра, а он — «лай-лай белый снег».

— А барон Унгерн-Штернберг — не едет?

— Куда там! Руками замахал. Какой он немец? Если бы его еще герр Кузнецовф или герр Калнынь звали, а то — Унгерн!

— Джан, иди скорее записываться, я уже! — ворвалась Надя, потрясая каким-то билетиком: — все, все там! Поедем вторым классом! Я сказала, что только в Берлин, и что я окончила здесь драматические курсы — ты подтвердишь, Кюммельчик, — и меня сразу же направят, где фильмы. Я уже и паспорт сдала. Знаешь, наш группен-фюрер, — такой симпатичный молодой человек, и он говорит: «вы, фрейлейн, будете скоро знаменитостью. Теперь из фильма всех неарийцев выкинули». Джан, а кто такие неарийцы? Это которые против большевиков?

Она услышала, наконец, тишину вокруг себя и остановилась, оглядываясь. Полковник ухмылялся в усы.

— Пауза, — гробовым голосом возгласил Кюммель. — Надька, держись. Наделала делов! Дайте Джан воды — ей дурно!

\*\*\*

Первая паника прошла, собирались спокойнее. Вероника смотрела на всех отсутствующим взглядом и в ответ на вопросы роняла из рук вещи. Надя то плакала и собиралась просить обратно свой паспорт, то мечтала о фильмовой карьере. Ладу Джан привела к себе, открыла все шкафы и сказала просто:

— Бери, что нужно. Я потом всегда куплю...

Чемоданы в магазинах были раскуплены в первые же дни: не успевали заготавливать новых.

Дикие, суматошные дни. Разлука все еще казалась бессмысленной и ненужной. Знакомые капитаны шелестели, роняли лакированные блестящие орехи — как всегда. Как же так — а домика под капитанами не будет больше?

Полковник встретил Джан однажды у самых ворот.

— Вот хорошо, что пришли. Как раз говорили о вас с профессором.

Джан удивленно подняла брови, но дядя Кир вел ее уже к калитке сада, отгороженного от общего двора. Ах, это старик профессор и его розы...

Джан не была еще здесь, и теперь вспомнила английскую книгу о девочке, попавшей в таинственный сад. Штамбовые розы были уже укутаны соломой, и около деревца стоял, чуть наклонив вбок седую бороду, в меховой шапке с наушниками и в валенках, профессор.

— Почему вы раньше не пришли ко мне? — строго спросил он, вместо всяких приветствий. — Нехорошо заставлять старика долго ждать. Еще немного, и я бы рассердился. А почему? Потому что вспомнил, что всегда срезал розы для милой полковницы. Она же устроила мне билет в театр на вапу легенду. В театр! Согласитесь, коллега, то есть простите, молодой человек, что легенда в театре, это... это... история вверх ногами? Удивляюсь, как могло вам придти в голову такое безобразие. Кажется я же и поставил вам кол на очередном зачете. Нет? Не вам? Ну, кому-нибудь другому. Неважно. Кол за историю, заметьте, получить никогда не мешает. Не правда ли? Положа руку на сердце, согласитесь, что вы совершенно не знаете истории. Отвечайте.

— Нет, не знаю, — немного испуганно вырвалось у совершенно обалдевшей Джан.

Полковник пробурчал что-то о складе и быстро скрылся.

— Идемте, — схватил ее за руку профессор, — идемте ко мне в кабинет. Говорить и думать лучше всего в кабинете. Или, конечно, в саду. Вот именно когда я сажал этот куст, тут мне пришла в голову замечательная мысль: закончить вапей легендой мою книгу. Что вы скажете? Пожалуйста сюда, здесь ступеньки, но вы не беспокойтесь о коврах. Я никогда не снимаю валенок. То-есть иногда летом, но старики мерзнут, это в порядке вещей. Вы, наверно курите, как вся молодежь. Курите, не стесняйтесь. Может быть, дым помогает вам думать и вспоминать тоже. Не правда ли? Я предпочитаю розы. О чем я говорил? Да, о книге. Книга, видите ли, почти готова. Я сразу пишу на трех языках — по-русски, немецки и английски. Хотел еще по-французски, но французы — не историки. Им не хватает медлительности, спокойствия. История — это гранит, мрамор. Или, что тоже нельзя забывать — песня. Вы не находите? У меня своя точка зрения, я ее объяснял уже не раз. Существует два рода истории. Одна пылится на полках и ею интересуются в торжественных случаях, или только такие книжные черви, как например, профессора. Очень, очень жаль. Люди, безусловно, происходят от обезьяны, потому что думают всегда вверх ногами. Вместо того, чтобы узнать, что такое жизнь в самом начале, они преспокойно вступают в нее, нахальные невежды, повторяют для себя все ошибки тысячелетий, и потом, извольте радоваться, хватают себя за волосы именно тогда, когда этих волос на голове



уже нет. I wonder! Я говорю о другом виде истории. О песне. О поэтическом творчестве. О той истории, которая продолжает жить наглядно, так сказать. Она, тем не менее, в загоне у книжной. Да, один-два анекдота, легенды, кое-где, петитом в виде примечания на весь толстый том. А том в тысячу страниц вы, во-первых не прочитаете, а во-вторых, даже если прочтете, то забудете, но эти строчки петитом запомните на всю жизнь. Ну, скажите, что бы вы знали сейчас о Фридрихе Барбароссе, если бы не его тысячелетний сон? Вы схватили мою мысль? Разумеется. Да, я, профессор истории, имею смелость защищать свое собственное мнение. Легенда, поэтическая фиоритура, художественный арабеск так же важны, как факт. Не менее, если не более. Молчите, я знаю, что вы собираетесь возразить. История не считается ни с чем. Во-первых. А во-вторых, что такое факт? «Событие, имеющее место во времени». Туманно, как Млечный путь. Имеющее место во времени! Событие! Смешно. Я, именно, пишу историю Риги. То-есть я написал еще кое-что, но в узких специальных рамках. Не советую вам писать сочинений, годных только для того, чтобы получить гонорис кауза Кембриджского университета. Но это пустяки. Я не патриот, но родившись в городе, являющемся историческим перекрестком Запада с Востоком, да еще в такой жемчужине, как Рига, было бы странно изучать историю другого. У каждого из нас соль Балтийского моря как бы в крови, вы не находите? Так вот: я не особенно люблю ходить по улицам, особенно в последние годы. Почему? Потому что я слишком много вижу, и это просто мешает ходить. Как будто попадаешь в какой-то вихрь непрерывно опадающих осенних листьев, или кто-нибудь крутит с дьявольской быстротой ручку этого мерзкого изобретения, апофеоза ярмарочной безвкусицы, апогея пошлости, синема. «Киношка» — заявил мне однажды один студент, представьте. Ça c'est le vrai mot! Киношка! Эрзац искусства. Да так вот, если все вдруг крутится, летит и останавливается вдруг, внезапно, на самом неожиданном месте. С поднятой ногой, скажем? Или когда у розы осыпаются лепестки, и один из них повиснет в воздухе, плывет, почти останавливается. Вот факт, видите ли, что рыцарь фон-Лорингхофен проезжал у крепостной стены Риги. Бесспорный факт. Но, когда я вижу, как он едет, шагом, и его конь спокойно переступает через стенки звенящего трамвая, то позвольте: трамвай, по-вашему, тоже факт? Имеющий место во времени? В этом-то и загвоздка, коллега. Пожалуйста, только не вздумайте повторять избитые прописи: «камни говорят». Разумеется, они говорят, только их надо слышать. Слуха у меня нет. Слух — дело поэтов, потому что они ищут звук. Я вижу. Прежде всего, например, я вижу, какие у вас глаза. Немножко запылились, но это ничего, вы еще чересчур молоды, потом прояснитесь. Но с такими глазами, как у вас, коллега, можно многое увидеть. Иначе, разве вы могли бы, как это было у вас сказано: «Последние корабли»!



Конечно, я помню. Только суть, но остальное вы мне дадите. Суть в книге. Параллели истории и легенды. Историю, да простят мне боги, историю, ха-ха, я засунул, вот именно, в петит. В примечания! Но остальное я собрал все. Да, на это ушли годы. Я ездил по старинным имениям и замкам, рылся в архивах, и прочел все в подлинниках на девяти языках, которые я знаю. Конечно, отбор необходим, многие легенды повторяются, но ваша, заметьте, последняя. Она чересчур симптоматична. Вы, конечно, считаете ее собственной фантазией? Прискорбное заблуждение. Нет, дорогой коллега, легенда о последних кораблях могла зародиться только именно здесь, у подножья этих башен, в тени этих парусов на пристани, под аккорды этого ветра, который сейчас стучится в окно. Поэтому я и считаю ее достойным концом, завершением моей книги. Понятно, надеюсь?

Профессор топал валенками по толстому ковру, взмахивал бородой, и внезапно останавливался, гневно взглядывая на Джан, как будто обвиняя ее в скачках собственных слов и мыслей.

Переход от сумасшедшего дня, забитого чемоданами, мастерской, разговорами, страхами, прорезанного прощаньем, проткнутого разлукой — в профессорский кабинет, к профессору, с его розами, книгами и «Кораблями» — был настолько ошеломителен, что даже не удивил. Росло еще не совсем ясное сознание, что обычные масштабы рамок перестали «иметь место во времени», и впечатления, вкрапливаемые до сих пор отдельными блестящими в жизнь, теперь обрушились каскадом, размахивались громадным маятником качелей, на которых замирало сердце, и иногда хотелось зажмурить глаза — и проснуться.

Последние корабли...

Это было уже сказано. Когда-то...



— Ваша сестра, кажется, очень энергичная и деловая женщина, — сказал князь Нагаев, упираясь коленом в крышку чемодана, — но, сейчас она делает большую ошибку, оставаясь здесь. Впрочем, вы ведь ничем не связаны и могли бы поехать одна... Я еду послезавтра. Очень мило, что зашли проститься... Мы прекрасно провели лето, неправда ли? Никогда не думал... Обычно я никогда не даю глупых обещаний «не забывать», но согласитесь, что начать подарком пропавшего семейного талисмана и кончить объявлением войны — это достаточно оригинально, чтобы сохранить воспоминание. И вы, шери, оказались правы: я снимаю шляпу. Вы были и остались настоящей дамой. Надеюсь, что я тоже не заслужил упрека. Да, между прочим: это пустяк, конечно, но мне не хотелось ее укладывать, и я подумал, что, может быть, вам приятно будет сохранить ее на память.

Вероника с легкой улыбкой взяла из его рук маленькую чашечку. Поздний севр Луи Дофина. Позолоченные арабски свивались вокруг таких же завитых розовых хризантем. На

чашечке шла чуть заметным волоском трещина. Да, конечно, она не выдержит долгой поездки — как и воспоминание, вероятно...

— Спасибо, князь. Очень тронута.

Вероника дернула за хвост лису, мягко скрывшую усталость плеч.

— «Она поправила прическу и прошептала: вот и все», — сказала она обычным тоном, протягивая князю руку, и стараясь не смотреть на опустошенные стены комнаты. — Прощайте, князьенька. Вряд ли мы увидимся. Так лучше.

Спокойно и нежно притянула к себе его голову, поцеловала в лоб, и сама раскрыла дверь в переднюю. Без одной слезинки. О, Боже мой, для этого будет достаточно времени — потом. Послезавтра доктор назначил ей придти. Сказать ему... Зачем? А может быть... может быть, пойти даже на скандал и оставить себе ребенка — на память вот об этих стенах, о комнате, которую она никогда не увидит больше, об этом упрямом затылке, играющих бровях, низком голосе... Может быть, будет сын, княжич... ха!

Князь, искренне растроганный ее сдержанностью, мягко щелкнул замком выходной двери.

— Никогда — очень печальное слово, ма шери. Давайте лучше скажем: до свиданья.

Он открыл дверь и откинулся назад. На пороге, протягивая руку к звонку, стояла Вара.

— Однако! — нахально протянула она, с явной насмешкой смотря на обоих: — вот уж вас, Вероника Николаевна, меньше всего ожидала здесь встретить. Но сейчас в Риге сезон прощальных визитов. Я не помешала, надеюсь?

Она широко раскрыла улыбкой зубы, а маленькие оловянные глазки смотрели на Веронику с такой ненавистью, что та едва не потеряла выдержку.

— Мы уже простились, Варвара Димитриевна, — теперь очередь за вами, — как можно веселее постаралась сказать Вероника.

Она слышала еще за спиной стук захлопнутой двери, спускаясь по лестнице, но почти не видела ступенек.. Когда-то она тоже спускалась по ним, тоже в холодный ноябрьский вечер, жалкой намокшей фигурой...

Вероника нежно прижимает к груди треснувшую чашечку, и медленно, тяжелыми, усталыми шагами идет домой. «Это было у моря, где жемчужная пена»... Конец.



— Однако, — повторяет на распев Вара, спокойно, не обращая внимания на явное недовольство князя, проходя к нему в комнату и усаживаясь на диван: — бывают в жизни встречи! Мне рассказывали, что вас видали летом на Эзеле, но я только

смеялась. Конечно, перед отъездом у тебя целая процессия дам... А детский сад не придет на проводы?

Она вскинула ногу на ногу, закурила и пустила ему дым в лицо.

— Я, во всяком случае, нахожу проводы с твоей стороны совершенно излишними, — сухо ответил князь.

— Да? Не беспокойся. На пристани я, может быть, и буду, но по обязанности репортера. Сейчас задерживаться не собираюсь, можешь не нервничать. Ни целовать, ни давать тебе по физиономии я тоже не намерена. Этого мне мало. Кто-нибудь из вас уж заплатит мне за все. Зашла собственно потому, что решила вдруг позвонить по телефону одному своему поклоннику. Для преемственности, так сказать. И кроме того...

Она чуть нагнулась вперед, дерзкая улыбка сбежала с ее лица, оно посерело даже от каменного, тяжелого выражения.

— Ты хорошо делаешь, что уезжаешь, милый князь... Это все, что я могу тебе сказать... Когданибудь — вспомнишь...

Вара отбросила папиросу, встала, сняла трубку, накрутила номер. Теперь ее голос звучал, как обычно, но лицо попрежнему напоминало древнюю каменную бабу на кургане в степи.

— Алло? Вадим Павлович? Это я. Удивлены? Почему же... вы то, надеюсь, не собираетесь в Берлин? Ну, конечно, ... я вообще люблю экспромпты... А вы думаете, я забыла о китайском браслете? Свободна... Нет, не в редакции и не дома... Хорошо, через двадцать минут я у вас. Пока.

— Не понимаю, для чего тебе понадобилось разыгрывать эту сцену, — пожал плечами уже успокоившийся князь, когда она положила трубку. — Может быть, ты воображаешь, что я способен приревновать тебя к кому-нибудь? Наши отношения кончились полгода тому назад и, по правде говоря, не так, чтобы я хотел возобновить знакомство.

— О, конечно, я не гожусь даже в любовницы его сиятельству! Но и у меня с тобой все покончено. С тобой и тебе подобными. А вот этот человек, которому я звонила только что, этот, при случае, заплатит мне за тебя тоже... круговая порука! Ха-ха! Ну, довольно. Прощай, князь! Не советую когда-нибудь встретиться со мной потом...

Последние слова она произнесла сквозь зубы уже у двери. Князь не тронулся с места, и продолжая стоять, засунул руки в карманы.



— Ну, что же, Эль? — грустно улыбнулась Джан навстречу входящей в мастерскую подруге: — проститься пришла? Теперь уже не в Вену, а в Берлин едешь?

— Знаешь, мне уже надоел этот вопрос. Конечно, я не еду. С какой стати? В фашистскую Германию?

— То-есть как же? А Александр Робертович?

— До старух мне никакого дела нет. Они укладываются, конечно. А Киса? Я не удерживаю, разумеется, но если он сам предпочитает остаться...

Голос Эль звучал холодно. Киса исчерпал все доводы, чтобы уговорить ее. Отправлять старуху мать вместе с сестрой в Германию одним ему совершенно не хотелось. Положение тревожное. Ему, инженеру-химику, открывались в Германии хорошие перспективы. И, самое главное — отъезд оторвал бы Леночку от этого мужика, широкомордого форштадтского парня, связь с которым стала не только слишком уже очевидной, чтобы мириться с ней даже ему, но и чересчур скандальной. Боже мой, Леночка... Гунар, блестящий секретарь посольства, светский молодой человек, Вена... это можно было понять и простить. Тогда он боялся. Тогда он знал, что имеет дело с очень опасным соперником, и единственным оружием в его руках — леночкина слабость, недостатки, делающие ее невозможной для роли светской дамы.

Но, Боже мой, Петел... для этого «двуногого большевика», как он называл его про себя — Леночка была недосягаемое божество. А она может часами разговаривать с ним... о чем?! И какое оружие можно найти против пещерного человека? Дубину? Револьвер? Но нельзя же убивать только потому, что собственная жена... а результат? Тюрьма, скандал. Даже если оправдают — Леночка отвернется от него. Но она не так уж молода теперь. Общество дикаря надоеет, подействует на нервы. Она его выгонит сама, и когда успокоится, они будут — наконец-то — вместе. Что ж поделаешь: — понять-простить. На этот раз понять нельзя, но простить, все равно, придется!

И Александр Робертович печально, но твердо заявил матери, что ей, разумеется, надо ехать. Он, по деловым соображениям, останется, но, как немец, сможет уехать в любую минуту, неправда ли? Опасности пока никакой нет.

Мать трясла седой головой, прекрасно понимая, в чем дело, и, смахивая обиженные, беспомощные слезы, укладывала чемоданы и ящики. Ненависть и презрение к этой выскочке, погубившей сыну всю жизнь, дошли у нее до предела, за которым слова были бессильны. Может быть, он все таки одумается.

— Может быть, он все-таки уедет один? — спрашивал Петел, подмигивая в сторону лаборатории в своей комнате. — Как думаешь, Аленушка?

Она хмурилась и пожимала плечами.

— Уперся. Ничего не поделаешь.

— Ну... не горюй. И так обойдется. Но жаль, конечно. Что называется, отделались бы и дешево, и сердито. Но теперь, Аленушка, держись! Теперь только и начинается настоящая работа! Прямо дух захватывает!

\*\*\*



Лада уложила все иконы, кроме маленькой — Тихвинская Богоматерь, ризы ручной работы, шитье золотом и мелким жемчугом. Джан часто восхищалась старинной работой. Теперь Лада сняла ее со стены, перекрестилась и обернулась к Джан.

— Ну, Джанушка — кончилась наша с тобой жизнь. Вместе мы замуж выходили, вместе детей родили, бок-о-бок молодость прожили. Кончилось это. Встретимся ли? Так вот, благословить тебя хочу...

Джан, тоже плача навзрыд, опустилась на колени.

— Благослови, Ладушка. Один Бог знает...

Каждый час из последних оставшихся нельзя было терять. Сидели вместе. Дядя Кир убеждал Джан подумать еще, пароходы будут... Вспоминали прошлое, шаг за шагом, всю жизнь.

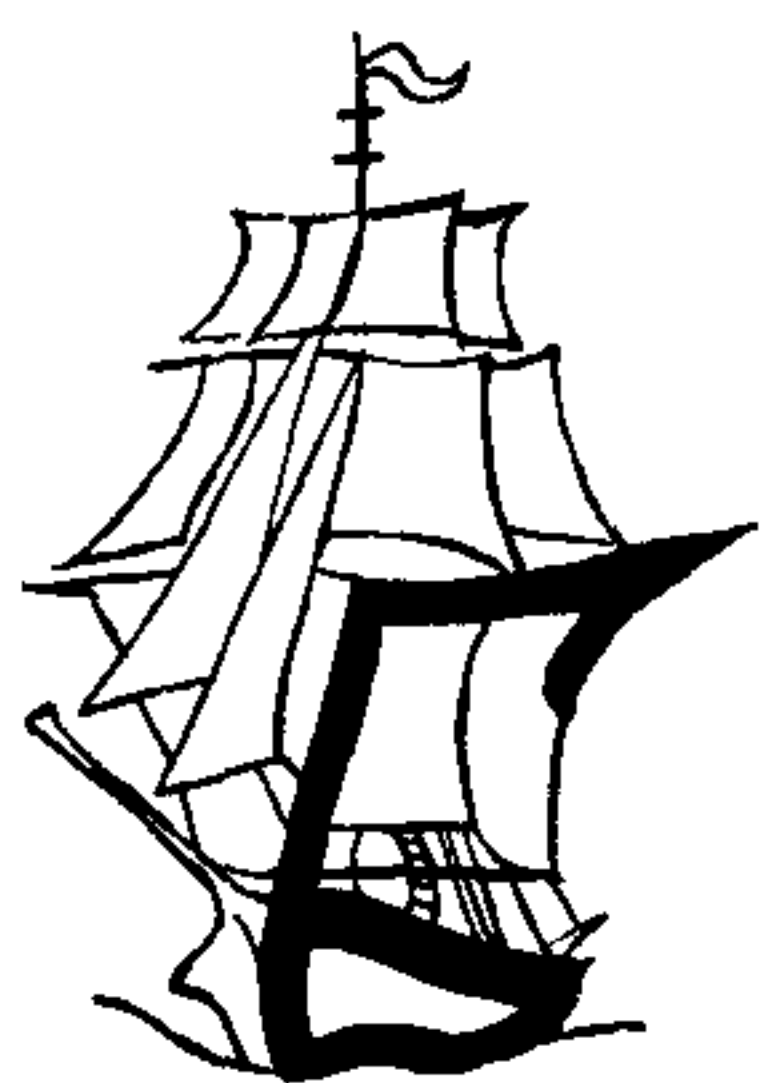
В холодный туман уходил пароход. Вот еще последние слезы вместе, последние шаги — сходни, мостик в неизвестность — и мутный провал воды у парапета, дальше не шагнешь. Сколько людей, и все плачут, целуют друг друга, оглядываются на город. Прощай Старый Город, прощай!..

К кому же придти потом, кому рассказать, кто поймет, не только потому, что понимает, но и потому, что все знает — помнит?

Команда на другом, не рижском, немецком языке обрывисто обрубает мостки. Пароход, и Лада, и пристань — город — все уходит в холодный туман.

Последние корабли.

«Может быть, они вернутся», — шепчет Джан, но сама не верит этому. Никогда! Какое страшное слово!



ыла исключительно суровая зима 1939 — 1940 года. Ноябрь шел в туманах, декабрь засыпал Балтику снегом чуть ли не в два метра, январь ударил неслыханным морозом. Замерзли не только Двина, как обычно, и редко замерзающий порт открытого моря — Либава, замерзло все море. Вдоль дачного пляжа громоздились, вышиной в дома, фантастические водопады льда. Из Балтики в Швецию можно было пройти пешком. Ледоколы, выводившие последние пароходы, застряли вместе с ними на зимовку, и команды пришлось спасать самолетами. Козули, зайцы приходили в город за едой. Старожилы уверяли, что четыреста лет не видали такой зимы. Два с половиной месяца ртуть колебалась между 38 и 45 градусами ниже нуля. Со всех концов Европы неслись вести о морозах, замерзших людях — четырнадцать градусов в Париже! И о потопленных пароходах.

Да, регулярный фронт на севере. Война Финляндии с Советским Союзом. По расчетам всех стратегов, достаточно было двух-трех дней. Помилуйте, при современной технике! Но линия Маннергейма продолжала стоять.

Финны — не чистые скандинавы, но страна построена по-шведскому образцу: и скалы, и домики. Красиво, чисто и прочно. Финский гранит можно раздробить, но его нельзя ни согнуть, ни сломать — как и финнов. Они думают медленно и тяжело, но категорически. Долго взвешивают свои «да» и «нет», но, сказав, не отступят и через годы.

В стране десяти тысяч озер и водопадов электричество делает все, но высокая цивилизованность не испортила народа, как обычно, не оторвала его от природы. Каждый финн — рыбак или охотник. С кафедры или из парламента он прямо перешагнет в лодку и выйдет в море в любую погоду. Или надвинет на глаза меховую «финку» и отправится на коротких лыжах с ружьем в лес. И то и другое финн проделывает один. У него твердая рука и острый взгляд. Птицу бьют в глаз, а «пукко», — нож в кожаных ножнах — первая игрушка ребенка и последняя вещь, которую не выпускают из рук и перед смертью. Пукко режут хлеб, чистят рыбу, обтесывают дерево и одним, почти неуловимым ударом прокладывают крохотный треугольничек под сердцем.

Финна хорошо иметь другом. Он медленно скользнет взглядом вокруг и поможет как раз там, где нужно, молча, без объяснений и не дожидаясь благодарности, часто со смертельным риском. Финны угрюмы, у них холодная жестокость и поразительная честность. В Финляндии нельзя потерять что-нибудь. Любую вещь каждый нашедший положит на видном месте или сдаст в полицию. Квартиры как правило, не запираются вовсе. Предателей нет. И всего этого уже совершенно достаточно, чтобы потерять в Финляндии... сердце.

На подкрепление войскам Ленинградского округа, которые официально вели войну, были присланы туземные войска из Туркестана. Большинство из них впервые увидели снег — зимы сорокового года! Конечно, они замерзали раньше, чем успевали стрелять.

Храбрая, свободолюбивая Финляндия вызвала сочувствие всего мира. Швеция отправила Красный Крест на помощь младшей сестре и много добровольцев. Америка дала вооружение: маленькая Финляндия была единственной страной, заплатившей Америке свои долги! Но Финляндия — на краю Европы. Но в эту зиму замерзло море. Но, помимо всех симпатий — помощь была безнадежна. Пять миллионов против двух сот — это в лучшем случае героическое самоубийство.

Советские стратеги были или чересчур доморощенными неучами, или очень умными политиками. Война с Финляндией должна была показать миру, что Советский Союз не так мощен, как кажется. Обычная азиатская тактика?

Потом через Ленинград прошли сибирские войска. Охотники, лыжники, тоже стреляющие белку в глаз и умеющие зарываться в снег. Линия Маннергейма была сломлена, выбита. Выборг

взят. В лесах приходилось брать каждое дерево, в городах каждый дом.

Финский народный эпос — Калевала, и герои его живы и до сих пор. Придется Вейнемейнену силой своей песни заговаривать кровь своему народу, придется Леммикайнену, смелому кузнецу, ковать новое Сампо — солнце — счастье своей стране.

Не умерла Калевала. Жива. Будет.



Норд-ост под окном стучится,  
На стеклах туман разлит,  
И ночь, как замерзшая птица,  
В глубоком снегу лежит.

...Птицей с подрезанными крыльями лежала в сугробах Рига. Репатриация и отъезды становились историческими, то есть уже немного запылившимися событиями. Война, сообщения с фронта, слухи, прогнозы, глухая подземная тревога гнали дни, как клочья. В магазинах исчезли кофе, какао, пряности. Южных фруктов не появилось вовсе. Недостаток угля заменялся своей березой — дела дровяников шли блестяще. Дела хорошо шли вообще у многих — отсутствие немецкой конкуренции и импорта поднимали свое производство.

Работа в «Керам» дала осенью кривую вниз, но, преодолев первую панику, Джан взялась за работу, как следует, и к Рождеству распродалась до тла. К новому году получила большой заказ из Литвы. Веронике, вышедшей на пенсию, поручалась самая легкая работа; Катюшка ждала ребенка — а Надя уехала и присылала изредка невразумительные письма, больше о Фрицах. Кюммель читал их у муфеля и подхихкивал.

В мастерской не хватало места для изразцов, но переехать в другое помещение Джан не решалась. Ненадежно все как-то, повисло в воздухе.

— Становимся капиталистами, — важно говорил Лаврик, поглаживая воображаемую бороду; — этак, смотришь, еще два годика войны, и свой заводик выстроим, любезная сестрица!

Рождество было отпраздновано, как полагается, но на столе горело уже несколько свечей — тем, кто не мог быть вместе. Сестры сидели дома.

— С новым счастьем! — подчеркнуто сказал Лаврик, чокаясь с Джан, но она устало улыбнулась.

— Не надо нового, Лавринька. Дай Бог, чтобы не было хуже.

Да, формула изменилась. Раньше все неудачи скрачивались надеждой, но раньше была видна завтрашняя дорога. Теперь ее не было. Эта миражность жизни, при которой единственная реальность — прошлое, как иней на душе. Джан часто становилось холодно, и она не знала, почему.

Зимой Инночка танцевала в опере. Балетмейстерша пригласила Джан к себе. Сухая, тоненькая женщина с лебедиными изломами рук, порхающим, падающим полетом движений.



— Ваша Инночка — одна из моих лучших учениц. У нее естественная грация, хороший носок, чувство танца и выдержка. В опере идут балеты с участием маленьких. Инночке одиннадцать лет, а к сцене тоже надо иметь привычку, так что, если вы ничего не имеете против...

Первое выступление Инночки было в «Лебедином озере». Разумеется, вся семья была в сборе, и Маруся ахала, испуганно оглядываясь на Джан.

Маруся жила у них теперь уже год и окончательно вошла в семью. Она поправилась, несмотря на работу, синяки под глазами исчезли. Звали ее «Куколка», над ее аханьем подсмеивались, и искренне привязались. Она не была глупа: в кудреватой головке умещалось не много мыслей, но они сидели прочно. Жалобные, как у котенка, голубые глаза, вздернутый носик и живая фигурка делали ее на много моложе.

Самой большой слабостью Куколки была влюбленность. Влюблялась она ежеминутно, и прибегала к Джан или Катышке рассказывать «о нем». Средняя продолжительность романов колебалась от трех дней до трех месяцев, и большинство были платоническими.

Несчастье и слабость подавляющего большинства женщин заключается в том, что им больше всего хочется нежности и сердечности, то-есть именно того, что подавляющее большинство мужчин совершенно не вносит в любовь. Умные женщины прячут это стремление, осторожно нащупывая почву. Маруся не была умной, и заявляла сразу:

— Я ищу душу.

В семнадцать лет такая наивность может быть трогательной, но в тридцать семь она даже не смешна, а раздражает, как досадливая муха. Всерьез к Марусе обычно не относились, и в этом заключалось ее второе несчастье. В семье Джан ее приняли, как свою, и она заявляла теперь, что даже если ее захотят выгнать, то она ляжет у двери, как собачонка.

— Только, знаешь, мне надо теперь от этого чорта избавиться, — сказала она Джан, смешно хлопая ресницами. — Как ты думаешь? Люблю ли я его, или нет — сама не знаю. Немножко жалко и так — привыкла. Я его тебе подсуну, а ты сплавь понемногу, чтобы отстал, хорошо?

— Чтобы мне особенно улыбалось сплавлять человека...

— Да нет, ты не понимаешь. Ему очень хочется познакомиться со всеми вами, но он боится.

— Кажется, не кусаемся.

— Тут другое... он очень образованный, интеллигентный человек, но еврей, понимаешь?

— Нет, — искренне изумилась Джан.

— Ну, вот, я то же самое говорю, а он не верит. погоди, я приведу его в следующее воскресенье...

Так появился новый персонаж: Натан Иосифович Гельперт,

«Натан мудрый», а по заявлению Кюммеля, сразу не влюбившего его, — Навуходоносор.

У него была вихляющая походка — от больных ног, как Джан узнала потом. Слишком узкие плечи и маленькая голова. Зато лицо было красиво, испанского типа, с седыми висками на иссиня-черных волосах, грустными восточными глазами, и немного неприятной жесткостью рта.

Визиты его стали постоянными, а форма разговора была всегда одна и та же: спор и обличительная проповедь. Большею частью, с Джан, потому что остальным это быстро надоедало. Свои нападки он старался смягчить высокопарным и ходульным стилем, но столкновение двух совершенно чуждых мировоззрений было для Джан интересным. Ей приходилось доказывать аксиомы, — а это труднее всего.

— Мне хотелось познакомиться с вашим семейством, потому что среди моего знакомства таких людей нет. Сам я принадлежу к раритетам. Есть, видите ли, евреи и жидаы. Я филолог, и знаю, что это не бранное слово, а искаженная в древности латынь. Основное качество всякого еврея — это рациональность и трезвый ум. Но мы — древний народ. Один из поэтов сказал, что в наших глазах — тоска тысячелетий. Поэтому время от времени у нас появляются выродки — люди совсем другого порядка, поэты, музыканты, святые. Вот к подобным принадлежу и я, хотя талантов у меня нет. «Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано». Как, впрочем, и вам.

— Простите, Натан Иосифович, но вы — филолог?

— Вежливое наименование совершенно бесполезного человека. Мать мечтала, чтобы я стал адвокатом, поэтому я сперва поступил на юридический, пришлось кончить оба факультета. Но в адвокаты я, конечно, не пошел. Мать имеет магазинчик на Мариинской, а я даю уроки. Половину отдаю ей, половину трачу на книги. Это моя страсть, такая же нелепая, как и все остальное. Тысяч восемь томов, на всех известных мне языках. Я их изредка перелистываю. Иногда раньше мне приходило вдруг в голову прочесть Дон Кихота или Бьернсона в подлиннике. Тогда я учил новый язык и читал. Теперь я знаю четырнадцать, но прочесть книгу у меня не хватает терпения, и болит голова. Я никогда не мог устроиться ни на одно место, и просто не понимаю, как люди ухитряются достать себе работу. Но чужие недостатки я вижу сразу, и вот вашей, например, непрактичности удивляюсь, хоть вы и деловая женщина.

— Эль укоряет меня в материализме.

— Эль — это молодящаяся актриса, играющая только одну роль, и притом не на подмостках? Ее пронидательности я не удивляюсь. Но вы меня поражаете. Вы безумным трудом создали дело, убиваете себя работой, и ничего не имеете, кроме надежд и мечтаний.

— Позвольте, как же? Раньше мы жили гораздо хуже!

— Да, я знаю! — кричал Гельперт, сразу разъярившись, и возбужденно размахивая руками. — Тут у вас размах, как в Обломовке, варится и печется на сорок человек, русское гостеприимство! Но разве это ваш или доходный дом? Вы подмазали тут, поставили там вазу собственного производства, и готовы плакать от умиления. Все очень оригинально и дешево. Впечатление вы умеете производить, но, если бы дело было в еврейских руках, то, вместо белого дома в мечтах, был бы домик на форштадте, и в нем сдавались бы квартиры. Вы мне напоминаете девочку, которую я видел однажды на вокзале. Она сидела и кушала яичко. Кушает и тщательно собирает все скорлупки в передничек, а потом встала и стряхнула все на пол. Вот и у вас так. Есть слова, имеющие для вас fasciniрующее значение; например, вы говорите «белый дом», и сразу видите картину: колонны, аллея, — и погибли. Прошлое непосредственно проектируется на будущее, и вы сейчас же забываете, что подставок и фундамента для дворянских усадеб у вас нет. Но вы живете на сквозняке, и затыкаете дыры надеждами. Вы, конечно, можете возразить, что не единым хлебом сыт человек. Хорошо-с, примемся за вашу духовную пищу, и вот в пять минут от вас камня на камне не останется, стоит только сдернуть с вашей лампочки этот уютный оранжевый абажур и дать другое освещение!

— Натан Иосифович! А для чего его сдергивать? Для чего непременно разрушать? Простите, но вот именно это чисто еврейская рациональность. Для чего вы хотите отнять у людей иллюзии, если они ими живут?

— Иллюзии вредны. «Корабли» ваши я тоже прочел. Признаю: художественный эссеизм. Диллетанство, другими словами. Вы просто умная, развитая женщина с мечтательным уклоном и художественным вкусом. Вы берете пустячок, придаете ему необычайные свойства и высказываете попутно иногда умные мысли. А помимо этих блесков, у вас в голове — полный сумбур и невозможная смесь из некоторых устаревших понятий, и каких-то умственных заковык. Конечно, вы, как славяне, рациональностью мышления вообще не отличаетесь. Вы похожи на промокательную бумагу. Очень быстро и легко всасываете в себя все — и самый ясный и четкий штрих превращается в бесформенную кляксу. Скажите, на чем вы воспитывались? Прежде всего — христианство. За две тысячи лет доказало свою полную несостоятельность. Не спорю, Христос был великим идеалистом, — если был вообще, но мифические личности сильнее исторических, как всякий миф. Учение идеально, то-есть совершенно неприменимо в жизни, что и доказали так называемые христиане: с одной стороны проповедь добра, с другой — крещение огнем и мечом. Разве христиане могут вести войны? А кто их ведет? У нас просто сказано: «не убий» — и каждому еврею глубоко противен даже вид крови. Теперь дальше: «люби ближнего, как самого себя». Скажите, вы много видели еврейских нищих?

— Я видела однажды, как в маленький еврейский магазин вошла старая женщина. Очевидно, ее знали: она ничего не сказала, а хозяйка спрашивает: «хоб ир а сантим»? — и дала ей монетку в два. Сантим сдачи!

— Конечно, вам непонятно. Вы можете дать десять латов, а потом не захотите повторить глупости. А у нас обязан дать каждый. Один сантим — никто не разорится. Нет, наши законоучители были хорошими психологами и знали, что нельзя требовать от человека, чтобы он отдал все.

— Да, вы удивительно поддерживаете друг друга.

— Я хотел бы посмотреть, чтобы с нами было, если бы этого не было. Сейчас вы особенно можете оценить это. Сейчас вы двадцать лет в эмиграции, а мы — две тысячи! Ну, вот, представьте себе, что я сейчас сяду на пол, посыплю себе пеплом из вашей пепельницы голову, и буду плакать именно о том, что я, Натан Гельперт, должен был быть раввином или еще кем-нибудь, если бы Иерусалим не был разрушен! А? Вы смеетесь? Что же тут смешного, вы делаете это каждый день и в каждой газете! И, пожалуйста, не говорите мне, что двадцать и две тысячи — большая разница! Когда вы увидите теперешнюю Россию, то сами скажете, что со времени великой революции прошло не двадцать лет, а тысяча! Вперед или в сторону — один смотрит так, другой иначе. Только история не смотрит никак. Если даже вся наша земля со своей историей взорвется, то это будет взрыв для нас, а для Канопуса, скажем, какая-то чиркнувшая спичка, и увидит ее он через миллион световых лет!

— Хорошо, что же вы хотите этим доказать? Что мы, русские, ничего не стоим? Конечно, мы, славяне, а следовательно: анархичны до безалаберности и мягки до хамства. Но культура? Вы сами воспитаны на русской культуре и не можете ее отрицать.

— Что вы мягки, это я вижу хотя бы потому, что вы еще не выгнали меня вон, но можете сделать это теперь, потому что я скажу, что о русской культуре не высокого мнения. Русскую культуру надо делить на два неравных периода. Первый — допетровских времен, и за это время сделано, пусть по уважительным причинам, но в три раза меньше, чем на Западе. Следующий период начинается в девятнадцатом столетии, потому что восемнадцатый век — это табак, коллегии и пудренные парики, которые так же самобытны для русского народа, как для негров. А за сто с небольшим лет понадобилось переварить столько, что русские хоть и дали много, но не переварили еще больше. В точных науках впереди всегда шли англичане и немцы, философия вообще чужда славянам, они могут только философствовать, но не создавать систем. Соловьев — туманный мистик, с Кантом его не сравнить. Русские изобретатели всегда, оказывается, изобрели что-нибудь уже 200 лет тому назад, но на том и успокоились, как Яблочкин и Попов, а свет-то дал Эдисон. Менделеев? Но таких на Западе дюжины. Лучший русский архитек-



тор — Растрелли. Звучит почти как Растелаев, неправда ли? Своей школы живописи нет. Шаляпин — гений, балет перво-классный, первый в мире. Но пляски и пение — в национальном характере, немудрено, что на двести миллионов находятся хорошие голоса и ноги. А вот литература... вы заметили, что я приберег ее под конец. Русскую литературу создал Пушкин, продолжил Достоевский, и закончил Блок. Говорю о гениях только. Гениев сравнивать нельзя, они надзвездны, но вы заметили общую черту? Они не только русские, они слишком русские гении. Я хочу сказать, что Отелло, например, понятен и русскому, и скажем, и индусу, а вот братьев Карамазовых в Чикаго поймут только больные нервами люди. Вы думаете, чужд русский быт? Нет. Установка в жизни. Да, есть гении, звезды и таланты. Но есть, к сожалению, только одна, подлинно русская школа, а всех остальных заклевают, как белых ворон, вроде как Алексея Константиновича Толстого. Наверху этой пирамиды — пророчество о гибели, а внизу, во всю ширину ее основания — самооплевывание, самоковыряние в таких глубинах, что каждый разумный человек, обнаружив их в себе, должен побежать к врачу, или отправиться в кругосветное путешествие, чтобы проветриться. Все вместе называется исканием правды и народом-богоносцем. Психиатры называют это иначе. Вы не согласны, конечно?

— Конечно, нет. Если Россия не могла переварить всего западного, то это и немудрено. Легче всего усваивается самое плохое. Но, именно в силу своей истории и географии, русские — слишком молодой еще народ. Отсюда болезни роста. Учиться нам надо еще очень многому, но мне кажется, что Запад — далеко не образец во всем. Для чего непременно чужой мундир? Оставьте нам нашу Азию. Русские — не европейцы и не азиаты, а отдельный западный восток. В нас слишком много разных кровей, и с этой многогранностью справиться не легко, но, во всяком случае, не рациональностью. И если мы по существу анархисты, то нам нужен хоть один непререкаемый авторитет, — благоговение перед Богом. Больше всего нам вредит противоречие. С одной стороны, русский удовлетворяется примитивом, с другой — берется за непосильную задачу, не хватая выдержки, и получается кавардак. Поменьше говорить, и лучше работать — вот и весь рецепт. Мне попалась однажды английская книга: «Дети тумана». Быт лондонской нищеты. Если бы эту книгу написал русский автор, то читатель должен был бы взять веревку и повеситься. А после английской книги — хочется жить и бороться. Мало у нас настоящей жизнерадостности, и считается она почему-то наивной. Но ведь солнце-то, бесспорно есть? Вот вы меня постарались разгрохать, как могли. Ну, звали бы меня Сарой или Эммой, был бы у меня унылый домишко со скромным доходом, и ели бы мы на кухне оловянными ложками, потому что серебро вынимается из буфета толь-

ко на свадьбы и похороны. Но зато и вся моя жизнь была бы неуютной и пустой. Для чего же я тогда живу? Может быть, я не выстрою белого дома, и моя усадьба ограничится парой кур. Но мы мечтаем о нем, и это красит нам жизнь. Кто же из нас богаче — я или вы? Я трачу деньги ради нескольких радостных минут, для себя и других. Но деньги могут пропасть, а вот это тепло и свет, которые я зажигаю, останутся. Верить в Бога — это значит радоваться жизни! Пессимизм и нищету я тоже видела. Но зато теперь меня не сбить ничем. Мир прекрасен, чудесен и велик, потому что его создал Бог, и продолжает оставаться таким же прекрасным, чудесным и великим, как люди ни стараются испортить его, а если мне не нашлось в нем места, то это Его воля.

Разговоры обрывались, и они расходились до следующего, успев, конечно, очень мало доказать друг другу. Гельперт махал руками, и был уверен в своей непогрешимости и трезвости. На самом деле, он был таким же мечтателем, только без мечты, и именно эта пустота и заставляла его тянуться к беспорядочному, но радостному жизнеутверждению Джан.

Гельперт назвал себя анархистом, и Джан просто приняла это к сведению. Но Кюммель поддразнивал ее однажды свечкой, которую она поставила за Альказар, и Гельперт взорвался, обвиняя ее в политической неграмотности. На следующий день он приволок ей связку французских книг о теории анархизма и гражданской войне в Испании. Джан, дав слово, просидела над ними три вечера подряд.

— Какое же вы вывели теперь резюме? — грозно спросил Гельперт, являясь в мастерскую. — Я могу принести еще...

— Боже упаси! — взмолилась Джан.

— Но что вы поняли, я хочу знать!

— Я поняла еще раз, что Ортего и Гассета — замечательный философ. Прост, понятен, сердечно умен.

— Ортего и Гассета я читал в оригинале. Но ни в одной из этих книг он не цитируется вообще.

— Вот именно поэтому, дорогой Натан Иосифович! — хитро улыбнулась Джан.

Бей фыркнул.

— Филистимляне! — строго сказала Джан, обращаясь к мучельной. — Вы бы лучше засунули носы в Ортего!

— Нет, — грустно покачал головой Гельперт, — вам ничем не поможешь. «Оставь надежду всяк, сюда входящий».

И ушел, унося подмышкой отвергнутые анархические книги.

\*\*\*

Год шел дальше. Свирепая зима, разразившись последними мартовскими бурями и медленным, часто останавливавшимся ледоходом, ушла. Вслед ей жалобно тянулись отмерзшие, голые сучья. От небывалых морозов в этот год в Балтике вымерзли все плодовые деревья. Прошлой осенью Джан заказала в садо-

водстве Вагнера сажены и посадила двадцать штук на своем дворе. Положили очень много навоза и закутали их на зиму не пучками, а ворохами соломы. Лаврик с Кюммелем издевались, что двор похож на папуасскую деревню на парижской выставке, но теперь торжествовала Джан. Замерзло только два деревца, остальные дали листья. Еще год — и будет сад!

Ледяные заторы во время ледохода взрывали, но еще хуже был апрельский взрыв на берегах Норвегии. Занятие нейтральной мирной страны всколыхнуло и Балтийские берега. Вот тебе и Скандинавский блок!..

Удар, но удар мимо. Жизнь сдвинута с фокуса, но еще держится боком в обычных рамках, и вспыхивающая тревога, как слабый подземный гул, заглушается чириканьем птиц. Или воплем родившегося младенца. Катышка сравнительно легко разрешилась от бремени сыном — Ярославом, по выбору Джан.

Зацвела первая сирень, когда Джан, исчезавшая куда-то за последнее время, за воскресным пирогом открыла семейный совет.

— Моего ума не хватает, — сказала она. — Относительно дома. Платим за него уйму денег каждый месяц. Дом в ведении УТАГа, и его можно дешево купить. Литовский заказ сдан, деньги получены, к Иванову дню заказов масса. Могу кое-что заложить или продать. Словом, расшибиться в доску, и ухлопать все на покупку.

— Вот и великолепно! Только не продавай, а заложу, потом выкупим. Я первый снесу свою шубу в ломбард, — обрадовался Бей.

— Редиска и лук тоже обеспечены с собственного огорода, — серьезно заметил Кюммель.

— Дорогие мои и хорошие! Есть и обратная сторона медали. Положение тревожное. Домов не покупает никто. А если большевики...

— Частные дачи разрешается иметь в Москве.

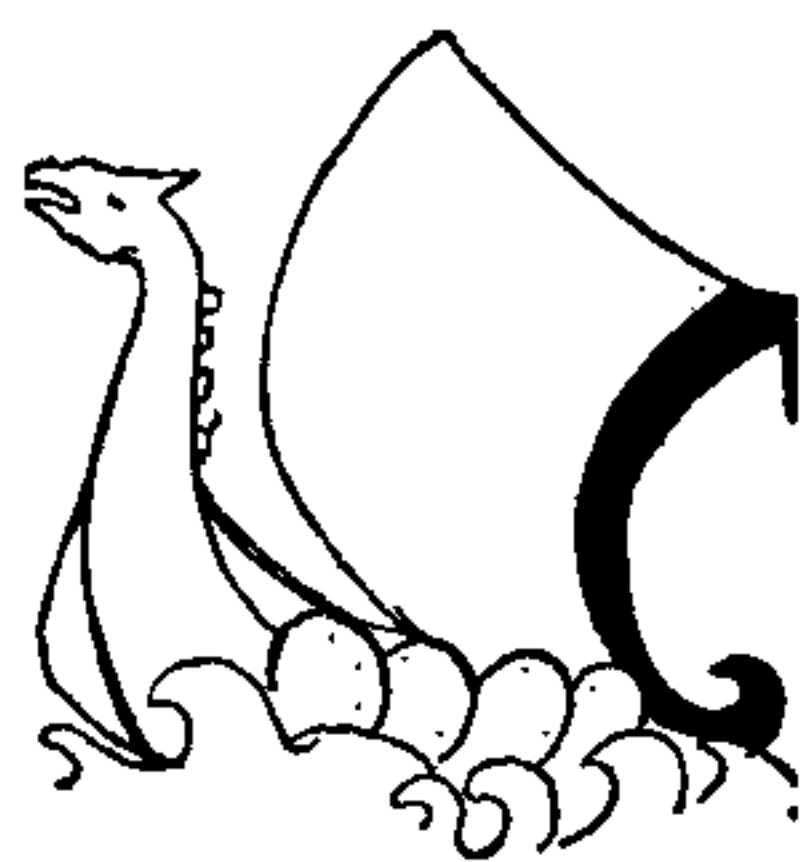
— Ну, а если... бежать?

— На катастрофы рассчитывать нельзя, — заметила Екатерина Андреевна, — и тогда ничего не поможет. В такие минуты, поверьте, совершенно не важно, сколько у вас домов или каратов. Важна голая жизнь. А ее не купишь у Бога ни за какие деньги.

— Вот люблю Екатерину Андреевну! — вскочил Бей. — Как скажет, так в точку. Разрешите ручку поцеловать! Джан, слушайся старших. Все присоединяются к оратору. Ура, да здравствуют домовладельцы!

Дом был куплен в конце мая. Бей важно постукивал по стенкам, заявляя, что теперь они стали лучше. Джан обегала всех посудников. Они жаловались, но авансы давали. По воскресеньям Джан сражалась с огородом, а в остальное время — с муфелями, грозившими лопнуть: — заказы откатывались ящиками.

Шел июнь сорокового года. И история шла дальше.



Суббота пятнадцатого июня была замечательна только тем, что, по мнению Джан, газета была совершенно пустой: кроме военных телеграмм, страницы были заняты описанием певческого праздника в Двинске. Эти праздники устраивались в Латвии ежегодно летом, под открытым небом, с тысячными хорами в национальных костюмах. Все праздники обычно открывал президент, но на этот раз он почему-то не поехал, и его заменял один из министров.

Но Джан это не интересовало. Она радовалась воскресенью в собственном саду. Старые липы давали достаточно тени, молодые деревца казались игрушечными, а грядки и клумбы уже гораздо приличнее — опыт. Посаженная в первую осень сирень, жасмин, ягодные кусты уже цвели, а позади дома, на кухонном дворе, поместились в сарайчике куры.



В воскресенье, рано утром, в тихих, голубых и розовых улицах города, в свежих утренних бульварах под золотым небом — узкая полоска телеграммы вызвала недоуменное беспокойство только у бывшего латвийского консула в Париже, на днях вернувшегося в Ригу. Он дежурил при министерстве, и в его обязанности входила дипломатическая почта. В телеграмме от латвийского посланника в Лондоне спрашивалось, правда ли, что советские войска перешли границу, и почему латвийский лат не котируется больше на международной бирже?

Консул пошевелил слегка темными усиками и пожал плечами.

— Дайте немедленно ответ — раздраженно сказал разбуженный и не выспавшийся министр иностранных дел. — Диктую: «Это старые бабы сплетни. Точка».\*)

Консул еще раз пожал плечами, но он привык философски относиться к жизни.

В воскресной газете, кроме обычного материала, сообщалось о легком нездоровье президента, и в отделе местной хроники петитом была напечатана заметка:

«Сегодня утром в пограничном местечке Масленки на латвийско-советской границе произошла легкая стычка с перестрелкой. Несколько латвийских пограничников уведено в плен, в том числе один мальчик-пастух. Недоразумение выясняется».

Да, это недоразумение было уже выяснено начальником пограничной бригады, генералом Болштейном. Бывший офицер царской армии, генерал был очень смелый, энергичный человек. Утреннее солнце еще не коснулось верхушек рижских башен, когда на шоссе, ведущее к границе, вылетел его автомобиль.

Воскресный день был солнечный и теплый. Рижане с утра уезжали на взморье. В пустых и пыльных уже улицах Старого города бродили коты. Джан с наслаждением поливала и полола. Ярослав все тетки возили поочередно в колясочке. Маруся пекла воскресный пирог с яйцами от собственных кур. Вероника читала роман под липой. Бей с Лавриком поливали, и явившийся Кюммель был встречен грохотом грабель, фонтаном из кишки и не совсем приличными телодвижениями под мотив модного ламбет-уока:

Кюммель нащ, как старый шмок,  
Он совсем уже намок,  
Пляшет ламбет-уок, пляшет ламбет-уок!  
Насосясь водягой,  
Бродит козерагой...



---

\*) «Tas ir pašas vecas blenas». Исторический факт.

Автомобиль генерала Болштейна был настолько покрыт пылью, что даже июньское солнце не могло отыскать на нем блестящего пятнышка. А сам генерал был опытным солдатом. Он увидел одним из первых и понял не только то, что произошло, но и что будет — и сделал простой и единственно возможный вывод.

Генерал Болштейн, начальник пограничной бригады, не существовавшей больше — смятой и уничтоженной с той же быстротой, с какой был смят пограничный столб, застрелился в воскресенье, 16-го июня, прежде чем длинные тени от рижских башен упали вниз. Широкая Двина, разнеженная солнцем, лениво обмывала пристань под окнами президентского замка, и на светлой башне полоскался флаг. Замок был спокоен, город тоже.

Терентьич не пришел в понедельник утром, 17-го июня. Джан, зная его аккуратность, решила, что с ним что-нибудь случилось. Понедельник был тихим днем.

— Скажи Марусе, чтобы она оставила мне обед, я поеду к дантисту, он должен поставить мне пломбу, — сказала она Катышке.

— Иванов день уже загодя празднуют, что ли, — возмущенно заметила Катышка, приходя после обеда в мастерскую: — никогда еще столько пьяных не видела на улицах...

К вечеру, оставив остальных работать, Джан, с неприятным чувством вспоминая о бор-машине, отправилась через парк к Национальному театру, чтобы там сесть на трамвай. У остановки стояло много народу. Джан принялась рассматривать знакомый белокаменный фронтон. Люди подходили, толпа росла.

— Что за безобразие, на самом деле! Ни одной девятки! — с досадой сказала вполголоса Джан, ни к кому не обращаясь и нетерпеливо постукивая каблучком. — Полчаса стою.

— Ни один трамвай не идет, — тихо отозвался кто-то рядом, и Джан изумленно взглянула на пожилого господина в серой шляпе. А ведь действительно — ни один трамвай не прошел за это время. Случилось что-нибудь? Поломка. Вот теперь придется ждать...

Из-за полукруга липовой аллеи, со стороны бульвара Аспазии, доносился приглушенный шум.

— Здравствуйте, мадам! — раскланялся вдруг кто-то. Заленсон младший, посудник с Мариинской. — Здесь тоже не идут? Я думал, что хоть отсюда попаду, вы понимаете, у меня мать на взморье, а брат еще мальчик, и может быть, хоть из Торенсберга идут поезда... Я уже два часа пытаюсь пробиться... Ну, что вы скажете? События! Одного полицейского на моих глазах убили — ужас, ужас! Позвольте, чем виновата полиция? Он и не делал ничего, только махал своей белой перчаткой...

— Да, скажите толком, в чем дело? Переворот? Катастрофа?

— И вы ничего не знаете? Ой, вы стоите здесь и не знаете, что у почты и у вокзала уже советские танки?

Заленсон совсем наклонился к ней, закруглил водянистые глаза и растопырил пальцы.

— Большевики? В Риге? — ахнула Джан так громко, что сумрачный господин в серой шляпе обернулся и неодобрительно посмотрел, как будто она сказала что-то неприличное.

— Мадам, вы живете на луне! И не кричите так громко, они же могут слышать, теперь нельзя знать! И что нам здесь стоять, когда мы можем идти, сейчас лучше всего посидеть дома, — пуля, ей все равно, кто... Ой, вот опять уже, ничего, это пройдет, стойте спокойно, вы вся белая, как бумага: только не падайте в обморок, они не будут стрелять, даю честное слово...

Из широкого пролета Вальдемарской улицы несся мерзкий лязг. Вдавливая асфальт, быстро двигались низкие танки. Толпа у трамвайной остановки молчала и медленно, по одному, растекалась под бульварные липы.

— А войска! Ульманис? — кинула Джан вслед заворачивающей колонне.

— Ну, что значит войска. Если они начнут стрелять, то это будет, как говорится, из воробья по пушкам! А президент, он молодец. Я его только что видел на Известковой: едет шагом в автомобиле и успокаивает народ. И что ему еще делать?

Заленсон тянул ее за руку, и Джан пошла рядом. Очень четкие, ясные и простые мысли быстро, безостановочно и сухо отщелкивали в голове, как клавиши пишущей машинки.

— И это как раз в такую минуту, когда немцы прорвали хваленую линию Мажино, и англичане не смогут нам помочь, — сказала Джан, подходя к мостику через канал и разглядывая ветки плакучей ивы.

— Франция? — всплеснул руками Заленсон. — Так ведь Франция капитулировала сегодня, война с Францией кончена, в Берлине кричат ура фюреру, — это уже в газетах было, а вы, интеллигентная женщина, не читаете газет!

— Ка-пи-ту-ля-ция Франции? — отдельно сказала Джан и остановилась. Что-то холодное дрогнуло внутри. Она подняла руку и медленно, истово перекрестилась. Заленсон усмехнулся.

— Ой, какая вы смешная, мадам! Ну, чего креститься? Разве это поможет? А что касается Англии, так если бы вы не были дама, я бы вам сказал, что она такое!

Он проводил Джан до Елизаветинской, и она пошла домой, медленно и устало передвигая ноги. С Мельничной, разбитной улицы, заворачивали необычные пьяные фигуры подозрительного вида. Кто-то орал песню. На улицах не было ни автомобилей, ни полицейских.

— Ты уже знаешь? — встретила дома Маруся. Джан кивнула. Ей было трудно говорить.

— Пойди, скажи нашим, чтобы закрыли мастерскую и шли домой, — выдавила она сквозь зубы и поднялась к себе наверх.

Широкий солнечный луч косо ложился сквозь распахнутые балконные двери. Небольшое окно в другом конце комнаты тоже упиралось в растущую позади дома липу и, казалось, что за ним усадебный уют давно ушедшей жизни. Джан редко бывает в своей комнате в это время, только по праздникам, и сейчас прерванные будни странным прорывом нарушают обособленную, скрытую жизнь вещей.

Джан откидывает доску секретера и быстро-быстро сортирует бумаги во всех ящиках. Почему-то кажется, что это самое первое и необходимое, что надо сделать. Надо припомнить и использовать весь опыт после первой революции, уничтожить всю заграничную переписку, все связи, улики, доказательства... да чего, собственно? Какой вины?

Переписка с соколами в Белграде... уничтожить. Письма и членские карточки Бея из Обще-Воинского Союза — вон. Письма Ладушки из Германии... вон, конечно. Комплекты иностранных журналов?

Джан соскальзывает на пол, садится рядом с ворохом приговоренных бумаг и конвертов. В комнате изразцовая печка для тепла, а камин «для души», уютных зимних вечеров. Джан закуривает и осторожно зажигает спичкой край одного конверта. За распахнутым окном плывет что-то странное, новое, и, наверное, во многих городских трубах поднимаются сейчас неурочные дымки сжигаемой бумаги. Джан еще не успела снять шляпу, пышный подол картинно стелется на волчьей шкуре у камина, в обугленном ворохе бумаг бледно вспыхивает огонь, и все это, пожалуй, театрально немного, но искренне. На низком подзеркальнике трюмо раскинуты ветки сирени в плоской широкой вазе. Цветные корешки книг на больших и маленьких полках, вышитые подушки на диване, жизнь вещей в этой комнате и самая комната, вся жизнь оторвались сейчас от прежнего, как будто корабль отошел от пристани, и мимо него проплывают, еще совсем близко, но уже никак неудержимо — и пристань, и город, и жизнь...

Корабли...? вспоминает Джан и смотрит на тонкую папку рукописи на полке. О нет. Но ведь они-то и есть сплошная контр-революция! Пусть. «Мы умираем, не отрекаясь, мы, Старый Город!» — громко говорит Джан и резко стряхивает с себя элегическое настроение. Надо что-то делать!



Маруся, совсем не потерявшая, сверх ожидания, головы, тоже решила уцепиться за действительность и поставила самовар. Все собрались в столовой. Чай можно пить всегда, и он помогает.

— Я сожгла все заграничные письма и бумаги, которые могут повредить, — коротко заявляет Джан. — Советую сегодня же вам всем сделать то же самое.



— Я сделаю сейчас красные бантики, чтобы выходить с ними на улицу, — начинает Маруся, но Джан так швыряет на стол нож, который держала в руке, что звенит посуда.

— Ты с ума сошла?! Может быть, еще Интернационал спеть стоя?

— Успокойся, Джан. Марусяхватила через край, по глупости. А вот как же с работой?

— Терентьич пойдет в отпуск на месяц, он и так собирался. Сдачи заказов в срок теперь вряд ли кто потребует, но мы сами работать, конечно, будем. Еще ничего не известно. В конце концов, мы — кустари-одиночки, мастерская принадлежит семье. Не фабрика. Может быть, они и не национализируют такие мелкие предприятия. За дом я тоже пока не беспокоюсь. Хорошо бы уплотниться только, чтобы твои родители, Лаврик, переехали к нам. Расходов тоже меньше будет. Мы ведь сидим в луже. Дом купили как раз во время, все ценные вещи в ломбарде. Но главное вот что: может быть, они будут производить учет, или просто грабить. У меня десять Розенталевских сервизов из последней партии еще не пошли в работу, надо их спрятать, это капитал, при случае. Я думаю, часть за дрова в погребе мастерской, а часть я засуну здесь на чердаки.

— Первый раз слышу о чердаках, да еще в собственном доме, — изумился Лаврик, — и даже во множественном числе.

— Ну, каморы... у меня в боковых стенках... забыли? Мы еще смеялись, что не дом, а конспиративная квартира. Сам же помогал заделывать, когда мы ремонтировали. Туда очень много влезет.



Прячут еще в эту ночь многие предусмотрительные люди. Утром фабрики, магазины начинают работу почти как всегда — но в этом «почти» уже много нового. В магазинах закупают помногу, и украдкой, не рассматривая, не выбирая. Все оглядываются. Все передают слухи о новых арестах. Все приbedнулись в одежде. На улицах нет ни одного латышского военного, но множество красноармейцев. Прохожих они не трогают, им сразу дают дорогу. Биржа и банки закрыты, ювелиры спустили железные решетки, рестораны и трактиры полны, винные лавки раскуплены, многие рабочие гуляют с утра.

Несколько дней подряд газеты выходят ежедневно под другим заголовком — меняются редакции. Все сокращены, заголовки непривычны и режут глаз, иностранных сообщений нет, только короткие, выжатые досуха телеграммы официального агентства — ЛТА, местной хроники нет, объявлений тоже.

Но все знают уже, что в доме на углу Бривибас и Столбовой, в министерстве внутренних дел нет больше министерства. Под липами тихой Столбовой военные автомобили и часовые, а на

углу, в бывшем цветочном магазине, выдают пропуска в новое учреждение, и оно называется коротко и страшно: НКВД.

Но все знают и без газет: президент и командующий армией увезены в неизвестном направлении, и в первые три дня несколько тысяч арестов: офицеры, чиновники, айзсарги, директора, редактора, председатели обществ, епископы, фабриканты, общественные деятели... все те, кто стоит во главе чего-нибудь или кого-нибудь.

В крупной рижской типографии спешно печатается на латышском и русском языках Конституция Сталина, по которой всем прощается не только происхождение, но даже и борьба в прошлом против коммунизма, и обещается свобода всего: религии, убеждений, собраний, слова и труда.

На всех фабриках и в предприятиях образованы комитеты, в газетах еще и цензурные, — в них присланные из Москвы наблюдатели и местные коммунисты. В русской газете «Сегодня» арестованы все три редактора, уволены или арестованы почти все сотрудники. Коммунист Раппопорт переведен из тюрьмы в редакционный кабинет.

В пустующие после отъезда немцев квартиры въезжают новые жильцы в военной форме. Латвийский лат приравнен к русскому рублю, цены на продукты официально повышены вдвое, но все остальное вскочило уже раз в пять. Владельцы магазинов остаются пока управляющими, но половины их уже нет. Автомобили, яхты, лодки реквизированы. На фабриках каждый день митинги. На них приходится оставаться лишние часы после работы, рабочие идут неохотно, и молча поднимают руки на все постановления, резолюции и приветственные телеграммы мудрому советскому правительству и «отцу народов», освободившему несчастную Балтику — от многого, конечно! Многих и от жизни тоже. На Югле, в одной из дач, отделение НКВД — идут расстрелы. В каждом городе и местечке Балтики работает своя Чека. Семьи арестованных, если оставляются пока в покое, очень быстро увольняются с работы. Они могут записаться на бирже труда, конечно, но везде надо заполнить анкеты со многими десятками вопросов: о себе, родителях, родственниках. Родственникам арестованных закрыты все двери.

Они приезжают на автомобилях в два, три часа ночи к намеченному дому. Приходят в квартиру и уводят с собой иногда всю семью, иногда одного или двух. Мужчины, старики, девушки, юноши, дети. Перерываются все бумаги, шкафы. Случается, конечно, что ценные вещи пропадают при этом тоже, или «конфисковываются». Но, если не оказано вооруженного сопротивления, чекисты вежливы, говорят спокойно и тихо. Арестованным разрешается иногда взять с собой немного вещей.

С утра родственники начинают метаться из одного учреждения в другое, справляясь о судьбе заключенных. Большинство пропадает бесследно. Разрешения на свидание можно добиваться

месяцами. Чаше всего их дают, когда очередной транспорт заключенных уже отправлен на Крайний Север, в Нарымский край...

Балтийцы — высокий народ: красноармейцы бросаются в глаза на улицах своей низкорослостью. От длинных гимнастеров они кажутся еще меньше. Круглые топорные лица, часто монгольского типа. Они говорят только между собою, не знакомятся ни с кем, не улыбаются и не смеются. Они только оглядываются кругом, как мыши, — много серых, маленьких, бесшумных мышей, сгрызающих постепенно все...

Улицы сереют и блекнут. Даже дети не смеются больше. Нет нарядных женщин и элегантных мужчин. Башни Старого Города хмуро смотрят на красные звезды и флаги с серпом и молотом, прибитые повсюду, протянутые поперек улиц, обрамляющие саженные портреты вождя и комиссаров, плакаты о выборах.

Балтийские государства «просят о принятии их в Союз советских республик», газеты полны выборными статьями и отчетами. Сперва объявлено два списка: коммунистов и беспартийного блока. Но за неделю до выборов беспартийный блок «ликвидируется», и выборы автоматически сводятся к подаче голосов за коммунистов, потому что других партий, понятно, нет. Уклониться тоже нельзя — на паспорт ставится штемпель... Поэтому за неделю до выборов латыши начинают сотнями заявлять в полицию о «потере» паспортов. Но через несколько дней на это тоже обращают внимание, на «потерявшего» накладывается крупный штраф, и против его имени делается многозначительная отметка. Взят на подозрение. Выборы проходят «единогласно», — как всегда в Советском Союзе.

На улицах появляются новые фигуры: женщины и дети советских командиров и служащих. Их можно узнать за версту. Женщины без шляп, все сплошь в дешевых белых, давно уже не модных беретах, как в форме, часто в мужских высоких сапогах, с усталыми, преждевременно постаревшими, серыми лицами. Квартиры, куда они въезжают, тоже сразу принимают жалкий и унылый вид. На громадных окнах висят мещанские тряпочки вместо занавесок, или вообще — никаких, в каждой комнате примус, на котором готовят и стирают, о ремонте никто не думает. Все наспех, кое-как, случайно и по-нищенски.

Все советские учреждения полны служащими. Там, где работал прежде один, теперь — пять, шесть человек, причем работают не по шесть, а по восемь часов, и за опоздание в пять минут — штраф, за третье увольняют. Жалованье то же, что и раньше. Но продукты и квартирная плата повышены вдвое, а об остальном нечего и говорить. Зато вдвое дешевле водка. Много пьют теперь в Риге.

Раньше служащие, получавшие до трехсот латов жалованья в месяц, платили в больничную кассу несколько латов, и только выше этой суммы начинался подоходный налог. Теперь из трех-

сот латов пятьдесят, по крайней мере, уходит на отчисления во всевозможные политические фонды. Кроме того, обязательная подписка на заем. Больничные кассы — на редкость целесообразное, удобное для всех социальное учреждение, не имевшее себе равных в Западной Европе, кроме скандинавских стран — теперь уничтожено, конечно. Вместо него, в наспех собранных поликлиниках задерганные, оставшиеся еще в живых врачи обязаны принимать за рабочий день не менее шестидесяти пациентов. Лекарства исчезают, в санатории попадают только партийные и активисты.

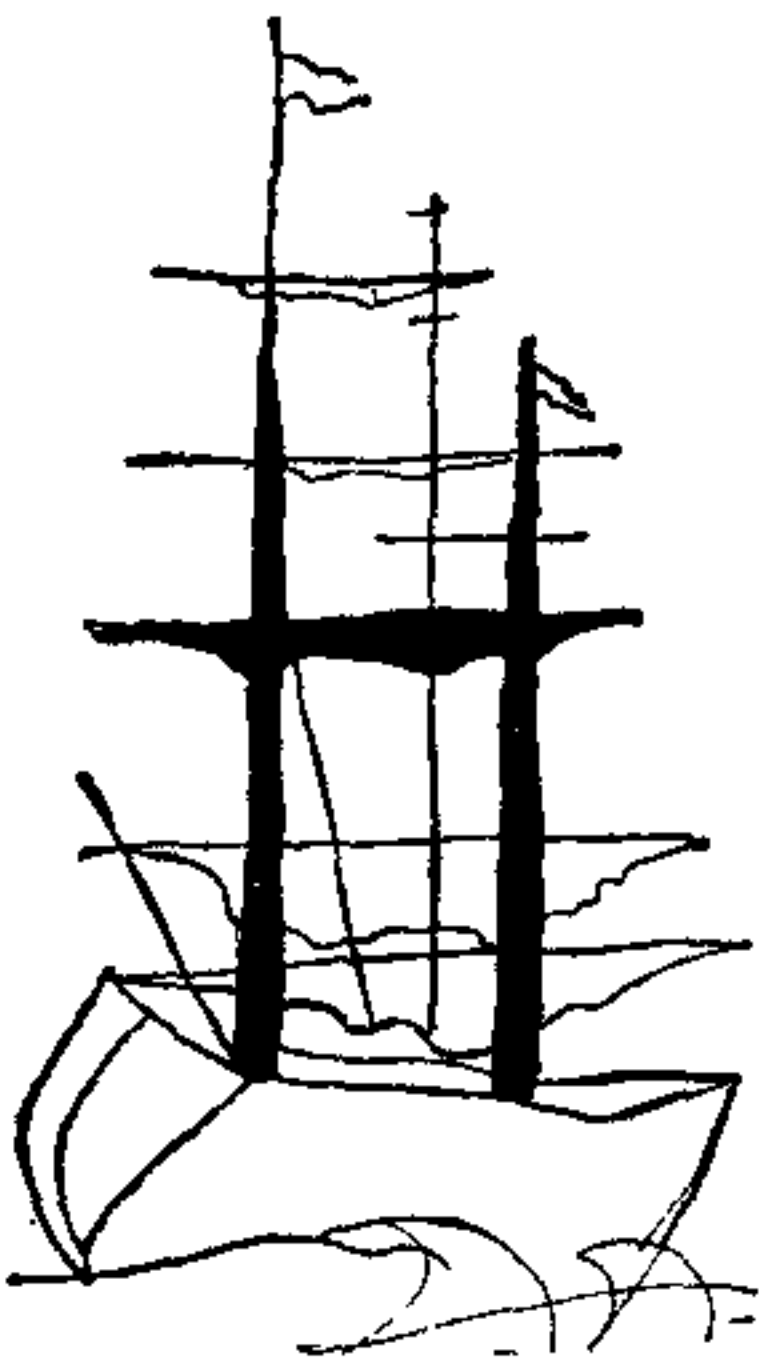
Улицы переименовываются Карлами Либкнехтами и Розами Люксембург, кинематографы тоже. Повсюду клубы Красной Армии и рестораны для партийных, закрытые для остальной публики. Церкви еще не закрыты, но колокольный звон, как религиозная пропаганда, запрещен. Церкви полны, как никогда, и нередко среди молящихся можно увидеть красноармейца и советскую женщину; приходят, оглядываясь, и крадучись загибаются в угол — чтобы не донесли свои же.

Школьники ходят в красных пионерских галстуках. Прежние учителя постепенно исчезают, их заменяют политические руководители; учебники теперь новые. Важно не уметь правильно читать и писать, а вызубрить, что такое «диамат». В университете старых профессоров почти не осталось, студенты вступают в «социалистическое соревнование», и все — портовые грузчики, уборщицы, дети, художники, рабочие — учат и отвечают на курсах в каждой школе, учреждении, фабрике — историю ВКПб.

Частные и общественные библиотеки закрыты. Из них и книжных магазинов вывозятся, сваливаются на склады, портятся и отправляются на Шлокскую бумажную фабрику книги — на переработку. Редкие, ценные издания, вперемежку с запрещенной литературой, то есть со всеми несоветскими изданиями. Из киосков исчезли все заграничные газеты и журналы. Заграничная переписка запрещена. Заграничное радио — тоже, хотя это довольно трудно сделать: у всех хорошие радиоаппараты, берущие Европу без антенны. Только теперь это надо при закрытых окнах, под сурдинку...

И над всем городом, над всей страной, над каждым домом — острая пятиконечная звезда. Кровавые углы проникают всюду. Балтика отрезана от мира железным занавесом, Балтика сжимается с каждым днем все туже и туже в тисках и придавливается страхом — подлым, мерзким, безнадежным и бессильным страхом. Аресты продолжаются каждую ночь. Каждую ночь. Каждую ночь...





несколько дней еще возились в мастерской, но работа шла вяло. Розенталевские сервизы зарыли в саду. Джан пошла сама к заказчикам, но многие были уже арестованы, а другие только махали рукой. Заленсон сказал прямо:

— Я бы на вашем месте, мадам, совсем не беспокоился пока. Что значит для меня теперь ваш заказ, когда я больше не хозяин в своем магазине? Торговать я должен, пока меня не национализировали, но всю выручку обязан сдавать. Так какой мне интерес?

Прекратить работу казалось Джан таким невероятным, что она два дня еще пробродила у холодного муфеля, наводя порядок. Столько лет труда, терпения, выдержки... вот все и осталось на берегу, проплывающем мимо, и ничего не удержать...

Джан прижалась щекой к глиняному горшку. В круглых боках его отблескивало много улыбок, маленьких и больших радостей и надежд. Этот горшок, уверяла Джан, был добрым духом «Керама», и о нем рассказывались сказки, ему посвящались песенки и прибаутки. Джан бережно вытерла его полой старого халата.

— Может быть, мы еще с тобой затопим муфель . . . скажи? Лязгнули засовы, ключ повернулся в замке, и Джан, прижимая в обнимку горшок к груди, медленно пошла домой, рассматривая каждую мелочь знакомой дороги, как будто не ходила по ней столько лет.



— Ну, а теперь что? — спросила она, садясь обедать.

— А теперь нам следовало бы выпить немного, для поднятия духа и по случаю закрытия мастерской, — бодро заявил Бей. — Удивляюсь только, куда наш Кюммель пропал. Как ветром сдуло . . .

— А Эль с Петелом делают уже карьеру! — выпалила Маруся. — Я сегодня встретила Вольта, он рассказывал. Оказывается, они оба кандидаты в партию, и Эль спикершей в радиэфоне, а Петел стал такой важный, что к нему не подступить теперь! Вот видишь, Джан, унывать нечего. Они дадут тебе повсюду рекомендацию, поручатся, заступятся, если будет нужно . . . хорошая протекция!

Лаврик вскочил и включил радио на рижскую станцию.

« . . . комитеты сельской бедноты приветствуют раскрепощение от кулацкого гнета и с восторгом включаются в . . . » раздался такой знакомый голос Эль, модулируя на восторженной убедительности и сладкой проникновенности.

— Выключи эту мерзость! — взорвалась Джан. — Я понимаю, что она — артистка, но как ее не тошнит при этом . . . Колхозы! Наше хуторское налаженное хозяйство — все к черту, все!

— Успокойся, Джан. Эль — умная женщина, но в сельском хозяйстве она разбирается, как свинья в апельсинах, и может быть, искренне думает, что это хорошо . . . И кроме того, что такое диктор? Что ему написано, то он и обязан читать. Тот же попугай, и никакого отношения к политике не имеет.

— А я вот слышал сегодня еще одну, но уже совсем сногшибательную новость, — заявляет Лаврик. — Конечно, слух еще не проверен . . .

— А именно?

— Вара Верескова — агент-провокатор, — отрезает Лаврик.

— Я всегда говорил, что она сволочь, а вы мне все не верили! Умная женщина, как же!

— Нельзя же так сразу, Бей, обвинять человека . . . для чего ей это? — недоумевает Джан. — Конечно, в газете она потеряла место, но неужели другой работы не найдется? Она и на машинке пишет, и языки знает . . .

— Да не стала она агентом только, а и раньше работала для них, — громко заявляет с порога незаметно вошедший Петр Федорович.

— Здравствуйте, господа. Что это у вас — двери открыты, и каждый войти и услышать может. Вы эти буржуазные замашки

бросьте. Да, так вот относительно Вары Вересковой: к сожалению, не слух. Она сейчас работает в НКВД, и имела достаточно времени, чтобы приготовить все списки заранее. Верескова вела русский отдел в газете, состояла во всех эмигрантских обществах, и знает подноготную каждого. Уже достоверно известно, что газетные сотрудники и сокола, арестованные в первую очередь — ее работа. А кроме того, многие другие.

— Если уж вы говорите, Петр Федорович — значит сомневаться не приходится. Но как же так? Да садитесь же, Екатерина Андреевна, вам какого варенья к чаю?

— Какое там варенье, Джанушка! Ужас со всех сторон слышишь... К Лапиным пришли вчера ночью, и Мирдзу, семнадцать лет девушке... у нее жених пограничником был... У Каревых отец выхватил револьвер, уложил трех, потом пустил пулю в жену и сам успел застрелиться... прислуга рассказывала... А что вы теперь будете делать?

— Да вот сижу и раздумываю; денег у меня совсем мало, все в дом вбухали. Попробую завтра на Кузнецовку поехать — может быть, возьмут мастерицей в живописное отделение. Мы как раз говорили, Екатерина Андреевна, что Петру Федоровичу пенсии платить тоже не будут, так, может быть, для сокращения расходов к нам бы переехали? И мы уплотнимся, на всякий случай, и вам легче будет. Вот уже с тобой, Куколка, не знаю, как... платить больше нечем. Лучше всего, если ты поищешь себе работу, а жить пока будешь у нас.

— Ты меня только не гони! — умоляюще складывает руки Маруся.

— Я тоже не думаю быть обузой, — слышится голос от окна, и Вероника захлопывает свою книгу. — Если мне не дадут пенсии, я пойду учительствовать, ха!

Вероника стала великой молчаливицей за эту зиму. «Ха» уже не прежний угрожающий выкрик, а только слабый отблеск прежнего Моржа. Джан часто озабоченно взглядывает на нее и чуть заметно качает головой. Вероника снова похудела, перестала пудриться и красить губы, гладко причесывает волосы на прямой пробор, и хотя донашивает старые платья, но самые нарядные подарила Марусе. Часто ходит в церковь, и от затуманенного чем-то, устремленного взгляда, кажется не то монашенкой с картины Нестерова, не то... Джан не доканчивает мысли.

— Вы бы с нашего Моржа пример брали, — заявляет она вслух: — вас, всех надо в сад палками выгонять, а она все время возится. Первый наш огородник и цветовод!



Родители Маруси были скупые и жестокие старики, выгнавшие ее из дома. Поселившись у Джан, она навещала их изредка. В помощи ее они совершенно не нуждались. Отец был часовщик.

Но сейчас, съездив к ним, она вернулась заплаканная: отец, разговаривая с заказчиками, возмущался новыми порядками. На него донесли, арестовали его и мать, квартиру и магазинчик запечатали.

— Джанушка, — молила Маруся: — пожалуйста, позвони по телефону Эль и попроси, может быть, она поможет чем-нибудь. Я забежала к ней, но не застала никого, лаборатория заперта. Ты же ее столько лет знаешь, она сделает для тебя... Жаль стариков. Ну, что они могли сказать особенного?

Джан не очень хотелось звонить Эль и просить ее — тем более, что та не долюбливала Маруси. Но Маруся сжимала в комочек вымоченный слезами платок, и Джан не могла отказать ей. Эль не была у нее очень давно — месяца два, и теперь нашлось бы о чем поговорить — да, кстати, она взяла читать книгу и не вернула... Джан сняла трубку.

— Эль? Вот хорошо, что я тебя застала дома. Послушай: я хотела тебя попросить...

— Прежде всего должна предупредить, чтобы ко мне ни с какими просьбами не обращались, — прервал холодный и очень жесткий голос Эль: — я действительно член партии, но никаких поручительств никому не даю, и никакими хлопотами не занимаюсь.

Джан вспыхнула.

— Очень сожалею, — тоже ледяным тоном ответила она, — но я все-таки вынуждена просить тебя вернуть мне взятую книгу. Больше я ничего не хотела тебе сказать.

Джан швырнула трубку и даже прошлась по комнате, прежде чем закурить, так у нее дрожали руки. Маруся съежилась в кресле, широко раскрыв глаза.

— Чорт знает, что такое! — процедила сквозь зубы Джан. — Ты слыхала этот тон? Член партии! Конечно, мы для нее — компрометирующее знакомство. А ты говоришь еще — просить... Да если меня сегодня арестуют, она не то что мне — Инночке не поможет! Ты посмотри, как этих так называемых друзей, как ветром сдуло: уж не говорю об Эль и Щеглике, но Кюммель, Кюммель! Сколько я ему помогала, и деньгами, и костюмы покупала, кормила, поила, когда ему некуда деваться было, в мастерской полгода жил, знает нас насквозь, свой совершенно человек был... А сейчас в городе аресты, мастерская закрыта, и он хоть бы плюнул на порог!



В маленькой квартирке Терентьича пахло мыльной водой из кухни, мышами и еще чем-то, неуловимо мещанским, как будто пахли бумажные цветы в вазе на неизбежном комодике во второй, парадной комнате. Джан рассматривала клетчатую скатерть на столе, только изредка взглядывая на хозяина, чувствовавшего себя так же смущенно, как и она.



— Вот об этом я и просила бы вас, Терентьич: знакомый мастер на Кузнецовке у вас, наверное, найдется. Наверное увеличат производство... А работать я умею, — не мне вам об этом говорить...

— Да что уж, барышня... конечно, вы мастерица известная... А вы сами не были?

— Нет, собираюсь к Константину Николаевичу... работает еще?

— Как же, как же. Вот это дело, Надежда Николаевна! Вы к нему наведайтесь, а я вечером схожу и с мастером облажу.

Выйдя от Терентьича, Джан села в трамвай и поехала на Кузнецовку. Дежуривший сторож указал ей дорогу к зданию химической лаборатории, где работал Константин Николаевич. «Тувазу» — невольно вспомнила Джан и усмехнулась.

«Тувазу» сидел один в комнате, за длинными столами с ретортами. Константин Николаевич в очках, сильно похудевший и вытянувшийся, подслеповато уставился на Джан.

— Господи, Боже мой, Надежда Николаевна... сколько лет не видались! Знаете уже? Из нашей семьи трое арестованы, даже стариков не пощадили... новый директор из горновщиков, уволенный в свое время за пьянство... Меня еще оставили, держусь на волоске, но химика у них нет и без химика завод не может обойтись... Ну, а как вы? Все слава Богу?

— Дома спокойно, мастерскую сама закрыла. Вот по этому поводу и приехала к вам. Надо работать, хочу проситься к вам на фабрику. Помогите устроиться, если можете.

— Надежда Николаевна, голубушка, да я бы рад всей душой! Прекрасно понимаю, — только какая же у меня протекция? Племянник бывшего владельца завода протезирует бывшей владелице мастерской. Буржуи в квадрате! Вот если у вас знакомые рабочие есть, те, может быть, помогут... только откровенно скажу: не советую. Уверен, что ни одной анкеты не выдержите, провалитесь на первых же вопросах. Ведь ваш муж — бывший офицер? И карикатурист к тому, и сколько раз на политические темы... Очень я жалею, что в прошлом году с немцами не уехал, все-таки люди... А что в Дrame делается, знаете? Правит всем совет, а заправила — наши старые знакомые: Шурочка Звонарская, Волин и Кюммель, пьянчужка этот. Про Звонарскую ничего не скажу: она отшлифовалась за эти годы здорово, и в сущности единственная из нездолинцев, кто по-настоящему выбился. Талант у нее и тогда был, но совсем сырой, а теперь и школа. Волин — он парень тихий, Нездолин его разбаловал тогда, но в Дrame он не пошел дальше выходных ролей. А сейчас, если бы видели! Толстовка, прядь волос на лбу под Есенина, проникновенный тон: «наш репертуар, наш театр»... и пьянчужка этот, сельская беднота, тоже играет под директора! Настоящие артисты оттерты на задний план. Кое-кто приспособливается понемногу: Баранов — дрессированная змея,

недаром его так называли и раньше. Булатов тоже... читали его письмо в газете?

— Да, читала, и уж этого признаться, не ожидала. Старик ведь, и в его годы позорно так унижаться... Человек, видите ли, полвека провел в театре и только теперь, наконец, дорвался до счастья играть для народа! Тьфу! А я-то его всегда джентльменом не только на сцене считала...

— Про Вару Верескову знаете? Вы с ней знакомы были?

— Тоже... жутко стало жить на этом свете, Константин Николаевич!

— Жутко. И выхода, просвета не вижу. Все мы — обреченные. Помните, как в вашем «Старом Городе» — так, кажется, называлась пьеса? «Чем будем мы жить, мы, обреченные красоте? Мы, строители храма, создали его слишком воздушным и тонким. Он рухнет без борьбы, от малейшего прикосновения. Разве вот эти руки прольют кровь?»

Он вытягивает вперед руки, показывая Джан желтые в пятнах от реактивов ладони и пальцы, но ей не смешно в эту минуту.

— Я уж сейчас не помню, это моя роль, или другая... но из ваших «Кораблей». Я часто вспоминал пьесу. Почему вы с ней ничего не сделали больше?

— Ах, Константин Николаевич, теперь уж ничего не сделаешь...

— Теперь! Теперь, дорогая, я не знаю, не подслушивает ли нас за дверями кто-нибудь. Вы ведь до некоторой степени в святое святых, в лабораторию проникли. А вдруг мы с вами вредители? Удивляюсь вообще, как вас пропустили...

— Не буду вас задерживать больше, и простите, что побеспокоила. Зашли бы как-нибудь ко мне, Константин Николаевич?

— С удовольствием, но обещать не могу. У нас что ни день, то собрания. Присутствовать обязательно — особенно мне. Стоишь, слушаешь до обалдения эту чушь. Большевицкими «темпами» уже три горна повалено, а вы знаете, во сколько обходится горн? А жена встречает каждый вечер новостями: того арестовали, ту увезли. Просто боишься ходить куда-нибудь, ей-Богу. Ну, до свиданья, дорогая, надеюсь, что до свиданья...

\*\*\*

— Можешь навестить старого знакомого, — сказал Бей, поднявшись на мезонин и шумно усаживаясь в кресло.

— Где? Кого?

— Караваева. Его светлость, герцога великолепного. Когда его пришли арестовывать, его разбил паралич. Оставили умирать, и на том спасибо. И еще две новости. Во-первых, чтобы получить какую-либо малярную работу в этих плакатных мастерских, требуется политическая благонадежность. Я пошел к Лепиню, он теперь художественный комиссар. Объясняю, в

чем дело — только руками развел. Я, говорит, думал, что вас давно уже... утешил, одним словом! Я, говорит, если дам вам хоть вывески расписывать, так сам через три дня слечу... А что у тебя на Кузнецовке вышло?

— Приблизительно то же самое, — махнула рукой Джан. — Ну, а вторая новость?

— Машинку пишущую приволок. Вышел от Лепиня и встречаю Зильберштейна. Идем ко мне, говорит, у меня две машинки пишущих, боюсь держать, возьмите одну себе пока.

— А если отбирать будут?

— Ну, и отберут. Я не отвечаю. А пока можно пользоваться. Ты выучишься писать, можешь потом переписку или место получить.

— Тащи сюда! Это идея!

— Я всегда говорил, что меня слушаться надо, я умный. Но дела-то дрянь, Джан?

— Посмотрим еще — вздыхает Джан. Она лежит, облокотившись на подушку, и смотрит в угол полки, где стоит папка с «Кораблями». Караваева разбил паралич... Двенадцать лет с того времени... А что, если придти сейчас к нему, когда ему некуда уклониться, и спросить в упор, только вот этот один вопрос задать: почему вы так поступили со мной? Почему вы топили меня, вместо того, чтобы помочь? Но — зачем? Театральная месть? Бог с ним...

Джан вскакивает, чтобы приготовить место для пишущей машинки, Бей уже тяжело шагает с ней по лестнице.



Звонок от калитки — они запирают ее теперь на ночь — раздается под самым балконом, Джан спит с открытыми окнами. Она вскакивает — неужели так поздно? Но еще семь часов. Это Лаврик, конечно, он вернулся от стариков, помогал им укладываться, и куда его понесло в такую рань?..

Джан машет с балкона рукой, чтобы не трезвонил больше, накидывает домашнее платье, и, подвязывая на ходу бант завязок, бежит вниз. Дорожка еще сырая от росы, широкий подол задевает на ходу за цветы, и приятно холодит ноги в туфельках.

Но за калиткой никого нет. Где же Лаврик, что за безобразие? — возмущенно оглядывается Джан.

И только сейчас замечает Екатерину Андреевну. Та стоит у каменной стены, опершись спиной, без шляпы, в стареньком сером пальто, и прямо смотрит перед собой. Седые волосы, заколотые гребешками вверх по старинке, кое-где вздыбились и кажутся намокшими.

— Екатерина Андреевна! Бабушка! Что с вами? Господи... Джан хочет обнять ее, и у нее самой начинают стучать зубы, мелко-мелко.

— Екатерина Андреевна... идемте... да скажите же!

— Ннне могу . . . выдавливают та и вдруг, сразу ухватившись за Джан, налегает на нее всем телом и приникает, беззвучно бормоча что-то.

Джан с трудом втаскивает ее в сад и захлопывает за собой калитку.

— Петр Федорович? — спрашивает она, догадываясь уже. — А . . . Лаврик?

Екатерина Андреевна овладевает собой и выпрямляется.

— Обоих, Джанушка, — говорит она просто. — Пришли и взяли. Лаврик сказал, что с нами живет, чтобы сюда не бросились. Никто, как Бог. Только как нашему Котофеюшке сказать — не знаю. Ты уж сама придумай . . .



С первых же дней прихода большевиков, Эль совершенно пропадает из лаборатории. Она только забегает туда, на ходу присаживается к телефону и ведет быстрые, отрывистые разговоры начальническим тоном, пересышая фразы именами товарищей. Потом, если Петел дома, что теперь тоже редко, бежит к нему в комнату с ворохами каких-то бумаг, и запирается там.

Возвращается Эль домой очень поздно, но, большей частью, трезвая, раздевается, не глядя на мужа, и ложится спать. Они почти не говорят друг с другом — даже комнатных слов. Только из звонков по телефону и вопросов неизвестных людей Александр Робертович косвенным образом узнает, что и «этот мужик» и его Леночка состояли давно уже, по-видимому, в подпольной коммунистической организации, и сейчас выдвигаются на какие-то командные посты. Леночка резко изменилась за последнее время, теперь это сразу бросилось ему в глаза. Она одевается почти по-мужски, рубашка с галстуком вместо блузки, какой-то берет вместо шляпы, и не красится вовсе — это Леночка-то! Носит пенсне, и похожа не на самое себя, а на что-то среднее между старой девой и одной из этих ужасных «флинтенвейбер» — одетых в военную форму с юбками, мегер, с патронташами и револьверами за поясом. Когда-то, в недолгие дни советской Латвии в 1919 году, они перецеголяли чекистов в издевательствах и зверствах, и теперь снова появились на рижских улицах.

У Александра Робертовича достаточно времени размыслить обо всем. Большинство его друзей уехало в Германию. Те, кто остались еще — исчезают один за другим. Кроме того, он заметил, что знакомые стали относиться к нему довольно странно; заходить не приглашают, разговоры ведут принужденно и неловко, только о погоде, в особенности, если он упоминает вскользь, приличия ради, что жена просила передать привет . . .

Эта пустота не рассеивается и на улице. Плакаты с портретами вождей и красные полотнища кажутся провалом в какую-то жуткую бездну. Знакомые дома и магазины пусты — без при-



вычных людей и владельцев, улицы без знакомых лиц и полны чужими.

Дома пустота смыкается давящим железным кольцом, и Александру Робертовичу кажется иногда, что ему не хватает воздуха. Дома в прежних комнатах сестры и матери чужие жильцы, в лаборатории он один теперь. Но стоит ли работать вообще? Банковские вклады национализированы вместе с банками, частная торговля сохранилась еще только в самых мелких лавках, а государственные кооперативы не будут, да вероятно, и не имеют права закупать товары из частных рук. Хорошо, что у него на руках есть деньги.

Александр Робертович бродил по лаборатории, разбирал оставшиеся запасы, уносил их домой. Часто останавливался и припоминал какую-нибудь сценку из первых революционных лет, прожитых в Петрограде. Но из-за красных бантов и озверевших морд быстро выплывала кудрявая, в рыжевато-золотистых локонах головка шестнадцатилетней Леночки. Так, как увидал ее впервые — и впервые понял, почему поэты не могут отказаться от избитого сравнения глаз с небом; именно голубое, ослепительное небо голубой весны отражалось в них. Глаза, как лепестки цветка, глаза девочки, уже чувствующей себя женщиной, и этот голос, как колокольчик, и кожа, пахнувшая фиалками! Как он стремился тогда вырвать ее из красного ада, спасти, увезти... Такого ребенка даже перевоспитывать не придется: — стоит только переменить обстановку — и манеры, склонности кристаллизуются сами собой.

Да, если от тех лет провести молниеносную кривую с конечной точкой — вот за этим столом, заваленным пустыми флаконами, и услышать за спиной, как в приемной лаборатории хлопнула дверь, щелкнула трубка, и Леночкин голос произнес: «Потрудитесь приготовить новый график к моему приходу, товарищ» — разве бы он поверил? А может быть, это просто новое увлечение, новая роль, и после премьерных дней надоеет и поблекнет?

Александр Робертович пытался читать свои самые любимые, серьезные книги и историю искусств. Но книги тяжело оттягивали руки, а в голову лезли дурацкие мысли, что вот латгальский парень, этот квадратный Петел, безо всякого знания Микель Анжело, сумел, повидимому, подчинить себе Леночку и влияет на нее больше, чем кто либо иной, за всю ее жизнь. Что это: атавизм, или...?

Да, роман в Вене выглядел иначе. Пожалуй, Гунар был бы благодарен ему теперь. Гунар, говорят, женился на известной молодой пианистке и очень счастлив.

Пыльная, шумная Московская улица хрипло врывается в раскрытые окна, и Александр Робертович, не обращавший раньше внимания на обстановку, с особым отвращением присматривается теперь ко всему форштадтскому, к этой мещанской серо-

сти, грубости, невежеству, раньше прятавшемуся и тянувшимся к «приличным» людям, а теперь вылезшему наверх с уже неприкрытой наглостью — вроде того же Петела.

Александр Робертович запирает лабораторию, и медленно идет домой. Нечего торопиться в унылые скучные комнаты, в которых о существовании Леночки напоминает только обычный для нее хаос. По дороге надо купить колбасы или ветчины к чаю — обычный для него обед и ужин, и потом долго сидеть у окна над книгой, прислушиваясь к шагам на остывающей, затихающей улице. Леночкина походка осталась той же, только низкие теперь каблуки не стучат так громко.

В груди тяжело и скучно ворочается что-то, доктор давно предупреждал, что у него неблагополучно с сердцем, но Александр Робертович только махнул рукой. Раньше он курил не менее сорока папирос в день, теперь — сотню. Теперь он вообще не выпускал изо рта папиросы, зажигая одну от другой, цепочкой. О сердце он не думал. Думать стало физически тяжело в этой глухой и тупой пустоте, как будто он попал под стеклянный колпак, из которого медленно выкачивали воздух.



В этот душный августовский вечер Леночка вернулась поздно, по обыкновению. Лицо краснело неровными, некрасивыми пятнами. Александр Робертович лежал на диване с книгой.

— Мне надо поговорить с тобой, Александр, — сказала она, и от этого редкого официального имени, употребляемого ею только при ссорах, вместо глупого, но приятного ему прозвища «Кисы», он невольно вздохнул.

— Так дальше продолжаться не может, — ровно продолжала Леночка. — Сперва мне было не до того, слишком много работы... Теперь положение выяснилось. Петр Елисеевич назначен на пост комиссара воздушных сил рижского гарнизона. Я, кроме работы в радиэфоне, несу еще и общественную нагрузку... но это тебя не касается. Вчера я подала в Загс прошение о разводе. Предупреждаю — если в четверг ты не явишься на разбор дела, то развод будет вынесен заочно. Теперь все эти формальности гораздо проще. В тот же день я регистрируюсь с Петром Елисеевичем. После этого нам оставаться на одной квартире неудобно и незачем. Но квартиру я оставляю тебе, а свои вещи перевезу в лабораторию. Что касается тебя, то, если хочешь, я поговорю относительно места на химическом заводе. Конечно, я не даю тебе своего поручительства, потому что, откровенно говоря, не могу ручаться за твою лояльность, но тебя с моей рекомендацией примут, а в дальнейшем ты сам должен держаться разумно. Предупреждаю, чтобы ты не обращался ни ко мне, ни к Петелу ни с какими просьбами о заступничестве в будущем: сентиментальностью я никогда не страдала, а компрометировать себя не собираюсь...

Воздух из комнаты был выкачен чудовищным насосом до последнего глотка, и в этой жуткой безвоздушной пустоте громко, как маятник, взмахами тяжелой горячей крови в ушах и в груди, раскачивался носок пыльной уличной туфли на перекинутой через колено ноге Леночки, вверх и вниз, вверх и вниз... Взмахи ноги были такими же громкими, как голос, звеневший, отскакивавший от зеленых стен, обрушивавшийся на голову ударами, от которых голова расплющивалась и вгонялась в плечи и в грудь, а в ней и без того уже не хватало воздуха... воздуха!

Александр Робертович с судорожно зажатым в руке окурком пытался приподняться на диванной подушке повыше, чтобы глотнуть этого чудесного, невесомого и такого нужного сейчас воздуха. Господи, хоть один глоток, глоток только... Глаза округлились и выкатились, в горле клокотало, а в ушах равномерно и нудно, с трудом доходя до сознания, звучал этот неумолимый голос:

— И, пожалуйста, не вздумай угрожать мне самоубийством или еще чем-нибудь. Подобные выходки были хороши для Вены, но эти времена прошли. Впрочем, признаю, что ты был по-своему прав тогда. Выйдя замуж за Гунара, я бы почувствовала себя в светском обществе не в своей тарелке, и сбежала бы через полгода, а с Петром Елисеевичем мы стоим на одной политической платформе, что самое главное...

Больше Александр Робертович ничего не слышал, откинувшись на подушку и странно вывернув правую руку. Он очнулся только на утро, в городской больнице, в общей палате с мертвенно-белыми потолками. Сознание прояснялось проблесками. Он понял, что с ним произошел удар, что его разбил паралич, и что он теперь один со своими мыслями, которые так трудно собрать логикой, расшатанной и расползающейся в тумане. К нему никто не приходил. Доктора и сиделки равнодушно и быстро проделывали самое необходимое, как всегда в безнадежных случаях. Александру Робертовичу это было так же ненужно, как и им. Он умер через две недели, так и не сказав ни слова, и больница похоронила его, незаметно ни для кого.

— Когда же ты успела побывать на похоронах? — спросил Петел, увидев на столе в бывшей лаборатории извещение из больницы.

— А я и не ходила вовсе. Терпеть не могу похорон. Для чего? Трупы все равно, а лицемерить я не собираюсь. Самоликвидировался и хорошо.

— Я еще, видно, не изжил предрассудков. Не по себе как-то... старая закваска. Ну, да шут с ним. Работы много.

Это было очень кратким некрологом. Таким же коротким, как вопрос о смысле и нужности многих человеческих жизней.

И как ответ на этот вопрос.



Магазин Охотьева, как и все оружейные магазины, был закрыт сразу же. Неизвестные люди в форме явились к нему, потребовали ключи, реквизировали оружие, а удочки и шелка остались в магазине. Охотьев дал подписку о невыезде.

После их ухода велел прислуге прибрать беспорядок в квартире и не реветь и, подумав, позвонил Варе. Ее не было дома.

Подписка о невыезде не слишком беспокоила Охотьева. Со дня на день можно ожидать прихода германских войск. Если они не постеснялись занять нейтральную Норвегию, то неужели допустят советскую Балтику? Значит, самое главное — выиграть время.

Мысли об аресте, опасности, смерти или разорении совершенно не приходили ему в голову. Охотьев был слишком хорошим купцом и достаточно проникся китайской философией. После прошлогодней паники он осторожно перевел остатки капитала — капитал давно уже был там — в Англию. Дом отберут — но что это значит? А в торговле такое уж дело: не одна прибыль, без убытка не обойтись. Что ж, придется померяться силами с товарищами — силушки же еще, слава Богу, хватит!

Политикой Охотьев интересовался только, поскольку это надо было знать для торговли. Воспитанный в патриархальной старообрядческой семье, он был умеренным монархистом и считал английскую конституцию совершеннейшей в мире. Но и к ней относился с точки зрения Конфуция. С этой же точки зрения не ненавидел, а свысока и с некоторым снисходительным сожалением презирал «товарищей», как невежественных двуногих, ставящих основой своего существования насилие, а насилие — одно из величайших уродств человечества.

Прошлой осенью он мог отправиться и в Германию, и в Швецию, но мать отказалась наотрез: на старости лет нечего на чужбине к новым порядкам привыкать. Семья Охотьевых была очень несловоохотливой, но крепкой. Оставить мать одну с сестрой Охотьеву казалось таким же невозможным, как подделывать подпись на векселе. У него были деньги, богатырское здоровье и спокойная уверенность в своей силе. До сих пор ему не приходилось сомневаться ни в чем из этого, и он не видел причины, почему бы и теперь не справиться с той частью жизни, которая в его руках — потому, что все остальное, это он знал твердо, в руках Божьих.

Пришли приказчики. Двое начали работу еще при отце. Охотьев велел подождать, приготовил конверты с полным расчетом каждому за три месяца вперед, подумал, и нажал пружинку хитроумного тайника в письменном столе; вывалился ролик золотых монет.

— Ну, вот молодцы, — сказал он, растворяя дверь кабинета: — пожалуйста за расчетом. Не поминайте лихом хозяина.

Прощанье вышло растроганным и теплым. Когда они ушли, Охотьев собрал в портфель туалетные вещи, несколько книг,



накинул пальто и вышел. Мать с сестрой уже в мае переехали на дачу — старомодную, но красивую. Патриархальный купеческий быт не шел вразрез с современностью, а легко вживался в нее, незаметно обрастая тем лучшим, что можно было взять, но не теряя из старого хороших традиций и устоев. Да, в такой дом надо было с умом выбирать жену.

Дождавшись поезда, Охотьев сел в пустое купе и, смотря на плывущие за окном знакомые сосны и белые станции, продолжал нанизывать цепь мыслей дальше. О Варваре ему надо было особо подумать. В жизни Охотьева, несмотря на то, что ему было уже сорок, почти не было женщин. Была Аннушка, вдовушка, вышивавшая ему подушки для дивана в кабинете. Она была неглупой женщиной с ровным, веселым характером, привязалась к нему, но знала свое место и была довольна тем, что ей было положено. Их отношения изменились только тогда, когда, в последнем году, в его жизнь вошла Варвара. Отношения с ней были гораздо сложнее, чем с Аннушкой, бесцветной привычкой.

Умная, независимая Варвара покоряла пышным кустодиевским телом, притягивала своеобразной индивидуальностью и отпугивала чересчур уж современной жесткостью, за которой крылось еще что-то, чего он никак не мог уловить. Их встречи были непрерывной борьбой, но это ему нравилось. Его отношение было неизменным с самого начала: подчеркнутое джентльменство, смесь англазированнойности с легкой купеческой усмешкой. Сбить его с позиции Варе не удавалось ни разу.

— Ты мне княгиню Настю из пьесы Амфитеатрова напоминаешь, — сказал он однажды. — Если не читала — прочти, прекрасная вещь. Княгиня Настя московской миллионершей была, и про нее говорили, что если заплачет, так у нее вместо слез серебряные пяточки посыплются.. Кремень — баба.

— Это я еще припомню тебе, — прошипела Варвара.

Слово «княгиня» сразу показалось напоминанием.

Да, в этой женщине было много непонятого. Охотьев внимательно разглядывал и оценивал ее. Он любил Вару, сильно и требовательно. Страсть его она разделяла. А любовь? О любви не говорилось ни слова. Станным было еще и другое. Охотьев прекрасно знал, чего он стоит. Но на возможность брака Вара не намекнула ни разу. Что это: совсем тонкий расчет или плевательская точка зрения вообще?

А он часто прикидывал к ней мерку, обязательную для его жены, потому что если для любви кроме сердца ничего не требуется, то в браке должен быть хоть, по крайней мере, толк. Вара могла бы, при случае, с мужской хваткой и прижимистостью, вести дело. Хозяйка она хорошая, в обществе сумеет себя поставить. Не красива, но если одеваться... Что норовиста, озлоблена часто — тоже не беда. В начале жизни ей не сладко пришлось, работа нервная, а спокойный, богатый достаток и не такие углы сглаживает быстро.

Мерка не сходилась на другом. Вара могла оценить китайские вышивки, но настоящих традиций у нее не было. К укладу Охотьевых она относилась с особым, бравирующим пренебрежением, с жесткой, холодной издевкой, и Охотьев видел, что это не наигранность позы, а внутренняя мерзлота, как в тундре под слоем мха.

Да, в жизни почти каждого человека есть свои четверть часа счастья — надо только знать, когда. Обычно это узнается после. Если бы Вара не рванулась на морском балу к Нагаеву... «если бы» — часто очень горькое слово.

Сама Вара определяла свои отношения к Охотьеву: «из принципа, то есть на зло». Ей доставляло удовольствие на этот раз, в отместку всем другим, самой отбрасывать то, что ей протягивалось. Китайщина интересовала ее, как курьез. В то, чтобы взрослый человек, да еще купец, мог серьезно проникнуться Конфуцием — она верила так же мало, как в этику вообще. Один маскируется философией, другой аристократичностью, а результат одинаков: всех бы на одну веревку! Мысль о браке с Охотьевым вообще не приходила ей в голову. Несколько лет тому назад она бы ухватилась за малейший намек, но теперь не до того. Эту зиму Варвара была занята другим, поважнее, и если даже и смягчалась иногда, то быстро стряхивала с себя растроганность, как росу с железа. О нет, теперь уже поздно, и сентиментальничать нечего. Может быть, он и меньше виноват, чем другие, но поплатится и за них.

«Так, есть слова, но их никто не слышит»...

Жаль их все-таки, этих слов...



Мать Охотьева варила варенье из клубники. Выждав несколько дней, Охотьев поехал в город снова. Если бы не Варвара, можно было бы спокойно отсиживаться за книгами. Но из города шли вести об арестах. Он приехал к вечеру, с твердым намерением дожидаться ее. Она улыбнулась — насмешливо, показалось ему.

— Ты так поздно?

— Не взыщи, Варварушка. С шести часов тебя дожидаюсь.

— Да, уже скоро двенадцать. Ты сейчас на взморье?

— Хочу и тебя пригласить туда же. Места у нас хватит. Забирай мамашу и приезжай, работа твоя в редакции кончилась. Поживи на даче пока, потом обсудим вместе, что делать.

Тот же ускользающий взгляд — на часы.

— Спасибо за приглашение, но ты ошибаешься. Одна газета кончилась, другая выходит, да и не одна газета. Сейчас организовывается новое учреждение, и работа у меня так и кипит. Просто с ног валяюсь от усталости, ты уж меня извини...

— Вот как... ну, что ж, я тебе не помеха. Признаться, думал совсем наоборот. Правда, помощь моя теперь не так уж велика,

но все-таки вместе легче. А выходит, что я тебе, при новом начальстве...

Вара сухо рассмеялась.

— Не беспокойся. Я была знакома с половиной Риги. Одним буржуем больше или меньше...

— По-нашему, по-купечески, это называется: со счета скинуть. Так, что ли, выходит?

Вара, все так же усмехаясь, подошла и положила ему обе руки на плечи.

— Вот что, Вадим. Ты что думаешь делать: бежать?

— Если до сих пор не сбежал, так сейчас и подавно не собираюсь. Мать у меня, сестра и... ты.

— Магазин твой закрыли. Ну, что же, сиди на даче и занимайся Конфуцием. Я сейчас усиленно работаю, и мне не до развлечений. А ты наслаждайся покоем, жизнью, и философией... пока. Потом видно будет.

— Отсрочка векселя, значит?

— Отсрочка. Ты ведь заплатишь, если понадобится?

— До сих пор в долгу не оставался.



Эта недоговоренность, скользящее равнодушие и усиленная занятость чем-то... и как ей удалось устроиться, так сразу, когда и помельче сотрудников арестовали — коробили Охотьева, но Вара приучила его к неожиданной смене настроений. Изворотливая баба, и сейчас, видно, старается заслужить доверие новых хозяев. Ну, что ж: по-своему она и права, может быть. Ему это претит. Кто знает, может, и к лучшему, что не женился на ней.

Лето шло, и золотая осень сверкающими брызгами рассыпалась по взморским садам. Тихим и рокошущим было взморье в этом году, без обычных праздников, конкурсов красоты и нарядных дачников.. Советские дачники резко бросались в глаза на декоративном фоне вилл. А в одной из них работало НКВД.

Охотьев бродил по лесам и пляжу с книгой. Сложная математика китайских корней звучала стройной симфонией, а тысячелетняя мудрость прозрачной ясностью отодвигала все окружающее.

Старые друзья приезжали с оглядкой — не следят ли за ними? С облегчением вздыхали, входя в дом, и прибавляли к списку погибших новые имена. Как-то обронилось имя Вары Вересковой — и гость, старый друг дома, смущенно замолк, увидев входившего на террасу Охотьева.

— Варвара Димитриевна? — переспросил тот, поднимая густые брови, отчего его лицо всегда делалось круглее: — да что вы, разве можно всякому вздору верить!

— Верить или не верить — дело ваше, — сухо отрезал гость, — а я сплетнями сроду не занимался. Говорю только то, что весь город знает. Надо полагать, что и раньше работала, очень уж

сразу, с первых дней, в почет вошла. А на совести у нее уже сотнями считать приходится. Ходит с револьвером за поясом, и все арестованные, с которыми удалось добиться свидания, в один голос говорят: поблагодарите Верескову!

— Лю-бо-пыт-но, — протянул Охотьев и, медленно пройдя террасу, спустился в сад. Из висевшего в простенке зеркала на него взглянуло чересчур спокойное лицо и, только поймав себя на том, что он мнет в пожелтевших сразу от шафранного сока пальцах георгин, сорванный с куста и пахнувший резким, горьким запахом осени, Охотьев понял, что именно он так мучительно старался припомнить, и облегченно вздохнул, как будто бы это и было решением вопроса. Мутные, как оловянные гвоздики, глазки Варвары и китайские сказанья о лисах-оборотнях, принимающих человеческий вид. Они приходят вечерами, соблазняют, толкают на преступления, иссушивают болезнью.

— Что же, — сказал Охотьев, обращаясь к кусту георгин; — в двадцатом, по нашему счисленью, веке, пора бы признать, что «бабьи сказки» недаром держатся тысячелетья. Вот так они, темная эта нечисть, входят и ходят между нами, и мы сами растим и питаем их. Даже когда увидим, что за оборотень под личиной.

Все последующие дни эта мысль возвращалась. Варвара не звонила ему, не приезжала на взморье. Он медленно обдумал, припоминая все мелочи, все ее слова, и, так же не торопясь, давая вскипеть и остыть возмущению и гневу, скинул Варвару со счетов своей жизни, записав в убыток. Заноза осталась, конечно. Женщина, на которой он захотел, впервые в своей жизни, жениться, не так легко изглаживалась из памяти сердца и тела. Издевка, как хвостатый бесенок, поддразнивала, что его провели за нос и оставили в дураках, но он не поддавался на дешевку мелочной, себялюбивой злости. Философия приучила его к человеческим заблуждениям, торговля — к убыткам. Но и то и другое ограничивалось хотя бы минимальной этикой жизненных возможностей — и в этих границах не было места ни доносам, ни человеческой крови.

Когда, поздней осенью, Охотьевы вернулись в город, Вадим Павлович вполне овладел собой. Он редко выходил из дому, и проводил все время над китайскими поэтами.



Ноябрь казался в эту зиму особенно пронзительным и глухим, как будто ветры не продували улиц, а застревали в опустевших домах и башнях, и этот заблудившийся вой сразу придавливал тишиной. В старом городе вечерами темнота протягивалась из боковых извилистых улочек даже на блестящую когда-то Известковую. Теперь больше половины магазинов темнело тусклым провалом витрин или заплатами ставень. Одни владельцы уехали, других увезли.



Квартира Охотьевых была над магазином. В старомодной столовой с дубовой панелью и резьбой серебряным четким звоном тикал маятник высоких, как башня, Беккеровских часов. Мать с сестрою ушли в гости. Самовар на столе тоненько пел и шипел, булькая, будто сердясь на свой голосок, недостаточно солидный для увесистого медного пуза.

— К гостям, — заметила прислуга, наливая Охотьеву первый стакан.

— Приготовь лишний прибор, — усмехнулся он, удобно располагаясь в кресле с неизменной книгой рядом. Он намазал хлеб маслом с кетовой икрой, подлил в душистый крепкий чай красного вина, и невольно подумал, как хорошо и уютно в старой, с детства привычной комнате с раскаленными изразцами печки в углу, поющим самоваром и тяжелыми шторами на окнах, отраживающими и темные, холодные улицы, и ветер, и то, о чем совсем уж не хотелось думать в этот вечер.

Звонок в передней наполовину смягчился дверью в портьерах, но маятник дрогнул от резкого перебоя и приостановился на мгновенье, отделяя следующую секунду. Дверь быстро распахнулась, и Охотьев поднял голову. На пороге стояла Варвара.

— Здравствуй, Вадим, — кинула она почти повелительным тоном.

— Добрый вечер, Варвара, — спокойно ответил он, поднялся и подошел к ней, все еще стоящей на пороге.

— Я пришла к тебе чай пить. В моем — и твоем, — распоряжении полчаса. Через полчаса за тобой придут. Предупреждаю: дом оцеплен, так что бежать не удастся, и стрелять не советую тоже.

Она небрежно сунула руку в карман пальто. Маятник четко описал серебряную дугу, и в размах этой секунды, разделившей всю жизнь Охотьева на две неравные части, уложилось очень много ярких, отточенных мыслей, одна за другой.

Варвара не шутит. Свернуть шею этой женщине, предающей его? Бежать? Бессмысленно. И то, и другое погубит сестру и мать. С ней-то он и голыми руками справился бы, при всех ее браунингах. До сих пор она давала ему отсрочку. Ну, что ж, и на том спасибо. Эффект приберегла к концу. А раз так — Охотьевы тоже не оставались в долгу!

— Милости просим чай пить, — сказал он с легким поклоном и подвел ее к столу. Этих нескольких шагов уже было достаточно для дальнейших мыслей. Все распоряжения на случай его ареста давно продуманы и сделаны. Да, еще полчаса в уютной и теплой столовой, за чайным столом, и больше ничего.

Он сам подошел к буфету, вынимая тонкую китайскую чашку для гостя, чувствуя за спиной оловянный, колючий взгляд. На совсем крохотную дольку секунды мелькнула мысль о самоубийстве — но скользнула, не задев. Грех и трусость. Хотел

померяться силами с товарищами — ну, вот и держись, охотьевский!

Взглянул мимоходом на портрет отца, висевший в столовой, будто перемигнулся с ним успокоительно. Медленно вернулся к столу и налил чашку.

— Подлить вина, или с лимоном?

— Дай с вином.

Варваре было не совсем по себе от его любезного хозяйского тона. Взрыв хотя бы холодной язвительности, если уж не гнева — все, что угодно, но этого она не ожидала.

— Читаешь? — кивнула она на книгу, все еще не вынимая руки из кармана.

— Книги — это предпоследнее, что остается у человека, когда все остальное ушло.

— А если и книг больше нет?

— Тогда остаются мысли. И это самое главное.

— А жизнь?

— А жизнь —

«Река, которой дальше течь,  
Но если капля отразила луч,  
То этого достаточно для счастья —»

процитировал он и налил себе еще стакан чаю пополам с вином.

Стакан останется на столе после его ухода. Чашечки династии Минг, непередаваемого лазурного цвета, насчитывают тысячи лет. Их жизнь так же драгоценна, хрупка и осмысленна, как жизнь однодневного цветка. Время — понятие относительное, а смысл понятен только по ту сторону добра и зла. Но человек слаб, очень слаб. Вот какая-то надежда, подсознание, цепляющееся за этот самовар и портьеры, нашептывают ему, что он вернется еще в эту комнату...

— Ты не вспоминал обо мне?

— Конечно.

Нет, относительно княгини Насти он ошибся. Этой — далеко до той. Варвара вульгарна, а не самобытна.

— Ты бы мог проститься с домашними и собрать вещи.

Охотьев покачал головой.

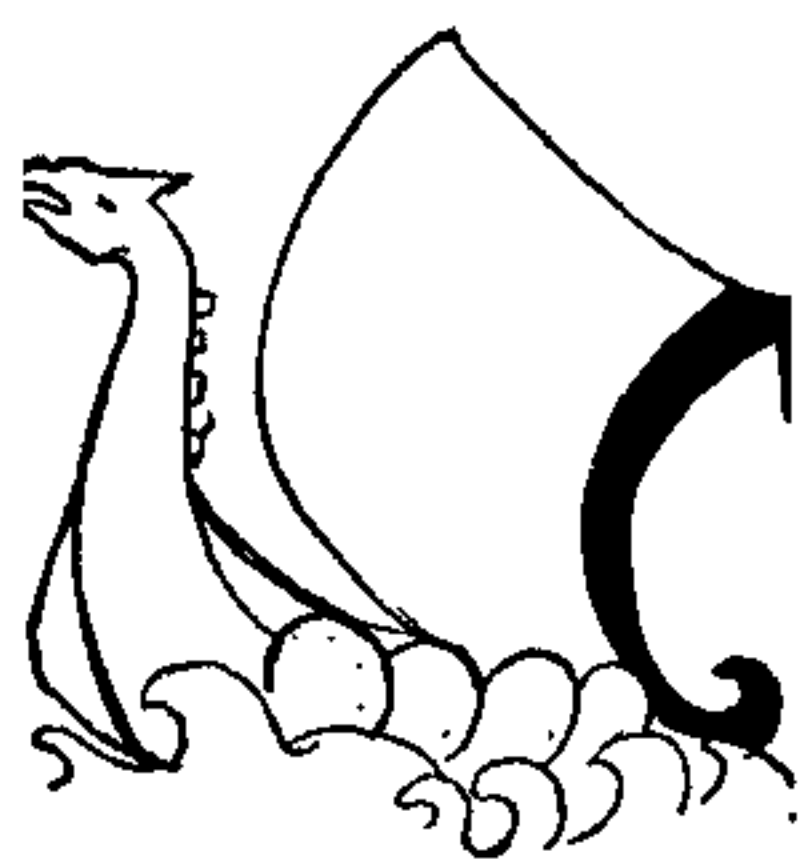
— Полчаса прошли, Вадим.

— Уже? — он посмотрел на часы и поднялся. — В приятной компании время проходит быстро...

Звонок и стук в дверь передней раздались почти одновременно с воплем прислуги. Охотьев шагнул вперед и, склонившись перед Варой — как тогда, на морском балу, — мелькнула в памяти картина, — церемонно и любезно поцеловал ее руку.

— Предупреждение было очень мило с твоей стороны, Варвара. К сожалению, не смею больше задерживать...

В столовую вошло трое чекистов. Варвара вскочила и швырнула на пол китайскую чашку.



осенними днями Инночка стала тише, побледнела, глаза совсем не походили теперь на веселые вишенки. Инночке было уже двенадцать лет, она много читала и стала думать. Поэтому она возмутилась на первом же уроке советской истории.

— Я так и сказала ему, этому новому учителю — заявила она, садясь обедать с угрожающим видом, — я говорю, что трех страничек для тысячелетней истории России немножко мало! Как будто до революции ничего не было! И он еще спрашивает о моих родителях, сказал придти тебе, мама!

— Я пойду сам и просто возьму тебя из школы. Дома больше научишься всему, и ну их к чорту, с их советским воспитанием! — хлопнул Бей кулаком по столу.

Джан вздохнула и пожалела про себя, что не может пустить тарелкой в Бей — тогда картина родительского воспитания была бы полной.

— Я поговорю с тобой потом на эту тему, Инна, — нашла она выход в повелительном тоне. Инночка надулась. Она ожидала похвалы за свое рвение — дети и старики одинаково не умеют лавировать. Одни не доросли до формы, другие застыли в ней.

— Инна совершенно права, — процедила сквозь зубы Катышка, когда девочка пошла в свою комнату, — и я бы на твоём месте, Джан, тоже взяла бы её из школы.

Катышка говорила теперь очень мало, совершенно уйдя в своё горе, и так изменилась, что все выбирали слова, обращаясь к ней. Васильковы глаза стали жутко пустыми. Она похудела, губы не улыбались смущенно, губы были сжаты в жесткую прямую линию, и она вся выпрямилась и одеревенела. Часами и днями она просиживала во всех учреждениях и на дворе тюрьмы, добиваясь свидания. Дома лежала на диване, уставясь в одну точку и молчала. Иногда принималась яростно и методично убирать: натирала до блеска пол, переворачивала шкафы, превращала курятник в бонбоньерку. Это делалось порывами, по внутреннему приказу, без надобности, смысла и желания. С сыном не няньчилась больше. Равнодушно кормила, сажала играть, предоставляя все нежности бабушке и теткам. Говорила спокойным, повелительным тоном, не слушая ответов. Очевидно, что резкость, угловатая страстность, присущая всей семье Грушевых, проявлялась в каждой из сестер в разные периоды жизни по-своему.

Вероника, например. Лепестки позднего расцвета облетели, и она искупала его теперь монашеской покорностью. Как будто собралась на богомолье и пошла, но, дойдя до паперти, остановилась. Эта задержанная просветленность, дергающаяся кликушеством, убивала Джан не меньше, чем каменное отчаяние Катышки.

Джан вошла однажды в комнату Вероники и остановилась. Вероника сидела, укачивая на коленях не Ярика, а его шерстяной костюмчик, гладила воображаемую головку и, посмеиваясь слегка, напевала:

— Ножки-крошки: в занавеске-арабески... спи, мой мальчик, спи. Смотри: побежали ножки — топ-топ-топ! Побежали крошки: хлоп-хлоп-хлоп! Мы тут-плут!

— Вероника!

— Выше-выше-до самой крыши... Побежали, зацепились, снова в кружево свалились... так, так, так... не взобраться на чердак!

— Очень милая песенка — сказала Джан задрожавшим голосом и злясь, что он дрожит — только почему ты её Ярику не споешь, а с его костюмчиками репетируешь? Вот уж добросовестная тетка!

Но шутки не вышло. Вероника, как разбуженная, медленно повернула голову.

— Вот моему мальчику было бы теперь столько же почти, княжичу маленькому...

Джан махнула рукой и выбежала из комнаты.

Легче всех было с Екатериной Андреевной. Джан всегда любила её, а теперь преклонялась. Люди, сломленные горем,



не замечают окружающего, но она тепло и ласково входила в жизнь пошатнувшегося дома. Только серенькие пряди волос стали совсем белыми. Она тихо перебралась в приготовленную Джан комнату, по утрам совеща­лась с Катышкой — кому куда идти высиживать с просьбами.

— Деньги Петр Федорович у себя в письменном столе держал, а теперь его комната запечатана. Недолго и мне еще... этого ты еще не понимаешь, Джанушка, оставь. Вот скажи лучше: я встретила на тюремном дворе Марью Игнатьевну. Сын у нее там... Она дюжину коз держит, раньше на больницы молоко поставляла, предлагала взять одну — ну, даром. Как ты думаешь? В курятнике места хватит, а Ярику...

Она ходила и по знакомым, выслушивала горести и жалобы, ободряла. Молитвенная покорность была ее второй жизнью, поэтому она не казалась двойственной, отрешенной, а только ощущающей, помимо повседневного и обычного еще и то, что доступно только в том, что и выше жизни, и вонне ее, и вместе с тем излучается из нее. «По ту и по эту сторону — живой человек» — вспоминала Джан так давно поразившие ее слова Густава Мейеринка, и ей казалось, что только теперь она поняла эти слова по-настоящему.

Хуже всего было с Беем: он вставал поздно, иногда к обеду только, и на все попытки Джан поговорить о чем-нибудь отвечал, что все все равно, потому что все летит к чорту. Но разговора с Инной нельзя было откладывать. Джан пошла в школу, выслушала политическую проповедь и сухо заметила, что подросткам вообще свойственна порывистость и резкость. Объяснить политграмоту Инночке было труднее.

— Я знаю, что ты хочешь сказать, мама, но не хочу притворяться, — заявила она, когда Джан вернулась из школы.

— Прежде всего мне хочется думать, что ты достаточно уже взрослая, чтобы выслушать и постараться понять, — равнодушно ответила Джан. Это помогло.

— От тебя зависит сейчас очень много. В детстве ты росла, не замечая нужды, с которой мы боролись. Потом у тебя было все, что надо. Из всего этого есть только две ценных вещи, которые ты можешь сохранить на всю жизнь: образование и воспитание. Остальное может исчезнуть, потому что наша жизнь кончилась. Каждый день могут взять меня или папу, и ты останешься одна. В Советском Союзе миллионы беспризорных. Но мне было бы очень тяжело сидеть в концлагере или тюрьме и знать, что ты стала такой же. У тебя должно найтись достаточно гордости и собственного достоинства, чтобы вести себя, как следует, а это не значит, что ты должна показывать на каждом шагу, что ты их ненавидишь и презираешь. Но и лицемерить тоже нельзя. Делай только то, что строго необходимо и можно, чтобы тебя оставили в покое. Выучить историю Века тебе не трудно. А если тебя выкинут из школы, то заинтере-

суются и родителями. Я не требую, чтобы ты говорила не то, что думаешь, но не все, что думаешь, говори. Выучиться молчать во-время очень важно для всякой жизни. И надо считаться с тем, что тебе, наверно, придется уйти из Оперы тоже...

— Почему? Я танцую в двух балетах, а наша прима говорила, что и в следующем тоже...

— Я только на всякий случай говорю. К твоим ответам будут придирааться и там.

Через неделю Инночка медленно вошла в комнату матери, помахивая мешочком с балетными туфельками, и Джан поняла.

— Уже? — со вздохом спросила она.

— Да, мама. Меня позвали к какому-то новому комиссару, и он спросил о дяде Лаврике и о всех. Я прибавила, сколько времени уже учусь и танцую, но он сказал «да-да», и что теперь будут сокращения, и в число вакансий я не попала. Но я была очень вежлива, даже сделала реверанс. Не беспокойся, я буду упражняться дома сама.

Инночка старалась держаться, но это было для нее серьезным горем. Джан побывала у четырех балерин — и только четвертая согласилась давать раз в неделю урок. Остальные хвалили талантливую девочку, им было очень жаль, но... По дороге Джан пришлось юркнуть в какой-то подъезд, чтобы уткнуться носом в угол и выплакаться. Что-то стала она плакать за последнее время, вдруг, без всякого повода, часто на улице. Неужели сорвется и станет истеричкой, она, с ее стальной выдержкой?



Натан Иосифович, вернувшись со взморья, заходил к ним довольно часто, подчеркивая, что он чистый «умственный пролетарий» и не боится предосудительного знакомства.

— Все-таки единственный человек, не бросивший нас в трудную минуту, — говорила Джан, и часами вела с ним разговоры. Литературные и философские темы были бы отдыхом, но они незаметно соскальзывали на современность, и страсть совершенно неприспособленного к жизни человека давать практические советы, и его витиеватость, ставшая теперь просто карикатурой — выводили ее из себя.

— Вы самая энергичная женщина моего знакомства, — начинал он, — и должны приспособиться к новой жизни.

— Но если эта жизнь не хочет меня принять?

— Никогда не поверю. Первое время к вам относятся с недоверием, и это резонно: ваше имущество подлежит национализации, а родственники арестованы. Естественно, что вы относитесь к сей узурпации одиозно. Но если вы сами кардинально перемените свою платформу, и откажетесь от дворянских замашек с одной стороны и сентиментальностей с другой...

— Господи, голова трещит от ваших «кардинальностей»! Почему человек, знающий иностранные языки, должен непременно засорять ими русский? Вы же не советский еще. Те на каждом шагу «образованность свою показать хочут», и стараются выражаться в планетарном масштабе: чем непонятнее, тем ученее, значит. Но вы-то, интеллигентный человек... и причем дворянские замашки? Я умею работать и работала всю жизнь, но вот не приняли же меня на Кузнецовку?

— Зарегистрируйтесь на бирже труда. Смотри реально...

— Да, «смотри реально!» А сами вы что сделали?

— Я зарегистрировался. Не далее, как вчера.

— Раскачались, наконец... И что же?

— Они индифферентно посмотрели на мой не регулярно пролетарский вид, и я сразу почувствовал, что мой язык прильпе к гортани — вот вам образчик русской словесности. Затем вопрос: образование? Ответствую: «Классическая гимназия и два факультета». Но сие их не эпатировало. «А что вы еще знаете, товарищ?» Я говорю чрезвычайно приниженно: «еще знаю языки». Какие? Русский, латышский, немецкий, французский, английский, итальянский, испанский, голландский, норвежский, шведский, греческий, латинский, датский, арабский, польский, еврейский и древне-еврейский, и больше, говорю я им, товарищи, я ничего не знаю.

— Ну, и что же? — невольно улыбнулась Джан.

— Ну, они посмотрели сперва друг на друга, а впоследствии на меня, закрыли рот и сказали, что этого, пожалуй, хватит.

— И предложили вам мостить улицы?

— Они известят меня циркулярно. И я рекомендую вам проделать адекватную акцию.



Совершенно неожиданно появилась Звезда. Пришла, как воспоминание молодости, теперь таких далеких, потонувших лет. Джан, смотря, как она прямо сидит и манерно помещивает ложечкой чай, казалась сама себе какой-то культяпкой. Не перед самой Звездой, а перед тем, что нахлынуло вместе с ней: театр Нездолина, премьера и надежды — вот именно эти надежды, из которых ничего не вышло. А если и вышло что-то помимо них, то и это пропало, так что собственно ничего не осталось.

Слава, попрежнему расставив локти, угловато засовывал в рот, как в пасть, варенье, и мог свободно усидеть два самовара. Он перерос мать, но остался таким же: одутловатым слегка, рыжим, вихлястым мальчишкой. Неуклюже копировал отца и изрекал солидным баском ухмыляющиеся истины.

Звезда только слегка постарела. Чуть поблекли глаза, и волосы запылились, но строгая точеность богини осталась по-прежнему.

— Какой у вас элексир молодости? — искренне спросила Джан. Звезда довольно усмехнулась.

— Ну, вам еще жаловаться нечего. А вот наша Елена Прекрасная, прославленная примадонна Эль, опростилась и опустилась так, что смотреть противно. И вышла замуж — знаете? Убила бобра. Позор! А этот пьянчужка, Кюммель, теперь председатель театрального комитета. Директором Волин, ходит в косоворотке, а Шурочка вертит им, как хочет. Увидала меня и спрашивает: «Вы что, в трупшу проситься пришли?» Как вам нравится, а? Я у Нездолина премьершей была, когда эта девчонка и шагу на сцене ступить не умела!

Брюзжащий тон герцогини в отставке был у Звезды всегда, но сейчас казался более уместным. Театральные новости она передавала очень оживленно, а перейдя на личные, долго и нудно описывала все стадии болезни мужа. У него была астма, при его полноте можно ожидать удара. Они давно перебрались на взморье и живут там круглый год. Слава поступил работать чертежником на железную дорогу.

Джан слушала, как и раньше, но внутренние отметки стали другими. Звезда давно потухла и только отражала чужой блеск. Потребность блеснуть оставалась. Сейчас лучезарным светилом стал муж. Да, толстый, лоснившийся потным жиром, грязный, неряшливый павиан и весьма посредственный доцент, улегшись умирать, стал солнцем. Звезда благоговела перед его непонятной ученостью, и он стал для нее таким же непризнанным гением, как и она сама — гениальной актрисой. Может быть, она сама раньше искренне любила его, и теперь, отдохнув от его темперамента, снова обрела эту любовь? Или привычка? Или боязнь потерять единственного человека из прошлого?

Но что-то новое и странное было в Звезде. Внезапная порывистость, не театральная, а опустошенная страстность, сухой блеск слишком пристальных глаз, пугливая нервность и даже неожиданная нежность, как будто они были закадычными подругами. Она попросила показать ей платья, дом, кур, все.

— С каким удовольствием я предложила бы вам раньше работать в моем «Кераме», а теперь...

— Да к вам теперь и заходить-то опасно! Двое арестованных в семье! Я и так сижу и на порог поглядываю — не придет ли кто, — заявил Слава.

— Вы не обижайтесь на Славушку, он у меня очень уж прямой, — заторопилась Звезда, — хотя, конечно, должна признаться: боюсь, сама очень боюсь... Но я так редко вообще могу приезжать в город: хозяйство, больной...

Слезы на глазах Звезды были искренними, когда она обняла на прощанье Джан и поцеловала ее.

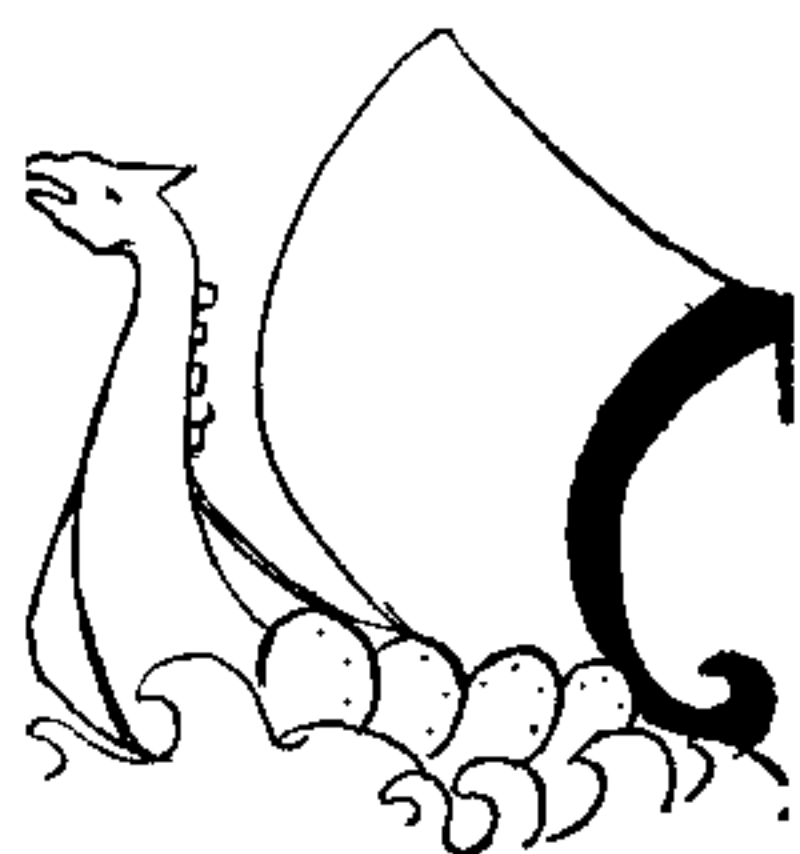


Джан проводила ее до калитки. Ранние осенние сумерки ложились пронизывающим морозящим туманом, и давно когда-то, в такую же вот осень мечталось придти, продрогшей от холода и ветра, в теплую, красивую комнату; чтобы горела лампа, чтобы ветки царапались в окно, чтобы... Да, вот о такой комнате мечталось столько лет, и когда она, наконец, есть...

Джан поднялась к себе, задернула парчевую штору на окне, взяла с полки томик Шекспира и прочла вполголоса:

«...Мы в жизни — воплощенье наших снов  
И наша жизнь не более, чем сон»...

Упала лицом на свою любимую подушку с кленовыми листьями и заплакала — жалуюсь горячо и безнадежно.



нег идет за окном, комната становится от него беловато-серой и мягкой. Хорошо бы полежать и не думать ни о чем.

— О чем вы так задумались, мадам?

Джан поворачивает голову и смотрит в упор на внимательные глаза за широкими стеклами очков. Ванагс, бывший латвийский консул за границей, а теперь шеф отдела для местной информации при Латвийском телеграфном агентстве — ЛТА — грузный, сердечный и умный человек, с философским юмором относится к жизни.

— В Художественном театре, — медленно говорит Джан, — я не имела счастья бывать самой, но мне рассказывали, — в трагедии был такой прием: на паузе, в тишине, из-за сцены начинался и шел по всему залу протяжный, глухой звук. Зрители замирали от предчувствия того страшного, что сейчас должно случиться. Вот эта струна дрожит в воздухе, и я слышу ее. Как подземная тревога. Отвлекаешься пустяками, мечешься, а смысл просачивается между пальцами, как вода, а потом эта тревога разъест душу, и, вместо стройного здания, будут валяться одни черепки.

— Не советую вам особенно задумываться, мадам. Иногда мысли звучат громче слов, а кроме того, не стоит вообще. Зима скоро кончается, скоро весна, и...

— Но не знать весны нам никогда-а... — подхватывает голос с порога. Это «Растопырка Маркиан» — толстенький и сияющий, как солнечный день. — Господа товарищи! Сегодня собрание наверху, приехал новый начальник кадров. Присутствие обязательно.

— Господи, четвертое за неделю! — вздыхает Джан. — А что он за птица?

«Растопырка» наклоняется, округляет лукавые глаза и шепчет:

— Товарищ Пейзум. Коммунистка из Москвы, латышка. Новые анкеты дадут на днях заполнять, и наше белогвардейское гнездо примутся основательно чистить.

— Тогда считать мы будем раны — товарищей считать! — бодро бубнит Ванагс в короткие усы, но всем становится не по себе. «Все» — это Ванагс, шеф отдела, «Растопырка» — переводчик, еще переводчик — застенчивый профессор-филолог, и две машинистки — Джан и болтливая Нина Ивановна, умудряющаяся даже папиросу курить с таким шумом, что ее в соседней комнате слышно. Это бюро переводов при бывшем Латвийском Телеграфном Агентстве ЛТА.

ЛТА — большое, солидно поставленное и прекрасно организованное, как и все латышские учреждения, агентство. Собственный дом в Старом Городе у набережной. Всюду ковры, паркет, со вкусом подобранные картины и занавески, большие окна.

Раньше материал как местный, так и иностранный, присылался в газеты, в том числе и в русскую, где передавался одному сотруднику, который выбирал самое главное и диктовал очередной машинистке. Но простые методы работы слишком буржуазны. Теперь при Лете создано два специальных бюро переводов — оба для одной русской газеты, — и в них работают в две смены.

За восемь часов работы Джан приходилось переписывать полторы-две страницы. Потом эти страницы отправлялись еще двум шефам. Переписывались с их пометками. Передавались комиссару. Переписывались снова и давались в высшую цензуру. Переписывались снова и теперь уже, начисто, проходили тот же путь, прежде чем попасть в газету — с опозданием на несколько дней.

Сперва Джан дурела от бессмысленной переписки из-за одного слова или цифры. Просмотры длились часами, кабинеты всех шефов неизменно пустовали, и часто страница, провалявшись дня три-четыре, выбрасывалась вообще.

Иногда бывало смешно. На ВЕФе, большом рижском заводе радио и фотографических аппаратов, был назначен митинг.

Корреспондент добросовестно отметил, что явилось человек 70. Ванагс прочел, пошевелил усами и крикнул.

— Мадам, округлите на сто. Неудобно как-то.

Джан округлила. Первый же шеф переделал сотню на триста. Второй на пятьсот. В таком виде заметка дошла до цензора. Тот долго висел на телефоне, справляясь, сколько на заводе рабочих. Оказалось — тысяча двести человек. Цензор вызвал к себе поочередно всех шефов, и чуть не плакал сам, обвиняя их в саботаже. В окончательной редакции на митинге присутствовало ровно 958 человек. На следующем собрании цензор выступал, размахивая руками, и призывал всех к большевистской бдительности.

Собрания были самой неприятной частью работы. Тупо стоять в толпе, рассматривать изученные картины на стенах, время от времени хлопать в ладоши или поднимать руку в знак согласия... Джан забивалась в угол и пыталась думать о чем-нибудь своем, но в толпе цепенели враждебность и страх, любая мысль расплзалась лениво и скучно, как в луже.

Остальное было неплохо. Джан очень обрадовалась, когда Нина Ивановна, старая знакомая, встретила ее на улице, и, схватив за руку, привела в Лету. Ванагс, серьезно посмотрев на нее поверх очков, поговорил о «Кераме», Бее, даже слегка наклонившись, о Петре Федоровиче, которого знал, и так же серьезно заявил, что никогда не видел лучшей машинистки, и имеет все полномочия определить сам ее пригодность. Джан заполнила коротенькую анкету и была принята на триста рублей в месяц. Конечно, для самого скромного существования семьи надо было, по крайней мере, вдвое, и в первую получку пришлось пережить еще разочарование. У нее вычли рублей шестьдесят.

— Куда столько? — ахнула Джан.

Кассир, старый служащий, строго посмотрел на нее и сухо произнес:

— Подоходный налог, культурный фонд, помощь революции, добровольный государственный заем и...

— Довольно, я понимаю! — взмолилась Джан и взяла хоть оставшиеся еще деньги.

Работали по неделям: одну до шести вечера, другую — с шести до двух часов ночи. Первые дни Джан старалась, но Ванагс насмешливо посматривал на нее и шевелил усами.

— У вас, мадам, буржуазный подход к делу. Разве тут работа нужна? Нужно отбыть номер. Почитайте лучше что-нибудь, и примиритесь с санаторным режимом.

Джан примирялась. Положила в ящик начатое вязанье, и подписалась на собрании на «проработку» книг Ленина-Сталина. Это было самое малое, что полагалось сделать. Она взяла «Теорию эмпириокритицизма» Ленина и «Основы ленинизма» Сталина и действительно прочла их. Ах, Боже мой, интеллигентские иллюзии прошлого года, когда люди надеялись, что можно



будет работать с большевиками! Нет, это только Ллойд-Джордж мог «торговать и с каннибалами» — хоть сколько-нибудь порядочный человек не может!

Потом под Сталиным появились другие книги. Одну из них, с которой Джан боролась целую неделю, перебирая всю жизнь, веру, сомнения — принес Натан с торжествующей улыбкой:

— Вот вам нечто экстраординарное, в вашем жанре. Книга, в которой я не понимаю ни слова, настолько заумный диалект. «Зеленый лик» Густава Мейеринка. Спасен на толкучке от аутода-фе. Наслаждайтесь. Кроме того, я имею сообщить вам еще нечто, — продолжал он, и Джан только сейчас заметила что-то новое в его обычной высокопарности.

— Сохрани Господи, Натан Иосифович, — уж не жениться ли вы собрались?

— Сочетаться законным браком намерения не имею пока что, но прецедент, произошедший не далее, как вчера, потрясающ, ибо уникам в моей жизни. Мне предложили работу. Позитивный оферт, впервые за время моего осмысленного существования.

— Господи, да не тяните же! Какую работу, где, сколько будете получать? Подумаешь, какая важность — место! Кто не работает, тот не ест. Принцип ваших же товарищей. Я, вообще, считаю вас действительно уникамом: почти до седых волос человек дожил, нуждался и нигде не работал! Для меня это всегда было невероятным идиотством, простите, пожалуйста.

Натан болезненно сморщился.

— Вы игнорируете мои комплексы, достоуважаемая Джан Николаевна. Прискорбный факт. Но вы всегда рекламируете свое терпение. Вооружитесь им, дабы я мог повествовать по порядку.

— Придется, — вздохнула Джан. — Я слушаю.

— Оферт, в виде позитивного циркуляра, был доставлен мне почтой в конце прошлой недели, и я раздумывал, в чем же тут секрет...

— Долго думали? — не вытерпела Джан.

— Нет, около недели. Но вчера я получил вторичное приглашение явиться к какому-то товарищу туда-то. Прежде всего, это убедило меня в реальности их предложения, а затем я предался дальнейшей медитации, но был прерван своей мамашей, которая, как женщина, грубо смотрит на факты. Она настояла, чтобы я отправился и спросил. Чтя сыновнюю добродетель...

— Родителям на утешение, пошли, наконец! Слава Богу. Вышли по улице, на каждом шагу останавливались и раздумывали, не повернуть ли обратно и выучить сперва еще парочку языков, потом пришли, открыли дверь... это я уже знаю. Дальше!

— Вы лишили меня кульминационного пункта моего повествования, а именно рассказа о том, как мне пришлось, помимо

предъявления вышеупомянутого циркуляра, получить специальный пропуск и с вооруженным субъектом.

— В каждый совдеп требуются теперь пропуска, даже если это центральная молочная, и повсюду торчат часовые. Пора бы знать, что мы живем теперь в свободной стране!

— Попав в финале к товарищу, об имени которого предпочту умолчать, я был приятно поражен его изысканной вежливостью, — с легкой болью в голосе продолжал Гельперт. — Он весьма детально расспросил меня о моей автобиографии, иностранных языках и политических взглядах. Я курил отменные папиросы и сидел в кресле. Со мной обращались не как с полоумным, а как с человеком...

— Искренне удивляюсь!

— Засим мне повторили оферт. Работа заключается в следующем: приходя в учреждение, я сажусь в отдельном кабинете перед радио-аппаратом и на всех доступных мне языках слушаю и записываю все, что конкретно или косвенно говорится о Советском Союзе. Затем продиктовываю это машинистке и, кроме двух товарищей, которым передаю готовое, ни с кем больше не имею контакта...

— Ну, да, слушать за границу запрещено под страхом расстрела.

— Но это учреждение, и именно оно, может игнорировать любой факт запрещения. О гонораре мы не говорили, но оклад твердый и, повидимому, не мизерабельный...

— Вы, конечно, согласились? А что же это за учреждение, которое ничего не боится?

— Зато его, — уныло качнул носом Натан. — Народный комиссариат внутренних дел.

— Энкаведе? — ахнула Джан.

— А что вы думали? — важно произнес он, наслаждаясь произведенным впечатлением.

— И вы...

— Я декларировал, что прошу время на фундаментальную медитацию, и удалился, как гишпанский гидальго. А теперь явился к вам для конференции. С одной стороны, занятие отнюдь не предосудительное, и, вообще, это не застенок. Но с другой... как ваше просвещенное мнение?



Какое уже было это Рождество!.. Но латышские рабочие заявили, что, несмотря ни на какие штрафы, они не явятся на работу. За день до Сочельника, 25 и 26 декабря были объявлены «Зимними праздниками» — как Рождество, впрочем, и называется по-латышски, но зато прокатилась волна усиленных арестов, на этот раз среди рабочих. Елки можно было купить, но без рождественского базара, пышных витрин, колокольного

звона и веселых вечеров. Пустые, не тихие, а вымершие улицы, холодный ветер и безнадежный снег...

На столе перед елкой у Джан прибавилось еще две свечи — ушедшим. Единственным гостем был Натан. После «конференции» с Джан он решил, что работать в Энкаведе все-таки слишком страшно. Но на третий день к нему явилась на квартиру вечером молодая и энергичная женщина и заявила, что автомобиль ждет у подъезда. Его отвезли в комиссариат, и тот же товарищ, слегка иронически улыбаясь, спросил:

— Что же вы, товарищ Гельперт, прикажете второй раз за вами автомобиль посылать?

О «согласии» его никто больше не спрашивал. Но первый страх быстро рассеялся. Кроме выслушивания всех станций, он вел разговоры с интеллигентными людьми, больше никого не видел и был ошеломлен первым жалованьем — девятьсот рублей — и предложением надеть форму, если хочет...

Подарок Маруси — тоненький бледный ландыш, как больной ребенок, угасал на шифоньере. Праздники Джан просидела, обложившись старыми английскими журналами с рождественскими картинками.

— Видишь, он не вернулся, — говорила она синей вазе. «Этот цвет не может быть синее, он поет просто!» — говорил Лаврик... Джан стыдно было признаться, но она ждала, что может быть, он все таки придет... рождественским подарком! Вдруг... Но сказок нельзя так иступленно и отчаянно ждать. Нет, кроме вещей и книг, ничего не осталось. Как будто за них можно было схватиться и удержаться на скользящей земле!



Зима была холодной, но топили, не жалея — запаса дров в мастерской могло хватить на два года. Джан физически ощущает, как ласку, тепло и уют вечерами. Сбоку тахты горит лампа, и лежит книга. Драгоценный вечер — каждый может быть последним...

Возвращаясь домой в ночную смену, она облегченно вздыхает: уже три часа, позднее они не приходят. А если ложится в одиннадцать, то читает, пока не начнут слипаться глаза, чтобы дожидаться, не быть разбуденной стуком в дверь. Арест неизбежен. Может быть покончить с собой? Но Инночка — Катышка с младенцем... Иногда книга падает из рук, и утром Джан просыпается от света непотушенной лампы. Ну, вот, еще одна ночь прошла спокойно, и сегодня опять будет вечер. А ведь каждую ночь кого-то берут...

Борьба с «Зеленым ликом» Густава Мейеринка заняла у Джан почти неделю. Не борьба, а переоценка ценностей. В двадцатых годах отовсюду сыпались обломки устоев и принципов, от революций до коротких юбок, от дневников бывших императоров до «Заката Европы» Шпенглера. В этом расхлябанном и

нездоровом мире немецкий оккультный писатель казался страшным, увлекающим откровением бреда. Она целиком поддалась ему, считая, что половину формул расшифровывает правильно, а с другим справится потом. Но вот жизнь прожита и может каждую минуту кончиться. А путь? А вера?

О вере в современном обществе принято говорить очень мало и стыдливо. И не потому, что она — самое одинокое чувство каждого, а потому, что это считается дурным тоном, лицемерием и ханжеством. Я, мол, верю или не верю, но говорить об этом нечего, читать скучно, и, вообще, все это для стариков, а мне некогда. Но как бы некогда ни было жить, всегда приходится и умереть успеть, и вот чаще всего оказывается, что о самом важном подумать и не успелось среди обычных суетящихся мыслей.

До сих пор Джан с переменным успехом старалась совместить оккультизм с христианством. Борьба особенно ярко выразилась в двух образах: молитва старенького сельского священника, спасающая смертельно больного, перед которой было бессильно знание поднявшегося на высокую ступень человека; и у Мейеринка: беспредельное, губительное отчаяние загнанного человека, потерявшего все. Некто, ведающий о многом и имеющий право, придя к нему, перестанавливает две свечи, зажженные на столе. И человек становится совершенно спокоен. Он чувствует мозгом — и мыслит сердцем. В его душе переставлены свечи...

Холод в этих книгах, в мертвой пустоте глаз издевающихся личин Белого Доминиканца, в ураганном вихре, сметающем в «Зеленом лике» все живое — пусть даже и оставляющем цветущую яблоню, и около нее — «По ту и по эту сторону — живой человек».

Сейчас эта жуть производит уже меньше впечатления. Зато совершенно ясно, с каждой прочтенной страницей, перечеркивая и заслоняя метания и сумасшедшие формулы — встает всеобъемлющий, проникающий теплом, защитой, уверенностью символ, которого в книге нет: молитва. Самая простая, нужная и дающая все. Джан улыбается и откладывает книгу в сторону — к пройденному.



Да, но вот — анкеты. Четыре громадных страницы вопросов о себе, о родственниках. Джан думает недолго, через полчаса все готово.

— Вот как надо заполнять анкеты! Это я понимаю! Шедевр! Ни слова вранья — и сплошной голубой туман!

Она торжествующе машет анкетой и подает ее Ванагсу. Они работают в ночную смену. Ванагс тайно подмигивает и берется за пальто уже в одиннадцать часов вечера.



— Мадам, пойду домой сосредоточиться над анкетой. Сегодня рождение жены. Если начальство заглянет, скажите, что вызвал кто-нибудь...

— Ладно, — откликается Джан. — Я посижу до конца и почитаю...

В половине второго Джан запирает свой столик и тушит лампу. После светлой теплой комнаты ветер встает темной стеной и заворачивает полы шубы, как флюгер. Джан прячет лицо в муфту и поворачивает в переулок, чтобы сократить путь. Да, «скоро весна» — как же! Колючий, как стеклянная пыль, снег режет глаза. И как будто улицы не те. Уже давно пора выйти к театру.

Почему вдруг так много фонарей появилось? Джан в изумлении останавливается. Да ведь она вышла совсем в другую сторону! Вот и сократила путь. Проще всего, конечно, спуститься к Вокзальной площади и пройти домой бульваром, но Джан упрямо сворачивает в первую попавшую улицу. Ей, старой рижанке, дороги не найти! Обидно даже. Джан топает, не глядя, по сугробам, снег леденит ноги, и по тому, что ей хочется курить, прошло, очевидно, порядочно времени. Но театра нет... Она останавливается и смахивает варежкой снег с облипших ресниц. Невероятно, но так. Она снова сделала круг по Старому Городу. Леший водит? Или — может быть, ей не надо было быть дома в это время? Или — надо что-нибудь увидеть?

Никакие дела, работа и жизнь не могли заглушить в Джан настороженного ощущения грани, отделяющей видимое от незримого, и радостного, детского ожидания, что вот-вот это неизмеримое откроется. Если сейчас от стены отделится тень, или фонарный столб заговорит с нею, она просто и легко поверит и ответит.

Ноги тяжело волочатся по обледенелым камням набережной. Ржавыми громадами, промерзшими на ветру не одну сотню лет, застывают в снежной пляске церковные башни. Джан петлит по пристани, всматриваясь в снежный туман, в метельные паруса несущихся кораблей. Уходящих кораблей. Ветер режет и мечется, сбивает с ног, заслоняет дыхание, кричит тонким скрежещущим визгом. Звать их — уходящих, ушедших? На пристани можно выкричатся, ветер глушит все.

Джан кажется, что и внутри у нее выметено, и стало прозрачно и чисто. Она сворачивает на тихую, усталую уже от метели улицу и медленно идет на огонек — к Пороховой башне. Почему в башне свет ночью? Неожиданно для себя поднимается на ступеньки наружной лестницы — а вдруг дверь случайно открыта? Дверь поддается, ватная, как сон. Джан оглядывается, но никто не увидит ее сейчас...

В военном музее Пороховой башни она была не раз. Ничего не изменилось. На конторке лежит книга для записи посетителей, средневековый фолиант. Справа высокие ступеньки узкой

винтовой лестницы, и вбок от них глубокая ниша окна. Около нее в фонаре чуть мерцает лампочка, как лампадка, и медленно, покачиваясь слегка от игры теней, звеня, выплывают паруса и узорные борта снаряженного корабля.

Это старинная модель, подвешенная в нише, Джан хорошо помнит ее. Тени шепчут — или просто в ушах шумит? Для чего ей надо было снова увидеть корабли, которые никогда не могут уйти из Старого Города, потому что они — воспоминание?

Джан долго стоит, прислонившись к двери, а когда выходит из сонной башни, то вздрагивает, и ей становится жутко. На ступеньках лестницы больше нет ее следов. Чистый, белый, нетронутый снег. Замел ее следы ветер. Как будто не было ничего. И ее не было вовсе...



На следующий день, часов в одиннадцать вечера, Ванагс снял трубку затрещавшего телефона, прислушался, чуть поднял бровь:

— Да, конечно, здесь, хорошо...

И не вешая еще трубки, кинул Джан:

— Товарищ Тугановская, вас вызывает начальник кадров. — Осторожно придавил трубку и шопотом добавил: — Пейзум, латышка из Москвы. Недавно приехала... Наверно, по поводу анкет. Идите скорее и будьте осторожны, мадам!

От легкого холодка забилося сердце и не закружилось, а как-то качнулось в голове. Товарищ Пейзум, некрасивая, плохо одетая женщина лет сорока, с бесцветным, широким и жестким лицом, в прекрасном кабинете бывшего директора. Она довольно любезно предложила Джан сесть, и слегка постучала карандашом по лежащей перед ней бумаге.

— Я просмотрела вашу анкету, и мне многое неясно...

Холодный голос и пристальные, изучающие глаза. Но Джан не волновалась больше. В конце концов, должны же они когда-нибудь добраться и до нее. Она вполголоса пробормотала: «Разрешите..?» вынула портсигар, закурила и кивком головы поблагодарила за подвинутую пепельницу.

— Мне не приходилось до сих пор писать анкет, и поэтому возможно, что я допустила какие-либо ошибки...

— Дело не в ошибках. Вот, например, графа о ваших родителях. Вы не указываете совершенно их занятий.

— Мои родители давно умерли, — пожала плечами Джан.

— Да, но при жизни они занимались чем-нибудь? До, после и во время революции? Почему же вы не считаете нужным это указать?

— Потому что считаю, что, поскольку я работаю у вас, то вы имеете дело со мной, а не с моими родителями, тем более, давно умершими.

— Ошибаетесь. Нам нужно знать все, даже о покойниках, потому что при жизни их они составляли семью, в которой вы воспитывались, и их влияние обуславливало ваше развитие и взгляды.

— Но в советской конституции сказано, что происхождение не имеет значения, — дерзко возразила Джан. Коммунистка пренебрежительно улыбнулась.

— О советской конституции предоставьте судить нам. От вас требуются ясные и точные ответы.

Допрос продолжался. Один вопрос за другим, прощупывание со всех сторон. Отец — офицер? Ах, вот как... когда, где, в каком чине, до, после и во время революции? Его родители? Мать и ее родители? Тетки, дяди, братья, сестры? Муж, родственники, мастерская?

Джан чувствует, что постепенно накаливается, как глина в муфеле. Для чего вообще эта комедия?

— И вот еще один совершенно неясный пункт, — тягуче, видимо, забавляясь ее нетерпением, допрашивает Пейзум: — вы указываете, что ваш муж безработный. Почему?

— Потому что у него нет работы, — устало откликается Джан.

— Это я понимаю. Но вы получаете здесь триста рублей. Вычеты. У вас большая семья. Как же вы можете прожить на эти деньги?

— Живем, как приходится. Продаю кое-что.

— Но почему же ваш муж без работы?

Джан взорвалась. Медленно, чтобы еще как-нибудь сдержаться, закурила третью папиросу и в упор уставилась на мучительницу.

— Товарищ Пейзум, — отчеканила она: — для чего, собственно говоря, мы играем в прятки? Ведь одного взгляда на мою анкету совершенно достаточно, чтобы вам стало ясно, что вы имеете дело с белогвардейской сволочью! Поэтому у моего мужа нет и не будет работы, поэтому вы уволите и меня, а не за то, что я пропущу какую-нибудь ошибку на машинке. И вам это ясно, и мне. О чем же еще говорить?

Пейзум откинулась на спинку кресла и минуту смотрела на нее.

— Вот теперь мне ваш тон нравится, — спокойно сказала она. — Больше мне ничего не нужно. Можете идти.

Выйдя в коридор, Джан почувствовала, что слегка дрожит. Ну, и пусть! Хоть раз сказать им правду, а не молчать в тряпочку и прикидываться невинной овечкой.

— Ну, господа, — громко сказала она, входя в свою комнату, — долго я с вами не поработаю после этого разговора.

— Да что вы? Мы уже думали, что вы совсем не вернетесь. Полтора часа! О чем же вы говорили?

Джан принялась рассказывать, но ее перебил телефон. Ванас пробормотал что-то и опять кивнул ей.

— К кассиру за расчетом!

— Быстро! — усмехнулась Джан. — В час ночи — до утра подождать не могли. Интересно знать, что это: начало или конец?

Через полчаса она ушла, не дополучив денег до конца месяца и без права дальнейшей работы в каком бы то ни было советском учреждении — то-есть, нигде. Но за разговор это было еще самым меньшим.



Дома она встретила возбужденную Марусю.

— Джанушка, а у нас гости. Вот угадай, кто? Мы так тебя ждали. Ну, и выпили, конечно... ты не сердисься?

Что-то молящее и заискивающее в припухших глазах Куколки. Джан сразу проходит в столовую. За столом — Бей, по бокам — Кюммель, Щеглик и еще двое каких-то незнакомых.

Джан тяжело переводит дыхание и крепко сцепляет руки за спиной.

— Джан, мы только тебя и ждали, садись, пожалуйста, я сейчас тебе все объясню. Разреши представить — Сумин, новый помощник режиссера в Дrame, и Сашенька, артист, притом не мелкий! — Бей суетится, предчувствуя недоброе.

— Здравствуйте, — кивает Джан, не двигаясь с места. — Вас, господа, я вижу впервые, и нисколько не возражаю, прошу только извинить — устала и ужинать не буду. Но вот со старыми моими, так сказать, друзьями — разрешите поговорить несколько минут отдельно. Надолго не задержу!

— Джан, оставь, ну, что ты, в самом деле, — пытается перебить Бей, но каждое слово Джан свистит, как хлыст, и ей бесполезно возражать. Щеглик с Кюммелем, смущенно улыбаясь и бормоча что-то, выходят из столовой и проходят на кухню. Маруся прикрывает дверь.

— Собственно говоря, Надежда Николаевна, я не понимаю, почему у вас такой английский тон, — начинает Щеглик.

— Джанушка, дорогая, ты совсем напрасно, — мямлит Кюммель.

— Молчать! — кричит Джан, и так ударяет рукой по столу, что кожа вспыхивает, как от ожога. Это хорошо, боль сразу отрезвляет ее.

— С вами, Щеглик, — кидает она уже спокойнее, — мне говорить вообще не о чем. Но Кюммель — другое дело. Бей может пить и встречаться с кем угодно — но не в моем доме. А ты, мерзавец, слушай: ты был действительно другом дома, членом семьи, знал нас всех насквозь и наизусть, и тебя, пьянчуж-



ку, мы за уши вытаскивали не раз, — к тебе другая мерка. Ты у меня годами ел, и пил, и жил. Ты, сукин сын, когда нам пришлось действительно плохо, и Лаврик с Петром Федоровичем в тюрьме, и мы обречены, ты хоть на порог плюнул? Полгода слишком я твоей поганой физиономии не видала. Хоть бы звонок по телефону, хоть бы об Инночке, которая на руках у тебя выросла, справился, если смелости не хватало зайти! Да, мы — белогвардейцы и обречены. Но, пока я еще не в тюрьме, это мой дом, и я своих дворянских рук об твою, кандидата в партию, физиономию пачкать не стану, но, если ты сию же минуту не вылетишь отсюда, то сниму туфлю с ноги и ею тебя отхлещу — слышишь?

— Джан, ради Бога, что ты делаешь? — завопила Маруся.

— Жалею об одном только, что у нас лестницы в доме нет, по которой тебя спустить можно было, чтобы ты свою историю Векапебе на каждой ступеньке зубами пересчитывать мог! — не унималась Джан и распахнула дверь: — вон отсюда!

Маруся никогда не видала ее еще в таком бешенстве. Джан повернулась и прошла к себе. Только через некоторое время, выходявшись, она спустилась и наткнулась на Марусю. Та сидела на лестнице в мезонин и утирала слезы, держа на коленях остывший стакан чаю.

— Это что такое?

— Ча-чай, — всхлипнула Маруся. — Тебе. Боялась постучать. А если ты и меня... так...

— Вот дурочка! Ты-то причем? С остальными гостями Бей пусть сам разделяется, если он их привел, а эта сволочь не явится больше. И не жаль.

Да, жизнь сдвинулась и пошла иными путями. Теперь путь отмечался крестами. Иногда Джан казалось, что она всю жизнь карабкалась в гору, — а когда взобралась, то увидела кладбищенский откос. И теперь спускается по нему. От креста к кресту. И много их, с зацепившимися за перекладины клочками жизни, больших и маленьких, всяких.



Через полгода после ареста мужа, Екатерина Андреевна получила разрешение на свидание. Катюшке не дали, несмотря на все мольбы. Вернувшись из тюрьмы, Екатерина Андреевна не могла говорить, только махнула рукой и заперлась у себя. На следующий день вышла спокойная, решившая что-то.

— Нужно смотреть правде в глаза, — сказала она, обращаясь ко всем сидевшим в столовой. — Видала я вчера своего Петра Федоровича, и поняла: надо молиться об его скорейшей кончине. Исхудал, как мощи, и весь в струпьях. Разговаривали через две решетки — три метра друг от друга, и кругом много народу,

все кричат и плачут. Перекрестил он меня, благословил, и я его тоже. Через неделю всех отправят в Кольму. Кто помоложе, может быть, и выдержит, Петру Федоровичу не доехать. У тебя, Катышка, надежда малюсенькая есть, что, если будет война, и рухнет эта проклятая власть, то Лаврик дотерпит до того. Поблагодари Бога за счастье, которое он тебе дал, и береги то, что осталось — Ярика. А на остальное — воля Божья.



Было объявлено, что все новые советские граждане получают новые паспорта. Паспортные книжки уже рассылались по балтийским городам, но на них было почему-то напечатано не Латвийская советская республика, а Азербайджанская, Якутская и другие окраинные республики. Что же: часть населения в концлагеря, а остальных рассеять? Вырвать с корнем? Сперва отрубить голову, а потом... «и затушить в них душу!»

Кроме небольшого числа рабочих и мелких карьеристов, население сплочено и упрямо, молча сцепив зубы, сопротивлялось, уклонялось и пассивно боролось, как могло, на каждом шагу. Наряду с ненавистью к большевикам, особенно неистово разгорался антисемитизм. Даже Джан, проходя однажды по Вокзальной площади, задумалась над этим вопросом. Навстречу шла веселая молодая компания. Размахивали руками, громко говорили и смеялись. Улицы города стали за последнее время совершенно тихими — даже дети не звенели, не улыбались, и громкий смех обращал на себя внимание. Джан невольно пригляделась и так же невольно подумала: «А вот евреи смеются, и только они одни»...

Может быть, встречая изумленные взгляды, они бравовировали нарочно, — арестов и среди них было много — но смех в эти дни глубоко царапнул Джан, и не одну ее, конечно, и много язв вызвали эти царапины потом...

Мартовские штормы начинают биться в окна запоздавшими метелицами, но и солнце чаще. Джан проболела несколько недель, но несвойственная ей апатия сменяется настойчивой потребностью что-то делать, только что?

Натан Иосифович приходит, как всегда, с большой связкой книг. Джан бросает ему толстый журнал, помеченный 1908 годом.

— Вот, полюбуйтесь. Не какая-нибудь подпольная прокламация, а официально выходявшее годами издание. Как ругают правительство, царя, министров! Да если бы сотая доля такой критики появилась сейчас — не только в редакции, в типографии ни одного человека в живых не осталось бы! А еще вопят о гнете царской цензуры!

— Да, прежняя дисциплина кажется шелковой, по сравнению с партийной, но очевидно, что, пока Советский Союз нахо-

дится в капиталистическом окружении, он вынужден прибегать к подобной цензуре.

— Эге-ге, милый! А где же ваши анархические взгляды?

— Мои убеждения остаются неизменными. Но я не могу работать в ответственном советском учреждении и заниматься злопыхательством. Не вижу даже резонансов для сего. Впервые в жизни чувствую себя полноценной единицей. При всем том они отнюдь не невежды, а вполне интеллигентные люди. Я лично считаю все разговоры о пытках досужими сплетнями. Нельзя же требовать в тюрьмах санаторный режим.

Джан устало машет рукой.

— Бросьте сотрясать воздух. Вы видите одну сторону медали, я другую. Вы им нужны, и они считаются пока с теми благоглупостями, которые вы изрекаете. А я принадлежу к обреченным на уничтожение. О чем же нам говорить?

— А вот я вам докажу сейчас, что вы блистательно ошибаетесь. Не далее, как вчера, я, войдя в здание и находясь, по обыкновению, в состоянии медитации, вместо того, чтобы подняться наверх, пошел вниз. Говорят, что в подвалах этого дома есть камеры пыток. И что же? Просто тупик, заставленный скамейками. Вот что было мною обнаружено, пока, наконец, я не наткнулся на часового, который и вывел меня и сдал товарищу Зету. Тот посмеялся надо мной. Вот, говорит, теперь вы сами могли убедиться, что имеется у нас в подвалах — и неужели вы, интеллигентный человек, могли поверить всерьез, что мы пытаем людей? Вот что сказал мне товарищ Зет со снисходительной улыбкой, и я чувствовал себя, признаться, не совсем комфортабельно, потому что раньше отчасти верил бабьим сплетням.

— Благодарю, но меня вы ничем разубедить не можете. Вас провели за нос, вот и все.

— Упрямство ваше исключительно. Но я не собираюсь вступать в пререкания. Я собираюсь затронуть кардинальный вопрос. Надеюсь, что ваше самочувствие позволяет вам теперь спокойно и логически, а главное, рационально мыслить.

— Не тяните кота за хвост!

— Из ответа явствует, что ваши моральные и физические силы восстановлены, коль скоро вы обрели снова свойственный вам имажинизм, сиречь образность и краткость речи.

— Этот человек вгонит меня в гроб!

— До того, как перейти к сути, должен суммировать, так сказать, некоторые обстоятельства. Поскольку я могу заметить, после перемены режима большинство вашего знакомства перестало бывать у вас по тем или иным причинам.

— Немудрено. Одних уж нет, а другие того же дожидаются.

— Но старые друзья дома, как, например, синьор Кюммель,

и мистер Щеглик, примадонна Белль-Эль, и мингер Петел, и Верескова яункундзе...

— Что вы этим хотите сказать?

— Я бы хотел подчеркнуть значение и лояльность собственной персоны. Несмотря на мою работу в учреждении, называть которое я избегаю...

— Почему же? Такое невинное словечко: НКВД!

— ...с одной стороны — непоколебимо продолжал бубнить Натан, — и вашего компрометирующего дома — с другой, я, так сказать, не прекратил своих визитов...

— Благодарю. Советую, однако, серьезно обдумать, что важнее: политическая благонадежность или разговоры со мной. Думаю, что первое.

— Ошибаетесь. Мою подноготную они досконально выяснили. Мало того: поговорив с товарищем Зетом относительно принципиального устройства на работу моей, знающей языки, знакомой гражданки, я вынес впечатление, что товарищу... Игрек известно даже, что я имею в виду вас.

— Меня? — ахнула Джан. — Очень вам благодарна за заботу, но, милый друг, вы просто сошли с ума. Я — и в НКВД! Попасть туда придется, но никак не добровольно!

— Тем не менее, это единственный путь для вас, чтобы избежать приглашения другого рода. Вы будете слушать известия по радио и писать на машинке. Все вполне интеллигентно, прилично и даже симпатично. Если вас примут — безопасность вашей семьи можно считать гарантированной. Конечно, при одном непременном условии.

— А именно? — прищурилась Джан.

— Личность индивидуума слагается из его физических и нравственных качеств. Физику изменить трудно, да и незачем.

Натан задержал руку Джан, протянувшуюся к пепельнице, и, положив на свою ладонь, провел по ней пальцами.

— Вот, например, для меня ваше социальное происхождение и родословная не нуждаются ни в каких документальных данных. Ваши руки — ваша родословная, ее нельзя имитировать ничем. Вопрос о вашей моральной личности. Ради вашего же блага я вынужден требовать от вас переоценки всех ценностей. Интеллигентность состоит именно в том, что человек сразу охватывает ситуацию и действует сообразно с ней.

— Каведе — куда ветер дует?

— Ирония хороша, но не всегда. Вы могли бы упрочить свою репутацию, попробовав писать в советских журналах. Переводы, например. Конечно, не с точки зрения ваших «Кораблей». Я бы уничтожил эту рукопись на вашем месте, не только на бумаге, но и стер бы, изгладил ее из памяти. Да, я нашел подхо-



дящее выражение. «Корабли» — символ всего того, от чего вам необходимо избавиться. Или жизнь — или «Корабли».

— Возможно, — тихо сказала Джан. — Я прекрасно понимаю вас. Спасибо за желание помочь. Но постарайтесь понять и меня. Вот вы сами сказали, что мои руки — это родословная. Я много лет работала этими руками, и горжусь этим. Но предки у меня в крови — и не даром. Переделать своих убеждений, как и крови, я не могу и не хочу. Да, я враг, они правы. К сожалению, не имею возможности принять участие в активной борьбе. Но, если я не сумела жить, то хоть умереть сумею. И это единственное, что нам еще осталось. Отойдите от нас, пока еще не поздно. Вы правы относительно дилеммы: «Корабли» — или жизнь. Это неудачное произведение — символ моей жизни. И я не задумываюсь над выбором. «Мы умираем, не отрекаясь, мы — Старый Город!»



— Джан, поедem со мной на взморье, — сказала Екатерина Андреевна. — Делать тебе, все равно, нечего.

— Грибы собирать рано, клубники тоже нет, купаться в марте месяце не рекомендуется, — лениво тянула Джан, не поднимаясь с тахты.

— Одевайся и едем без разговоров, скоро идет поезд. На пляже и зимой красиво, ты ведь любишь снег. Знаешь, кого я хочу там навестить? Старика профессора, историка. Его племянники давно уже взяты, дом отобрали, а сам он перебрался на взморье и прислал мне письмо. Просил точно написать рецепт, как варить картошку, и навестить его.

Джан вспомнила розы в саду, кабинет, «факты, имеющие место во времени», и тихо рассмеялась.

— Написали?

— Про картошку? Конечно, но сомневаюсь, чтобы у него получилось. Он совсем один, а мне повидать его хочется — как предчувствие какое-то...

Очень тихие, совсем белые в перекатах нечищенных сугробов, в косых углах синих, хрустящих, мартовских теней, взморские улицы. Море не рокочет по-летнему, а шуршит стеклянно, и в ветре тоже эти острые прозрачные иголки льдинок. Сосны обрывками бури зацепились за оранжевые стволы, и от них пахнет замерзшей смолой. Важные, толстые сосульки неровной занавеской висят подборами на воротах и крышах, веселая мартовская капель вспыхивает в звонкой лужице, стеклянными зернами протачивая снег. Солнце гуляет по небу в легкой белой накидке и прихорашивается к весне. Синий месяц — сумасшедший март; у всех месяцев свой цвет есть, и вот март — действительно синий.

Профессор сам открывает дверь в крошечной передней, вглядывается и, узнав, бодро топчет валенками, набрасываясь на гостей без всяких предисловий.

— Замечательно, и как раз во время! Вот именно вас мне и надо было. Думал и собирался написать. Да, вот это мой кабинет теперь, с «буржуйкой»; история повторяется, в восемнадцатом году я тоже топил такую же шкафами из красного дерева. Пожалуйста, не раздевайтесь, хотя у меня тепло, но я сейчас пойду и покажу вам нечто... Почему вас еще не арестовали? Ах, да, я слышал. Но это просто замечательно. Именно, когда я хотел послать вам телеграмму, вы приезжаете сами. Да, совпадений не бывает, совпадение — это такая же идиотская ерунда, как и случайность. Просто одни законы нам удалось проследить, а другие, и притом главнейшие, нет. Эта тема проходит красной нитью, лейтмотивом в моей книге. Но я не могу больше молчать. Вы, конечно, догадались, дорогая Екатерина Андреевна, и вы в особенности, молодой человек, я хотел сказать, коллега. Да, совершенно верно, вы угадали. Поздравьте. По этому случаю, как только я вам покажу нечто, мы вернемся в эту конуру, в которой я раньше не поместил бы и свою дворовую собаку, и устроим пиршество. Деньги у меня, собственно, есть, только я не всегда могу их найти. В какой-нибудь книге. Но если вам знаком рецепт, как сварить картошку, то это может быть главной пищей, и затем еще что-нибудь. Главное, конечно, книга. Моя книга. Труд, увенчанный и законченный вашей легендой о кораблях, дорогой коллега. Поздравляю, поздравляю.

— Вы кончили? — со вздохом отчаяния спросила Джан и, слегка отодвинув пачку книг, уселась на старый диван.

Конура профессора могла быть названа и конюшней тоже... Мешок с картошкой стоял рядом с книгами, но книги были, конечно, повсюду, составляя главную меблировку комнаты. На письменном столе, вытеснив сброшенный на пол грязный стакан, с прилипшим к нему кружочком лимона, лежала тяжелая папка в кожаном переплете с застежками. Разумеется, эта и была рукопись — все остальные бумаги ворохом вздыбились на машинку, отодвинутую вбок.

— Если бы у меня были розы, чтобы положить их на эту рукопись... — дрогнувшим голосом прошептал профессор, поймав ее взгляд. — Да, я закончил. Последние страницы собственноручно переписаны, последняя точка поставлена, все зашнуровано, сложено, готово и... погребло.

Он уселся перед столом и, не касаясь папки, провел вокруг нее по воздуху дрожащими пальцами.

— Почему же погребло, профессор? — ободряюще произнесла Екатерина Андреевна.

— Ах, дорогие коллеги и слушатели! Потому что жемчужина Балтики дала трещину и раскалывается, медленно, но верно. Потому что мы присутствуем при начале конца. Разумеется, я был уверен, что мне удастся закончить свой труд, и обратился в Академию Наук в Советском Союзе с просьбой взять на себя, если не издание хотя бы на мои собственные, отобранные у меня средства, то, во всяком случае, хранение моей рукописи до лучших времен. Равно как и содействовать мне препроводить переводы ее за границу в университеты, доктором гонорис кауза и членом-корреспондентом которых я состою. И что же ответили? Чтобы я прислал им рукопись, а они посмотрят, насколько она отвечает требованиям диалектического материализма. Позвольте, коллега. Мне не свойственно, заметьте, тщеславие и самонадеянность. Но мне семьдесят восемь лет, и смею уверить, что меня считают в Европе одним из авторитетов. Мои ученики давно стали профессорами тоже. У меня десятки научных трудов. У меня есть ордена, медали, почетные дипломы и прочая дребедень. И мне немного поздно переучиваться заново. Чему? Диалектическому материализму. Ну скажите, коллега, по совести: эта куцая философия для невежд и недоучек может показаться научным достижением товарищам, не спорю — но всякому овощу свое время. Нельзя прививать к розе огурцы! Нет, нельзя!

Он задумался над этим вопросом, не замечая, как Джан переглянулась с Екатериной Андреевной и, быстро встав, принялась бесшумно убирать комнату.

— Невозможно! — воскликнул профессор, додумав свою мысль до конца. — Нет, моя рукопись погребла. И это возмущает меня больше всего. Я согласен, пусть меня убьют, пытаются, пошлют на рудники, куда угодно. Поскольку гибель Риги будет идти дальше, я кончил свое физическое существование в ней, метафизическое же, слава Богу, недоступно и отрицается этим пресловутым диаматом вообще. Вы заметьте, коллега, как это удобно и просто: все, что непонятно, не существует! Бытие, определяющее сознание, воистину! Но пусть, повторяю, я сам. С книгой моя жизнь закончена. Позвольте: для чего же я ее прожил? Для почетных дипломов и докторских степеней? Заметьте: я отдам все свои остальные труды за эту книгу. Ну, да, я написал их, может быть, неплохо. Некоторое пособие,



облегчающее путь другим. Но все это, я сказал бы, цветочная пыльца. А роза... настоящий цветок, над которым я трудился двадцать с лишним лет, прививал, облагораживал, душу свою отдавал для ее аромата — Боже мой, книга моя, книга! Ведь они... они... на переработку ее... на переварку в бумагу!

Профессор рухнул головой на стол и беззвучно затрясся. Джан закусил губы. Екатерина Андреевна, вытиравшая стакан, запуталась в полотенце, выронила его, и стакан зазвенел жалобно и пронзительно, как комар. Но профессор вскочил так же порывисто и бросился к вешалке.

— Идемте, идемте, коллеги! При солнце он наиболее эффектен. И, кроме того, мне чрезвычайно ценно ваше мнение. Насколько я помню, Екатерина Андреевна, в вашей семье была яхта. Из этого следует, что вы сведущи в мореходстве. А вы, дорогой коллега? Как я уже заметил в начале лекции, шубы не следовало снимать.

Он довольно удачно попал в рукава собственной шубы, потряс воротник Екатерине Андреевне, как край пыльного мешка, и вытолкнул обеих на улицу.

— Вот сюда, а потом так, — говорил профессор, сворачивая в боковую улицу, а потом по тропинке в лес на дюны.. — Я хочу сказать, что кораблестроение в принципе мне понятно, но в деталях я допускаю погрешности. Сопротивление материалов, например. Главное, заметьте, мысль. В данном случае, как и всегда, полное торжество над материей. Я трудился два месяца. Тонкость расчета: за этими торосами у берега никому ничего не видно. Старый профессор отправляется на прогулку, а топорик в руках оправдывается валежником на обратном пути...

Профессор, размахивая руками, перепрыгивал уже с одной льдины на другую. Впереди, загораживая море, громоздились белые и зеленовато-голубые глыбы в примерзших, сахарных корочках снега. Вставить слово в каскад его речи не было никакой возможности, и Джан только вопросительно посмотрела на Екатерину Андреевну. Может быть, он сошел с ума, и, вообще, с этой ледяной стены впереди ничего не стоит свалиться в море... Но та, повидимому, уже поняла, в чем дело, и в глазах сияла ласковая улыбка. Джан, успокоившись, вскарабкалась на стену вслед за ней.

— Корабль Тоски! — громко и отчетливо произнес профессор и умолк.

Да, это была сказка. Да, только тоска могла создать такой корабль, — и Джан, совершенно не ожидавшая увидеть ничего подобного — поперхнулась и почувствовала, как сжалось горло, и знакомый, странный холодок пробежал у корней волос.

Громадная глыба льда приставшим кораблем стояла у крайнего тороса, обрывавшегося в море. Высеченная во льду перекладка спаяла ее с берегом, как узенькие сходни, и застывающие под ветром льдины плескались чуть-чуть. Что в этой глыбе

было создано природой, и что — топориком профессора, сейчас уже с трудом поддавалось определению, да и незачем.

Джан зажмурилась и глубоко вздохнула, но, когда она снова открыла глаза — серебряный корабль сверкал попрежнему.

— Последние корабли уходят из Старого Города в море, уходят за счастьем, уходят с тоской, — монотонно, скандируя, напевал профессор, и глаза его блестели тем же странным светом, как и у Екатерины Андреевны. — Последний корабль унесет мою книгу о Старом Городе, и с нею — все то, что он создал, все жизни, все улыбки. Мы, Старый Город! Пусть уходят корабли и вернуться со счастьем. Может быть, они и вернуться. Может быть — не для нас. Но пусть они принесут другим людям светлую звенящую тоску, и научат их, как мечтать о счастье! И пусть они уходят, потому что Старый Город гибнет. Но мы умираем, не отрекаясь — мы, Старый Город!

Екатерина Андреевна дотронулась до руки Джан.

— Мы, Старый Город! — хором подхватили обе женщины, и ветер подхватил эти слова тоже, поднял высоко, и рассыпал блестящими брызгами.



Обратно возвращались молча. Только профессор, снова семенящий, ошарашивающий скачками мысли старичок, забегал со всех сторон и доказывал аудитории, что удача на море — дело Провидения, а не моряка. Сейчас мартовские бури. Льдина вот-вот оторвется от берега. Это огромная глыба льда, и она долго будет носиться в море, особенно, если натянуть парус, хоть простыню. Может быть, ветер прибьет ее и обратно к берегу. Но, может быть — и к шведским берегам. Конечно, товарищи патрулируют по всему побережью, можно и замерзнуть тоже.

— Но главное — это Бог, заметьте, — закончил он, распахивая дверь в свою комнату. — А если Бог может спасти иногда человека, спасти самым невероятным, непостижимым образом, то книгу, такую книгу — не даст же Он ей погибнуть? С чисто научной точки зрения, коллега, я крайне заинтересован этой проблемой, ибо диплом Кембриджского университета есть человеческое измышление и, как таковое, беспочвенно. Но я, ничтожная песчинка, тень от лица Его, покорный Его воле, не зарыл данного мне таланта в землю, а приумножил и собрал искры прошлого в пепле настоящего и хочу их спасти. Их, не себя. Сам я хотел бы остаться и умереть на родной земле. Я отправляю свои последние корабли, и мне нечем больше жить. Да, наши слова, дорогой коллега. Наши слова. И вот, я прошу на коленях: я видел много чудес, именно в них я верю. И, если я выполнил в своей жизни то, что было мне предназначено Создателем, то я получу и Божеский диплом. Не гонорис кауза, а чуда Господня. Аминь!

Синие мартовские сумерки давно уже лежали прозрачной тенью на стеклах, и мягкий свет вспыхнувшей лампы обессиливал внезапной усталостью и покоем.

— Дорогие коллеги, я вижу, что вы устали с дороги. Я категорически, вот именно, не пущу вас в город сегодня. Нет, мы отпразднуем сегодняшней вечер, завершение моих трудов. Есть много способов приготовления картошки, но мне неизвестен ни один, кроме исторического: печь в золе от костра...

Но профессор был водворен у печки, которую он действительно умел топить, а ужин приготовили сами гости. Через час диваны освободились от книг, половина стола светилась белым пятном скатерти; Джан порылась в шкафу, поджарила картошку, нарезала ветчину, и, наконец, сам профессор, лукаво улыбаясь, вытащил две таинственных пузатых бутылки.

— Драгоценный нектар! — воскликнул он, разливая вино.

Вино было, наверно, столетним. Дальнейший вечер расплылся в фантастической дремоте. Из углов кивали рыцари, на щитах звенели, расцветая, розы. Джан жмурила и судорожно распяливала веки, чтобы не пропустить ни слова из чудесных историй, которые рассказывал старый гном, совавший пахучие травы в громадный камин, но в трубу отчаянным воплем врывался ветер, стены замка тряслись, и на пристани опрокидывались и разбивались в щепки тонущие корабли. «Пусть Бог явит и мне чудо», — успела она еще подумать, и с головой ушла в пушистую шубу, как в одеяло.



Ветер метался по солнечному небу, собирая раскиданные бурей облака. Солнце ярко било в окно, и Джан, проснувшись, не сразу даже сообразила, в чем дело. Комната казалась прибранной, на столе стояла чистая посуда, но печка потухла, и профессор, сидя на корточках, совал в нее лучинки и пыхтел, надувая щеки.

— Ну, вот именно, теперь она разгорится, — весело заявил он, поднимаясь. — Заметьте, коллега — вы вчера категорически отказались воспользоваться диваном и улеглись в креслах. Считаю, что моя шуба и не дала вам замерзнуть. Но где коллега, я хочу сказать, Екатерина Андреевна?

Джан вылезла из-под бобровой шубы, виновато оглянулась кругом и, не найдя зеркала, схватила свою сумку и выскочила в переднюю, а оттуда на двор. Вчера они наливали там воду в ведро. Джан быстро, поскуливая слегка от холода и ветра, оплеснула лицо водой, растерла снегом и причесалась тут же на дворе.

— Я думаю, что Екатерина Андреевна пошла за свежими булками или еще чем-нибудь, — громко сказала она, входя в комнату, и оборвалась. Профессор стоял бледный, с вытянутой рукой и широко раскрытыми глазами. Рука дрожала, показывая на что-то, чего Джан сразу не могла разобрать. Она шагнула

ближе к столу, коротко вскрикнула и уставилась на пустое место, как и профессор. Кожаной папки с рукописью драгоценной книги не было. Вместо нее лежал листок, и поперек его ясным почерком Екатерины Андреевны шли слова: «Помилуй нас, Господи!»

Джан, не помня себя, сдернула с вешалки шубу и бросилась к двери. Задыхаясь, шатаясь от порывистого ветра, она бежала по улице, в лесу, спотыкаясь, дальше, дальше, по вчерашней дороге. Ветер колот и резал лицо, острые мелкие льдинки больно впивались в горло и грудь. За нею, подскакивая и размахивая руками, крича что-то, бежал профессор. На торосах Джан пошла тише, больше не было сил. Но сегодня дорога стала другой. Ночью буря рвала и выхватывала кусками замерзший берег. Вместо стены плавали и трещали глыбы, отдельные льдины ныряли и раскачивались в проколотой ледяными иглами воде.

Вода хлюпнула под носком Джан, и она остановилась. Профессор докатился до нее и тоже стал рядом. Там, на севере, у самого горизонта...

Парус на ледяном корабле. Темная точка под парусом.

Или кажется так?

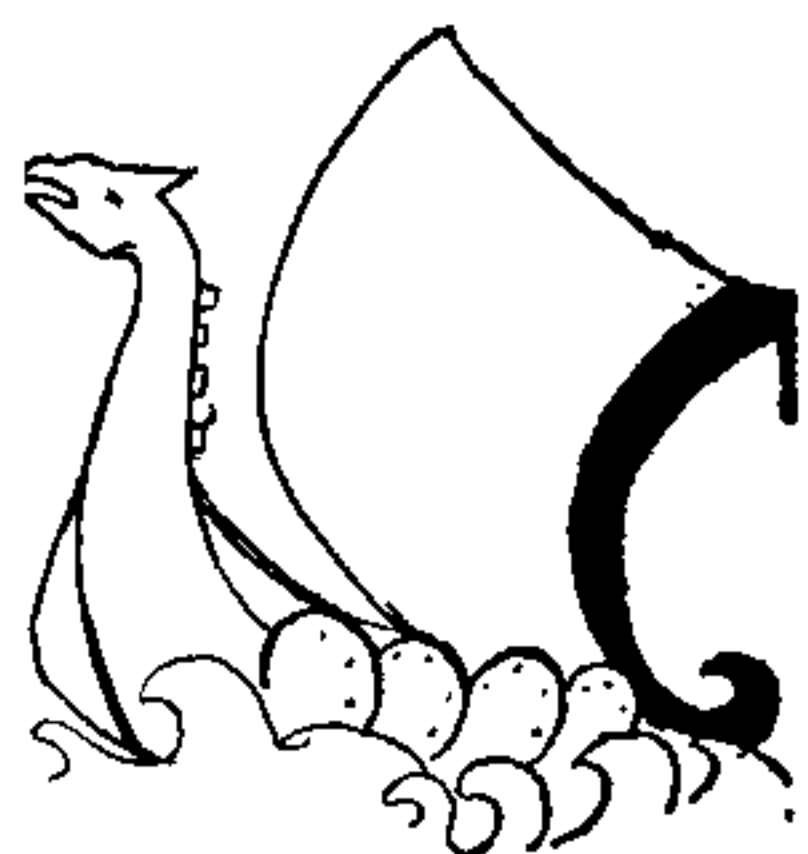
Джан подняла руку и перекрестилась.

— Помилуй нас, Господи, — простонала она: — последние корабли!



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

*Звезда Давида*



стук в дверь. Отчаянно барабанят кулаками, бешеной молнией взвивается звонок. Джан просыпается и морщится сперва, ничего не соображая. Мысли еще не собраны спросонья, но халатик сам вскидывается на плечи, ноги уже в туфлях, ноги уже на лестнице и тут звон и стук набрасываются и оглушают окончательно.

«Пожар? — мелькает почему-то мысль об огне. Или — пришли за нами?» — Мысль падает горячим тяжелым камнем, в груди сразу нет воздуха, ноги ватно и непослушно колеблются легкой дрожью, но Джан закусывает губы, и рывком открывает дверь. На пороге — бледная синева июньского рассвета и высокая, падающая вперед фигура Натана Иосифовича.

— Вы? Что случилось?

В переднюю высовывается голова в закрученных на ночь кудряшках, и Куколка, запахиваясь на ходу, бежит мелкими шажками.

— Натик, в чем дело?

Но он не коробится интимным прозвищем, как обычно. Он пригибается к Джан, наклоняясь всем туловищем, оглядывается на запертую дверь и взволнованно шепчет:

— Я боялся, что не успею уже... В городе делается что-то... грандиозная рация. Облава. Уходите, уезжайте скорей. Возьмите только самое необходимое, самое ценное, или дайте мне на хранение, только не возитесь долго. Уезжайте, уходите...

— Куда? — беспомощно вырывается у Джан.

— Я подумал об этом тоже. Я рискую, очень рискую, но все равно. Идемте, я начерчу вам план.

Он взбегает наверх, сам откидывает доску бюро и хватает листок.

— Вот Булдури. Вы спокойно приезжаете на вокзал и едете на дачу — правда? Ничего подозрительного в этом нет. С Морской улицы поворачиваете направо, сперва идет белый резной забор, потом сорок девятый номер, калитка заперта, не звоните, вот ключ. Там сад, и прямо вилла, а подалее вторая. В первой можете устроиться в любой комнате, а я приеду завтра или послезавтра. И имейте в виду, что на этой даче никого нет, а если и есть, то, ради Бога, ничего не говорите и не спрашивайте, только комнатные слова, пожалуйста, будьте осторожны, а то вы все погубите. Но если кто вас спросит, то скажите, что вы и Маруся — мои кузины, товарища Гельперта.

— Что же это за таинственный замок?

— Джан Николаевна, это последняя соломинка, за которую вы еще можете ухватиться, а вы шутите! Уверяю вас, я не хочу вгонять вас в панику, но если бы вы знали... сегодня я остался, кажется, один во всем доме, даже половину часовых угнали. Все, буквально все брошены в дело. Я уже вечером почувствовал, что что-то не так. Пошел в один, другой кабинет — пусто. Наконец, заскочил один, рукой махнул: «А, вы здесь еще? Ну, да, вы...» не до ваших известий, дескать. Я сперва совсем уж другое подумал, но потом увидел и ушел персональным порядком тоже. Я все время думал о вас. Это счастье, что все ваши разъехались. Всех бы я не смог. А Борис Александрович ночью все равно на работе, я его извещу утром. Я надеюсь, что вы выскочите. Но, ради Бога, скорее! Я пойду за извозчиком, и вы лучше подождите на вокзале до первого поезда. Может быть, они и поезда будут задерживать? Боже мой, что же делать, я же не могу тут оставаться, я так рискую...

Он срывался с покровительственного тона на умоляющий, совал в руки Джан ключи и листок с адресом, и притоптывал от нетерпения.

Маруся вытацила из локончиков металлические щипчики и нашлась первая.

— Натик, не волнуйся. Сходи за извозчиком. В четыре часа утра уходит молочный поезд. Когда будешь возвращаться, загляни сперва — если на нашей улице что-нибудь подозритель-

ное, — то на Выгонную дамбу, может быть мы выйдем туда через кухню. Когда вернешься, мы будем готовы.

— А если, — голос Джан дрогнул, — если что-нибудь за это время с нами случится, то я отдерну вот эту штору — мое окно хорошо видно с улицы, свет, во всяком случае. Тогда поворачивайте — и не поминайте лихом. Спасибо вам за все, дай Бог... Идите скорее...

Она уже деловито подошла к бюро, быстро вынимая нужное, и кинула через плечо Марусе:

— Разбуди Инну, и укладываться живо.

Мысли работали, как бешено несущиеся вперед часы. Только интервалы маятника исчезли, отдельные тиканья догнали друг друга, слились в сплошной легкий, не отстукивающий, а вибрирующий, высокий от частоты, холодящий и поющий гул. А все остальное шло вразброд, само подвертывалось под руку, и застревало на пустяшных мелочах. В зеркале кривилась бледная и слегка издевающаяся усмешка. Обмануть судьбу? А если они уже у калитки? Что же это за странная дача? А как же Бей? Но пока Бей в безопасности, ночным сторожем в садоводстве... Вот эту иконку, благословенье Лады, непременно.

— Инна, пожалуйста, не волнуйся, на шкафу в передней синий чемодан, уложи свои вещи, которые получше, и торопись. Нести придется самой, бери немного. Ничего особенного, просто едем на взморье, да, на дачу... При чем тут ночь? Уже давно утро...

Боже мой, как мало денег! Придется занять у Натана — пусть продает жемчужину. Джан уже в пальто и шляпе, уже застегивая на ходу перчатку, остановилась и взглянула на иконку в углу, чтобы перекреститься перед отъездом, и остановилась. Очень короткая и долгая секунда. Тиканье часов перешло в сумасшедший визг, остро вкалывающийся в уши. Любимая комната, собранная за всю жизнь, вот эти тепло и уют, мысли и вещи — перестали быть. Как в плохом отпечатке — цветные клише сдвинулись с места, двойные контуры сливаются в муть. Сдвиг в относительность. Она ринется сейчас в рассвет какого-то дня, и все то, что в этих стенах, останется здесь, и она ничего не может ни взять, ни удержать. И самое странное: ничего не жаль. Сразу все стало бессмысленным, ненужным, как туманный рассвет, подсказало какой-то новый, иной смысл.

Натан ждал их на извозчике. Джан сунула ему в руку футляр с жемчужиной и передала шубу.

— Зайдите днем объяснить Бео. Боюсь, что он ничего не поймет в моей записке, а прямо писать я не хотела. И приезжайте, как можно, скорее. До свиданья, спасибо...

Извозчичья пролетка пахла сырой кожей, Натан как-то пронзительно горячо припал губами к протянутой руке, и Джан, все еще не надевая перчатки, откинулась к спинке и закурила, протягивая портсигар Марусе. На свежих рассветных улицах,



в легком влажном тумане моросящего дождя папираса казалась очень крепкой и успокаивающей. Джан с облегчением затыгивалась и суженными глазами присматривалась к расплывающимся теням домов и деревьев. Не утро, а декорация символической пьесы. И вся эта авантурная поездка куда-то — от судьбы ли? — подсказала память насмешливую улыбку в зеркале — может оборваться на следующем перекрестке.

Но за каждым углом, на каждом повороте сторожила и набрасывалась, вместе со смертной тревогой, — утренней свежестью весна.

— Чему ты улыбаешься, мама?

— Да, чему бы?.. — бодро сказала Джан и тихонько рассмеялась.

Молочный поезд, погромыживая пахнущими коровником вагонами, поволок их на жлещущее проливным дождем взморье.

В эту ночь, с вечера до рассвета на 14-ое июня, в Риге, Ревеле, Ковно, в грандиозной облаве по всем городам и местечкам Балтики было арестовано около ста тысяч человек.



Дождь падал так густо, что приходилось пробиваться сквозь него, раздвигать колеблющуюся, непрерывно натянутую падением завесу.

— Начинается настоящая авантюра, — бодро сказала Джан, с веселой злостью шагая, не глядя уже, по лужам. — Если мы не найдем таинственного замка, или нас встретят на его пороге драконы, то я утоплюсь.

— А ты знаешь, куда идешь, мама? — не совсем доверчиво осведомилась Инна.

— Инне совсем...

Но приметный забор показался как раз, когда чемоданы уже оттянули руки и плечи. А вот и калитка. Замок заржавлен, дерево намокло. Мутная сиреневая аллея ведет к большой двухэтажной даче в глубине громадного сада. Пахнет сырой землей, цветами и листьями. Капли щелкают по размытым стеклам балконов и закрытой террасы. Дальше виднеется вторая вилла, значит, все правильно.

Они говорят невольно тише, чтобы их не услышали, шаги на мокром песке скрипят ужасно, но никто не выглядывает из окон. Обходят дачу. Слева полукруглая мраморная баллюстрада со ступеньками к застекленной веранде; золотисто-голубые занавески кажутся кусочком солнечного дня. Стук захлопнутой двери звенит в стеклах, и вот дождь, и мокрый весенний сад, и бормочущее море уже за стеклянной стеной. Тихо. На паркете ковры. Стены обиты золотистой панелью, несколько мягких диванов и кресел в тон.

— Ну, и что же теперь?

— Теперь мы проникли в чужой дом, и надо уверить хозяев, что мы не грабители.

Джан, приготовив заранее любезную улыбку и туманные слова, храбро отворяет дверь во внутренний коридор дома. Тишина.

— Неужели мы одни во всем доме? Или спят, еще очень рано?

— Никого! — кричит сверху Инна. — Никого, мама, мы одни в заколдованном замке! Но внизу мне больше нравится!

— Ну, что ж, давайте устраиваться где-нибудь, но только все в одной комнате.

После короткого спора выбирается терраса — самая светлая, и диванов достаточно, а главное — выход в сад. Маруся самоотверженно отказывается переодеться и уходит в булочную. Через два часа все в порядке. Полка в кухне занята несложным хозяйством, Маруся варит уже что-то, Инна носится в поисках неожиданных открытий и тащит старые журналы.

Джан забралась с ногами на диван. Совсем, как дома. Нужно выключить все мысли, не строить никаких догадок, только читать до одурения, прихлебывать сладкий крепкий чай и слушать мягкий, ласковый топот дождевых капель на крыше, на стеклах, в саду. Дана отсрочка. Надолго ли? Ах, не все ли равно! Топ-топ. Кап-кап.

— Ну, а завтра что будет? — спрашивает Маруся, подсаживаясь к ней с чашкой чая. За окном дождь кажется совсем бесконечным.

— Завтра? — Джан поднимает глаза от книги и усмехается не совсем понятной еще самой себе усмешкой. — Завтра, Куколка, будет солнце.



И какое солнце! Джан жмурится еще в постели, вскакивает и рывком распахивает стеклянную дверь. Наверно, поздно уже, потому что совсем тепло, жарко даже, дождевые капли сверкают и дымятся вокруг, молодые листья дышат свежим зеленым теплом, и у Джан, сбегавшей в сад, как девочка, широко раскрыв руки, кружится голова — так пахнет сирень.

Это странная весна сорокового года. В Балтике нередки холодные весны, бывает иногда в мае пронзительный ветер и поздний ледоход. Но в этом году весна раскрыла слегка почки на деревьях, высушила снег и, усевшись на холодную землю, плотно закуталась в шубу. Все остановилось. Май прошел мимо голых деревьев. Даже на городских клумбах замерзли высаженные садовниками цветы. Уже июнь наступил — и принес морозы, но вот в десятых числах июня начались внезапно теплые, дождливые дни, как будто застрявший холод, проколов льдинками воздух, растаял и обрушился потоком. Вчера еще

под мутным дождем ничего не было видно, только ветки гнулись тяжело и томно. А сейчас...

Как пьяная, ходит Джан по дорожкам, дышит и не может надыхаться. Глаза не могут охватить сразу необычайное зрелище: черемуха, сирень, яблони, вишни, каштаны — все цветут разом, догнав друг друга, цветут буйно, дорвавшись до солнца и тепла, торопясь, жадно, как будто никогда еще не было весны и не будет никогда, и надо цвести и пить каждую каплю неба, каждую секунду.

Нет, не сорвать всей сирени. Джан еле тащит огромные букеты на террасу, роняя по дороге ветки.

— Инна, Маруся, вставайте! Сони, идите в сад, разве можно спать в такое утро? Тащите вазы со всего дома!

Нужно опять готовить обед и ждать Натана премудрого. Джан поджаривает румяные творожники и пытается выбить из головы весеннюю дурь, обдумывая положение перед серьезным разговором. Сейчас они все вразброд. Катышка уехала в Митаву, к школьной подруге, с Яриком. Уход Екатерины Андреевны на ледяном корабле и, по всей вероятности, трагический конец старушки сильно подействовал на нее. Несколько ночей тогда, вернувшись со взморья, Джан просыпалась от ледяных кошмаров. Плыли, сверкали жуткой зеленью и качались льдины и странно темнел между ними, бултыхаясь и переворачиваясь вниз головой, тяжелый замерзший труп. Может быть, среди тысячи смертей и засветилось одно спасенье? Джан настаивала, конечно, на встрече со шведским крейсером. Священник, привыкший уже к робкому недоумению и неизвестной судьбе оплакиваемых, похороненных заживо — не спрашивал ничего, кроме имени.

И все-таки этот уход, смерть в надежде, не столько огорчил, сколько взбудоражил всех, вывел из оцепенения. Хотелось что-то сделать, не мерзнуть дальше в ржавой апатии, и, несмотря на панихиду, не верилось в смерть. Просветленные, все принявшие, все простившие глаза Екатерины Андреевны следили за ними, подбадривали, утешали и звали куда-то.

Вероника, узнав, что в деревне знакомый священник, ветхий старичок, лежит больной, коротко рассказала об этом за завтраком, а к вечеру уже уложила немудрящий чемоданчик и поехала ухаживать за ним.

— Вы и без меня обойдетесь, а если можно что-то для кого-то сделать, то и это уже хорошо.

Бей, в припадке энергии, отправился в садоводство и прошел к директору. Вагнеровское садоводство принадлежало шведу, и это была одна из немногих иностранных фирм, еще не национализированных в силу своей экстерриториальности. Пожилой директор сразу понял Бей и предложил ему, сочувственно улыбаясь, дежурить по ночам в сторожке плодового питомника.

— Я имею еще право дать у себя работу, кому угодно, даже врагам народа, и вы можете прекрасно — спать спокойно, — подчеркнул он.

Бей, в немного маскарадном костюме залихватского «пашпуйки», в кепке и драных брюках, с небритой по неделям щетиной, ездил на велосипеде в садоводство. В июле, решили они уверенно, можно будет попытаться перейти пешком германскую границу в Литве, а до того времени — Бог поможет.

Да, и вот теперь она очутилась здесь. В Риге остался пустой дом, неизвестность и страх. А здесь сирень. Обед готов, стол накрыт, и она снова бежит в сад.

«Встану я на заре, по росистой траве  
В сад пойду свежим утром дышать...  
И в зеленую тень, где тоскует сирень,  
Я пойду свое счастье искать!»

Чудесный старинный романс, и кусты поют вместе с нею. А вот знакомые голоса за забором; высокий, надтреснутый слегка колокольчик Куколки на фоне нудящего, стелющегося книзу голоса Натана.

«В жизни счастье одно мне найти суждено —  
Это счастье в сирени цветет...  
Меж зеленых ветвей, меж лиловых гроздей  
Оно манит меня и зовет!»

кончает Джан и широко распахивает калитку.

— Милости просим в заколдованный замок, странствующий рыцарь!

— Тише, тише, — пугливо оглядывается тот: — очень рад видеть вас в прекрасном настроении и ажитации но, знаете, в таком месте, все-таки...

— С места в карьер извольте ответить на вопрос: чья это дача?

— Ну, кому она принадлежала раньше, этого я не знаю, а теперь весь этот квартал реквизирован для отдыха, так сказать сотрудников НКВД...

Улыбка испугнутой птицей слетает с лица Джан, и она невольно отшатывается. Каблучки вкапываются в песок дорожки, и из груди вырывается громкий и не совсем приличный свист.

— Фью! Вот это номер! — растерянно говорит она, медленно подбирая слова. — Чорт знает что!

Натан хватает ее за руку и увлекает за собой, каблучки Маруси уже стучат по ступенькам террасы. Солнце светит по-прежнему, сирень одуряет так же, но пыточный подвал, сразу открывшийся под ногами, вливает резкую, черную струю жути в эту весеннюю роскошь. Но нервы давно уже приподняты на



добрый тон выше, закручены и натянуты. И Джан не деланно, только нервнее обычного, неудержимо хохочет.

Смеяться нечего. Натан недовольно морщится. Он — рыцарь Печального Образа, золотисто-голубая терраса раздражает его. После обеда Маруся берет Инночку прогуляться по пляжу, Джан с Натаном сидят в креслах и оба сосредоточенно курят. Джан не по себе. До сих пор, даже в самые тяжелые времена, она была самостоятельной и не зависела ни от кого. Но сияющий весенний сад энкаведистской дачи — очень зыбкая почва. Кроме того, нет денег. Натан — сумасшедший и блаженный, хоть и зануда. Хорошо, но выхватывать их из-под ареста ради ее, предположим, прекрасных глаз? А спасти он хотел именно ее, это ясно. Может быть... Джан морщится, и Натан морщится тоже, будто угадав ее мысли.

— Достоуважаемая Джан Николаевна, — напыщенно начинает он; — я вижу, что мое присутствие понижает ваше настроение. Но вы угадали — ситуация грозит осложнениями. Не скрою от вас: после некоторой дискуссии с Борисом Александровичем, мы оба решили, что вам лучше всего пока оставаться здесь, в сравнительной, пока, безопасности. Ваш супруг приедет сюда на днях, дабы получить от вас хозяйственные инструкции. Я понимаю, но категорически просил его не обращать на себя внимания и ни в коем случае не оставаться надолго... Погода улучшилась, в любой момент могут приехать другие сотрудники. Весь мой тонкий расчет построен собственно на том, что никто из них не знает, как следует, всех местных сотрудников, тем более их семей... И в наших кругах вообще не принято интересоваться друг другом... Но товарищу Зет я заявил, что поселю здесь своих кузин, а с другой стороны, еще раз прошу пересмотреть вопрос о некоей гражданке, умение работать которой и интеллигентность должны, в сущности, превалировать над некоторыми невольными минусами ее социального происхождения, и так далее.

— И так далее! — эхом вздыхает Джан. Периоды Натана всегда вгоняют ее в тоску и сон.

— Впредь до выяснения этого вопроса, я прошу вас соблюдать сугубую осторожность во всем. Вы на редкость эгоцентричны и не привыкли считаться ни с чем. Что, по вашему мнению, например, сразу бросается в глаза всякому постороннему человеку, входящему сюда на террасу?

Джан удивленно оглядывается.

— Очень уютно, по-моему... Чересчур много сирени в вазах?

— Сирень? Вы видите сирень, вы! Я еще не заметил... Но вот эту иконку в углу, это я вижу сразу и не потому, что я еврей и атеист, как всякий здравомыслящий человек, а потому, что вообще ни в каких домах моего знакомства не видал икон в комнатах, кроме, разумеется, православной дворянки и помещицы Бей-Тугановской! Неужели вы не ощущаете этого чудо-

вищного анахронизма, неужели вы хотите цепляться, во что бы то ни стало, за обломки безвозвратно ушедшего прошлого и, вместо того, чтобы идти в ногу с современной жизнью, беспрерывно лезете на рожон, и раздражаете тех, от кого зависите?

— От кого завишу! — вырвалось у Джан горько. — Конечно, вы правы: в этом доме не место иконе. Повесила я ее просто по привычке, и сегодня же уберу. Не стоит из-за этого сотрясать воздух. Что же касается вашего разговора обо мне с товарищем Зет — то вот это лишнее. Даже если бы я выдержала анкету, то сорвусь на другом. И вам будет неприятно, и мне плохо.

— А вы уже, как расхлябанная интеллигентка, хотите только сложить лапки и погибнуть! И все только из-за того, что рухнули ваши надежды на белую усадьбу! Вы даже не подумаете о будущем дочери!

— Этот сезон показал ее будущее!

— Ах, Боже мой, девочке не дали прыгать по сцене, так уж все и погибло. Ноги у нее остались, что? И при тенденции к эволюции возможно, что через пару лет ей разрешат выступать где-нибудь в провинции. А кроме того, есть тысячи других профессий. Да, вас надо воспитывать и бить, бить и воспитывать!

— Вот Сталин и воспитывает народ... и вбил его в одну колодку. Рука, нога не лезет — вон, голова повыше — голову долой! Умрут — навоз будет, выживут — безголовыми править легче. Ну, да ладно, не буду больше. Скажите лучше: не знает ли ваша мать кого-нибудь из недорезанных буржуев, кому можно предложить мою жемчужину? Или еще проще: условимся встретиться в городе, вы мне ее передадите, и я попробую сама...

— Другими словами, вы опять сидите без денег.

— Кто не работает, тот все-таки ест, но денег не получает, неправда-ли?

— Поэтому вы всеми мерами противитесь единственной возможности устроиться на работу, а когда скушаете вашу жемчужину, тогда что? Что Бог даст, по вашему мнению?

— Вот именно.

— А если ничего не даст?

— Тогда... мы съедим еще что-нибудь.

— Нет, вы неисправимы. Просто удивляюсь. При всех ваших странностях и навязчивых идеях, вам была доступна раньше логика и деловой подход к жизни. Нет, с вами надо иметь терпение...

— Удивляюсь, как вы его не потеряли с самого начала.

— У меня есть на это свои резоны...

— А именно?

— ...о которых я вас информирую впоследствии.

Джан стряхнула последнюю паутинку сонного настроения и вызывающе прищурилась:

— Звучит таинственно, но ясно, как Божий день. Вы хотите перевоспитать меня в духе самого идеального анархизма — вы ведь анархист, не правда ли? И начинаете с самого насильственного деспотизма. Логично с мужской точки зрения. Я женщина, мне свойственна другая логика. А кроме моей и вашей, есть еще третья, и притом самая действительная из всех: логика жизни.

Гельперт молча посмотрел на нее, и по этому молчанию и сразу тяжелеющему, горячему взгляду, Джан легко раскрыла про себя все скобки, которых до сих пор не хотелось раскрывать. Дело не в ее политических взглядах, хотя, безопасности ради, надо и их обкромсать тоже. Ну, что ж, пока еще время есть — можно подождать. А когда надо будет решать, тогда что?

Но и вопрос, и взгляд Гельперта, и его, очень скромный, жест протянутых пальцев, чуть коснувшихся руки Джан — все зацепилось за букет, нет, целый куст черемухи, втаскиваемый улыбающейся Марусей на веранду.

— Вот тебе букет, Натик, свези в город, мы нарвали с Инночкой специально для тебя.

Джан с облегчением шумно вздыхает.

— Натан Иосифович как раз, вот именно, только и мечтал... о букете.

Сдавленный смешок в ее горле совершенно неуместен, конечно, и Натан имеет полное право с глубокой укоризной смотреть на нее.



На следующий день приезжает на велосипеде небритый, как и полагается хулигану, Бей. Сперва разговоры о дороге, оживление Бей довольно искусственно, он рассеян, перескакивает с темы на тему, и вообще похож на плохо связанную марионетку. После обеда Джан усаживается с ним в саду.

— Ну, а теперь говори по существу. Что в городе?

Бей сразу меняется.

— Ужас. Стон стоит, — шепчет он, пригибаясь невольно и оглядываясь на окна дачи. — Не знаю, были ли они у нас — кажется, да, но я позаботился, чтоб дом производил нежилое впечатление, калитка заперта, хожу с черного хода, ставни закрыты, только проклятый петух орет по ночам, может выдать! Ночью меня нет, конечно, да и днем сижу мало... Но в ту ночь... Боже мой, сколько людей арестовали!.. Колоссальная облава. В тюрьмы нельзя было столько упрятать, они и без того переполнены. В Торенсберге, на Сортировочной, на запасных путях стоят громадные эшелоны, товарные вагоны без окон,

двери наглухо закрыты, и вагоны набиты людьми, как селедками. Всех отправляют куда-то... Везде часовые, к путям не подойти, только слышно, как кричат... Подкупают часовых, чтобы просунуть бутылку с водой. Умирают от жажды, понимаешь, как на зло, жара наступила, неслыханная жара в июне, природа тоже с ума сошла, как и люди... Одна женщина вернула в записку обручальное кольцо и выбросила в окно, написала только: «Молитесь за нас...» и имена тех, кто с нею... Чека работает во-всю, на Югле залпы и залпы каждый день, выводят в расход. Подарочек Балтике к Иванову дню! Будем помнить четырнадцатое июня! Впрочем некому будет и вспоминать. Нет, как хочешь, но единственное, что остается — это бежать. Ну, убьют на границе, какая разница? Все равно, убьют. Ты в город не показывайся — у всех такие лица, что лучше по улицам не ходить, и неизвестно, что они еще снова начнут. Отсиживайся пока здесь, а я пока все подготавливаю для бегства; надо выждать еще, сейчас слишком опасно пускаться. Натан остроумно придумал эту дачу, и, в случае чего — отсюда легко бежать, по-моему. Ну, вот, условимся, как дать знать друг другу, если что произойдет, и я пуцусь в обратное плавание. Ты себе и представить не можешь, как я отдыхаю на работе. Плодовник — два гектара, и на всем этом пространстве ни одного большевика! Вчера ко мне директор заглянул, посидел, коньяку с собой принес. Он уверяет, что война неминуема, и очень быстро. Точные сведения о группировке германских войск на границе. А уж если начнется... Где бы пулемет на этот случай достать? Ох, только бы добраться до этой сволочи! Теперь уж нечего рассуждать, с немцами ли идти на них, или ждать, пока роса все очи выест, так что и на солнце взглянуть будет нечем! С чортом, с дьяволом, только большевиков бить!

— Но, может быть, это только слухи?

— Нет, по радио тоже ободряли балтийцев.

— Ты здесь не был в восемнадцатом году, а я видела германскую оккупацию. Магазины торгуют, солдаты на вытяжку, порядок и полная свобода. Год спустя, когда Латвия стала советской и нас освободила не настоящая армия, а так, пестрое собранье ландсвер, тоже, как архангелов встречали. Я думаю, немецкая армия осталась такой же... Ну, что ж, будем надеяться...

Бей уезжает, и Джан смотрит ему вслед. Может быть, они не увидятся больше? Война? А вот Натану — еврею и энкаведисту — что ему тогда делать? Нюрнбергские законы, первая пуля в лоб. Попал философ, как кур во щи! Но, может быть, тогда переменятся роли, и ей удастся помочь Гельперту! Просто пойти сразу же к германскому коменданту и объяснить, что вот такой-то спасал и укрывал их с риском для себя, и она просит ему охранную грамоту...



Джан очень увлекается этой мыслью, и начинает расписывать радужной кистью замечательное будущее.

Да, огород погибает.

На задах второй дачи бывшие грядки. Кусты смородины с твердыми, как мелкие деревянные бусы, ягодами и широкие лопухи ревеня. Все густо заросло по колени лебедой. Лебеда, с ее нежной голубизной, красива, если присмотреться внимательнее, но пахнет она неприятно, напыщенной и наглой ничемностью. Джан терпеть не может лебеды, и вообще нельзя смотреть равнодушно, как она забивает кусты. Маруся, воодушевившись ревенем, нарвала его и пошла варить компот к обеду, а Джан, повязавшись платочком от солнца, принимается полоть огород.

— А что вы это тут делаете?

Джан поднимает голову. На дорожке стоит молодой человек — нет, просто парень, лицо широкое, но довольно умное. Сапоги, синие бриджи, и крепкая голая грудь. Советский, из второй дачи. Значит, там есть люди...

— Полю лебеду, смотреть противно, как она кусты облепила, смородина погибнет.

— Ишь ты! И даже знаете, как ее, эту самую лебеду, зовут!

— Как же не знать? — возмущается Джан. «У меня самой сад есть», готово уже сорваться с языка, но она спохватывается во-время. Свой сад — значит, буржуйка и контр-революционный элемент. — А вот эту траву вы знаете? — поправляется она быстро, и срывает раскидистые тонкие стебли, из которых сразу брызжет ярко-оранжевый, как яйца на Пасху, сок.

— Нет, не знаю.

— Чистотел. Если этим соком бородавку мазать каждый день, то...

— То? — заинтересовался он.

— То либо ей надоест, либо вам, — совсем уже весело заканчивает Джан. — Я сама не пробовала, но говорят, что все бородавки с кожи сводит...

Парень смеется. У него красивый рот, и зубы блестят на солнце.

— Занятно. Так, значит, одно из двух: либо бородавке надоест сидеть, либо мне — мазать. Ну, а что еще у вас хорошего? Вы что, на той даче живете?

— Да. А вы давно поселились здесь?

— Нет, не очень.

Характерно для них — уклончивые ответы на самые простые вопросы. Да и вообще они отвечать не любят. Джан проходит несколько шагов и снова опускается перед кустом.

— Вот рабарбар, например, — говорит она, быстро опаливая его: — это местное балтийское название, а по-русски ревеня.

— А вы разве русская?

— Конечно, — удивляется Джан. — У нас здесь... конец фразы, что в Балтике вообще много русских, Джан опять проглатывает. Чорт уж с ним и с Натаном, раз обещала быть осторожной! — У нас здесь, — переводит она дух, — его очень любят есть. Не листья, а стебли — видите, какие они толстые? Их режут кусочками, в пироги и пирожные вместо яблок весною. Компот тоже. Я сегодня набрала — хотите попробовать?

— Загляну навестить соседей... — Он более чем непринужденно зеваает, потягивается и уходит вразвалку, бросая на ходу: — Пока, значит...

Джан яростно набрасывается на лебеду. Ну, кто ее дергал за язык приглашать? Натан сказал бы... ну, словом, накрутил бы обычную проповедь на десять тысяч метров. И что же? Со всеми своими глупостями, был бы прав.



Соседний парень, теперь уже в рубашке с раскрытым воротником и закатанными рукавами, поднимается по ступеням. Подумав, отхлебывает все-таки из чашки компот и прищелкивает языком.

— Занятно, из таких лопухов, никогда не пробовал. Так ревень, говорите?

На террасе, за занавесками, не такое яркое солнце, как на огороде, и Джан ясно видит теперь его глаза: темно-серые, умные и твердые.

— А вы опять работаете?

— Кто не работает, — наставительно говорит Джан, — тот не ест. Но это для собственного удовольствия: вышивка.

Он разглядывает ее с любопытством, как ей кажется, и явно забавляется ответами. Но разговор тянется довольно вяло. О чем бы еще? с отчаянием думает Джан: нельзя же все время о погоде, и вместе с тем страшно наткнуться на какую-нибудь белогвардейскую тему.

— Курите, — предлагает она снова. — Нет? Вы, я вижу, мало курите...

— Перекуриваешься на работе, — говорит он, откидываясь в кресле. — Делать нечего, вот и сидишь и куришь без перерыва...

— Хорошенькая работа, когда делать нечего! — искренне вырывается у Джан. — Что же вы делаете?

— Да разве вы не знаете нашей работы? — отвечает он лениво: — Допрашиваешь шесть, семь часов подряд, ну, вот и куришь одну папиросу за другой... Вчера всю ночь... устал просто! А вы к морю не пойдете?

— Нет, сегодня не стоит. И так столько времени пробыла на солнце...

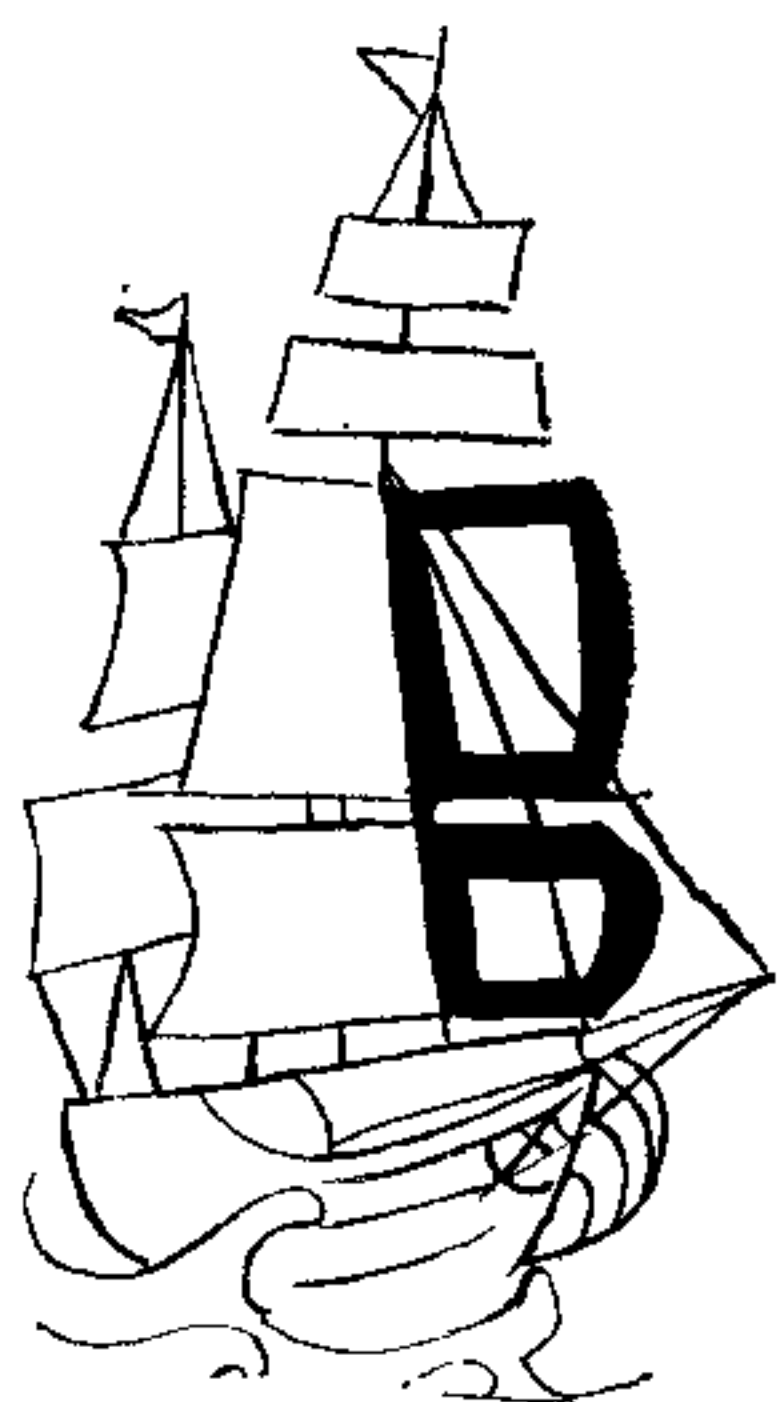
— Ладно, есть еще время. А я пойду посмотрю. Не видал еще вашего хваленного взморья...

— Джанушка! всплескивает руками Куколка, отворачиваясь от окна, когда его коренастая фигура окончательно скрывается за деревьями. — Джанушка, следовательно — чекист! Подумай только! Потому и глаза у него такие, и смотрел на тебя так... и про товарища Гельперта спросил...

— Хорошо еще, что не больше, — холодно цедит Джан сквозь зубы.

Весна сегодня или нет? Кружевное платье очень красиво и идет к ней. Сирень пахнет так, что голова кружится, и море шумит из-за сада. Море! Люди, страдающие от жажды, галлюцинируют и видят воду, очень много воды... как те, в запертых вагонах...

Нет, ничего не выходит из весны. А она все-таки пахнет!



ойна, Джанушка, война, слава Богу, война!..

Маруся пошла утром в лавку, и сейчас вбежала на террасу впопыхах. Корзинка шлепается на стол, брызги молока из кувшина разлетаются в стороны. Сама она покраснелась от быстрой ходьбы, на глазах блестят слезы.

— Успокойся, ради Бога. Откуда ты узнала?

— В лавке столько народу, все собрались закупать, пока есть. Германия объявила войну, и войска уже перешли границу, по радио объявлено! Джан, нам надо ехать в город, Бей и Натан там, а мы здесь одни. Я сбегаяю на вокзал и узнаю, идут ли поезда.

— Боже мой, что сейчас будет делаться в тюрьмах! Товарищи, наверно, устроят на прощанье бойню, как и тогда, в девятнадцатом году, на несколько часов опоздал ландсвер в Митаву... Помилуй, Господи!

Джан крестится и смахивает слезы. Лаврик... Лаврику, и Петру Федоровичу, и Екатерине Андреевне и скольким еще, имена их Ты, Господи, веси, не помогут и немцы...

К вечеру приезжает Натан.



— Специально для того, чтобы успокоить вас, — говорит он, взволнованно размахивая руками. — Я заскочил к Борису Александровичу и имел с ним краткую конференцию о вашем пребывании здесь. Он вполне согласился с моими резонами. Пожалуйста, не поддавайтесь панике и не бросайтесь в город. Я не военный, правда, зато нахожусь в центре самых достоверных сведений. Двести советских дивизий сосредоточены на границах, и Гитлер обломает себе зубы. Я совершенно спокоен и не сомневаюсь в нашей победе. Вы, конечно, диаметрально противоположного мнения, но страна на военном положении, и каждое слово, — да что слово, взгляд уже могут возбудить подозрения...

— Бей собирается приехать?

— Ну, да, разве он может рассуждать рационально? Но я категорически восстал против этого. На дорогах возможен контроль, в особенности на мостах через Двину. Да и сюда лучше посторонним не показываться. Вот записка от него, напишите ответ, я сейчас еду.

Вечер трав — двадцать третье июня. Ни песен, ни костров на балтийском берегу. В газетах приказ о затемнении окон по вечерам на случай налета. Кроме того, все обязаны заклеить стекла полосками бумаги, чтобы не сыпались осколки при бомбардировке. Все покупают бумагу и разводят клейстер, клеят охотно и весело; это, кажется, первый декрет, встреченный с удовольствием. Чем скорее придут немцы... а в том, что они придут, и скоро, рижане не сомневаются. Кроме газет, объявивших, что Балтика навсегда останется советской, и непобедимая красная армия грудью встанет на отпор дерзкого врага... очевидно, это стало уже газетной традицией: за пять минут до падения страны она объявляется вечным владением. Но двести дивизий — уверял Натан — не шутка!

Иванов день. Горячая зелень, ликующие цветы. Но пробивающиеся между садов и сосен взморские улочки молчат, людей почти не видно. Земле надо расцвести, и она цветет, это настоящее ее, нужное дело. Мошки толкуются в воздухе, и это им тоже нужно — а вот для чего рассекать солнечную глубь и жужжать притом немилосердно? Джан смотрит на пролетающие самолеты и слегка вздыхает. Дядя Кир был прав: лучше повесить парочку чересчур настойчивых ученых, чем погубить миллионы людей, совершенно довольных своей невежественностью!



Через два дня Джан получила открытку от Бея — срочно приехать. Город встретил шумом и горячей пылью, но все как будто оставалось на своих местах. Только самолеты трещали наверху, ахали вдруг непонятные — неужели все только дальние? — взрывы.

— Вот, ты упрекаешь меня в бездействии, — встретил ее Бей, — а я все наладил. Наш директор заинтересовался твоей жемчужиной. Сколько ты хочешь? И где она? Я перерыл все ящики и не нашел. Пошел даже к Гельперту, но застал только его мать. Он сейчас все время на службе, только забегают домой, так что я оставил ему записку и написал, что ты приедешь сегодня, и в три часа будешь в кондитерской на Бривибас улице, наискось от Столбовой. Узнай новости. Это очень важно. Судя по обстрелу — в городе еще ничего, но немцы близко. Я поговорю сегодня — может быть, вы смогли бы переехать на несколько дней в мою сторожку. Дома как-то так... лучше не бывать. В городе жуткое настроение. Ты когда Торенсберг проезжала, ничего не видела?

— Поезд не останавливался, я удивилась еще, но, когда выглянула в окошко, часовые повсюду.

— Жуть. Говорят, что по пути следования всех эшелонов с арестованными трупы, как шпалы, лежат... Вопрос сдачи Риги, по-моему, нескольких дней, но что до этого еще может быть...

По пути в кондитерскую — масса военных на улицах. Газовые маски через плечо на ремне, полевые сумки. Автомобили, повозки, и даже совсем новый вдруг рев сирены. Воздушная тревога. Джан быстро идет, с любопытством оглядываясь. Извозчик машет кнутом, поворачивая в первые попавшиеся ворота. Трамваи останавливаются. Прохожие торопливо скрываются в подъездах, заходят в магазины, но с большей опаской смотрят на красноармейцев, чем на небо. В дверях кондитерской толпится народ, но один столик еще не занят. Джан садится и с холодным недоумением поднимает голову, когда за спинку стула напротив берется рука в военном обшлаге. Но это Натан. Трудно узнать. Военная форма идет почти каждому нормальному мужчине. Натан на грани этого «почти» — слишком падающие вперед плечи и вихляющаяся походка глубоко штатского человека.

— Полная перемена декораций? — тянет Джан, и ей неловко. Ему тоже, но он с натянутой развязностью садится, и совсем по-гусарски разглаживает маленькие черные усики.

— Я страшно беспокоился за вас, и менее всего желал бы встретиться здесь — столько народу... Но все к лучшему. Поезжайте скорее назад, заберите ваших кукол, больших и маленьких, и возвращайтесь. Скажу откровенно — боюсь посоветовать возвращаться домой. Но и на взморье оставаться нельзя. Меня просили записать, какая у меня семья, на всякий случай.

Он говорит это уже шепотом и по-французски, чтобы не поняли окружающие. Горячие испанские глаза умоляюще и тревожно смотрят на Джан. Джан знает, что с приходом энкаведиста, на их столик обращают неприязненное внимание, и не позволяет себе ни вздрогнуть, ни изменить лица.

— Понимаю, — тоже переходит она на французский; — завтра вернусь в город. Мы уже говорили с Беем и, может быть, устроимся там же, где он, в сторожке. Приехала я сегодня, собственно, из-за жемчужины. Бей нашел покупателя, но, может быть, теперь лучше подождать...

— Подождите лучше! Но пусть она будет у вас. Знаете что? Я вам дам ключи от квартиры, у меня есть запасные. Если завтра приедете, пошлите Марусю, она бывала у меня и знает. Футляр с жемчужиной в большом книжном шкафу, на третьей полке, за третьим томом энциклопедии.

— Третья полка, третий том. Хорошо.

— Шуба ваша в платяном шкафу, пусть тоже возьмет. На всякий случай, давайте условимся, меня просто не выпускают, не отхожу от аппарата, каждую минуту новые известия, — но завтра вы будете здесь? Скажем — в четыре?

— Значит, не исключено, что вы уедете?

Натан беспомощно разводит руками.

— Что же делать? Вы думаете, что я могу рискнуть остаться? И притом с матерью? Конечно, это не долго, я вернусь, но... он спотыкается, подыскивая выражение — средневековые законы... и притом еще особые обстоятельства.

— Понимаю, не старайтесь.

— Может быть, вы рассчитываете на вашу... хм, протекцию? Но что вы сможете сделать... кроме того, по одежке встречают, знаете, а меня уже видели в форме... нет, временно, конечно, но если мы не увидимся некоторое время, вы меня не забудете — совсем?

— Нет. — Джан твердо и искренне смотрит на него.

— У вас хорошее «нет». Позитивное «нет». Ах, Джан, Джан...

Он окончательно забывает об осторожности, перестает мешать русские фразы с манерно закругленной французской речью и, навалившись грудью на мраморную доску столика, неудержимо шепчет:

— Я вас люблю, Джан. Всегда, с первого дня знакомства. Вы меня поразили, заинтересовали сразу. Вот это ваше невероятное сочетание — противоречия, контрасты. Ваше татарское лицо, гладкие черные волосы и глаза далекого севера, как белая ночь. И ваша энергия, и ваш романтизм. И ваши «Корабли», пусть могиканское, но талантливое произведение, как будто вы выбросили из себя стрелу, настолько это выше вашей головы. И вместе с тем вы будете танцевать вокруг совсем ничтожных людей не потому даже, что вы их любите, а в силу глупо понимаемого долга. Вы самая умная женщина, которую я когда-либо видел, и вы делаете массу глупостей. И я преклоняюсь перед вами, и многое мне непонятно и чуждо. Я старался спорить, убедить вас, сбить с позиций, и всегда проверял, насколько ваши качества и убеждения наносны, или действительно исходят из глубинных корней. Но вас не собьешь, вы действительно

имеете, пусть неправильное, но подлинное человеческое лицо. Вы знаете, мне очень трудно поверить во что-нибудь. У меня нет ни еврейского, ни христианского Бога. Но в том, что у вас есть Бог, в этом вы меня убедили, и это уже очень много. Но, конечно, я люблю вас не только как человека, я мечтаю о вас, я хочу вас заслужить, как рыцарь свою прекрасную даму. Джан, Джан, я давно уже хотел признаться, но не смел, вы всегда так обезоруживали меня своим простым товарищеским тоном, своей способностью не замечать, если вы хотите чего-нибудь не видеть. Но сейчас вы слушаете меня, потому что должны выслушать, потому что мы можем разорваться, и тогда вы должны знать... Джан, я вернусь за вами. Джан, скажите же мне что-нибудь!

Рука Джан слегка дрожала.

— Временами мне казалось — нетвердо сказала она. — Но я считала, что Маруся... Да, да, я понимаю, не говорите ничего. Сейчас вы взбудоражены отъездом, тоже понятно. И — что я могу сказать, тем более в такой обстановке?

Натан схватил ее руку и сжал до боли.

— Значит, в другой обстановке... вы бы... ответили мне? Дайте мне эту маленькую искорку надежды, Джан, скажите, что вы не презираете меня, что... ведь меня тоже могут убить, Джан!

— Вернитесь! — сказала Джан, поднимая голову и обдавая его теплой, лучистой улыбкой; — возвращайтесь, рыцарь!

— О, Джан... — у него прервался голос, на глазах блеснули слезы.

«Боже мой, — подумала Джан: — что я делаю, давая ему эту надежду? Но разве можно отказать человеку в надежде, когда война? И при всей своей рациональности он пошел ради меня на такой риск»... Она шумно вздохнула. Гельперт тоже очнулся.

— Боже мой, мне ведь давно уже надо было идти. Значит, завтра в четыре, здесь же... И вот еще, Джан: если мы действительно должны будем расстаться, у меня большая просьба, и этого никто, кроме вас не поймет. Вы исполните ее, если...?

— Скажите что, и я постараюсь.

— Я в вас уверен, хотя это и тяжело... Но квартира останется пустой и военные обстоятельства... мы бедные люди, у нас ничего особенного нет, но книги, Джан, мои книги! Моя библиотека... Подумайте, всю жизнь, еще со школьной скамьи... Я не пил, не ходил в кафе, даже в кино редко, у меня постоянно были залатаны локти... Но я покупал книги, и никогда не жалел на них денег. Вы знаете, что у меня есть редкие, роскошные издания, уникамы уже, особенно русские книги, которых невозможно почти достать... Вот вы опять улыбаетесь наверно — идет война, может быть, погибнут миллионы, а я все о своем... Но нет, вы должны понять — люди всегда вое-



вали и умирали, а если бы книг не оставалось — разве вообще могли бы быть люди, а не двуногие? И так достаточно варваров... на цыгарки во время революции... Но, если люди сошли с ума, так пусть они и умирают, пусть рушат дома и вещи, но нельзя же дать умереть книгам!

Он вскочил и умоляюще смотрел на нее. Джан тоже встала и протянула ему руку.

— Даю вам слово, — твердо сказала она, — все, что смогу, я сделаю... вытащу и перенесу.

— Я знал. Я уверен. И вы сразу увидите... хотя бы только редкие издания... Теперь я буду спокоен. Значит, до завтра, Джан, моя прекрасная дама!

Он пожал ее руку, поцеловал с отчаянием человека, решившегося на все, и кинулся к выходу.

С улицы снова входила, топчась на пороге, публика — опять тревога.

Хоть бы какой настоящий бой, а то только гоняют. Досадно и мешкотно. Джан опоздала на поезд, пришлось ждать, и вернулась на дачу только к вечеру. Маруся ждала ее и всплескивала руками.



Уже рано утром следующего дня слышалось какое-то неясное громыхание и взрывы.

Вокзальный перрон был завален вещами с сидящими на них людьми. Начальник станции ерзал фуражкой на гладко выбритой голове и пытался смотреть зверем.

— Не знаю, ничего не знаю, кундзе. Если поезд придет, то пойдет в город. Да, должен придти, ждем уже с девяти часов. Садитесь и ждите, как все.

Но поезда не было. До семи часов вечера просидели на вокзале. Джан пробовала сговориться с проезжавшими машинами, но в них были только военные. Булочная напротив вокзала распродала все и закрылась. Солнце падало за сосны, и с моря тянул высокий, как перистое облако, свежий ветер.

— Ну, и черт с ним, с поездом, — обозлилась Джан. — Идем обратно, я не могу больше. Жарко, есть хочется, и устала до смерти. Отдохнем, а завтра попробуем еще...

Ей было немного жаль Натана, ждавшего ее в четыре часа в городе. Но, может быть, так и лучше?

Устали, и заснули поздно. В окна дома устало падала выцветшая от солнца, сожженная счастьем, сирень. Каптань и черемуха засыпали все дорожки легковейным белым опадом. Ночь надвинулась необычной темнотой, вдали сухо погромыхивало, и взметались зарницы. Шла гроза. Из-за сада, там, где пролегало шоссе, непрерывно гудели машины, и стрекотало что-то.

Джан не хотелось показывать себя трусихой, но она старалась не думать, что сейчас ночь, в соседних дачах ни души,

война, немцы наступают, и две женщины с ребенком на энкаведистской даче... если бы хоть револьвер!

Она дольше обыкновенного лежала в темноте, и тщательно заперла все двери. Но заснула, как всегда, крепко, и только беспокойно повернулась от надоедливого комариного жужжанья, перешедшего в стеклянную прозрачную скрипку с неприятно лопающимися струнами. Джан поборолась еще со сном, но открыла все-таки глаза и в рассветной голубой прохладе увидела совершенно ясно: напротив, в стеклянной стене окон разбегались трещины, несколько верхних стекол было выбито пулями, и осколки кусочками лужицы брызнули по всему полу.



Самолет, вертя хвостом дыма, кувыркался вниз. Где-то с земли поднималась белая шапка гриба и дрожала, расплываясь в облако. Солнце слепило глаза, но на дороге было сухо, ржаво и пыльно, и даже весенняя трава казалась блеклой.

Дорога была мертва. Раздавленный выбоинами и гофрированный цепями танков асфальт. Брошенные орудия, снаряды, автомобили, грузовики, танки, трупы лошадей, людей, повозки, ящики. Сожженное железо и обуглившаяся кровь ржавели одинаково.

Мертвая дорога лежала под солнцем, дальние взрывы не могли разорвать воздух, пробить стеклянную застылость. Даже обгорелые и сломанные деревья не шуршали листвой. Километры тянулись один за другим, трудные, пыльные и немые. Дорога кричала молча, и небо молчало тоже. Только трое живых шли среди этой опустошенности и тоже молчали. Маруся сперва ахала, пугалась. Солнце больно щемило глаза и высушило слезы. Инночка забегала вперед, заглядывала в опрокинутые машины. Но трупы заставляли и ее замолчать. Джан шла, внимательно и устало скользя глазами вокруг, и уже с трудом переставляя ноги. Высокие каблуки туфель спотыкались в выбоинах, губы заклеила пыль, и даже самый маленький чемоданчик, взятый с собой, оттягивал руки. И еще это дурацкое пальто! Хорошо бы швырнуть все в канаву и сесть туда самой...

— Я думаю, что пора уже сесть и покурить, — сказала она, с трудом разжимая губы.

— Только не здесь, мама... Смотри вон... — прошептала Инночка.

На краю, у канавы, лежал труп солдата, и из запыленной гимнастерки торчала бело-розовая непонятная спираль. Джан нагнулась.

— Как же так? — сказала она недовольно: — без головы. Голову ему оторвало. Нет, так нельзя. Инночка, посмотри кругом, — может быть, она лежит здесь.

Инночка прыгнула в канаву.

— Здесь, мама, но мне страшно взять!

— Вот глупости, — пробурчала Джан, и, поставив чемодан, шагнула к ней.

— Что ты делаешь, оставь, ужасно просто! — взмолилась Маруся.

Джан, не слушая, нагнулась и осторожно приподняла за волосы странную круглую вещь. Шеи не было, но лицо осталось, на сжатых ресницах приклеились травинки. Держа на вытянутой руке, чтобы не запачкаться, она донесла ее до трупа и поставила на место.

— Без шеи он выглядит очень коротеньким, но это, наверно, его голова. А то как же так: без головы. Нельзя, — убежденно заметила она. — В древнем Египте бальзамировали трупы, чтобы потом душа могла найти свое тело. А мы...

— Мама, там кто-то есть, — возбужденно зашептала Инночка, отбегая от стоящей посреди дороги машины. — Сидит, только странный.

— Господи, когда ты угомонишься — вздохнула Маруся. — Ну, и пусть сидит!

— Пойдем и спросим...

Но, подойдя поближе, Джан вопросительно подняла брови и закусил губы. Да, он сидел там, неподвижной бронзовой статуей за рулем.

— Мама, что это?

— Это война, Инночка. Видишь, вот сюда попало, бензин вспыхнул, и он был весь облит пламенем, даже пошевеливаться не успел.

— Джан, пойдем лучше какими-нибудь проселками, или выйдем на железную дорогу, я не могу больше, я с ума сойду, они мне ночью сниться будут!

— Куколка, перестань реветь, слышишь? Инночки бы постыдилась. Идти нам надо именно здесь. Во-первых, самый прямой путь. А кроме того, самый безопасный. Немецкие летчики дали большевикам жару, и они не отступили, а просто драгнули — видишь, побросали сколько... А немцы еще не успели, вдогонку... Вот мы и проскочим. На проселке можем нарваться и на тех и на других, и тогда... Только устала я страшно в этих туфлях... Сколько мы прошли уже?

Долгая это дорога, мертвая и пустая под солнцем. Ближе к городу стали попадаться уже люди: отдельные кучки солдат, вразброд, подвязанные потемневшими бинтами. Откуда-то били по городу орудийной стрельбой, внезапно срывалась пулеметная очередь, и смолкала так же вдруг. Стремительно проносились машины и повозки. У мостов стояли часовые, но на окрик Джан только махнула рукой и пробормотала какое-то фантастическое объяснение. Постовым было не до того. Армия панически отступала, немцы били по уходящим, по городу, за ним отстреливались тоже. Гарь доносило даже через Двину, кое-где в черном

удуше дьма бледно сновали на солнце огненные язычищи, и когда Джан перебралась с середины моста уже бегом на набережную, ухнуло впереди, и стена дома рассыпалась ей на встречу.

— Ай-яй-яй! — смешно завопила Маруся, падая на колени под воздушной волной: — в улицу, скорее!

— Куда, сумасшедшая! Тебя так как раз засыпет!

Джан, спотыкаясь, схватила чемодан, вцепилась в марусин рукав, чтобы та не помчалась в лабиринт узких улочек Старого города и, падая, поднимаясь снова, они бросились вдоль линии обстрела.

— Видишь, — прерывисто говорила Джан, — это совсем не настоящая бомбардировка. Ну, разбили один-два дома, и, кажется, горит что-то... Еще только до замка продержись, у замка тише. Да не кидайся под дома, идиотка этакая! Вот курица, голову потеряла, не по тебе же стреляют. Иди спокойно, нечего торопиться совсем!

— Спо-спо-спокойно! — хотела передразнить Маруся, и разревелась окончательно. Джан хлопнулась на скамейку сквера.

— Перестань реветь, а то брошу! — пригрозила она. — Не пойду с такой ревой по улицам!

— Слава Богу! — вздохнул Бей, когда через полчаса грязные и пыльные фигуры ввалились в переднюю, и Джан, молча сняв туфли, просунула в сквозные дырки в подошве пальцы и повертела перед его носом. — Я страшно беспокоился. Сегодня утром прибежал Натан, плакал навзрыд и простился. Уехал с матерью. Жаль его. Примите сразу ванну, а то ноги распухнут, слишком двадцать километров ведь... и ложитесь, а я чай сделаю, больше ничего дома нет... Ты что, Джан, смотришь так? Впрочем, чего я спрашиваю, устала до полусмерти...



Ночь отрезало провалом беспробудного сна, а следующим утром Джан, с ключами в сумочке, входила во двор тусклого многоэтажного дома в конце Гертрудинской улицы. Квартира Натана на втором этаже, полутемная, в беспорядке отъезда, с наглухо запертыми окнами и распахнутыми шкафами. Из трех комнат две занимали книги. На шкафах, полках, наставленные двойными рядами и просто связками на полу. Пахло нафталином, мышами, книжной плесенью, спертой, нерадостной жизнью. Джан оглянулась и тихо свистнула. Тысячи книг. Как же их забрать? А взять надо.

Вынула из шкафа свою шубу и оглядела полки. В первую очередь Брокгаузовского Пушкина. Весь Брокгауз у Натана есть, редкость. Но и тяжелые же тома! На третьей полке, за третьим томом... вот футляр. Не раскрывая, сунула в сумку. С громадным пакетом, сразу отдавлившим руки, вышла на улицу. Извозчиков нет. Может быть, дальше попадутся. Когда



подошла к Бривибас улице, солнце начало уже припекать. По Бривибас тянулись, громыхая, повозки, отступавшие советские войска, и из углового дома вдруг быстро и четко заработал пулемет. Несколько прохожих шарахнулись в ворота. Джан мрачно впихнула туда тоже свой узел и уселась на нем. Красные ссадины от веревок шли поперек всех пальцев и горели ожогом.

— Вы видите, из которого дома стреляют? — спросила она стоящего рядом господина.

— Что вы, лучше не высовываться. Товарищи кинулись туда, сейчас может вспыхнуть бой.

— Есть мертвые углы, а на улицах мертвые стенки, — угрюмо пробурчала Джан. — Мне некогда. Еще двадцать раз ходить придется.

Она осторожно высунула голову, рассчитывая что-то не совсем понятное самой, и кинулась стремглав к угловому дому, а от него — через опустевший на минуту перекресток. Расчет оказался верен. Когда Джан отпустила свой узел, чтобы передохнули руки, и прислонилась за углом, против Гертрудинской церкви, на Бривибас снова затрещало, но теперь она уже за выступом дома, ничего не может быть. Джан прижалась щекой к шершавой, но приятно прохладной стене дома, полуоторванная афиша защекотала лицо. Скосив глаза, скользнула взглядом по строчкам неряшливого двухстолбцового объявления: «... за шпионаж и подачу световых сигналов приговорены к высшей мере наказания... приговор приведен в исполнение... Янис Легздынь, Алексей Дроздов... Константин Кузнецов»...

«Тувазу!» — прошептала Джан и снова перечла, как будто могла ошибиться. Да и дата... позавчера... Бедный Черный! Пришили шпионаж племяннику бывшего владельца...

Она очнулась от мыслей только на Вольдемарской, по которой неслись машины, и извозчик, въехавший от них на панель, толкнул ее в грудь оглоблей.

— Идите домой лучше, кундзе!

— Правильно! Едем! — откликнулась, приходя в себя, Джан, и не дожидаясь ответа впихнула в пролетку узел. Фурман поерзал и поднял кнут.

— Я снесу пакет в дом, сейчас же вернусь, и мы поедем дальше.

— Домой надо, какая сегодня езда...

Обратно ехали кружным путем, выбирая улицы поспокойнее, но с Охотничьей к концу Гертрудинской никак нельзя проехать, не минуя трех главных магистралей, и все три — пути отступления на Петербургское шоссе. Фурман обдергивал армяк и тыкал кнутом в сторону:

— Горит, кундзе, видите! Зажгли, сволочи... Ай, вай Диевинь — неужто Петри кирхе?

— Около нее, — твердо сказала Джан: — не может быть, чтобы в Петровскую колокольню попало, это сердце Риги.

— Колокольню не видать за дымом, ой, горит, кундзе, горит! Товарищи подожгли, немцы не станут стрелять по церкви...

Джан, Джан, горит Старый Город! Джан, сквозная, в три яруса, с позеленевшими куполами колокольня, символ города, знак его, сердце, бившееся семь сотен лет на ветру над морем, горит, Джан! Крохотная птичка наверху — саженный петух в полутора метра над городом ныряет в дым, хрипит от ярости, машет огненными крыльями, и кричит, кричит!

Ах, нет, это у моста, на насыпи взорвался котел горящего паровоза, и потому так жалобно свистит огонь...

Джан, из-за стрельчатых арок окон Дома Черноголовых, ганзейского дома, качнулся огонь, и к ногам рыцаря, сторожащего площадь, сыплются осколки стен... Разве он устережет, рыцарь?

Джан, закусив губы, выхватывает из шкафов книги, бежит вниз, во двор, заваливает ими пролетку, снова на верх, еще, еще.

— Лошадь не свезет, кундзе, и мне некуда ног девать, — ворчит извозчик.

— Не разговаривай, пожалуйста. Гони домой.

Джан стоит одной ногой на подножке, поддерживая руками книги. В пролеты улиц втягиваются клубы дыма из Старого Города... Ах, если бы не данное слово — помчалась бы туда — хоть руками поддержать рушащиеся камни!

— Нельзя через Мариинскую. Не поеду дальше.

— Я тебе не десять, а двадцать рублей дам. Вот сейчас остановились машины. Скачи!

— Кундзе, через Бривибас невозможно. Из всех окон стреляют. Лошадь убьют, тогда что?

— Сама впрягусь. Еще десять рублей.

Извозчик охает и погоняет. Но по Вальдемарской, последней опасной улице, несутся грузовики, сшибая все остальное. Джан перегибается к облучку, и колотит извозчика в широкую спину; грохот такой, что он все равно не слышит.

— Гони, такой-сякой! — вопит Джан, уловив момент. — Гони, или...

— В вас, кундзе, наверно, чорт сидит, — говорит оторопевший извозчик, когда Вальдемарская уже за спиной на целый квартал. — Знал бы... Ну больше я вас ни за какие деньги не повезу!

Но Джан выиграла сражение. У своей калитки она дает ему пятьдесят рублей — половину оставшихся у нее денег, и зовет всех помогать тащить книги.

— Ты с ума сошла! — возмущается Бей. — В такое время по улицам! Можешь и завтра взять...

— Неизвестно. Сегодня еще дом может стореть, или...

«Или» — не совсем ясное, но что-то угрожающее, и думать некогда. Джан выволакивает из сарайчика старый велосипед с товарным ящиком, и еще три раза привозит книги. Только совершенно выдохшись к вечеру, она падает от усталости. Но рыцарь может быть спокоен. Слово есть слово, и хоть какие-то книги спасены.

— Петровская кирка сгорела, Дом Черноголовых тоже, и вообще половина Старого Города, — слышит она во сне слова Бея.



Утром в городе тихо. Гарь на улицах и запах известки прогоркло отравляет солнечный день. Ах, это солнце над сгоревшей Ригой...

— Ты опять едешь! До каких же пор это будет продолжаться?

— Пока... — неопределенно и упрямо отвечает Джан, и привязывает к ящику сложную систему веревочек, чтобы сделать воз побольше.

Но «пока» продолжается недолго. Улицы пусты и будто спокойны, но в пустой чужой квартире Джан пугает притаившаяся в углах тревога. Углы как-то перемигиваются друг с другом. На лестнице хлопают наверху двери, и Джан бегом несется вниз. Книги навалены горой, держитесь, миленькие! Она слышит за спиной шаги, невольно морщится и принимает озабоченный вид.

— Это не идет, кундзе, — говорит дворник, останавливаясь перед нею с совком и метлой. — Вы в доме не живете, а все время приезжаете и уезжаете, и увозите вещи...

— Это мое дело, и мои книги, — бурчит Джан.

— Может быть, и так, но вы берете их из жидовской квартиры. Я не могу позволить. Потом можете заявить, что вам принадлежит, там разберут, но пока лучше уходите.

Он еще раз качает головой, хотя в голосе слышится явная угроза, и повторяет: — Нет! Чего нельзя, того нельзя! Жидовская квартира!

С 1939 года в городе появилось новое выражение: «у немцев». Это значило: у репатрирующихся. «Жидовская квартира» Джан слышит впервые, и это не просто случайное слово, — это новое, еще невесомое, но уже страшное что-то. Она краснеет от гнева, но сдерживается.

— Хорошо! Я приеду за остальным потом.

— Да, и я посмотрю, как вы сейчас уедете!

Джан пожимает плечами, поднимается наверх, берет свою сумку в передней, сует в нее книжку, оброненную по дороге, и захлопывает дверь. Запирать не стоит, совершенно ясно, что она не вернется сюда больше. Чорт бы побрал всех дворников! Но с тысячу книг — и каких книг! — удалось спасти. Именно спасти. А Бей советовал подождать!

На углу Вальдемарской и Мельничной валяются еще битые стекла от вчерашней перестрелки, и в солнечной тишине замершего утра мечется какая-то взволнованная фигура, выбрасывая руки «вперед и в сторону», как на шведской гимнастике, — машинально отмечает Джан.

— Латыши! Свободные латыши! Выходите из подвалов! Выходите на свет, на солнце! Теперь вы можете дышать свободно! Немцы уже в городе!

— А я и не заметила, некогда было, — бормочет Джан и кивает ему, как знакомому.

На стенах домов широкие стрелки указывают на подвалы, наспех открытые, как убежища от бомбардировок, — теперь из них и из домов выходят люди.

«Тюрьмы», — думает Джан, тарахтя дальше на своем велосипеде — «что они сделали в тюрьмах?» Старый Город... Петровская кирка... Так она ничего не заметила с этими книгами. Ну, теперь начинается новое! Надо пойти и посмотреть!



Калейдоскоп состоит в том, что трехгранная стеклянная призма закрыта с одного конца двумя стеклышками — простым и матовым. Между ними брошена щепотка цветного мусора. Призма, стекла и пестрые брызги вполне реальны. Остальное — закон преломления лучей. Что же получается? Трубку можно повернуть, налево или направо. Клик-клак. Щепотка мусора пересыпается вбок. Всегда по кругу. Осколочки и бисеринки, разбросанно, и вместе, соединяются на миг без всякого видимого и внутреннего смысла. Очень возможно, что стеклянные осколки всю жизнь ломают себе голову над этим смыслом — пока не разобьются в пыль.

Мучительность неразрешимых «проклятых вопросов» была бы невыносимо тяжелой без поправки на один простейший вопрос: для чего их решать вообще? Как бы бисеринки ни скользили и царапали по стеклу — оно остается непроницаемым, и им совершенно не видно, какой строгий, геометрически правильный и последовательный рисунок отбрасывают они на стекла. Рисунки неумолимы и четки, гармоничны и красивы, но рисунки калейдоскопа — клик-клак! — видны только кому-то другому.

Гениальное просто. Контрасты необходимы. Закономерность неподвижных стекол и беспорядочность пересыпающихся мусоринок. Вполне ощущаемая реальность существующей вещи — и совершенно неосязаемый тайный закон отражения — настоящий, подлинный смысл вращения стеклянного круга — и человеческой жизни, к которой так плотно приклеилось это избитое сравнение с калейдоскопом. Клик-клак.





Довольно большую комнату занимала старомодная кровать и лекарства. На кровати лежал тучный, тяжело хрипящий сквозь желтый жир профессор. Кровать, с постоянно сползающими одеялами, душными перинами и смятыми подушками, была центром комнаты и жизни. От нее растекались бутылочки и рассыпались пилюли, грязная посуда и компрессные полотенца. Все это смешивалось на полу, подоконниках с платьями, примусом и книгами, освобожденными от законов земного притяжения и соединявшихся друг с другом по свободному выбору. Одна дверь из комнаты вела в крохотную каморку под лестницей, где законы тяготения еще действовали немного: груды книг смешались только с готовальнями, сапожной ваксой и кое-где носками. Кроме стола под чертежами, табурета и узкой койки в ней ничего не было. Пол давал место пяти шагам. Слава, мрачно оттопыривая щеки, ходил вдоль кровати в одних носках, чтобы не греметь каблуками, и досадливо пощипывал легкий желтый пух на круглом подбородке.

— Мама, я должен спешно отрастить себе бороду. Ты знаешь средства? — спросил он негромко, просовывая голову в дверь.

Звезда в застиранном, порыжевшем платье, смахнула последнюю пылинку с туфель и поставила их на прежнее место — рядом с ярко начищенным примусом.

— Надо втирать касторовое масло с хиной, — озабоченно отозвалась она. — А зачем тебе бороду, Слава?

— Чтобы не пришили, — привычно ухмыльнулся тот и понизил голос. — Понимаешь мама, борода страшно меняет лицо. Все-таки я учился на курсах и был бригадиром. Кто знает, что придет в голову новым правителям? Примут еще за бригадного генерала и тогда поминай, как звали. Нет, осторожность прежде всего. Сейчас я две недели не высуну носа из дома, пока борода не отрастет. Ты мне приготовь эту летучую мазь.

Звезда порывисто взглянула на сына и заломила руки.

— Ах, Боже мой! Как ты был неосторожен! Теперь у тебя запятнано прошлое, и придется скрываться... Но я спрячу тебя, не бойся, я уж знаю, где.

Слава пристально посмотрел на мать. Сильно запавшие глаза, как всегда за последнее время, блестели ярко и возбужденно, как будто она увидела что-то особенное, интересное, видное только ей, и с легким смешком старалась это скрыть, пугаясь каждого чужого взгляда. Это виденное занимало ее чрезвычайно, но она не рассказывала о нем, а если и заговаривала даже, то такими туманными намеками, что никто не мог понять. Слава особенно не интересовался и почти не слушал. Отец умирает, это ясно, и его, конечно, жаль, но ничего не поделаешь — все там будем. Мать не отходит от него днем и ночью, денег на докторов у них нет, и она лечит его собственными рецептами.

Волнуется и заговариваться стала женщина — что с нее можно требовать?

Звезда вспомнила о чем-то, и испуганно схватила его за рукав.

— Славушка, а они опять стрелять будут?

— Да нет же, мама, я сказал тебе: немцы заняли Ригу. Ну, горит там еще немножко, пустяки. Видишь, я же приехал на взморье... Только кое-где пришлось пешком идти... А разве здесь они были?

— Ужасно! Канонада, воздушные бои, целые эскадрильи, и потом пулеметы и... да, мортиры. Земля тряслась, море огня и пламени, и все в дыму...

«Смеется она, что ли?» подумал Слава. В Дзинтари — тихом взморском поселке, где они жили, все было спокойно, все на своих местах. Вечно из какой-нибудь роли воображает...

— Как папа? — спросил он, чтобы отвлечь ее. Звезда сразу послушно заволновалась, подошла к кровати, оправила подушку, приложила ухо к неровно хрипящей груди и с серьезным видом взялась за пульс.

— Пульс неровный и ниточный, — озабоченно сказала она. — Сейчас я переменю компрес, и через пять минут сделаю впрыскивание. Утром я дала ему камфору...

Слава кивнул головой. Мать всю жизнь возилась с лекарствами. Доктор давно сказал, что отец безнадежен. Сам профессор тоже не интересовался методом лечения. Уже осенью одышка стала невыносимой, и он слег, подпертый со спины подушками. Сперва он капризничал, доводил Звезду до слез, требуя подать себе то «эмпириокритическую» воду, то «априорный» чай, и довольно хмыкал, забавляясь ее невежеством. Потом его хватил удар, и он перестал говорить, только подмигивал уцелевшим глазом. Помимо своей сомнительной и третьеразрядной философии, он был хоть и грязным, но сильным животным, и вот на этой кровати, на зло всему, боролся и с застарелой астмой, и с жиром, залепившим тело, и с лекарствами жены — чрезвычайно долго. Борьба доставляла ему несомненное развлечение и казалось, очевидно, очень удачной остротой.

Звезда дала ему шприц и уселась на табурете у стенки, на своем постоянном месте. Отсюда она могла быть в два шага у кровати, видела всю комнату, и была защищена стеной сзади, поэтому могла оглядываться, не пугаясь — а пугалась она теперь очень часто. Давно незавиваемые, отросшие волосы падали прядями, прямыми и запыленными, на плечи, и она машинально поправляла алую шелковую ленту, завязанную бантом сбоку, чтобы они держались.

— Мама, ты бы сняла эту красную ленту, — лениво посоветовал Слава.

— Алый цвет мне очень идет, — обиделась Звезда. — Сбоку кажется, как будто в волосах красная роза, как у Коломбины,

когда я играла в «Белом ужине». Впрочем, нет, это было в испанской пьесе. Кармен, конечно.

— Кармен, так Кармен. А по-моему, комсомольский бант и того... не по сезону. Интересно знать, что теперь немцы делают...

Звезда не слушала. Она сидела на табурете, упершись локтями в колени, и поддерживая пальцами подбородок. Сухие, блестящие глаза не отрывались от кровати.

-- Я не хочу пропускать ни одной минуты из его смерти, — говорила она монотонно, — чтобы потом рассказывать об этом всем. О, как будут журналисты ловить каждое мое слово! И тогда я сяду вот так, в глубоком трауре, откину вуаль и скажу: да, господа. Я была с ним до последней минуты, дни и ночи. Я видела, как умирал великий философ. Я была единственной подругой жизни знаменитого профессора и горжусь этим. Я могу рассказать вам все, и вы запишите для потомства. Я думаю, можно начать с нашей первой встречи, или с того дня, когда я, счастливая молодая новобрачная, появилась впервые с ним на светском приеме в высшем петербургском обществе. Он, молодой, но уже восходящее светило, и я, в темно-синем бархатном платье, отделанном горностаем, вот здесь и на трене... меня называли богиней, и художники наперерыв умоляли меня позволить им написать мой портрет... И уже тогда я чувствовала все величие его души и ума... Да, он часто поверял мне свои мысли и советовался со мной. Правда, я не философ, я отдала свою жизнь театру, но сцена — всеобъемлющее искусство...

Трагизм этой сцены не доходил до Славы. Мама учит новую роль, и, как всегда, главное в ней — туалеты. К тому, как Звезда загримировывала свое прошлое, не жалея красок, он давно привык. Если они ели на обед картошку с селедкой, то через полчаса она рассказывала знакомым о паштете с салатом, с точным описанием рецепта и того, как это выглядело. Слишком живое воображение, что поделаешь!

Махнув рукой, он намазал себе бутерброды и улегся на койку с книгой, под монотонное бормотанье за стеной. Наступившей тишины он тоже не заметил. Только острый пронзительный крик заставил его поднять голову, прислушаться и встать.

— Очнись, очнись! — патетически кричала Звезда, и трясла за плечи затихшего профессора. Этот крик был настоящим, но когда скрипнула дверь, и на пороге появился Слава, она выпрямилась, провела рукой по лбу и трагическим шопотом произнесла:

— Вячеслав, твой отец скончался. Какого великого философа потерял мир!

По исхудалым щекам катились крупные, искренние слезы.



Профессор истории проснулся как всегда, рано, и долго сидел на диване, озираясь на солнце. Солнце светило с улицы, а не из привычного сада с розами, и вообще каждый новый день наваливался на сознание совершенно ненужной глыбой. Сны были легки, понятны и интересны: иногда он посещал знакомые университеты, беседовал с учеными и комментировал мало известные подробности. Или бродил по Риге в каком-нибудь столетии и забавлялся, рассказывая бюргерам, гроссмейстерам и епископам, какую чепуху написали о них потом.

Но это были сны, а день застывал неподвижно и бесцельно. Профессор часто пытался применить сложную и точную систему уборки и приготовления обеда, но неизбежно приходил к выводу, что кухарка делала это лучше. Растапливать печку теперь, при неожиданно жарком июне, было бессмысленно. Столовые на взморье еще не открывались. Профессор питался колбасой и шпротами, а ходить в лавки было приятно, потому что занимало часть утра. Потом прогулки на пляж, вернее на то самое место взморья, где...

Сперва он побаивался. Не то, чтобы боялся, но всматривался в море и искал под волнами, у самого берега — то, темное уже, бесформенное и молча укоряющее его, что могло приплыть обратно. Но море не выбрасывало трупов к его ногам, и ободряла сперва робкая, а потом ставшая твердой уверенностью мысль, что Тоска — не может умереть. А вместе с ней, значит, и его книга. Тоска, белая девушка, вызванная к жизни этой умной и умеющей видеть молодой женщиной, со странно светлыми, как вода в белую ночь, глазами, может быть, для невежд и не похожа на пожилую даму, отправившуюся на льдине — но надо уметь раскрывать образы...

Солнце золотит песок в старом саду, дома должны уже наливать бутонны ранних роз — если их товарищи не заморозили этой зимой... Профессору очень хочется съездить в город и посмотреть свой сад. Он ясно видит перед собой каждый шаг на знакомой дорожке, каждый куст. Но, не дойдя до белой станции, неизменно сворачивает в боковую улицу. Нет, отняли у него розы...

В тот день профессор обнаружил во время уборки электрическую плитку и очень обрадовался, дунув на палец, которым пробовал, нагревается ли на ней сковородка. Значит, вместо колбасы, можно будет съесть жареного мяса на обед — а в мясной ему расскажут, что надо для этого сделать.

Мясная почему-то закрывалась: профессор обратил по дороге внимание на разные шумы.

— По-моему, сегодня стреляют, — сказал он мяснику, открывшему ему уже запертую дверь.

— Уже близко, профессор кунгс! Советская армия отступает. Вы бы лучше шли домой...



— Позвольте, мейстер! Я не армия, чтобы отступать!

— Но во время войны...

— Ах, у нас война! — обрадованно перебил профессор, и задумался над этим вопросом. — Ну, в таком случае обычно стреляют, это в порядке вещей. В тысяча четыреста шестьдесят седьмом году, например, метательной машиной была пробита громадная брешь в крепостной стене и...

— Профессор-кунгс, время беспокойное, мне надо запирать лавку.

— Да-да. Так фунт карбонада — сколько стоит? — Уже в дверях профессор обернулся: — А с кем война, между прочим?

— Вай Диевинь! — воскликнул мясник и рассмеялся. — Немцы идут!

— Немцы, — бормотал профессор, маленькими шажками поспешая домой, — построили Ригу, и как следствие, либо брали, либо защищали ее не раз. Вот если бы французы, скажем, шли на приступ — тогда это было бы немного странно...

Идти было трудно, — улицы наполнились сразу вдруг хлынувшей толпой солдат, автомобилями и орудиями. Профессора несколько раз возмутительно толкнули, но ландскнехты никогда не отличались изысканностью манер, и он был рад нырнуть, наконец, в свою дверь. В этом двухэтажном угловом доме, кроме него, никто не жил, и он готов был уже удивиться, когда две каких-то незнакомых фигуры, появившись со двора, протащили что-то по лестнице на верх, — но не успел, занявшись сложным и трудным процессом поджаривания мяса.

Внезапно из верхнего окна забарабанил пулемет, поливая железной дробью застрявшие в пробке на перекрестке машины. С улицы донесся гул, и несколько ответных пуль щелкнули по подоконнику закрытого окна профессора.

Гул ввалился в коридор, затрещали двери, несколько солдат вбежало в комнату. За спиной их кто-то, в форме энкаведиста, подпрыгивал и размахивал руками. Профессор, с вилкой в руке, был отброшен к стене, но сразу же прыгнул на середину комнаты, когда книги, вышибленные штыком, повалились с полки и дивана на пол. Часть солдат затопала по лестнице наверх.

— Варвары и невежды! — воскликнул профессор, потрясая вилкой: — в этих книгах говорится о всех войнах, которые были, а вы тычете в них штыками!

— Откуда стреляли, старый хрыч, мать твою...

— Сверху, — убежденно заявил профессор. — Стреляют всегда сверху.

— Веди, показывай!

— Не смей меня трогать! Вы... носатый невежда! Разве так обращаются с книгами!

Профессор визжал от возмущения и, подпрыгивая на месте, тыкал вилкой в энкаведиста. Тот хотел оттолкнуть его, но наган был у него в руке, когда сверху раздались крики и пальба —

выстрелил тоже, не глядя, просто так, и, перешагнув через упавшего профессора, бросился наверх.

Двух партизан, засевших наверху с пулеметом, разбили в месиво. Дом умолк. Наверху стонал раненый в живот красноармеец. Кусок карбонада обугливался на сковороде, и синий дым тоненько струился в распахнутые двери. Профессор лежал скрючившись и с испуганным наивным вызовом смотрел остановившимися глазами в потолок. Свесившаяся половинкой переплета со стола книга шелестела на сквозняке то припадавшей, то колеблющейся страницей, и на ней чернели латинские буквы: «Анно Домини» . . .

Советская армия отступила к Риге.



В последнем номере газеты «Пролетарская Правда», вышедшем накануне, непобедимая красная армия клялась именем Сталина, что ни один немецкий фашист не будет подпущен и на пушечный выстрел к городу . . . Но газетные уверения в вечности и незыблемости живут обычно не дольше самого номера. На следующий день газета уже не вышла, половина наборщиков не пришла, а пришедшие, послушавшись по типографии, ушли домой. Сотрудников тоже уже почти не было, а Вара Верескова, в форме и высоких сапогах, с патронными лентами через плечо и двумя наганами по бокам, стояла на ступенях здания газеты, и прощупывала оловянными, немигающими глазами каждого проходящего. Рука лежала на расстегнутой кобуре, губы были сжаты до беловатых пятен на скулах. Собственно, товарищу Вересковой совершенно не требовалось стоять часовым, хотя бы и у дверей редакции. Но Вара хотела до конца остаться в городе, уехать последней, и показать всем, всем, что она может застрелить любого на месте. Вара всегда любила сильные ощущения, а отступавшая, панически бежавшая армия приводила ее в холодное бешенство, и вчера она разрядила оба нагана в чересчур быстро, по ее мнению, двигавшуюся группу красноармейцев; пусть не драпают, сволочи!



Горел вокзал, паровозы на насыпи, половина Старого Города горела или обрушилась. На остальных улицах кое-где были пробиты чердаки, сбиты стеклянные купола лифтов, выбиты окна. Местами вспыхнули пожары, под солнцем чернела копоть, на тротуарах хрустели головешки.

Солнце палило немилосердно. Солнце раскаливало стенки скотных вагонов на станции Рига-Товарная. Вагоны были пригнаны откуда-то со взморья и набиты детьми из школьных лагерей. Двери были плотно заперты болтами, и вагоны брошены на запасном пути. На остальных лихорадочно грузились еще-

лоны с войсками, советскими служащими, беженцами-евреями и местными коммунистами. Беженцы сидели всю ночь на узлах, составы толкались во все стороны, паровозов не хватало, чекисты сгоняли железнодорожников револьверами на работу. Вагоны открыли только третьего июля — на третий день прихода немцев. Из них шел подозрительный запах. В живых не осталось ни одного ребенка — пять, шесть суток под солнцем; без капли воды... Многие трупы были искусаны — очевидно, кто-то из более сильных пытался напиться крови...

Немецкие войска заняли опустошенный город с 31 июня на 1-ое июля без особой перестрелки. Просто вошли и расположились. В парках паслись лошади, стояли повозки. На газонах лежали выстиранные рубашки, а полуголые солдаты спали рядом. Вокруг первых постовых в старом знакомом «фельдграу» толпились прохожие. Им нанесли столько бутербродов, закусок и пива, что часовые были окружены всякой снедью, как барьером. Кое-где бросали цветы, а к вечеру уже следующего дня молоденькие «яункундзе», сразу завитые и подкрашенные, появились на улицах под руку с отпускными солдатами. По-немецки говорили все в Риге. Но магазины были закрыты, кроме нескольких на весь город, и в них все продукты были раскуплены.

Тюрьмы тоже были пусты. Часть арестованных отправили в Двинск. Из этой партии пытались бежать — кое-кто спасся. А из остальных были сложены штабеля трупов. Чекисты расстреляли всех напоследок, предоставив победителям хоронить, и те, кто еще надеялся — бродили по тюремному двору между трупов, и искали своих.

Открыли и белый дом на углу Стабу и Бривибас улиц — здание НКВД. На самом верху, в маленьком кабинете с двумя мощными радиоаппаратами сидел несколько дней тому назад Натан Гельперт и слушал известия... И не знал, что вежливые и слегка насмешливые улыбки товарищей Зетов и Игреков были обычной чекистской издевкой, на которую попадались и будут попадаться многие умные люди. Потому что в подвалах этого дома были камеры для пыток, специально выстроенные, чтобы человек помещался только скрючившись, и трубы для замораживания или невыносимой жары. Была камера с разными приборами, с резиновыми стенами, забрызганная кровью. Да, в погребе этого дома пытали так же, как и во всех зданиях НКВД — и так же замурованные стены и полы не пропускали звуков, и в верхних этажах любезные следователи могли объяснять идиотским интеллигентам, что взрослым людям не полагается верить в страшные сказки.

На Югле, на даче, где было отделение Чеки, и в соседнем Бикернском лесу было больше трупов, чем деревьев. Изуродованные, с содранной кожей, вырванными ногтями. В Риге специалисткой по «маникюру» была семнадцатилетняя хорошенькая еврейка, которая почему-то не успела удрать, и ее схватили.

В Режице, маленьком провинциальном городке, доктор Кан сверлил здоровые нервы, и оживлял потерявших сознание жертв...

Опустевшей, без фанфар и приветственных кликов, встретила Рига новых победителей. От гордой Петровской кирхи осталась часть нижних стен. Половину рижан или увезли в репатриацию германские пароходы, или угнали, расстреляли и замучили большевики.

На советских почтовых марках тиснули германский штемпель: «1. 7. 1941» для их хождения — и для филателистов. Появились сразу и «ост-марки», одна — за десять рублей. По улицам без перерыва неслись грузовики, машины, мотоциклеты, подпрыгивая на нечищенной, изрытой, выбитой мостовой. Со стекол и витрин яростно смывали наклейки. На Мариинской громили ночью бывшие еврейские магазины. В одном из первых распоряжений евреям разрешалось выходить на улицу только за продуктами, на один час днем.

Усталую опустошенность города не могло вызолотить солнце. Даже торжественная, совершенно необычная служба в соборе, открытом впервые за последние недели, не могла собрать столько народу, сколько любая заутреня. Пришли все, кто остался — но осталось-то немного!

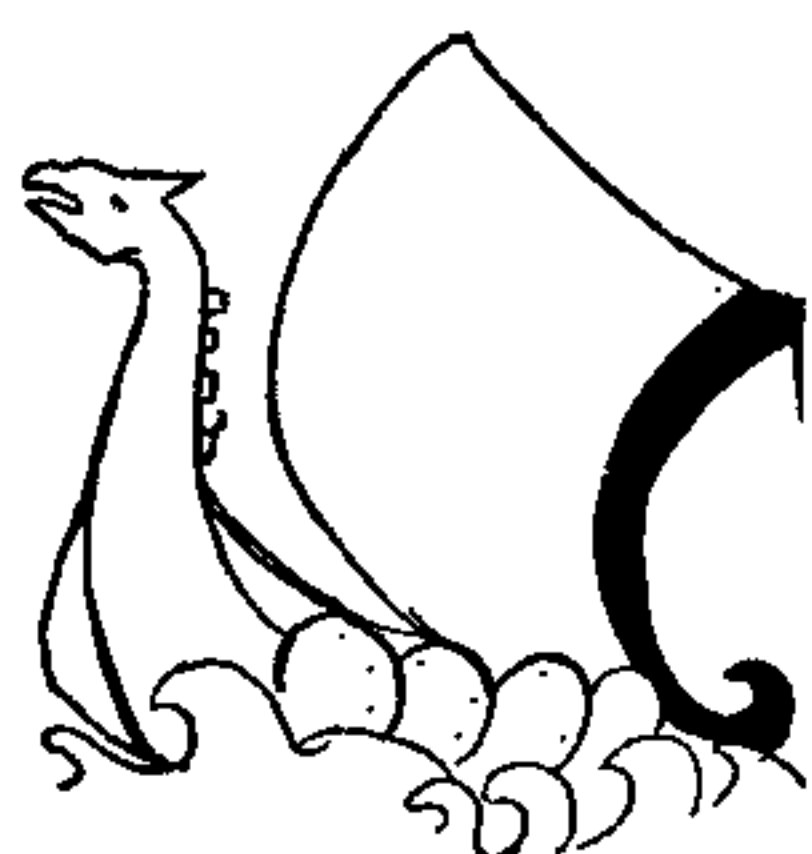
Шел благодарственный молебен за избавление от ига, и вселенская панихида по замученным и убиенным. Служило все уцелевшее духовенство. И такое застывшее молчание лежало над неподвижной толпой, что ни возгласы священников, ни стелющиеся волны хора не могли поколебать этой тяжести.

Настоятель начал проповедь. Вышел, произнес первые слова сдавленным голосом. И не мог больше. Голос оборвался. «Со святыми упокой» — успел только выговорить, и вопль, ответный вопль дрогнувшей, рухнувшей на колени толпы расколол молчание. Плакал алтарь, рыдал и бился весь собор, выливая в этом общем плаче все, что накопилось, все, что можно было сказать только Богу.

Потом, на паперти, на ступенях, встречались старые знакомые: — Вы живы? Вы уцелели?

И уцелевшие печально качали головами. Да, радости не было.





— мотри-ка, что это у вас здесь? — раздается вопрос.

Джан сидит на корточках в витрине мастерской и, вытирая пыль, расставляет несколько ваз. В полуоткрытой двери, заглядывая сбоку, стоит пожилой германский солдат с нашивками и общелкнутым мундиром животиком. Хитрые, деловитые глаза прищурены слегка.

— Кое-что осталось после большевиков, — небрежно бросает Джан. — Это моя мастерская.

Он входит, закрывает дверь и удобно садится, расставив колени.

— Покажите, я охотно купил бы у вас что-нибудь.

— Разве в Германии мало посуды? — откликается Джан, неохотно вылезая из витрины. Кто его знает? Говорит о покупке, а потом реквизирует. В городе магазины заперты, и из них вывозят товары на грузовиках.

— Не бойтесь, — предупреждает он, — я честный коммерсант. Наши заводы работают только на войну. Эта ваза очень хорошо сделана. Вот если бы у вас нашелся целый сервиз...

Джан молча протягивает ему чашку. Он приподнимает брови.

— Розенталь?

— Да. Работа моя.

— Ну, да вы настоящая мастерица! А цена? Имейте ввиду, что я могу привести вам еще много покупателей, так что делайте сразу скидку.

— Сто марок, — говорит она наобум, и сама пугается.

— Наперчено, — отвечает немец, — но половину я дам.

Но Джан чувствует, что уступать нечего.

— Как хотите, — пожимает она плечами. — Покупателей больше, чем товару, реквизиции я не подлежу, а масло стоит теперь сто рублей кило, когда раньше два лата, табаку тоже нельзя нигде купить.

— Папироски? Вы же курите такие, с картонным мундштуком? Я вам принесу табаку и сигарет, могу еще сахару и подошвенной кожи. Мы сделаем обмен, остальное приплачу деньгами. Идет? Ну, вот, я сразу увидел, что с вами можно стовориться. Подумайте, не найдется ли еще чего-нибудь. Ведь у вас много знакомых. Я пробуду здесь долгое время. Шпек, масло, но это пустяки, а вот хорошие вещи — меха, бриллианты... Со мной можно делать дела, поверьте! И вот вам еще пару сигарет, чтобы вы не забыли!

После его ухода Джан сосредоточенно думает. Повидимому, открываются новые перспективы. Дома денег нет, надо что-нибудь делать. По дороге домой она смущенно отводит глаза в сторону. По мостовой у края тротуара торопливо проходит несколько женских фигур, в платочках, на левой стороне груди большая желтая звезда. Шестиконечная звезда Давида. Евреям разрешено выходить только с этим знаком, и ходить только по мостовой, как скоту. Маленькая, лет четырех девочка с черными кудряшками и глазенками — как Инночка в детстве, — устало плетется по крупному бульжнику ската за матерью и, улучив момент, взбирается на гладкий тротуар. Мать тревожно озирается, у нее не хватает духу одернуть малютку, и она еще ниже опускает платок на грудь. В эту минуту Джан обгоняет молодой немец в форме.

— Какая наглость! — громко говорит он, и высоким сапогом сбивает девочку на мостовую. — Плохо учат еврейское отродье!

На кукольных черных ресницах виснут недоуменные слезы, пухлый красный рот кривится плачем, но испуганные глаза матери останавливают детский крик. Джан как будто ударили хлыстом.

— Что вам сделал ребенок? — гневно спрашивает она.

— А вы чего вмещиваетесь? — обрывает ее немец. — Юден-фрейндлих? Знаете, что за это полагается? Покажите ка мне

ваши документы, а то мне подозрительно, — может быть, и вам надо носить звезду, а не нахальничать! Идемте со мной!

— Я живу здесь за углом, в собственном доме, — гордо выпрямляется Джан, — и если вы пойдете со мной, то я вам покажу и расскажу больше, чем вы себе можете представить. Я не еврейка, и мы потеряли трех из семьи во время большевиков, я видела смерть, и вы меня не запугаете фельдфебельским тоном, но я видела уже германскую армию в Риге, и тогда офицеры разговаривали иначе! Я знаю на собственном опыте, что такое политическое преследование, но расовое — это против элементарного человеческого права!

Он не ожидал такого отпора и меряет ее взглядом: но независимый тон и безукоризненный костюм Джан заглушают сомнения.

— Я бы советовал вам держать ваши мысли при себе, — цедит он сквозь зубы. — И, кроме того, заметьте: у кого сила, тот и прав!

Он отворачивается и быстро проходит дальше.

— Никогда! — гневно бросает ему вдогонку Джан.



— Вот что они говорят: «у кого сила, тот и прав», — заканчивает Джан свой рассказ, — и как хотите, но хрен редьки не слаще! Культуртрегеры! Подкованным сапогом в морду!

Она испытующим взглядом обводит чайный стол. Вся семья в сборе.

— М-да, — бормочет Бей, — это ты хватила немного! Но приятного пока действительно мало.

— Я сегодня в лавке чуть не заплакала, — торопливо говорит Куколка. — приходит бедно одетая еврейка, и стоит в стороне. Со мной рядом какая-то латышка, увидела, шипит: «жидс, жидс». А когда она ушла, лавочник, тоже латыш, Зупит, вынимает из-под прилавка пачку масла, и сует ей, и только рукой махнул, не надо, мол, денег даже. Потом говорит мне: знаете, кто это? Домовладелица напротив, а теперь хуже нищей!

— Отец Евгений, за которым я ухаживала, — монотонно и размеренно говорит Вероника, — Царствие ему небесное, умер за два дня до прихода немцев. Все сына ждал, его большевики забрали. Потом нашли в чеке. Я видела труп сама — запытан до смерти. А когда пришли немцы, то на другой день всех евреев, сто с лишним человек, согнали в синагогу, заперли и сожгли, а когда те пытались выбраться из окон, стреляли. Я пыталась говорить, так меня чуть не растерзали... До сих еще крики в ушах... Да, лучше не вспоминать. Я терпеть не могу евреев, всегда была яркой антисемиткой. Вполне понимаю, что немцы хотят избавиться от них, но уже погромы в России мне омерзительны, а германское свержчеловечество и гетто — еще хуже.

Люблю и уважаю немцев. Но вот сейчас в Креславку, недалеко от польской границы, выбралось несколько беженцев из Варшавы. Они рассказывали: в цитадель, во двор, согнали польских аристократов и интеллигенцию, раздели до нага, и давили их для развлечения мотоциклетами. Не буду рассказывать при Инночке. Когда я вижу теперь немца, мне хочется наброситься на него.

— Женщина, занимающаяся политикой, подобна бешеной канарейке, — пробормотал Бей.

— Ха! — набросилась на него Вероника, и ее прежний тон прорвался вдруг в опустошенную монотонность рассказа. — Теперь нет политики вне жизни! Месяц, даже неделю тому назад, тебя могли расстрелять и замучить, не потому, что ты сделал что-то, а потому, что ты просто сам был политикой! И тогда я сомневаюсь все-таки, чтобы ты целовал комиссарские сапоги, хотя, между нами говоря, ты порядочная размазня, Борис Александрович!

— Ну, ну... легче на поворотах, профессор! Но ты ошибаешься. Все эти зверства делает партия, гестаповцы. Между партией и армией раскол. В армии, вообще говоря, всегда самый порядочный элемент. И нельзя из-за нескольких людей обвинять весь народ. В конце концов, товарищами ты еще совсем недавно могла полюбоваться тоже. Ну, а что ты скажешь, если всех русских будут считать энкаведистами? Палка о двух концах! Гитлер, конечно, свихнувшийся фанатик, и если бы был жив Гинденбург, то он бы не допустил подобного безобразия. Но германский солдат — лучший в Европе. В прошлую войну немцы были наши враги, и я честно сражался против них, а сейчас я пойду бить вместе с ними эту большевистскую сволочь, и на все партии мне наплевать. Для меня существует только одна партия — коммунисты, и против них я пойду хоть с самим дьяволом!

— Гитлер воззвал к самым изменчивым инстинктам толпы, — говорит Джан, — и все его замечательные социальные мероприятия сводятся на нет, потому что с одной стороны они, а с другой — преступления, и в первую очередь над собственным народом, который он отравил разрешением греха, разрешением убивать, да еще с издевательством, не врагов, а просто любой народ, поставленный вне закона. Сперва евреи, потом поляки. Теперь на очереди будут русские. Тоже унтерменши. Я себя ни антисемиткой, ни юдофилкой не считаю. Но вот Гельперту чувствую себя обязанной, и если бы он не уехал, то постаралась бы помочь ему, отплатить. Слава Богу, он уехал. Но зато осталось много других. И я буду бороться против нового кошмара.

— Дон Кихот с ветряными мельницами! — фыркнул Бей. — Почему же ты во время большевиков не боролась?

Джан побледнела и даже приподнялась.



— Знаешь, — хрипло сказала она, — вот именно тебе, и всякому мужчине вообще, и бывшему русскому офицеру в частности, я бы советовала не задавать мне таких вопросов. Вара Верескова предавала одного за другим, и вы все шли на убой, и покорно ждали своей участи, и никто не пытался даже уничтожить ее. Ну схватили бы — так, все равно, расстрел, а так, может быть, хоть кто-нибудь да спасся? Но вы сидели и ждали: мол, обстоятельства сильнее меня, я маленький человек, что я могу сделать! «Ничего не поделаешь!»! Слышать этих проклятых слов больше не могу! Я не хочу поддаваться общему оскотиниванию и охамению. Я маленький человек, да. Но своего человеческого лица я терять не хочу. Во время большевиков я никому не могла помочь, потому что сама спаслась чудом, а сейчас положение изменилось. Если мы и будем второразрядными людьми, то евреи вообще вне закона. Я буду помогать им, чтобы не краснеть перед самой собой.

— Я бы хотела пойти в монастырь, — вздохнула Вероника.

— Бей отправляется в армию, ты — в гетто, — задумчиво произнесла Катышка, — а я пойду в госпиталь. Вы меня оставляли в покое, и это плохо. Работа, вот что мне нужно. Поступлю на курсы сестер милосердия в Красный Крест. Ярик большой уже, его можно в детский сад.

Джан обернулась к ней. Безразличие в Катышке еще осталось, но видно было уже и другое — упорство. Не наивная девушка с косами, не застывшая жертва, а взрослая женщина.

— Об Ярике мы позаботимся, конечно, — закончила вслух свои наблюдения Джан, — и мне очень нравится твое решение. Простое и хорошее, как и ты сама. Я бы тоже пошла, но надо же кому-нибудь зарабатывать тоже... Маруся будет хозяйничать... чего у тебя опять глаза на мокром месте?

— Один на войну-у... другой...

— Другой на войну! — почти повеселела Джан. — Все мы на войне, Куколка, и ты тоже!

Джан поднялась к себе, присела на корточки перед грудой натановских книг, положенных пока просто на пол, и, взяв первую попавшуюся, раскрыла ее.

— «Лучше зажечь хоть одну свечу, чем сидеть в темноте», гласит китайская пословица — прочла она, остановилась, подумала и одобрительно качнула головой. Хоть одну свечу!



Первый большой город в тылу, последний европейский город на пороге — Рига вскипела новой, беспорядочной, мятущейся жизнью. Трагический кавардак стал обыденностью, самые простые вещи — сложными проблемами, а сложные перестали существовать вообще, как и будущее, потому, что о них никто не задумывался. Некогда было в трещающей, как соломенный костер, торопливой суматохе дней.

Горький запах обугленных домов втягивался тонкой разъедающей струйкой в пыль грохочущих машинами улиц. Мотоциклеты, грузовики, пятнистые и серого защитного цвета, неслись без перерыва на грязной, выбитой мостовой. В городе никогда еще не было столько автомобильных катастроф. Многострадальные вывески перемалевывались снова. Улицы Карлов Либкнехтов превращались в Гитлеровские. Улицы были полны солдат, офицеров, с победоносно заломленной фуражкой. Все — подтянуто, все фельдграу, и все это прочно, надежно, быстро и точно организовано. Но, вместо энкаведистов, — люди в светло-коричневом, почти желтом, с яркими, как маки, гакенкрейцами: «фазаны». Брошенную неизвестно кем кличку сразу подхватил весь город. По утрам на улицах ровный топот марширующих солдат.

«In der Heimat, in der Heimat» — звенело бодро и весело. По утрам нестройно шли небольшими группами стыдящиеся женщины в платочках, потупленные мужчины в потертых костюмах, с желтыми, неприятно режущими глаз звездами на груди и спине: евреев гнали на работы. Один-два солдата, небрежно покрикивая, шли рядом по тротуару.

Проходили по улицам и третьи колонны — длинные, серые, с черными людьми. Пленные. Шинели волочились, окровавленные повязки почернели, и пыль долгих километров, пыль побежденных запекалась коркой на лицах. Пустые сумасшедшие глаза в глубоких провалах, скрюченные рты. Колонны шли иногда часами. Медленно, тупо, с немногими сторожевыми по бокам. Кто-то падал, его подхватывали, тащили несколько шагов, выпускали из рук. Иногда он поднимался, чаще оставался лежать, потом подбирали трупы. Позади, подметая пыльным шлейфом мостовую, тащилась смерть, придавливая людей все ближе, все ниже к камням.

Иногда были слабые попытки заскочить на ближайший двор, выхватить из помойки что-нибудь, но молотили приклады, и колонна двигалась дальше. Иногда прохожие протягивали хлеб. Его сразу рвали на части, поднималась свалка, опять приклады, грозные крики, выстрелы. Советскую армию не брали в плен, она сдавалась сама. Гитлер освобождал от большевиков! Немцы — избавители! Пленных гнали в лагеря, наспех затянутые проволокой, всех в одну кучу, не спрашивая, не разбирая. По дорогам вслед за ними тянулась выеденная трава и оборванные листья на деревьях. В казармы одного латышского полка в Риге, на Гризенкалне, где в мирное время размещалось полторы тысячи человек, согнали сорок тысяч. Голод, дизентерия, тиф. Может быть, и разбитое сердце — или сердца разбиваются только от любви в романах?

Первое, что получило освобожденное население — были продовольственные карточки. На них давалось немного хлеба, масла и мяса. Все остальное считалось лишним, и его не было — ни

на карточки, ни в магазинах. Армейский экономический магазин, самый большой в Риге, рестораны и кафе были открыты только для немцев. Табак, мануфактура, овощи, дрова — все, начиная от швейной иголки и кончая картошкой, стало проблемой: где достать?

Город молниеносно перестроился на черный рынок. Знакомые и даже незнакомые встречались на улице, спрашивали:

— Есть у вас мыло?

— Да, а у вас есть лук?

По дорогам и на базарах устраивали облавы, но это не помогло, цены росли.

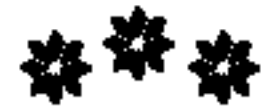
Немецкие войска лавиной шли дальше. В занятом ими Пскове в церквах служили молебны и встречали пением «Христос Воскресе». Но в Германии были нужны рабочие — и в селах и городах, у тех же церквей устраивались облавы и забирали всех, кто годился. Часто не давали даже проститься с семьей, грузили в теплушки и увозили на Запад, в лагеря с брюквенным супом и значком унтерменша «остарбейтер».

Тюрьмы были полны снова. Кто слушал заграничное радио, кто за три пары чулок, «юден» или «руссен»-«фрейндлих», кто просто по доносу. На Ремерской, у Бастионной горки, громадный угловой дом был занят гестапо. О том, как там избивали, говорили уже шопотом. Целый блок в Форбурге тоже занимало гестапо, но там было хозяйственное отделение — в мастерских работали евреи, для высших чинов и их жен. Были и другие гестаповские центры.

Крестьянам обещали отдать — со временем — отобранную у них большевиками землю. Латышские хозяева, «саймниеки», дружно предупреждали друг друга о грозящих облавах и поочередно угоняли скот в лес, когда они приближались. Говорили, что саймниеки, продававшие раньше сотню свиней, при большевиках выкармливали десять, а при немцах пять — по крайней мере, официально. Остальное продавалось из-под полы, потому что только таким образом они могли купить себе что-нибудь, за бешеные деньги. Германский адмирал в Риге велел расстрелять матроса, продавшего пачку табаку на толкучке. Но это было таким же исключением, как и человек, который ничем не торговал.

В первые же дни несколько сотен хорошеньких молодых евреек были отобраны для борделей. Когда они заболели или беременели, их расстреливали и заменяли новыми. Цены на еврейские квартиры были повышены вдвое, и жители Московского форштадта стали получать хорошие отступные за самые скверные лачуги — утверждали, что всех евреев переселят в район Московской улицы. Но и отступные не помогли. Район от Лачплеша до Красной Горки вдоль Московской был объявлен гетто, и там, в центре форштадта, выселили всех жителей и вдоль тротуаров стали вбивать колья с колючей проволокой.

Латыши чувствовали себя очень скверно. Правда, они не любили немцев и искренне злорадствовали, когда балтийцы репатриировались, но после большевиков и гитлеровские войска стали желанными. Во всяком случае, их встречали со смешанными чувствами. И эта смятенная неопределенность — и много непогашенных старых счетов — сквозили во взглядах и словах, а к ним прибавлялись все новые и новые. Победы на фронте сыпались, как листья с деревьев, но осенняя позолота слишком суха и поверхностна — ее легко стереть. О том же, что не стоит сеять ветер, всегда вырастающий бурей — предупреждается еще в Библии, но воистину: легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем человеку!



В книге заказчиков у Джан был записан частный адрес Заленсона. Джан купила две булки белого хлеба «по-черному», сунула их в портфель и пошла, раздумывая по дороге, что можно было бы поговорить и о деле, чтобы неожиданное посещение не показалось обидным. Дверь открыла видимо испугавшаяся молодая женщина.

— Господин Заленсон дома? — деловито осведомилась Джан и тут же выругала себя за глупый вопрос: — где же он мог быть в то время, когда евреям запрещено выходить?

Заленсон в сандалиях на босу ногу и старых теннисных брюках, слишком узких для широкого зада, качал головой. На больших окнах колыхалось дорогое кружево занавесок, в резном буфете красного дерева блестел хрусталь, и так странно было в этой элегантной столовой положить на стол принесенный хлеб. Женщина, открывшая дверь, оказалась хозяйкой дома.

— Теперь мы не смеем держать прислуги, — объяснила она, снимая передник. — Вот если бы яичек, мадам... и масла тоже.

— Ты говоришь о яичках и масле, Роза, и не видишь самого главного. А я вот смотрю и думаю: как же еще могут быть чудеса на свете, что? В дни гонения — ой, это же хуже погрома! — приходит человек и спрашивает: чем я могу помочь? Разве мне мадам Керам должна что-нибудь? Есть другие, которые должны, и тоже чистокровные арийцы, но они не зайдут, они боятся, что я им поклонюсь на улице. А тут человек не побоялся зайти в еврейскую квартиру, зная, что за это его могут посадить в тюрьму — ой, ущипни меня, Роза!

Джан было так же неловко, как бывало, когда ее называли замечательной художницей наивные или желавшие чересчур польстить заказчики.

— Зато я получила от Сапуго аванс под заказ, который не смогла выполнить при большевиках. Вот теперь отрабатываю — хоть не ему самому, так вам — может быть, то же на то и получится.



— Вы шутите, мадам, а я понимаю и ценю. Но скажите только, вы умная женщина: долго еще это будет продолжаться? Ну, я понимаю, наложили бы на нас контрибуцию. Когда евреи не платили контрибуции, раз чужая армия занимает город? Ну, устроили бы хорошенький погром. Грех говорить, но ведь это небольшие жертвы. И погром мы бы пережили, и контрибуцию заплатили бы кагалом. Но ведь этого мало, им не нужны деньги. Ну, пусть посадят в гетто, но надо же что-нибудь такое, чтобы знать как жить, как устраиваться, разве неправильно я говорю, что? А тут мы сидим восемнадцать дней взаперти и жена плачет, когда должна идти в лавку со звездой — такую жизнь просто невозможно выдержать! Как вы думаете?

Джан с тоской посмотрела на кружевные занавески. Нет, она не могла сказать ничего определенного. А о смутной догадке, что дальше будет хуже, гораздо хуже, чем Заленсон и она сама могут себе представить, нельзя было говорить.

Джан ушла, унося с собой два письма — одно шурина Заленсона, другое его сестре. По дороге вспомнила, что недалеко модистка, у которой она всегда покупала шляпы, тоже еврейка — и зашла к ней. Модистка расплакалась, увидя ее, и заломила в отчаянные руки. Немцы забрали в публичный дом подружку дочери, красавицы Берты, и девочка лежала теперь в истерическом припадке. Мать не знала, что делать с ней — и великолепным Бехштейном, единственной роскошью в заваленных шляпами и болванками комнатах. Что делать, если Берта попадет на глаза, а ведь берут на работу? Куда поставить, кому продать Бехштейн, если придется переезжать в какой-нибудь подвал на Москаче? И чем жить, если теперь ни одна заказчица не придет к ней?

Джан купила совершенно ненужную шляпу и обещала принести продукты, найти хорошего покупателя на рояль, и...

Это было началом. Через две недели Джан вертелась, как мельница. На оси этой мельницы перекрецивались два крыла: трагедия и спекуляция. Сочетание было неизбежным, как и рост крыльев. Об усталости и отдыхе было некогда думать, молитва сменялась азартом, страх — риском. Дни стали сумасшедшими, острыми, нелепыми, не похожими ни на что больше, но одно колесико цеплялось за другое и Джан, раздираемая всем этим хаосом, уже не могла, да и не хотела остановиться.



В семь часов утра условный стук в кухонную дверь. Раз-два. Заспанная Куколка открывает, не глядя, и бормочет:

— Мадам Керам в своей комнате наверху. — Лицо пожилой женщины кажется ей незнакомым, и она добавляет: — Через переднюю, лестница наверх.

Джан садится на тахте, на которой спит, и накидывает домашнее платье. Посетительница сидит напротив — Джан видит

ее впервые — и говорит монотонно, чуть раскачиваясь, в голосе слышится библейский плач.

— И мы сидим на узлах, прямо на рельсах, всю ночь и весь день, и половину вещей разворовали, и так мы не уехали с советскими, и теперь нас ждет гетто и смерть. Да, смерть. Я старая женщина, но у моей Доры только что родился ребенок, и в доме нет молока, а у нее пропало.

Она резко дергает платье, трещат кнопки, и Джан видит старомодную рубашку из толстого полотна, желтую впалую грудь. На коже и рубашке странные пятна.

— Кровавый пот... — бормочет старуха. — У меня на теле выступает уже кровь. Мне не долго. Но Дорочка. Мишенька... В лавке нам ничего не дают. Вот я принесла вам серебро. Пожалуйста, зайдите к нам, возьмите мебель, Трессельт. Я вас знаю, мне говорил Шмулевич.

— Мадам, серебро — может быть, но немцы не покупают мебели.

— Поставьте у себя, сохраните, я вам заплачу.

— Мадам, у меня стоит уже один чужой рояль!

— Ну, так у вас же целый дом! Поставьте второй... у вас не отнимут. Только скорее, лучше сегодня.

— Хорошо, я зайду. Тут сколько вещей? Зовут вас — Борман, Мельничная, три...

Джан повторяет медленно цифры, из осторожности не записывая. Но и не надо, память безошибочно раскладывает все по клеточкам.

Стук в дверь. Раз — два.

— Ой! — пугается старуха. — Если меня увидят...

Джан быстро всовывает ее за штору.

— Войдите!

Входит, быстро озираясь, коренастый, интеллигентный еврей в синем овероле.

— Здравствуйте, мадам, вы уже встали? Я по дороге на работу, сунул немцу пачку масла и к вам... Потом проберусь задним ходом, в мастерскую... Так вот, сегодня вечером, значит, в семь часов, я к вам зайду с тем человеком. У вас все готово?

— Все. — Джан показывает пальцем на штору и громко говорит: — Послушайте, голубчик, посмотрите, что делается на балконе, а я пока переоденусь.

Посетители не любят встречаться без надобности, и пока тот понимающе отворачивается, Джан выпроваживает старуху. Гемофилия у нее? Почему кровавый пот?

— Скажите на кухне, чтобы вам дали молока для ребенка.

— Спаси вас Бог! — доносится с лестницы.

— Уже посетители? — отходит от балкона еврей в овероле — Левштейн, большой делец, один из лучших скорняков в Риге. — Мадам, вы тянете с налетом, а мы наднях уже переезжаем в гетто, уже поздно будет.

— Налет сегодня, ровно в двенадцать. Вы предупредили жену? Если мои немцы не подведут... и каждому я обещала по чернобурке.

— Вот, я уже приготовил.

— Достаточно, я думаю. Когда справимся вечером с той работой, я приду к вам ночью — можно будет переночевать? — и тогда отсортируем меха.

— Хорошо, я позабочусь об ужине, и одна комната все равно пустует. Да, вот еще: сегодня я везу картошку в гетто, — как на переездах?

— Как будто бы ничего. Ой, зачем сегодня... лучше бы сперва налет.

— Левштейн, вы не один у меня. Кому спасти драгоценности, а кому надо хлеб.

— А мне разве картошка не нужна? Сколько у вас мешков? Пятнадцать? Оставьте мне два. Чересчур у вас много на один день, вы бы разделили...

— Каждый день новое, нельзя.

— Теперь давайте, что у вас есть. Масло, яичек, главное — табак. И достаньте ликеру, надо угостить сторожей. Мадам, вам самим надо выучить дорогу к нам.

— Левштейн, побойтесь Бога. Ну, как я приду в гестапо!

— Ну, и что ж? Можете надеть звезду, или еще лучше — вы просто входите в подъезд, поднимаетесь на третий этаж, а я открою. Если внизу кто спросит — говорите, что ищете скорняжную мастерскую, слышали, что здесь есть, а вам шубу чинить... увидите, совсем просто, надо только решиться. Почему масло?

— Левштейн, у меня просьба: в одну квартиру к полуевреям вселили немца, хозяйка хотела продать ему свою каракулевую шубу, просила восемь тысяч рублей, он дает шестьсот марок, и еще грозитя, а шуба первоклассная. Я обозлилась и просила ее подождать два дня, сказала что десять тысяч дам, стоит того.

— Так, значит, дать вам десять тысяч?

— Да, у меня таких денег нет. Заработок — пополам.

— Ах, бросьте, мадам. Надо же и вам на чем-нибудь заработать, я же знаю, что вы на продуктах не зарабатываете... Только смотрите, не промахнитесь. Помните, как я вас учил смотреть мех? С собой у меня только нет, но вечером получите. Ну, буду держать кулак, чтобы налет сошел гладко. Но за вас я не беспокоюсь. Вы же такая... еврейский ангел. Пока, мадам! Куриц я заберу на кухне. Да жене свезите парочку тоже!

Джан быстро убирает постель с тахты и спускается в ванную. Ванная — единственное убежище. Через пять минут — звонок, и Маруся просовывает голову и в ванную.

— Джан, два немецких лейтенанта. Куда их?

— В столовую. Ты уже накрыла на стол? Знакомые?

— Нет. Степан принес масло. Брат?

— Все, что есть.

— Картошку опять всю увезешь. А что нам останется?

— Будет еще. Прибери потом, Маруся, наверху, я не успею. Джан проходит в столовую с официально любезным видом.

— Пожалуйста, садитесь, господа. Что вам угодно?

— Нас прислал капитан Фрауенхофер, который купил у вас отрез на костюм. Вы его знаете? — говорит один из офицеров постарше. Джан не помнит, конечно, — кто их там разберет, — но кивает.

— Он остался вам должен 300 марок. Вот деньги. Я ищу каракулеву шубу для жены. Вы могли бы достать?

— Да, пожалуй... в три часа завтра.

— В три я уже в поезде.

— Хорошо... Джан переставляет в уме клеточки завтрашнего расписания. — Тогда... в десять утра.

— Мой товарищ тоже ищет что-нибудь для подарка.

— Есть серебряные вещи. Хотите посмотреть?

Офицеры поднимаются на верх и удивленно оглядываются.

— Сколько книг... и это все ваши?

— Я не всегда торговала шубами.

Они покупают серебро, не торгуясь, угощают сигаретами, и чувствуется, что хотели бы посидеть и поболтать, но некогда.

— Дер фриштик фертик! — гробовым голосом «дипломатически» заявляет в дверях Маруся, и офицеры вежливо встают.

— Какие милые! — смягчается Маруся. — Джан, они на долго?

Раз — два. Опять, Господи!

— Дайте же вы ей поесть хотя! — слышится жалобный голос Маруси.

— Я на минутку.

— Садитесь, Джокер, и выпейте со мной чаю.

— Который я по счету сегодня? — улыбается широким симпатичным лицом, похожий на плюшевого медвежонка, молодой инженер.

— Пятый. Но вы же недаром Джокер — значит удача.

— Я к вам за сахаром, мукой, и, вообще, моя Лена целый список приготовила. Очень просила вас зайти. Нам ведь тоже в гетто перебираться надо, просто не знаешь, куда вещи девать.

— Рая еще ничего не узнала о муже?

— Нет. Не думаю, чтобы он был жив. Все те, кто был арестован немцами, сразу... ну, да не стоит говорить. Джан Николаевна, я вам принес наш ковер, положил в передней пока. Потом повесьте, настоящий. Пока не продавайте, когда будем в гетто, тогда... Как вы нас тогда кормить будете?

— Доберусь, будьте уверены.

— Мы уже смеялись вчера, — подхватывает вошедшая Инночка: — Маруся режет булку, а в ней вдруг большой кусок



веревки. Папа вытягивает ее и говорит маме: ты что уже, для гетто хлеб с веревочной лестницей печешь?

Добродушные глаза Джокера с мольбой смотрят на Джан.

— Женщина неограниченных возможностей! Вам я поверю, если вы скажете, что еще все образуется.

— Непременно! — энергично трясет головой Джан. — Только вы бы подумали насчет документов. Такая досада, что вы зарегистрировались евреем. И с виду непохожи, и фамилия чуть ли не английская... Я вам серьезно говорю. Неужели нельзя наладить связи с кем-нибудь из префектуры и устроить другой паспорт, а пока переехать не в гетто, а ко мне?

— Да вы как будто нарочно дом строили. Два выхода, и один совсем конспиративный.

— Джан, тачечник уже приехал и тянет картошку!

— Простите, Джокер. Завтра зайду, непременно. Список дайте Марусе, я сама толком не знаю, что у меня в кладовой. Не успеешь достать, как все расходится по моим подопечным.

Джан уже на ходу накидывает пальто, набивает продуктами чемоданчик. Надо указать тачечнику улицы, по которым идти, не совсем точно указывая адрес, и притом само собой разумеющимся тоном, как будто он не понимает, что угол Лудзас иела — это уже гетто, запретное место, куда не только с тачкой, но и вообще...

— Там я вас долго не задержу, — многозначительно добавляет Джан и идет вперед, как она думает, обычным шагом. Тачка тяжелая, успеет ли она обернуться с ним до двенадцати? Странная пара, этот Джокер с Леной. Она лет на десять старше, хотя красива, правда, но злая, по лицу видно, а он от нее не отходит, в глаза смотрит... Сестра его, Рая — трагическая красавица, вышла замуж этой весной по большой любви, а теперь муж погиб, конечно. Все новые знакомые... Вот еще гонят на работу.

Она старается идти ближе к мостовой, и вглядывается в лица, ища знакомых, чтобы незаметно кивнуть, подбодрить взглядом, улыбнуться... И только сейчас замечает, что тачечник, ражий парень, уже исчез за углом, обогнав ее, как паровоз.

— Картошка! — ахает Джан и мчится почти бегом. А что, если он свернет куда-нибудь и пропадет со всем возом? Картошки нет в городе ни за какие деньги. Ну, как можно быть такой растяпой? И чтоб они провалились, все эти автомобили, как на зло нельзя проскочить улицу.

Чемодан сразу тяжелеет от быстрой ходьбы. Джан перекидывает его с руки на руку, ей жарко, пальто расстегнуто, лицо покраснело, глаза сердито блестят — и она действительно не замечает ничего, мчись все дальше, пока не нагоняет тачку, запыхавшись и уже миновав переезд на Гертрудинской и мало известный еще боковой вход в гетто. На Лудзас иела она идет уже спокойно рядом, когда к ней подбегает какая-то женщина.

— Это вы, мадам Керам? Вы с картошкой? Бог вас хранил: Всех арестовывают сегодня на переездах, у кого хоть маленькая сумка с собой.

— А я не заметила, — искренне недоумевает Джан — я шла по Динабургской.

— На Романовской и Мельничной целые облавы!

— Ну, значит, Бог хранил, — Джан облегченно вздыхает, въезжает с тачкой на знакомый двор, мешки сваливаются, тачечник рассчитан.

После двенадцати Джан возвращается домой. Чемодан набит пустыми мешками, руки, ноги болят, в горле пересохло. Хорошо бы прилечь немного и посмотреть, как медленно золотится баллюстрада балкона от опадающей липы...

— Господи, слава Богу! Бей, Инночка, мама вернулась! — кричит не своим голосом Маруся.

— В чем дело? — устало спрашивает Джан, шлепает чемодан в передней, и с удовольствием ощущает после пыльного, гомонящего гетто, оборванных форштадтских домов и нагромождения трагедий — приятную прохладу спокойного маленького холля, гармонию тонов и ласковый запах флоксов в большой вазе у последних ступенек лестницы.

— Мы уже думали, что ты погибла. Прибежал Левштейн, страшно испуганный. Где ты? Чтобы ни в коем случае не везла картошку! Арестовывают на всех переездах. Когда узнал, что ты ушла, просто рукой махнул: погибла! Я места не могла найти...

— И зря. Все благополучно. У нас никого нет?

— Только что пришли двое, знаешь, которые уже часто приходили, они у тебя.

Джан поднимается наверх, не совсем довольная, что Маруся оставила этих немцев одних в ее комнате. Слишком много там вещей, притом чужих.

— Простите, я немного запоздала, — говорит она, здороваясь с эс-эсовцем, молодым лимфатичным парнем. — Ваш товарищ знает, в чем дело?

— Да, до некоторой степени.

Джан садится и смотрит на обоих. Главный риск в том, что очень трудно сговориться. Они подозревают больше, чем есть на самом деле, а она не доверяет им. В последнюю минуту пойдут на попятный и посадят в лужу, если не хуже. Что тогда?

Один указывает на большую фотографию Лаврика на полке и подмигивает.

— Не жених ваш, а?

— Я замужем. Это муж моей сестры, художник. Был арестован большевиками и увезен вместе со своим отцом, сенатором. Мать покончила с собой.

— О... у обоих слегка меняются физиономии.

— А сестра ваша?

— Она живет со мной и ребенком и работает сестрой милосердия. У меня вообще большая семья, о которой надо заботиться, а так как большевики разграбили мою мастерскую, и деньги пропали тоже, то приходится заниматься разными делами. Жизнь дорога, и...

— О да, мы понимаем...

— Так вот, дело очень простое... Мы сейчас возьмем извозчика, а вы поможете мне вынести из одной квартиры несколько мешков и чемоданов, и мы привезем их сюда. Одна комната в этой квартире заперта, то-есть запечатана, но давно, и о ней, вероятно, забыли... На всякий случай, можно оставить бумажку. Вы принесли?

Бледный парень вытягивает пустой бланк с печатью. Джан вставляет в машинку листок.

— Помогите мне, я не знаю формы, — вполголоса говорит она: — Настоящим удостоверяется, что из мастерской... Левштейна... на основании постановления... какого? Ах, просто: постановления... изъять имеющиеся товары. Точка.

Она на секунду задумывается и размашисто подписывает: «Бергер».

— Ловко! — эс-эсовец одобрительно крутит головой. — А что потом?

— Потом я верну эти вещи хозяину, так что они пробудут у меня в доме не больше десяти минут, а вы будете вознаграждены за вашу услугу. Вы, кажется, интересовались чернобуркой?

— Да, но хорошей! Знаете, фрау, такое дело... если кто-нибудь узнает...

— Кто? — жестко спрашивает Джан. — Вы думаете, что мне или владельцу вещей интересно говорить об этом? Да и вам, я думаю, лучше молчать...

— А если, когда мы приедем туда, там уже будут другие? — осведомляется его товарищ.

— Скажете, что ошиблись квартирой. Значит, едем?

Мадам Левштейн пугается при виде немцев сперва искренне, потом только для виду. Соседи тоже высунули головы на лестницу, это хорошо, вполне входит в программу. Вещи реквизируются! Двери во вторую половину квартиры, где примерочная и склад, запечатаны, Джан сама снимает печать. Мадам Левштейн ведет немцев в столовую и ставит перед ними бутылку коньяка. Пусть подождут, а они сейчас приготовят вещи...

Джан немного прохладно от легкого озноба. Может же случиться, что сейчас появятся настоящие гестаповцы? Но думать некогда. Мадам Левштейн тащит приготовленные мешки и быстро хватает с вешалок самые ценные меха и шубы.

— Ну, вот и довольно. Остальное не такое дорогое, потом сами перетащим, двери теперь открыты.

— Вы считали, или записывали?

— Ах, мадам Керам! Неужели мы не знаем, с кем имеем дело? Муж разберет потом. Он сегодня у вас?

— Да, есть еще дело вечером, поздно кончим.

— Пусть поспит хоть одну ночь спокойно. Вы знаете, я каждую ночь раз десять просыпаюсь. Все жду — придут, схватят. Как вы во время большевиков. Роли переменялись. Ну, идите, идите скорее, спасибо за курочек. Помогай вам Бог!

Мешки снесены, вся пролетка завалена ими, немцы стоят на подножке, Джан идет пешком вслед за ними. «Налет» удался блестяще — если они не дадут сейчас извозчику другого адреса. Но он едет, куда следует — домой.

— Ну, теперь вы довольны, фрау? — спрашивают они, снова поднявшись к ней в мезонин.

— Я думаю, что вы тоже останетесь довольны. — Джан вынимает из секретера лис, и прячет их за спиной: — Правую или левую?

Лисы хороши обе, и немцы расплываются в улыбке. Если что-нибудь нужно, пока они еще тут...

— Ты когда-нибудь пойдешь обедать? Уже три часа! — кричит Маруся.

— Иду, иду! Когда придет тачечник, чтобы ехать за Тресельтом? В четыре? Инночка, после обеда ты сходишь в четыре места. Я приготовлю пакеты с записками. Возьми корзинку и сумку...

— Один умный человек развел ферму, — начинает Бей. — Разводил крыс и кошек. Кошек кормил крысами, а крыс — кошками, и с тех и других сдирал шкурки. Так и ты. Ты кормишь евреев, а они тебя кормят.

Инночка фыркает, но Джан злится. Бею хорошо подсмеиваться. Вот его уговорить снести куда-нибудь продукты или принести чемодан труднее, чем гору сдвинуть! А о том, сколько теперь приходится тратить в месяц на одну еду и табак, он совершенно не задумывается.

— У меня свои принципы, — твердо говорит она, — и мне нечего их стыдиться. Ни на каких продуктах я ничего не зарабатываю. Но, если я беру вещи, в особенности у богатых людей, которые все равно пропадут, то плачу им, сколько они спрашивают, а по сколько продаю — это уж мое дело. И считаю это справедливым. Так вот, Маруся, ты тоже сходишь, — запиши куда. Я муфель жгу сегодня вечером, вернусь поздно, с ужином не ждите. А тебя, Бей, попрошу снести в собор мешок луку для пленных, один батюшка там передаст, я уже говорила с ним, у них цынга.



Официально продается несколько чашек и ваз. Но обычно покупатели проводятся по одиночке — в муфельную, или во вторую комнату, где раньше делались изразцы. Никто не хочет, чтобы его видели.



Джан надевает халат и садится за глину. Сегодня надо жечь муфель, у нее уже наклеплено достаточно фигурок. В семь придет Левштейн, и тогда начнется самое главное...

Левштейн приходит поздно. Джан уже закрыла дверь на улицу, спустила штору и заставила муфель фигурками и вазами. Раз-два! — стук с черного хода. Левштейн, и вместе с ним пожилой, сутулый человек, в широком пальто, с толстым портфелем и беспокойными глазами.

— Знакомьтесь, — бросает Левштейн и осматривается. — Никого нет? Как я беспокоился за вас сегодня! Ну, молодец! Потом поговорим. Сейчас давайте приниматься за дело.

Пришедший с ним человек — один из крупнейших ювелиров — садится на диван и обеими руками держит свой портфель. Страх так ясно дрожит у него в кончиках пальцев, мельтешит в глазах, что Джан даже жаль его, хоть и непонятно. Раньше человек с миллионами в портфеле на диване в ее муфельной внушил бы ей совсем другие чувства. Но сдвинутый фокус стал уже давно прошедшим. Как можно сейчас думать о ценности вещей?

Джан ставит на стол глиняную миску, самый дешевый рыночный товар, она никогда не делает такого.

— Вот видите, — ровно объясняет она, — вы кладете на дно камни, я их замазываю сверху глиной и ставлю миску в муфель, то-есть вот в эту печку. Она герметически закрывается, и я топлю ее вместе с вами часа три. В печке стоят глиняные фигурки, но только одна такая миска. Температура достигнет не больше четырехсот градусов, даже триста можно... Бриллиантам от нее ничего не сделается, им нужны тысячи градусов. Когда топка окончится, сразу открыть нельзя, иначе все лопнет. Мы уйдем и запрем вас тут. Вы можете спать на диване. Завтра утром я прихожу, открываю муфель, и вы получаете миску. На то, что ее дно будет толще обычного, никто внимания не обратит, потому что грошовый товар. А уж глиняную миску вам оставят при любом обыске. Знать об этом никто, кроме нас трех, не будет. В Левштейне вы уверены, а я... я играю честно. За такую вещь расстрел не только вам, но и мне обеспечен. Так что... а относительно гонорара...

— Не меньше, чем пару карат, — вставляет предусмотрительно Левштейн: — это вы имейте в виду, Готлицер, я с вас процентов не беру, надо помочь своим, но мадам не дам в обиду, иначе меня все евреи разорвут на части!

— Ну, да, — оживляется Готлицер, — но столько времени ждать... к вам могут придти... немцы, гестапо... вы помогаете евреям.

— Могут и придти — спокойно кивает Джан, — ручаться не буду.

— Ну, и что тогда?

— А вы еще не привыкли к смерти?

Готлицер видит перед собой большие, странно светлые глаза в черном обводе ресниц, и внезапно успокаивается.

— Хорошо. Я вам верю, хотя бы мне это стоило головы и потери всего! Но про вас не даром говорят...

— Вы бы поменьше говорили, — лениво отзывается Левштейн, развалясь на диване. — Мадам, не пора ли вам затопить печку?

Привычная муфельная кажется теперь декорацией гофманской сказки. Левштейн сидит на корточках перед топкой, и смуглое лицо в огненных бликах кажется разбойничьим. Джан приготовила комок глины и сняла халат: под ним платье с короткими рукавами, пусть видит ее руки, чтобы не боялся, что она украдет! Готлицер вынул из портфеля тяжелую шкатулку, раскрыл и высыпал на стол груды; радуга взметнулась и дрожит на столе под лампой — да, есть на что посмотреть!

— Ну, тут вам до утра работы хватит, — качает головой Левштейн.

— Да нет, почти все уже вынуто. Вот они, отдельные...

— Давайте мадам сразу выбрать. — Левштейн наклоняется и перебирает вещи, вертит в пальцах. Готлицер следит за ним, но тот не стесняясь, выбирает одно кольцо и протягивает Джан.

— Будет на палец, как по мерке! Что? Ну, скажите, что Левштейн не умеет выбирать!

— Это ж солитер, три с половиной карата, голубой воды! — ахает Готлицер. — Вот мадам отложила себе совсем другое...

Левштейн делает характерный еврейский жест.

— Пхе! Готлицер, вы мешуге! Я не считаю в ваших карманах, но здесь довольно, ой, я хотел бы иметь столько! Или вы думаете, что голова мадам стоит меньше вашей? Что она отложила? Цацки, лом. Готлицер, вся наша жизнь теперь лом, и стоит меньше, чем старое железо, а вы хотите торговаться из-за карата. Я вас привел, и я вас уведу, и я за вас отвечаю!

Джан немного неловко, но она улыбается. Почему бы Левштейну и не быть щедрым — за чужой счет? Солитер великолепен, а серьги — ей давно хотелось иметь именно такие.

Бриллианты насыпаны на дно миски толстым слоем. Показывая каждое движение, как на сцене, Джан замазывает их глиной, ставит в муфель, задвигает тяжелые плиты. Огонь уже трещит в топке. Левштейн усердно подбрасывает дрова, как когда-то Кюммель — где теперь Кюммель? Спасся ли? В бывшую Русскую Драму прислали удостоверение на имя Щеглика, нашли на трупе в латгальском лесу. Кто его убил, — неизвестно, конечно. Волин со Звонарской бежали на велосипедах, но, кажется, спаслись...

— Теперь мы можем спокойно поужинать, выпить чаю, я приготовила...

— Да, вы уж постараетесь обо всем... Ну, и я вам стараюсь, что? А из лому, Готлицер, я возьму у вас кое-что, я теперь

вспомнил, мне надо... — и Левштейн вытаскивает из заднего кармана крохотные весы, — чего только не найдется у него? И если у одного еврея в кармане золото, а у другого деньги, то разве они могут сидеть столько времени без того, чтобы не поторговаться всласть?

Выйдя в первую комнату, Джан примеряет перед зеркалом серьги и любуется ими. Большие и старинные — как раз то, что ей хотелось. На широких цепях полукружие вытянутого полумесяца, усыпанного бирюзой, желтыми бриллиантами и рубинами, а от него на цепочках густая бахрома подвесок — грушевидных жемчужин, с бриллиантовой коронкой каждая. Бриллианты желтые, старинной грани, играют, как сумасшедшие, и вместе с нежным мерцанием жемчуга, теплотой рубинов и неожиданной нежностью бирюзы дают чудесную гамму ее смуглому лицу. Серьги со старинного портрета...

— Как королева, — говорит Левштейн, подошедший сзади. — О ценности я не говорю, солитер стоит больше, но вкус у вас есть, таки-да, и большой.

— Однажды в пустыне, — говорит медленно Джан, и прислушивается к отголоску собственных слов, — у араба взбесился верблюд, скинул всадника и погнался за ним. На бегу увидел араб яму, и уже прыгнул в нее, когда заметил на дне дракона с разинутой пастью и ухватился рукой за куст, росший на краю. Так, вися между драконом внизу и разъяренным верблюдом сверху, заметил он, что корни куста, за который он держался, подгрызают две мыши — черная и белая, день и ночь. Но на ветвях куста висели спелые, сладкие ягоды. И он забыл и дракона, и верблюда, и мышей, и потянулся к ним, и стал их есть.

Джан вынимает из ушей серьги, кладет их в сумку и смотрит на кольцо.

— Это древнее восточное сказание, — добавляет она, и возвращается к муфелю.

— И руки золотые, и еврейская голова! — восхищенно произносит ей вслед Левштейн. — Если мы были с вами знакомы раньше, мадам, какие мы бы дела делали!

Уже после двенадцати ночи, постлав на диване Готлицеру, Джан вместе с Левштейном, осторожно скользя, выгадывая тени домов, несется домой. Ночью разрешается ходить только немцам или со специальным пропуском, — и уж совсем не евреям. Но до дома пять минут — неужели торчать всю ночь в мастерской?

Через полчаса весь мезонин завален мехами из привезенных «налетом» мешков. Левштейн считает, записывает, отбирает: на хранение, на продажу, цены... Джан устала до полусмерти, и вяло рассовывает меха по стенным каморам. Шкаф набит до отказа. Каморы сухи и очень вместительны...

Два часа ночи. В голове тяжелый, горячий свинец. Удачный день. А что может быть завтра?



Визит в гестапо. Джан быстро доходит до Царского сада, но на скверике перед ним замедляет шаги. Левштейн ждет ее в три часа, она дала слово. Громадный серый блок шестиэтажного дома выглядит очень элегантно, как и все в Форбурге, но... дома она сказала, что идет в «пекло», и, если не вернется через два часа, то пусть Маруся примет меры... Та собиралась уже плакать.

— Ну, трусиха, — подбодряет себя Джан, — раз, два, три! — Она быстро переходит улицу, стараясь выглядеть совсем невинно и решительно, но в подъезде незаметно крестится: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!» — почему-то на ум приходит именно эта молитва, и с тех пор Джан каждый раз, когда приходит сюда, повторяет ее.

На лестнице слышны голоса, но Джан проскакивает во второй этаж как раз тогда, когда коричневая фигура выходит на площадку первого. Уф, еще один этаж! Дверь открывается, Джан видит испуганную физиономию какого-то молодого еврея, он хватается за руку и впихивает из коридора в комнату направо.

— Тс! — Пришли какие-то чужие. Может быть, не зайдут сюда...

Может быть!.. Тяжелая базарная сумка и сетка в руках Джан, набитые всякой всячиной, становятся сразу пудовой тяжестью. Комната совершенно пуста, спрятаться некуда. В коридоре хлопают двери, стучат шаги, громкий повелительный говор. Вот они приближаются... у двери. Джан так застывает в напряженности, что не слышит захлопнувшегося замка, но еврей осторожно высовывается в коридор и расплывается в улыбке.

— Все в порядке. Ушли. Теперь идите прямо.

— Вы всегда во-время, — шутит Левштейн. — Ну, вот посмотрите, как мы здесь живем. Теперь хоть до вечера сидите спокойно.

На голых некрашенных столах валяются шкуры, с вешалок свисают какие-то хвосты. Скорняки — и просто примкнувшие к ним — работают только для вида, слоняются, курят и стараются презрительно пожимать плечами. Пренебрежительность напускная и удается плохо. Высокий красивый брюнет с лицом избалованного ребенка и страдальческими глазами подает Джан письмо.

— Приведите мне няню, — смущенно просит он. — Она боится одна, а с вами... я ей написал... У меня... она одна осталась. Ну, да вы знаете.

Большевики увезли его отца, владельца ликерного завода, а мать отравилась. Да, Джан знает.

— Вы были вчера в гетто? Видели там..?

Подходят, спрашивают, просят: письма, еда, поручения, еще, еще.

— Ну, довольно с вас, пора, — решает Левштейн. — Я только что посмотрел на лестнице — никого. Идите быстро.



Он сует ей обратно сумки, и Джан удивленно видит, что они набиты попрежнему, только стали легче, но Левштейн не дает ей удивляться, и только в коридоре шепчет на ходу:

— Тут кое что... жеребок парижский... Можете загнать за семь сотен... чего нам стесняться?

Джан некогда протестовать: осторожный взгляд на лестницу — и сломя голову, через три ступеньки вниз. Два раза она замирает, как струна, — и едва отходит на три шага от подъезда, как к нему подходит «фазан».

Во-время. Слава Тебе, Господи, Пресвятая Богородица! Никогда больше не сунусь, — чуть не плачет Джан, чувствуя, что вся покрылась потом, но знает, конечно, что придет снова...

Дома уже ждут. Две знакомых балерины и немецкий капитан с усталым и тонким лицом.

— Дорогая Джан, мы навязываемся выпить у вас чаю и поболтать! Какая вы оживленная и интересная сегодня! Разрешите представить: капитан барон Ростислав фон-Венден. Сгорает желанием познакомиться с вами, а мы уже расположились, как дома.

Капитан почтительно целует ей руку. Джан не может удержаться от мысли, что если не две минуты раньше или позже в течение последнего часа, то она могла бы стоять совсем иначе перед другим немецким капитаном... мысль вспыхивает и замирает. Барон Ростислав фон-Венден! — оригинальное сочетание. Он поднимает голову, и Джан видит пристальную, обволакивающую мягкость глаз, обреченность в улыбке и невольно вглядывается.

— Вы уже знакомы?

— Нет, — улыбается она, — мы ведь не встречались раньше, а я вас как будто видела уже...

— Просто симпатия с первого взгляда, — отзывается с дивана Лилит, прима-балерина Оперы.

— Вот именно. Сейчас я устрою чай и...

— Садитесь, неутомимая хозяйка. Нас встретила Инночка и решила самостоятельно поставить самовар. Между прочим, Джан, давайте ее снова в труппу. Я вам расскажу потом все наши новости. Социал-предатели посрамлены и удалены из оперы, и в балете есть место не только для жертв революции...

— Собственно говоря, я пришел по делу, хотя и совестно вас затруднять, — говорит барон слегка затуманенным голосом. — Хотелось бы шубу для жены, серую, если можно... Но у вас такая уютная обстановка. Знаете, если два года на фронте, и вдруг попадешь в такую комнату.. Вы керамистка, но могли бы быть и декоратором. Простите, если я плохо говорю. Моя мать русская, а отец русский немец, мы православные, отсюда и имя. По отчеству — Александрович. Мы уехали из Балтики еще в двадцатом году, когда имение сожгли и разграбили во время гражданской войны. В Восточной Пруссии у нас неболь-

шое имение по наследству... знаете — Куришер Гафф? Та же Балтика, сосны, дюны и ветер, рыбаки там совсем особое племя — не латыши и не немцы, а действительно потомки древних куров. У них сохранилось еще много языческих обычаев. Чудесный, заброшенный уголок. Но видите, как я разболтался — это все ваша комната виновата. Я не художник, я только агроном, но у вас здесь такие особенные тона, что невольно вспоминаешь, что в детстве писал стихи, и в молодости пытался писать красками тоже...

— Барон, вы сегодня настроены элегически! Вы бы лучше рассказали о Париже нам, бедным провинциалкам! Джан, конечно, хлебом не корми, а дай поговорить о красках. Мы оставим вас на четверть часа на съедение барону. Пусть уж человек облегчит душу, если нашел благодарную слушательницу, тем более, что ему завтра опять на фронт. А мы отправляемся вниз. Я хочу посмотреть Ярика, давно не видала карапуза, и пусть Инночка покажет, что не сидела все это время зря, а упражнялась, как она уверяет. Потом мы напьемся чаю, вы устройте моденшау всех ваших мехов, и в заключение барон сыграет нам на рояле — кстати, здесь тоже пианино. В этом доме теперь, кажется, в каждой комнате по роялю? Вы не собираетесь консерваторию открывать?

Лилит лукаво подмигивает Джан и, забрав подругу, спускается вниз.

— Бесцеремонные у вас гости...

— Я люблю, чтобы каждый чувствовал себя свободно.

— Правда? А мы вам не мешаем? То-есть наверно даже, но?..

Он вопросительно смотрит на нее, чуть улыбаясь, и Джан чувствует как невольно соскальзывает с обычной за последнее время колеи в эту ласковую и печальную улыбку.

— Скажу откровенно: дел у меня такое множество, что, все равно, что-нибудь останется на следующий день, но сегодня я могу выкроить себе свободный вечер. Я за последнее время так завертелась в чортовом колесе, что хочется самой отдохнуть и поговорить о чем-нибудь настоящем. А с вами можно...

Он берет ее руку и целует.

— Спасибо. Вы не знаете, как мне это важно. И особенно потому, что мне кажется — что я больше не вернусь. Два раза был ранен. Случалось, тяжелый бой... два креста, как видите... и вот сам себя спрашиваю сейчас: что это? Предчувствие? Трусость? Нет, я не боюсь. Но как будто кто-то стоит около меня и повторяет: смотри хорошенько, простись, это последнее. До смешного. Вчера купил себе две рубашки — и вдруг захотелось отказаться — зачем, когда не придется носить? И вот почему-то говорю это вам, первый раз видя... но у вас такие странные глаза. Вы знаете, конечно. Вы верите в колдуний? Я — да, я знаю, что вы не будете смеяться. Мне гадали однажды на янта-

ре — древнее гадание — там, на Куришер Гафф... И вы не находите, что глупо считать колдуний непременно злыми существами? Просто — человек, видящий глубже и больше других, не только в трех, но и в четвертом измерении, кусочек оттуда? Вот у вас такие — потусторонние глаза. Пожалуйста, скажите мне, если я говорю глупости...

Джан берет его руки, переворачивает их ладонями вверх, и смотрит, наклонившись.

— Вот как! — тихо говорит барон. — Только правду, да?

Познания в хирологии у Джан очень примитивны, но линия жизни на этой руке обрывается так резко, что ей нужно скрыть легкое смущение.

— Я плохая хиромантка, — медленно говорит она, чтобы выиграть время, — чтобы изучить, надо потратить целую жизнь на эту науку, и у меня не было времени. Сколько вам лет?

— Сорок.

— Выглядите моложе.

— Деревенская жизнь, спорт, лошади...

— Ну, так вот: совершенно точно я не умею вычислить, но до пятидесяти проживете наверняка. Может быть, даже и чуть больше.

Джан говорит очень твердо, выключая собственные мысли, чтобы он не почувствовал их. Даже у безнадежно больных нельзя заглушать сопротивляемости, а человеку, идущему на фронт, да еще с предчувствием...

— Правда? Мне бы так хотелось поверить — именно вам... Тогда, значит, я вернусь. Столько времени война не может продолжаться.

— Когда вы едете? Завтра? Можете зайти ко мне перед отъездом? Тогда я вам скажу, зачем... мне бы очень хотелось...

— Вырваться будет не легко, но я это сделаю. Между десятью и одиннадцатью утра. Вам удобно?

— Хорошо. Я буду ждать.

— Да помилуйте, господа, — говорит Джан спустя два часа: — мы за полтора года впервые принимаем гостей... конечно, остаетесь ужинать, и мы что-нибудь сообразим.

Экспромпт получился удачным. Маруся тряхнула стариной и запасами, Бей с бароном исчезли на полчаса и вернулись с коньяком. Инночка танцевала, барон играл на рояле, затопили камин для настроения и сидели при свечах — у Джан хранилось еще несколько заветных. А главное — говорили. Совсем о другом. О мире и жизни, потонувшей за стенами этой комнаты.

— Вы знаете, барон, что наша Джан — сказочница?

— Вижу.

— Нет, серьезно. Возьмет любую вещь — вот хоть этот табурет, и получается сказка.

— Как же ей не получиться! — убежденно возражает Джан. — Вот стоял этот табурет в одной семье, в доме, много

лет, несколько поколений, и жил в нем домовой. Хороший, маленький такой, уютный и sereneкий. Сиденье в табурете можно поднять, и там — ящик. Там он и живет. А потом оказался вдруг бездомным. Люди все-таки сами виноваты немного, если остались без своего угла. А ему за что страдать, если он всегда только охранял и заботился? Конечно, мне было очень жаль его, и я рада, что он согласился переселиться ко мне, с уважением и почетом...

— До завтра, светлоглазая колдунья, — шепчет барон, целуя обе руки Джан, когда Лилит со вздохом заявляет, что надо когда-нибудь и уходить. — Сегодня был сказочный вечер, и может быть...

Он не договаривает, и Джан с непривычной для себя улыбкой вытягивается на тахте после их ухода, и скользит в нежащий сон. Завтра — Боже мой, сколько придется носить завтра из-за сегодняшнего пропущенного времени! Но вечер стоил того... Почему? — строго пытается спросить она, но улыбка раскрывает губы, и она засыпает.

Осыпающаяся липа над балконом давно заснула и в ночной дремоте цепко держит листья, не давая им падать. Огонь догорает, чуть потрескивает в камине, и из кожаного табурета, прочно уперевшего гнутые ножки в ковер, слышится ответный треск. Если бы Джан открыла сейчас глаза, то увидела бы, как на кончике табурета сидит, покачивая красной туфелькой, маленький серый домовой и, подперев подбородок кулачком, греется, покачивая головой в такт своим мыслям. Он видит и знает много...

Но Джан не видит. Еще не настало время.



На следующее утро Джан немного рассеяна с обычной очередью посетителей и, ради теплого, совсем летнего дня, надевает свое любимое платье и новые серьги. Надо же их обновить, хотя носить постоянно сейчас нельзя: они слишком бросаются в глаза, а в ее работе особые приметы могут стать опасными.

Она спускается в сад, бродит по дорожкам, собирает букеты из последних флоксов и далий, и садится в качалку на балконе, в золотой листопад. Осеннее солнце мягким теплом ложится вокруг и, кажется, никогда не остынет. Запоздалая бабочка красновато-коричневым лепестком порхает над перилами балкона, и белый глазок на крыльях смотрит наивно и удивленно.

Непозволительная лень и преступное легкомыслие! — лениво укоряет себя Джан и посматривает на часы. Половина одиннадцатого. Маруся сунулась было посоветоваться насчет обеда, но Джан взглянула на нее так, что Куколку, как ветром, сдунуло.

Вот он звонит, вбегает по лестнице, целует руки. Немного чересчур для женатого человека и замужней дамы. Но это на прощанье.



— В моем распоряжении пять минут. Почему не пять дней? Почему вы меняетесь от света и вчера походили на колдунью, а сегодня на цветок?

— Барон...

— Меня зовут не барон!..

— Ростислав Александрович! Садитесь и выкурим сигарету на прощанье, а потом мне бы хотелось... конечно, я не имею никакого права, но... Вы сейчас идете опять на фронт, ни вашей жены, ни матери здесь нет, поэтому мне казалось... словом, мне бы очень хотелось... благословить вас.

Джан почти краснеет от смущения и мямлит — деловая Джан! Барон вспыхивает тоже и наклоняет голову. Джан снимает со стены шитую золотом иконку Лады.

— Это старинная иконка, которой меня благословила перед отъездом названная сестра. Я не расстаюсь с ней, и она была со мной, когда я бежала из города и возвращалась.

Барон легко опускается на колени и крестится. Джан благословляет его, вкладывая всю силу в один порыв беззвучного крика: «Господи, спаси и помилуй!»

Она отворачивается, чтобы повесить иконку — не хочется показывать подступивших слез. Барон тоже борется с чем-то.

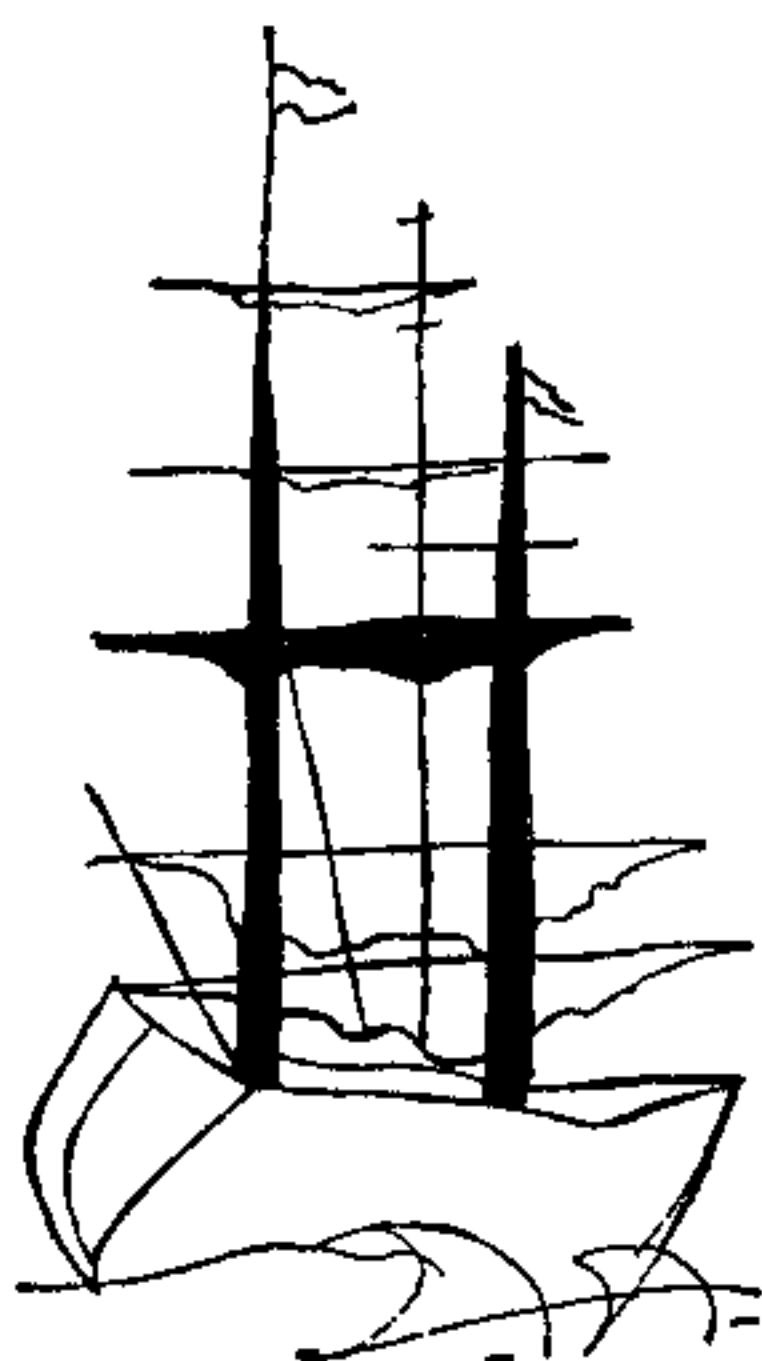
— Джан Николаевна, — говорит он чуть хрипло: — это благословение я унесу с собой. И вернусь с ним. К вам.

Он почтительно целует ей руки, выпрямляется, смотрит в упор и так же медленно и чуть касаясь, как завершение обета, целует ее в губы. Джан вздрагивает, хочет что-то сказать, но рука уже поднялась к фуражке, отдавая честь, скрипнули ступеньки на лестнице. Она едва успевает выбежать на балкон и схватить шуршащие листья, просыпавшиеся на баллюстраду. Листья взметаются, как бабочки, и высокая фигура, обернувшись у калитки, обнимает их взглядом и машет рукой.

Только через несколько минут Джан медленно возвращается в комнату, выкуривает залпом две папиросы подряд, лежа на тахте с закрытыми глазами, и, подойдя к зеркалу, снимает серьги.

— Праздник кончился — слышишь? — вполголоса говорит она очень строгим и сухим тоном. — Твои подопечные воют уже, что ты их забросила. Тебе надо делать деньги, потому что, если ты заработала сотню, то тратишь две! А если бы он остался на пять дней, то что было бы с твоей хваленой выдержкой, добродетелью и так далее?

Джан говорит искренне и верит тому, что говорит — в этом ее сила. Раз-два — условный стук в дверь. День несется, сломя голову, дальше.



— у, оставайтесь ночевать у нас, мадам, — говорит Левштейн. — Нам еще на полчаса, по крайней мере, подсчетов хватит, а до полицейского часа пять минут, потом не стоит рисковать, вы деньги несете...

— Конечно, поужинаете с нами, — подхватывает его жена. — Завтра у нас праздник, и в дом соберутся на моление. Последние дни доживаем, на этой неделе в гетто, и неизвестно, попадете ли вы еще туда.

— Попаду, — упрямо настаивает Джан. Идти с риском нарваться на патруль не стоит. Она хвалит кошерные блюда, выпивает рюмку пейсаховки, и остается развлечь хозяев разговорами «о другом».

Неуютная ночь на чужом диване. Но зато утром мадам Левштейн обещала 'взять ее на моление. Интересно — как в катакомбах.

Часов пять утра — дождливый сумрачный рассвет. Джан входит в чужую квартиру. В пустой комнате мужчины и женщины стоят отдельно. Жестикоуляция, приглушенное жужжанье. Джан никогда не была в синагоге. Сейчас она старается внушить себе, что это — церковь, на которую гонение, тайная служба, и едва не крестится, привычно, рука уже поднимается, — и испуганно падает. На раввине что-то вроде стихаря, только полосатое. Молитвенные возгласы, как сдержанный вопль. Забывания кантора режут уши, в них бесконечная цепь пустынь, тысячелетних проклятий, скитаний, гонений, причитаний у Стены Плача над погибшим прошлым и страшным будущим. Кругом — серые лица, поникшие фигуры, впалые глаза. Весь дом населен евреями, на лестнице поставлены караульные. Завтра — послезавтра их ждет гетто: колючая проволока и, может быть, смерть. Кто из этих стоящих здесь успеет помолиться еще раз?

Кругом плачут. Джан стоит, сжавшись, чтобы не извиваться самой от хлещущих, раздирающих воплей. Так можно отпевать злодея, но не молиться! Она крепко стискивает зубы, пробиваясь сквозь жуть безвыходности этой минуты к затепленной свечке перед иконой, к родному, всепрощающему Богу: помилуй их, Господи!



— Сегодня у нас Новый год, — по-детски обиженно говорит черноглазый румяный Джокер.

— Что же вы раньше мне не сказали? Вот и приходите посидеть вечером, а я потом проведу вас задворками, ваш же дом совсем близко. Тащите всех, кого я знаю и не знаю.

— Еврейский вечер?

— Дома у вас тревожно и неудобно. Приходите непременно.

В столовой раздвинут стол: восемь человек, кроме своих. Ужин и цветы восхищают гостей.

— Пир во время чумы! — восклицает Джокер. Джан принужденно улыбается, хотя ее и передергивает. Какая-то странная нервность, как вкус крови на губах, томительная тяжесть. Гости садятся за стол довольно минорно, но понемногу оттаивают, — должен оттаять человек со звездой на груди, попадающий в дом, где он может снять позорный знак и встретить человеческое тепло! После нескольких бутылок вина шутят даже над гетто, приглашают Джан наперебой к себе на новоселье, и в каждом ответе Джан — надежда, что, так или иначе, но она придет, принесет, поможет, устроит...

— Станный вы человек, — говорит сестра Джокера Рая, у которой давно уже взяли мужа, резкая брюнетка с трагически красивым лицом: — ну, почему вы так возитесь с нами? Вот сделали праздник, а мы все знаем, чем вы рискуете. Что вас побуждает? Неужели только по сердечной доброте к чужим людям?

— Нет, доброта здесь не причем. Я просто зажигаю Богу свечку, когда делаю доброе дело. Одни жертвуют на церковь, а я так, — смеется Джан. — Когда-нибудь и мне помогут. Ведь вот спас же Бог во время большевиков, а таких, как я, в городе осталось немного... Видите, какой тонкий расчет...

Джан ободряюще улыбается каждому: вот симпатичный инженер в золотом пенсне, похожий на Чехова; добродушный Джокер и его жена, маленькая, сухая, как птица. И чей-то дядя с лысиной... и еще. Джан борется, отталкиваясь от щемящей жути, почему-то привязавшейся сегодня мысли о смерти, ломает себя улыбкой.

Сестра Джокера садится за пианино и бурно играет Листа — уверенный, четкий удар, прекрасная техника. Потом берет несколько других аккордов.

— Спой, Рая.

Она поет, аккомпанируя себе. У нее голос, как и сходящиеся на переносице брови, — густой, резко очерченный и страстный. Джан стоит сбоку, опустив глаза на полированную гладь дерева. Так было в фильме: блестящая гладкая вода ночной лагуны, чудится завораживающий аромат цветов, и девушка с цветком в волосах, призывающая любимого...

— «Любимый мой... любимый мой»...

Пальцы скользят по рокоцущим клавишам. Глаза певицы почти закрыты — в лице, в голосе, в опаленности раскрытых губ льется неудержимый, страстный призыв. К одному, единственному, любимому.

К тому, кто свален куда-то с разбитым черепом. И сама она, эта красавица...

Джан холодно, она выбегает в коридор, в кухню, садится там на табурет, вскакивает, хватается бесцельно за вещи.

— Джанушка, ты что тут ищешь? — вбегает раскрасневшая Куколка и трясет своими кудряшками. — Правда, очень мило сегодня получилось? Все сыты, довольны и душой отдохнули. Как она замечательно поет, эта красавица!

— Еще один такой милый вечер, и я спячу, — бормочет сквозь зубы Джан.

\*\*\*

Джан везет в гетто яйца. Две сумки, три сотни яиц. Дошла до трамвайной остановки и ждет пятого номера. Рядом странная фигура и сбоку — немец. На фигуре опорки, разорванная форма и почерневшее лицо, не лицо даже, а череп с блестящими глазами. Джан осторожно прижимает к ногам сумку, поднимает вторую и вытаскивая свободной рукой яйца, сует ему. Пленный оглядывается на немца, потом хватается. Джан сует еще, еще. Немец видит, конечно, — середь бела дня! — но смотрит прямо перед собой, как будто не замечает, дай Бог ему здоровья...



Ожидающая толпа заинтересованно смолкает — чем это кончится? Карманы расхлыстанной шинели уже набиты и оттопыриваются, когда подходят два трамвая сразу, и проезжающий на велосипеде полицейский соскакивает прямо перед Джан.

— Вы знаете, что это строжайше запрещено? — кричит он.

В тишине слышны только звонки трамваев, они медленно ползут один за другим.

— Знаю! — так же громко отвечает Джан и, схватив сумки, удачным вольтом вспрыгивает на ступеньку. Трамвай идет дальше, возмущенный полицейский может махать, сколько ему угодно!

На следующей остановке она пересаживается на пятый номер — но, может быть, сегодня лучше не ехать в гетто? Компромисс: семьи работающих в гестаповских мастерских переселены в отдельный дом на углу Московской и Романовской, и в него можно войти сразу, там еще не заплели забора проволокой. А мадам Левштейн согласится разнести яйца остальным... теперь не хватит всем, но пленному они были нужнее!

В сумерки возвращается домой. В голове пустота, и бьется мысль: почему до сих пор Янис не привез картошки, у нее самой ни одного мешка нет, все раздала, а в лавках не достать... и что будет, когда гетто закроют через несколько дней? До сих пор она считала, что, с некоторым риском для юбки, подставив чемодан, она сможет махнуть через забор в присмотренных местах — для чего же она постоянно занимается гимнастикой? Но сегодня замечена жуткая вещь: гетто обносится вторым забором, на метр перед первым — и выше. Тротуары вокруг разбиты для врытых столбов, и не только по ним и оставшейся обочине, но и по мостовой с этого края проходить нельзя. Вот и передай. Боковые входы закрыты тоже, остался только один, с воротами и полицией по бокам, а через него...

— Есть кто-нибудь? — устало спрашивает она в передней.

— Наверху три немца, а на кухне один — не немец, — рапортует Инночка. — А в столовой, — она хитро улыбается, — догадайся, кто? Ни за что не узнаешь.

— И узнавать не хочу, — ворчит Джан. — Пойду и утоплюсь в ванной, так и скажи всем.

— Джан, разделяйся скорее со своей ордой, и потом ворота на запор, и никого не пускать, у нас настоящий гость! Но в наказанье не пущу тебя сразу, пока не выкинешь всех, а то я знаю это: «мадам, к вам пришли!» через каждые пять минут! — кричит Бей.

— Волка ноги кормят, а меня... Джан заинтересованно прислушивается к знакомому как будто голосу в столовой.

— Иди, иди. Полчаса даю на всех — потом спускаю всех с лестницы.

Через час Джан бредет в столовую. С дивана поднимается невысокая фигура и щелкает каблуками.

— Цу бэфель. Обер-лейтенант Кузнецов. Как перезимовали, белогвардейцы?

— Дядя Кир — ахает Джан и, бросившись ему на шею, неожиданно для себя, плачет.

— Ну-ну, — бормочет тот, неловко глядя ее по голове: — вот и увиделись. Чего же это вы?.. Ладушка кланяется, большое письмо вам привез... Она в Берлине, скучает страшно. Да вытрите себе глаза, наконец, садитесь и рассказывайте по порядку, хоть мне Бей уже доложил о главном. А главное, вы живы, чудом, можно сказать, хранил Господь. Мы по вас уже собирались панихиды служить.

Рассказы, перебивающие друг друга, концы без начала и, конечно, споры.

— Что это вы, Надежда Николаевна, жидов под опеку взяли?

— Дядя Кир! А какого чорта я буду работать с немцами, если на второй день после того, как они заняли Ригу, я явилась и предложила свои услуги, как переводчица, и что мне ответили? Что русские эмигранты-белогвардейцы им не нужны! Это как? И кто сказал? Граф Медем! Ох, и наговорила же я ему, несмотря на то, что он в форме! А во-вторых: вы гетто видели? Вы пленных видели? Советские не то, что сдаются, а чуть ли не со знаменами переходят полками; сейчас октябрь, за несколько месяцев войны их уже несколько миллионов набралось — ясно, что добровольно, не вам, офицеру, объяснять, что одной военной силой столько не возьмешь за такой срок — а что с ними делают? Мрут, как мухи, в лагерях, помогать нельзя даже! Вчера хоронили одного мальчика, лет двенадцати, дал пленному на улице кусок хлеба, а его немец прикладом. Я не была, а вот Вероника пусть расскажет, как полиция разгоняла толпу на кладбище, потому что получилась как бы демонстрация — тысячи народу пришли провожать.

— Нельзя сразу все устроить. Войны не делают в перчатках. Когда немцы уничтожат большевизм, вы тоже будете иначе разговаривать. И это для меня самое главное: борьба против угнетателей моей родины. Кто бы ни был — я с ним. Вы из-за деревьев леса не видите, чисто по-женски. Что же касается теперешней вашей деятельности, то я только развожу руками и удивляюсь. Если бы я вас не знал с малолетства... Знаю, сейчас все у вас продают и покупают, нельзя без этого... Но для чего непременно лезть на рожон, в гетто, в гестапо, рисковать ежеминутно, и не только своей головой, но и всей вашей семьей? Зная вас, я понимаю, что не ради одних только денег. И не жажда сильных ощущений — в прошлом году у вас их было достаточно! Остается одно: ради идеи. Но объясните мне толком, в чем же эта идея? Разве все эти Соломоны и Шмулевичи помогали вам во время большевиков, прятали ваши вещи, приносили хлеб, спасали от ареста?

— Отчасти, да.

— Борис Александрович мне рассказывал. Случай исключительный. Если бы этот ваш знакомый остался, и вы помогали ему — понимаю. Но ведь он уехал, а по отношению к другим никаких обязательств у вас нет. Совершенно чужие, и притом чуждые люди. Мне ярмарочный антисемитизм, погромная агитка самому не по душе. В сионские протоколы и тайное правительство Израиля я тоже не верю — очень уж фантастический лубок. Но не могу поверить, что вы считаете их своими. Вы только что пережили большевиков — и идете на страшный риск, помогая их же приспешникам. Недаром за слово «жид» в Советском Союзе сажают в концлагерь. Не мне говорить вам о Кагановиче и Троцком, имя же им — легион. В рижском НКВД тоже было достаточно... Я допускаю, что есть такие богобоязненные евреи, которые и о батюшке-царе мечтают. Не весь народ виноват. Но и русский народ не весь виноват, а вот страдает же столько лет! Может быть, Гитлер и перегибает палку. Но он хочет освободиться от мешающего и разлагающего элемента, и вы, Надежда Николаевна Бей-Тугановская, не можете помешать этому. В истории происходило множество куда больших ужасов, чем рижское гетто. Если же евреи будут пока есть хлеб без масла, то это еще не трагедия, а вот если вас расстреляют, то глупее вы ничего не могли придумать, не обессудьте на слове. Я породственному говорю, потому что вижу, что у вас мозги набекрень встали.

— То же самое и я говорил, — поддакнул Бей. — Слово в слово. Но разве ее переспоришь, полковник? Как об стенку горох!

Джан печально и упрямо трясет головой.

— Нет, дядя Кир, не могу. Рассуждать, что я, мол, маленький человек, и ничего не могу сделать, и поэтому пусть совершается какая угодно несправедливость — нет, это позорное малодушие. Я могу помочь немногим, и то мало, это верно. И тем не менее, какой же я человек, и чем отличаюсь от двуногих, если не имею мужества защитить, несмотря ни на что, свои взгляды и принципы? Евреи мне чужды, но сейчас на них гонение. И мой человеческий долг противодействовать этому, поскольку в моих силах, так же, как кормить пленных, что я и делаю. И буду, потому что не могу иначе.

— Ну, вот слышите, полковник?



Дядя Кир не успокаивается, пока не устраивает Бей при своей части. Бей преображается в форме, хоть и ворчит, что все непривычно. Пока что, он будет в Пскове, вместе с полковником. Маруся льет горькие слезы при разлуке и печет печенье. Бей очень нежен перед отъездом и полушутя, полусерьезно просит не изменять ему со всеми немцами подряд. Джан смеется, конечно, но вспоминает барона Вендена — и слегка краснеет.

Когда человек уходит на фронт, в доме много суетни, приподнятого настроения, и смахиваются на ходу слезы. Последний вечер подходит быстро. Бей приводит днем рыжеватого блондина в штатском — рижский немец, сын старого известного журналиста, и служит где-то. Джан знакомится вскользь, как со всеми, и он просит извинения, что помешал, но зайдет на-днях поговорить о чем-то...



Пробегая по Вальдемарской, мимо пустых запыленных витрин, Джан останавливается вдруг. Знакомый цветочный магазин. Пустые горшки и вазы, какая-то жалкая зелень и вдруг — хризантемы. Да, настоящие хризантемы, розовато-сиреневые, стрельчатые, и желтовато-ржавые.

— Вы их продаете? — недоверчиво спрашивает Джан с порога.

— Да, случайно. Вам сколько?

Джан открывает сумку. Сколько при себе денег? Семьсот рублей.

— Давайте все.

Шестьсот рублей. Бешеные деньги. Сто рублей осталось, пустяки, сегодня вечером, завтра заработает снова. Денег копить нечего, все равно, они падают, цены растут... А завтра ее могут арестовать, и все кончено. Все чаще и чаще это чувство с трудом удерживаемого равновесия на острие чего-то — и неизбежного срыва вниз. Позавчера еще только — шла с чемоданом. «Бродвей» называют остряки Лудзас улицу в гетто и на недоуменный вопрос отвечают: столько звезд на улице!

Джан шла по мостовой — даже в гетто евреям не разрешается ходить по тротуару. Неудобно маячить одной и подчеркивать свою привилегированность. Тащила чемодан с провизией, задумалась, и вдруг... Высокий полицейский — латыш, прямо грудь в грудь, останавливается, налетела на него.

— Почему вы не носите звезды?

Она широко раскрывает глаза. Тяжелый чемодан сам собою выскальзывает из рук и жметя к ногам.

— А зачем?

Этот вопрос посреди гетто настолько несуразен, что полицейский озадачен.

— Как зачем? Разве вы не жидовка?

— Конечно, нет, — пожимает плечами Джан.

— Ваш паспорт!

— Пожалуйста, — Джан подает его с оскорбленным видом.

— Да, но... — недоумевает полицейский, — почему же вы не идете по тротуару?

Джан оглядывается. «Бродвей» опустел, звезды сдулись ветром в подворотни. Эта часть улицы асфальтирована, а тротуары остались еще из кирпичей.



— Потому что здесь легче идти по мостовой, — наивно заявляет она. Полицейский подавляет улыбку — улыбка подавляет вопрос о том, почему она вообще попала сюда, — и машет рукой:

— Идите по тротуару!

Джан пожимает плечами, но больше играть в дурочку нельзя... Подхватив чемодан, она несется в ближайшие ворота. На нее сразу налетает группа евреев, услужливо поддерживают чемодан, берут под руки.

— Слава Богу! Слава Богу! Мы уже думали, что вы погибли! Что вас арестовали! И что же он сказал?

— Чтобы по мостовой не ходила, — смеется Джан, но у нее легонько постукивают зубы.

— Если Бог помогает...! — убежденно говорит какой-то старик. — За вас хорошо молятся, мадам!

Это было позавчера, а сегодня — хризантемы. Вот именно и на зло, упрямая и вызывающая улыбка — хочу хризантем!



Гетто закрыто. Партии рабочих обыскивают утром и вечером. Отбирают даже иголки. Двойной частокол с проволокой, много часовых, вечерами выстрелы по слишком «рассеянному» прохожим, подошедшим ближе. Через несколько дней протягивают вдруг ударным порядком забор и посреди гетто, деля его пополам, и в два часа перекидывают все население по-новому — мужчин в одну, женщин в другую половину. Шум, крики, плач. Вещи выкидываются на улицу, дети теряются, все мечутся, мужья взволнованно помогают женам, смутный страх перед чем-то еще худшим вспыхивает в глазах. Страх лег на запретные для всех других, вырванные из города улицы, как спрут, заползает в суматошные, исковерканные, забитые мечущимися, дрожащими людьми дома...



Утро тридцатого ноября 1941 года. Редко выпадает в ноябре такое февральское утро — уже на рассвете солнечное, с чисто вымытым, еще не просохшим небом. Лужи на улицах звенят льдинками, отражают небо зеркальными голубыми кусочками. Ветер в уцелевших еще башнях Старого Города ловит клочки разбегающихся облаков, но они тают на солнце.

Улицы Московского форштадта, прилегающие к гетто, разбужены на рассвете воплем. Гетто поднято на ноги и кипит адским зельем. Женщины с детьми выгоняются из домов. Дети кричат спросонок, им холодно и страшно. Куда? Зачем? Вещи хватаются дрожащими руками, падают. Никаких вещей. Гестаповские отряды топчут по лестницам, в домах, выгоняют из чердаков и погребов запрятавшихся, из уборных, из больницы.

Калеки пристреливаются тут же, вещи летят из окон, срываются кольца, серьги, грабеж в разгаре, мимоходом насилуют... Выстрелы по забору, перегораживающему гетто — на той половине полуодетые мужчины, напирают на проволоку, протягивают руки, кричат, умоляют, прорываются... назад!

Длинная колонна шатающихся, обезумевших женщин, подгоняемая с боков, сзади, спотыкаясь, выходит на Московскую. Черные глаза на белых лицах. Кое-где мужчины, прорвавшиеся все-таки к своим женам. К окнам другой, «арийской» половины улицы прижимаются тоже бледные лица форштадтских жителей. И еще идут, еще, еще... в конце колонны — крики, впереди — хриплое молчание. Детские коляски шаркают по булыжнику. Узлы падают из рук, путаются под ногами, ненужные, жалкие. Улица молчит, и только непонятные, горловые вскрики какой-то уже окончательно потерявшей рассудок женщины колочими осколками дребезжат в ушах.

Слышишь, Старый Город?

Молчат башни.

Московская — самая длинная улица в Риге. Под конец ее номера идут редко — длинные заборы фабрик, пустыри. Еще дальше, еще... Город совсем позади, и все вместе с ним... родные, любимые, жизнь. Впереди, сбоку, совсем неподалеку от дороги, за фабрикой «Квадрат», хмурые пленные роют широко раскинувшуюся неглубокую яму. Пулеметчики приехали на грузовиках, пьяные, кой у кого глаза блестят кокаином, двое все-таки отказываются стрелять. Залпы. Раздевают еще теплых, потом живых, вырывают серьги, кольца, детей приканчивают штыками, штыки в большом ходу. Форвертс, вперед, в яму!

Запрокидываются головы, раздираются груди, хриплое, стонущее человеческое месиво закидывается сверху потемневшим охряным песком, яма шевелится еще, кровь выползает пятнами на дорогу, моторы грузовиков, работавших все время в холостую, включаются на ход, взбудораженные бойней люди залезают в машины, и с ревом несутся назад. Работа кончена. С непривычки еще возились, потом привыкнут, потом пойдет скорее.

Ты видел, Старый Город?



Серый, трясущийся Левштейн.

— Мадам, дайте провожатому чернобурку. Только за это согласился, но пошел сам со мной. Наш дом остался, где семьи работающих в гестапо. Пройдите, умоляю, мимо наших окон. Если занавеска висит — значит, живы, условный знак. Может быть, жена как-нибудь бросит вам записку...

Джан молча кивает и закусывает ребро ладони, чтобы не кричать. Он хватает что-то и уходит, а она слезает с тахты на ковер и ерзает на коленях, и кричит, обхватив руками выши-

тые подушки, уткнувшись в них лицом, раздавленная, как червяк под сапогом.

И Ты видишь?

«В конце концов, Надежда Николаевна, немножко арифметики. И Европа и Америка, и весь мир совершенно спокойно смотрели на Чеку и Соловки, Беломорский канал и все большевистские боины. А когда Гитлер уморил несколько тысяч человек, все завопили, и как еще. Почему? Пожалуйста, будьте справедливы...» Это голос дяди Кира, граммофонная пластинка в ушах.

Господи, правда это? Вот они толпятся вокруг — молодые, старые, виденные еще на днях... — «Конечно, я приду к вам, все успокоится, будет хорошо...» говорила и не верила, обнадеживала и лгала. Вчера еще сговаривалась, чтобы пойти в гетто с рабочей партией, надев звезду. Вот и пошла бы.

Кто-то приходит, говорит. Джан лежит, смотрит пустыми глазами и не разжимает губ. Нет, ничего у меня нет, не могу, устала, уходите.

— Не смей никого пускать, Маруся! — истерически кричит она: — пусть хоть сейчас оставят в покое! Кто еще там?

— Это я, — входит Катышка. Она неодобрительно относилась до сих пор к сумасшествиям Джан, но взволнована сейчас не меньше. — Послушай, есть слухи, что какую-то партию отправили дальше, в Саласпилс... Я тебе дам успокоительных капель, пожалуйста, прими, ну, хоть для меня, ведь ты, я знаю, сейчас на все способна...

— Мне бы хотелось пойти туда.

— Господи, еще этого не хватало! Зачем, не воскресишь же! Хоть нас пожалей!

Но Джан не пойдет, нет сил. Все равно — и так не забудет. Ноги как пудовые. Папироса дрожит в руке. Уснуть бы... забыть бы...



Серый сумрак в окне. Горькая слезливость запоздалой осени. Мелкая бисерная сетка на стеклах, и в комнате ходит рассветная муть.

Джан просыпается, щурится и снова закрывает глаза. Рано, успеется еще. Так приятно неостывшее тепло легкого, нежащего пухового одеяла, пальцы любовно скользят по шелку. Во сне тоже было что-то нежное, ласковое, а вот что — забыла, в памяти остался только легкий след, как от поцелуя.

Джан с усилием вытягивает из-под одеяла руку, закуривает и смотрит в окно. Хочется поплакать о чем-то ушедшем и светлом, печальная и радостная умиротворенность. И музыка слышится... аккорды, как... что это, забыла радио выключить? Джан поворачивает голову, но аппарат не светится, да она и не

включала его совсем вчера, вчера была бойня в гетто... А кажется, так давно: отодвинулось и не давит больше. Странно. Мысль не задерживается, глаза скользят по знакомой полке. Книги, статуэтки, любимая ваза таинственного синего цвета, Лаврикина синь, сейчас почти черная, а рядом, на краю полки, в ногах Джан...

Джан хочет протереть глаза, но сразу спохватывается и задерживает дыхание: а вдруг исчезнет?

Нет, он не исчезает. Маленький, с локоть ростом, в сероватом костюмчике и красных туфлях — туфли Джан видит отчетливо, потому что он свесил ноги с полки и болтает ими слегка, раскачиваясь. Домовой. Вылез из табурета, и вот, она его увидела!

Он внимательно, чуть печально и даже, кажется, насмешливо — нет, это просто добрая улыбка знающего больше — смотрит на Джан. Совсем ясно рассмотреть его лица она не может, но улыбка чувствуется, излучается и ложится на нее теплым облаком, как пуховое одеяло, укрывает от всего, и Джан кутается в это тепло, тянется вся ему навстречу, растворяется бездумно в чем-то звучащем, как...

Бимм... бамм... бомм...! напевает домовой, раскачиваясь слегка, и улыбаясь — Бимм... бамм... бомм...!

Бимм... бамм... бомм!.. — низкое приглушенное гуденье дрожит в рассветном тумане комнаты, колокольный звон. Вот что это. Рождественские колокола на старых башнях, над белыми улицами, и все покрыто снегом, сказочно белым снегом, и с мягкого низкого неба печально слетают хлопья, вплетаются в колокольный гул, в голос земли, говорящий с небом, и поют вместе с ним.

— Бимм-бамм-бомм! — беспомощно кривит губы Джан — ей так же проникновенно хочется повторить это, но горло сжато судорогой боли, и она плачет, плачет навзрыд, по-детски, не зная, почему, не спрашивая, не рассуждая, покорно и горько, как в церкви.

Бимм... бамм... бомм!





... конечно, рассказывать об этом нельзя. Взрослые люди относятся к бесчисленным чудесам и сказкам, рассыпанным повсюду и доступным пяти чувствам, как к вещи обыкновенной и совершенно неинтересной. Если же чудесное лежит за тремя измерениями, то оно для них просто не существует.

Из всех известных Джан людей только профессор истории не посмеялся бы над ней, потому что сам видел больше других, но кто же не считал его тронувшимся в уме?

А Бей сказал бы просто: «снежинки и бламанже».

Но и не надо рассказывать. Эти несколько минут в призрачном утреннем тумане Джан нежно бережет у сердца. Еще не совсем понятно, почему колокола. Но потом она поймет. Сейчас только ощущение чистой печали, разрешающей все вопросы и примиряющей со всем.

Маруся проникается невероятным уважением к медицинским познаниям Катышки. Вот дала Джан капли, и сегодня та совсем оправилась после вчерашнего потрясения. Обсуждает программу дня, как всегда за завтраком, принимает несколько немцев. Боль отчаяния и бессилия прорывается только позднее, в трамвае, она едет в гетто и, как было условлено, медленно проходит по свободной стороне улицы мимо серого углового дома. На восьмом окне слева, в третьем этаже, маленькая белая занавеска, и над нею как будто светлое пятно лица. Джан кивает, машет и всячески старается выразить знаками, что завтра придет в это время снова. Поняла ли она? Немного дальше, у ворот, — что-то очень много полицейских — лучше уйти.

В гестапо, в «пекло», она отправляется сегодня спокойнее обычного. Ход переменялся, теперь надо пройти в ворота, в громадный двор дома, славировать, сохраняя вид рассеянной дамы, в один угол, и там быстро юркнуть в дверь черного входа. Иногда во дворе тарахтят грузовики, и тогда нужно быстро поворачивать назад, ошиблась, мол.

Сегодня в гестаповских мастерских евреи не пытаются больше философски пожимать плечами и подбадривать друг друга остротами. Гробовая тяжесть.

— Сегодня вечером я кое-что вам принесу, мадам, — устало говорит Левштейн. — Сговорился с немцем, выпустит. В гетто нас не скоро отведут, мы, рабочие, будем теперь жить здесь. А вы знаете, кого поместят туда? На... пустую половину? Прибыла первая партия евреев из Германии. Тысячи полторы. Вот здесь недалеко, у сада Вестурса, склад, там посадили нескольких из нас — евреев же, разбирать их вещи. Им сказали в Германии, что везут на Восток на работу, и они могут взять с собой все. Так представьте, даже швейные машины, медицинские инструменты, ковры... Чтобы не было лишних разговоров, умно придумано. А здесь у них отобрали все, и идет дележ. Ну кое-что мы организуем и для себя: пусть и нам от еврейских вещей польза будет.

Он улыбается, и все это так чудовищно, что не сразу доходит до Джан.

— Скажите, Левштейн, а если ваша жена теперь...

— Поселится у вас, как вы предлагали? Да, может быть, было и лучше, если с самого начала... Но теперь невозможно. Так еще хоть наши семьи живы, а если кто удерет, то могут расстрелять и остальных. А кроме того — из окошка она не выпрыгнет с третьего этажа. Нет, ничего не поделаешь — пока, Но к Ициксону вы непременно сходите, да? Может быть, он что-нибудь узнал...

\*\*\*

Ициксон на особом положении. Во-первых, он женат на датчанке. Во-вторых, как только начались гонения, он обратился в военное командование. Ициксон, при каких-то фантастических

обстоятельствах, спас жизнь шести германских офицеров в первую мировую войну, у него на руках документы, в которых все это описано и скреплено подписями и печатями. Может быть, кто-нибудь из них еще жив, адреса указаны, их можно спросить, разыскать и ради шести немцев простить одному еврею его жизнь? Вопрос сложный, и смешанные браки вообще еще не решены. Ициксону разрешено жить на его квартире, но выходить со звездой. Он выходит редко и без звезды — после уговоров Джан. Невысокий бледный шатен с усталым интеллигентным лицом так не похож на еврея, что нечего ему зря унижаться, — решила Джан.

После обеда в мастерскую забежала его жена — муж просит мадам непременно зайти сегодня. Джан обещала, но не спросила, в чем дело — в мастерскую вошел Вальдбург.

Вальдбург, приведенный Беем в дом накануне его отъезда на фронт, бывал в мастерской и раньше, напомнил теперь об этом. На первый взгляд он казался бесцветным, но Джан сразу понравился высокий, умный лоб, внимательные серые глаза, спокойные и любезные манеры. По-русски он говорил, как и полагается рижскому немцу, прекрасно.

— Надежда Николаевна, я не отнимаю у вас даром время, но зашел по делу. Слухом земля полнится, — говорят, что вы можете достать все, что угодно. Так вот я бы хотел сделать жене подарок — бриллиант, карат, скажем. И кроме того, ищу для себя комнату, можно без мебели, в хорошей русской семье. Знаете, чтобы самому было удобно, и людям помочь. Сейчас трудно с отоплением и вообще. Мне, как немцу, полагаются всякие привилегии, а я всех даже использовать не могу, живу в гостинице, просто обидно, пропадает зря. В Ригу я попал твердо и надолго, может быть, впоследствии и жену выпишу. Она у меня русская тоже. Женю Смирнову знали?

— Подруга сестры по гимназии.

— Ну, вот. Я хочу устроиться сразу просторнее, две комнаты тоже можно...

Джан ухватила за мелькнувшую мысль.

— Феликс Карлович! Искать недолго. Переезжайте к нам.

— Серьезно? А я вас не стесню?

— Нисколько. Наша семья сильно сократилась, дрова приходится экономить, две комнаты я совсем не топлю. По правде сказать, давно опасаюсь, что нам вселят кого-нибудь, и что я буду тогда делать с рейхсгерманом? Тем более, что... — Джан слегка запнулась, подыскивая слово, и Вальдбург внимательно посмотрел на нее.

— Тем более, что присутствие совершенно чужого человека в доме вам было бы неприятно не только по обычным причинам, — закончил он.

— Вот именно, — облегченно вздохнула Джан.

— Значит, давайте условимся. Всего того, что мне явно не колет глаза, я не вижу. Может быть, позволю себе только сделать иногда предупреждение или указание — иногда я могу знать больше или раньше, чем вы — не обидитесь? Борису Александровичу я тоже намекал о своем намерении перед его отъездом, и он обрадовался, но сказал, что решаете вы...

— Да, хозяйственные вопросы, — небрежно кинула Джан.

— So sehen Sie mir aus! — невольно вырвалось у него, и Джан расхохоталась. Нет, с ним легко и хорошо говорить.



У Ициксона два замка, две предохранительных цепочки и глазок у двери — кто пришел? Кроме его самого, в углу на диване сидит жалкая фигурка с румяным заплаканным лицом: темноволосая девушка лет шестнадцати, в брюках и расстегнутой спортивной куртке.

— Ах, мадам, как я вас ждал! — начинает хозяин. — Вы уже знаете, что было вчера... Боже мой, какой ужас! Я с ума сойду, поверьте, у меня волосы на голове шевелились, когда мне рассказывали... когда Геня говорила...

— Геня? — Джан приподнимает брови.

— Вот она, вот эта девушка... — Ициксон придвигается ближе, беспокойно мигающие глаза становятся совсем круглыми, голос падает в шопот:

— Она бежала из гетто...

— Вчера?!

— Они все хотели бежать, но мать и брата, семилетнего мальчика убили, а она пробежала дальше, спряталась на чердаке, и сидела там, слышала все... потом, когда стемнело, и они уже кончили грабить, она перебралась на другую половину, там ее двоюродный брат, и ей дали переодеться, сегодня утром они все трое, ее брат с товарищем и она вышли на работу и бежали по дороге. Мадам, только вы одна можете спасти!

— Что же я могу сделать? — спрашивает Джан, чтобы не давать сразу ответа, она уже догадалась, в чем дело. Ициксон умоляюще поднимает руки.

— Мадам, возьмите их к себе. У вас отдельный дом, много комнат. Пока только... на несколько дней, пару недель, не больше... Они заплатят, они не будут вам в тягость, все, что хотите, мадам, — золото, бриллианты... Эта девочка — Зеба — вы знаете Зеба, бывший мануфактурный магазин на Известковой, лучшие шелка в городе... Ах, мадам, я понимаю, что это опасно для вас тоже, но ведь только на пару недель, у них есть тетка, она полуарийка, тоже живет на своей квартире, но у нее сейчас немцы, и когда они уедут, — а они скоро уедут!

Джан молчит.



— Мадам, ведь вы пострадали от большевиков, вы монархическая семья, вас знают, вас никто не подозревает... Я вишу на волоске, Дамоклов меч, каждую минуту могут придти, сделать обыск, схватить... Ну, что вам рассказывать, когда вы сами достали мне яд, на случай... Да, это я решил твердо — как только за мной придут, я все время ношу с собой эту пилюлю, вот она...

Он выхватывает трясущимися руками платок из бокового кармана, разворачивает его, комочек папиросной бумаги падает на стол, и он снова бережно завертывает его.

— Да, какой же может быть выбор? Какая надежда на справедливость, на совесть? За что, мадам, за что? Ах Боже мой, вы-то знаете, вы-то понимаете, не знаю, откуда берутся такие люди, как вы... Велик Бог, и Он один, и у вас, и у нас! Я знаю, вы верите... Вот ваш муж пошел на войну, дай Бог ему вернуться... Мадам, вы верите, что ничто не пропадает даром, ни одно доброе дело?

В комнату тихо входит невысокий молодой человек со слишком ярким галстуком, подходит к девушке, та шепчет ему что-то, кивает на Джан, он подходит к столу.

— Это Леня, — устало говорит Ициксон. — Брат Гени, то есть кузен. Вот дама, о которой я говорил, Леня. Просите сами. Я все сказал. У меня вы не можете оставаться, я обреченный человек, но я не могу погубить жену и детей. Из моего дома вам только две дороги — к мадам Тугановской, или обратно в гетто, на смерть.

Девушка на диване всхлипывает, закрыв лицо руками. Молодой человек кусает губы. Он не нравится Джан. Красивые, золотисто-медные волосы, но слишком светлые ресницы альбиноса, глаза подслеповатые слегка, с красными веками, хотя в таком состоянии... По видимому, из бывшей золотой молодежи, заменяющей апломбом и развязностью бледную немочь всего остального... Но нельзя анализировать человека, которого могут расстрелять каждую минуту! Люди из гетто — вне закона и вне анализа, к ним могут быть только два отношения — а у нее, Джан, только одно. Альбинос умоляюще и заискивающе смотрит на нее, а ей становится неловко.

— Хорошо, я возьму вас. До сих пор все сходило благополучно. Помолитесь Богу, чтобы мне и впредь не засыпаться. Три человека! Какнибудь устроимся, но придется потесниться. Потом надо будет придумать что-нибудь другое, а пока — идите ко мне.

— Я так и знал, мадам, что вы согласитесь! — восторженно вскакивает Ициксон, хватая ее за руки, трясет их, целует, даже лицо у него просветлело. — Я так и знал! Бог вам поможет, мадам, за ваше сердце!

— И вы не беспокойтесь, мы отблагодарим, — бормочет молодой человек.

— У Гени есть драгоценности, у моей семьи тоже осталось в гетто, мы достанем оттуда, мы вам подарим бриллианты, заплатим за все.

Джан хмурится.

— Бриллиантов ваших мне не нужно, — сухо говорит она: — я своей головой рискую, может быть, своей семьей даже, и за такие вещи денег не беру. Цена крови, по-вашему, что ли? Но, если у вас есть ценности, то сможете продать что-нибудь, чтобы я могла кормить вас. Все-таки, три человека... продукты я достать могу, но сколько они стоят, сами знаете... Если бы у вас ничего не было, тогда другое дело, но так...

— Конечно, конечно, — подхватывает Ициксон: — это ведь мои племянники, так сказать, я за них отвечаю, мы потом все обсудим с вами и договоримся. Только вы не думаете, что лучше сразу провести их, сейчас уже достаточно темно?

— А где третий?

— Миша придет завтра, он сегодня в другом месте.

Звезды у них были уже спороты, и Джан отправилась домой со все еще всхлипывающей, как ребенок, Генией, так и не сказавшей ни слова. Альбинос шел за ними следом.



Маруся сразу расплакалась, обнимая Геню, Вероника беспомощно старалась помочь чем-нибудь. Катышка, вернувшись из лазарета, слишком устала, чтобы соображать, но смотрела с явным сочувствием. Трагедия осиротевшей девушки была ей слишком понятна. Инночка носилась, устраивая постели.

После ужина гости улеглись, а сестры собрались в марусиной комнате около кухни. Маруся мыла посуду и через открытую дверь принимала деятельное участие в семейном совете.

— Я не могла иначе, — убежденно закончила Джан. — Положение дурацкое. Только что сговорила с Вальдбургом, отказаться неловко, да и не считаю нужным: наоборот, его присутствие сейчас в доме будет очень полезно. А устрою я так, что он и видеть не будет. Ярика можно перевести в комнату Инночки.

— Хорошо, а их куда же? Ну, девушка у тебя, а мальчишки?

— Их я беру наверх. Да, всех троих. И вот почему: Феликс Карлович будет занимать одну половину, налево от холля. Самое страшное — донос или обыск почему-либо. Поэтому и хочу их в мезонин... Во-первых, каморы в стенах, где теперь у меня склады — прекрасные тайники. Один надо будет разгрузить, чтобы смогли влезть, в случае чего, мы это прорепетируем. Расчет на психологию: обыск начнут снизу, ничего не найдут — неужели станут снимать наверху ковры со стенок? И потом окно на кухонный двор, можно тоже лестницу наладить, вроде пожарной.

— Джан, ты фантазируешь! Романтика Дикого Запада!

— Или средневековья... не даром в нашем городе гетто! Но, может быть, я это действительно перехватила, а главное что я хочу сказать: я их решила принять, я устраиваю их в своей комнате, и я отвечаю за все. Поняли? Пожалуйста, без благородства и великодушия. Если засыплюсь, то арифметика очень проста: вас пятеро, а я одна...

— Откуда нас пять?

— А Инночку с Яриком не считаете? И вы ничего не знали. Ко мне столько приходит народа, что за всеми не усмотришь. Говорите в один голос, что я — человек очень скрытный, живу волком, и вообще деспот и тиран, кроме ненормальности, которой страдаю с детства.

— Тебе хорошо шутить, — вздыхает Катышка.



В зиму сорок первого-второго года в Риге было мало домов, в которых не было бы своего «скелета в шкафу», больших и маленьких тайн, от куска шпека в кладовой до лондонского Би-Би-Си по радио. Балтийцы — своевольный народ, как и их ветер, они привыкли к свободе — и к очередным победителям, упорно, скрыто или явно, в зависимости от обстоятельств, отставляя свою независимость от временных завоевателей. Завоеватели всегда приходят на время: — месяцы, года. В конце концов, они уходят или растворяются в ветре. Ветер и море остаются всегда.

Теперь Джан не может уже определить, когда именно она сошла с прямого пути и не идет, как раньше, по прямой дороге, открытой всем и понятной себе, а сойдя с нее, путается в разбегающихся, подворачивающихся под ноги колеях, кружит, попадает в тупики, и живет не одной, а несколькими жизнями сразу. «Фрау Керам» — деловая женщина, «Мадам Керам» — один из узлов подпольной сети — которая настоящая Джан?

Или, может быть — та, ждущая редкого почтальона, быстро идущая ему навстречу и спокойно берущая письмо со знакомым почерком Бея? Что-то проскальзывает в глазах и так же незаметно исчезает. Кто же может написать, кроме Бея? Лада? Но каким-то краешком души Джан ждет другого письма, и тонкая ниточка мечты вплетается в суматошный, забитый цифрами и тревогами день. Задумываться некогда — и к чему?



На Рождество Бей не смог приехать из Пскова — слишком рано идти в отпуск. Стесняют постояльцы — Джан хочется их развлечь, она кладет им под елку подарки, накрывает стол к парадному ужину, но все это не то, ни радости и даже печали настоящей нет, не поет, не колдует снег, Сочельник молчит.

Колокольный звон раздается позднее — в конверте с незнакомой маркой. Джан не верит, перечитывает снова, еще в холле, и кричит на весь дом, размахивая конвертом. Слезы сдавливают горло, радостные слезы обжигают глаза, взволнованной дрожью пробегая по телу:

— Дети, господа, Господи! Бабушка, Екатерина Андреевна, жива! в Швеции! На льдине добралась!

Четыре странички плотно исписаны, буквы четко нанизываются крупной осыпью старинного ожерелья, в них ясная чистая твердость, старомодный уют. Джан видит руку, писавшую их, видит лучистые глаза, как отцветающие фиалки, мартовский берег взморья, зеленоватые искры льдин, косматую пену, ветер, старика профессора, ледяной корабль Тоски и толстую книгу...

Особенность чудес в том, что они хоть и ежедневны, но случаются именно в такие дни, которых выпадает немного на долю каждой жизни. Поэтому чудо, сказки, подвиг — синонимы ослепительных молний, прорыва в прекрасное, и даже весть о нем дает на мгновение крылья, приобщает к тайне, распахивает двери в закрытый мир. А ведь чудесное именно в том, что мы видим на мгновение другими глазами!

«... не знаю, почему Бог продлил срок и даровал чудесное спасение именно мне, отдавшей бы с радостью всю жизнь за год, за час любому из вас — любимые мои, но покоряюсь Его воле», писала Екатерина Андреевна. «Верю и чувствую, что вы все, оставшиеся, живы и спаслись от зла, и молю Бога, чтобы это письмо дошло до вас и получить ответ»...

«... теперь я окончательно пришла в себя — шутка ли сказать, в мои годы восемь месяцев в лазарете. Похудела я так, что каждая модница может мне позавидовать — по весу совсем шестнадцать лет, хотя кормили меня отлично, ухаживали, и вообще на редкость приветливое, человеческое отношение. О своем спасении могу рассказывать только по газетам, вырезки из которых мне переводили. Сама ничего не помню. Почему я тогда решилась — ты, Джанушка, больше других поймешь. Сразу как-то озарило мыслью, — а вдруг удастся? Не себя спасти, а хорошую, ценную книгу, чтобы не попала она на свалку, в общую яму, а чтобы труд жизни светлого человека не пропал даром, и мог бы принести радость и пользу людям. И твоя сказка, твоя легенда, Джанушка, тоже в ней. Сперва мне было немного страшно, когда льдина откалывалась, я думала, перевернется, а потом плыла на корабле и видела удалявшийся берег, и благословляла вас всех, сонных еще в это время, плакала немножко. Потом и страх прошел, чувствовала себя смелым капитаном, вспоминала всякие чудесные истории, которые в детстве читала, хлопала руками, чтобы согреться, а ночью смотрела на звезды и читала стихи Гумилева... Профессора я ограбила порядком, каюсь: взяла из передней старый овчинный кожух и сала с хлебом, но есть не хотелось, а ветер постепенно



пробрался и под кожих, и под мою шубу. Читала, как умирали другие, но мне было очень трудно. Как льдина не перевернулась, не расколосась, и меня заметили не рыбаки даже, а со шведского крейсера — не знаю. Подобрали в беспамятстве и уж очень их наверно поразило, что оказалось у путешественницы всего и вещей, что рукопись книги. Но в сумке был мой паспорт, и они обо всем догадались.»

«... ко мне приходили уже профессора, журналисты и разные важные люди. Заинтересовались, газеты старались очень. Стокгольмский университет пишет профессору, и предлагает издать книгу. Мне купили очень удобное кресло, так что я могу сама передвигаться в нем, и протезы, теперь учусь ходить. Бегать мне не придется, а ноги были отморожены очень удачно, говорит доктор, так что на протезах даже незаметно совсем. Устроили меня здесь в прекрасной комнате в пансионе для благородных девиц и вдов, многие говорят по-французски и по-немецки. Окно выходит в сад, на столе радио, и когда я буду вполне уверена, что вы все живы и здоровы и не голодаете, то буду спокойно наслаждаться книгами, музыкой, и с молитвой ожидать конца войны, который принесет мир и всем нам, и нашей многострадальной родине, так что наши жертвы не будут напрасны»...

Человеческим документом было это письмо — и какого человека!

Ответ Джан написала, конечно, сразу, но часто задумывалась. Письмо пройдет через цензуру. Но еще до того оно проходило через цензуру благоговейной любви к светлой и чистой женщине: нельзя беспокоить и огорчать ее. Слова цеплялись за общие места, домашние и городские новости, и Джан ясно видела, какое громадное расстояние между светлой комнатой в нормальной стране, где будет читаться ее письмо, и вот этой, где в стене напротив, под ковром — тайная каморка для людей, вещей и продуктов. Разница настолько велика, что бабушка не сможет и догадаться между строк — тем лучше.

Было еще два письма — не таких чудесных, но тоже из другого мира.

Лада писала о берлинской жизни, разговорах с хозяйкой, невозможности готовить на одни карточки, просила прислать масла и шпека, книг и гречневой крупы. Были горькие жалобы на Надю, совершенно отбившуюся от рук, удравшую с каким-то Фрицем, куда-то...

Второе письмо от Нади, с фотографиями. С женихом, довольно красивым и нахальным молодцом, и ее, в форме «Блиц медель». Надя писала по дороге в Италию, куда отправляли ее на службу, предвкушая апельсины, горы и шелковые чулки, вскользь упоминала, что если у нее будет ребенок, то это ничего не значит: в Германии каждой девушке с шестнадцати лет просто полагается иметь ребенка, это подарок фюреру, а если ее

жениха убьют, то найдется другой: все в восклицательных знаках и не очень грамотно.

— Я давно привыкла смотреть на нее, как на уroda в семье, — резюмировала Джан, передавая письмо Катьшке: — но если она явится сюда с ребенком и женихом, то я пропесочу ее основательно и просто выставлю, как ты хочешь!

Катьшка пожала плечами.

— Я тоже уже привыкла в лазарете, там ведь теперь больше половины немецких сестер. Пожилые держат себя еще прилично, но молодым, по нашим понятиям, просто полагается желтый билет. Ребенок — это средство к существованию. Да нет, ты не смейся, я серьезно говорю. Прежде всего расчет: в зависимости от числа детей, женщину освобождают от работы, государство дает пособие, плюс дополнительные карточки. Выгодное дело — человеческая ферма! Да у них есть даже такие заведения, куда специально подбирают молодежь — для спаривания. Религия, мораль, этика — предрассудки. Государство узаконяет дома терпимости и берет на содержание родильные станки — иначе не назовешь! Немудрено, что тупость среди этих молодых девушек поразительная, и кроме уборки, а в лучшем случае узенькой специальности, они ничего не знают и ничем не интересуются. Вот гитлеровского просвещения достойные плоды!

В эту зиму окаменелость Катьшки уже прошла. Она выпрямилась, стала самостоятельной, научилась рассуждать. Рана затягивается пластырем, работа очень помогла ей.

Но «жениха с ребенком» у нее не будет! — заканчивает Джан свои наблюдения.



Трое «пансионеров» — предмет легкого сперва, но все растущего недоумения. Джан чуть не поругалась из-за них с Левштейном, испугавшимся за нее, как отец родной. Не столько за нее самое, может быть, сколько за то, что если она попадет, кто будет устраивать ему все, что нужно? Он сразу познакомился с ними, и шептался в углу, размахивая руками.

— Наша мадам, — мешугге, но что с ней поделаешь? — заключил он. — А мицве! — И, уже вдвоем с ней, прибавил: — А они платят вам, по крайней мере, как следует? Вы не должны теперь на ваше хозяйство и копейки тратить, это же только справедливо, помилуйте!

О плате пока никто не говорил. Джан стала аккуратно записывать расход, и уже в первый месяц он подскочил на полторы тысячи марок. Пансионеры утряслись, с деятельной помощью Маруси и Миши Малиновского. Этот понравился Джан больше всех остальных, чуть напоминал Джокера — бедный Джокер! Он не отходил от проволоки, когда в гетто отделили женщин, потом прорвался и пошел вместе с женой...

Первая бойня вызвала слишком много разговоров в городе, теперь очередные партии вывозятся дальше и не так заметно. Каждую неделю прибывают из Германии поезда с «переселенцами», на улицах женщины в платочках и лыжных костюмах и мужчины с иностранным произношением разгребают снег, но улицы в гетто пустеют тоже с каждой неделей... Норма установлена: тридцать человек и три пулемета на грузовик, часто пресловутая латышская «группа Арайса», от которой все порядочные латыши открещиваются, часть немцев, водка с колбасой на закуску, и доход в дележе. Каждую субботу грузовик гонит партию евреев в полторы-две тысячи человек за город...

Да, так вот — пансионеры. Миша — добродушный блондин, похож на простоватого русского парня. Все его родные погибли. Он пришиблен, но держится очень спокойно, и молча следит за каждым словом и движением Джан, готовый каждую минуту помочь чем-нибудь. Он может спокойно ходить по улицам и днем, опасен только контроль документов — или знакомый. С Леней хуже, но Леня воровски поднимает воротник пальто, нахлобучивает кепку и в сумерки шатается куда-то: говорит, к тетке по делам. Геня и Леня — пара бездельников. Трагедия, исключительное положение, пусть так, но оба валяются весь день на диванах, слушают радио, читают легкие романы. Пришлось просить и даже требовать, чтобы к десяти часам постели и комнаты были прибраны.

На третий день после их прибытия Леня таинственно запер дверь и поставил перед Джан жестяную коробку из-под конфет.  
— Вот, мадам, вам на сохранение.

После шкатулки Готлицера эта казалась очень жалкой, но не каждый же богатый человек — ювелир! Несколько бриллиантовых приличных колец, золотые монеты, портсигар, мелочи, сережки. Джан сложила все обратно и прихлопнула крышку.

— Вы составите список на вещи, или как?

— Что вы, что вы?

— Как хотите... Конечно, было бы смешно немножко... Куда же спрятать? Зарыть в саду — проще всего, но доставать трудно, земля замерзла. Продать вам что-нибудь понадобится... Вот смотрите, на этой полке, третий том энциклопедии.

История повторяется, — подумала Джан: — тоже третий том, как у Натана.

Узкая черная книга с линованными листами расхода. Цифры двух и трехзначные. В феврале в доме нет ни одной картошки, и никаких овощей вообще. Джан мечется и предлагает всем в обмен фунт шпека на два кило картошки. За последние три месяца — шесть тысяч марок. Еда и табак.

— Вот, — громко говорит Джан, подводя итог, — я считаю, что расходы мы несем пополам. Хотя вас трое, а нас больше, но зато у нас часть все-таки покупается по карточкам, по офи-

циальным ценам, а Катышка вообще приносит из лазарета... если несправедливо, возражайте!

— Нет, что вы... что вы...

Возражений нет, но и денег тоже, и в марте у Джан лопаются терпение. Когда приходит Левштейн, она жалуется ему. Тот всплескивает руками.

— И что вы до сих пор не говорили, мешугене! Я им скажу! Мало того, что вы связаны теперь ими по рукам и ногам, так вы еще кормите их из своего кармана, а они валяются по диванам, разве я не вижу! Нет, я вас предупреждал... почему вы не сказали Ициксону?

— Мне очень неудобно, Левштейн, — оправдывается Джан.

— Что значит неудобно? Разве они нищие?

— Да, но в таком положении.

— А вы имеете хлеб с неба, я спрашиваю? Вы работаете и рискуете, и помогаете — ну, и довольно, но это же ваши, заработанные деньги, не для того, чтобы кормить чужих! Ой, как я жалею, что не послушался вас и не переехал со всей семьей к вам тогда, до гетто еще. Сидел бы спокойно, и все было бы хорошо!

— Вы понимаете, ведь я записываю все. И цены растут. В декабре карат стоил полторы, а теперь три... и у меня больше денег совсем нет, сколько ни заработаю, все...

— Таки-да, я понимаю! — кипит Левштейн.

На следующий день после его посещения Леня таинственно передает Джан бриллиантовое кольцо.

— Вот, мадам, пожалуйста, от нас за нашу еду. Продайте или как хотите...

— Для верности снесу его завтра ювелиру, мне не хочется оценивать самой. Камень чистый, но желтый, это вы ясно видите сами, карата с два с четвертью будет. Белый стоит сейчас три, желтый вдвое дешевле. Три тысячи, я считаю.

— Это уж ваше дело, — пожал плечами Леня. — Я справлялся тоже, мне сказали три.

— Да? Значит не ошиблась. Теперь подсчитаем по моей расходной книге...

— Ах, нет, мадам, не стоит...

— Почему же? Вы знаете, что я не собираюсь зарабатывать на вас. Заплатите мне только за еду. И еще: это для вас с Геней, или вы все трое участвуете?

— Миша нас не касается, — снова пожимает плечами Леня: — пусть сам о себе заботится.

После всех подсчетов ясно, что три тысячи за кольцо покрывают расходы двух до конца марта.

— Значит, за Мишей еще полторы, — вздохнула Джан. — Вы бы ему сказали как-нибудь...

— Ну, уж нет, вы лучше сами.



Что-то неприятное в лице этого Лени, никак не разберешь. Шныряет тоже по всему дому, два раза нарывался на Вальдбурга, Джан каждый раз так волновалась. Миша совсем другой. Джан уже пытается достать для него паспорт, но пока еще ничего не выходит...

Феликс Карлович не задает вопросов — замечательный такт у этого человека! За самоваром, а иногда и коньяком у них частые разговоры, он стал понемногу другом дома. Интересный собеседник, хотя и застегнут на все пуговицы. Джан ловит невзначай понимающий взгляд — и ей становится неловко: опять сболтнула что-нибудь лишнее? Но Феликсу Карловичу не надо много говорить — он и сам молчит.



Двор в гестаповский блок закрыт. Новая лазейка — прямо с улицы в дверь у пустой замазанной мелом витрины, закрытого магазина; там теперь одна из мастерских — место свиданий.

Зима суровая. Снежные бури в марте, норд-ост леденит насквозь. У Джан замерзли ресницы, пока добежала — глаза слипаются. «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!», — шепчет она машинально, и шагает в дверь. Два часа дня, а полутемно уже, Джан моргает слипшимися ресницами, желтая лампочка кружится и дрожит в глазах сквозь морозные слезы, не разобрать, кто тут — прыгающие фигуры и неясный гул за дверью во внутренние помещения. Первое лицо, которое она ясно видит — рыжий еврей. Джан уже посередине мастерской, когда он подскакивает козлом и выбрасывает руку ей на шею, пригибая вниз.

— Скорее, идут!

Сдавленный шопот в ушах, сердце сразу падает. Джан наклоняется, как-то раскосившиеся глаза меряют расстояние к выходной двери, но та далеко, и ее раскрывает мужская рука в военном обшлаге — назад!.. — а вторая дверь, на внутреннюю лестницу, раскрывается тоже — несколько человек идет, целая группа — назад, куда, о Боже? Рыжий еврей загораживает ее, скользнувшая рука толкает ее в спину, ниже, еще ниже, и Джан, ничего не разбирая в полутемноте, почти валится по лесенке в погреб. Так и проехала мягкой шубой по ступенькам — наверху громкие голоса, не слышно. А если заметили?

Теперь глаза привыкли: не погреб, а полуподвальное помещение: ящики, мешки с чем-то, тряпки. Несколько ступенек наверх, огороженных перильцами. Джан сидит на корточках в углу, между ящиками, и осторожно, затаив дыхание, натягивает на голову какой-то пустой мешок. Услышат, услышат, голоса наверху, над самой головой, что им стоит взглянуть вниз... Холодно, дыхание белым паром поднимается кверху, надо спрятать

лицо в муфту, чтобы не заметили... И по разговорам сверху ясно, что пришли с ревизией — кричат-то как!

Два часа сидит Джан, скрючившись. Ноги и руки замерзли, ей мучительно больно и невыносимо хочется курить от волнения и страха. Шуба теплая, но сегодня тридцать два градуса мороза... Она не двигается и тогда, когда наверху уже все стихло...

— Где она? Мадам, вы еще живы? Ой, Боже мой, Боже мой! — это голос Левштейна, он шумно топчет по ступенькам. — Ну, они таки-да ушли наконец, теперь все чисто, выходите, да вы не можете идти, дайте я помогу... Абрам, дай мадам водки, скорее, она совсем замерзла!

Джан еле шевелит губами.

— Вы не двигались, это очень опасно, идите скорее домой, бегите прямо, чтобы согреться, сумки оставьте, я тут сам разберу, и вечером вырвусь к вам, тогда поговорим... примите аспирин.

Джан послушно глотает водку, не чувствуя вкуса. Каждый шаг, как по иголкам, она морщится, пытается идти скорее — и только перед домом приходит в себя. Вот влопалась как — почти!

— Мы собирались уже спасаться к тетке, — заявляет Лена. — Вы сказали, что идете в «пекло» — и так долго не возвращались. Ициксон просил вас зайти сегодня непременно...

— Джан, этот латышский капитан, у которого серебро, спрашивал, возьмешь ли, а то у него покупатель есть...

— Куколка, дай поесть чего-нибудь и чаю, горячего чаю, прямо в печку хочется ноги сунуть!..



Джан прежде всего просит стакан воды. Маруся так пересолила суп. Да, сырой, прямо из-под крана — спасибо.

Девочка — дочка Ициксона — с некоторым удивлением смотрит, как в такой мороз можно пить холодную воду, но Джан уже отошла, все забыто, в голове только серебро, на которое не хватает денег...

Ициксон мнется и потирает руки.

— Мадам, мне очень неловко, но здесь очевидное недоразумение, и я думал... Ведь вы фактически — только не обижайтесь, ради Бога, получили все и за всех, мишины деньги и его кольцо... Свою часть, тысячу марок в месяц, без всякого расчета, просто так, он с самого начала давал Лене для вас... Но кольцо и другие вещи были у Лени. Вчера я вызвал Леню и, признаться, намылил ему голову. Он вам ничего не сказал?

Джан вскипает, но сдерживается еще.

— Позвольте, или я на самом деле ничего не могу сообразить, мозги замерзли, или...

— Очень просто. Миша давал свою часть с самого начала . . .  
— Я не получала никаких денег.  
— Потом дал кольцо . . .  
— Чье оно?  
— Матери Миши, он положил свои вещи вместе . . .  
— Но что они взяли кольцо, он знал?  
— Я вызвал вчера Леню, и говорил с обоими.  
— Другими словами, они обокрали товарища, имея сами достаточно денег или вещей, чтобы заплатить, — медленно говорит Джан, и у нее пересыхает в горле.

— Не беспокойтесь, мадам, вы тут непричем, недоразумение выяснено, но, конечно, Миша был удивлен . . .

— Товарища . . . в таком положении! Я ведь просила вас дать мне воды!

— Но вы уже выпили, мадам!

— Ничего подобного! Не может быть! — упрямо цеплялась Джан, почти крича. Она не пила никогда воды, и ей нужно выпить воды, иначе она разобьет сейчас этот радиоаппарат, мерзкий ящик, вдребезги, кулаком на мелкие щепочки, на растопку!

Ициксон увидел белые от бешенства глаза, испугался и понесся на кухню за водой.

— Выпейте, мадам, и успокойтесь. Вы же непричем, вы же совершенно вправе требовать . . .

Джан поднялась, сцепив зубы, кивнула ему, и, не слушая, вышла.

Улицы слились в шарахающиеся дома. Звонок дрожал еще возмущенно, когда она влетела в холл. Не раздеваясь, через три ступеньки по лестнице, в мезонин. Одним взглядом обвела комнату.

Геня сидела в кресле с книжкой, Миша приложил ухо к радиоаппарату, ловил Лондон. Леня стоял у окна, закрываясь шторой, как плащом. Все вскочили.

— Что случилось?

— Мне нужно поговорить с вами. — Слова шли с трудом, от быстрого бега перехватило дыхание. Джан остановилась внезапно, оглянулась. На низкой полочке стояла широкая вазочка из горного хрусталя. Синеватые грани блестели вызывающе. Рраз! Мелкие брызги вспыхнули и рассыпались с угла тумбочки изморосью на ковер.

— Ах! — вырвалось у Гени.

— Мадам . . .

— Надежда Николаевна, что с вами? — спокойно спросил Миша.

— Ничего, — облегченно вздохнула Джан: — мне просто давно хотелось посмотреть, как бьется настоящий хрусталь. Вот и знаю теперь.

Шуба спокойно легла на спинку кресла.

— Потом уберете, Геня.

Геня пока и не думала убирать, но это была не просьба, а приказание, и она вдруг засуетилась.

— Потом... — вяло махнула рукой Джан. Бешенство остыло, осталась неловкость и легкое отвращение. — Ну, вот, господа. Этого я от вас не ожидала. Вы все трое для меня одинаково чужие люди, все висите на волоске, и в таком положении обжужулить товарища...

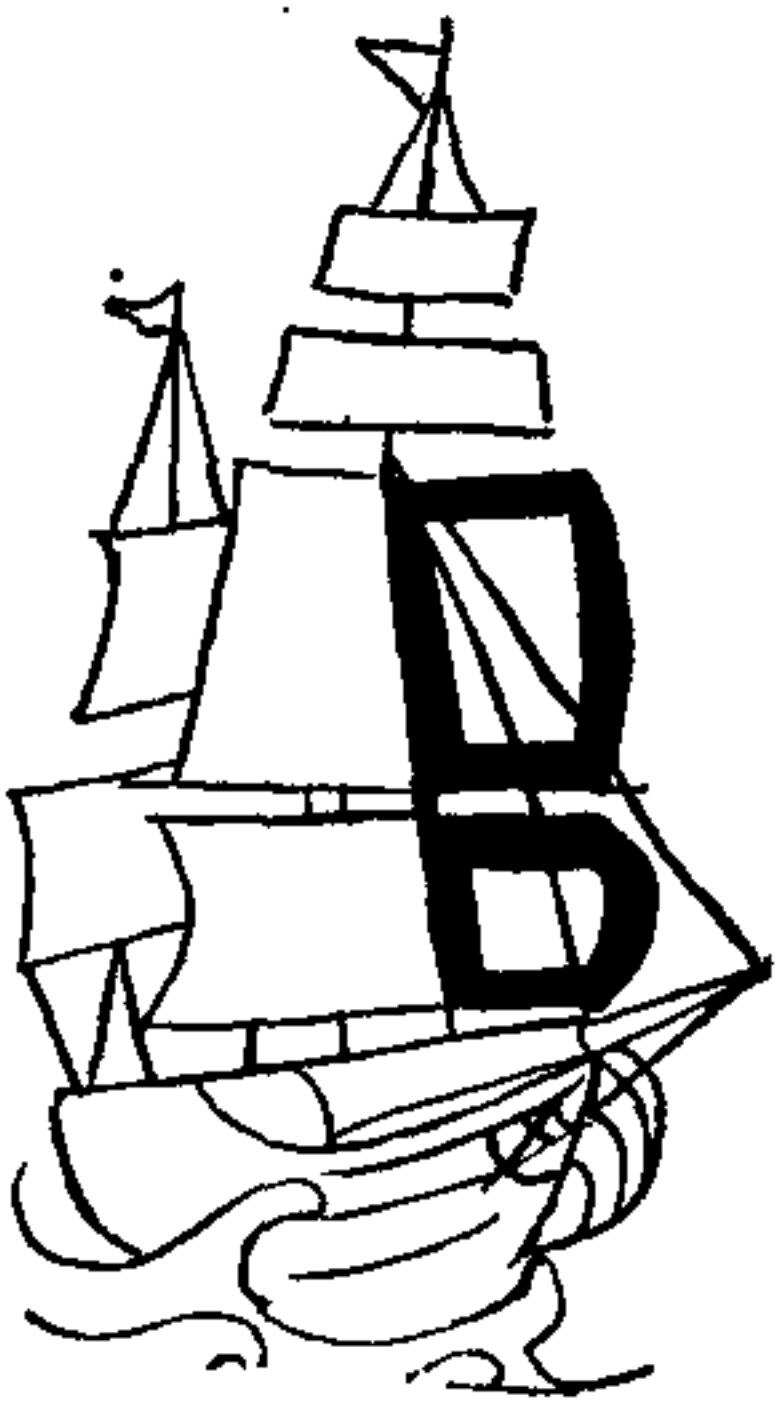
Джан говорит спокойно и ровно, не глядя ни на кого. Леня попытался сперва смущенно выворачиваться — но умолк. Геня плакала, уверяя, что ничего не знает. Миша уговаривал Джан, доказывая, что ему не жаль, кольцо — пустяки, но Джан спокойно качала головой.

— Нет, Миша, вы тут непричем. Решаю я. Вы останетесь у меня, как и до сих пор, пока я не сделаю вам паспорта, но Леня с Геней пусть отправляются к своей тетке. Почему она не может сделать того же, что и я? До сих пор я рисковала, чтобы помочь, но после такого поступка не могу. Даю вам неделю срока — и ни одного часа больше!

Через четыре дня Леня с Геней скрылись так же незаметно, как и пришли. Джан случайно столкнулась с ними в холле, когда они уходили. Извинения, но сейчас благоприятный момент у тетки. Джан тоже обмякла. Остались неловкость, стыд, жалость. Что с ними будет еще? Могла ли она судить и осудить?

Левштейн был возмущен и очень доволен. Джан ходила пришибленная несколько дней. Миша тоже жался по углам. Джан перевела его спать в столовую. А расходная книга была перечеркнута красным карандашом и засунута в камин.





есна обрушивалась мартовскими бурями на город, гуляла метелями, растекалась гололедицей. Через город проходили транспорты германских солдат — безруких, безногих, беспалых: — «Генерал Мороз» давал сражения всю эту зиму. Наполеоновская ошибка повторялась в увеличенном размере. Но победы праздновались, войска шли дальше.

Браухич, протестовавший, доказывавший — был убран.

В начале зимы краснощекие солдаты в одних мундирчиках часто играли на улицах в снежки, морозно и весело звенели голоса. Бодро пелись маршевые песни. Ах, пустяки, немцы — закаленный народ, привыкли спать в нетопленных спальнях... В конце зимы на улицах появились новые фигуры — в овчинных шубах поверх шинелей, в папахах даже...

«Вир — Козакен», смеялись германские офицеры, похлопывая громадными рукавицами. Рукавицы были нужны перед Рождеством уже, но Россия, как всегда почему-то, оказалась загадочной страной, совершенно неизвестной, непонятной и неожиданной, хотя учебники географии и истории может прочесть каждый...

Пленные отправлялись в Германию. На платформах, поездами. Тридцать два, тридцать пять ниже нуля... Провожатые не мерзли — очень уж много приходилось сбрасывать трупов — шпалами — под откос. Из одной партии в семьдесят пять тысяч человек доехало три тысячи...

— На каждой остановке пройдешь вдоль поезда, — рассказывал Джан знакомый, поступивший в Вермахт — и сразу знаешь: если воют, значит — иди мимо, живы! А молчат — вались дерево на дерево! Надоело до чортиков, поганая работа, больше не повезу...

Победы заковычивались в лед, неподвижный и страшный, как статуя Командора — и тяжело было пожатье каменной его десницы.



Всего пять часов вечера, но улицы тонут в бешеной метели. Наверно рижские колокольни проткнули своими шпицами тучи, и они прорвались и падают. Ветру не поднять их — все гуще и гуще лепится снег, в полчаса вырастают сугробы на панели чуть ли не по колено, в глаза, в лицо, за воротник, — со всех сторон сразу ветер швыряет крутящиеся клочки, слепит и воет...

— В такую погоду добрый хозяин даже гестаповца на улицу не выгонит, — бормочет мокрыми от снега губами Джан.

Она топает вместе с Марусей через сугробы открытой к Двине Ганзейской улицы. В пять свидание с Левштейном, и продуктов набралось так много, что она одна не может снести всех сумок. Чтоб не бегать зря, взяла на помощь Марусю. Пусть та подождет на другой стороне, а она выскочит и возьмет остальное.

Еле перебрались через Выгонную дамбу, на такой широкой улице ветер прямо с ног валит, из-за метели Джан трамвая не разглядела, метнулась в сторону, упала на вторые рельсы и ссадила колено.

— Очень больно? — сочувственно стонет Маруся и смешно моргает ресницами — они у нее совсем седые, как ватные.

— Колено казенное, а вот чулок жалко, — определенно дыра с кулак величиной, — ворчит Джан.

Из метельного вихря вырастает что-то длинное, и они бросаются на тротуар. Пленные идут. Колонна заворачивает от Выгонной дамбы на Ганзейскую, по дороге, значит.

— Сейчас ни зги не видно, — шепчет Джан на ухо Марусе: — идем медленнее, как будто не разглядели, и хотим перейти на другую сторону улицы — и дадим им! Приготовь заранее — в сетке масло и табак сверху, в пакетах.

Обе настораживаются, пригибаются от ветра, оглядываются: в трех шагах ничего не различишь, кажется, не улица совсем, а мгlistая степь в буран: метель, снег стер все границы...

— А-а-а-а... — стонет вдруг колонна — а-а-а!

— Господи, я не могу, не могу больше! — вырывается чей-то ясный, пронзительный, предсмертный вопль, и метель взывает сразу в ответ. Крики, удары, упал кто-то, свалка — ряды расстраиваются.

Маруся, с расширенными от ужаса глазами, бросила сумки и одной рукой хватает Джан за рукав, другой зажимает ей рот. У Джан рвется ответный вопль, душится намокшей шерстяной рукавичкой.

— Хальт, вег, форвертс! Хальт, хальт!

С угла Царско-Садовой вырываются две тяжелые военные машины и врезаются почти в колонну. Пленные шарахаются, застревают в сугробах.

Маруся еле держит Джан, но поверх ее руки та улавливает глазом что-то. Крик потряс ее, взбудоражил, обострил чутье. В короткую минуту, между проносящимися грузовиками и сугробами Джан ныряет в метель и, схватив одну фигуру за локоть, падает, увлекая пленного за собой.

— Ползите в сугробы, — шепчет она: — сейчас поворот. Скорее, скорее!..

Белый Дом бывшего американского посольства на углу Царско-Садовой и Ганзейской с въездом для автомобиля отступает от широкой панели. Джан знает здесь каждый шаг, и, прежде чем сознает сама, как это получилось, они оба за спасительным накатом снега, под самым забором. Ругань немецких солдат за углом, колонна вытягивается к Форбургу, кто там разберет в эту метель и сумерки, что одного человека не хватает...

— Вы кричали? — шопотом спрашивает Джан промокшую, провонявшую шинель около своего лица, и медленно поднимается. Внезапно приходит в голову, что ей-то лежать незачем. Не стреляли, и слава Богу!

— А теперь что? — заглушенный и невразумительный ответ.

— Лежите пока, я посмотрю.

Джан кладет ему на спину свою сумку и отходит на два шага. Куколка, где ты? Ау?

— Джан, что случилось? — бежит сзади Маруся. — Ты опять упала?

— Ну, да. На тебе вязаная кофточка надета?

— Голубая моя... в чем дело?

— Пойди в подъезд, Куколка, — весело распоряжается Джан, продолжая внимательно оглядываться: — сними ее, и дай мне. Потом беги домой без оглядки и разогрей бульон. Я устраиваю маскарад. Поход в пекло отменяется. Ну, живо!

— Джан, неужели ты... тебе удалось? Где он?

— Маруся, еще слово...

— Да-да! — Маруся в диком возбуждении вприскокку летит в подъезд, и через секунду Джан следует за ней. Она снимает свою шубу, надевает кофточку и выходит на улицу. Маруся сгорает от любопытства, страха и радости, но Джан грозно хму-

рит брови, и она скрывается в белой завесе. Теперь на улице только ветер и снег.

— Встаньте, — строго говорит Джан, притрагиваясь носком ботика к грязной продолговатой куче, — и бросьте шапку, шинель скиньте тоже и эту тряпку с шеи, пожалуйста.

Он дрожит и стучит зубами, пока Джан неловко натягивает ему на голову свой капор и шубу на плечи. Пленный, по крайней мере, на голову выше ее. Шуба трещит на широких плечах, застегнуть можно только на одну пуговицу, руки вылезают из рукавов, и пахнет от него чем-то кислым.

— Во вшах, наверно, но грязь можно вычистить, только бы не тиф, — решает про себя Джан. — Идемте теперь к нам, — говорит она вслух. — Закройте лицо муфтой, чтобы не было видно щетины. Вот так. Можете идти? Тут недалеко. Минут пять. Если я остановлюсь, подгибайте ноги сразу и проваливайтесь в снег. Господи, какая моя шуба на вас короткая! Все ноги видно. Ну, в такую погоду.. и молчите, что бы ни случилось, молчите!

Она берет его под руку и не идет, а бежит по Ганзейской, вглядываясь вперед, стараясь держаться ближе к сугробам, чтобы вдавить в них при случае эти предательские, невероятно растоптанные сапоги, выпирающие из-под элегантного каракуля на добрую сажень! Но на Ганзейской еще хорошо, она всегда тихая улица, а вот трамвай на Выгонной дамбе, две остановки как раз, и целый квартал надо пройти, и машины все время... Метелица, голубушка, выручай, замети! Господи, помоги!

— Я не могу так скоро... — бормочет пленный. — Бросьте вы меня под забором. Все равно уж.

— Этого еще не хватало! — возмущается Джан. — На половине пути! Ну, подбодритесь, милый, немножко еще... сейчас страшная улица, ее бы пройти скорее... Опирайтесь на меня, я выдержу. Сейчас я вас приведу в теплую комнату, накормлю, вымою, переоденетесь в чистое и ляжете в постель, и закурите, и водки дам вам немного. Ну, еще немного, да не плачьте же, я сама сейчас заплачу, а на улице неудобно реветь. И как это вы таким большим и тяжелым выросли... не смей ложиться на землю, мерзавец, а то я вас за ноги поволоку! Еще десять шагов, ну, еще — еще... вот так!

Последние слова уже хрип. Хрипит шатающийся пленный, хрипит Джан, сгибаясь под его тяжестью, дышит, как паровоз, глотает снег, широко раскрывши рот, и тащит, тащит... только бы протолкнуть его в узкий проход между садом и пустым домом среди изгородей и заборов, и бежать на свой двор, крикнуть Марусю из кухни...

Может быть, комунибудь и попалась на глаза в метельный мартовский вечер эта странная пара на Выгонной дамбе. Но кто будет разглядывать в такую погоду? А как две женщины тащи-



ли, подпирая «третью» на задворках за садами — этого никто не видел.

На кухне пленный сделал слабые попытки освободиться от шубы. Маруся помогла ему, усадила за стол, а Джан побежала в столовую и принесла бокальчик вина и две лепешки сухого печенья.

— Прежде всего топи ванну, но немного, настоящей ванны он не выдержит, а в таком виде к нему прикоснуться страшно. Пейте, это легкое, и вас подбодрит. Так, теперь молока, горячего. Еще печенье, и пока хватит. Вы понимаете, вас нельзя накормить сейчас, как следует, вы сразу умрете. Слышишь, Маруся? Не смей ничего давать без моего разрешения. Готовь белье, посмотри в шкафу у Бея...

Через час на диване под плюшевым одеялом лежал выбритый, исхудалый шатен и медленно ел суп. Рука часто опускалась с ложкой, и он виновато улыбался.

— Ну, да, после ванны вас разморило окончательно, — кивнула Джан. — Как ноги?

— По моему, в порядке, — отозвался Миша. — Пальцами шевелит.

— Значит, хорошо. Катюшка придет, тогда пусть пичкает его лекарствами, это теперь ее страсть, а я больше по здравому смыслу. Пусть выпится, потом посмотрим. Миша, вы просто молодец — из такого чучела человека сделали. И ругают же меня сегодня в «пекле»! Завтра придется без подготовки идти, нехорошо.

— Вы пройдете, Надежда Николаевна, — убежденно сказал Миша. — У вас в доме я перестал удивляться...

Дверь на половину Вальдбурга слегка приоткрылась, и он просунул голову в холл.

— Надежда Николаевна, зайдите ко мне на минутку. Ну, и метель сегодня! В такую погоду совершенно необходимо выпить перед ужином. Вы тоже недавно вернулись?

— Гуляла!

— И вид у вас такой торжествующий, как будто именинница или сто тысяч в лотерею выиграли... удачные дела? Вот попробуйте: это нам из военной добычи прислали — настоящий коньяк...

— Что я вижу! Мои любимые миноги. Феликс Карлович, вы волшебник. В нашем бывшем рыбном городе даже селедки на вес золота не достанешь.

— Но, в общем, вы питаетесь неплохо, насколько я мог заметить?

— Жаловаться грешно. Я, видите ли, считаю, что голод неизбежен, и поэтому надо есть, чтобы накопить силы.

— Вы не верите в победу?

— Нет, — сухо режет Джан.

— А почему?

— По-моему, Гитлер совершил две крупнейшие ошибки, и они окажутся роковыми. Если не завтра, то через год. Если мяч бросить на наклонную плоскость, то он неизбежно покатится вниз, вопрос времени.

— И эти две ошибки?

— Гетто и русские пленные. Я не говорю о других. Может быть, их нет, или очень много, я не политик и не полководец. Но об этих двух я могу судить, и они громадны и непоправимы. Не говорю о морали, попрании Божеских законов, что тоже всегда карается, между прочим. Возьмем просто голый расчет. Выселить нежелательных жильцов из дома можно и без убийства, потому что право выселения есть у каждого хозяина, а права убийства — ни у кого. Это во-первых. Во-вторых... Россия. Сфинкс Востока, подумай! Когда это говорят философы — я еще понимаю, но государственным деятелям следовало бы почитать учебник географии и истории, хотя бы для средних классов... Политику делают без сердца и мораль в ней непричем. Но расчет: голые цифры. Сколько квадратных километров занимает Россия? Двадцать один миллион! Сколько надо занять, чтобы покорить такую страну? Какую армию может выставить Германия, когда у нее всего восемьдесят миллионов населения? Вывод, по-моему, совершенно ясен: для того, чтобы победить Россию, требуется или такая военная мощь, которой, пока что, еще ни у кого нет, — или надо сделать из населения не врагов, а друзей. Боже мой, если бы осенью этого года немцы воткнули в землю палку с национальным русским флагом, объявили национальное русское правительство! Миллионы — четыре миллиона красноармейцев, здоровых, сильных мужчин сдались за первые полгода войны! Если бы эти миллионы вооружить и направить против большевиков, а не уморить с голоду! Если бы вконец ограбленному советскому населению дать хоть чуточку вздохнуть в занятых областях — то среди населения не было бы партизанов, как уже есть теперь, и солдаты не перестали бы сдаваться, как уже теперь, а переходили бы целыми армиями на сторону освободителей! И ведь Россия настолько богата, что за свое освобождение могла бы заплатить впоследствии хорошую плату, хватило бы каждому немецкому бюргеру! Но Гитлер не хочет тратить. Он хочет взять все даром. Ну, и потеряет все, вот увидите.

— Вы большая патриотка. Но не слишком ли вы слепы в вашей ненависти к немцам?

— Феликс Карлович, как вам не стыдно? Неужели нельзя быть патриоткой без того, чтобы не ненавидеть обязательно другие народы? Шовинизм уродлив и глуп, прежде всего. Я всегда уважала немцев, воспитывалась на их культуре, знаю их недостатки и достоинства, и никогда не чувствовала к ним враждебности. Но теперь как-то перестала понимать. Ко мне приходит множество офицеров и солдат. Резкая разница между моло-

дыми и постарше: молодежь почти вся преклоняется перед фюрером и упоена молниеносными победами. Постарше — вдумчивее, избегают говорить о партии. Многие рассказывают, как помогали русскому населению, и я охотно верю. Да сколько раз и мне самой оказывали услуги, бескорыстно и очень сердечно. Но почему они все ничего не знают, не видят, что творится? Когда я рассказываю фронтовикам — вскользь, осторожно, конечно, о гетто, о пленных — не знают, им и в голову не приходит задуматься над тем, что они видят на улице, на каждом шагу! А ведь от каждой желтой звезды, от каждой шатающейся фигуры пленного тянется хвост, и этих хвостов так много, что получается комета, страшная комета! А они говорят: «невозможно». И снова припев: «да-да, это партия»...

— Между прочим, — слегка улыбается Вальдбург, и в серьезных серых глазах проскальзывают искорки, — я ведь тоже в партии, вы знаете?

— Фа-зан? — невольно вырывается у Джан, и он громко смеется.

— Когда мы репатриировались, нас записывали автоматически в партию, и вы знаете, из прекрасного далека программа казалась очень разумной. Помощь крестьянству, социальное обеспечение, ликвидация безработицы, благоустройство рабочих...

— Прекрасные вещи. Если бы он этим и ограничился, я бы ратовала за нацизм так же, как теперь против него. За десять минут нашего разговора я наговорила достаточно для десяти лет концлагеря.

— Больше того, — усмехнулся Вальдбург.

— Да, но у меня только моя единственная жизнь, и мне нет дела до того, что потом история будет регистрировать цифры, и я буду в них одним из нулей. Пока я не погибла — я должна жить, и не только заработать себе на существование, но и оправдать его с моей точки зрения. А если сейчас человечность — государственное преступление, — то плевала я на все государства с высокого берега!

— У вас завидный темперамент.

— Единственное, что еще осталось — принять участие в государственном заговоре; все остальное уже проделано.

Джан небрежно кидает последние слова. но улыбка остается на губах, а глаза внимательно следят за собеседником. Вальдбург так же внимательно смотрит на нее и так же улыбается. Джан закуривает «на паузе» — вспоминает она театральное выражение и удовлетворенно откидывается на кресле.

— Почему вы смеетесь, Надежда Николаевна?

— Потому что мне показалось сейчас, что, смотря на вас, я смотрю в зеркало...

— Я думаю, что вы убедитесь в этом еще больше, если я скажу, что... вы нуждаетесь в моей помощи, не так ли? Ска-

жем — кой-какие документы, удостоверения личности, легализация, одним словом...

— Да — облегченно вздохнула Джан.

Вальдбург подумал.

— Очень спешно? И сколько?

— Пока двое... но можно подождать, с одним даже надо, не знаю, выживет ли...

— Хорошо. Не обещаю, но думаю, что устрою. И, кроме того, вам было бы хорошо переменить обстановку. Небольшие экскурсии время от времени очень полезны для нервов. Хотите в Берлин? Это легче всего устроить. Скажем, летом. И главное — будьте осторожны, Надежда Николаевна!

— Я очень рада, что мы с вами поговорили так, Феликс Карлович. Маруся уже два раза звала ужинать, идемте. Только последний необходимый вопрос: вы меня простите, но я привыкла подходить по-деловому...

Вальдбург улыбнулся.

— Я, правда, не коммерческий человек, но слышал однажды краем уха заявление одной «спекулянтки», что на хлебе и жизни она принципиально не зарабатывает, не так ли? Но к одной фразе из нашего разговора мы, может быть, когда-нибудь вернемся, и тогда... кто знает, может быть вы сможете оказать мне большую услугу — и, насколько я вас знаю, тоже без платы...

Джан молча протянула ему руку, и он так же молча пожал ее.



Пленного звали Анатолий Михайлович Карцев, по профессии журналист. Кормили и ухаживали за ним все, и он сразу стал своим человеком. Охотно рассказывал о себе, жадно набросился на библиотеку Джан и комплекты старых газет и журналов, сумел расположить к себе даже Веронику, с которой стал заниматься немецким языком. Джан купила ему приличный костюм, и через месяц не могла себе представить, что этот человек, по первому взгляду ничем не отличавшийся от любого рижского знакомого, был изможденной фигурой, выхваченной из мартовской метели.

— Мне очень трудно благодарить вас за спасение, — сказал он ей, когда впервые встал, оделся и поднялся на мезонин. — Надеюсь только, что вам не придется пожалеть об этом.

Успокаивающе и приятно действовала его смелость — он спокойно ходил по улицам даже один, изучая город, просил Джан давать ему поручения, и в паутине тревоги, опутывавшей ее, казался каким-то исключением: как будто весь риск был только тогда, в метель, а теперь снег растаял — и с ним все страхи.





Страх, панический, колотящий дрожью страх приходит внезапно. «Засыпешься ты в эту субботу», ласково печально звучит над самым ухом Джан знакомый голос.

Джан просыпается сразу, широко открывает глаза, садится на тахту. В балконную дверь льется солнце. В комнате никого.

— Кто был у меня сейчас? — кричит Джан, вскакивая, и бросаясь в одной рубашке к двери. Она даже сбегает вниз, босиком, и на ее крик высовываются в холл две фигуры: полуодетый Вальдбург из ванной, и разом вылетевший в пижаме из кухни Карцев.

— Что случилось, Надежда Николаевна?

— Кто был у меня сейчас в комнате? — повторяет Джан. — Кто сказал... — Она взволнованно замолкает. Вальдбург пристально смотрит на нее, молча поднимается по лестнице, и тщательно осматривает все углы и балкон. Джан идет вслед за ним.

— Вы видите призраки, — говорит он почему-то по-немецки и качает головой. — Что вы слышали?

Джан совестно за переполох и свое появление в ночной рубашке. Она молниеносно накидывает халат.

— Простите — мне показалось спресонок... но так ясно...

— Дурные сны бывают обычно после поздних ужинов, — наставительно замечает Вальдбург и спускается вниз.

Может быть, он и на самом деле думает так. Но Джан не видела никаких снов. Только голос, безо всякого повода, совершенно ясно, над самым ухом, удивительно знакомый, и вот не понять чей. «Засыпешься ты в эту субботу»...

Что сегодня? Среда... бывают и вещие сны. Правда также, что если она даже и спокойно занимается обычными делами, то тревога остается в подсознании, и вот может прорваться, принять такие формы, зазвучать голосом. А если это другое?.. Что же делать? Главное — Миша и Карцев. Убрать их из дома на субботу. Но куда? И если обыск: что опасно? Что унести? Куда?

Джан мысленно перебирает свои и чужие вещи: дом забит ими. Разве можно унести все, и некуда... А может быть, просто разгулялись нервы? Джан злится, придумывает десять комбинаций и сразу же безнадежно машет рукой. В четверг обходит лучших знакомых, самых надежных: смогут ли они на один-два дня принять к себе одного ее знакомого? Но все сразу настораживаются: кто это, если она, имея свой дом, не может приютить сама? Значит, что-то не в порядке, опасно, Боже сохрани... в такое время...

Джан молится в ночь на субботу. Не о спасении, а просто так, и засыпает спокойно. Последняя мысль вызывает грустную улыбку — о неполученном письме. Он, наверно, уже погиб... или забыл?

Спит спокойно и крепко, как всегда, и встречает утро субботы слегка иронической улыбкой. Но день проходит тихо и скучно.



— Вот видите, Левштейн — заканчивает Джан, — если со мной уже случаются такие штучки, то, значит, я начинаю терять нервы, и в любой момент могу сорваться. Надо на некоторое время сократить деятельность, а вы хотите именно сейчас... По-моему как раз все устраивается: дом ваш отделен от гетто, жена и дети работают в мастерской в Старом городе... постепенно все успокоится.

— Когда последний еврей будет закопан, станет совсем тихо, но я не хочу быть этим последним евреем! Нет, мадам. Я вам многого не рассказываю, зачем вас огорчать, когда ничем все равно не поможешь... Но как я раньше был против этого, так теперь считаю: или мы, я и моя семья, должны попытаться спастись, или мы попадем в яму, и очень скоро. Так что выберите сами. Настаивать я не могу, конечно. Но поверьте, что Левштейн еще пригодится вам, а я уж предусмотрю все, я не думаю пробыть у вас долго, у меня есть уже планы, я не такой идиот, как ваши пансионеры. И пусть это будет вашим последним еврейским делом!

«Засыпешься ты...» эхом вспоминает Джан, но кивает. Да, трагедии стали обыденностью и больше не производят впечатления. Вот тебе и спасательный пыл и принципы! Почему так?

— Давайте обсудим, — твердо соглашается она и берет себя в руки. Что за ерунда, в конце концов.

\*\*\*

— Послушай, Джан, — говорит Катюшка, заложив руки за нагрудник передника и останавливаясь перед скамьей в углу сада, где Джан разрабатывает план огорода. — Я давно уже хотела сказать тебе... Ты старшая конечно, но и великие люди делают ошибки... В общем, я не умею говорить, но ты не думаешь, что пора прекратить нашу гостиницу? Не знаю всех твоих дел, но думаю, что и без евреев ты тоже могла бы жить.

— Я-то да, а вот они куда без меня денутся?

— Ну, знаешь... Ты уже достаточно помогла, пускай другие тоже что-нибудь сделают.

— Так я и сокращаю... гостиницу, — оправдывается Джан.

— Берешь еще четыре человека, теперь, слава Богу, шесть будет, и это сокращение?! Не иголки ведь, неужели никто не заметит? Ведь живые же люди!

— Я сокращаю, — упрямо настаивает Джан. — Левштейн дал слово, что больше месяца не пробудет. Он очень энергичный человек, и голова у него работает. Кроме того, на следующей неделе будут готовы документы...

— Всем!? И ты их достала?

— Угу... Миша и Левштейны переменяют город, а Карцева Вальдбург берет под свое покровительство, у них там какая-то

пропаганда, ну, вот, он же журналист... Ты мне лучше вот что скажи: если здесь посадить морковь, а тут капусту, то спрашивается, куда я дену горох? Нет, завтра же справлюсь относительно соседнего сада. Дом пустой, сад тоже, а Карцев мне его сразу раскопает. Пожалуйста, не качай головой. Как мы мучились без зелени эту зиму, а на следующую будет еще хуже... и кроме того, собственный горох нужен мне для противовеса, так сказать: все таки что-то полезное по-настоящему...



Ход коня всегда представлялся Джан, ничего не понимавшей в шахматах, чрезвычайно сложной фигурой. А запутанный зигзаг из мастерской «Керам» через три знакомых дома, и пять незнакомых людей, химика, фотографа, бывшего чиновника в префектуре и спившегося полицейского — простой вещью. Но и он не был сложнее пути обыкновенного человека в эти годы. В сороковых годах нашего столетия государственные законы стали преступлением, а понятие о преступности — старомодным водевилем. Относительность — сатанинское изобретение. В научных формулах она, может быть, и открывает новые горизонты, доступные очень немногим, но для обыкновенных смертных суживает их, сводит в одну узкую щель единственно важного вопроса: как в нее пролезть и вылезть?

Джан долго теребила новые серенькие книжки латвийских паспортов, чтобы придать им старый вид.

Теперь в мезонине поселилась семья Левштейнов. Сам он просто пришел однажды вечером и остался, а жену с дочерьми Джан привезла в тот же день на извозчике. Подождала в Старом городе на условленном углу, пока они выскочили из швейной мастерской, сели и поехали. Им после хождения по мостовой, с звездами на груди и гетто, поездка по городу казалась неслыханной волнующей смелостью, девочки рассказывали потом отцу во всех подробностях — а Джан скучала. Совсем неинтересно и слишком уж просто — можно бы и драматичнее. Но дома стало неуютно. Мадам пугалась и шарахалась на каждом шагу, Левштейн надоел Джан своими просьбами не ходить туда-то, не делать того-то, — ее безопасность была теперь для него вопросом собственной жизни, и только Инночка была очень довольна: девочки сидели в ее комнате и она обучала их балету!

— Не отличишь, — рассматривает Миша паспорт: — совсем, как настоящий!

— Настоящий и есть, — обижается Джан. — За что же они такие деньги берут? Полторы тысячи за штуку, легко сказать!

— Прекрасная работа, — заключает Левштейн. — Вы молодец, мадам, и в награду теперь избавитесь от своих постояльцев, мы вам порядком надоели. Только еще отвезете жену с детьми в Митаву, одной ей будет страшно ехать...

Сорок два километра поезд идет теперь семь-восемь часов, и нужно разрешение на поездку. Джан раздобыла грузовик, и они садятся на чемоданы за кучей деревяшек для газогенератора. Только погоду не удалось заказать — середина мая, а не успели отъехать от дома, как пошел мокрый снег.

— Вы как раз надели новый костюм, я сейчас выну одеяло, закройтесь хоть им, — волнуется Миша. Костюм с лисами и шляпку с вуалью Джан надела нарочно — мало ли что может случиться в дороге, а элегантный вид всегда производит лучшее впечатление, хватит того, что мадам Левштейн одета чересчур скромно. Но теперь она стучит зубами и в одеяле, на открытом грузовике.

Военные машины непрерывно летят навстречу, приходится уступать дорогу, останавливаться, пропускать...

— Пешком скорее, — вяло жалуется Джан. У нее болит голова и хочется скорее домой. В «пекло» дорога закрыта после бегства Левштейна, о гетто и говорить нечего, и вообще, кажется, она сделала что могла, и вовремя, а дальше не для кого будет делать.

В Митаву приехали сосульками. Перетащили вещи, напились чаю, и Джан трогательно простилась.

— Я просто не верю своему счастью, — шепчет мадам Левштейн. — Мне все кажется, что открою глаза и проснусь в гетто, и меня потащат на грузовик и в яму... Не забывайте нас, приезжайте...

На обратном пути Джан совсем не ворочает языком, а шофер, молодой латыш, рассказывает ей, как один саймниекс повез в город гроб на телеге и заявил патрулю, что везет тещу хоронить. Те раскрыли гроб — а там заколотая свинья лежит.

Свинья в гробу вертится перед глазами Джан и хрюкает мотором. Дорога медленно подползает под колеса и откатывается назад... кажется, никогда не доехать до Риги...

Дома непривычная пустота. Левштейн уехал вчера с кавказцами в провинцию, только Карцев остался, но у него есть удостоверение от Вальдбурга.

— Наконец-то! — крестится Вероника. — Господи, Джан, я на завтра благодарственный молебен заказала! Как я боялась все это время, — просто сказать не могу. И тебе нельзя говорить, и сама места не находишь. Извелась просто!

— Ты извелась, а я заболела, — бормочет Джан. — Дайте мне аспирину и грог сделайте... Маруся, я сразу же в постель... Завтра поваляюсь немного.

Джан устала. У нее жестокий грипп, высокая температура, и даже бред. Золотистый шелк абажура расплывается огромным пятном, и острые, колючие лучи выскакивают из скрещенных треугольников. Джан считает их, и непременно нужно понять,



зачем они... Вот один луч протыкает башни Старого Города, и они раскачиваются ветром, и горят, и падают вниз, в яму, оттуда шевелятся руки и ноги, и лучи жгут их, — это люди, они воют, а их засыпают желтым песком... А на колокольне вспыхивает красная звезда, и все это крутится чортовым колесом. Звезды, звезды повсюду на улицах, на домах, в грязи, в крови, а они только на небе должны быть, нельзя стаскивать их с неба!

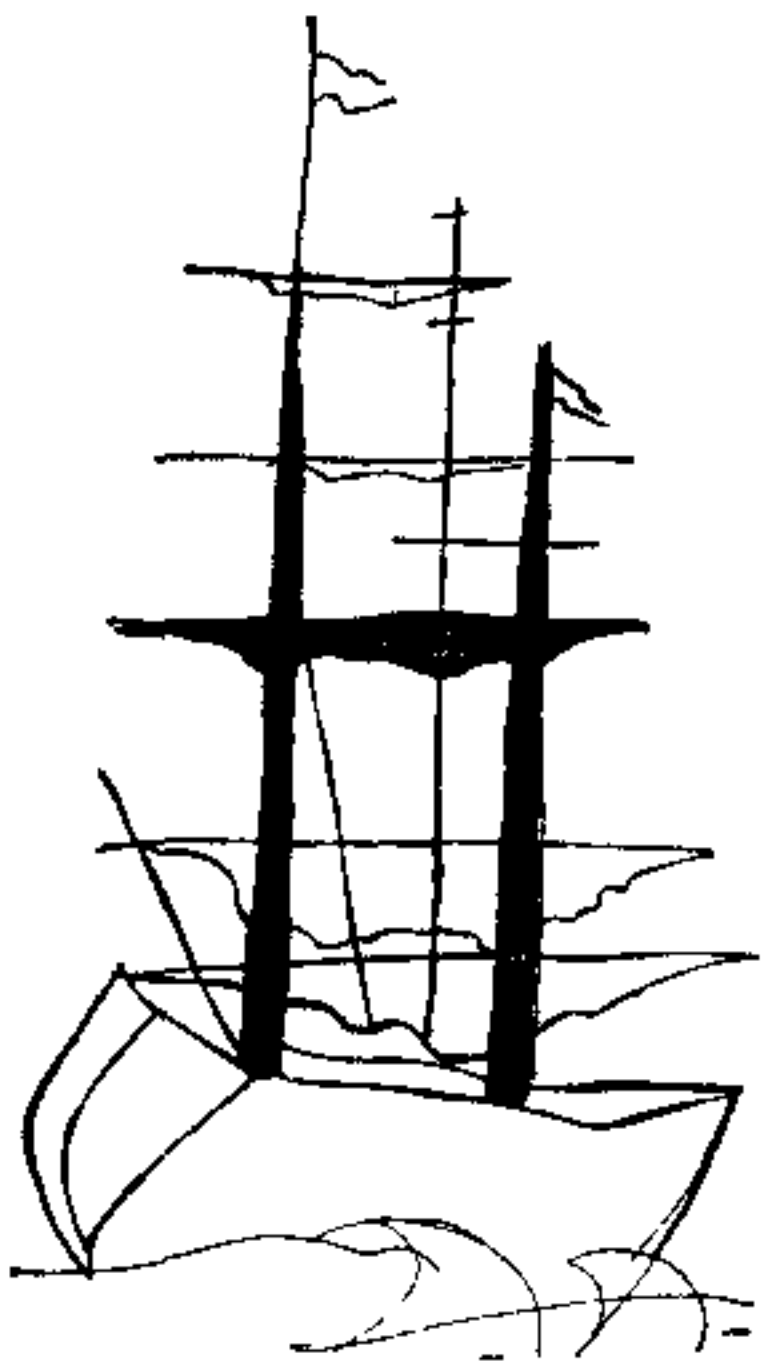
— Нельзя! Нельзя! — кричит Джан и просыпается от собственного крика. Катышка с озабоченным лицом считает пульс, и уже держит наготове какие-то таблетки.

— Конечно, нельзя, Джанушка, — успокаивающе говорит она, — но ведь теперь все можно, ты знаешь. Вот прими, и тебе станет лучше...

— Звезда Давида, — шепчет Джан, глотая и таблетки и слезы: — уберите звезду! Пожалуйста!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

*Колокола*



и ум, ни глупость, ни даже годы не спасают от мечты о герое. В пятнадцать лет они грандиозны и туманны, потому что жизнь необозрима и бесконечна. После двадцати — радуга спускается на землю и принимает форму, мечты наряжают жизнь праздничной расцветкой. В тридцать пять они еще возможны, но опасны, горизонт сужен опытом, мечта сжата судорогой неудовлетворенной горечи. После сорока мечты обычно гибельны, безнадежны и упрямы — во что бы то ни стало — хоть что-нибудь напоследок!

Даже потом, с поседевшим сердцем, мечтают о героях, наряжая в мантии тех, кто никогда не был ими в прошлом. Но мечтают все. Всегда. Есть конечно, и счастливцы, которым не нужно мечтать. Но о счастливцах — нечего говорить.

Вальдбург скользнул два раза взглядом по Марусе и Карцеву: — Медовый месяц на кухне, пожалуй, следовало бы прекратить, Джан Николаевна, — сказал он. — Ваша Куколка слишком откровенна и глупа. Остается одно — удалить его, и это я сделаю на-днях. Ваших постояльцев я тоже не вижу больше — что вы с ними сделали?

— Устроила паспорта и отвезла в Митаву, — прямо призналась Джан. Вальдбург методически вынул папиросу из портсигара и закурил.

— Гм... талантливая женщина. В вас пропадает прекрасный тайный агент.

— Не думаю, — рассмеялась Джан. — Контр-разведка — не моя область. Выслеживать, предавать... нет, благодарю!

— Для заговора, например, нужны и другие агенты, — медленно произнес Вальдбург, внимательно разглядывая папиросный дым. Джан настороженно подняла голову. Фраза звучала совершенно естественным продолжением разговора, но тон, тон! Тон был довольно странным.

— Для меня нужна в таком случае идея, — деньги я зарабатываю другим путем.

— Вот именно. В тайную коммунистическую организацию вы, насколько я понимаю, не поступите.

— В национал-социалистическую тоже нет, — резко отрезала Джан и тут же спохватилась. — Простите, Феликс Карлович, вы сами в партии по недоразумению, а не по убеждению и не принимайте на свой счет, пожалуйста.

— О нет! Скажу даже больше: половина партийных, по крайней мере, те, кого я знаю, охотно вступили бы в другую, когда увидели, к чему это привело... Но давайте вернемся к делу. На следующей неделе я делаю Карцеву удостоверение, и определяю его в пропагандное отделение нашего министерства. Получит жалованье, паек, ордер на комнату.



Джан просидела полдня в мастерской, лениво лепя фигурки для следующего муфеля под аккомпанимент приходивших клиентов. «Бюро Керам» работало без перебоев.

Вернувшись домой к обеду, она изумленно остановилась. Шкафы в холле были открыты; взволнованно подпрыгивая на ходу, выскочила Куколка, и вслед за нею двое незнакомых: один в штатском, другой в полицейской форме.

— Вот у нас обыск, Джан, пришла полиция... — сказала Куколка по-латышски и беспомощно уставилась на Джан, спрашивая глазами, что делать. Джан приподняла брови.

— Ордер на обыск у вас есть? По какому обвинению? — спросила она, быстро соображая, что где лежит, и что говорить, если обнаружат.

Молодой латыш в штатском пожал плечами и перешел на русский язык.

— Ордер — вот, и, знаете, теперь много доносов... спекуляция, конечно...

Но Джан смеялась уже так заразительно, что и они улыбнулись.



— Если вы будете делать обыски у всех, кто спекулирует в Риге, то, пожалуй, времени не хватит обойти весь город! Пожалуйста, смотрите. Маруся, накрой на стол, и когда кончите, прошу отобедать со мной. Сегодня у нас хорошие битки, и скажу заранее — мясо куплено не по карточкам... Вот эти комнаты сданы немцу, а муж мой на фронте...

Найдут тайники в стенах или нет? Ну, и что ж? В одном — мука и сахар, совсем немного для большой семьи, а в другом — меха, зимние вещи, не правда ли?

Но сдирать ковры со стенок им и в голову не пришло. При таком обыске и постояльцы прошли бы незаметно!

— Мы-то понимаем, мадам, — сказал ей на прощанье молодой, понижая голос, — а вы будьте осторожнее все-таки...

— Теперь, — заявила Джан, когда за ними закрылась дверь, — ты, Куколка, как в сказке Гримма, должна сесть и рыдать, представляя себе, что бы случилось, если бы они пришли на месяц, два раньше... Единственный раз в жизни удостоилась обыска, и то не настоящий! Ну-с, я отправляюсь спекулировать дальше. В половине пятого принесут браслет, а в пять — ковер... Тореадор, смелее в бой!

И, надевая шляпу в холле перед зеркалом, Джан победоносно насвистывала марш, очень дерзко и совсем не по-дамски.



— В японской армии — задумчиво говорит Вальдбург, выслушав ее рассказ, — в списке офицеров у каждого есть особая рубрика, где отмечается, насколько он удачлив. Одному сходят с рук самые рискованные предприятия, другой способен провалить дело при всех данных на успех. Очень разумно, по-моему. Вы были бы на хорошем счету в японской армии.

— То контр-разведка, то японская армия, — лукаво прищуривается Джан. — Что вы мне еще предложите?

— Я еще ничего не предлагал. Только теперь, и вот что... во-первых, я вас регистрирую официально, как свою личную секретаршу.

— О, Господи!

— Не смейтесь, пожалуйста. При наличии моей жены — а она должна приехать на-днях — в этом нет ничего предосудительного.

— Наоборот, буду иметь право входа в Армейский Экономический магазин, хотя там тоже уже ничего нет.

— И пропуск в Берлин для служебной поездки. Хотите? Вы ведь не были заграницей?

— В Берлин? О, Феликс Карлович, вы ангел! Сколько мне платить вам жалованья, как своему шефу?

— Вы несносны, Джан Николаевна. Жалованье вам полагается, и притом по ставке, — около полтора ста марок. Но расходы по поездке...

— Бросьте. Насколько я понимаю, делать мне ничего не придется, а я трачу сейчас в день приблизительно пятьдесят марок. Поездку в Берлин я наверно окуплю тоже. Как с осмотром на границе? Впрочем вы — святой человек в этом отношении и ничего не понимаете. Но это — все?

Теперь Джан щегольнула тоном. Вальдбург улыбнулся.

— Возьметесь ли вы отвезти несколько писем моим знакомым, — и привезти ответы, не спрашивая объяснений?

— Да, — твердо сказала она.

— Конечно, я должен предупредить вас, что если письма попадут в другие руки... или вы скажете, хотя бы дома...

— Столько я понимаю, Феликс Карлович. Согласно условию, не спрашиваю и полагаюсь на вас просто потому что считаю вас неспособным на такое дело, в котором я бы сама не приняла участия.

— Спасибо.



В Берлин Джан уехала только в августе. Предшествовала тщательная проверка гардероба — чтобы скромной провинциалке не ударить в грязь лицом в мировой столице! Слава Богу, во время войны мода остановилась на тридцать девятом году. Кроме довольно унылого бабьего фасона повязывания головного платка, привезенного немками в Ригу — ничего нового.

Таскать чемоданы придется самой, но один основательно набит шпеком для Лады, приславшей восторженное приглашение.

Ах, как завидовала Джан раньше широким зеркальным окнам лакированных вагонов, бархатным креслам, заграничному блеску, сквозившему уже на перроне, когда приходил берлинский поезд! Теперь — деревянная скамья третьего класса, других не полагалось. До Тильзита поезд тащился целые сутки, и только в самой Германии широкие окна второго класса дали иной пейзаж. Вот теперь уже заграница: домики с высокими крышами, известные по всем романам.

До границы в вагоне ехало, кроме нее, еще два пассажира. После границы — стояли в коридорах. Все одеты гораздо приличнее, чем у них теперь, и разве эти румяные люди голодают? У всех аккуратные бутерброды в отдельных бумажках, и все все время жуют что-нибудь. В Риге давно забыли, как завораживаются покупки, надо самим приносить бумагу. И много детей — неужели во время войны можно ездить с ребятами?

В сумочке у нее лежал точный план, как добраться с вокзала Цоо на Пассауерштрассе, но, когда Джан спустилась к трамвайной остановке и увидела 420-ый номер трамвая — а в Риге всего тринадцать номеров! — то у нее подкосились ноги, и захотелось попроситься домой. Да разве тут найдешь кого-нибудь?

Еще, конечно, «автомобили, несущиеся непрерывным потоком»... но они не неслись. Уже через три дня Джан с удоволь-

ствиием и не торопясь переходила восхитительно широкие, но почти пустые улицы и важно говорила, пожимая плечами:

— После такого движения, как у нас в Риге, деревенская берлинская типина!

Не было и того, что она отправилась разыскивать с самого начала — Старого города. Императорский дворец и старая часть Берлина казались еще слишком современными. Но зато был Потсдам — сдержанный и чистый старомодный Потсдам, городок «отставных» и аристократов, где не принято было говорить даже «хейль Гитлер», и фронда чувствовалась на каждом шагу, а в фонтанах и аллеях Сан-Суси Джан сразу представила себя в кринолине и пудренном парике.

Первый день на улицах был сплошным удивлением: как много евреев! Неужели они здесь на свободе? И только потом поняла ошибку, когда увидела «настоящих» со звездами. Их было очень мало. Они ходили по тротуарам, покупали в магазинах с особыми плакатами. Отдельные горькие капли, молчащие, как вода. Сколько их уже отправлено в рижские ямы и в газовые печи здесь... Джан невольно тянуло подойти поближе, заговорить. Но они не поднимали глаз, шарахались.

— У вас здесь нет знакомых евреев? — спросила Джан, зайдя к двум знакомым старушкам из Риги.

— Что вы, Боже упаси!

— И вы о них ничего не знаете?

— Раньше, говорят, с ними дрались на улицах, выкидывали из трамваев, били стекла в магазинах... Но это было давно. А теперь их не видно совсем. Кажется, их отправляют из Берлина на работу, в особые лагеря...

— Да, рыть себе могилы!

Джан взорвалась и наговорила много лишнего. Старушки сидели, раскрыв рты, и недоверчиво качали головой.

— Нет, этого не может быть. Тут что-нибудь не так. Вы ошибаетесь. Фюрер благороднейший, гуманный человек. Его сердце обливается кровью за каждую жертву войны. Он сам сказал это по радио, — заявила старшая, а младшая прибавила, для вящей убедительности:

— Он даже вегетарианец!

В гостиной этих богобоязных старушек стоял портрет Гитлера, и среди книг красовался экземпляр «Мейн Кампф». И так было везде. Портреты, книги, плакаты и изречения. Все начиналось с «Хейль», продолжалось «Гитлер» и кончалось «Фюрер». Два плаката особенно поразили Джан. Один — готическими буквами под стеклом в золотой рамке, у ратуши Шенеберга. «Фюрер всегда прав». И второй у почты, крупными буквами: «Думать и раздумывать запрещено».

— Теперь я понимаю и не удивляюсь больше, — решила Джан. — По крайней мере, откровенно заявлено, что он не человек, а бог!

Трех недель слишком мало, чтобы разобраться в такой сложной вещи, как подлинное лицо и настроение большого города. В победу верили все. Средние обыватели, не рассуждая, обожали фюрера, или, не рассуждая, тоже повторяли заученные фразы, и если их сбивали с толку, искренне вздыхали: скорей бы кончилась война! Интеллигенция относилась более критически, но вместе с сознанием рос и страх. Фанатики были даже для фанатиков изумительными невеждами во всем, кроме плакатов. Армия молчала. Когда надо умирать, говорить некогда.

После разговоров в приличных квартирах, без чужих вещей и черного рынка, Джан чувствовала себя диким, загнанным зверем, попавшим с размаху в курятник, и хотелось забиться в угол, чтобы не слушать кудахтанья — в особенности женщин. Джан сама очень любила вещи, но считала, что они существуют для того, чтобы пользоваться ими: здесь они имели самодовлеющую сущность, и их назначение было в том, чтобы давать бесконечное занятие — всячески оберегать от пользования ими. У Джан, уже испытавшей чувство человека, уходящего в смерть, — ускользающей жизни, в которой ничего больше нет, ни для себя, ни для других — относительность, открывшаяся однажды, уже не могла исчезнуть и забиться. За последний год ее дом был забит до отказа красивыми и дорогими вещами, но они не были даже удовлетворением мечты, потому что ничего не стоили больше. Но такое сознание дается только катастрофой. Нужно ли доходить до него?



Большинство музеев было закрыто, опасались налетов. Несколько раз вечером выла сирена, и все тащили в погреб чемоданы, детские коляски.

«Когда начнут бомбить, как следует, разбудите меня, и я оденусь,» — решительно заявила Джан, и не подумав встать с постели. Бомбы падали, но где-то далеко, а треск зениток такому обстрелянному человеку, как она, не мешал несколько... Нет, берлинские налеты летом сорок второго года не могли поколебать ее снисходительного апломба.

Вокруг Пассауерштрассе, где жила Лада, был русский район. Библиотека, церковь, «Медведь», «Дон» и «Тройка», закусовая — теперь без закусок, если не считать вареных улиток — Джан храбро попробовала и их, но ей стало дурно. Немецкой кухни она никогда не одобряла, а теперь просто возмущалась. Если нет ни молока, ни яиц, ни масла, — зачем очень красивые пирожные, которыми и стенок заклеить нельзя, ни вообще употребить на что-нибудь, а деньги платить все-таки надо? Почему же тогда смеются над эскимосами, если они едят свечи и мыло?

Но Куколка непременно просила привезти что-нибудь для кухни, и Джан выбрала для нее коллекции всяких «эрзацев».



Перебирая тубочки, нашла одну и вопросительно взглянула на продавщицу: это что такое?

— Запах масла, — объяснила та. — Тут же написано.

Не масло, а запах масла в булки! Джан не могла удержаться и хохотала, громко и неприлично, до слез. Потом ей стало неловко — нельзя же смеяться над бедностью, — и она извинилась. Продавщица снисходительно, но с некоторой завистью улыбнулась. Иностранка! Ах, из Балтики! О, там мажут очень толсто масло на хлеб!

— Не толсто, а высоко, — повторила Джан слышанную в вагоне от солдата острогу, и немка закивала, горестно вздыхая.

Тут же, около Кадеве, на широком асфальте Тауциенштрассе — встреча, остановившая на секунду улыбку: почти рядом с Джан шел молодой безрукий офицер, а навстречу — безногий на костылях. Оба, по привычке, хотели отдать честь, но у одного руки были заняты костылями, — а у другого совсем их не было. И оба рассмеялись и кивнули головой. Совсем молодые еще.

Сколько их было — обмороженных в прошлую зиму — может быть, совсем недалеко от Риги? Но женщины не носили траура. Слишком много жертв, нельзя понижать настроение. Изредка только — черный узел платка на голове.

Зоологический сад Джан представляла себе гораздо больше, но аквариум привел ее в восторг. Зеленоватый полумрак, зал с освещенными стеклянными стенами, а за ними морское дно с рыбами невиданных окрасок — тянул к зарисовкам. Какие вазы, какие фигурные вещи можно было бы вылепить и зарисовать по этим образцам, если бы... ах, да, если! Но образцы Джан все-таки решила сделать, когда вернется домой. Для души, не все же торговать только.

Императорский дворец разочаровал тоже. Мебель и ценные вещи были убраны. Одни стены с картинами, плафонами и драпировками казались бедными. Только большой круглый стол, высеченный из цельной яшмы, подарок русского царя, не был убран, и Джан ласково улыбнулась мутным переливам узорчатого камня. Вот встреча с Уралом — в Берлине.

— Ну, а это, господа, кто такой?

Никто не отозвался. Старик укоризненно покачал головой.

— Вильгельм Первый, — вполголоса сказала Джан, обращаясь больше к Ладе, стоявшей рядом.

— Да, да, — вздохнул сторож: — один человек из всех берлинцев знает немецкую историю — и это иностранная дама!

Джан была очень польщена, хотя и сознавала, что знание тысячелетней истории понижается в народе именно тогда, когда оно нужнее всего, — и заменяется историей нескольких лет, исключаящих все остальное. В Москве или Берлине — результат один: невежественный фанатизм и попугайное остроумие.

Вот ее берлинские впечатления. Внешне, заметки на ходу.

Кроме того — таинственное поручение Вальдбурга. Осмотра на границе совсем не было, Джан напрасно клеивала письма в крышку чемодана, но чувствовать себя тайным курьером было и интересно и загадочно. В письмах, очевидно, была лестная рекомендация. Важные чиновники — Джан не слишком разбиралась в чинах и рангах — один генерал даже, сразу меняли тон и находили достаточно времени для разговоров. Говорили, впрочем, не они, а Джан. Ей ставили вопросы — и эти люди, слава Богу, имели понятие об истории с географией! Их интересовало все: настроение, условия жизни, политические взгляды населения, владычество большевиков, освобождение от них и даже гетто. Иногда они делали заметки, переспрашивали. Джан не колебалась. Разговоры происходили с глазу на глаз, и она выкладывала добросовестно все, что знала. Эти люди не приходили в ужас от ее смелости, и не вспоминали о кацете. Но для чего им это нужно?



Лада ждала ее, но такая встреча всегда неожиданна. Обе плакали, и все последующие дни рассказывали эти отделившиеся три года, от начала до конца. У Лады было немного: чувство потерянности в чужой обстановке, раздражающая мелочность жизни и тоска. Андрейка в немецкой школе, очень вырос... Отбившаяся от рук Надя, ничего не пипет из Италии. Но все это известно Джан уже по письмам, а вот говорить можно без цензуры, и сказать все, без утайки, от сиреневой дачи до бриллиантов Готлицера — где теперь валяется эта миска? Его самого уже давно расстреляли... Только о письмах Джан не говорит, потому что это не ее тайна. Захотелось и приехала, набрала поручений от всяких знакомых.

Лада не допытывается. Лада, как и все в семье, привыкла верить в звезду Джан, в какое-то ее уменье. Она слушает, иногда задает простые вопросы, может быть, даже глупые, но освещающие вдруг непререкаемый факт совсем с другой стороны. Она осталась такой же, как была: жизнь меняется, но в ней нет скачков, диких взрывов, земля не уходит из-под ног, устои не рушатся, ценности не переоцениваются, и все идет своим чередом. Лада очень мало понимает Джан, она просто любит ее.

— Тебе нужно приложить все усилия, чтобы снова наладить мастерскую, или поступить куда-нибудь переводчицей, хотя ты теперь работаешь секретаршей? Жизнь скоро устроится, и тогда ты сможешь и завод керамический организовать. Все твои страхи и сомненья — это просто нервность. Я вполне согласна с Киrom: Бей виноват не меньше тебя, потому что пустил тебя бросаться в разные авантюры, только чтобы заработать... Ему следовало больше заботиться о семье...

— Да, да... — устало говорит Джан. — Да, да...

Лада устраивает чай для берлинских знакомых, старых русских эмигрантов. Надо же ей похвастаться живой Джан, о ко-

торой она им столько рассказывала! Знакомые — очень милые люди, но всем им присуща тусклость, усталая серенькая бесцветность, сжатые губы, взаимная отчужденность и холодок. Это пыль двадцатилетней эмиграции, бездомность и беспочвенность. В Риге, где даже приезжие русские, не коренные балтийцы, были дома, на своей земле, эмигрантский паспорт и некоторые ограничения заставляли многих негодовать и жаловаться на свою судьбу. Но только здесь в Берлине, столкнувшись с настоящими эмигрантами, колонией людей, вкрапленных кое-где в большом чужом городе, обезличенных массой чужой страны, сохранивших только обрывочки прошлого, и то искаженные перспективой, — Джан поняла, что значит быть без дома.

И немой душевный вопль перед будущим: Боже мой, Боже мой, а если и мне придется стать такой же?!

\*\*\*

Прощанье с Ладой не стоило больших слез, как три года тому назад. Тогда было отчаянное бегство в неизвестность, теперь Рига и Берлин стоят на своих местах, деньги не играют роли, а устроить себе пропуск через несколько месяцев Джан, несомненно, удастся. Прощанье не навсегда и разлука ненадолго...

После границы — грязные, мерзко пахнущие деревянные скамьи, возмутительно медленно ползущий поезд, и эта медленность только подстегивает нарастающую радость возвращения домой.

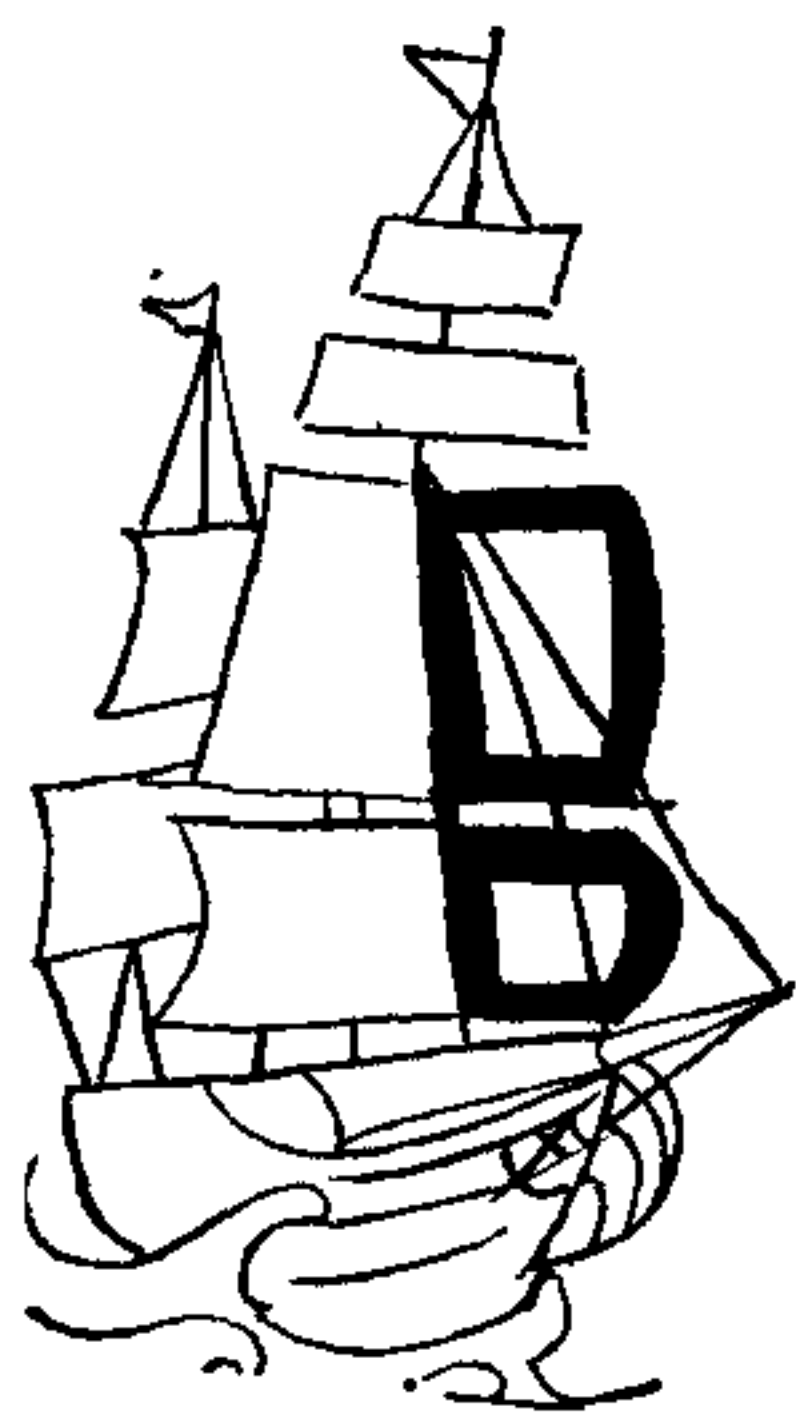
Домой!

Вот еще этот день и вечер, и ночь, но на утро, пусть даже в полдень, поезд протарахтит мимо перрона Торенсбергского вокзальчика. Еще несколько минут, можно считать их... Вот сбоку в окно вливается ветреная ширь Двины, равномерно чертят стекло железные рамы великолепного моста. Вот поднимается и растет панорама набережной — ах, Боже мой, нет Петровской колокольни, только память чертит сквозные ярусы над развалинами, но надежно и прочно торчит левее шпиль Домского собора — нет, не весь еще Старый Город сгорел, он здесь, свой...

Поезд приходит в Ригу ранним утром, ясным и нежарким еще. Джан не отходит от окна. Она впервые возвращается в Ригу из другой страны, и сейчас чувствует свою слитность с ней еще острее от сознания обреченности, придавленности перед неизбежной катастрофой... Да, война будет проиграна, победа невозможна, город давно уже сдвинулся с твердой земли в бегущую параллель миража, да, все это так, и все-таки она возвращается домой, сейчас есть еще этот дом, и сейчас только она поняла, как следует, что это значит...

«Любимый город другу улыбнется», — напевает потихоньку Джан и раскидывает руки по раме окна, обнимая все, что в нем:

— Я так счастлива, Господи! Да здравствует Рига! Мы, Старый Город!..



Вероника приняла деятельное участие в православной миссии для занятых восточных областей. Священники крестили, отпевали и венчали — задним числом, часто родителей и детей вместе. Православные миссии заботились, поскольку могли, о сиротах и погибающих пленных. Средств ни на что не хватало, жизнь в советских городах была ужасной, еле-еле восстанавливались церкви, и в них толпились серые фигуры с протянутыми руками, в которые нечего было положить. Даже медных нательных крестиков не хватало, зато деревянных было довольно . . .

Вероника раздала все свои туалеты, повязала волосы черным платком, и в темном платье, странно высокая, походила на игуменью. Знание немецкого языка сделало ее, само собой, переводчицей при миссии, заступницей за всех. Вся остальная жизнь отошла даже не на второй план, а просто отошла совсем. Прошлое не вспоминалось, о будущем не думалось. Остался только сегодняшний день, и в каждый этот день втискивалась по крайней мере сотня людей, которым надо было помочь. Она помо-



гала. Она не боялась никого: ни партизан, ни гестапо, ни немцев, ни даже большевиков. Она моталась в телегах, на машинах и поездах по каким угодно лесам и дорогам, сама принималась убирать загаженные храмы во главе остальных добровольцев, налаживала примитивные гостиницы при православных миссиях, водила немецких экскурсантов по церквям, объясняя архитектуру и фрески, раскапывала, в Киеве и Новгороде, церковные архивы, в поисках еще уцелевших книг. Много было неумелым, немного смешным и часто, в результате бесполезным. Но прозвище, данное ей случайно советской старушкой, осталось так, что никому даже в голову не приходило звать ее иначе: «мать Вероника»...

Она снова сильно похудела, нос заострился, лицо пожелтело, две глубокие, суровые складки легли по сторонам сжатых губ. Но глаза сияли. Она нашла теперь то, что ей было нужно. Не плакала и не ненавидела. Год тому назад она как бы остановилась на паперти. Теперь — шагнула дальше.

В Ригу она возвращалась за следующие два года несколько раз. Каждый раз Джан покупала ей новое пальто и платье — все оказывалось отданным кому-нибудь, мать Вероника появлялась в солдатской шинели. Но несмотря на большие шаги, острый нос, огрубевшие руки — это был не прежний Морж, о нет. Когда она вернулась в первый раз, замерзшая, в стоптанных мужских сапогах и с солдатским мешком, Джан тихо наклонила голову перед сияющими глазами и первая назвала без улыбки:

— Мать Вероника...

Бережно, как когда-то Катышке, дала ей отдохнуть, выспаться, вымыться. Не надоедала разговорами о доме и ценах. Это была ее забота, а Вероника была в другом. Но та и не спрашивала много. Живы, сыты, в тепле, и слава Богу. Что пишет Бей? Как держится Катышка? О Наде не упоминали совсем.

Три сестры сидели в рождественский вечер у камина, как прежде. Рождество было тихим и тусклым. Вспоминать было еще слишком страшно, а мечтать не приходилось. Бей не мог приехать, а елка — сколько свеч на столе, зажженных ушедшим! — Подарки и все старания Джан казались не сказкой, а просфорой, вынимаемой за покойников.

— Как же ты справляешься с мастерской одна? — спросила Вероника.

— Не работаю, а ковыряюсь. Глины достала, красок немного... Сделаю на один муфель — обожгу... и в один день распродам, из рук рвут. Если бы можно было достать материал, имело бы смысл работать, но так даже с простой глазурью трудно... Вот и приходится крутиться с другими делами.

— В «пекло» ходишь?

— Куда там! Погреб один еще есть — но круги суживаются. Гетто пустеет.

— Да, круги суживаются, — проговорила, глядя поверх их голов, Вероника.

— Победы продолжаются, — произнесла, ни к кому не обращаясь, Катышка.

— «Нет — я не хотел бы всего знать», — откликнулась Джан на их мысли, и все понимающе улыгнулись, вспомнив «Корабли». Каждая из них — посылала свои.



Появилась Звезда. Маруся привела ее в мастерскую, та не хотела ждать. На лице Куколки было такое явное недоумение, что Джан удивленно взглянула сперва на нее, потом на Звезду, и не сразу поняла, в чем дело.

Платье на Звезде было в порядке, траурный вуаль обрамлял шляпу довольно картинно, — и тем более странными выглядели неубранные, сероватые от седины волосы, прямыми, как смоченными, прядями падавшие ниже плеч. И глаза. Блестящие, с беспокойной оглядкой, тревожные и умоляющие.

Джан очень обрадовалась далекому проплуму, шагнувшему через порог с протянутыми руками.

— Вот только отпущу этого покупателя и сядем, поговорим спокойно, чаю выпьем... У меня кстати и муфель топится, греться можно... Я так рада! Ты надолго со своего взморья? Ну, что за вопрос. Конечно, переночуешь у меня. А Слава где? Теперь надеюсь, не боится появляться у нас... Садись, дорогая, и рассказывай... Слыхала о твоем горе. Навестить тебя хотела, но знаешь, в такое это время было... И по правде, адреса твоего так и не знаю до сих пор...

— И не дам, не дам! Никому не дам! — замахала руками Звезда.

— Почему? — удивилась Джан.

— Это тайна. И тебе не скажу. Я знаю, ты хорошая, ты можешь мне, но сказать я не могу. Если узнают другие, то я погибла. О, они только и ждут моей гибели!

Звезда оглянулась, и Джан тоже, невольно, вместе с ней. С бедняжкой, очевидно, не все в порядке. И совершенно неожиданное для Джан «ты» появилось как-то вдруг и было вполне естественным.

— Вот что, — сказала Джан, как можно мягче: — меня ты, во всяком случае, знаешь. Не хочешь, чтобы я приезжала — ладно. Но подумай сама, дорогая: сидишь ты на взморье одна, сейчас зима, скучно. И делать, наверно, нечего. Переехала бы ты ко мне. Вероники нет, комната ее пустая, я тебя хорошо устрою. Отдохнешь, встретишься с людьми, можешь помочь мне, если хочешь, в мастерской или по хозяйству. Слава работает на железной дороге, знаю, встретила его... Ему тоже было бы удобнее. И уроки драматические, мимики, ты могла бы Инночке давать. Кто же лучше тебя покажет? Едим мы хорошо...

Звезда, сжав плечи, беспомощно всхлипывала. Джан подошла и ласково погладила ее по голове.

— Ты за последнее время слишком много одна была. Вот и расстроились нервы, понятно. У меня тебе лучше будет, увидишь...

Звезда выпрямилась и отерла слезы.

— Я тебя очень люблю, Джан, может быть, даже скажу тебе. Не все, но, Боже мой, как мне тяжело, и никто не понимает! Великий философ умер. И никто, никто... Но если бы они знали! Они подозревают меня, следят...

Она нагнулась к уху Джан и быстро зашептала:

— Они следят. Я знаю, где спрятаны вещи. Драгоценности, золото, миллионное состояние... я сама видела. Когда евреев жгли в синагоге, я закопала. Ты понимаешь? Да, я могу найти... но они не найдут! Ты не можешь представить себе, сколько предосторожностей мне надо принимать на каждом шагу! Переодеваюсь, иногда даже гримируюсь, чтобы не узнал никто. Они подсылают ко мне, выведать...

Звезда говорила еще с полчаса, с трудом глотая чай. Джан не возражала и не уговаривала больше. Она ласково улыбалась гостье и осторожно взглядывала сбоку, отмечая разрозненность движений, выпадавших, как сломанные колесики часов. Веселый, особенной, пристальной веселостью, огонек в глазах. Глаза не переносили чужого взгляда, как у зверей. Нет, все совершенно ясно. Может быть, она и видела, как евреев жгли в синагоге, и смерть мужа, и вообще... Не стоит доискиваться до причин — важно, что их оказалось достаточно.

— Но я не сказала тебе самого главного, — хитро прищурилась Звезда. — Собственно из-за этого я и приехала к тебе...

Она вынула из сумки зеркальце и прихорошилась прежним жестом.

— Скажи, Джан, положи руку на сердце, ты бы очень удивилась, если я... вступлю во второй брак?

Джан судорожно овладела собой и закусил губы, изображая то серьезное внимание, которого ожидала гостья.

— Женщине столько лет, на сколько она выглядит, — медленно произнесла она. — Ты, во всяком случае, выглядишь достаточно хорошо, если подтянешься, в особенности... Но многое зависит и от того, за кого ты предполагаешь...

— О, он молод, правда, но очень утомлен жизнью, — быстро сказала Звезда. — Никогда не угадаешь, кто. В прошлом — блестящий гусар и мог быть великим артистом, но... война, понимаешь. Сейчас — директор санатории на взморье. Потомок рыцарей. Подумай, какая трагедия! В моем возрасте говорить о любви и страсти, быть может, неуместно, но нужно понять и оценить человека, родственную душу. Я вижу, ты удивлена...

«Еще бы!» — мелькнуло у Джан. Этот монолог вполне походил на прежнюю Звезду.

— Тебе я могу открыться. Наши пути уже скрестились однажды. Ах, это был безумный, трагический роман! Он хотел стреляться, он погибал... Но я была женой великого философа. Когда он пришел проститься, я сидела в кресле, в кружевном пеньюаре — помнишь, у меня был такой, вся юбка в оборочках, в роли Кручининой я его надевала на сцену? И тогда я сказала ему: «Но я другому отдана и буду век ему верна». И он понял. Он склонился передо мной и прошептал только два слова: «Татьяна... прощайте». И выбежал вон, как безумный! Только два слова, но какая бездна чувства! Я упала в обморок...

Она вытерла слезы и подперла щеку рукой...

— И вот, через столько лет... Великий философ умер. Я свободна. И мы встречаемся снова. Он в форме, я в глубоком трауре... Удивление, испуг... У меня забилося сердце... Он был взволнован, потрясен, я не могла отказать ему во встрече. Он безумно занят, но, как только урывает час, хоть минуту, летит ко мне... Потомок древних рыцарей кладет к моим ногам свою корону. Я вижу по твоему лицу, что ты уже догадалась, кто он! Да, перед тобой сидит будущая баронесса фон-Доорт!

— Господи Боже мой! — совершенно искренне вырвалось у Джан. — Этого — то-есть его, — быстро поправились она, — мне как раз не хватало. Корнет здесь? Почему же он не зашел ко мне?

— Ах, Джан, — покровительственно произнесла Звезда: — ты судишь обо всем, подходишь ко всему — ну, как бы это сказать... я очень люблю тебя, но... ты слишком просто, обыденно, прозаически смотришь на вещи. Это понятно, конечно. Тебе не приходилось испытывать ни падений, ни взлетов. У тебя такая незаметная, серенькая жизнь. Мне тебя очень жаль. Но я уже говорила, что за мною следят... Преследуют. Джан, ты никому не скажешь, никому?

— Никому, — заверила достаточно уже изнеможенная Джан. — Но причем тут Корнет? И с каких пор он стал бароном?

— Он не носил раньше титула по особым соображениям — загадочно подчеркнула Звезда. — В жизни, дорогая Джан, случаются такие положения и вещи, что, если их описать в романах... но тебе это трудно понять, конечно.

— Трудно, — покорно согласилась Джан. — Но ты все-таки передай ему мой привет и скажи, что я буду очень рада встретиться со старым знакомым.

Она хотела прибавить еще, но подумала, что сперва надо поговорить со Славой. Может быть, Корнет — тоже бред сумасшедшей? Спрятанные еврейские драгоценности, навязчивая идея... а может быть, и это — правда? Джан вспомнила глиняную миску Готлицера. Тоже ведь стоит сейчас где-нибудь, валяется в мусорной куче, или — найдена... А сколько кладов в гетто? Может быть, Звезда вовсе не помешанная, а острая исте-



ричка? Но этот особенный блеск, желтый смеющийся огонек в глазах, темный огонек. Если бы не он, то все остальное — утрировано, театрально, но вполне в ее духе.

— Да, Джан, у меня маленькая просьба к тебе... Знаешь, хотелось бы обновить гардероб... у тебя найдется что-нибудь? Собственно, я собиралась сегодня в парикмахерскую тоже зайти, но забыла взять с собой деньги. Здесь нет поблизости парикмахерской?

— Почти рядом, — заторопилась Джан. — Разреши мне одолжить тебе, такие пустяки, что не стоит и говорить... пожалуйста. Если ты сейчас пойдешь, то успеешь причесаться, а потом зайдешь сюда, я закрою мастерскую, пойдём ко мне, ты выберешь что-нибудь, у меня много, и переночуешь у меня, поужинаем... хорошо? А где Слава?

— Слава обещал зайти к тебе тоже, — томно произнесла Звезда, засовывая деньги в сумку и поднимаясь с видом герцогини. — Благодарю, Джан, ты очень мила, как всегда... Значит, я еще не прощаюсь пока...

И она «величественно удалилась» — иначе этого нельзя было назвать.

— О Господи! — прошептала Джан, вскидывая головой, чтобы стряхнуть с себя легкое обалдение, и усиленно моргая глазами. Ну, что тут сделать, и можно ли помочь вообще?

— Гейль Гитлер! — раздалось с порога.

— Гутен абенд, — сухо ответила Джан, но русский акцент был слишком ясен, и она подняла голову и улыбнулась. — Здравствуй, Слава. Только что о тебе говорили. Ты маму видел?

— Видел, — уныло махнул он рукой и расхлябанно обмяк на стуле. — Тайнственно мчалась к куаферу. Завивать свои хвосты. Вы ей денег дали? Ну, да, своих же нет...

Он остро покосился на чашку. Джан налила ему чаю и, зная его аппетит, вынула из шкафчика увесистый кусок сала.

— Слава, подкрепись. Вот шпек, хлеб, сахар, чай на столе...

— А руки — свои... и рот тоже.

— Ешь, не стесняйся. Потом еще поужинаем у меня. Ты, конечно, тоже переночуешь. Как дела вообще, Слава? Хорошо, что ты сбрил, наконец, эту дурацкую бороду. Выглядел довольно юмористически. Сейчас на человека похож. Занимаешься чем-нибудь, кроме железной дороги? Если есть что-нибудь, тащи ко мне...

Она говорила машинально, думая о другом. Звезда все еще стояла у нее перед глазами.

Слава по-хозяйски распорядился угощением. Кусок копченого сала толщиной в два пальца на краюхе хлеба с трудом влез в рот, но был проглочен невероятно быстро. В мастерскую вошел кто-то, и Джан оставила гостя в муфельной.

— А вы, я вижу, делами ворочаете, — подмигнул Слава, когда она вернулась к нему. Тарелки на столе были пусты, и

только маленький кусочек хлеба вежливой сиротой лежал сбоку. Слава засунул руки в карманы и с независимым видом откинулся на спинку стула, качая ногой. Джан подкинула в муфель дров и уселась на диван.

— Ты куришь, Слава? Господи, теперь уже такие вопросы приходится задавать, а давно ли...

— «И хором тетушки твердят: как наши годы-то летят!» Нет, благодарствую, табака не употребляю. Дорогое удовольствие сейчас...

— Слава, что с мамой? — не выдержала Джан.

— Ага! Укомплектовала вас мамаша. Но вы не волнуйтесь. Просто спятила немножко. В ее годы бывает... Она говорит, а вы не слушайте. Только и всего. Как я. В одно ухо впусти, а в другое выпущу.

Он потянул себя за уши, для большей убедительности.

— Ну, хорошо, это вообще... а Корнет? Кирилл фон-Доорт?

— Кирка-то? Это особая статья. Кирка всегда был такой... кирковатый... — так же туманно, как и непочтительно объяснил Слава.

— Он действительно живет на взморье?

— Живет еще.

— В санатории? — допытывалась Джан.

— Вроде. Выздоравливающие немцы там, на курортном режиме, едят хорошо. Он иногда суп приносит, ну, и хлеб тоже.

— Мама говорила мне, что он... заведующий?

— Гипербола съедает триста пудов сена, конечно. Маме следовало бы почаще вспоминать этот анекдот... Санитаром он там служит, горшки убирает и клистиры ставит, или еще что, почем я знаю. Заведует он только аптекой, потому что подобрал к ней ключи. Спирт глушит с утра, и кокаином закусывает, то есть занюхивает. Из армии его выгнали за художества, теперь упражняется здесь. В нормальном виде я его вообще не видал. Когда с мамой сойдутся, потеха. Играют в театр вдвоем, ей-Богу. Он хлопается на колени и подряд монологи шпарит. Я иногда даже слушаю, занятно. Только у него винегрет — вы бы, как суфлер, не выдержали. То из «Бориса Годунова», то вдруг на Карамазова съедет, и чортиков ловит. А мама надевает шлейф, понятно, и помавает руками, знаете, так...

Он попытался изобразить и чуть не упал со стула.

— Я смотрю, — продолжал Слава, — когда же он сопьется окончательно. Иногда у него просто синее лицо, иногда желтая морда. Мания преследования и величия тоже. Бьет кулаками себя в грудь и щелкает шпорами. А их нет. Потеха!

— Но ему, может быть, можно помочь... Вылечить... — прошептала ошеломленная Джан. Слава махнул рукой.

— Бросьте. Лечить надо здоровых, а больных нечего. Удивляюсь, как его до сих пор там держат. Немцы ведь всем таким, свихнувшимся и безнадежным, дадут сладенького кофе, и гото-

во. Дешево и сердито, чистая работа. И нечего возжаться с ними, на самом деле? Разве это человек? Вы, конечно, маму не разубеждайте, пусть старушка свое удовольствие имеет. Слава Богу, она у меня непьющая, а то бы он ее тоже до белой горячки довел. И без того довольно... Если хотите посмеяться — приезжайте, посмотрите сами. Но предупреждаю — долго не выдержите. Барон! Как у Горького! Ой, я лопну от смеха!

Но Джан совсем не было смешно.



Выбор отделки был последним испытанием. У Звезды после парикмахерской разболелась голова. Она перескакивала с одной темы на другую, внезапно замолкала, уставившись в одну точку, или нежно прижималась к Джан, умоляя защитить от чего-то. Тряпки не произвели на нее впечатления. Она немного порылась в них, с отсутствующим взглядом, ничего не примерила, равнодушно посмотрела на действительно красивое платье, предложенное Джан, и, видимо тяготясь, что ее заставляют что-то делать, отложила его в сторону.

— Ну, хорошо, я возьму... но вот это, это, Джан?

Глаза загорелись, и она выхватила из кучи мелочей ярко зеленое кашне. Джан оно досталось как-то вместе с другими вещами, и она никак не могла от него избавиться. Более кричащий цвет трудно было себе представить.

— Возьми, — тихо сказала Джан и опустила голову. Это было слишком показательно. Вкуса у Звезды больше не было. Она потеряла его вместе с рассудком.



Джан так и не увидела Корнета. В город он не показывался, ехать к Звезде ей не хотелось. Помочь нельзя, а смотреть на то, что Слава называл «потехой», было слишком печально. Джан ограничивалась только тем, что кормила мальчишку досыта при каждой встрече, и давала с собой.

Весной Слава сообщил ей, что Корнет «упился, слава Богу», до смерти. Рассказывал, что мама ходит к нему на могилу и собственноручно повесила на крест германский солдатский шлем.

— Теперь у нее целых два покойника, с которыми она может разговаривать, — закончил Слава. — Вот и мотается от одной могилы к другой. Ходит и шепчет, руками размахивает. А то вообразит себя баронессой и корону свою чистит. Или загробной ревности боится. Но, в общем, безобидный одуванчик.

Он посмотрел на грустные, задумчивые глаза Джан и осекся.

— Я, впрочем... — смущенно пробормотал он, — я забочусь о ней, как могу. Жаль мать, словом... разве она виновата?

— Это я знаю, Слава, — медленно сказала Джан, — и только потому, что я тебя, паршивого мальчишку, еще с того времени

знаю, когда ты под столом сидел, то и прощаю тебе этот отцовский тон, а то срезала бы так, что ты еще долго переворачивался бы... Ты бы вот именно с этого и начал... Ну, ладно. Вот свежи маме сахару и сала... Дай портфель, я сама уложу, у меня больше влезет...

Кресты все по дороге, Джан, и крестики...



Джан сидела в мастерской с утра. Очень трудно все-таки одной. И к муфелю вскакивай, дров подкинуть, и от работы отрывайся, как только придет кто-нибудь. Поминутно руки приходится мыть, а то в глине, где же тут за вещи хвататься... Из третьей комнаты, запертой и пустой, дует, и всего только конец января, а вдруг оттепель. На улице грязная каша, окна плачут, темно, посетители весь пол затоптали... Мозгло и уютно.

И Джан снова с неудовольствием вспоминает, что вчера опоздала на полчаса, и прекрасный трехкратник ушел под носом...

Ну, вот, еще кто-то тащится... Дверь открылась и закрылась, и хотя Джан стоит только чуть повернуть голову, чтобы посмотреть — кто, она с удвоенным вниманием втискивает глину в формочку — надоели!

— Здравствуйте, — произносит мужской незнакомый голос.

— Добрый день, — бурчит Джан, попрежнему не оборачиваясь. — Садитесь. Что угодно?

— Если вы не слишком заняты, мне бы хотелось поговорить с вами по одному щекотливому делу...

— Вы от кого? — Джан со вздохом отодвигает готовую форму, сует пальцы в миску с водой, вытирает их лежащей тут же тряпкой и поворачивается, наконец, к посетителю.

Среднего роста брюнет с легкой проседью. Одет прилично. Полные губы, темные усики, резкая морщина поперек лба. Что-то в этой морщине и в глазах притягивает внимание Джан. Очень пристальные, умные, приценивающиеся и спокойные глаза. Русский говор, но по чему-то неуловимому видно — свой, если не рижанин, то во всяком случае балтиец.

Он слегка улыбается, и от сверкнувших зубов молодеет сразу.

— До сих пор я как-то привык сам от себя приходиться... Но, если уж хотите, то обратиться к вам мне посоветовала Охотьева, Анастасия Никодимовна...

— А... — Джан смягчается и вытаскивает папиросу. — Как же, знаю.

Старуха Охотьева раза три заходила к ней по разным делам, и Джан она очень понравилась: хорошая, кондовая староверка. Посетитель предупредительно подает огонь, все еще улыбаясь чуть. Джан затягивается и откидывается на спинку стула.

— Хорошо. Чем вы интересуетесь? Продукты, вещи?

— У вас все есть?



— Все только у Бога есть. Но достать я могу многое.

— Интересно... — тянет он.

— В данный момент у меня... сыр, ветчина, свечи, масло, индейки, два отреза на мужской костюм, один на пальто... партия мужских сапог, хром, но сразу сорок пар взять надо... восемь бутылок французского коньяку, каракулевая шуба, Контакс, два персидских ковра, три рояля, серебро, золотые десятки, один камень на три четверти карата, другой полтора, чистой воды, жемчужная нитка в три ряда, но мелкий жемчуг...

Джан лениво перечисляет, смотря в потолок и припоминая все, от скуки просто. Потом взглядывает на посетителя. Но тот продолжает усмехаться.

— Порядочно. Вы, я вижу, деловая...

— Что же вас интересует? Или вы продаете..? Что? — снова спрашивает Джан, и начинает злиться. Чего он тянет? Не разговоры же разговаривать пришел?

— Может быть, — уклончиво отвечает он. — Но главный интерес у меня в другом, Джан Николаевна.

Улыбка сбегает со смутлого, как будто ветром обожженного лица.

— Главный интерес у меня в отношении к сестрице вашей, Катерине Николаевне, вот что.

— Катюшка? — Джан изумленно приподнимает брови. Откуда он знает их имена? — Сестра моя никакими делами не занимается. Она работает в лазарете с утра до ночи.

— И про то наслышан уже... Но сестрица ваша замужем... была замужем... и вот от мужа ее, Лаврентия Петровича, я вам последний привет передать должен... а матушка моя, Анастасия Никодимовна, посоветовала сперва к вам обратиться...

Он встает и представляется по всей форме:

— Охотьев, Вадим Павлович. Магазин у нас на Известковой был, знаете?

Уже при первых его словах папироза падает из пальцев Джан. Она смотрит на него широко открытыми глазами, и слезы крупными каплями сыплются на побледневшее лицо.

— Вы... вы... — судорожно шепчет она, — вы тот самый... Вадим Павлович! Лаврик! Боже мой, Лаврик!

Она протягивает ему обе руки, но не успевает дотянуться, голова падает на край стола, Джан захлебывается в неудержимых слезах. Она почти не чувствует, как Охотьев склоняется над ней, перекладывает ее голову себе на грудь, заботливо сдувает кусочек глины, приставший к длинной серьге, ласково обнимает ее, и гладит по волосам, плечам.

— Плачьте, Джан Николаевна, плачьте — мягко говорит он. — Выплачьте слезы, и успокойтесь тогда, знаю, был он вам братом любимым... мне вот довелось Господней волей воскреснуть из мертвых, а его я своими руками схоронил, и крестик зарыл над могилой. На могилы-то там крестов не ставят, а над ним лежит

маленький. И он лежит спокойно, отмучился свое. Светлая у него душа была... и вы о нем не печальтесь. О всех вас поминал, рассказывал. О вас особо говорил, и мне наказал, если приведет Бог спастись, к вам вместо него, как брат названный, придти. И то сказать: побратимы мы с ним. По старому русскому обычаю, крестильными крестами поменяться не могли, потому что отобрали их у нас, золотые ведь были — но мы сами себе из проволоки сделали, вот его я и ношу на груди. Плачьте, маленькая, плачьте... Много теперь слез. Куда ни появишься — все сразу так и рыдают, и мужчины и женщины... Потому я к вам сперва и пришел. Думаю, сразу объявиться — так весь дом как возопит с сестрицей вашей — и утешить не смогу сразу-то. Лучше уж по одиночке подготовить. Надежда, она до последнего в человеке живет. Одно дело думать, что любимый человек умер, — а другое — знать. Панихиды по нем, наверное, уж отслужили, а теперь вот плачете, будто неожиданность принес. Ну успокойтесь теперь, галчонок маленький. Помолитесь за него, светлый, чистый человек был, и думайте тепло, как будто свечу зажигаете... Сидите тут, мерзнете, сыр с бриллиантами продаете, глину месите... в гнездо все тащите... как есть галчонок!

Конечно, скажи кто-нибудь полчаса тому назад Джан, что она будет плакать на груди незнакомого мужчины... но вот теперь это случилось, и от сильных, теплых рук, обнимавших ее, шло тепло, и от голоса, ронявшего слова, тоже шло тепло, и сушило слезы. Она вырыдалась, всхлипнула еще раз по-детски. «Галчонок» — вот смешной! — улыбнулась почти, и откинувшись, провела рукавом по глазам. Охотьев уселся на стул, придвинув его поближе и не выпуская ее рук из горячих ладоней.

— Полегчало? Ну, вот видите, лучше так... Водички испить подать вам? Или закурить? Вы ведь дымоход, но для нервов полезно... Возьмите мою лучше, у вас дрянь, а у меня еще старого запаса, настоящая «Рига»...

— Простите уж, Вадим Павлович, — смущенно пробормотала Джан, — у меня сегодня вообще все как-то не клеилось, нервничала, вот и не сдержалась...

— Что вы, Джан Николаевна, — совершенно серьезно возразил он: — оправдываться вам не след. Не каждый день загробные приветы передают, а расклеиться вам, полагаю, есть от чего тоже... Да я к вам, простите уж, хоть вы меня не знаете, но надеюсь узнаете теперь, познакомимся ближе... не чужой пришел. Мне о вас все доподлинно известно, побратим мой часами рассказывал. Я к вам, собственно, по-родственному, если примете — разрешите — другом быть. То, что нам вместе с Лавриком пережить пришлось, не меньше кровного родства связывает.

Он говорил, смотря прямо в глаза Джан, и ее все больше охватывало теплое, дружеское чувство.

— Муфель! — вдруг вскинулась Джан и вскочила. — Вадим Павлович! Пойдем в муфельную, там теплее, и мне дров подкинуть надо. Посидим и поговорим там.

— Дрова я вам сам подкину, не женское дело, — ответил он, уже направляясь вглубь мастерской; — а вы вот глазки промыли бы... слезы-то жгутся, как высохнут...

— Заботный какой! — подумала вслух Джан латгальским выражением и, пригладив волосы, послушно приложила к глазам намоченную вату.

— Заботиться надо — слышалось от муфеля. — Без заботы дом не стоит.

— Лучше бы всего домой пойти — но муфель этот! Выпьем чаю, Вадим Павлович? Мигом вскипичу! Господи, не пришел бы кто только, поговорить не дадут. А запирать бесполезно, со двора постучатся... Ну, да ладно, рассказывайте. Ведь вы сами — чудо! Меня не только о Лаврике потрясло — но вы сами из гроба встали! Разве оттуда возвращаются люди? В газетах писали, правда, об одном ветеринаре, тоже был отправлен в Нарым, и как-то спасся. Ну, говорите, я только чай сделаю.

Джан быстро двигалась, усаживая его, накрывая столик, и вполне овладев собой.

— Рассказывать вдолге, Джан Николаевна! Но вот вкратце поясню: арестован я был, как вам, может, известно...

— Мне ваша матушка говорила.

— Ну, стало быть, арестовали и в Центральную. Допрос простой был...

— Пытали?

— Без пыток у них ничего не обходится... Но это, Джан Николаевна, дело прошлое, здоровье у меня еще железное было, теперь только посбавил малость, но еще хватит, а мутить вас рассказами о том, как они... нечего. Вконец искалечить меня не удалось все-таки, вот в том и суть.

Джан кончила хлопотать и уселась напротив, не сводя с него глаз.

— Главное, значит, что когда я... ну, словом, пришел в себя — маленько в беспмятстве был, после сорок восьмого допроса, счет вел, по-купечески, ничего не поделаешь — усмеялся он, — так назначили меня, с другими вместе, в Печерский край, на транспорт, в концлагерь. Ехали эшелоном. Стоял конец марта, холода еще. Нагрузили поезд народом — кто в чем был взят. По дороге скинули половину, либо больше того, трупов. Однако, часть доехала. Очень уж тесно были набиты вагоны — друг дружку телом грели. Ну, путешествие описывать не стоит. Лагерь... как все концлагери. Проволока, вышки, собаки, пулеметы, чекисты. Суровый край. Землю рыть там надо было и шоссейную дорогу проводить. Летом мошкара тундровая. Но зато ягоды ели, морошку, бруснику. От ягод полегчало. Нашел я там, разумеется, всех своих, рижан, хоть и по разным баракам

держали. Лаврик сразу со мной в один попал, и хоть виду мы нашей дружбы не подавали, потому, что как они завидят, что двое стакнулись, то следят, и норовят одного помучить, чтобы из другого ради того что выжать... но по ночам шептались. Тут он мне о вас и рассказывал, все.

— А Петр Федорович?

— Батюшка его? У него экзема приключилась, от нервно-сти... от голодовок. Возраст тоже, все-таки... ему за шестьдесят было. Тот уже по дороге... Я сам не видел, мне говорили только.

Джан стыдно, что она только сейчас о нем вспомнила, она поднимает руку и крестится.

— Царствие небесное хорошему человеку, — говорит за нее Охотьев и, помолчав, берет за налитый ему стакан чаю.

— Кто еще... был?

— Много, Джан Николаевна. У меня память хорошая. Даже товарищи ее не выбили. Я свой счет вел. Думалось так: если спасет Господь — сам панихиду отслужу, за каждого свечу поставлю. Теперь за тысячу перевалило из своих, балтийцев. В первую весну все старики выбыли, а кто остался — летом переболели, а осенью преставились. Климат, работа не по силам, голодовка, битье, штрафные пытки... Ну, словом, вы обо всем этом слышали, и, повторяю, расстраивать вас мне нечего...

— А... Лаврик?

Охотьев смотрит темными глазами в угол. Лаврик заступился за старика инженера, приятеля его отца, и его отправили в «холодную». Лаврика вынесли довольно скоро, залитого кровью. Кровью прохаркал еще несколько недель, пока отмучился.

— Чахотка, вроде, — дрогнувшим голосом добавляет Охотьев и сжимает губы. — Немного не дождался. После его смерти полегчало мне. Будто по его предстательству перед Господом. Неисповедимы пути...

Он ласково взглядывает на Джан.

— Побег был почти невозможен. Из самого лагеря еще куда ни шло... но на пути либо догонят, либо жители донесут, если до них доберешься, либо сам погибнешь. А за побег показная смерть полагалась, для устрашения остальных, и тут уж старались, Господи! Но на меня все-таки отчаяние нашло, и решил уйти. Думалось, авось Господь Бог смилуется — и даст умереть своей смертью по дороге, без палачей... Обдумывал я это, приглядывался, что и как, и укреплял себя молитвой — и Конфуцием. Хожу или сижу если, так молитву про себя больше, чтобы чекисты не издевались, ну, а изречения Конфуция и стихи китайских поэтов вполголоса бормотал, по привычке. Слышу свой голос — будто живой человек из глубины веков умиротворенно повествует мне о мудрости, о ничтожности жизни и величии Божьего мира. Глубочайшая мудрость!

Джан убежденно кивает в ответ.



— Гамлет сказал: «Слова, слова, слова!» — продолжает задумчиво Охотьев. — Оно и правильно, казалось бы. Но когда есть в нем настоящее, влитое в него, — нет ничего сильнее слова, даже человеческого! Но об этом еще поговорим, я ведь вкратце собирался, а сам петляю. Так вот, через изречения Конфуция, Бог меня и спас. Пригодился китайский язык, подите ж... Сказано: неисповедимы пути. Сижу так однажды, во время передышки, и говорю: «Лучше зажечь хоть одну свечу, чем»... А мне вдруг чужой голос откликается: «...чем сидеть в темноте». Доканчивает поговорку, значит. Я так и встрепенулся. Оказалось — полукитаец, полубурят, но образованный, в китайском монастыре учился, чуть монахом не стал — а может, и был. Как он в надсмотрщики лагерные попал — до сих пор не знаю. У восточных народов задавать вопросы неприлично. О философии мы с ним потом рассуждали много. Я ему евангельские притчи переводил, и с Конфуцием сличали их, аналогии проводили... Палачом он не был, и среди нас, заключенных, считался хорошим. Не бил, не издевался. Не жалел тоже, это правда. Знаете, чисто азиатская фигура: глаза смотрят в глубь тысячелетий, лицо каменное. Помню, была очень трудная работа. С нее каждый день уносили десятками искалеченных и надорвавшихся. Чекисты неистовствуют, матерятся, издеваются. А он — молча, каменно и бесповоротно. Надо — значит, надо.

— Сотня людей больше или меньше погибнет — что значит сотня людей? Конечно, здесь вам это и странно, может быть... Называли его «идолом», но все-таки не так ненавидели, как других. К священникам он относился благосклонно — позволял молиться, поскольку это было возможно. И мне помог, за философские китайские разговоры...

Охотьев замечает взгляд Джан и, встав, подкидывает дров в топку. Воспоминанья тоже отметаются в огонь.

— Вот и все, — заканчивает он. — Побег «идол» мне устроил, и сам со мной ушел. Куда он попал — не знаю, в Тибет собирался, а я добрался до немцев. Как — потом расскажу когда-нибудь. Тысячу триста километров, а может быть, и больше, прошел... В лазарете задержался потом для починки — месяца два с половиной с ногой пролежал. А теперь вот явился; три дня как дома.

— Дома у вас... — покачала головой Джан.

— Да, за сестру и шурина тоже надо Богу молиться... когда мужа увели, она из окна выбросилась, не стерпела. Грех, — только полагаю, что Бог видит, что по любви и с отчаяния, и мук боялась тоже. Трудно человеку на муки идти, безвинному, ни за что. За идею, скажем, так подъем, восторг. А тут — яма, провал...

— Но как матушка вас встретила! Могу себе представить... Мне кажется, что она все-таки надеялась...

— Матушка моя Охотьевская, кондовая, крепкая в вере женщина. А когда я явился — не выдержала, при всей силе своего характера: — как грохнется, я еле успел подхватить, с няней целый час откачивали. Подкинуть еще поленцев, Джан Николаевна?

Джан взглянула на тепломер и подсчитала время.

— Нет, хватит, спасибо. Пора кончать топку.

— Следующий раз, когда я приду, вы мне объясните, как это у вас делается, а я прочту вам лекцию о китайском фарфоре, по первоисточникам. Не чаял уж, что свою библиотеку увижу, но встреча с ней была, как с любимым человеком. О фарфоре у меня целые книги с рисунками.

— Непременно принесите! — загорелась Джан. — Хоть сейчас не приходится по-настоящему работать, но посмотреть хотя бы!

— Ну, а теперь что делать будете?

— Вот вымою чашки и пойдем домой. Покажу вам наш дом, а к ужину Катюшка придет, тогда... Я ее подготовлю сперва...

Охотьев молча следит за Джан и, когда она снимает рабочий халат, подает шубу.

— Подготовки не надо, Джан Николаевна. Вы мне сразу, как сестрица придет, дайте с ней с глазу на глаз переговорить. Это тяжелый разговор, а вы уж наплакались сегодня достаточно.

Джан невольно подумала, что если бы на его месте был Бей, то непременно сказал бы: «Ты уж, пожалуйста, скажи ей сама сперва!..» А Лаврик — Лаврик взял бы на себя, как Охотьев. Разница этого подхода — очень показательна.



Самое странное — в этот вечер не было особо подавленного настроения в доме. Катюшка вышла из своей комнаты с заплаканными глазами, но спокойная. Может быть, она яснее, чем Джан, почувствовала смерть Лаврика, когда тот действительно умер, и переболела уже. Но она внимательно слушала рассказы Охотьева, и оживленно рассказывала сама о лазаретной жизни.

— Редкое у вас влияние на людей, — призналась Джан, когда засидевшись до полуночи, Охотьев собрался уходить. — Встречаемся первый раз, а как будто давно знакомы... Вы всегда такой?

— Не все только видят это, — усмехнулся он. — А кроме того, вот когда вы все в сборе, на прощанье повторяю, что вам давеча говорил. Я к вам не просто зашел. Поручено мне вашим другом быть, поддержкой в трудное время, и в том мною слово крепкое дадено, а Охотьевы еще слова не нарушали. Потому, как хотите, но в следующее воскресенье к нам на обед пожалуйста, матушка просила, а до того я еще зайду. Мне сегодня Джан Николаевна первоначально напредлагала всего-чего, а торговать — это уж наше дело, исконное...

Так в доме появился Охотьев. Приходил он часто. В мастерской Джан внимательно присмотрелся к керамике и к делам.

— Глины вашей я не касаюсь, — заявил он через несколько дней. — Понадобится развернуть производство снова — вы сами мастерица. Но в делах не утерплю, замечу: товар у вас через много рук проходит часто. Я вам иначе устрою.

И устроил. За Охотьевым стояла вся русская купеческая Рига и Двинск. Не все погибли. Весною Джан перешла уже на крупные партии, заработки возрасли.

И сам он и мать стали своими людьми в доме. Мать настояла, чтобы лето проводили у нее на даче, в Асари, и, как только Инночка кончила школу, увезла ее туда вместе с Яриком.

— В большом доме нам двум старухам пусто очень, — решительно заявила она. — Пусть попрыгунья стрекошет и клубнику собирать помогает. А вам всем больше трех дней в городе не даю, остальное время ко мне пожалуйста, хоть посменно, чтобы хозяйства не бросать.

Было в ней что-то от старинной русской бабушки, уютное, несмотря на строгость. Она не так разбиралась в искусствах, как Екатерина Андреевна, на современный мир смотрела по Апокалипсису, и вся была кусочком старого русского быта. К Джан относилась по-дружески, а Ярик, Катышка и Инночка сразу стали ее любимцами.

Вадим Павлович, если не уезжал по делам, то редкий вечер пропускал, чтобы не посидеть в столовой, где собиралась вся семья.

— Пустовато у нас дома как-то, — говорил он, усаживаясь на свое место на диване.

— Да и мы, Вадим Павлович, так привыкли, что если вас нет, так и у нас пусто, — хором отвечали все.

— Стало быть, ко двору пришелся... — отвечал он и иногда взглядывал на Катышку. Самостоятельность Катышки была не врожденной, а благоприобретенной, и потому довольно поверхностной. Ее тянуло прислониться к кому-нибудь, опереться на спокойную, уверенную руку. В почтительном любовании Охотьева вспыхивали огоньки не только дружбы. Лаврик — влюбленный, оторванный с кровью, погибающий в тундре — говорил о ней, рисовал ее образ словами и штрихами на камнях и песке в иступленном отчаянии. Охотьев прекрасно видел это. Но он тоже был оторван от жизни, тоже ждал гибели, и мог надеяться только на чудо. После тяжелого ожога в душе, оставленного Варварой, хотелось, несмотря на все трезвые доводы, поверить и в светлое тоже. Лаврикин «Котеночек» — что-то мягкое, пушистое, ласковое, с трогательно нежными глазами — прижимался невольно и к его груди, особенно, когда он остался один. Но, когда были пройдены тысячи километров, и леса и волчья жизнь отодвинулись неизмеримо далеко от стоящих еще риж-

ских башен, и не курганной бабой даже, а комиссаршей выдвинулась в памяти Варвара — Охотьев слегка усомнился. Ой ли? Так ли? А не вырос ли этот нежный котенок — выброшенный в кровь, в грязь, в холод — шелудивой блудящей кошкой? Примеров довольно было. Про себя решил, что если даже и так — все равно, поможет. Даже занялся психологической философией — что было бы лучше, и что ему приятнее: услышать, что и она погибла, или увидеть ее свихнувшейся?

Но уже у Джан сомнения рассеялись. Если одна сестра такая в точности, как описывал Лаврик, то и в другой, наверно, не промахнулся. Нежно-шутливое «галчонок» вырвалось у него не зря. Джан очень понравилась ему сразу. Он по-купечески оценил ее деловитость, по-человечески угадал надломленность, и «по-китайски» оценил ее эстетизм. Джан стала своим человеком, родной — но не больше. А Катышка захватила. Теперь он безоговорочно поверил. Вот она какая такая! Очарование ее было в глубокой, простой ясности. Горе и два года тяжелой лазаретной работы укрепили ее, выпрямили, но это была скорлупка — не панцырь.

— Катеринушка у них — лампадка чистая! — определила Охотьева.

— Желанная моя! — тихо отозвался сын. Старуха испытующе взглянула на него.

— Гляди-ко-сь! Как поменьше книг читать стал, так и желанную разглядел. Ну, что ж, может, по-старому судить — и бесприданница... Да не в том теперь дело, в человеке теперь дело.

— Старой жизни больше не осталось, матушка! Вот дом нам вернули, а надолго ли?

— Дом! — вскипела старуха. — Ты мне вернулся Господом, а не дом! Про тебя раздумываю — надолго ли? Ну, это как Бог даст, а ты... затепли себе лампадку, раз она уже тебе по наследству от побратима осталась, только побережливей, смотри, она еще в себе печаль носит, я вижу...

Но и глаза своего сына она видела тоже.



А сорок третий год шел дальше. На Пасху разговлялись вместе с Охотьевыми, и Джан и Катышка, — каждая про себя — вспоминали другую Пасху и черемушный цвет на свадебный день. И хоть не было еще между сестрами разговора о новом, но взглянули друг на друга — и поняли, и улыбнулись печально обе.

«Подожди еще немножко», — говорили Катышкины глаза, и Охотьев, перехвативший взгляд, понял тоже.

Весна и лето не скрасили Риги. Слишком много было вымерзших деревьев в садах и парках еще с той, небывалой зимы тридцать девятого года. Обожженный, запыленный щебнем Старый Город сиротливо жался к оставшимся еще колокольням. Серые,



в выбоинах, в мусоре, давно нечищенные улицы расхлябывались дальше гремящими машинами. По ним шли теперь только отряды. Колонны пленных с сорванными красными звездами не тянулись больше, и желтые звезды погасли. Евреев не водили на работу. Ни пленных, ни евреев больше не было. Гетто — тоже.

Колочая проволока смялась, местами была сорвана совсем, и валялась ржавыми ядовитыми клубками. Столбы растаскали на дрова. В опустошенных домах расселялись снова форштадтские жители, не боявшиеся привидений. В погребах часто слышался стук — и на дворах рыли ямы, искали зарытые клады.

Лихорадочная жизнь высушила сердце и губы. Спорили до хрипоты о конце. Что останется? Кто останется?

Ответы были так же немые, как и забитые трупами казненных леса около Риги. В лесах не собирали больше ни грибов, ни ягод — жутко ходить по кладбищам.

В городе появились новые люди: много советских людей из занятых областей, латышские легионеры и отряды РОА — Русской Освободительной Армии. Шли добровольно и в германскую армию, и в легион — на фронт, свой, восточный. За разоренные усадьбы, за убитых, увезенных, замученных отцов, матерей, братьев и сестер. Стремление сохранить свое лицо и умение организовывать быстро вылилось в Латвийский добровольный легион: германская форма с национальным значком на рукаве. Приезжал в Ригу и Власов. Русская армия формировалась не в Балтике, но Рига стала пропагандным центром, выходили газеты и журналы.

Да, если бы с этого начали два года тому назад... то теперь война была бы кончена. В «если бы» заключались два потерянных года, четыре с лишним миллиона одних только замученных пленных, и главная, роковая ошибка войны. Все остальное было только следствием.

И все-таки надежда неисправима: шли в Легион, в РОА, в казачьи части. Может быть, все-таки, несмотря ни на что...



Охотьев привык справляться с жизнью и верить в свои силы. Но концлагерь подорвал и его здоровье, а побег закончился лазаретом. На фронт он и не очень стремился.

— Моя голова на плечах пригодится не только под пули подставлять, — сказал он Джан. — Буду, значит, здесь при штабе. А кроме того, признаться, на этом месте у меня свободы много, разъезды, организация, и надежду питаю, что, может быть... удастся до Варвары Димитриевны добраться.

— Многие за нею гоняются. Но говорят, что она бежала уже из Эстонии на пароходе, а его потопили по дороге!

— Говорят. Ну, уж если Сам Бог не покарал — кто-нибудь да рассчитается с ней!

— Значит, — прервала разговор Джан, заметив, как он потемнел в лице, — скоро мы опять останемся одни, раз и вы уходите...

— Вот потому самому и хотелось поговорить с вами. Пока что, буду в Риге, но на военной службе, сами знаете, человек не волен над собой... В победу я, по правде сказать, не верю, но бывают чудеса. Стыдно самому рук не приложить, долга не исполнить. Так вот, под Богом ходим... А у меня загвоздочка есть, сами догадались, наверно, уж...

Джан наклонила голову.

— И, значит, не новость объявляю вам, подумали тоже. Месяцев пять я, как гвоздь, в вашем доме торчу... Вам купеческие понятия знакомы: ухватил, значит, держи, и о будущем подумай. Скажем — убьют. Матушка у меня на ладан дышит. Крепка еще — но под семьдесят. О любви я не говорю, про то вам должно быть ясно. Одного опасаюсь, — возраста. Разница больно велика. Потому и медлил, раздумывал. А Катеринушка для меня...

Махнул рукой и оборвал.

Новостью это для Джан не было. Охотьев старше Катышки на двадцать четыре года, но выглядит моложе. Да и, вообще, лучшего мужа найти трудно.

— По старому обычаю к родителям сперва обращаются, — продолжал Охотьев. — Вы в семье голова. Вот и прошу, стало быть, поговорить по-сестрински... Но только предупреждаю: каков бы ответ ни был, другом Катеринушке и всей семье остаюсь попрежнему. В этом слово дадено, и от ворот поворот потому для меня окончательно не может быть...

Катышка смущалась, отнекивалась, но слабо. Всего два года, как Лаврика увели, а она...

— А ты двадцать лет траур носить хочешь, и подождать, пока у Вадима Павловича седая борода вырастет? — возмутилась Джан. — Неужели ты думаешь, что Лаврик, прося его позаботиться о тебе, если удастся спастись, не думал, что так может получиться?

Довод убедил Катышку.

— Хорошо, — сказала она наконец. — Он мне нравится. Может быть, я его уже люблю, или полюблю наверно. Такого идиотского счастья, такого телячьего восторга, как тогда, у меня нет, но и жизнь другая, и все... Только почему до конца войны не подождать? Тогда бы...

Джан махнула рукой, выскочила из комнаты Катышки, где они разговаривали, заперла за собой дверь на ключ, и поднялась к себе. Охотьев сидел в кресле с книгой.

— Ну, любезный шурина, — начала Джан, останавливаясь перед ним с усмешкой и протягивая ему ключ, — на море на океане, на острове на Буяне дом стоит, а в дому в горнице вдова сидит, и вас дожидается...

Охотьев встал с просиявшим лицом, перекрестился, обнял Джан и, подняв ее с полу, расцеловал трижды.

— Спасибо, галчонок!

— У, медведь! — крикнула вдогонку Джан.



Джан съездила к Левштейнам в Митаву: те доказывали дважды два — четыре, что вскоре начнется отступление, — и что оно уже началось. И радовались, конечно. Но этой радости Джан не могла разделить.

Сам Левштейн стал теперь настоящим «кавказцем» и делал дела. Миша тоже пристроился при одном лазарете. О них больше нечего было беспокоиться. Рассказывали о Гене с Леной: пытались бежать к советским и погибли у Пскова. Угрызений совести у Джан не было, но последнее время она была вообще смутной.

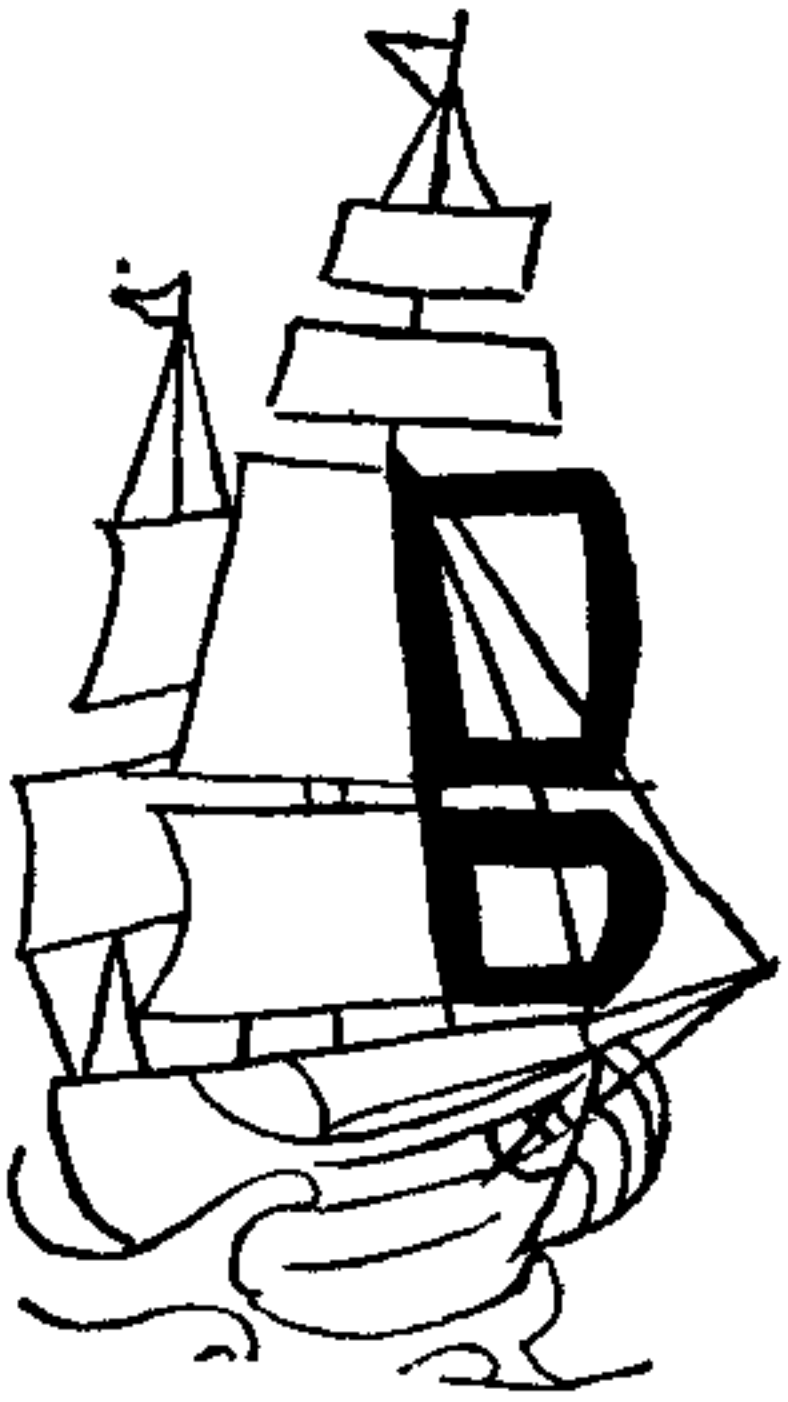
— Свадьбу отпразднуем! — заявил Охотьев. — Один раз же-нюсь! Так, чтобы дым коромыслом, напоследок хоть!

Это «напоследок», прорвавшееся у него вдруг, невысказанно висело надо всеми. Отправляясь за грибами на взморье, Джан, всегда очень любившая лес, входила в него и ласкала взглядом и стволы, и сумрак.

— Леший, — печально говорила она, нанюхиваясь до одури богуном — может быть, в дурмане привидится что-нибудь? — леший лесовик! Приду я к тебе через год?

Молчал леший. Лес шептался о своем, пахло смолой, звенело и шуршало вокруг. Джан вздыхала и завидовала грибам. Растут и будут расти у себя дома, у родного пенька. Нет, это не жизнь, а тягучая бессмыслица, и что-то должно случиться, и она чувствует это, ждет — и боится.

Такое настроение было не у одной Джан. «Напоследок»! Шла осень сорок третьего года.



ойна снимает с человека заботу о завтрашнем дне. О чем заботиться? Завтра могут убить. Упрощенность понятий, неотделимая от военной формы, в эту войну упростилась еще более невероятным кавардаком.

— Дядя Кир со своими старорежимными понятиями, как зубр в Беловежской пуще, — ворчал Бей, привезя домой «трофеи». — Я бы на его месте так развернулся, а он дрожит, чтобы все только по форме было. Идиот, хоть и полковник. «Я, офицер царской армии»... Так ведь то раньше было! Раньше, если какой-нибудь интендант проворовался — на всю страну скандал, лишение чести! Раньше я сам, случалось, докладывал солдатам из своего кармана. Так то была настоящая армия, присяга, честь... А теперь из этих слов, как из подушек, перья-то повысыпались, одни наволочки остались. Каждый — и солдат и офицер — что-нибудь «организует», так и называется, и домой шлет, или пропивает тут же... А про партийных и говорить нечего. И правильно, я тебе скажу. Раньше мы знали, что служим царю, умираем за Родину, а если погибнем или калеками останемся, то и нас, и наши семьи и царь и родина не забудут.



Ну, вот, после первой мировой войны нас поблагодарили. Никогда не забуду этой картины Богданова-Бельского «Защитник родины». Сидит на углу нашей же Феллинской улицы у занесенного снегом палисадника старичок в генеральской шинели, с крестами на груди и ногой на деревяшке, и торгует папиросами в деревянном ящичке... С натуры писал. Помнишь?

— Еще-бы, — отозвалась Джан. Она стояла на коленях и вынимала из его чемодана такой фарфор, какого ей еще не приходилось держать в руках.

— Гатчинский, из дворцовых музеев, — кивнул Бей. — Солдаты для развлечения об стенку били... А вот эту миниатюру на сапоги выменял. Ты благоговей, это Изабе.

Он помолчал и добавил:

— И еще я хотел тебе сказать: Вальдбург... ты наверно скоро отправишься в Берлин курьером. Но смотри, Джан. Это почище гетто и твоей гостиницы будет. Никому из нас головы не сносить, в случае... Ради Бога, не полагайся во всем на твое счастье, а будь действительно осторожна...

— Послушай, Бей, в чем тут дело? Я ведь так до сих пор и не знаю! — взмолилась Джан. Но Бей умел молчать, когда надо.

— Не знаешь, и хорошо. Да ты любопытством никогда и не отличалась.



На этот раз Катышка венчалась в соборе. Осень стояла погожая, теплая, торжественно светило солнце. Анастасия Никодимовна, снаряжая ее к венцу, вынула из-под спуда такую нитку жемчуга, что Катышка не поверила даже. Джан, Инночка, даже Куколка получили дорогие подарки.

Да, эта свадьба была очень пышной, дорогой и торжественной. Но она была и хорошей тоже. Жених сиял, невеста светила тихо. Если бы не война — можно было поговорить о счастье. Если бы!

Вероника, ради свадьбы, надела приличное платье. Но теперь оно было отдано Марусе, и она опять переделалась во что-то темное и повязала голову по-монашески.

— Ты когда едешь? — вздохнула Джан. Сестры сидели в саду, совсем разросшемся уже, и пили чай под липой. Теплое солнце медленно падало желтеющими листьями.

— Завтра. Все готово, и на этот раз удалось мне много получить для церкви... Даже не ожидала, что немцы отваяют столько. Да, вот что, Джан. Вадима Павловича и мать его мне обижать не хотелось, и очень трогательно с их стороны, что они такой подходящий подарок мне выбрали — аметистовые четки. Очень красивые камни, и подобраны в тон, но их я оставляю дома, ты это имей в виду. В туалете у себя. Эти четки, как ожерелье носить тоже можно тебе самой... или Инночке...

Джан лениво поднимает голову. После праздника как-то особенно не думается, и вообще муть...

— Ты что, завещание составляешь?

— Не завещание, а... сон мне такой был, Джанушка. Не вернусь я, наверно, больше.

— Что за глупости!

— Причем глупости! По годам мне рано, конечно, но война теперь. Вот я занятие себе нашла и чувствую, что хорошее дело делаю, облегчаю, чем могу... мать Вероника, ха! Да, собственно, пока я старой девой была, так тоже монашкой жила... Ну, а грех свой, Джанушка, я стараюсь искупить тем, что многих сирот накормила, устроила. Конечно, и без того следовало, но теперь я спокойней стала. За вас тоже спокойна. Катышка с Яриком под крылышком, Инночка подросток, тебе легче. Бея не убьют — это я тебе предсказываю, чувствуется так. Ну, а ты... ты еще помятешься, а потом — потом тоже успокоишься, Джан.

— Говоришь, как пророчица!

— Иногда другому больше видеть дано... со стороны. А вот я... раньше постриглась бы в монастырь, учительствовать в приюте. Но и этого не осталось. И не хочется мне ничего, пойми. Не с отчаяния, а так, по-хорошему. Смотрю на все в доме: вот розы мои цветут — видишь, и это было дано, вырастил Морж розы. Пусть цветут. Смотрю на все, и будто прощаюсь, вижу все в последний раз, — и не жалко. Ничего не жаль. Анастасия Никодимовна сразу меня поняла. А тебе еще свое отжить надо, теперь не понимаешь, потом поймешь сама.

— Да, вот свадьба, и хорошо все, — задумчиво говорит Джан, — а мне все какой-то фильмой кажется. Видны на экране живые люди, говорят, а позади, за ними — пустота. Нет ничего.

— Взяла я у тебя книжку с полки, — продолжала Вероника. — Не глядя, первую попавшуюся. Киплинг. Знакомые рассказы, конечно, но решила перечитать. И вот раньше не обращала такого внимания, а теперь мне один рассказ прямо евангельской притчей показался. «Чудо сэра Пурун Дасса». Помнишь?

— Слабо, — откликнулась Джан. — Тот, который святым потом стал?

— Да. В самом начале уже сказано торжественно и просто: был он двадцать лет юношей, потом мужем, потом хозяином дома. И потом, когда увидел, что проделал в жизни все, что назначено человеку — ушел. В горы, в заброшенную часовню. Дикае звери приходили к нему, и жители нижней деревни приносили милостыню. Потом и дети их выросли, и своих детей отправляли к нему с чашечкой риса — а он все сидел и размышлял о жизни.

— А потом он же спустился в долину, когда была гроза, и вывел людей из-под обвала, и только тогда умер. Помню теперь! — загорается Джан. — Прекрасная вещь!

— Не вещь, а побольше: мудрость, — поправляет Вероника, и задумывается окончательно.



Вагон трясет. Замызганный, пахнувший въедливой дорожной пылью, потертый, расхлябанный вагон третьего класса. Неудобные желтые скамейки, мутные стекла. Вагон пустой. Только в конце какой-то солдат уткнулся носом в скамейку, и ноги в одних носках торчат в проходе.

Вероника прошлась из конца в конец, чтобы промяться. Вагон прицеплен последним в хвосте к тяжелому поезду, нагруженному чем-то. Поезд — не пассажирский, но другого ждать было долго, а солдаты помогли погрузить ее багаж, и сопровождающий унтер тоже не устоял перед хорошим немецким языком, важной подписью на маршбефеле и серьезными глазами «швестер».

— Дети ходят босиком, а я везу им ботинки, — сказала ему Вероника. Кроме туфель, у нее было еще много хороших вещей, лекарств и книг. Вот обрадуются! Вероника с удовольствием подумала, что завтра утром, наверно — ужасно долго тащится поезд кружными путями — доберется, наконец, до Пскова. Засинеет Великая, и уже привычными покажутся эти жалкие, бедные домики, развороченные тротуары, заплеванное здание бывшего кадетского корпуса — низкий ампирный четвероугольник в саду, палаты купца Поганкина, полуразрушенные церкви псковского зодчества, и скрипящие ступеньки крылец старых домов вокруг высоченного собора на горе: миссия и гостиница для приезжающих. Батюшка один — рижский. Ютятся все кое-как. Вот простынь привезет им на койки... Но и к неустройству, и к пустырю громадного двора с редкими деревьями, к жуткой, ничем не прикрашенной нищете она уже привыкла в той стране, которая была когда-то Россией...

И Вероника думает, что не плохо было бы стать царем по рецепту дяди Кира... Хоть в том же Пскове царем. Вот тут срыть, тут разгладить, мостовые вымостить, отремонтировать все, сады насадить. Никаких казарменных коробок не строить, конечно, пусть все почти так и останется, только чище, просторней, уютней. Пусть будет тихая провинция вокруг вековой старины. Монастырь восстановить, гору всю засадить деревьями, пусть березы бегут по откосу вниз, до самой Великой... Вот как эти тут на косогоре, среди молодых елочек.

Большой какой лес! То к самым рельсам толпится, то отходит полянками. Эстонские леса уже позади. Границу на рассвете переехали. Грибы на опушках. Джан, для которой все — живое,

всерьез уверяет, что грибы очень любопытны, поэтому и выбегают на опушки — посмотреть.

Поезд идет совсем медленно. Дымный запах смешивается с осенним, крепким запахом леса, солнце такое разнеживающее и мягкое. Господи, как чудесно в лесу! Вот бы остановиться теперь, пройти по косогору — опять боровики темнеют, и яркое, сказочное пятно гномичных шапок мухоморов, под елью...

Вероника наполовину высунулась в окно, глубоко втягивает в себя густой ароматный воздух...

В следующее мгновение, такое короткое, что его нельзя ни понять, ни почувствовать даже, мгновение, миг — вздыбленный паровоз, свист пара, взметнувшиеся шпалы, земля, обломки вагонов, ящики, взрывы, дым, огонь, вой...

Поезд был взорван заложенными минами. Последний вагон захлестнуло, вывернуло на косогор дымящейся грудой. Сбоку упала ступня в чистом носке — то, что осталось от спавшего в вагоне немца.

Движение на линии прервалось, пока вызванные команды не починили путь. Ржавой кучей обломков никто особенно не интересовался. Трупов не было видно, говорят, шел пустой, а если кто и ехал в нем...

Мухоморы под елью качали головами и шептались. Они спокойно продолжали расти дальше. Но солнце спряталось, шел холодный осенний дождь. Неуютно было в лесу!



Охотьевы вернулись с дачи. Инночка радовалась новому сезону в Опере, ее занимали часто. Можно уже было определенно сказать: из нее выйдет настоящая балерина.

Да, если бы... если бы не отступление — которое уже началось...

Джан пришла из мастерской и, по обыкновению, улеглась с книгой. Но книгу пришлось отложить. Вальдбург поднялся к ней наверх и уселся в кресло с серьезным видом.

— Джан Николаевна, я хочу попросить вас снова съездить в Берлин.

— С удовольствием! — даже привскочила Джан. — Когда только?

— Примерно, через недели две. Пробудете тоже столько же, с дорогой. Мне нужно самому, но сейчас я никак не могу отлучиться... Вы сможете справиться до отъезда с вашими делами?

— Конечно. Большое вам спасибо, Феликс Карлович!

— Благодарить будете потом, и вообще — не за что. Предупреждаю — на Берлин начались серьезные налеты.

— Ах, я их уже видела первый раз, когда была, — беспечно отмахнулась Джан. — Ничего особенного. Такой громадный город невозможно разбить. Вообще, должна сказать, что значение



авиации в войне сильно преувеличено. Судя по тому, что я видела до сих пор, не так страшен чорт, как его малюют...

— До сих пор, — подчеркнул Вальдбург, — у союзников авиация не была готова. Теперь я не советовал бы оставаться в Берлине. Положение уже серьезно и будет еще хуже. Город разбивают планомерно. Ну, увидите сами. И кроме того, вы должны знать, в чем дело — хотя бы приблизительно, и решить, согласны ли вы вообще. Много придется передать на словах...

В течение следующих минут Джан слушала, слегка побледнев от волнения. Государственный заговор! Кое-что она подозревала и раньше, но о Герделере, фон-Трескове, о покушении тринадцатого марта, когда Гитлеру подсунули в аэроплан не взорвавшуюся бомбу, о Кресау — она услышала впервые. Армия решилась, наконец! Боже мой, все повернется иначе, все, все!

— Но, может быть, у вас возникает вопрос: что мне немцы? — закончил он.

— Феликс Карлович, я не политик, но одно я понимаю совершенно ясно: если Германия проиграет войну, а гитлеровская проиграет, — то мы все погибли, и я даже боюсь представить себе конец.

— Вы — старые русские эмигранты и можете рассчитывать на...

— Нас уже предавали милые союзники в восемнадцатом году! Каждую белую армию по очереди, а теперь, когда они в союзе с большевиками, думаете, не выдадут снова?

— Значит, русско-германский союз, Джан Николаевна?

— Если вы обещаете выбрать меня царем!



Фиюююю! — бумс! Фиююю! — бумс! Юююююю!

— Конеч, Джанушка... — шепчет побелевшими губами Лада и прижимает к себе Андрейку. — молись... молись, мальчик...

— Спокойней, Ладушка, спокойней... — начинает Джан.

Ф-и-и-и-ю-ю-ю...

Свист, ежесекундный, ужасный, сверлящий свист, грохот, стены погреба дрожат, потолок вздрагивает, дома рушатся: впереди, рядом, ближе, еще и еще... Погреб заливается откуда-то светом — взрыв? Пожары?

Жильцы дома сидят, пригнувшись, молча. Желтая лампочка в потолке, мутная от колеблющейся пыли, мигает, отсчитывает секунды: сейчас конец, сейчас, вот...

Джан спустилась в погреб нехотя, больше, чтобы помочь Ладе. Усадив ее, беспечно вышла во двор — закурить. «Воздушный дворник» в шлеме, с бледным лицом, набросился на нее.

— Вниз, сейчас же! Разве вы не видите — они бросили осветительные бомбы. Сегодня будет всерьез!

Лаем взметнулись зенитки, совсем рядом — пять домов от них — на крыше громадного «Кадеве». Это сообщил успокаивающим тоном тот же «воздушный дворник». Но в какофонии, обрушившейся на голову несколько минут спустя, зенитки смолкли.

— Попали! Кадеве горит!

— На углу горит! Везде горит!

Ф-ии-и-ию-ю-ю!

Господи, уйти бы, в землю врыться... Господи, спаси, если можно... Аааа! Джан кричит? Нет, кто-то в углу... но ей тоже хочется кричать, Джан кусает губы... хоть бы на двор, хоть бы под небо, пусть хоть и в огонь, но не такая подлая, мерзкая смерть в погребе...

Фи-и-ию-ю-ю!

— Отче наш! — громко вырывается у Джан, и, цепляясь за мерную медленность каждого слова, она начинает читать вслух молитву, уже не обращая внимания ни на кого, не думая ни о чем, кроме этих слов. Все отходит, вся жизнь, все. Смерть, Джан. Сейчас, сию минуту.

— Верую, Господи, и исповедую...

Фи-ию! Рушится дом справа.

— Господи, дай дочитать до конца... только дай дочитать, ничего больше. Символ Веры до конца...

Фи-ию!

— Ну, теперь наша очередь, — вскакивает дворник и пригибается, колени расползаются вкривь.

— Чаю воскресения мертвых...

Фи-ию! — и жизни будущего века...

Удар.

Джан летит на пол, кто-то валится рядом, крики, темнота.

— Мимо, мимо! — кричит дворник и щелкает фонарем. Белый свет вспыхивает у него в руке. Ударило рядом, все только упали от толчка, двери наверху сорвало, пронесло и вдавило в стену...

— Дом горит! Тушить, на крышу, скорее!!

Джан вскакивает, обалдело шатаясь, и несется наверх. Дом трещит, и как будто качается. Отовсюду сыпется штукатурка, окна на лестнице, затемненные черной бумагой, вылетели. В просветах всюду виден огонь, метет вихрем искр и густого тяжелого дыма...

— Цепь с ведрами! Мужчины на крышу! Подавайте песок!

Молодчина этот дворник. Чего там другие копаются? Джан еле переводит дух на последней площадке и, увидев чьи-то ноги в чердачном люке, лезет за ними.

— Куда вы? Могли бы ведра подавать... Стойте, вас снесет!

Крыша слегка поката только, пружинит под ногами, огонь взвивается слева, и не разобрать — вихрь крутит смерчем. Джан вцепляется обеими руками в трубу. Какая-то фигура раскорякой

подбегает к ней, забрасывает петлю вокруг талии и наматывает другой конец на трубу.

— Ну, вот, теперь не упадете. Осторожно у края... Песок хватайте, горит!

Маленькие черные фигурки, то силуэты на огненном фоне, то залитые красным, метались, размахивая руками. Крыша незаметно обрывалась в шестиэтажную глубину. Только этот маленький островок остался: два — нет, три дома. Остального не было. Со всех сторон кругом взметывались сплошной стеной искры и шли феерическим каскадом, светясь и не потухая. На углу справа пылал огромный дом сплошным столбом. Слева, проваливаясь в душный черный дым, трещал огонь — горело Кадеве. Впереди, из домов со свистом вырывались громадные огненные балки. Позади, медленно, из этажа в этаж спускалось пламя. Небо светлело желто-розовым полымем и жужжало. Ветер взмывал снизу, из огня, гудящим столбом втягивал воздух.

Через час тот же немец подошел и отвязал Джан от трубы. Ее участок, залитый водой, засыпанный песком, курился горячим паром. В крыше нижним светом отблескивали дыры, прожженные искрами и головешками, и один угол был оборван совсем. Несколько маленьких зажигательных бомб удалось затушить и сбросить вниз. Дом отстояли — пока.

— Отбой уже, — сказал воздушный дворник. — А вы здорово схватились. Иностранка? Гостья у фрау оберст Кузнецовф? Да, веселенькая жизнь в Берлине... Надо пойти, посмотреть, что на улице... Весь Вестен разбит. — Этот дом на углу — там никто не вышел, я видел, как он загорелся, в одну минуту. Бомба прошла насквозь, и погреб вспыхнул вместе с крышей. Да, там уже не успели... А на другом углу — воздушная мина: два дома в пыль...

Джан медленно спустилась по лестнице. Теперь она чувствовала, как у нее ноют колени и руки. Во рту было горько, и очень трудно дышать — густой воздух забивал горло, и кружилась голова. Дождевик, накинутый поверх пальто, прогорел мелкой рябью дырок, руки саднили и горели.

Квартира, где Лада снимала комнаты, была на втором этаже. Внутренние стенки обрушились, окна выбиты без остатка, — все в мелких щепках и осколках лежало на полу с кусками штукатурки. Джан подняла уцелевшую чашку, вытерла ее грязной рукой и подошла к крану на кухне. Вода не шла.

— Ни воды, ни газа, ни света, — сказала Лада, усаживаясь на чемодан.

— Что же мы теперь будем делать?

— Во всяком случае, не дожидаться следующего налета. С меня хватит. До сих пор я не боялась, но теперь вижу, что это такое!

— Но куда, Джанушка?

— Хотя бы домой, в Ригу, ко мне.

— А если опять бежать придется? — Ведь пропуск надо, бумаги, разрешение...

— Тогда куда-нибудь в деревню, в крохотный городок, где ничего нет, и там отсиживаться.

— И вдруг именно туда возьмут и налетят? Разве угадаешь?

— А еще в Бога веришь? Конечно, не угадаешь, но, по нашему разумению, не будут же все подряд... что-нибудь да останется. Вот я дождусь утра и пойду. Мне надо кое с кем встретиться. Это немцы, может быть, они помогут, скажут куда... Или нет даже, отдохну сейчас и отправлюсь. По улицам быстро не пройдешь. Чаю бы крепкого выпить теперь... если в головешки засунуть чайник, вскипит...

— Ты с ума сошла! Вот у меня бутылка вина осталась...

Кислое вино прочистило горло, и Джан подбодрилась. В окна дуло горячим ветром от горевшего дома, полымя светло и неровно освещало все, и надо было что-то делать, она не могла усидеть на месте.

Письма, из которых она успела отнести только одно, лежали в сумке, а в начале налета она переложила их за пазуху. Сейчас нащупала шуршавшую бумагу на груди и решила оставить там же.

— Ну, я пойду. А ты разбери, что можешь, и запакуй чемоданы... Шляпу надевать смешно, дай мне платок и кусок марли, рот закрыть. И палку. Выверни из щетки.

Было два часа ночи. Но ночи не было, как не было и улиц. Улицы шли неровными волнами обрушенных домов, баррикады из кирпичей, железа и битого стекла прерывались толстым слоем золы. Приходилось выжидать, рассчитывая, пока пронесется горящая балка, прятаться в прикрытии. Трамваи висели на обломках домов, закручивались штопором, путались в сорванной паутине проводов. Джан чуть было не наступила на один из них, и с ужасом, что может быть ток, отпрыгнула назад и упала, больно разбив колено.

Только часам к шести она выбралась из налетного «ковра» и увидела станцию подземной дороги, где горел свет. Стоявшие около кассы рабочие сразу посторонились и уступили ей место.

— Вы оттуда?

— Да, из Вестена. Но где я теперь? Иду уже часа четыре и окончательно сбилась.

— Четыре часа! — ахнул кассир. — Где вы жили? Пассауерштрассе? Там что-нибудь осталось?

— Три дома, — устало ворочался язык. Кассир махнул рукой.

— Не надо, не надо билета. Идите так.

— Эта женщина идет из Вестена, — шопот кругом. Уступают место, пропускают вперед. Кто-то протягивает ей бутерброд, другой предлагает закурить. Без аханий, просто и хорошо.



— Племянник мой хотел пройти к Цоо после налета, — говорит какой-то старик, посасывая трубку, — но вернулся обратно, невозможно пробиться. Вода там у вас есть?

Джан молча качает головой.

— Ну, да это скоро наладят, — утешают сбоку.

Джан только сняла почерневшую марлю с головы. Немного рановато для первого визита, но...

— Очень нужно! — говорит она недоумевающей женской фигуре.

— Но так рано! — возмущается та, и подозрительно оглядывает ее. — Откуда вы вообще?

— Берлин-Вест, — роняет Джан магическую формулу, и начинает злиться. — Скажите господину советнику, что я шла к нему всю ночь через ковер из бомб не для того, чтобы ждать его приемных часов! Разве вы сами не видите, что я едва на ногах стою?

Фигура бормочет что-то и скрывается, но впускает Джан в переднюю. Хорошо, что есть кресло. Джан проваливается в него, вынимает письмо, молча протягивает его вошедшему человеку в халате, и закрывает глаза.

— Когда вы прочтете, то будете знать, почему я здесь. Я была трое суток в пути, приехав, попала в налет, и иду к вам четыре часа из Вестена.

Сквозь закрытые веки шуршит бумага. Советник читает письмо стоя, но когда Джан, не открывая глаз, вытаскивает сигарету и шарит спички, щелкает зажигалка, и она смахивает сон перед внимательными приветливыми глазами.

— Могу я попросить вас пройти в кабинет? Вы сейчас выпьете кофе. Лотта, свари скорее кофе, настоящего и покрепче!

Настоящим кофе в Берлине во время войны угощают не каждого гостя. Джан критически оглядывает себя. Замазанный, прожженный дождевик, разорванные чулки, ноги в синяках и крови, грязные руки, потому что перчатки разорвались тоже.

— Помимо ответа, — говорит она, — я буду вам очень благодарна за совет для меня лично...

Она объясняет положение. Советник относится очень участливо.



Да, вот так, вот так, вот так... татакают колеса. Вот так выглядит столица страны, ведущей войну далеко от своих границ. Тысяча восемьсот бомбовозов... Один такой налет на Ригу... и, кроме Двины, не останется ничего... Война без тыла... война без единого безопасного кусочка земли. Все временно, «пока», под вопросом... Все «может быть», «если» — воплощенная относительность! В ночной темноте окно затягивает туманом белой пленки — мороз, поезд подходит к восточной границе. Тают притушенные красные огни — наверно, аэродром...

Джан освобождает с трудом руку — так стиснута соседями. Трудно спать сидя — но еще труднее стоя... По ногам дует, плед уполз. В ночном, забитом людьми вагоне на вторые сутки в пути все кажется бессмысленным и безнадежным.

Может быть, в этой крохотной баварской деревушке, где сразу вспоминаются открытки и фильмы, Лада с Андрейкой и уцелеют. Брат советника, живущий там, похож на Бисмарка. Такие же суровые брови — но очень хорошо к ним отнесся, устроил их в «охотничий домик». В тот день они не успели выбраться, а вечером был второй налет, и снова сидели в «ковре». У Лады был нервный припадок. В деревушке Джан пробыла несколько часов, — и снова пересадки, поезда, ожидание на голых вокзалах, коричневая водица под названием «кофе», головная боль, неприютность... И какими словами рассказать эти налеты дома? Смертную тревогу, мерзкий свист бомб, прямо над головой. Грохот, огонь, собственное бессилие, раздавленность, обреченность? Ведь секунда — долей секунды раньше или позже — и не рассказывала бы больше ни о чем... Как те, не вышедшие из погребов...

Лет сто тому назад, в благословенном девятнадцатом столетии, ученые всерьез сомневались, может ли человеческий организм выдержать двадцать пять километров в час — скорость первых поездов. Вот бы их на несколько минут под воздушные мины! А в следующую войну будут и над этими минами смеяться и снисходительно говорить: пустяки! Выдержит человек, выдержит, такой уж зверь! Только — каким станет?

— Если англичане будут и дальше продолжать так, — сказал какой-то мужчина, выйдя после второго «ковра» на улицу вместе с Джан, — то им придется следующий раз и дома с собой притаскивать на аэропланах — а то нечего будет разбивать!

Берлинский юмор.

Верхняя часть дома снята бомбой, но внизу уцелела одна булочная, и в ней, в промежутке между налетами, можно достать хлеб. И между налетами стучат молотки в уцелевших квартирах: забивают окна картоном. И картон этот раздает какой-то «фазан» на вывороченной площади, и все сразу знают, что им делать. Чистить, убирать, налаживать, восстанавливать... молодцы берлинцы!

И если в следующий налет все это полетит снова... и если в России фронт дрогнет, и наступит катастрофа? Под бомбы? Нет, нужно думать о хорошем. Она возвращается домой, и это еще хороший, прочный дом — еще? Да, еще...

\*\*\*

— Так, значит, на этот раз вы не привезли косметики из Берлина? — говорит Вальдбург, когда Джан, приехав, заплетающимся языком дает отчет.

— Нет, я привезла другое.

— Вот как?

— Да, лично для себя. Вот эту гарь, пыль, запах гибели. И привкус смерти. Теперь я и это знаю.

— Ну, а еще раз... поехали бы?

Джан, лежавшая на тахте, выпрямляется.

— Что за вопрос! Конечно!

— Да, — улыбается он, — вы кой-чему научились в Берлине. Ответ характерен. Ну, а теперь спите, заслужили отдых!

Он осторожно закрывает за собой дверь и спускается по лестнице. Рассказ Джан потряс его больше, чем он показывает. Если переворот затянется или не удастся — гибель неизбежна...



ама, сходящая с портрета фамильной галлерей, — слышится голос Вальдбурга.

Джан спускается в переднюю — звонили, а дома никого нет, все ушли к Катышке. Сегодня воскресенье. В окне белые сугробы, в доме тепло. Джан наряжается с утра в новое парадное домашнее платье земляничного цвета. Шелк — красоты неопи-санной, она просто влюбилась в него. Платье стоит широченны-ми складками до полу, от рукавов падают крылья, и лицо, как в рамке, от больших серег.

— Вы не находите, барон?

Джан оборачивается на последней ступеньке. Вальдбург впу-стил уже кого-то, сам? Высокий военный снял овчинную шубу и отходит от вешалки.

— Вы ведь знакомы?

В переднюю, из глубины коридора, и сверху, с лестницы, падают тени. Из стеклянных стенок крыльца ложится со двора мягкая белизна дремлющего под дымчатым небом снега. Каж-дый перекрест теней, угол, приставший к каблуку высокого са-пога крохотный свалевшийся кусочек ледышки — все, разом, как вспыхнувший снимок, врезывается в вскинутые глаза Джан.



— Вы все-таки вернулись? — тихо произносит она, и на протянутой руке дрожат браслеты — звенят, стучаясь незаметно.

Она все еще стоит на ступеньке, и их головы на одном уровне — Джан видит обнимающие ее взглядом глаза и тонет в них.

— Джан Николаевна, можно вам подкинуть гостя? Я непременно должен уйти, и вернусь только к обеду. Тогда и поговорим о делах, барон. Насколько я знаю этот дом, вас не выпустят, пока не накормят и не напоят чаем. Я позабочусь о подкреплении, ради редкого гостя, и хозяйка не будет протестовать, абгемахт?

Да, протестовать Джан не может. Она поворачивается, чтобы подняться к себе, но Вальдбург уже вышел на крыльцо, барон одним скачком догоняет ее, схватывает на руки и вносит наверх.

— Почему? — успевает она еще сказать.

— Потому, потому, потому!

Диалог не совсем понятен и краток, но Джан не может и не хочет ни думать, ни говорить. Он целует ее на ходу, не отрываясь, лицо, руки, серьги, и совершенно ясно, что все время, вот эти полтора года, она ждала этих поцелуев и сейчас захлестнута чем-то небывалым еще, но таким счастьем, что перед ним меркнет все остальное.

— Потому что я знал, что так будет, и только так может быть, если я вернусь, — говорит он, уложив ее на тахту и опускаясь около нее. — Потому я и не писал, борясь с этим. Если напишу — то приеду, не выдержу. Если приеду — то погибну. Потому что я боялся подойти к тебе ближе, зная, что подойти могу только совсем близко — вот так. Потому что я боялся не борьбы за тебя, а того неизбежного страдания, которое связано с разрывом, — там, дома. Потому что я хотел проверить и тебя, и себя. Потому что я был ранен и лежал четыре месяца в лазарете. Потому что я тебя люблю... понимаешь, Джан!

— Нет, в первый раз в моей жизни ничего не понимаю... отвечает она на другой вопрос, в глубине себя.

— И не надо!

И впервые в жизни Джан соглашается, что вот именно это и есть то, что нужно.

За окном крупными хлопьями неслышно понесся снег. Один игольчатый одуванчик — второй, прилипший к стеклу, подрожали минуту от тепла, идущего изнутри — и растаяли. Две половинки одной капли нашли друг друга и слились в одну.



Пять следующих дней были песней. Пело счастье. АккомпанIMENT слагался из аккордов всего остального, звучащего мира, существующего только для двух людей. И несколько тактов пришева, под сурдинку, несколько строчек, неуловимого, только им обоим понятного ритма и смысла:

Девушка пела в церковном хоре  
О всех усталых в чужом краю,  
О всех кораблях, ушедших в море,  
О всех, забывших радость свою...

Это стихотворение Блока, то одной, то другой строчкой, не вспоминалось даже, а как взятый ветром аккорд — вдруг, в самые неожиданные минуты, отзванивало часами, шуршало платьем, пахло цветами — просто было вокруг, во всем. Иногда Джан говорила, незаметно для себя, одну, две строчки — иногда Ростислав.

Часами, зарывшись в подушки на тахте, они сидели и говорили. Детство всегда золотится воспоминанием. Но даже борьба с бедностью, безрадостностью, отчаянием и неудачами в жизни Джан сглаживалась сказками и мечтой.

— Все это надо было пройти, чтобы стать такой, какая я сейчас, — подумала она вслух и сама удивилась, как это правильно.

Ростислав рассказывал о себе. Кусочек старинного замка под Венденом, наполовину развалина, с подъемным мостом и башнями, гербами и рыцарями в латах. Совсем еще юношей — кадетом из Петербургского корпуса он отбил в девятнадцатом году этот замок от красных и освободил из погреба полузамученную мать. Сестру изнасиловали до смерти матросы, он видел ее труп. Единственным родственником остался дядя в Восточной Пруссии, около Куришер Гафф. Он настоял на переезде к нему. Потом студенческие годы — он стал агрономом. Имение дяди — небольшое, но образцовое. Мирная жизнь, лошади, книги. Неизбежный роман с дочерью соседа — спортсменка, хорошая хозяйка, прекрасная мать, и общий средний уровень ограниченности во всем.

— Несколько раз я приезжал в Ригу — не по делам, нет, дел у меня не было, а так, навестить своих, пройтись по улицам. Мне всегда казалось, что еще что-то надо увидеть здесь, только я не знал, что. Жизнь упорядочена, обеспечена, я люблю свой дом, семью... жена называла это славянской тоской... Может быть. Теперь я знаю, что искал, потому что нашел. Ты понимаешь, Джан? Я должен ехать через несколько дней — нет, суток, это больше — в Берлин. Использую время, чтобы подать прошение о разводе. Напишу жене, заехать вряд ли удастся, потому что хочу выгадать хоть несколько часов на обратном пути для тебя. Ты сделаешь то же самое. Через несколько месяцев мы оба будем свободны и...

Только высоко, у царских врат,  
Причастный тайнам, плакал ребенок  
О том, что никто не придет назад...

— звякнули браслеты на упавшей руке.

— Опять! Джан, нам надо избавиться от этих стихов, я начинаю их бояться. Как заговор какой-то! Так что же ты скажешь, на самом деле? Впрочем, ответ может быть только один.

— На самом деле, Ростислав, ничего подобного, конечно. Пока война, все остается по-старому. Почти.

— Джан, разве ты не понимаешь?

— Именно потому, что понимаю. Ты начнешь тяжелое дело о разводе: крах семьи, имение без надзора... а меня в это время убьют. Ну, кто-нибудь, как-нибудь... Разве можно ручаться? Или ты — на фронте ведь... И один из нас остается один, и все его существование сломано и искалечено, и не только его одного. Зачем? Когда Бей приедет, я ему расскажу, надеюсь, что он поймет, и мы останемся с ним тем, чем были всю жизнь — просто друзьями, товарищами. Но я не хочу загадывать. Бросим все разговоры о будущем, не хочу терять на них ни одной минуты... Сейчас я впервые в жизни счастлива, и так счастлива, что остается только одно желание: умереть. Вот так...

И Ростислав прижимает ее к себе так, что останавливается дыхание, и два встречных взгляда, глаза в глаза, как одна нить, выключают время. Но время идет, хотя в сутках очень много минут!



Сон сокращен. Джан спит не больше двух-трех часов, но, просыпаясь, находит каждое утро в ногах цветы. И какие цветы!

— Я знаю, что можно волшебить, — убежденно заявляет она. — Но откуда можно сволшебить в Риге зимой сорок четвертого года цветы — это я отказываюсь понимать. Ты бы мог поставить у моих ног двадцать роялей...

— Картина! Просыпаешься и шествуешь по клавишам!

— И на эту какофонию сбегаются все в доме! Но, видишь ли, рояли, шпек, бриллианты — это вещи, которые можно достать, если не за деньги, то за другое. Но цветы невозможны. Открой мне тайну!

— Нет! — смеется Ростислав, — и глаза темнеют, пляшут, смеются, обнимают. Боже мой, чего только не могут сказать глаза человека! — Эта тайна умрет вместе со мной!

Может быть, Куколка знает об этом больше. И старый садовник у Вагнера, срезающий каждый вечер цветы в своей собственной комнате. Он работал когда-то в оранжерее венденского замка — и разве может отказать «молодому барону», сказавшему, что ему нужны цветы для самого большого счастья в его жизни?

Да, всего пять дней.

На третий день, после обеда, Ростислав провожает Джан в мастерскую. Только что шел снег, и по дороге они решили сделать круг, чтобы пройтись. На углу Мельничной и Вальдемарской, около бывшего магазина Абея, стояли санки, обитые

сукном, с волчьей полостью. Пара круглых гнедых коней, и солдат на облучке.

— Вот на таких я приезжала бы в город из Белого дома... — вздохнула Джан. — С колокольчиками бы теперь, да по дороге!

Она залюбовалась этой картинкой, и даже вздрогнула от неожиданности, когда Ростислав, только что стоявший рядом, вдруг вышел из дверей магазина.

— Садись, Джан. — Он отстегнул полость и, усаживая ее, взял из рук изумленного солдата возжи.

— Вы свободны! Сани я доставлю господину полковнику сам! Солдат, соскочивший с облучка, еще таращил глаза то на лихого майора, то на своего начальника, появившегося в дверях и махнувшего рукой.

— Счастливого пути, дорогой барон!

Лошади уже повернули и неслись, заливаясь бубенчиками, по мягкому снеговому настилу Мельничной, дальше из города, по мосту, по тихим улицам Задвинья, по лесным дорогам, в белый снег, в мечту...

Бубенчики звякнули у калитки вечером, под прозрачным синим небом в крохотных огоньках звезд.

— Посмотри, какая большая звезда идет за нами, — сказала Джан, откидываясь совсем назад. — Никогда не видала такой!

— Это наше счастье, — решительно определил Ростислав.

— Нет, ты скажи, разве она всегда видна? Почему я ее не замечала раньше?

Но Ростислав бегом потянул ее к крыльцу. Пусть огонь самолета, шедшего так высоко, что не слышно было гула, останется звездой!

Да, на небе вспыхивали невиданные звезды, на углах улиц ожидали сани, у тахты стоял накрытый столик для чая, и даже в полуприглушенном радио тающей льдинкой звенела песня Сольвейг.

Девушка пела в церковном хоре...

Все, что мог дать мир, существовало только для этих пяти дней.



— Феликс Карлович! Хотя я получаю у вас, за свою утомительную работу секретарши, целых сто пятьдесят марок, но моя последняя поездка в Берлин была таким финансовым крахом, что мне срочно требуется другая!

— Вы давно не сидели в погребке?

Вальдбург не позволил себе улыбнуться даже глазами. Несмотря на все старания Джан сделать спокойное лицо, оно светилось изнутри, и ошибиться было трудно.



— Поверьте, Джан Николаевна, что если бы я мог, то безусловно исполнил бы ваше желание. Но на этот раз у меня есть определенные указания, что... вам ехать не следует.

— Я надеялась... — разочарованно протянула Джан.

— Может быть, удастся устроить что-либо другое. Поездку, но в другом направлении. Не на запад, а на восток, например? — Он многозначительно подмигнул ей. — Торжественно обещаю самое невероятное — в вашем стиле. Не унывайте...

— Смотрите, я не забываю обещаний! — пригрозила Джан.

Нет, курьером был на этот раз Ростислав. Ничего не поделаешь. А Джан уже, озарившись мыслью поехать, тряслась вместе с ним в вагоне — сколько времени можно говорить! — носилась по Берлину, и даже спокойно сидела в погребке. Вместе не так страшно.

Поездка в санках еще больше убедила ее в этом. Мелочь, конечно, и ряд совпадений. Пошли именно на тот угол, где стояли санки. «Честь имею представиться, господин полковник. Майор барон фон-Венден. Сможете ли вы отказать мне в ваших санках для поездки в счастье?»

Нет, тот не смог. Ухарская выходка, гусарский номер. Но достаточно ей было высказать желание, как оно исполнилось. Обезумевшим от любви людям все сходит с рук, и удается невозможное. И дорога летела под полозья, лунное серебро звенело, и Джан казалось, что так — можно сделать с жизнью все, что захочешь. А вот поездка-то и не выходит...

— И гораздо лучше, — утешил ее Ростислав. — Посуди сама: так я буду гнать туда, обратно, выплусь в поезде, а в Берлине пробуду, может быть только одни сутки. Я высчитал. Зато приеду через неделю сюда и буду с тобой три дня. Три дня! Таких длинных дней можно подождать одну коротенькую неделю! Феликс прав. Я думаю, что мне удастся устроиться потом в каком-либо городе. Я ведь все время на передовой был. Помнишь, когда мы впервые встретились, мое предчувствие? Оправдалось, но не совсем — ранило только. Пронесло мимо — твоим благословением. Ты, только ты! После прощания с тобою, страха больше не было... Я не говорил тебе еще: иногда вдруг встанет эта иконка передо мной, и за ней твое лицо, и осветит... не перед глазами, а внутри! И тогда знаю: ничего не случится, вернусь к тебе. Вот и вернулся. Да, я устроюсь, поговорю с Феликсом, и ты приедешь. Теперь я буду часто писать...

Чемоданчик уложен, за ним заедет в четыре часа утра машина — еще скорее до границы, чем поездом.

— Что тебе привезти из Берлина? — спросил он в половине четвертого, затягивая ремень на шубе.

— Счастье.

— Счастье я оставляю здесь, — так же серьезно ответил он, и положив ей руки на плечи, обнял и поцеловал в глаза.

Дверь подъезда тихо стукнула в сонном доме. Джан не раскрыла глаз — хотелось подольше сохранить след его губ. Ощупью добралась до тахты, улеглась. Заснула, мягко убаюканная обессиленностью счастья.

Мягкая усталость не проходила несколько дней — и утром ее будили цветы. «Привет из Берлина»... так ведь и не открыл тайны! Но Джан не допытывалась. Джан отстраняла все навязывающиеся вопросы. Бей сейчас не на фронте, но все-таки в отсутствии, а она... и притом молниеносно — если не считать, что в таинственном уголке души ждала этой молнии полтора года. И, кроме того — ей тридцать шесть лет. Да, и вот права была Вероника тогда, на семейном совете о наследстве... Были ли за эти годы тридцать шесть безоговорочно счастливых минут? Радость, удовлетворение, гордость, восхищение даже — были. Бога гневить нечего. И радости давал, и умение находить их. Но счастье... горенье этих пяти дней? Страсть? — спрашивает себя Джан. Да, конечно. И она должна быть. И только теперь — только теперь! — стала понятной. Но чего было больше: поцелуев, поющего тела, сливающегося с другим так, что грани больше нет, они растворились, исчезли? Или разговоров, когда начатую одним фразу мог закончить другой?

Джан до краев полна своим счастьем и горит, как свеча. Будущее бездумно и ослепительно хорошо.

На четвертый день вечером идет холодный мокрый снег. Джан зябко ежится по дороге домой, и привычный уют и тепло комнаты особенно приятны. Да и как не любить эту комнату, когда теперь все вещи полны совсем новым светом? Иногда тени складываются вот так же, как в ту минуту, когда он сидел здесь...

Тяжелая усталость, как будто перед простудой. Глупости, нельзя болеть, когда он должен приехать через три дня. Джан глотает аспирин, пьет горячий чай с вареньем и ложится спать в девять часов. Выспаться хорошенько, и все.

В одиннадцать часов вечера она просыпается. Всколыхнувшийся внезапно толчок так силен, что она даже вскакивает с тахты, прежде чем приходит в себя. Сознание улавливает толчок извне и изнутри, и ослепительную вспышку чего-то знакомого — иконки в углу? В долях секунды.

Джан оглядывается. Ноги тяжело врылись в ковер, как будто она не может сдвинуться с места. Впечатление удара. Откуда?

В комнате полутемно. В окна бьется ветер, свистит и воет в трубе. Лампа вспыхивает, как всегда, ровным светом. В доме тихо, слышно как внизу, у Феликса Карловича, играет радио. Ничего, просто нервы, или простудилась и видела кошмар, и сразу забыла, что. И, вообще, доктор уже давно говорил, что у нее больное сердце... Ну, конечно, а она наелась за ужином котлет и легла сразу...

Джан очень хочется свалить вину на котлеты, сердце, грипп — что угодно, кроме серебряного звона своих любимых громадных часов, уронивших последним ударом в полууловленный сознанием миг какие-то слова — и ей кажется, что она знает их...

О, Джан знает! Это припев, неразлучный припев пяти дней: О том, что никто не придет назад...



Уже седьмой день после отъезда Ростислава проходит в ожидании звонка. На восьмой день Джан выключает все дела, чтобы быть свободной.

Но дни пусты.

— Задержался? — вопросительно смотрит она на Вальдбурга. Тот пожимает плечами.

— Барон поехал для серьезных переговоров. Может быть, ему придется съездить в провинцию.

Девятый, десятый день. Две недели.

Джан мечется. Джан просыпается оттого, что слышит звонок. Если он задержался, то почему не написал? Сколько дней идет письмо? А если налет, и почта сгорела со всеми письмами?

— А если он все-таки решил ехать к жене и вообще... передумал? — соображает вслух Маруся, не доверяющая мужской верности.

Но Джан только смеется. Все, что угодно, но чтобы Ростислав... нет, такие мысли не могут ей даже в голову притти!

Три недели.

Теперь беспокоится уже Вальдбург. На умоляющий взгляд Джан каждый раз, когда она встречается с ним, он молча качает головой, но наводит справки. Барон чересчур задержался. Правда, у него было только одно письмо, все остальное устно, но и одного письма достаточно...

Четвертая неделя... месяц.

Как странно сдвигаются фокусы человеческих надежд! Джан беспокоилась, что Ростислава куда-нибудь послали, хотя он был в отпуску. Что пропали письма, посланные с объяснением задержки. Обыденная мысль о возвращении к жене, или другой роман исключались ею совершенно, и она знала, что права. Но и самая простая, естественная теперь мысль тоже не приходила в голову. Такая уверенность может быть только у любви.

На четвертый день после отъезда из Риги, в одиннадцать часов вечера, после отбоя налета, барон Ростислав фон-Венден был убит разорвавшейся у входа в бункер затяжной бомбой.



О Веронике Вальдбург навел справки тоже. Тела не нашли, но установить ее путь от последней станции оказалось возможным. На этот раз он послал жену рассказать Джан.

— Вы женщины, — пробурчал он, — и поплачете вместе, и поговорите. Что я на самом деле, вестник несчастья, что-ли?

Но Джан не плакала. Она, вообще, не плакала, предоставляя это Марусе. Теперь она поняла состояние Катышки после увода Лаврика. Но та могла хоть запереться у себя и ни о чем не беспокоиться!

Германские войска отступали. Оставалась только одна надежда — на новое оружие. И переворот. В Риге стали появляться новые беженцы — русские из советских городов, знавшие, что их ожидает и уходившие вместе с немцами.

Мать Вероника погибла... Морж! Бедный одинокий Морж, даже для могилы не нашлось тебе места в жизни! Не всегда, значит, обманывают предчувствия. На этот раз — оправдалось. И на четвертый день, толчок в одиннадцать часов вечера тоже был знаком, но она не поняла его. Много не понимается сразу. Может быть так лучше? Может быть, хорошо, что сохранился еще месяц ожидания?

Поездка Вероники на остров Эзель... Она уехала счастливой. Она вернулась с солнцем в глазах, несмотря на панику, взметнувшуюся тогда. По-своему, с вывертом, уродливо, пусть — но она была счастлива, расцвела хоть раз в своей жизни. Потом примирилась, успокоилась, ушла вглубь. Она совершила в своей жизни все, что положено человеку — может быть, Бог послал ей легкую смерть!

Нет, Зиночке Вальдбург не следовало бояться. Джан откуда-то издали посмотрела на нее, когда та поднялась к ней наверх с известием, перекрестилась, помолчала немного. Потом спустилась вниз в столовую, все сидели там, и Катышка пришла как раз в гости.

— Дети, — сказала Джан: — помолитесь и поплачьте спокойно. Завтра панихида. Матери Вероники не стало. Мир ее праху — где-то около Пскова. Насчет панихиды позаботься ты, Маруся. В Никольской церкви — она любила ходить в нее.

На панихиде по Ростиславе Джан была одна. Настояла, чтобы собор закрыли и никого не пускали. Пел полный хор. Совсем маленькая фигурка в пустом громадном соборе, на коленях, потом крестом на полу, раздавленная и сводами, и воспоминаниями...

В Никольской церкви собрались Охотьевы и семья, только Бея не было; пришли все знакомые, и Джан сделала смотр — немного осталось своих. Кто — где...

Лицо в памяти сливалось с иконными ликами. Вероника представлялась монахиней — все принявшая, простившая и благословившая все... И уже помощью от нее казалась и такая мелочь, что теперь Джан могла надеть траур, и только теперь поняла его настоящее значение. Именно потому, что можно закутаться в креп, отгораживающий человека от жизни, кроме того кусочка, который можно еще прожить с ушедшим, с воспо-



минанием о нем. Потом оно бледнеет, уходит вглубь и прячется. Тогда жизнь может подойти и окружить, втянуть в себя снова...

Взяла ларчик Вероники, хранимый в секретере. Сережки, несколько брошек, четки, пустички, фотография князя Нагаева. Открытка от него, выцветшая сиреневая лента и вырезанная из бумаги размазанная роза... и чашечка бледного фарфора с трещинкой.

— Вот она и богаче меня оказалась, — пробормотала Джан, уселась с ларчиком у камина и обрядно сожгла в нем открытку и розу с лентой и карточкой.

— Вот ты ушла, Вероника, и то, что было для тебя в этих памятках, сейчас горит в последний раз и сгорает совсем. И больше никто об этом не будет знать. Никогда и нигде.

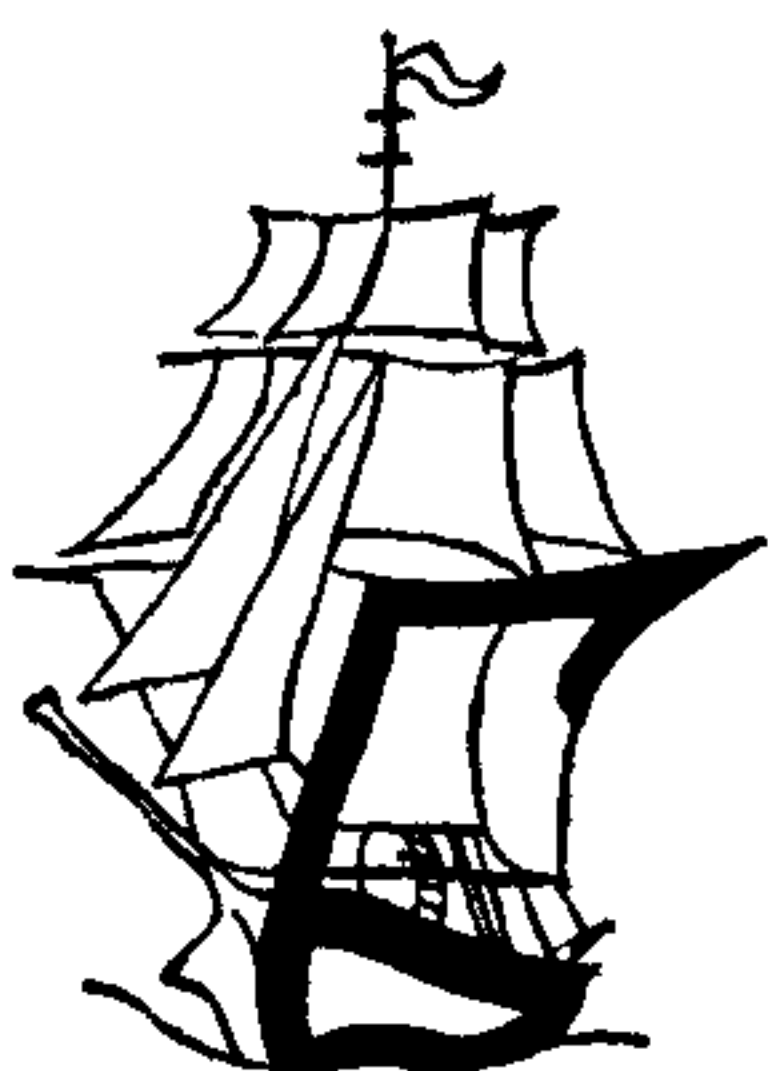
— Никогда и нигде, — повторяет Джан в тон звенящей и хрустящей чашечке, разбивая ее бронзовой пепельницей. — Фарфор не горит, обжигается только... как... ну, вот как ты, бедный Морж.

Осколки чашечки она зароеет под розами, посаженными Вероникой. Они-то будут цвести — другим...

Ничего не было заметно. Она могла искренне хохотать над чем-нибудь смешным, часто ходила к Охотьевым и жадно набрасывалась на его книги, «крутила» дела, рассчитывая и комбинируя. В мастерской посетителей не убавлялось, а дома она схватывалась сейчас же за какую-нибудь работу или книгу. Только глаза постарели.

Только по утрам, просыпаясь, Джан медленно и устало поднимала веки, с усилием втыкая во что-то ресницы и поднимая на них тяжесть нового дня. Только внутри она сломалась.

Она не позволила себе ни кричать, ни плакать, очень часто даже — не вспоминать. Счастье было слишком большим. Оно не могло продолжаться. «Благословен и день забот, благословен и тьмы приход». Теперь, по крайней мере, она знает, что это такое. Ни такого, ни вообще ничего не может быть больше. А с остальным — надо справиться как-нибудь...



ей приехал вскоре, и Охотьевы пригласили всех к себе, вместе с Вальдбургам, на семейный совет. Джан оглянула накрытый стол, сидящих, и улыбнулась.

— До сих пор все советы происходили у меня, и я на них председательствовала, — сказала она. — На этот раз уступаю место.

— Дело не в месте, а в голове, — назидательно сказала старуха Охотьева.

— У меня в голове, — пожала плечами Джан, — пусто.

— Пустота не ко времени, галчонок, — заявил Вадим Павлович. — Надо что-нибудь придумывать. Рига станет, возможно, ближайшим тылом. Что тогда?

— Тогда я не дам ни одного огурца из своего огорода даже за рояль, — серьезно заметила Джан. — А пока в Риге останется хоть два человека, я буду третьим. Вот моя программа.

— Простите, я посторонний человек, но по-дружески... — сказал Вальдбург. — Я хочу отправить жену в Германию, в какую-нибудь деревушку, где нечего бояться налетов. Может быть с мадам Кузнецовой, чтобы веселее было... И разрешите высказать совет — переправить туда часть вещей. На всякий случай...

— Правильно, Феликс Карлович! — подхватил Охотьев. — На Бога надейся, а сам не плошай! Пока еще рано говорить — но Псков взят. А если начнется паника — то это не тридцать девятый год, когда можно было не спеша собраться. И теперь мы тоже не захотим остаться — видели уже товарищей, и иллюзий, полагаю, ни у кого не будет...

— Ну, а если ничего не случится? — протянула Джан.

— Вернетесь обратно, только и всего.

— Хорошо. План не плох. Лада вопит одна со скуки, и место у нее есть. Начнем отправлять все, что и бросить жалко, и взять с собой нельзя, если наспех... прежде всего книги. Только и всего.

Вальдбург организовал отправку. Маруся принялась за шитье мешков и заколачивание ящичков. Джан ходила по дому, снимала вазы с полок, опоражнивала буфеты, отбирала ковры и книги, и часто проводила по вещи рукою, прощаясь.

— Вот это уходит... и это уходит...

— Заладила: уходит да уходит! — ворчала Куколка. — Чего прощаешься?

— Ты не видела налетов? — спрашивала Джан и смотрела на нее в упор далекими, чужими глазами, и Куколка не видела, что отражалось внутри в этих глазах, но зажмуривалась от невольного холодка и смолкала.

— А из этого дома — из моего дома, уходит уже наверное, — заканчивала Джан и улыбалась неподвижной улыбкой.

Но огород и сад были возделаны этой весной просто идеально. Джан настояла на этом — их нельзя увезти.

Германская армия продолжала отступать.



Да, сирень не могла заглушить тревогу весны 1944 года. Германские города лежали в развалинах — защита почти не действовала, приезжавшие оттуда военные махали рукой и сквозь зубы цедили: на фронте лучше.

Газетные заголовки о победах исчезли. Иногда давали потопленный тоннаж — кто разберет там на море, сколько тысяч? Но войска продолжали отступать «для планомерных операций», или еще чего-нибудь другого...

Июль.

— Когда же? — почти крикнула Джан, остановившись однажды перед Вальдбургом, вошедшим с озабоченным лицом в столовую. Он посмотрел на нее, медленно понял и хрипло произнес:

— Может быть... каждый день.

У Джан пересохли губы. Господи, если бы...

Советские войска подошли к балтийским границам. Советские войска перешли границы.



В ночь на 22 июля Джан была разбуждена осторожным стуком в дверь. Она еще не поняла спросонок, не успела сказать, как дверь открылась, и голос Вальдбурга произнес:

— Зажгите лампу, Джан Николаевна, и не бойтесь — это я.

Появление Вальдбурга в ее комнате, ночью? Джан протянула руку, щелкнул выключатель. Вальдбург подошел и сел в кресло.

— Все погибло, Джан, — коротко сказал он и вдруг вцепился в кресло, зарылся в него лицом. — Все погибло, погибло! Граф Штауфенберг схвачен, расстрелян, сотни офицеров вместе с ним, Джан, покушение не удалось, этот дьявол опять спасся, и все рухнуло, война проиграна!

— Боже мой! — прошептала Джан и перекрестилась, дрожа от внезапного озноба. Если уж спокойный, всегда корректный, выдержанный Вальдбург дошел до такого состояния...

— Джан, — прошептал он, поднимая голову: — мне все равно, что мы погибли. Мы, понимаете? Вы и я... и все... может быть, гестапо доберется до нас... может быть, нет. Но для чего спасаться, если все рушилось! Только он мог это сделать. Только он, и Боже мой, какой человек! Вы понимаете, что я, мужчина, с улыбкой пошел бы за него на что угодно, потому что это был гениальный человек. И не отрицательный гений, как Гитлер, не фанатик, не изувер. Чистый, благородный, блестящий герой, воистину рыцарь, лучший из сыновей Германии! Джан, покушение не удалось. Вы работали ради вашей России, ради вашей Балтики. И это было бы спасение для всех. Сразу мир на Западе и победная война на Востоке! Теперь это мечты, Джан, сгоревшая солома, и все было напрасно, все жертвы, и ведь почти, почти удалось...

Он опустил голову и остался сидеть так, раздавленный и уничтоженный. Джан поднялась, накинула халат, открыла шкафчик. Налила коньяку в серебряный бокал, стоявший на полочке, поднесла его к губам Вальдбурга, как лекарство ребенку.

— Выпейте, Феликс. Пожалуйста. И расскажите мне все. Как это произошло? Может быть, все таки можно поправить...

— Ах, нет! — безнадежно махнул он рукой: — такие вещи не повторяются. Второго Штауфенберга нет!

Рассвет уже начался. За балконом давно пели птицы в липе, и солнце загорелось в листве, а Вальдбург все еще сидел, сгорбившийся, посеревший, и говорил, и Джан слушала его, охватив колени руками. Комната была синей от папиросного дыма, и вещи тускло и безнадежно смотрели на застывшие в воздухе клочки слов. У Джан болела голова, и щемило сердце, тупой, ноющей болью, во рту пересохло, но она не решалась прервать Вальдбурга и сходить вниз за водой.

— Случайности не бывает, — говорит Джан в наступившее молчание. — Значит, так надо. И почти все было напрасно. Не



знаю даже, помогла ли я на самом деле людям, когда спасала. Но это уже не в моей власти.

Вальдбург подходит к балкону, распахивает настежь двери и глубоко вздыхает.

— Хороший вы человек, Джан. Только к вам я мог явиться в таком виде. Доберутся ли они до нас — это еще вопрос. Не стоит его решать. Приведите, на всякий случай, свои дела в порядок и перестаньте думать о дальнейшем. По-настоящему вы могли бы меня упрекнуть, что я втянул вас в это дело.

— Нет. Если бы я не хотела, то могла и отказаться.

— Но вы считали своим долгом. Я тоже. Ну, что ж: играли и проиграли. Но есть еще и другое, Джан. Советские войска очень близко. Все семьи немецких служащих уезжают. Вы, вся ваша семья, на самом законном основании... Теперь — мы с вами знаем лучше других — надеяться не на что. Даже если новое оружие и появится, то уже поздно...

— А вы?

Вальдбург сделал неопределенный жест рукой.

— Положение, которое я занимаю, обязывает меня уехать последним. И я не сделаю ничего, чтобы уехать раньше.

— Своих мне надо будет отправить. Но я останусь с вами, Феликс. Налегке, одна, до самого конца. Помните, я просила вас устроить мне поездку в Берлин — с Ростиславом? Вы обещали мне тогда «самое невероятное» в моем стиле. Может быть, если бы я была вместе с ним... Но зато теперь сдержите ваше слово. При любом положении, осаде, потопе... Вы уезжаете последним. Со мной.

— Вам так нужно? — серьезно спросил он.

— Да. Мне тоже некуда торопиться. И хочется доставить себе последнее удовольствие...

Смех Джан, как бьющееся стекло.

— Капризов у меня не бывает. Но я чувствую, что нам предстоит — потом, там, на Западе. Если бы я не была верующим человеком, то покончила бы с собой на пороге Балтики. Но не могу, не смею, и подчиняюсь. Пусть будет так. Но только уж и до конца. Я все оставляю в Риге, всю жизнь. Но зато я буду до последней возможной и невозможной минуты, до взорванного моста через Двину — слышите? Я хочу видеть все, всю смерть моего города, каждого камня, все!

Вальдбург взял ее руки, дрожащие от иступленного выкрика, и крепко сжал в своих.

— Хорошо. Это безумие, но я принимаю.

\*\*\*

Митава взята большевиками. Быстрым прорывом советские войска окружают город и отрезают его и от провинции, и от Риги. Немногие, бежавшие оттуда, примчались на машинах. Митава горит.

Маленький городок. Громадный на тысячу с лишним комнат, белый дворец герцога Бирона в парке у реки. Русский амбир с колоннами старых особнячков. Тихие улицы с кактусами на окошках, сады. В Митаве обилие кактусов, старых дев и исторических воспоминаний. Городок под гербовым щитом с головой лося весь уложен в шкатулочку прошлого Балтики, и дремлет...

Немцы отступают, откатываясь назад хмурым, сомкнутым строем. Медленно, стараясь сохранить порядок — и каждый шаг земли под солдатским сапогом. Рядом, вместе с ними, ожесточенно, исступленно и безнадежно бьются латышские легионеры. Их жены и дети, отцы и матери, родина и дом — здесь, вот тут, за углом, в нескольких шагах. Им некуда отступить. Они не отдают — они теряют свою землю.

Митаву отбивают. Митава переходит из рук в руки. Митавы больше нет.



Пароходы, большие и маленькие, уходят с пристаней Либавы, Виндавы и Риги. Через рижский мост несутся поезда. В Германию. На запад. Жены, дети и все, кто может и кто хочет вообще.

Приехал измученный, осунувшийся Охотьев с целым эшелонном беженцев, который ему удалось организовать. Лазарет, в котором работает Катышка, эвакуируется непрерывной цепью в Германию. Ее отпускают со службы.

Сутки лихорадочной укладки.

— Берите все, что только можно взять! — командует Джан и первая бросается в хаос чемоданов и ящиков. Сколько уже отправили, а еще столько вещей! Бея еще нет, и Джан даже довольна этим. Некому настаивать на ее отъезде, и благовидный предлог: дождаться его...

Слезы прорываются вдруг и высыхают сами, их не вытирает никто. Джан останавливается перед старым кожаным табуретом. Можно ли взять с собой домового, уходя из дома? Нет, душу нельзя упаковать.

Мастерская закрыта. Два дня на двери красовался плакат: «Отдаю даром все вещи беженцам!» Через два дня Джан закрыла мастерскую. Только любимый свой «медный горшок» принесла домой и поставила у табурета. Пусть так будет.

На пристань идут все вместе. Джан прощается с растекающейся в слезах Марусей и нахмурившейся Инночкой дома, по обычаю: сесть, помолиться перед отъездом... и перекрестясь, с Богом!

— Как ты будешь одна?

— Ничего, не надолго расстаемся. Недели через две и я приеду к Ладе. Ну, прощайтесь с Ригой... Храни вас Бог, дорогие...

И сразу поникшую, бесконечно усталую Джан Вальдбург привозит в пустой дом. Укладывает ее на тахту, заставляет выпить и съесть что-то...

— Спице, Джан. Не думайте ни о чем. Спице, безумица.

Джан послушно закрывает глаза. Да, не думать...



Советские войска идут на Ригу. Но Ригу держат. Ригу и дорогу на запад. За рояль — есть же чудаки, покупающие рояли! — дают бутылку спирта... Вот цена Стенвею и Бехштейну в городе, где осталось только две ценности: золото и спирт, а все остальное, и в особенности жизнь — ничего не стоит. Совершенно ничего!

Бей врывается, как буря, и обрушивается градом упреков на Джан, потягивающуюся еще в постели.

— Ты здесь?! Ты с ума сошла? Не понимаю, чего смотрит Феликс — этого я от него не ожидал! Писал ведь, просил устроить всех...

— Все и устроены. Не сотрясай воздуха, и прежде всего здравствуй, успокойся пожалуйста...

— Ты, конечно, не можешь своих дел бросить! Где все?

— Уехали три недели тому назад. Благополучно добрались до Лады, вещи, кажется, тоже... Где дядя Кир?

— Поехал к Шкуро в Италию, формировать казачьи части. Спихватились немцы теперь! Можешь мне объяснить, почему ты здесь?

— Потому что Рига еще не взята.

— Идиотизм! Ее не сегодня-завтра возьмут. Ты знаешь, где советские войска?

— В Митаве.

— В Олайне! В пятнадцати километрах! И Митавы вообще нет, стерта с лица земли! Одна зола осталась!

— Знаю.

Когда Джан переходила на невозмутимо-ленивый тон, ее нельзя было переупрямить. Он сбросил мундир и открыл чемодан.

— Чтонибудь осталось в доме? Слава Богу, что меня не было при этом переселении народов. Зубная щетка и пачка папирос — вот багаж порядочного человека.

— А у тебя два чемодана? — кротко осведомилась Джан.

— Два. Но ведь я знал, что ты еще тут...

— Вот видишь: и хорошо, что я предусмотрительно справилась с отъездом. Вальдбургу пришлось два раза грузовик гонять из-за всего багажа...

Бей открыл рот, хотел что-то сказать, но махнул рукой и загремел вниз по лестнице. Джан тихо рассмеялась ему вслед и, вскочив, стала одеваться.

— Мы уходим в Либаву, на подкрепление девятнадцатой латышской дивизии, — сказал Бей за завтраком. — Но теперь брось, пожалуйста, шутки и скажи серьезно, что ты думаешь делать?

Улыбка сбежала с лица Джан. Объяснять ничего не нужно.

— Очень просто. Что надо было для семьи — сделано, Марусе даны деньги. Кур и гусей понемногу режу...

— Но когда ты едешь?

— Вместе с Вальдбургом. Он, можешь не беспокоиться, большевиков дожидаться не будет, а с его положением пройдет всюду всегда... Волноваться нечего. Смотри, чтобы самому вовремя уйти.

Да, одно и то же можно рассказать по разному. Но Бей успокоился. Он пробыл несколько дней, отдохнул и отправился в Либаву.

— Больше, — подумала Джан, — меня никто не позовет, никто не будет торопить...

И мысль подсказала, что, если Вальдбурга арестуют, или если бы его вообще не было, то она, наверно, пропустила бы и последнюю возможность, и вот так, лежа на тахте с книгой, или в качалке в саду, ждала бы, когда в калитке появятся другие солдаты, в другой форме. А тогда — револьвер.



Поезда и пароходы с беженцами уходят, возвращаются, — уходят снова. Но Рига — ближайший тыл, островок, заливаается все новыми волнами бегущих. Колонны солдат. Танки. Военные грузовики. Санитарные отряды. Машины. Повозки крестьян, телеги с привязанными сзади коровами, лошадьми, стада овец...

Улицы кричат, громыхают, мычат. Мостовые изрыты, асфальт разбит, все в пыли и навозе. В холодных парках пасутся лошади. Коровы залезли в бассейн с фонтаном у Национальной Оперы. Овцы топчут клумбы и глупо жуют розы.

Советские летчики кружат над самой Ригой. Бомбы сбрасываются сильнее и чаще, канонада кажется уже кольцом, гудящим вокруг города, и круглые облачка разрывов набегают со всех сторон.

Август. Сентябрь.

Эстония давно уже взята, Эстония в огне, оттуда немногим удалось спастись морем... Шаг за шагом большевики надвигаются ближе, отрезают, окружают, жгут, и над теми, кто попал в их руки — латышами, русскими, немцами — да смилуется Бог!

— Вы еще настаиваете на своем решении? Подумайте, Джан! — спрашивает Вальдбург. Она пожимает плечами.

Октябрь 1944 года.

Советская артиллерия громит город. Немецкие саперы закладывают подрывные мины в дома германских учреждений. Бело-



колонное здание Национальной Оперы разбито. У византийского собора на Эспланаде купола обрушились на бок, и крест валяется на земле. Московский форштадт горит. Сплошь, в сотне мест, вспыхивают пожары, перекидываются по деревянным домишкам, заборам, клубки проволоки бывшего гетто накаляются докрасна жуткими пауками, и катятся в вихре, зажигают дома. В первый день пожара колокольня старообрядческой моленной еще блестела золотой луковкой над черным дымом. Но три дня уже, как горит форштадт, и она не блестит больше.

Горит Старый Город. Рушатся дома. Бомбят сверху и взрывают снизу.



Растрепанная женская фигура выскакивает из взморской дачи и бежит к отряду красноармейцев, размахивая руками.

— Спасите меня! Спасите! — кричит Звезда и, увидев молодого энкаведиста, стоящего сбоку, падает перед ним на колени, заламывая руки. — Спасите, они преследуют меня, хотят убить, чтобы я сказала, где золото. Но я поклялась молчать. Только вам я открою эту тайну, я одна хранила ее!

Энкаведисты недоверчивы. Но Звезда так убежденно говорит, так явно боится, так умоляет сейчас же пойти с нею, чтобы она могла показать...

Спотыкаясь, забегая вперед, оглядываясь и улыбаясь, Звезда приводит их на кладбище. О, она хорошо знает дорогу, она впотьмах, с завязанными глазами, найдет это место!

— Вот, — торжественно заявляет она. — Здесь покоится великий философ, мой супруг. И вот мой жених. Гусар и рыцарь. Евреи спрятали его золотую корону и золотые шпоры, но я нашла. О, я искала годами, рыла, копала... Но я нашла, нашла, и она здесь!

От волнения она не может говорить. Она извивается вся, слова выскакивают бессвязно, мешаются с бормотаньем и отдельными выкриками, она дрожит, смеется и плачет.

— Кирилл фон-Доорт, — разбирает энкаведист надпись на кресте и, выпрямившись, поворачивается, закипая гневом.

— Рехнулась, старая! — говорит он жестко. — Короны золотые ей приспичило, подлюге фашистской! Ликвидировать тут же, а то еще натворит делов. мать ее... Так-так...

Выстрел в спину дернул Звезду вперед, и она упала у могилы, вцепившись в неровный, запавший холмик. Монолог кончен, театральность позы перешла в смерть.



Тринадцатое октября. Джан готова к отъезду. Большевики подходят к Александровским воротам на Петербургском шоссе — не больше, чем в двух километрах от города...

Глиняный медный горшок засунут в тайник вместе с табуретом и забит досками. Если дом не сгорит, может быть, не найдут, и... все может быть. Ты останешься дома, домо́вой, только как же колокола?

Вальдбург просил притти к нему на службу, оттуда они и уедут. Джан позавтракала, увела козу к новой хозяйке, сняла последнюю иконку у себя. Обошла дом, сад. Спокойно, с сухими глазами. Но она уже несколько последних дней бродит так по всему городу. Не спеша, элегантно одетая, для торжественного прощального визита. Иногда прижимается к воротам какого-нибудь дома, если летят осколки, или самолет чересчур низко... Все уголки, дома, улицы, площади, парки — все, где бывала когда-то — навещает Джан.

Теплая золотая осень. Осень борется с развороченными парками, с разбиваемым небом. Как ты хороша, осень, а о тебе забыли...

Но Джан помнит. Джан знает, каким был этот город и зимой и летом, и в разные осени и весны. И оставляет их в каждом камне. Прощайте!

Вот так проходит через сад — ее сад! Двери в дом чуть приоткрыты. Дорожка к калитке в облетевших листьях, шуршат под ногами. Джан останавливается и оборачивается. Кажется, вот дошла до калитки — и не сможет больше. И в балконных дверях ее мезонина кто-то стоит как будто, и машет рукой...

Ручка калитки лязгает, как смерть.



Тусклое, пыльное, пустое окно мастерской «Керам». Сколько лет? Мимо.

На Елизаветинскую, в пролеты срезанных снарядами лип, а сбоку собор нагнулся, положил свои купола, как голову, на землю... В громадное здание бывшего Дворца Юстиции распянуты двери. Пустые коридоры. Высокие окна в торчащих осколках, ковры затоптаны. Несколько солдат возятся со шнурами. Когда она выйдет из этого дома, его взорвут.

Кабинет Вальдбурга. Окно во всю стену еще не разбито почему-то. Он сидит за столом. Джан ставит на пол свой чемодан, кладет дорожное пальто. Вальдбург смотрит на часы.

— Вы очень аккуратны — и стильны, Джан.

Джан садится в кресло у окна, снимает перчатки и закуривает. В хрустальном осеннем небе дрожит солнце.

— Еще пять минут, — замечает Вальдбург: — мы, действительно, последние. Большевики уже входят в город. За нами взорвут мост, и, если мы не сможем прорваться к машине, то тогда на миноносец... Последние корабли...

— В 1914 году, — жестко говорит Джан, — о, я помню все даты, они у меня не календарь, а в душе выжжены — я слышала девочкой объявление войны в Риге. Год спустя, нас эвакуировали. В семнадцатом — ее взяли немцы. В девятнадцатом — большевики, в январе. В мае нас освободил ландсвер. 17-го июня 1940 года ее взяли большевики. Первого июля сорок первого года ее взяли немцы. Тринадцатого октября сорок четвертого года ее берут большевики. На месяцы? На годы? Следующая дата...? И кто сделает ее?

— Вы хотите вернуться, Джан? Через год, или двадцать лет — вернетесь?

— Через год или двадцать лет, — тем же тоном, как будто выдирая слова из сожженного горла, говорит Джан, — вернуться можно только на кладбище. Перепаханное бомбами. Без могил даже, потому что их не узнаешь и не найдешь. Тени только. Да, я вернусь. Я знаю, что даже наверно башен не будет. Но мой ветер, мое небо, мой бедный берег балтийской земли! Хоть небо останется, и я буду знать, что вот этим самым кусочком оно смотрело на землю и раньше, и видело и знало...

— Последние корабли, — в тон вырывается у Вальдбурга. — Последние корабли, — эхом откликается Джан и внезапно видит: кабинет, залитый солнцем, фигура мужчины за столом, она у окна... Длинная серьга запуталась в чернобурках на плечах... И эти слова. Тогда, давно-давно, на насыпи, в закате уходящего поезда... И сейчас. Две Джан. И каждая теряет самое дорогое.

Бриллиантовое кольцо на поднятой и опущенной руке чертит знак. Вальдбург молча встает, берет ее вещи и распахивает дверь с серьезным и торжественным поклоном. Джан прямо смотрит перед собой, спускаясь с лестницы.

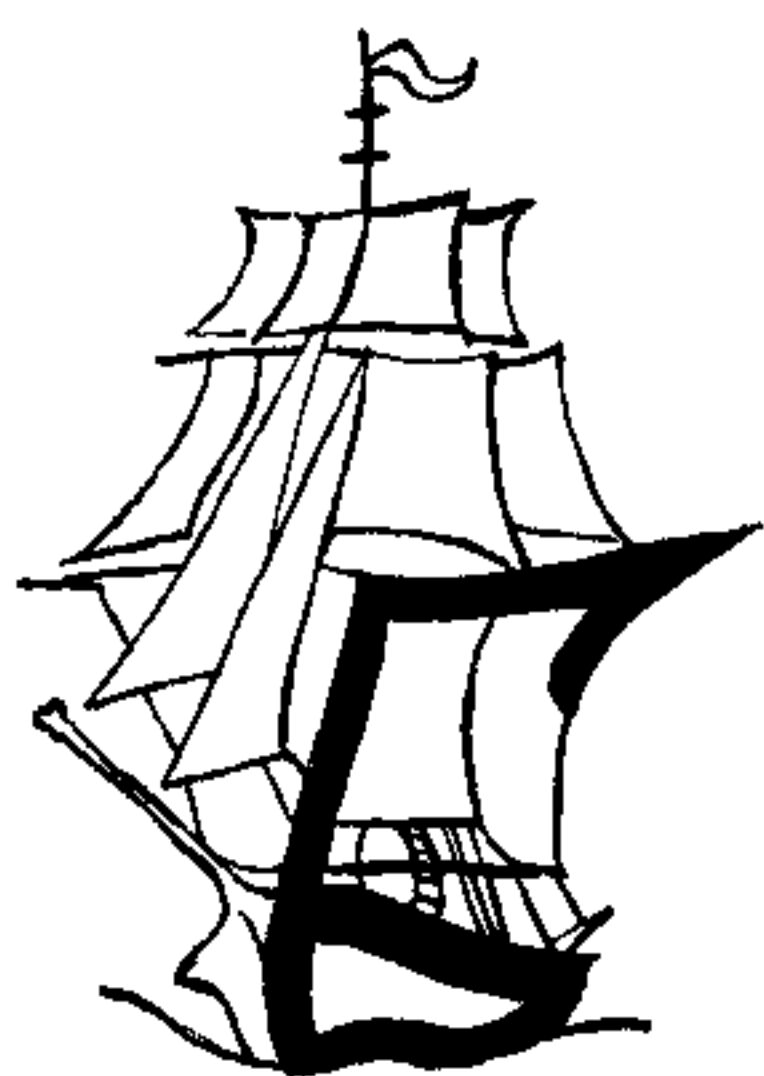
В открытой машине она поворачивается назад и не двигается, пока последние дома, уцелевшая колокольня, взрывы, дым, волны Двины и огонь уносит вытягивающаяся, бегущая дорога, и кажется, что не может быть, не может быть это последним... Или это всегда кажется так? Она смотрит без слова, без слез, и город бежит вслед, в зеркальную пустоту светлых глаз.

Прощай, Джан, мы гибнем.

Прощай, Рига. Я — тоже.

Мы... да, мы, Старый Город!

## ЭПИЛОГ



имм... баммм... боммм!

Рождественское утро. Чистый, спокойный, мягкий свет. На отрывном стенном календаре «25 декабря» — но листок завернулся, и года не видно. В комнате три окна. Одно — настоящее, другое — на картине. Третье — в большом зеркале напротив. Во всех трех за переплетом рамы идет снег. Впереди еще видны отдельные хлопья, но дальше они уже сливаются с белым небом, с белой землей, и только чуть-чуть виднеются, то совсем близко, то неожиданно вдалеке — силуэт серебристо дымчатых, расплывчатых колоколен. Рига?

В комнате тепло и уютно, потому что это комната Джан, и у нее не может быть иначе. У стены полка с книгами, на тахте цветные подушки, в углу нарядная елка. На столе — маленький королевский пирог. Кругом зубчики короны и приготовленный нож, но пирог не разрезан. Вчера был Сочельник. Думая о вечере, Джан устало опускала кончики губ. В этот вечер она будет одна. А случайного гостя — нежданного, радостного, случайного гостя — не может быть.



Вечер наступил рано. Джан надела новое платье — почти, как серебристый пан когда-то. Минуты спотыкаются, задевая за воспоминания, цепляясь за мысли. И Джан вместе с ними останавливается на ходу, смотрит на что-нибудь, видя совсем другое, улыбается иногда. Иногда говорит вслух, как все одинокие, старые люди. Слова не мешают тишине в комнате, не подчеркивают ее, они просто в ней, как скользящая улыбка.

Вечером Джан зажигает свечи на елке, жмурит глаза, и слушает. В густом запахе хвои потрескивание воска, неровный шелест колеблющихся огоньков. Огненные бабочки сложили крылья и присели на фитилек — чтобы поджечь и улететь. Джан зажигает свечи на столе — справа и слева от себя, одну за другой, здоровается с каждой. Слова падают и проглатываются тенью, молча встающей за свечой.

— С тебя начнем, тетя Лиза.хлопотала ты и гналась за миражем. Но, правда, так хорошо: увидеть счастье и умереть? Ты ведь была очень счастлива, уезжая в Варшаву... Три недели! Другим дается еще меньше, тетя Лиза! Ну, вот, ты первая за столом.

Горит свеча.

— А с тобой мы скоро встретимся, мать Вероника, бедный мой Морж — правда? Видишь, теперь я совсем поняла тебя. Немножко поздно — ничего, все в свое время... Теперь я могу спокойно поговорить о всех «проклятых вопросах». С каждым новым десятком лет встают другие вопросы у человека — и каждому надо понять, сдвинуть что-то, и каждому кажется, что он увидел и понял что-то совсем новое, а это всегда и у всех было, и одно и то же...

Еще свеча.

— Куколка моя потрепанная! Какой бы ты рекой разливалась сейчас! Вот и хорошо, что не видишь...

Еще и еще. Длинный ряд огоньков вытягивается справа — поминальные свечи. Слева несколько — живым. Их совсем немного. Но живые тоже не придут. Может быть, и они сейчас зажгли у себя свечку — ей, Джан. Огоньки перемигиваются, шелестят свивающимися в узкую трубочку крыльями.

— Дядя Кир, что бы вы сделали теперь, если были бы царем? Инночка, хороший ли у тебя Сочельник? А тебе я зажигаю вот эту свечу, самую большую, Ростислав, и когда все потухнет уже, она будет гореть, для нас только, как тогда... помнишь?

Джан кидает вопросы и пристально всматривается в огни. Может быть, тени придут на самом деле. По древнему языческому обычаю, на балтийском берегу приглашали на праздник умерших и накрывали им стол. Стол накрыт, огни горят, но никто не приходит, только отсветы теплыми бликами ложатся на руки, на лицо, как будто хотят согреть ее лаской.

Джан пьет горячий глинтвейн, медленно отхлебывая глотки, поднимая бокал на свет, чокаясь с незримым. Усмехнувшись

чуть, снимает с полки красивую тяжелую книгу. История Риги в легендах. Та самая, старика профессора. Профессора убили, Екатерина Андреевна тихо скончалась, и той Риги, о которой здесь написано, тоже нет, но вот есть книга, а в ней — ее легенда о кораблях. Немного. Но и это хорошо.

Джан кладет ее под елку.

— Мне было очень трудно преодолеть последний страх — перед одиночеством, — говорит она, обращаясь к столу, — но теперь и это не страшно. Поэтому мне и хотелось быть сегодня только вместе с вами. Вечер теней. Я думала, что все-таки... кто-нибудь... придет на самом деле, даст знак. Ну, что ж — значит не заслужила.

Свечи на столе и елки давно догорели, в комнате чуть теплится в темноте лампадка, но Джан долго еще лежит, укутавшись тепло и улыбаясь. Мечтать можно всегда. А мечта или воспоминание — не все ли равно?

Вот таким был вчера сочельник, а сегодня в окне идет снег, и в комнате каждая вещь светится белым светом и поет:

Бимм... бамм... бомм!

Все равно, несмотря ни на что,  
На миллионы неслышных смертей —  
Запоет на земле Рождество,  
Для других, для счастливых людей! —

говорит утром Джан, вставая, и не спеша проделывая все несложные, привычные движения по утрам. Движений не много.

Джан живет в маленьком домике: комната с кухней, крохотная передняя и крыльцо. Белые колонки придают ему вид павильона, домишко кажется за ними куцом, но колонки поставлены в память мечты о Белом доме, и главное, что колонки есть.

В сарайчике позади кухни гуси грозно выговаривают что-то мохнатым курам. Сад зарылся в снег и спит, ветка сонно стряхивает снег на щеку Джан, когда та проходит бросить зерно. Снег тает и щекочет, холодной струйкой пробираясь за воротник.

Потом Джан пьет кофе, читает газету и курит. Это ей вредно, конечно. Доктора давно уже нашли что-то внушительное с сердцем. Никотин и кофеин — яд.

— Доставляющий мне удовольствие, — пожала плечами Джан.

— Но, если вы хотите жить...

— Да, если..!

Ради какой-то чуточки жизни не стоит приносить жертв...

Вот это все, что у нее есть: огород, птичий двор. Для остальной жизни вполне достаточно маленького муфеля в кухне, и там же стоит полка с материалом и готовыми вещами. Зимой Джан лепит свои вазочки, фигурки, мисочки. Орнамент, выгиб форм раскрашивает воспоминание о «Кераме». Эта мечта за дешевку продается неплохо. Джан могла бы устроить настоя-

щую мастерскую, взять еще учениц. Одна, правда, приходит учиться и помогать — надо же кому-нибудь помоложе таскать тяжелую глину... Но больше — зачем? У Инночки балет и своя жизнь. Она любит мать, помнит и пишет. Из Лондона и Чикаго... надо ли что-нибудь тебе, мама? Ах, нет, Инночка, у меня все есть. И на заботливые вопросы Катышки — тот же ответ...

После обеда — на столе блюдо с орехами и пряниками. Но приготовленную книгу Джан раскрывает на первой странице и откладывает ее в сторону. Странно, но сегодня она все время ловит себя на том, что оглядывается на дверь. Как будто та должна отвориться. Но кто найдет дорогу в маленький одинокий домик? Только колокола. Колокола звонят, как будто они совсем близко — над крышей, в саду раскачивается гулкая, любимая, поющая медь. Весь воздух дрожит и поет от них. Или, может быть, только кажется так?

И вот стук. Стук в дверь, которого она ждала весь день.

— Войдите, — чуть хрипло произносит Джан. Дверь открывается, и она удивленно приподнимается с кресла: дверь отворилась и захлопнулась — никого нет. Только перегнувшись вперед, через край стола, Джан видит, кто протопал по полу, и, легко ахнув, откидывается назад.

Он. Маленький, серенький, в мухоморном колпачке, с серыми, внимательными, ласковыми глазами. Вскочил на стол и уселся, шумно вздыхая и отряхая снег с красных туфель.

— Здравствуй, Джан.

— Здравствуй, — неуверенно говорит она.

— Да, — отвечает он на мысль: — говорить нам еще с тобой не приходилось, и не виделись мы тоже давно. Но ты совсем одна теперь, и я решил быть настоящим рождественским гостем. Собственно, надо было притти вчера, но мне не хотелось мешать другим. Вчера ты была с тенями, сегодня со мной. Ты довольна?

— Очень, — восхищенно отзывается Джан и начинает понемногу приходить в себя.

— Бимм... бамм... бомм! — напевает он, раскачиваясь, и гудит как колокол. — Люблю колокола! Они умеют говорить, только их не всегда слышат. Мне нравятся твои окна, Джан.

— Ты знаешь, что за окном, — польщенно кивает Джан. — И я тоже. В молодости есть слово «вдруг», потому что все может случиться вдруг... Но я давно потеряла это слово. Осталось другое: «как будто». В нем недосказанность, и его не надо уточнять, как и в этом окне: не все ли равно, стоит ли мой домик в Задвинье, и через Двину мерещатся в снегу колокольни и башни — или до них тысячи километров? Моей Риги больше нет, все равно.

— «Событие, имеющее место во времени» — усмехается он. — Но ты могла бы угостить меня чем-нибудь, ради праздника. Можно?

Он берет нож обеими руками, как меч, и режет королевский пирог. Джан встает и очень медленно — почему-то тяжелые и ватные ноги — подходит к шкафу, вынимает крохотную рюмочку, наливает ему наливку. Кусок пирога в его руках — громадный, но он проглатывает его, прихлебывает из рюмки и весело поглядывает на Джан.

— Очень вкусно. Совсем, как полагается. А вот и...

Черный большой боб укладывается на всю ладонь.

— Черный боб в королевский пирог запекают только совсем бедные люди. Но мы умеем волшебить, правда, Джан?

Она смотрит, как боб начинает блестеть, вытягиваться, загибаться — и крохотная золотая коронка надевается поверх колпачка.

— Вот. Я король! Лучше поздно стать королем, чем никогда. Или ты не согласна со мной, может быть?

— Может быть, запоздавшее королевство уже не нужно королю...

— Пессимистическая софистика! Забавные ученые словечки, хи-хи!

Он вооружился щипцами и раскалывает орех, поглядывая сбоку на Джан.

— И это весь твой вывод?

— Совсем нет, — возмущается она.

— Ну-ну, не будем ссориться, — примирительно бормочет он, и грызет орех, держа его, как яблоко. Сейчас он уселся совсем близко на краю стола и забавно закинул ногу на ногу. — Давай, поговорим лучше, я ведь для того и пришел... Видишь ли, нас нельзя потерять. Мы нет-нет да и выглянем из какой-нибудь щелки. Все остальное — о да, очень многое теряется, это ты знаешь. Но мы остаемся. Впрочем, ты наверное считаешь, что у тебя ничего не осталось?

— Нет. Я не только теряла, но и нашла кое-что. Взамен, или...? Или просто потому, что пришло время, срок, следующая ступенька...

Джан сосредоточенно закуривает, как всегда при серьезном разговоре.

— Вот ты говоришь, что вас нельзя потерять. Есть еще неизменные вещи. Есть солнце, цветы, звери. Всегда, одинаково, и может быть у любого. Главное в жизни существует помимо человека, весь вопрос только в его отношении, и сколько места он уделяет этому в своей жизни — самому настоящему?

— Примиренность старости? — подмигивает он.

— Да, — твердо отвечает Джан и прямо смотрит ему в глаза. — Да, я нашла примиренность и счастлива этим. Я всегда очень любила жизнь, людей и вещи. У меня всегда была мечта и тоска. Я боролась, мучилась, надеялась и радовалась. И я очень боялась, что, когда это кончится — ах, в молодости мы все отодвигаем неприятные вещи на будущее, когда еще оно



наступит! — Но когда-нибудь оно ведь подходит и ближе, вплотную, правда? Ну, вот, я и осталась — одна и без всего. Нет даже сознания, что в жизни что-то сделано, дано другим. Будь я художницей... Но у меня нет настоящих картин, и всей любви к краскам хватило только на мисочки — давным давно разбитые черепки. Это очень больно, пожалуй, больнее всего... Но творчество дается не всем, а вот любовь мне удалось сохранить. Ко всему. Сперва я боялась одиночества. Но потом увидела цветы, и даже самый простой подсолнух в саду наклоняет ко мне свое солнце. Они живут вместе со мной, и среди них я не одна, мне не страшно, я вижу, что потеряла не только жизнь, но и страх перед смертью. Тот же круговорот, мудрый и нужный, и радостный всегда...

— Мысль не плоха, но ее высказывали уже тысячи лет тому назад!

— А разве есть что-нибудь действительно новое в мире, особенно в жизни человека? Все «открываемое» уже существовало и раньше, и голодный, тоскующий и любящий человек повторяет неизменно все то, что до него делали другие. Разве можем мы создать, почувствовать, придумать что-нибудь действительно небывалое? И для чего, если мы не умеем сплошь и рядом справиться с тем, что у нас уже есть? Нет, у меня нет ни новых мыслей, ни слов. Да, я повторяю все то, что до меня говорили другие. И меня это нисколько не угнетает. Наоборот. Я рада, что могу, ничего не достигнув и все потеряв, создать себе радость из малого. И это такое же великое и малое, как и всякое человеческое счастье...

— Но ты говоришь только о себе.

— Да, потому что есть многое, с чем надо справиться только самому. Умирает человек тоже сам и один — кто бы ни стоял рядом.

— Хорошо. А корабли?

— «Только на закате, в зорях наклоненных, мчались отраженья — тени кораблей», — скандирует Джан. — Почему ты меня только спрашиваешь, а сам не даешь ни на что ответа?

У нее вырывается это невольно, и сразу становится совестно от его явно снисходительной усмешки и поучительно поднятого пальца.

— Дорогая Джан! Пора бы знать это. Человек, как и все невежды, вбил себе в голову «проклятые вопросы», и многие употребляют всю жизнь на их разрешение: квадратура круга, есть ли Бог, и кто прав вообще... сотня других в том же роде. И вот ищут ответа, совершенно не замечая, что человеку нужно не задавать невозможные, в силу его человеческой именно, ограниченной сущности, вопросы, а самому давать ответы, ежечасно, на то, о чем его спрашивает все вокруг: и солнце, и небо, и цветы, и звери. Но он и слышать не хочет этого, самого важного вопроса: можешь ли ты быть человеком? И не отвечает. А потом

Судия спросит уже так, что придется услышать, и если и тогда не найдется ответа...

— Понимаю, — наклоняет голову Джан: — но корабли посылаются всегда. И всегда тоскуют по счастью. Я послала свои — для себя и других. И если они не вернулись — пусть посылают другие, те, кто строит их дальше...

— «И древний закон соблюдается свято: в назначенные сроки корабли уходят за счастьем»... Пусть они уходят, Джан. Ну, а родина? Ведь ты так любила ее...

— На родине моей, — говорит Джан, и глаза ее совсем светлеют, как июньская белая ночь в Балтике, — на родине моей ветер, море и небо неизменны всегда, как и любовь. И те, кто рождается в ней, будут любить ее так же. А я свой маленький кусочек отжила, отлюбила — и отошла. И хоть маленькие, но свечки я зажигала всегда.

— Потому что тоска не может умереть?

— О нет! — улыбается Джан: — о нет... не может! Тоска не умирает, тоска будет жить и в другом мире — куда бы мы ни отправили корабли.

— «По ту и по эту сторону», — начинает он, спрыгивает со стола и торжественно кланяется Джан, — «живой человек.»

Джан широко раскрывает глаза, подается вперед.

— Уже! — шепчет она еле слышно.

— Да, я уйду, — ласково говорит он. — Но на прощанье и в награду тебе я, святочный король, исполню твои желания.

Джан полулежит, откинувшись в кресле, и ей трудно дышать.

— Ветер, — шевелит она губами: — балтийский ветер... снег... Старый Город... отраженье кораблей...

— Бимм... бамм... бомм... — отвечает он, и подняв руки, схватывает спускающиеся с потолка веревки от медных языков. Он качается на них в снежной метели, взлетает вместе с ними, стены комнаты раздвигаются, уходят в звон. Колокола совсем близко, взмахивают гулками боками, ударяют над головой, в грудь Джан, удар за ударом. Гудит вечная песнь земли и неба, звенит, дрожит, поет, и ветер поет, раскачивая башни — над морем, рекой, над Старым Городом, уходящими кораблями.

Идет снег, мягкий, неслышный, ласковый, кружащийся и скользящий, как воспоминание...

Бимм!.. сверкающе взмывает радость.

Бамм!.. кованая победа счастливой песни.

Бомм!.. благословенье — всем...

К О Н Е Ц

Мюльдорф, 1950